

ЦАРЬ
ИОАНН
ГРОЗНЫЙ



Annotation

Многовековой спор ведётся вокруг событий царствования Иоанна IV. Прозвище «Грозный» — то есть страшный для иноверцев, врагов и ненавистников России — получил он от современников.

Даровитый, истинно верующий, один из самых образованных людей своего времени, он по необходимости принял на себя неблагодарную работу правителя земли Русской и, как хирург, отсекал от Руси гниющие, бесполезные члены. Иоанн не обольщался в оценке современниками (и потомками) своего служения, говоря, что заплатят ему злом за добро и ненавистью за любовь.

Но народ верно понял своего царя и свято чтит его память. Вплоть до самой революции и разгрома кремлёвских соборов к могиле Грозного приходили люди, служили панихиды, веруя, что это привлечёт помощь в дела, требующие справедливого суда.

Царь Иоанн Грозный

Борис Михайлович Фёдоров

Князь Курбский

Часть первая

ГЛАВА I

Юродивый

Служба закончилась, и при торжественном звоне колоколов псковитяне благоговейно выходили из Свято-Троицкого собора. Перед народом шёл степенный посадник об руку с государевым наместником; на паперти, обратясь к храму Божию, он трикратно осенил себя крестом и, кланяясь на все стороны, поздравлял народ с праздником и оделял деньгами слепцов и недужных, стоявших на ступенях паперти. За ним, сопровождаемый степенным тысяцким и боярами, шёл воевода большого полка князь Курбский, беседуя с воеводою Даниилом Адашевым о священном пении. Все почтительно расступались. «Доблестный Курбский, славный воитель!» — говорили в толпе, указывая на любимца Иоаннова, и не одна стыдливая красавица, отдернув фату, украдкой бросала взгляд на боярина. Посадник просил князей и бояр отведать его хлеба и соли по случаю именин; звал и почётных граждан, и именитых купцов. Вдруг, пока стремянные, ожидавшие у ограды, подводили статных боярских коней, раздался крик: «Юродивый! Юродивый!»

Курбский посмотрел в ту сторону, где теснился народ. Он увидел юродивого; ветхое рубище, накинутое с одного плеча, покрывало его; железная цепь опоясывала; волосы, распущенные по плечам, развеивались от ветра, но на лице, изнурённом и бледном, сияло спокойствие. Все выходили из собора; лишь он один шёл в храм и, размахивая перед собой посохом, пробирался сквозь толпу.

— Юродивый! — кричали ему, — поздно идёшь на молитву.

— Молиться никогда не поздно! — отвечал он.

Он прошёл мимо посадника, не поклонясь ему, не поклонился он ни князю Курбскому, ни гордому воеводе Басманову, но в то же время преклонил смиренно голову пред служителем, подводившим Курбскому коня, и простёрся на землю пред мальчиком, которого стрелец оттолкнул пикой с дороги, крича народу: «Место князьям, воеводам!»

— Знаешь ли, кто он будет? — сказал юродивый. — Смирись, чти непорочное сердце.

Стрелец замахнулся было на него, но Курбский остановил его.

— Для чего ты поклонился слуге, не почтив нас приветствием? — спросил Басманов.

— Думаете ли, бояре, что все, идущие здесь позади, пойдут позади вас и в веке будущем?

Юродивый вошёл в церковь и, повергшись пред гробницею, в которой почивают святые останки князя Довмонта, стал безмолвно молиться.

— Кто этот чудный старец? — спросил Курбский посадника.

— Имя ему Никола, иноки прозвали его Салос^[1]. Рода его не знаем — и когда спрашивали: откуда он, то всегда отвечал: странник земной. Уже два года, как он обитает во Пскове. Жилище его — летом под кровом неба; спит он у стены Довмонтовой или под деревом в поле; зимой люди добрые зовут его в свои дома; одну ночь проводит он на богатом ковре, в тёплой светлице, на другой день застают его спящим в стойле близ яслей или в тесном и холодном подклете. Обнажёнными стопами ходит он в зной по горячему песку, а в трескучий мороз — по снегу и льду; ест чёрствый хлеб, пьёт одну воду. Играет с детьми и, лаская последнего калеку из чёрной сотни, неприветлив с боярами. Но кто знает, может быть, он и прав...

— Да, — сказал Курбский, — мудрость века сего есть безумие пред Богом, по святому писанию. Но отчего так изъязвлены его ноги?

— Вскоре после нового года — это было в последних днях сентября^[2], вошёл он в дом дьяка Ртищева, что у реки Псковы, возле каменных ворот. Подозвав к себе детей, игравших на дворе, и целуя в чело, говорил каждому: «Прости, мой добрый, иди, мой прекрасный!» Привыкнув к юродству его, не дивились тому; но не прошло недели, как в доме Ртищева открылась язва и несчастные отцы предали земле детей своих. За несколько недель перед тем Салос вздумал снова войти в дом сей, но его встретили кольями и проводили камнями, так что едва не дошло дело до губного старосты. Хорошо, что я распорядился, а то чернь вломила бы во двор и дьяку было бы худо — его же в соседстве не любят. За десять лет пред сим, когда выгорел Псков, в доме Ртищева бросились не помогать, а грабить.

— Честь тебе, посадник! — сказал Курбский, оглядываясь вокруг. — Я не вижу и следов пожара, а слышал, что от большой стены до Великой реки только пять домов уцелело.

— Нет, боярин, много ещё мне потрудиться для Пскова и Святой Троицы. Правда, что соломенных кровель мало, дворы богачей выше прежнего, над палатами возводят хоромы, но прежде с одного этого места было видно полсорока светлоглавых церквей, а теперь и пяти не начтёшь; не блестят верхи их при солнце! Где было белое железо, там дерево.

Посадник вздохнул.

— Прежде, — продолжал он, — на тридцать рублей можно было поставить каменную церковь о трёх верхах, а теперь вдвое дай — не поставишь. Дед мой дал полсорока рублей — башню возвёл, а теперь люди те же, да время не то.

— Не печалься, посадник! — сказал Курбский. — Слово даю, когда поможет мне Бог сослужить царю новую службу, пришлю к тебе из Ливонии немецкого серебра и золота, и с этого места надеюсь увидеть с тобою более прежнего светлоглавых церквей!..

Солнце уже высоко поднялось на полдень, и жители Пскова, после праздничного обеда, сладко засыпали на дубовых лавках, на пуховых изголовьях, когда на широкий двор степенного посадника ещё только начали собираться званные гости, привязывая статных коней своих к железным кольцам.

В это время Никола Салос вышел из собора. Улицы были пусты, торговые ряды заперты, кое-где дети играли в городки у тесовых ворот, бегая перед бревенчатыми избами по мягкой траве.

Тихо пробирался старец на Завеличье, через высокий мост, придерживаясь за красивые рели^[3]. Скоро миновал час отдыха... запестрели одежды, повысыпал на улицы народ, и опять окружили Салоса.

— Леонтий! — сказал юродивый, — завтра я приду к тебе в лавку. Приготовь мне кусок парчи да кусок тафты. Денег я не плачу.

— Возьми, что изволишь, — отвечал Леонтий с поклоном. — Помолись за меня и за семью мою.

— Когда так, — сказал Салос, — то отнеси и тафту, и парчу к старухе, вдове старосты Василия, в приходе жён Мироносиц, на Скудельницах. Смотри же, отдай от себя и скажи: на бедность твою Бог посылает.

— А я думал помочь твоей нищете.

— Помогай нищете души, — молвил Салос и, увидев крестьянина, ехавшего мимо в телеге, закричал: — Половник Василий!^[4] Что ты печален?

— Ох, отец мой, наказал нас Господь зимою бесснежною; пророчат неурожай. Будет четверть ржи по шестнадцати денег. Худо нам. Чем запастись на зиму?

— Видишь ли ты лошадь твою? — спросил юродивый.

— Как не видеть, отец мой?

— Она более тебя трудится и терпит. Трудись и терпи.

— Хорошо, отец, твоею святостию...

Салос закричал: «Боюсь, боюсь!», застучал посохом и бросился на другую сторону улицы. Там шёл ремесленник и, качая головой, говорил сам с собою:

— Немного же получил я за работу! Отдать три псковки долгу соседу Семёну, останется всего два пула^[5], и опять зарабатывать! Ни себе шапки, ни сестре бус не купил к Великому дню!

— Подай для Бога! — закричал жалобно Салос.

Бедняк оглянулся, увидев юродивого, и остановился от удивления. Салос протянул руку, ожидая подаяния.

— Прими для Бога, — сказал ремесленник и подал ему пул.

— Велик твой дар, благословен твой путь! — сказал, перекрестясь, Салос; он взял монету и протянул её богатому новгородскому гостю, который проходил мимо, размахивая бархатным рукавом своей шубы, опушённой чёрною лисицей.

— Ты что, старик?! — закричал новгородец, отталкивая его руку, так что пул покатился на землю, — за кого ты меня принял?

Салос с горестию посмотрел вслед новгородцу.

— Увы! — сказал он, — он отказался от смирения!

ГЛАВА II

Пир у посадника

По высокому деревянному крыльцу поднимались гости в светлые сени дома посадника. Пред боярами и воеводами почтительно шли знакомцы их^[6], поддерживая их под руки на ступенях, скрипевших под их тяжестью. Вершники суетились на дворе, около боярских коней. В широкой, разгороженной светлице, по стенам обитой холстиною, перед святыми иконами, сияющими в среброкованных окладах, с венцами из синих яхонтов и окатного жемчуга, горела большая именинная свеча. Гости, проходя в светлицу из-под низких дверей, наклонялись и, обратясь к образам, крестились с поклоном и молитвою, после чего кланялись хозяину. Именинник подносил гостям заздравный кубок сладкой мальвазии.

Вошёл князь Курбский. Взглянув на иконы и, по благочестивому обычаю предков, перекрестясь трижды, пожал руку именинника, пожелав здоровья, и поклонился псково-печерскому игумену Корнилию, троицкому протоиерею Илариону, наместнику князю Булгакову и всем боярам и воеводам, которые при входе его встали с лавок, покрытых богатыми коврами. Сев на почётном месте, у красных окон, и положив на скамью горлатную шапку, он сказал посаднику:

— Благодарю за твой именинный дар и, как воин, дарю тебя ратным доспехом. Сей доспех прислан мне от царя Ших Алея, но у меня броня прародительская, над которой ломались мечи татарские, и другой мне не нужно...

Два боярских знакомца внесли чешуйчатую кольчугу из меди, с серебряными поручьми.

— Вот тебе, — сказал Курбский, — одежда для приёма незваных гостей, меченосцев ливонских.

— Ты, воевода, их встретишь и угостишь, — отвечал посадник, — а нам, псковичам, принимать твоих пленников.

— В войне, посадник, до Пскова не допустим, но с ливонцами нужно ухо держать востро. Знает Ивангород!..

— И в прошлом году они набегали на область псковскую, в Красном выжгли посад, — сказал Булгаков.

— Теперь снова русские сабли засверкают над немцами и русские кони изроют Ливонию, — сказал окольничий, Даниил Адашев.

— Любо, князь Андрей Михайлович, смотреть на коня твоего, — вмешался в разговор князь Горенский. — В поле ты всегда далеко за собой нас оставишь. Конь твой как стрела летит.

— Так аргамак мой — царский подарок за ратное дело в Ливонии. Государь велел мне выбирать лучшего из его коней. А я умею выбирать... Конь мой, как вихрем, вынесет меня из закамских дубрав, из ливонских болот. Пожаловал меня царь; драгоценная от него шуба соболя — роскошь для воина, привыкшего к зною и холоду, но конь, товарищ в поле — мне приятнейший из царских даров.

— И золотого, с изображением лица государева? — сказал протяжно Басманов, указывая на медаль, висевшую на кольчатой цепи, поверх голубого кафтана юного воеводы.

— Здесь художник изобразил царя, — отвечал Курбский, — но сам царь запечатлел свой образ в моём сердце. Милостивое слово его выше всякого дара. Никогда, никогда не забуду последних слов его...

Курбский остановился и замолчал, не желая хвалиться пред всеми царскою милостию. Но всем было уже известно, что перед походом призвал Иоанн Курбского в почивальную и сказал: «Принуждён или сам идти на Ливонию, или послать тебя, моего любимого. Иди побеждать!»

Уже придвинули лавки к длинным столам, накрытым узкими скатертями браными, на коих поставлены были деревянные блюда с золочёными краями, кубки, осыпанные перлами, и в красивой резной посуде стояли любимые приправы русского стола — лук, перец и соль. По зову хозяина, гости встали и, помолясь, шли к столам. Запестрела светлица разноцветными парчами, бархатом и струистою объярью богатых боярских кафтанов, ферязей, охабней. Садилась по роду и старшинству: за большим столом сел наместник, воеводы и гости именитые, за сторонними — люди житые, дворяне и дети боярские. Один только гость не садился. Боярин Басманов хотел занять место рядом с Курбским, но окольничий Даниил Адашев опередил его, и Басманов, по предкам своим считавший себя старшим, остановился с неудовольствием.

— На пиру быть воеводам без мест! — сказал Курбский.

Смех гостей раздался по светлице, и Басманов, вспыхнув, сел ниже Адашева.

Пир начался жареным павлином и лакомым сбойнем из рыбы, приготовленным в виде лебедя.

Двое служителей с трудом несли на подставках огромного осётра.

— Богатырь с Волги, — сказал Адашев, — и не менее сверстного змея, из которого громили Казань.

Ещё двое служителей несли щуку необычайной величины.

— Чудо морское! — молвил один из гостей, попяты от зубастой, разинутой пасти.

— Щука шла из Новгорода, а хвост волокла из Белоозера, — сказал толстый новгородец, осушая братыню серебряную.

Янтарная уха, караваи обходили кругом стола, между тем зашипели кружки бархатным пивом, из рук в руки передавался турий золочёный рог с мёдом.

Заговорили о подвигах ратных, о войне ливонской.

— Ливонцы будут просить перемирия, — сказал наместник.

— Не устоять им ни в битве, ни в мире, — промолвил посадник. — Помнишь, как было под Ругодивом [7], когда они в перемирие, встретив великую пятницу за кубками, вздумали ударить из пушек через реку на Ивангород.

— Три дня, — сказал Курбский, — немцы пили без отдыха и три дня стреляли без умолку. Но, когда воеводы, дождавшись царского слова, грянули в них, витязи затихли и отправили в Москву послов просить мира, а мы взяли их Нарву.

— Бог явил великое чудо! — молвил игумен Корнилий.

— Расскажи, князь, порадуя сердца!.. — просили гости, и Курбский продолжал:

— Немцы, по обычаю, праздновали. В одном доме, где останавливались псковские купцы...

— В том самом, князь Андрей Михайлович, где проживал я с братом, отъехавшим в поморские земли, — сказал один из псковитян. — Мы-то и оставили там на стене святую икону...

— Увидев икону, немцы вздумали над святынею рыцарствовать: сорвали со стены и бросили в огонь. Громко смеялись, но вдруг весь огонь ударил вверх и запылала кровля. К тому же нашла сильная буря; вихрем раскинуло пламя, и весь Нижний город огнём обхватило. Храбрецы с жёнами и детьми бросились бежать в замок Вышегородский, оставя на страже у стен одни пушки. Стрельцы увидели и

устремилась через реку в ладьях на город ливонский; кому не досталось ладьи, тот плыл на доске; иные, выломав ворота домов и сдвинув на волны, переплывали реку. Воеводы не могли удержать ратников и пошли с ними. Всё войско, как туча, поднялось на Вышгород. Опомнились немцы, но поздно. Русские сквозь дым и огонь вломились в ворота и громили ливонцев ливонскими же пушками. Ругодив сдался, воеводы ливонские вышли из города, как бы в укор себе неся мечи, коими не могли отбиться. Ратников их выпустили без оружия. Неисповедимы силы Христовы в обличение дерзающих на имя Его! А икона найдена невредимую среди пепла и разрушения...

— Да прославляется Имя Господне! — сказал Корнилий. — Святую икону я принёс в Москву, где царь встретил её со всем освящённым собором.

— Да прославляется Имя Господне! — сказал Курбский. — После сего двадцать градов ливонских пали пред русскими мечами.

— Да славится Иоанн, победитель Ливонии! — сказал посадник, встав с места и высоко подняв красную чару. — За здоровье царского дома!

— За здоровье царского дома! — раздался радостный крик, и все гости последовали примеру посадника.

— За здоровье царской думы его, за здоровье бояр родословных!

— За Алексея Адашева, царского друга, за Сильвестра, опору царства, — сказал с восторгом Курбский и первый осушил кубок.

— За Адашева, за Сильвестра! — повторилось в кругу пирующих.

Боярин Басманов, нахмурясь, сказал:

— Князь, кубок предложен за здоровье мужей стародавних в русских родах... Мы пьём за Шуйских, Пронских, Мстиславских...

— И Курбских! — перебил его Даниил Адашев. — Отчиною предков их было княжение ярославское. Одна любовь к отечеству осталась в наследие им!

— За наместника царского в Пскове! — предложил Курбский.

— Первым пить псковичам! — сказал посадник, обратясь к Булгакову. — После воеводы Турунта, пожара и мора, которыми в прошлых годах Бог наказал их, они при тебе отдохнули!

— Теперь не страшимся и литовцев, — сказал тысяцкий. — Крепок Псков наш, ограждён стенами, башнями, высокими насыпями, глубокими рвами.

— Не в стенах и не в башнях крепость его, — сказал Курбский, — но в мужестве граждан. Обступят ли Псков полки литовские, — пусть укажет воевода на гроб Довмонта, пусть повторит он ратникам слова его: «Братья, мужи псковские! Кто из вас стар, тот мне отец, кто из вас молод, тот мне брат! Перед нами смерть и жизнь. Постоим за Святую Троицу!» Слова сии воспламят души мужеством и любовью к отечеству отразить силу противников. Так псковитяне, доколе гроб Довмонта и меч с надписью: «чести моей никому не отдам» останется в Пскове, дотоле останется Псков, и чести своей никому не отдаст!»

— За подвиги храбрых, за воителей доблестных, — сказал наместник. — Князь Андрей Курбский, ты носишь за отечество славные раны. Прежде всех пьём за здоровье твоё!

— Много сынов у отечества! Да цветёт славою Россия, — сказал Курбский, и слёзы заблестали в глазах его.

— Воевода Басманов! — заметил посадник. — Ты не выпил кубка.

— По всему видно, посадник, что в высоком доме твоём глубокие погреба, — отвечал Басманов, неохотно поднимая кубок.

Румянец блистал на лицах; весёлые гости шутили. Разрушили коровайную башню, за нею появился на столе сахарный медведь.

— Не взыщите, дорогие гости, — говорил посадник, — чем Бог послал.

Бояре обнимались с ним и обнимали друг друга.

— Сладок твой мёд, — сказал наместник посаднику, — но слаще из хозяйкиных рук. Доверши твой пир, почти гостей, покажи нам посадницу!

Посадник вышел и возвратился с хозяйкою. Низко поклонилась она гостям. Из-под накладных румян нельзя было видеть румянца стыдливости; но изумрудное ожерелье колебалось над атласной ферязью прекрасной посадницы; жемчужное зарукавье дрожало на полной руке, из-под чёрных ресниц голубые глаза не поднимались на любопытных гостей. Взяв серебряную стопу, налила она шипящего мёду в кубок, первому поднесла с поклоном своему мужу, потом стала к стене и, склоняясь застенчиво на белый рукав, потчевала подходящих бояр и воевод; потом, снова приветствуя поклоном всех гостей, вышла.

— Не правда ли, князь, что две родные сестры не сходнее, как твоя княгиня с посадницей?.. — сказал Даниил Адашев Курбскому. — Одна разница, что княгиня твоя, против обычая, не белит, не румянит лица, за что её жёны наши, по Москве, осуждают.

— Не наряд жену красит, а кротость, — отвечал Курбский.

— Когда-то, — сказал Адашев, — попируем мы в семье твоей?

— Я живу в ратном поле. Родительницу свою мало видел, от жены был далеко. Но завоюем Ливонию, отдохнём в Москве. Будем беседовать с Сильвестром, с братом Алексеем Адашевым. Повеселимся в полях с соколами и с белыми кречетами. Помнишь, в забавах мы были всегда неразлучны, как теперь сын твой Тарх и мой Юрий.

— Тесть мой, Туров, ждёт не дожждётся, когда мы будем вместе.

— Туров? — переспросил посадник. — Каково поживает старый друг мой?

— Прихварывал, — отвечал Даниил Адашев, — но целебные травы, которые посылал я из Ругодива к родственнице нашей, Марии, помогли ему.

— Но видение его не к добру, — сказал Курбский.

— Какое видение? — спросил с любопытством посадник.

— При отъезде моём из Москвы, — сказал Курбский. — Туров сказал мне: «Прощай, князь, не увидимся!» — Я изумился. «Как не увидимся?» — спросил я его. — Скоро дети наденут по мне смиренное платье^[8]. — «С чего тебе в мысли пришло?» Тогда он рассказал мне странный сон. «Я видел, — говорил он, — видел так ясно, как теперь тебя вижу, что я иду по высокому и длинному мосту. Казалось мне, будто, вступая на него, я был ещё в летах детства. Около меня резвились товарищи моей юности. Многих из них я давно уже похоронил и оплакал. Идучи, я скоро потерял их из виду, и казалось мне, будто бы я чем далее шёл, тем более входил в лета, и скоро постарел... Увидел я семейство моё, Адашевых, тебя. Вдруг мост, который был твёрд, стал подламываться под ногами моими, доски распадались, и я с трудом пробирался по остающимся брёвнам, над кипящими в глубине волнами. Внезапно как бы холодный лёд коснулся руки моей, и я увидел, что возле меня кто-то стоял под белым покровом. В это время ударил вихрь с облаком пыли, сорвал белый покров и обнажил остов безглавый, у ног которого лежала в крови моя голова. Мост обрушился, я закричал — и проснулся. В волнении духа я устремил глаза на мою рукописную библию; она

лежала, раскрытая, на столе у постели моей, и я, обернув лист, на котором за день пред тем остановился, читал: се глад и казнь! — Ужасное предвестие охладило кровь в моём сердце». Так говорил мне Туров и прибавил: «Прощай, Курбский!» — Сознаюсь, бояре, какое-то печальное чувство тогда овладело мною, и я не мог с Туровым без скорби расстаться.

— Оставим жёнам боязнь, — сказал Даниил Адашев, — удалим смутные мысли. Сегодня Туров пирует в царских палатах с моим братом.

— А мы здесь выпьем за здоровье его, — сказал наместник. — Здоровье друга моего Турова!

— Здравие Турова! — повторили гости.

В это время прибыл гонец из Москвы, с грамотою государевою, к князю Андрею Михайловичу Курбскому. Низко поклонясь всем боярам, он почтительно подал Курбскому царскую грамоту.

Курбский развернул свиток и стал читать письмо Иоанна.

Царь благодарил его за поспешность в распоряжениях воинских, хвалил доблести его и заканчивал письмо надеждами на новые победы, указывая ему первой целью — считавшийся неприступным — замок епископа ревельского, Фегефейер[9].

— Ступай, князь православный, в немецкое чистилище! — сказал, шутя, наместник Булгаков.

Между тем гонец подал Даниилу Адашеву свиток, запечатанный перстнем его брата Алексея Адашева.

С изумлением читал окольный свиток письма брата и не мог скрыть своего смущения.

— Курбский! — сказал он затем. — Брат мой оставил царскую думу и принимает начальство над войсками в Ливонии. Сильвестр удалился в обитель Кирилла Белоозёрского. Тесть мой Туров... — Он не договорил, закрыл руками лицо и подал письмо Курбскому.

Тот прочёл: «Туров в темнице...»

Басманов улыбался.

Изумление выражалось на лицах всех. Каждый старался постигнуть причину внезапного удаления Адашева и Сильвестра и каждый спешил переговорить о том наедине со своими ближними.

Посадник проводил до крыльца последнего гостя, покачал головой, взглянув на служителей, выносивших в кладовую серебряные чары и кубки, вздохнул и в раздумье вышел из опустевшей светлицы.

ГЛАВА III

Подвиги

Пыль поднималась по дороге из Дерпта к Витгенштейну; при сиянии майского солнца как будто бы молния засверкала вдалеке; гуще становилась пыль, ярче ослепительный блеск, и вот — показались всадники в светлых шлемах, в ратных доспехах. На развевающихся знамёнах плыли в воздухе святые лики. То было войско, предводимое князем Курбским и Даниилом Адашевым. Сначала лёгкий яртоульный отряд пронёсся на быстрых, конях. За ним показался передовой полк с воеводой князем Горенским. Воевода князь Золотой замыкал этот полк с дружиной городецких людей. С ним были татары и башкирцы, искусные стреломётники. Выступил и большой полк. Всякий, кто искал взглядом Курбского, мог узнать его. Стальной шлем, украшенный бирюзой, покрывал смуглое его лицо. Гонцы скакали вслед за воеводами, спеша передавать их повеления другим вождям. Свободно опустив поводья и с лёгкостью обёртываясь во все стороны, они стегали неподкованных ногайских коней. Левую руку вёл князь Мещёрский, сторожевой полк — воевода князь Троекуров. Грозен был вид войска, немногочисленного, но избранного. Ратники облечены были в брони кольчатые, острые шлемы их продернуты были для отвода ударов с чела стрелою булатною; головы вождей осеняли высокие шишаки ерихонские, грудь их покрывали доспехи зеркальные из отсвечивающей стали. Кривые сабли блестели у высоких седел; с другой стороны колебались сайдаки с тугим луком, лес копий сверкал остриями; в колчанах стучали стрелы. Величаво ехали головы пред дружинами боярских детей, пред десятнями дворян. За воеводами следовали ратники их со знаменем; за детьми боярскими — их поместные служивые люди, иные в панцирях, иные в толстых тегилях, в шапках железных^[10]; одни с саблями, другие с зубчатыми железными шестопёрами; дальше везли огромные стенобитные пушки, высокие туры, тянулись выючники, обозные, и служители вели за шёлковые поводья запасных воеводских коней. Так подвигалось воинство к Виттенштейну, от которого Курбский и Адашев устремились на Фегефейер.

Пал Фегефейер. Ни тучи камней, летевших с раскатов, ни гроза огнемётных орудий, ни высота крепких стен, ни глубина широких рвов не могли защитить его. Воины ливонские, угрожаемые от русских опустошением и проклятиями от епископа ревельского, хотели остановить Курбского; пламень открыл ему путь: с приближением ночи Фегефейер запылал; страшное зарево с горящих башен хлынуло по небу, осветило ток быстрой реки, железные подъёмные мосты, грозные утёсы, тёмные пещеры; и в сие время меч Курбского губительней пламени заблистал на высоте Фегефейера. С зарей над пеплом развалин раскинулась русская хоругвь. Часть стен обрушилась в глубокие рвы. Громада камней осталась на месте великолепной палаты, в которой епископ ревельский некогда угощал рыцарей.

Подобно буре опустошительной, Курбский и Адашев протекли по области Коскильской. Поля потоптали конями, замки истребили огнём. Русская сила одолела ливонскую гордость; ратники серебром и золотом угрузили обозы; гербами, сорванными со стен, разводили огонь.

Войско быстро переходило от одной усадьбы к другой, страх предтекал ему, и богатые жители прекрасных мест, оставляя дома свои, спешили спасать жизнь и свободу.

В одном из замков Курбский, который всегда щадил слабость и приветливо обходился с побеждёнными, увидел старца, изнурённого страданием, на одре болезни. Никого не оставалось при нём в пустых покоях, кроме верной собаки, которая одна не покинула больного господина и с лаем бросилась на вошедших воинов. Удар палицы — и бедное животное погибло бы, но Курбский вырвал палицу из рук

замахнувшегося ратника. «Не бесчесть оружия!» — крикнул он и подошёл к старцу. То был рыцарь Гуго фон Реден. Неблагодарные слуги его разбежались, видя приближение русского войска. Оставленный своими, Реден не ожидал от врагов пощады.

Курбский старался успокоить страждущего и приказал одному из воинов неотлучно быть при Редене, пока не возвратятся разогнанные страхом служители замка.

— Да благословит тебя небо за сострадание! — сказал Реден, — но я лишился всего, что имел драгоценного в жизни, и жду смерти, как последнего блага.

Узнав, что единственный внук Редена захвачен в плен в немецком отряде под Виттенштейном, Курбский велел освободить его для утешения последних дней немощного старца.

Юноша, закованный в цепи, слышал от товарищей, какая участь ожидает его в Пскове — куда ссылались пленные. Воспитанный в избытке и роскоши, он представлял себе весь ужас неволи — вязни, так назывались пленники, укрываясь от стужи и непогод в ямах, томимые голодом, выходили, подобно привидениям; с жадностью кидаясь на хлеб, бросаемый им за ограду. Блестящие мечты уже исчезли в его воображении, надежды замерли в сердце, — и вдруг он возвращён в дом отеческий!

Курбский был при свидании старца с внуком, видел радостные слёзы их. Между тем как многие в стане роптали, что воевода уменьшает число царских пленников, и тайные враги Курбского стремились к достижению своей цели, молва о сём достигла до пленников ливонских, взятых под Виттенштейном. Чего не могли вынудить у них страхом, в том успело великодушие. Один из пленников просил быть представленным Курбскому, и воевода узнал от него, что не далее, как в восьми милях от русского войска, остановился прежний ливонский магистр Фюрстенберг с сильным отрядом и, ограждённый болотами, выжидал случая напасть с верным успехом.

— Не нам ожидать Фюрстенберга: пусть он ждёт нас! — сказал Курбский и под прикрытием ратников, отправя в Юрьев обозы, отягощённые добычей, оставил при себе полк яртоульный, всадников лёгких и смелых и вместе с Адашевым, задолго до рассвета, двинулся вперёд.

Забелел день, и россияне уже считали второй час от восхождения солнечного, когда войско с трудом пробралось сквозь чащу густого леса и увидело перед собой вязкие болота, поросшие мелким кустарником. Воеводы тронулись вперёд и за ними ратники, сперва строем, но вскоре принуждены были разделиться на малые отряды, стараясь миновать болота излучистыми дорогами; но чем далее, тем опаснее был путь, и наконец воинство увидело себя окружённым отовсюду болотами. Ратники стелили хворост, кидали камни, сыпали землю... Курбский остановился, наблюдая, как перебирались всадники, как малорослые кони их, боясь увязнуть в тине, медленно подавались вперёд, ощупывая ногою надёжную землю.

— Счастье твоё с нами! — сказал Даниил Адашев Курбскому, — если бы нас было вдвое более, — когда бы Фюрстенберг вздумал искать нас, он здесь бы нас встретил и положил.

— С каждым шагом мы ближе к нему! — сказал Курбский. — Вперёд, воины!

Аргамачи, грудью разбивая топь, стремились выбраться из болота. Кони, выбиваясь из сил, грузили в провалинах или с бешенством сбрасывали с себя неосторожных всадников. Так прошёл целый день. Солнце уже низко стояло на западе.

— Ещё немного, — кричал Курбский, ободряя всех, — я вижу вдалеке поле, ещё немного, и мы выступим на твёрдую землю...

Внимая вождю, воины понуждали коней, и кони, всю силою вырываясь из мутной топи, по хворосту и буграм укрепленной земли наконец вынесли всадников на широкое поле.

Солнце расстилало яркие лучи на западе; воины дали свободу усталым коням отдохнуть на мягкой траве.

— Ещё подвиг ждёт нас! — сказал Курбский. — Приготовимся ударить в ливонцев; между тем дворяне осмотрят, далеко ли от нас Фюрстенберг.

Присев с Даниилом Адашевым под старой липой, весенняя зелень которой златилась, раскидываясь против солнца, Курбский задумчиво смотрел, как светило опускалось на край небосклона. Он взглянул на Даниила и увидел, что тот омрачён был глубокою думой.

— Понимаю скорбь твою! — сказал Курбский. — Но когда объяснятся наши сомнения, увидим, чего ожидать. Скоро обнимем твоего брата и узнаем, в чём оправдать Турова...

Даниил молчал. Он только пожал руку Курбского.

— Кто имеет завистников, тот имеет и заслуги, — продолжал Курбский. — Надейся, друг мой! Царь благоприятно примет письмо твоё.

Возвратившиеся дворяне известили, что немецкий стан в десяти вёрстах, что Фюрстенберг с многочисленным войском расположился на поле.

— Увеселим их победой! — сказал Курбский и сел на коня; за ним последовали все воины. Скоро закатилось солнце; багряная черта бледнела и угасла на западе; густой туман, как будто бы рекою разлившийся, поднимался с болот, слабый свет ещё облекал западный край; в сумрачном востоке засияла луна, и чем далее текла по небу безоблачному, тем более проясневала чистейшая лазурь. Какой-то лёгкий свет, успокаивающий зрение и наполняющий негой сердце, разливался на всё. Тихо шли кони ещё усталые, глухой шум однообразно отдавался от шагов их, и ничто более не нарушало безмолвия ночи.

Но замелькал вдали рыцарский стан, и в самую полночь Курбский дал знак стрельцам отделиться и ударить на передовые полки. Ливонцы, услышав топот коней, оторопели и спешили отразить внезапное стремление неприятелей стрельбою, но удары были неверны; при блистании огней их — тем вернее разили русские стрелы; смятение распространилось в ливонских полках: всё войско Фюрстенберга смешалось. Тогда Курбский врезался в ряды ливонские, и закипела сеча. Стеснённые своею многочисленностью, осыпаемые с налёта быстрыми ударами, ливонцы не успевали отбиваться мечами, и вскоре поле покрылось обломками немецких оружий. Русские сбили ливонцев и гнали их, вырывая мечи из их рук, свергая с коней, громя шестопёрами, саблями, бердышами. Глубокая река заграждала путь; чрез неё лежал мост, и ливонцы устремились туда; но под толпами бегущих мост подломился, всадники с конями оборвались в реку, хлестнувшую пенным валом. Тогда Курбский усилил стремительный натиск. Страшный крик раздался, и бежавшие на мост ливонцы, в смятении порываясь вперёд, падали с обрушенных брёвен или, бросаясь с высоких берегов, опрокинутые конями, сдавленные доспехами, гибли в реке.

Едва магистр с немногими воинами успел пробиться; пользуясь лунной ночью, доскакал до отлогого берега и переплыл реку. Между тем ещё продолжалась сеча. Луна исчезала, восток разъяснел, а ещё слышался треск копий и мечей; но с воссиявшим солнцем последние из бьющихся рыцарей или легли на поле, или сдались победителям. Немногие из робких укрывались ещё за пригорками, за деревьями и умножили число пленников Курбского. Стан магистра был взят на щит, и русские полки с торжеством вступили в Дерпт при громе труб.

На рассвете приспела в Дерпт новая дружина. Две тысячи охотников из Пскова и Новгорода, между коими много было сынов знаменитых родителей, взяли оружие, чтоб сражаться под хоругвию Курбского. При рассказах о подвигах его юные сердца их разгорались мужеством, и они, испросив слово посадников и благословение отцов на ратное дело, пришли участвовать с Курбским в битвах и славе.

Воевода встретил их радостно и, сведав, что Фюрстенберг со свежими силами спешит к укреплённому Феллину, послал лёгкий татарский отряд вызвать огнём и мечом фюрстенберга из Феллина, а дружине охотников выжидать в засаде с полками, когда он появится, и опрокинуть его. Курбский предвидел последствия: Фюрстенберг будет снова разбит и одному счастью в бегстве — снова обязан спасением.

Ещё были битвы и ещё победы. Тщетно Фюрстенберг и ландмаршал Филипп Бель хотели поставить преграды Курбскому. Одно его имя уже было грозою Ливонии. Никто не мог устоять против его порыва, никто не удержал его. Ревнуя славе побед, Курбский не ожидал подкрепления; но Иоанн спешил одним ударом решить участь Ливонии. Шестьдесят тысяч воинов уже шли к Дерпту, и царские гонцы летели с разрядными списками к воеводам.

ГЛАВА IV

Свидание

Курбский, который не искал почестей, но случаев к подвигам, уступил другому начальство, принял звание воеводы передового полка, прославленное им в первом походе ливонском, и поспешил навстречу вступавшему воинству.

Почтительно приветствовал он сановника царской думы и первого воеводу большого полка князя Мстиславского. За ним дружелюбно встретил воеводу Михаила Морозова; но при виде третьего воеводы изменился в лице. «Друг Адашев!» — вскрикнул он, стремительно соскочив с коня и бросаясь в объятия Алексея Адашева. Тут же встретил брата и Даниил Адашев.

— И ты идёшь на Ливонию? — сказал Даниил, стараясь скрыть душевное смущение.

— Я желал отворотить меч Иоанна, — отвечал тихо Алексей Адашев, — но война пылает: иду служить царю, как воин его. — Братья сподвижники! Да совершится скорее жребий Ливонии, чем гибнуть ей в терзании медленном...

В это время раздался шум в толпах народа, окружающего воевод. Увидели князя Петра Шуйского, прославленного взятием Дерпта. Он вёл правую руку воинства: смелых стрельцов, ратоборных казаков. Воевода сей, чтимый за славу мужества, умел заслужить любовь побеждённых им. Граждане дерптские взирали на него с почтением; вспомнили его кротость, приветливость, благотворения.

Звучали трубы, народ толпился по тесным улицам Дерпта, даже кровли домов были покрыты любопытными; из длинных, с железными решётками окон смотрели рыцари и старейшины дерптские на русское воинство, проходящее в грозном величии.

— Помнишь ли, — говорил один из старейшин дерптского магистрата, Ридель, рыцарю фон Тонненбергу, — как два года назад въезжал сюда князь Шуйский? На этом самом месте мы его встретили с золотой чашей; пред ним развевалось белое знамя мира. Он обещал Дерпту тишину, благоденствие и сдержал своё слово.

— Помню, что он славно угощал нас в дерптском замке, — отвечал Тонненберг, — но признайся, почтенный Ридель, — прибавил он с лукавою улыбкою, — что ты не от сердца хвалишь эту тишину и благоденствие, а потому, чтоб не лишиться своих владений при Эмбахе.

— Для чего же ты, храбрый рыцарь, остался в Дерпте, владея крепким замком близ Нарвы?

— Я оставил замок свой на волю судьбы; ждал, что он будет сожжён если не московцами, то ливонцами; но, к счастью, он ограждён лесами и отстоит далеко от большого пути.

— Жаль, если ты остался в Дерпте для прекрасной дочери бургомистра, Амалии Тиле; она последовала в Москву за отцом.

— Вот как мало ты знаешь меня, Ридель! Я не остался бы в Дерпте ни для Амалии, ни для твоей прелестнейшей дочери, для которой я готов на турнире переломать столько же копий, сколько выпить кубков в память твоих благородных предков. Нет, Ридель: клянусь, что готов отказаться от охоты, от вина и ласкового взгляда прекрасных, если уступлю самому Гермейстеру — в желании служить Ливонии. Знаю, что не только нас и светлейшего епископа дерптского ордена братья укоряют в измене, но не сброшу с себя белой мантии, и сердце моё бьётся для отчизны под крестом меченосца. Не мечом, благоразумный

Ридель, мы можем сохранить отчизну. Ты видел замки разрушенные, поля под пеплом. Неотразимая рука Курбского, кажется, обрекает Ливонию гибели, — этого мало; ты видишь русские силы, видишь, какая новая туча готова разразиться. Признайся, что Ливония не может уцелеть от русских мечей...

— Как! — прервал его с жаром Ридель. — Феллин ещё непоколебим, Рига недоступна, Фюрстенберг не унывает, мудрый добродетельный Бель ещё жив, и отважный Кетлер — надежда отчизны — стоит за Ливонию. Литовцы, датчане, шведы дадут ей помощь...

— Этот щит, — сказал Тонненберг, — тяжелее меча Иоаннова. Ходатаев за Ливонию много, но каждый смотрит, как бы далее занести ногу на её земли...

— Чем же можем мы быть полезны отечеству?

— Удерживая удары русских мечей, склоняя ливонских владельцев не раздражать бесполезным противоборством страшного противника. В Дерпте не осталось бы камня на камне, если бы Дерпт не сдался... Но верь, достопочтенный Ридель: всё равно, кто бы ни обладал Ливонией, лишь бы мы сохранили поля наших вассалов, сберегли замки и города наши. Уступая судьбе и силе, должно помогать успехам русских воевод и словом сказать: служить Иоанну, чтоб служить Ливонии.

Ридель не отвечал и, казалось, погрузился в размышление, Тонненберг знал Риделя и его связи. Он был уверен, что сказанное не напрасно.

Вдруг откинулся ковёр, закрывающий дверь, и вбежала, лёгкая, как ветерок, миловидная дочь Риделя.

— Минна сегодня долго была в церкви, — сказал Ридель, поцеловав дочь.

— Ах, батюшка! — отвечала, покраснев, Минна. — Пастор говорил сегодня длинную проповедь, и она показалась мне тем долее, — продолжала она, взглянув украдкой на Тонненберга, — что в церкви было пусто, а на улицах так тесно от московского войска, что мы с Бригиттой едва могли добраться до нашего дома.

— Признайся лучше, что ты любопытна и не столько спешила домой, как хотела посмотреть на московское войско?

— Это правда, но я смотрела более с боязнью, нежели с удовольствием, на это воинство. Это не рыцари: с шлемов их не развеваются густые перья; длинные кольчуги их не обнимают стройно стан, как рыцарские латы; золотые шпоры не звучат на ногах их, и на груди их не видно обета храбрости, креста меченосцев...

Отец громко засмеялся при этих простодушных словах, которые для Тонненберга были приятным признанием, что Минна не равнодушна к нему.

Между тем русские воеводы собирались в дерптском замке. Мстиславский, сойдя с коня и остановившись у крыльца, ещё раз оглядывая проходившие войска, шутя, сказал Даниилу Адашеву:

— Теперь ты, воевода от наряда, отворяй нам ворота городов ливонских! Смотри, — продолжал он, указывая на далеко протянувшийся ряд тяжёлых орудий, — смотри, сколько великанов в твоих повелениях! Непоразимые слуги твои сокрушат твердыни ливонские!

Тихая ночь заступила место ясного дня. Звёзды блеснули на тёмной лазури неба. Близ дерптских ворот на далёком пространстве белели шатры. Усталые стражи, опираясь на бердыши, прислушивались к малейшему шуму; но так было тихо, что можно было слышать, как при полёте ночной птицы вздрагивал чуткий конь, привязанный к жерди. Всё смолкло в городе, всё успокоилось, но в готической зале дерптского замка, в которой позлащённая резьба почернела от времени, ещё беседовали три русских

вождя. То были братья Адашевы и князь Курбский.

— Тесть мой прав! — сказал с жаром Даниил Адашев. — Он прав, устыдив клеветников твоих. Я также бы разорвал связь с Захарьиными.

— Брат! — отвечал Алексей Адашев. — Ветер волнует море, оскорбления раздражают врагов. Туров в темнице, и что всего горестнее, он за меня терпит, за меня понёс опалу!

— Не опала постыдна, а преступление! — перебил его Даниил. — Чем виновен Туров? Обличением Захарьиных. Не оскорбись, Курбский! Знаю, что царица тебе ближняя сродница, но и ты знаешь, что её братья всему виною. Я не узнаю Иоанна. Он верит Захарьиным. Но где был Сильвестр, что делал ты, Алексей, — любимец, друг царя? Или забыл Иоанн, что не Захарьины, а ты с Сильвестром открыл ему стезю, достойную величия царского? Чем заслужил ты ненависть? Чем навлёк клевету?

— Не дивитесь, — отвечал Алексей Адашев, — что сияние царской дружбы, падая на юношу, не знаменитого родом, раздражило честолюбцев. Захарьины могли сетовать на возвышение Адашева и силу Сильвестра. Они возмутили подозрением спокойствие Анастасии; внушили, будто бы Сильвестр и Адашев, тайные недоброжелатели ей, ждут только кончины царя, чтоб посягнуть на измену сыну царицы и предать трон князю Владимиру Андреевичу.

— Тебя ли подозревать, — сказал Курбский, — когда целью всех дел твоих было благоденствие России и слава Иоанна?

— О други, что говорите обо мне, когда и Сильвестр устранён от Иоаннова сердца. Беседы его стали в тягость царю! Иоанн, стыдясь уже слушать советы от бывшего священника новгородского, забыл в нём мужа, который во время бедствия предстал ему вдохновенный истиною, и, мудрый опытом, тринадцать лет поддерживая кормило правления. Сильвестр, видя, что время его миновало, с лицом светлым благословил Иоанна и отошёл в обитель пустынную.

— Иоанн не совсем ещё изменился к тебе, — сказал Даниил, — если по навету Захарьиных он желал удалить тебя, то для чего же почтил званием воеводы большого полка?

— Огонь светильника, истощаясь, ещё вспыхивает — и угасает. Иоанн отказал просьбам и слезам моим о прощении Турова... «Он не чтит царского рода, — сказал государь, — он раб-зложелатель. И ты, — продолжал он с гневом, — неблагодарный любимец, хочешь мне преграждать пути к славе моей!» Тогда он напомнил слова мои, что благоденствие России не требует разорения Ливонии. — «Государь! — отвечал я. — В царской думе я говорил как призванный тобою к совету, но, как слуге твоему, дозволь мне пролить мою кровь за тебя в войне ливонской». «Иди воеводою с князем Мстиславским», — так сказал Иоанн, — и Адашев с вами.

— А зависть и злоба не дремлют! — сказал Курбский. — Кто заменит царю тебя и Сильвестра? Пылкое сердце Иоанна любило добродетель, но опасно волнение кипящих страстей его.

— Анастасия успокоит их, — отвечал Алексей Адашев.

— Нет, она доверяет братьям своим, — сказал Даниил, — и Туров — жертва мести их...

— Он великодушно переносит бедствие, — проронил Алексей.

— Нет, я не могу этого так оставить, — сказал Даниил. — Я поспешу в Москву, паду к ногам Иоанна, покажу ему раны, которые понёс за него в полях казанских, в степях ногайских, и когда первый я вторгся в Крым и заставил трепетать имени Иоаннова там, где русская сабля ещё не обгадрялась кровью неверных! Я сниму золотые с груди моей и буду просить одной награды — оправдания невинному старцу; или разделю с ним жребий его, или царь с него снимет опалу...

— Успокойся! — сказал Курбский. — Иоанн вспомнит Адашевых. Обратимся к самой Анастасии для защиты Турова. Усыпим зависть братьев её дарами от корыстей ливонских. Ещё есть надежда.

ГЛАВА V

Великодушный пленник

Крепкий Феллин был оградой Ливонии: Адашев обдумывал средства овладеть им. Между тем в русский стан дошёл слух, что Фюрстенберг для охраны военной казны и запасов хотел отправить их в Гапсаль, лежащий у моря. По совету Алексея Адашева, воеводы разделили войско. Одна часть полков с воеводою Барбашиным должна была обойти Феллин и преградить путь Фюрстенбергу; другая, сильнейшая, пошла вдоль берега глубокого Эмбаха, а по волнам на судах потянулись тяжёлые картауны^[11], грозящие Феллину.

Барбашин спешил, невдалеке уже чернели городские башни Эрмиса; июльское солнце палило, пар подымался с хребтов усталых коней. Между тем в Эрмисе ландмаршал Филипп Бель с немногими, но храбрейшими рейтарами и черноголовыми витязями нетерпеливо ожидал случая к победе — и, сведав, что русское войско показалось на поле перед Эрмисом, налетел на передовые отряды. Стражи ударили тревогу; но Бель, опрокинув их, вторгся в середину войска — и загремела отчаянная битва. Далеко слышались треск оружий и крики сражающихся. Вожатые ополчения Алексея Адашева поспешили из-за леса на шум битвы, и воевода, быстро обойдя неприятелей, окружил, стеснил изумлённого Беля. Сколько ни порывался храбрый ландмаршал, разя и отражая, сколько ни отбивались шварценгейнтеры, закрываясь щитами, отличёнными головою Мавра, но щиты их разлетелись в куски, чёрные брони иссечены, голубое знамя растерзано. В русских полках раздался клик победы, и Бель по трупам своих и россиян, вырвавшись из сомкнутых рядов, понёсся к городу на быстром коне; но за ним ринулись русские всадники. Его настиг сильный Непея, слуга Алексея Адашева, и, богатырскою рукою удержав его коня, взял в плен знаменитейшего мужа Ливонии.

Перед Феллином сошлись все воеводы торжествовать победу. Повелели представить пленника. Появившись перед собранием русских вождей, благородный старец приветствовал их, но не с робостию, а с величием витязя доблестного; пожал руку простодушного Непеи и с весёлым лицом сказал:

— Старость немощная должна уступить бодрой юности!..

— Но для чего ты осмелился напасть на полки многочисленные? — спрашивали его воеводы.

— Победители знают, что сила не в числе, но в мужестве воинов, — отвечал Бель. — Вы сражались для добычи, а я за отчизну!

Вожди были изумлены храбростью Беля. Курбский подошёл и обнял его. Окружённый вождями, Бель не столько казался пленником, сколько военачальником, равным им.

— Скажи ему, князь, — сказал Мстиславский Шуйскому, — что у нас тяжело быть в плену и чтобы он поберёг весёлость свою.

— Воевода! — отвечал Бель. — Случай сделал меня пленником, но весёлость — дочь спокойствия и мать терпения; дозвожь же не разлучаться мне с таким прекрасным семейством.

Прошло несколько дней, и воеводы, желая насладиться беседой мудрого Беля, пригласили его к пиршеству.

Старец сидел за столом между Курбским и Алексеем Адашевым. Мальвазия лилась в немецкие драгоценные кубки, и золотая неволя^[12] переходила из рук в руки.

Бель отказывался от кубка, но сам Мстиславский сказал ему:

— Мы отдаём честь твоей храбрости в битве; не нужно быть робким и в пиршестве. Это мой походный дедовский кубок, и на нём надпись: «Неволюшка, неволя, добрая доля. Пей, не робей!».

— Пей! — повторили воеводы и пожелали Ливонии прочного мира.

Бель выпил.

— Так! — сказал он. — Ваше мужество водворит мир в Ливонии; но следами его будут пустые поля, развалины городов, могилы детей наших!.. Не того ожидали отцы наши. Было время, когда Ливония не страшилась врагов. Сильные верою торжествовали над силой. Твёрдые в добродетелях умели защищать отчизну и умирать за неё. Господь был за нас. Хвалимся славным преданием: в битве кровавой с воинством Витовта пал орденский магистр Волквин, избрали другого, и тот пал! Ещё избрали, но, сменяясь один за другим, ещё четыре орденские магистра легли за отчизну. И наши отцы были достойны столь славных предков.

Но когда мы отступили от благочестия и забыли веру отцов, Бог обличил нас гневом своим. Прародители воздвигли нам твёрдые грады, вы живете в них! Они развели нам сады плодоносные, вы наслаждаетесь ими. Но что говорю о вас? Ваше право — право меча; а другие, коварно лаская нас, обещая нам помощь, захватывают достояние наше. Несчастная отчизна моя, ты гибнешь и от врагов, и от мнимых друзей!.. Оковы...

Слёзы помешали говорить ему.

— Оковы бремят меченосцев! — продолжал он. — Но не думайте, что превозмогли нас храбростию: нет! Бог за преступления предал нас в руки ваши. Но благодарю Бога, — сказал Бель, отёрши слёзы, — благодарю, я стражду за любимое отечество!

— Ещё имеет Ливония мужей доблестных, — говорил князь Шуйский. — Найдётся не один Тиль.

— Не много подобных ему! — отвечал Бель. — Тиль убеждал граждан жертвовать богатством для спасения отечества. Наша драгоценность — мечи; спасём ими родину. Пожертвуем золотом, найдём и помощь и войска умножим. Не отвечали на призыв его и не дали золота.

— Но шесть лет сражались как рыцари, — сказал Шуйский.

— Великодушие крепче силы — и Дерпт тебе сдался, — отвечал Бель.

— Я слышал, — продолжал Шуйский, — что когда оставалось печатью скрепить договор — старик Тиль ещё раз вызывал, кто хочет идти с ним — умереть за родину?

— Так! — сказал Бель. — Но в Дерпте много буйных Тонненбергов, а Тиль был один.

Беседуя с Мстиславским, Курбский не вслушался в его слова.

— Люблю вашего Паденорма! — сказал Шуйский. — Мы разрушили стены, сбили башни — он не сдавался; мы овладели городом, а он всё ещё отбивался и не сдался. Почитая доблесть, я дозволил ему выйти с честью с его витязями.

— Я видел его, — сказал Курбский, — израненный, покрытый пылью и кровью, он выходил из города, от утомления опираясь на двух рыцарей. Чёрные волосы его разметались по броне; один из рыцарей, поддерживая его, нёс его шлем, другой — щит.

— Счастливее его был ваш Андрей Кошкаров, — сказал Бель. — С горстью воинов он отразил от Лаиса всё ополчение нашего Кетлера.

— Есть ещё у нас витязи! — воскликнул Шуйский. — Даниил Адашев на Крымской земле, сам

построив лодки, взял два турецких корабля; корабли оставил, пленных помиловал, а чтоб не кормить даром, отослал к турецким пашам в Очаков. А Курбский наш с братом Романом в воротах Казани, с двумястами воинов остановил десять тысяч татар!

— Хвала храбрым! — раздался крик пирующих. — Наполняйте кубки.

— Кубки знакомые, — заметил Бель, — они стучали на столах нашего Гольдштерна и заглушали стон вассалов его.

— Да, — проговорил Курбский, — не помогло богатство Голдштерну. Цепь золотая в полпуда блистала на нём, но в нём — золотника мужества не было.

Курбский, извещая Иоанна о победах, писал к нему о милосердии к Турову; к добродетельной Анастасии о заступлении за друга его. Но в тот самый час, когда оканчивал он письмо, свершилось бедствие неожиданное. Нетерпеливо ожидал Курбский ответа, ещё нетерпеливей Адашевы, готовясь на решительный приступ к Феллину. Вдруг поразила всех громовая весть, что Россия осиротела царицею, что Анастасии не стало...

ГЛАВА VI

Клевета

Уже две недели не умолкала гроза войны перед Феллином. Гранитные ядра, раздробляя камни, врезались в твёрдые стены. Долго стоял оплот Феллина; наконец, с разных сторон пробитый ударами, рассыпался и открыл путь воинству русскому; но ещё за рвами глубокими возвышались на крутизнах три крепости, и с древних башен, и с зубчатых стен, и с валов, поросших мохом, зияли ряды медных жерл, готовых встретить адом смелых противников. Там был и сам магистр с наёмниками, служившими за ливонское золото. Там были собраны сокровища рыцарей.

В это время из Псковопечерской обители прибыл в русский стан священник Феоктист.

— Бьёт челом воеводам ваш богомолец игумен Корнилий и прислал к вам со мною благословенные хлебы и святую воду, — говорил он князьям и боярам.

— Да будет предвестием радости твоё пришествие к нам в дни скорби! — сказал князь Мстиславский.

— Господь споспешествует вам, воеводы доблестные, — говорил смиренный иерей, — молитвами Владычицы Господь да поможет вам преложить скорбь на радость. Он воззвал от земли царицу, но не отъемлет от вас благодати своей!

С этими словами, взяв кропило с серебряного блюда, поддерживаемого иноком, и крестообразно оросив святою водою хоругви ратные и вождей, Феоктист сказал троекратно:

— Сила креста Господня — да будет вам во знамение побед!

И в тот же час ударили из всех пушек в проломы стен феллинских; вспыхнуло небо, застонала земля. При мраке наступившей ночи посыпались на верхний замок калёные ядра, пробивая кровли зданий, и с разных концов Феллина пламя, вырываясь столбами сквозь тучи дыма, слилось в огненную реку, стремившуюся к валу крепости. Клокотало растопленное олово на высоких кровлях, с треском падали башни и рушились пылающие церкви.

По тёмным переходам, по извивающимся лестницам вооружённые рыцари спешили в обширный зал Фюрстенберга, освещённый заревом пожара, которое отражалось в Феллинском озере. В этом зале старец, уже сложивший с себя достоинство магистра, указывая обнажённым мечом на пылающий город, убеждал воинов быть верными отчизне и чести.

— Нам нет пользы в обороне, — говорили наёмные немцы. — Откуда ждать помощи? Лучше сдать город, чем в нём оставаться и ждать смерти.

— Берите моё золото! Разделите мои сокровища! — воскликнул бывший гермейстер. — Но сохраните вашу честь!

— Запасы кончаются, мы должны сдаться, гермейстер! — говорили наёмники.

— Мы не сдадимся, пока меч будет в руке! — закричал Фюрстенберг. — Московцы в Рингене не сдавались нам, пока не истратили до последнего зерна пороха, а до нас нелегко достигнуть под огнём пятисот пушек.

— Нет, гермейстер! — отвечали наёмники. — Мы не останемся на явную гибель. Московцы нас

выморят голодом. А с одних блюд сыт не будешь, то знают послы твои, когда пустыми блюдами царь угостил их в Москве.

Фюрстенберг снова стал укорять малодушных, но в это время зал наполнился народом. «Домы наши горят! — кричали женщины, повергаясь с воплем к ногам магистра. Спаси детей наших!»

На рассвете в московский стан явились посланные для переговоров. Они объявили, что Феллин сдастся, если Фюрстенбергу с воинами и со всеми жителями русские не воспрепятствуют выйти из города.

Воевод созвали на думу. Алексей Адашев убеждал дать каждому из жителей Феллина свободу остаться или удалиться из города.

— Но для славы царя, — говорил он, — мы должны отказать магистру. Сей пленник нас примирит с Ливонией.

— Он должен остаться у нас вместо дани, которую Божьи дворяне [\[13\]](#) 50 лет платить не хотели, — сказал князь Горенский.

— Никого не выпускать! — сказал татарский предводитель, царевич Бекбулат, оправляя на голове узорчатую тафью с яхонтами. — Они научили русских воинской хитрости; пусть же кровью за безумство заплатят!

— Так, царевич! — проронил Мстиславский с усмешкой, покачивая татарским сапогом, униженным жемчугом. — Но кто же научил Дмитрия победить Мамая? Соглашаюсь с Адашевым: выпустить в Вельяна всех, кроме магистра.

— И его золота, — прибавил князь Горенский.

— Дельно, князь! — воскликнул Мстиславский. — Ты царский крайний, не позволяй же ни одного кубка вынести!

— Нет, — сказал Алексей Адашев, — пусть ливонцы сетуют на себя, а хвалятся великодушием русских. Тогда города ливонские нам добровольно сдадутся.

— Иоанн желает обладать Ливониею, а не её золотом, — сказал князь Курбский. — В Москве целые улицы кладовых с царскими сокровищами.

— Но согласится ли Фюрстенберг отдаться нам? — спросил Шуйский.

Мстиславский говорил, что можно обнадёжить магистра в милости Иоанна, уверить царским именем, что государь почтит его сан и на Москве даст ему по жизни город удельный.

— Если не будет на то воля царя, — прибавил Мстиславский. — То пусть возьмёт он от меня Ярославца и Черемшу, отчинные мои города, и с моими боярами отдаст их магистру, лишь бы не ввёл меня в слово, за царское имя его!

Жертвуя собой за спасение других и бросив взгляд презрения на малодушных, Фюрстенберг вышел из крепости. Но бессильно презрение над сердцами продажными. По отбытии гермейстера наёмники бросились на оружие, не для защиты, но чтоб разломать сундуки его; забрали золото, расхитили все драгоценности и поспешили выйти из города, между тем как правитель Ливонии предстал перед воеводами русскими.

Князь Мстиславский, проведая о сём, повелел настигнуть изменников и сорвать с них до последней одежды их. Предатели Феллина пришли обнажённые в Ригу, на казнь — народ умертвил их...

С удивлением взирали победители на грозные стены трёх крепостей Феллина, которые, стоя на высоте и с другой стороны облегаемые тремя озёрами, могли бы остаться неодолимыми под защитой

полутысячи пушек, если б с магистром было столько же храбрых воинов.

Вступая в Феллин, Мстиславский приветствовал воинство:

— Сподвижники доблестные! — говорил он. — В Ливонии не было дня славнее для нас. Взятием Юрьева не столько хвалились мы: Юрьев издревле был наследием русских князей, но Вельян[14] — сердце Ливонии. — Видите сами: вере не подобно[15], какую крепостью ограждён он. Велика к царю православному Божья милость. Боязнь ослепила очи противников; хвала вам! Вельян взят. Магистр в плену. К царскому имени прибавится титул государя ливонской земли.

— А Вельянский колокол пусть благовестит в Псковопечерской обители, — сказал князь Горенский, и за ним повторили все воеводы.

Далеко грянула гроза от стен Феллина, Курбский пошёл к Вольмару и оттуда, победитель нового ландмаршала, устремился к Вендену, поразил Хоткевича, спешившего на помощь Ливонии, рассыпал отряды литовские. Быстро знамёна их обратно неслись за Двину, от сверкающих русских мечей.

Таковы были подвиги Курбского; но тяжкая была дань заслугам его. Негодование выражалось в письмах Иоанна. «Ты побеждаешь с нашими воинами, — писал к нему царь, — ты взыскан нашею милостью, а в душе служишь обаятелю Сильвестру и роду Адашевых. Хвались предками своими — князьями ярославскими, но не располагай царскими пленниками и не дерзай оправдывать злоумышленников; чти мою волю и служи верно».

Сердце Курбского было удручено; он таил скорбь свою. Не молчал пылкий Даниил Адашев, и сколько ни убеждал его брат, Даниил, отказываясь от сана воеводы, просил от Иоанна дозволения явиться в Москву.

В тоже время воеводы поражены были страшной вестью: Бель погиб. Грозно встретил его Иоанн. «Не постыдит нас любовь к отчизне, — сказал он Иоанну, — постыдит кровопролитие победителей наших! «Не так должно ратовать царям Христианским. Смерть тебе за противное слово!» — вскричал Иоанн. Мгновенно увлекли старца... Вдруг одна из искр, ещё согревающих Иоанново сердце, угасающая искра милосердия, вспыхнула в нём. Он повелел остановить казнь, но царскому посланному указали на труп обезглавленный и землю, обгащённую кровью.

Участь Беля нанесла глубокую рану сердцу Алексея Адашева.

«Не здесь, так увидимся там!» — вспомнил он последние слова Беля. Все воеводы сетовали с Адашевым.

Наступала буря — и вдруг разразилась. Курбский стремительно вошёл в палату Алексея Адашева. Черты князя изменились от борьбы душевной; в волнении бросился он на скамью.

— Обвинены! — сказал он Адашеву. — Ты и Сильвестр обвинены в чародействе! Вы извели царицу, вы очаровали ум Иоанна!

Адашев от изумления безмолвствовал.

— Испытание тяжкое! — сказал наконец, вздохнув, Адашев. — Но пред нами Податель терпения. — И он указал на образ, который он брал с собою во всякий путь, — образ распятого Спасителя.

— Скажи, какова лютость человеческая? — спросил Курбский. — С чем сравнится злоба твоих гонителей?

— Я вижу слабость души их, — молвил Адашев, — и жалею о них. Они сами себя наказуют своим преступлением. Но пятно клеветы столь мрачно, что я должен отмыть его, должен оправдать себя. Хочу стать лицом к лицу с обвинителями.

— Ты посрамишь их, ты возвратишь себе Иоанна и возвратишь Сильвестра России! — сказал Курбский.

Адашев решил просить Иоанна о личном суде с доносителями и прибегнуть к посредству первосвященника, митрополита Макария.

«Если виновны мы, да подвергнемся смерти, — писал к Иоанну Адашев, — но пусть будет нам суд пред тобою, пред священниками, пред боярскою думою». Того же просил и Сильвестр.

ГЛАВА VII

Дом старейшины дерптского

Все воеводы знали о доносе на Адашева, но не видели его унижения. С тем же величием души, как и прежде, он беседовал с ними; с тем же усердием подвизался для Иоанновой славы. Торжествуя кротостью, он не однажды отвращал пламенный войну от замков и хижин, отдалял полки всадников от нив сельских, облегчал участь пленников, склонял командоров и фохтов ливонских уступать победу без кровопролития бесполезного; а внушения его человеколюбия были столь сильны, что и суровые воины смягчались сердцами и не смели даже и заочно преступить волю Адашева, как бы боясь оскорбить своего ангела-хранителя — невидимого свидетеля жизни.

Не в одном воинстве чтит Адашева — молва о его добродетелях обошла Ливонию. Многие из рыцарей ливонских старались снискать приязнь Адашева, — и особенно дерптский рыцарь фон Тонненберг.

Бывают случаи, в которых одна и та же цель представляется к успеху порока и к торжеству добродетели. Так, сияние солнца, помогая блистать алмазу, в тоже время способствует кремнистой скале отбрасывать тень. Тонненберг умел согласить свои виды с желаниями Адашева. Казалось, он действовал из одного сострадания к единоземцам. Так думал и добродушный Ридель, привечая Тонненберга, в котором — может быть, и скоро — надеялся обнять зятя. Правда, о Тонненберге доходили до него разные слухи, но проступки его он относил к пылкой молодости. Тогда в беседах рыцарских кубки не осыхали от вина, и потому многое, чего бы не извинили в наш век, считалось тогда удалством.

Ридель был богат, Минна — прекрасна. Удивительно ли, что Тонненберг старался ей нравиться! Между рыцарями Минна никого не видала отважнее; удивительно ли, что он нравился ей! Минна, не понимая чувств своих, краснея застенчиво, опускала в землю свои прелестные голубые глаза, встречаясь с красноречивыми взорами рыцаря, но снова желала их встретить. Тонненберг невинному сердцу льстил так приятно, что прелестное личико Минны невольно обращалось к нему, как цветок, по разлуке с солнцем тоскующий. При Тонненберге ей в шумных собраниях рыцарей не было скучно, без него и на вечеринках не было весело. Прежде Минна любила подразнить новым нарядом завистливых ратсгерских дочек, но когда привыкла видеть Гонненберга, то лишь тот наряд ей казался красивее, которым он любовался, и самое лёгкое, блестящее ожерелье тяготило её, когда рыцарь отлучался из Дерпта. Сметливый отец уже рассчитывал, во что обойдётся свадебный пир, а старушка Бригитта заботилась, вынимая из сундуков высоких бархат, дымку, ленты яркие, кружева золотые и раздавая прислужницам — шить наряды для Минны.

— Не торопись, Ева. Поскорее, Марта. Не по узору шьёт Маргарита: жаль и шелков, и дымки; а ты, Луиза, по бархату выводи золотою битью листы пошире, — говорила хлопотунья старушка. — Смотри, пожалуй! Марта не в пальцы глядит, а любит в стенное зеркало на свою пёструю шапочку, расправляя по плечам разноцветные ленты! О чём она думает? Не о работе, а о песенке: Юрий, Юрий... Ой уж мне...

— Не брани её, Бригитта. Пусть всякий думает о том, что любить, — говорила Минна, перебирая в ларце свои цепочки и кольца.

— А о чём задумалась Минна, рассматривая так пристально янтарное с кораллами ожерелье?

— Помнишь ли, Бригитта, я была в этом ожерелье на празднике командорши Лилиенвальд?

— Где в первый раз увидели рыцаря фон Тонненберга?

— Да... — отвечала, покрасневшись, Минна.

— И потому-то оно вам полюбилось? А как понравится вам, — спросила лукаво старушка, повёртывая высокою чернолисыю шапкою, — этот дамский наряд? Вы обновите его, когда вокруг богатой рыцарской колесницы будут толпиться по улицам Дерпта и друг другу шептать: «Смотрите! Вот едет молодая фон Тонненберг!»

Минна улыбалась. Вдруг она услышала в дальней комнате стук от опрокинутой шахматной доски и разлетевшихся шашек. Вошёл отец.

— Этот человек всегда меня сердит! — сказал он.

— Кто, батюшка? — спросила Минна.

— Кому быть, как не спорщику Вирланду, который мне досаждаёт вечным противоречием.

— И все за шахматы?

— Нет, в тысячу раз хуже. Он вздумал порочить честных людей! О, если бы узнал фон Тонненберг, то Вирланд бы с ним поплатился!

— Этот Вирланд — несносный человек, — сказала Минна. — Он надоел мне насмешками, а ещё больше — похвалами. Для чего, батюшка, вы пускаете его в дом?

— А кто будет играть со мною в шахматы и пилькентафель? Мало найдётся таких игроков. Вирланд преискусно играет, хоть я всегда выигрываю.

Минна, зная язвительность Вирланда, не хотела и расспрашивать, что говорит он о Тонненберге.

Вирланд был дворянин, который выводил род свой от незапамятных времён, но, довольствуясь обширным поместьем, не добивался рыцарской чести. Нельзя было сказать, чтоб он не был остроумен, но всегда ошибался в своих расчётах. Природа отказала ему в приятной наружности: маленькие глаза его разбегались в стороны, рябоватое лицо не оживлялось румянцем, но в сердце кипели страсти, и сильнее других была, по несчастью, влюбчивость. Неудачи раздражали его, и, желая отыграть умом то, что он проиграл наружностью, он находил удовольствие противоречить всем и каждому. При всём том стоило прекрасной девушке сказать ему несколько ласковых слов, чтоб раздуть искру, тлеющую в его сердце.

Вирланд увидел Минну, и снова любовь заставила его позабыть всё, о чём напоминали насмешники. Обманываясь милой улыбкой Минны, он рассчитал, что для получения руки её нужно приобрести расположение отца её и что для этого нужно угождать его склонностям. Ридель более всего любил играть в шахматы, и Вирланд проводил с ним целые вечера в этой игре. Ридель имел слабость сердиться за проигрыш, и Вирланд всегда доставлял ему случай выигрывать, а по расчёту, чтоб скрыть умышленные ошибки, спорил с Риделем в каждой безделице.

— Ты не смог бы выиграть, — говорил Ридель, складывая шахматы и принимаясь за кружку пива.

— Очень бы мог.

— Но если бы я...

— Нет, вы поступили бы иначе.

— Ты споришь по привычке...

— Лучше спорить, нежели соглашаться по привычке, как заика рыцарь Зейденталь. Вчера я сказал ему: «Какое приятное время!» — «Д-да, вре-емя прият-тное!» — отвечал он. — «Жаль только, что ненастно», — «Д-да, не-е-настно». Я помирал со смеха.

— Правда, что он соглашается по привычке, — сказал Ридель.

— И этого не скажу. Он соглашается потому, что иначе он должен бы молчать, а молчать всю жизнь так же трудно, как баронессе Крокштейн перестать говорить.

— Или как тебе перестать насмешничать.

— Мне ли смеяться над такую почтенною древностью, которая каждое утро расцветает, чтоб восхищать беззубого Ратсгера Бландштагеля.

— Вот Ратсгера ты можешь бранить вволю.

— Совсем нет: Ратсгер человек добрый, и добрее, чем скряга фон Гайфиш, у которого и десяти дней не пировали на свадьбе; умнее, чем рыцарь фон Дункен, который на балах отживает свою молодость, и, право, Ратсгер более любит отечество, чем какой-нибудь фон Тонненберг, который ласкался около богатой дочки бургомистра, чтоб скорее пустить в оборот капитал его на гончих собак.

— Злословие, любезный Вирланд! Тонненберг и сам не беден.

— Да, в залесье, около Нарвы, у него остались какие-то развалины, в которых живут старые совы; или, как говорил он, у него есть обширный замок, где он бывает наездом, а скитается всюду и за несколько лет прожил целый год в Новгороде.

— Ты нападаешь на Тонненберга.

— Как нападать на такого великого рыцаря? Я говорю судя по росту его.

— Ты слышал, что он заслужил награду на турнире?

— Да, он получил награду потому, что ему хотели дать награду.

— Нет, потому, что он храбр.

— Нет, потому, что он за день дал пир и так угостил всех храбрейших рыцарей, что на другой день никого не осталось храбрее его.

Так Вирланд спорил с Риделем, не щадя в насмешках никого и особенно тех, которых считал для себя опасными соперниками. Впрочем, он умел, кстати, похвалить родословную Риделя, гостеприимство его, умение жить, не упускал случая сказать приветствие Минне, но скоро увидел, что, проигрывая в шахматы, в тоже время проигрывал и в любви. Он слышал, как часто имя Тонненберга повторялось в устах Минны; он видел, как румянец живее играл на щеках её при входе рыцаря; видел, как трепетала рука её, принимая от Тонненберга нечаянно упавшее колечко или сорвавшуюся с косынки жемчужинку.

Тогда Вирланд, теряя время за шахматами, стал проклинать свою расчётливую обдуманность, мешался в игре, сердил Риделя и смешил Тонненберга и Минну.

Тонненберг знал о злословии Вирланда, догадывался о причине, но не показывал неудовольствия, как будто не обращая внимания на язвительного насмешника. Вирланд и сам был довольно осторожен в присутствии рыцаря, и если иногда забывался, Тонненберг отвечал ему презрительным взглядом и не входил в спор. Иногда рыцарь даже хвалил Риделю остроумие Вирланда, сожалел с Минною о его страсти злословить. Однажды только, выведенный из терпения, он отозвал его в сторону и сказал ему: «Я прошу вас, любезный дворянин, не утруждать себя красноречием, чтоб поберечь вашу голову!»

Вирланд промолчал; но с того времени старался разведать о Тонненберге и спешил сообщить Риделю вести, которым старик не поверил и, споря, опрокинул с досады шахматную доску.

Оскорблённый недоверием, Вирланд в бешенстве возвратился в свой дом.

— Безумные надежды! Безумная страсть! — кричал он. — Я стал добровольно посмешищем. И к

чему разуверять своенравного старика? Легкомысленная влюбилась в рыцарскую мантию. Пусть же обольёт её слезами! Но у меня ещё осталось средство. Эстонец Рамме должен через два дня возвратиться, если письмо сохранено и Юннинген сдержит слово, — тогда увидим!..

Минуло три дня. Минна сидела с Бригиттой в саду перед любимым своим цветником и забавлялась, слушая рассказы старушки.

— Теперь не надобно будет за четыре месяца до свадьбы созывать гостей, как было перед свадьбой вашей матушки, — говорила Бригитта. — О, если б не одолела московская сила и не заперла пути к Дерпту, тогда бы собрались и на вашу свадьбу благородные рыцари со всех сторон. Наехали бы и ревельский фрейгер, и рижские фохты; повеселились бы высокоименитые командоры и сам светлейший, владетельный дерптский епископ. А теперь каково-то он в Москве поживает? Бедные мы овцы без пастыря! Только скажу, что нет худа без добра: скорее отпразднуем, а то бывало: на свадьбе ли, на крестинах ли и в чуже — голова от пиროванья кругом пойдёт. На ваших крестинах, барышня, гости две недели в замке без отдыха праздновали. Зато из кубков столько наплескали рейнвейном, что призвали конюхов завалить полы сеном. Было хлопот всем докторам в околodge — лечить рыцарей, из которых иной в это время влил в себя целую бочку рейнвейну... А все на свадьбе без бед не обойдётся! При встрече жениха и невесты, как ни упрашивают званых гостей забыть прежние ссоры и на пиру всем быть друзьями, всякий, в знак согласия, поднимает вверх свою руку, а после посмотришь: вино всех перессорит.

— Я люблю видеть рыцарей на турнирах, а не на пирах, — сказала Минна, оправляя белокурый локон, скатившийся на её румяную щёчку.

— И ещё любили смотреть на невест, когда их встречает жених, — сказала Бригитта. — Скоро ль я полюбуюсь, когда жених и званые гости встретят нас у городских ворот, и в честь вас, обёртывая на скаку красивых коней своих, чапраками блестящих, будут в щиты стучать копьями; зазвучат трубы и флейты, и при пении, крике и ружейной стрельбе вы въедете в город. На вас будет жемчужный венок с дорогими камнями, и вы будете увешаны кольцами и золотыми цепями. Для каждого колечка место найдётся.

— Мне трудно будет и двигаться, — сказала Минна.

— Тем лучше! Ведь вас повезут в колеснице. Пусть всякий видит, что вы дочь старейшины дерптского... А кому и быть богатым, как не ему? Правду сказать — и милый ваш рыцарь богат... Никогда серебром не дарит меня, всё золотыми деньгами. Видно, у него их много в замке его. О, вы будете ещё богаче.

— Ах, Бригиттушка, я думаю, счастье не в богатстве, а в любви того, кого любишь.

Бригитта продолжала хвалить Тонненберга. Минне приятно было слышать о нём, но разговор был прерван прибежавшим растрёпанным эстонцем, который, запыхавшись, едва мог промолвить Минне: «Госпожа-барышня, господин-батюшка кличет вас».

Минна весело побежала, но каково было удивление её, когда отец сурово встретил её.

— Минна! — сказал он, — с этого дня Тонненберг не появится в доме моём. Не отлучайся от Бригитты. — А ты, — продолжал он, обратясь к старушке, — будь при ней безотлучно, ни на шаг из дома!

— Тонненберг не появится? — спросила Минна.

— Я не хочу и слышать о нём. Ты не должна и думать о нём!

Ридель вышел из комнаты, оставя Бригитту в недоумении и Минну в слезах.

В тот же вечер Минна слышала продолжительный стук в ворота дома Риделева, но не отпирали их; слышала грубый голос привратника и, взглянув в окно, увидела удаляющегося рыцаря. По белому перу на

голубом шлеме она узнала Тонненберга.

Набегающие облака заслонили сияние вечернего солнца. Минне казалось, что лучшие надежды её скрылись за облаком бедствия.

ГЛАВА VIII

Болезненный одр

Жизнь человеческая подобна дню, который то проясняется, то вдруг становится сумрачным. Но иногда бедствия, как тучи, соединяются, всё вокруг нас облекают унылым мраком или озаряют грозным светом, и тогда только рассеиваются, когда солнце жизни нашей сойдёт с небосклона и тишина смерти, как ночь, успокоит нас.

Так думал и Адашев, получив весть, что царь отринул просьбу его предстать на суд, повелел судить его и Сильвестра заочно. Доносители были и судьями их: признали их достойными казни; но как бы из одного милосердия, Иоанн, смягчив приговор, повелел Адашеву переменить титул воеводы на звание наместника выжженного Феллина и удалил Сильвестра на пустынный остров Соловецкий.

Наиболее скорбел Даниил Адашев, наиболее негодовал Курбский; но Алексей, в злополучии твёрдый, сохранил спокойствие души добродетельной.

— Суд на безответных! — говорил Курбский. — Да будут же безответны предатели в день последний! Но чтоб постигнуть всю дерзость, на которую они посягнули, чтоб понять всю злосчастную перемену души Иоанна, прочти грамоту нашего друга, с которою тайно прибыл ко мне Владимир — старший сын почтенной Марии...

Адашев узнал руку князя Дмитрия Курлятева: «И мы, друзья Адашевых, боимся прослыть чародеями, — писал Курлятев, — когда во всей Москве слух идёт, что Сильвестр и Адашев одним волшебством успевали. Не знаем, верит ли в душе тому Иоанн, но видим, что обвинил их, а предстать к оправданию не дозволил».

Письма Адашева едва ли достигли Иоанна. Доносители могли не допустить их и трепетали при мысли о возвращении и Адашева, и Сильвестра, зная, что появление их, как возвращение дня, покажет всю черноту клеветы безумной, во мраке кроющейся. Лесть предстала к трону в одежде сетования, и коварство под рясой смирения. Многомолитвенный постник и воздыхатель архимандрит Левкий, иноки Вассиан и Мисаил стали наряду с обвинителями и судьями. «Премилосердый царь!» — говорили клеветники Иоанну. — Уже по чародействам Сильвестра и Адашева и воинство, и народ любят их более, нежели тебя; молятся за них более, нежели за царский дом твой. Увы, видели мы, бедные, что и тебя, великого и славного государя, они как бы в узах держали; враги здоровья твоего сокращали трапезу твою — ни яств, ни питания не давали в меру; а влекли тебя в землю казанскую чрез леса дремучие и пески палящие; когда же ты простёр на Ливонию руку, тогда завистники славы твоей хотели остановить тебя; орла удержать на полёте. Увы, государь! Не своими очами смотрел ты на царство твоё; но когда отогнал от себя василисков чарующих, открыл очи на всю державу твою, сам и правишь, и судишь, казнишь рабов и милуешь. Денно и ночью вопием ко Господу в молитвах смиренных, чтобы ты не призвал Сильвестра и Адашева, да не погубят вконец царство твоё, да не лишимся тебя, как лишились мы царицы безвременно».

«Так, — продолжал Курлятев, — они, растворяя яд смертоносный сладостию ласкательств, отравляли сердце Иоанна. Царь созвал думу. Но, когда прочли обвинение, митрополит Макарий встал с места своего и, обратясь к государю, пред всеми сказал: «Мы слышали обвинение, но не видим обвиняемых. Повели предстать им. Услышим, что скажут, и тогда дадим суд по правде». Умолк первосвященник, безмолвствовал царь, смутились доносители; но, не ожидая царского слова, возопили: «Царю ли быть в одной палате с

крамольниками? Обаятели и царя очаруют, и нас погубят! В присутствии их онемееет язык обвинителей...» Иоанн повторил слова сии, Сильвестр и Адашев осуждены».

— Что скажешь ты? — спросил Курбский, когда Адашев дочитал письмо.

— Друг! — отвечал Алексей Адашев. — Помнишь ли ты пение при гробе брата твоего, храброго князя Романа? Так житейское море воздвигается бурей напастей. Не скорби, Даниил!

Даниил Адашев, погруженный в мрачное размышление, как бы пробудился при сих словах.

— Но в чём обвиняют меня? — спросил он.

— В чём обвиняют! — сказал Курбский. — Ты — брат Адашева, ты — зять Турова; а здесь примечают за всеми нашими действиями, передают все наши слова...

— Пусть передают! — воскликнул Даниил, — я сам предстану пред Иоанном, открою чувства души моей. Унижение тяжелее смерти.

— Отложи до времени отъезд твой, — сказал Алексей...

— Чего мне ожидать? Ты знаешь, какие вести получил я: жену мою три месяца не допускают в темницу несчастного отца, и безвестность о нём истомила её. Она не встаёт с одра болезни. Все меня призывает в Москву. Я уже писал к Иоанну и жду его слова.

Через несколько дней некоторые из жителей Феллина увидели трёх русских воевод, выехавших в поле за городские ворота. Всадники пронесли так быстро, что нельзя было разглядеть их внимательно, но можно было заметить, что один из них был без панциря, в чёрной одежде; чело его закрывали длинные волосы; но на груди, в свидетельство доблести, блестели золотые. Отъехав далеко по долине, два спутника прощались с ним; нельзя было разобрать их слов, но долго прощались они; наконец третий с усилием вырвался из объятий их, хлестнул коня и помчался в пыльную даль. Тогда двое других повернули обратно к Феллину, и когда любопытные ливонцы спросили проходящих воинов о них, то слышали славные имена Курбского и Адашева.

— Так это царский наместник Феллина? Это добрый Адашев? — говорили ливонцы, смотря на Адашева.

Часто прихотливая рука владельца полей заставляет светлый источник переменять течение, но где ни появляется он — везде благовоспитывает земле. Удалённый от двора царского в город ливонский, Адашев по-прежнему благовоспитывал человечеству. Несколько городов ливонских хотели добровольно сдаться ему. Так торжествовала добродетель; но зависть гонителей желала торжествовать и над нею. Новые успехи Адашева причтены были к новому его чародейству. Внезапно повелел Иоанн заключить его в Дерпте и содержать под стражей. Содрогались воеводы, сетовали воины; далеко за стены городские провожали Адашева благодарные феллинские жители.

Уже не было при нём никого из друзей; Курбский расстался с ним, ведя воинов на ратные подвиги.

Только два верных служителя: добрый Непея и Василий Шибанов, любимый слуга Курбского, оставались при Адашове в башне дерптской, где суровые татарские стражи стояли у всех выходов и свет дня тускло проникал в толстые стены сквозь толстые решётки. Силы Адашева ослабевали, ещё крепился он, преодолевая терпеливо болезнь, но столько быстрых переворотов, столько перемен неожиданных наконец победили изнеможением твёрдость его...

Прошёл уже месяц со дня его заключения. Несколько дней служители замечали в нём какое-то уныние. В одну ночь Шибанов разбудил своего товарища.

— Непея! Боярин с кем-то разговаривает.

— Тебе так послышалось, — сказал Непея, — не меня ли зовёт он? — И бросился в покой Адашева.

— Откуда прибыли послы, и желают ли вступить в переговоры? — спросил Алексей Адашев вошедшего служителя.

Непея замер, не веря глазам своим.

— Я имею власть принять и отвергнуть предложения их, — сказал Адашев и посмотрел на Непею. — А, мой добрый слуга. Не ты ли захватил Бея? Жаль мне старца, но я буду умолять о пощаде его.

— Он казнён, — сказал Непея, вздохнув и покачав головою.

— Что говоришь ты! Он казнён! — воскликнул Адашев, сиюсь приподняться с одра. — Казнён! — повторил он и, закрыв руками лицо, отчаянно бросился на скамью.

Непея перекрестился, не спускал глаз с доброго своего господина и плакал.

Адашев умолк, но лицо его горело, он метался. Шибанов тосковал с Непеею, и оба не отходили от больного.

На другое утро Адашев, казалось, опомнился.

Шибанов подал кружку воды.

— Нет, — сказал Адашев, — вода не утолит моей жажды. Подай свиток!

Это был список апостольских посланий, начертанный рукою Адашева, который всегда с новым утешением его прочитывал.

Непея подал свиток, и Адашев успокоился.

По закате солнца болезнь приступила с новым порывом. Тоска и беспокойство усилились. Адашев забывался: то казалось ему, что он беседовал с Сильвестром, то думал, что видит Иоанна, то мечтал, что находится в семействе своём и приветствовал друзей своих, как будто бы его окружающих.

— Прочти мне, Курбский, твоё предложение беседы Златоуста. Тише, тише... нас всех назовут чародеями и первого — тебя. Тебя не остановят в пути ни морозная зима, ни знойное лето. Ты понимаешь греков. Ты друг Максима. В глазах Левкия — ты чародей! Сильвестр и Адашев чародеи, по совету их издан судебник. Мы обвинены, осуждены без ответа!.. Но государь! Сильвестр назидал тебя по власти веры, я говорил тебе по сердцу друга... О, государь! Тебе открыто сердце моё! Ты наедине воспретил мне называть тебя царём, ты хотел, чтоб я тебя называл Иоанном... Верь Иоанн, что мне любезна слава твоя, но добродетель в царе — любезнее славы... Иоанн, кто разлучает нас? Страшись ласкателей! Как моль тлит одежду, в которой кроется, так ласкатели тлят сердце, которому льстят. Презирай шутов! Царю нет времени слушать их, если он заботится о благе подданных. Страшись себя. Страсти, как огонь, распространяют вокруг себя тление. Угаси их — и будь над собой властелином. Повелевать собою славнее, чем повелевать другими. Государь, друг мой! Не предавайся в обман удовольствиям: излишество их истощает силы души. Удержи гнев твой. Милость — есть право царя на любовь народа. Помнишь ли, как славили имя твоё, когда для меня ты возвратил из заточения мудрого старца, грека Максима. Покровительствуй знаниям полезным. Розмысл [\[16\]](#) помог тебе под Казанью. Чти храбрых, в ранах их сияет мужество. Не ищи Бога в отдалённых обителях, но ищи Его в благих делах на пользу царства. Не верь доносителям: на одно слово правды услышишь десять слов клеветы. Не по клевете ли Туров в темнице?.. Брат мой! Брат мой, Даниил! Не проклинай врагов. Ты проложил путь в царство Астраханское, полное мечей и копий... Ты везде побеждал. Победи себя. Увы! Вспомни слова: «Одним языком прославляем мы Бога и отца и проклинаям человеков, сотворённых по подобию Божию!» Из тех же уст исходят благословение и клятва. Но, брат возлюбленный, течёт ли из одного источника вода сладкая и горькая...

Так говорил Адашев, он весь горел как в огне. Глаза его не могли узнавать окружающих. Тоскуя, в жару, бросался он из края в край одра своего; то вдруг вскакивал, то опускался без чувств на ложе; лицо его рдело, дыхание ускорялось, уста засохли — и ничто не могло утолить жажды его.

Иногда в исступлении он схватывал руки слуг, вскрикивая: «Слышите ли шум? Это бедные люди! Они пришли ко мне; на них ветхое рубище, дайте им от меня одежду. Голод томит их; призовите их ко мне: пусть они сядут за столом моим. Приблизьтесь, други, приблизьтесь! Я представлю царю челобитные ваши. Кто из вас несчастлив — я пролью с ним слёзы; кто из вас беден — я разделю с ним избытки мои».

Иногда, приходя в себя и тихий как ангел, он безмолвно смотрел на святую икону, но скоро снова впадал в забытие.

Напрасно усердный Непея приносил ему еду — Адашев не касался её. «Поди, — говорил он, — в ту палату, которая в саду моём обсажена густыми деревьями; там найдёшь ты десять несчастных, проказую страждущих: тело их в стружьях, но светла их душа. Отнеси им сии яства. Не говори о том никому: я тайно служу им в доме моём. Скажи, что я приду к ним омыть ноги их, они в язвах, а все несчастные — братья мои!»

Чаще всего Адашев вспоминал о супруге своей. «Подойди, — звал он, — соименница доброй царицы! Подойди, моя Анастасия, супруга милая! Ты уладила жизнь мою, я буду жить для тебя! Бог не дал детей нам, но Он послал нам сирот — и мы взлелеяли их как детей своих!»

Адашев таял в огне болезни. Так прошло восемь дней. На рассвете девятого дня послышался стук в железных дверях башни и вошёл Курбский. Он спешил в Дерпт обнять несчастного друга...

Лампада отбрасывала слабый свет на высокие своды башни и на горящее лицо страждущего. У ног его плакал Непея, у изголовья его молился Шибанов.

— Увы! — воскликнул Курбский, — ты ль это, друг мой, Адашев?

Адашев с усилием приподнял глаза и, как бы стараясь что-то припомнить, сказал изменяющимся голосом:

— Кажется, черты лица твоего мне знакомы! Кажется, я видел тебя в лучшие дни моей жизни?

— Алексей, ты не узнаешь меня?..

— Друг... прости!.. — произнёс Адашев и тяжело вздохнул, слеза выкатилась из глаз его.

Курбский взял его руку и с ужасом почувствовал, что она охладела в руке его. Печать тления изобразилась на прекрасном лице: оцепенели уста, померкли глаза, но последний взгляд их был взглядом ангела, отлетающего к небесам. Вскоре лицо сие прояснело выражением спокойствия, которое показывало, что никакое угрызение совести, никакое преступное воспоминание не возмущало последних чувств сердца добродетельного.

В дерптской православной церкви Святого Георгия пели над гробом Адашева: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу твоему притёк вопию», — и плакал Курбский, вспомнив слова друга, склонясь над гробом его.

И понесли тихо в церковную ограду гроб Адашева при бесчисленном стечении русского воинства, приезжих псковитян, новгородцев, рыцарей и граждан дерптских. День был пасмурный, но вдруг показалось солнце и блеснуло на гробе, опускаемом в обитель тления. Первая горсть земли туда Посыпалась из руки Курбского. Шибанов и Непея, бросаясь на колени, рыдали над могилою, готовой сокрыть навеки славного мужа.

ГЛАВА IX

Похищение

Сколько раз ни возобновляется в мысли скоротечность жизни, но человек столь развлечён в чувствах, столь слаб сердцем, столь предан свету, что всегда с каким-то недоумением видит гроб того, который незадолго изумлял его или могуществом, или славою; дивится, словно случилось событие неслыханное. Самая зависть, неутомимо преследующая свои жертвы, на время успокаивается; самое злословие часто не дерзает бросать своих стрел за пределы гроба.

Так, враги Алексея Адашева, поражённые известием о его смерти, онемели на время. Один голос истины был слышен над прахом его. Ничто не мешало литься слезам благодарным.

— Мир тебе, добрый военачальник! — сказал поседелый гражданин феллинский, подойдя к могиле. — Тебя оплакивают не одни соотечественники, но и мы — чужеземцы; не одни те, с которыми ты побеждал, но и побеждённые тобою.

Уже холмик набросанной земли означил место, где навеки от лица живых скрыли Адашева, как вдруг в толпе расходящегося народа послышался голос: «Покажите мне последнее жилище его!»

Неизвестный юноша, который, казалось, только что приехал из дальнего пути, шёл поспешно к могиле Адашева.

— Поздно я прибыл! — воскликнул, всплеснув руками, — я не застал тебя, я не простился с тобою!

Курбский узнал Владимира, сына вдовы Марии, преданной роду Адашевых. Но Владимир не видел его и, казалось, не видел ничего, кроме земли, которую орошал слезами.

— Отец несчастных, ты ли в могиле? Благотворитель наш, зачем ты оставил нас? Любимец царский, твоё ль здесь жилище? Чужая земля приняла тебя. Осиротели друзья твои, осиротело отечество. Где ты, Адашев?

— Здесь всё, что было в нём тленно, — сказал Курбский, указав на землю, — там, — продолжал он, указывая на небо, — всё, что в нём было бессмертно.

Владимир взглянул на Курбского и прижал его руку к своему сердцу...

— Князь, я спешил, — сказал он прерывающимся голосом, — но уже не увиделся с другом твоим.

Все окружающие взирали с участием на слёзы, бегущие из глаз благородного юноши, как вдруг появился полковой голова, сопровождаемый двумя татарскими всадниками, велел схватить его и наложить на него оковы.

— Остановись! — крикнул Курбский, — и чти моё присутствие.

Суровый голова обернулся.

— Князь! — проговорил он почтительно, — таково повеление воеводы князя Мстиславского.

— Князя Мстиславского? — повторил в недоумении Курбский. — Что это значит, Владимир?

— Не знаю вины моей, — сказал юноша, слова эти были произнесены с той твёрдостью, которая свидетельствовала о его искренности, — но повинуюсь!

— Куда ведут его? — спросил Курбский.

— В стан князя Мстиславского.

— Я еду с ним! — сказал князь и, сняв цепи с рук юноши, бросил их татарам, а слугам велел подвести коней себе и Владимиру.

Голова сопровождал князя. Татарские всадники ехали в отдалении.

Глухой шум раздавался в народе. Каждый толковал по-своему о случившемся. Проходящие останавливались и с любопытством взирали на грозного русского вождя. В числе их был и отец Минны.

В то самое время, когда всё внимание Риделя было устремлено на Курбского, кто-то из проходящих нечаянно толкнул дерптского старейшину.

Ридель, нахмурясь, оглянулся и узнал Вирланда. Дворянин не скупился на извинения.

— Полно извиняться, любезный Вирланд, я уверен в твоём красноречии.

— А не в преданности? Нет, прошу отличать меня от рыцаря фон Зинтена, который толкает проходящих, хотя за триста лет предки его...

— Знаю...

— Толкались в поварне моих предков.

— Видно, что Зинтен сменил у тебя Тонненберга.

— О нет, между ними есть разница. Зинтен всех толкает от гордости, Тонненберг всюду вталкивается от низости. Только ему не везде удаётся...

— Да, у меня не удалось...

— То же и у Норбека.

— Как, он пировал у Норбека и свёл с ним дружбу?

— Да ещё удружил, подвёл полк Адашева к его замку! Обнадёживал москвитян добычей, с тем, чтобы самому быть в половине. Мало того: лицемер убеждал Норбека, что всего благоразумнее сдаться.

Ридель покраснел, вспомнив, что по внушению Тонненберга уговаривал многих рыцарей к сдаче замков их московским воеводам.

— Однако Норбек, — продолжал Вирланд, — едва было не разрубил приятелю головы. Если все, — сказал он Тонненбергу, — будут помышлять о сдаче своих замков, а не о защите их, то мы сами предадим врагам свою честь и отечество.

— Теперь не время противиться, — сказал Ридель, вздохнув, — нас гнетёт судьба, в этом случае я не виню Тонненберга, но радуюсь, избавясь от него, и благодарю тебя, любезный Вирланд.

— Благодарите его самого. Если б письмо его к Юннингену не облегчило его в бесчестных поступках, вы нескоро бы от него избавились.

— Знаешь, сегодня я встретил его. Он в двух шагах прошёл мимо меня и глядел с такою смелостью, как ни в чём не виноват, будто бы и не заметил меня.

— Может быть, он не узнал вас по слабости зрения, — сказал Вирланд с усмешкой. — Тонненберг, впрочем, смог разглядеть, что вы богаты...

— Ты думаешь, что он хотел жениться из одного корыстолюбия?

— Нет, не из одного корыстолюбия: он корыстолюбив для мотовства.

— И, однако ж, при нашей размолвке он сказал мне: «Ты можешь верить этой клевете, а я не имею

нужды тебя разуверять», — и более ни слова.

— Не правда ли! — воскликнул с пылкостью Вирланд, — что он любил не Минну, а её богатство? Можно ли так равнодушно потерять надежду быть супругом прекрасной?

— Но как согласить с корыстолюбием равнодушие Тонненберга.

— Равнодушие — было коварство. Он почувствовал себя уличённым и стал бы оправдываться, если б мог оправдаться.

— Я счастлив, — сказал Ридель, — что не погубил мою добрую Минну, не выдал её за негодяя. Кажется, она забыла о нём, только не знаю, отчего более прежнего не терпит тебя.

Вирланд хотел улыбнуться, но видно было, что ему нелегка была эта улыбка.

— Да, — сказал он, — чего не случается на свете? Я слышал, что те, кто не терпел один другого, часто сильнее любили друг друга после брака, нежели те, которые до свадьбы бредили от любви... Любовь сильнее рассудка, а время сильнее любви.

Ридель задумался, он никогда не был расположен принять Вирланда в родство, сколько не хвалился дворянин знаменитостью предков. Он был нужен Риделю только для партии в пилькентафель.

— Откровенно скажу тебе, Вирланд, — проговорил старик, — что не выдам Минну против её воли. Ей жить с мужем, и я не хочу, чтоб она жаловалась на отца.

Вирланд что-то хотел ответить, но оскорблённое самолюбие спутало его мысли.

— Что тебя выманило из дома? — спросил Ридель, стараясь переменить разговор.

— Любопытство, которое столько же сильно во мне, как своеобразие в женщине.

— Ты видел погребение Адашева?

— Видел и радовался, что добрые люди оставляют свет, в котором им тесно от порочных, злых и глупых и где столько препятствия добру, столько гонения уму, столько досад и печали, что слишком невыгодно долго жить...

— Знаю я вас, нелюдимов! — сказал, усмехаясь, Ридель. — Вы браните жизнь, а пожить не откажетесь.

Они дошли до дома Риделя. У крыльца Вирланд хотел проститься.

— А партию в пилькентафель? — сказал Ридель. — Отобедай с нами.

Вирланд услышал голос Минны и решил идти за Риделем.

— Ах, Бригитта! — воскликнула Минна, взглянув в окно, — опять Вирланд! Как же избавиться от этого бродящего злословия?

Слова эти были сказаны так громко, что Вирланд услышал их. Ридель вошёл в комнату и поспешил к пилькентафелю, но Вирланд не следовал за ним.

Миновало несколько дней. Вирланд не приходил в дом Риделя, и Минна, к удивлению отца, снова сделалась задумчивой. Ридель заставлял её в слезах, и на вопрос его, от чего плачет, она отвечала: «Мне что-то скучно, батюшка».

Скука налетает на девушек при легчайшем ветерке своеуравия, и Ридель не слишком тревожился, но шахматная доска и пилькентафель, потребность играть с Вирландом обратились в привычку. Наконец, он решил послать своего прислужника, толстого Книппе, просить к себе Вирланда, а сам между тем, чтоб рассеять туман, бродивший с утра в его голове, после пересудов в дерптском магистрате, взял свой

родословный свиток, сел к цветному окну и, стряхнув пыль, стал рассматривать все ветви родословного дерева. Всё, что слышал он о своих предках, тогда оживилось в его воспоминании.

Чувство удовольствия при обозрении расписанных золотом и киноварью кружков, отмечающих бытие Ратсгеров, рыцарей и многих Вильгельмин, Маргарит, урождённых фон Люберт, фон Тизенгаузен, мешалось невольно с чувством человеческой суетности. Сколько при жизни этих господ и госпож, подумал Ридель, было шуму от них, а теперь только одни имена их смирёхонько стоят в кругах родословной. Ридель вздохнул, взглянув на круг, в котором было имя последней отрасли его рода — имя Минны. Отцовская заботливость ещё не видела имени, которое могло бы поддержать его род и обеспечить счастье дочери, для чего недостаточно одного богатства.

Книппе так замешкался, что терпеливый Ридель положил родословную в ларчик и, наполнив пивом большую оловянную кружку, обратил своё внимание от покойных предков на беспокойных гусей и уток, бродивших под его окнами. Так, в мыслях человека возвышенные предметы часто сменяются самыми мелочными, и случается, что герой, решивший судьбу царств, обращает внимание на мух, которые его беспокоят.

Ридель опорожнил кружку, а посланный всё ещё не возвращался, и старейшина, выходя из терпения, послал к Вирланду другого эстонца — поторопить ленивца Книппе.

Прошёл ещё час и, к досаде Риделя, оба посланных всё не возвратились. Он послал третьего эстонца посмотреть, что они делают.

Лишь только третий ротозей вышел из дому, как второй пришёл, но с трудом добрался до дверей и едва стоял на ногах, придерживаясь за изразцовую печку.

— Негодяй! — кричал Ридель, — я тебя жду, а ты празднуешь. Где Книппе? Видел ли ты Вирланда?

Эстонец попытался что-то сказать, но вместо ответа пошатнулся и рухнул на пол.

Наконец, возвратился и третий посланный, немного исправней второго. С трудом понял Ридель, что Вирланд куда-то надолго отлучился, а слуги, в отсутствие господина, бросились в погреб, опустошили бочку вина, а с ними и Книппе.

— Добро, бездельники! — кричал Ридель, — вас протрезвлять палками...

Он продолжал ругать их, как вдруг вбежала Бригитта и спросила:

— Не видали ли барышни?

— Что ты говоришь? — спросил Ридель.

— Не могу её отыскать. Где она? Милая моя барышня!

— Ты с ума сошла, Бригитта!

— Посмотрите сами: её нет... Доски из садового забора выломаны. Пожалуйте, сударь, посмотрите.

Ридель бросился в сад.

— Она сидела в беседке, — говорила плачущая Бригитта. — Я вышла в девичью посмотреть на шитье золотом, но, вернувшись, не нашла её ни в саду, ни в доме...

— Это удивительно! Везде ли ты смотрела?

— Везде, сударь. Ах, какое несчастье! Я сама себя погублю, если что-нибудь случилось с барышней.

Ридель подошёл к беседке, где высокий кустарник и густой плющ заслоняли забор, и заметил несколько выломанных досок; чрез отверстие можно было пройти человеку, но оно было снова

заколочено, однако ж так плохо, что вставленные доски могли отлететь от одного толчка.

Злоумышление было очевидно; осталось убедиться в том, чему Ридель боялся верить.

Он обегал все углы дома и сада; оглядел каждую тропинку и возвратился к беседке. На кустарниках вокруг неё несколько ветвей было оторвано; другие наклонились к земле; в двух шагах от беседки Ридель поднял косынку Минны.

— Это её косынка! — вскрикнула Бригитта.

— Чего же ты смотрела, злодейка? Чего ты смотрела! — закричал Ридель.

Бригитта от испуга затряслась.

Напрасно несчастный отец звал Минну. Нельзя было сомневаться в её похищении. Оставалось открыть похитителя.

Выломанная часть забора выходила к лугу, который прилегал к стене дома Вирланда. С этой стороны похитителям безопаснее было войти. Заметно было по следам, что их было двое. Но все следы исчезли позади забора, где мелкая трава была притоптана копытами лошадей. Вещи Минны осмотрены и найдены в целости.

Начались допросы и поиски. Прежде всего подозрение пало на Тонненберга; но в тот же самый день Ридель встретил Тонненберга на улице, близ дерптской горы. Рыцарь кивнул головой Риделю и спокойно продолжал идти. Посланные тайно в дом, где жил Тонненберг, известили, что не только не видно было приготовлений к отъезду рыцаря, но он ещё располагал прожить в Дерпте несколько месяцев. Допрашивали Конрада, конюшего Тонненберга; один вид этого простака и слова его убедили, что он мог бы отвечать, если б его спрашивали о лошадях господина, но более он ни о чём не знал и знать не хотел.

Соседство Вирланда и поспешный его отъезд навлекали на него особенное подозрение. На другой день, по распоряжению дерптского магистрата, допрашивали всех людей Вирланда; никто из них не мог сказать более весельчака Дитриха, который смешил судей своими ответами. Он говорил: «Господин мой собирался ехать к рыцарю Юннингену, о котором я ничего сказать не могу; ни мне до него, ни ему до меня не было дела. В воскресенье господин поднялся раньше зари и велел приготовить для отъезда дорожную повозку, обитую внутри сукном с плаща его дедушки, а снаружи закрытую кожаным навесом от дождя, столько обветшалым, что сквозь него можно видеть солнце днём и луну ночью. В повозку впрягли трёх лошадей, разной масти, но одного семейства; старшая доводилась бабушкой младшей и возила воду ещё в бытность светлейшего епископа дерптского. Пред отъездом господин призвал меня, сказав, что возвратится чрез несколько недель; а как слугам всегда веселей без господ, то я пожелал господину возвратиться чрез несколько месяцев. Мне велено смотреть за домом; я начал надзор с погребов и, увидев бочку, из которой сочилось вино, поспешил осушить её, в чём и успел с помощью других усердных служителей. Кто пилил соседний забор — я не слыхал; виноват, я привык ночью спать; впрочем, ни за кого не ручаюсь, в чёрной душе и днём темно видеть. За себя я могу присягнуть, что не похищал никого, и жалею, для чего никто не вздумает похитить мою жену, которая столько же любит ворчать, как я отмалчиваться».

В этот век любили шутов. Дитрих был выслушан благосклонно. Один Ридель хмурился и велел ему замолчать.

Ридель мучил своё воображение, желая открыть похитителя. Вспомнив последний разговор с Вирландом и сопоставляя всё с разными обстоятельствами похищения и слухами о какой-то девушке, которая хотела выскочить из повозки у городских ворот, но была удержана неизвестно кем, он утверждался в подозрении на Вирланда, тем более что похищение, как видно, сделано было против воли

Минны.

Молва о сём происшествии распространилась по всему Дерпту, но подобные случаи бывали довольно часто в Ливонии; поговорив об этом несколько дней — перестали; один Ридель не переставал горевать. Утрата дочери была такою потерей для его сердца, которую ничто не заменяло.

Вскоре прибавилось ещё одно важное обстоятельство, решившее сомнения Риделя. Сидевший за плутовство в дерптской тюрьме плотник Ярви, работавший в доме Вирланда, сознался, что дворянин подговорил его подпилить забор Риделя. Ярви был приговорён к наказанию, но сумел скрыться из тюрьмы.

Итак, Вирланд изобличался в похищении Минны. Ридель требовал — немедленно послать несколько ратников в замок рыцаря Юннингена, куда, по словам Дитриха, отправился Вирланд; но узнал в то же время, что Юннинген несколько дней уже находится в Дерпте.

Вечером пришли сказать Риделю, что рыцарь Юннинген хочет с ним говорить. Он вошёл и, низко поклонясь, сказал:

— Именитый старейшина дерптский, я счастлив, если ты меня вспомнишь. Пять лет назад пировали мы на крестинах Фрейберга Броксвельда...

— Там было столько рыцарей, — сказал Ридель, — что трудно вспомнить, кого видел. Да и пир был таков, что, кроме шума, ничего в голове не оставил.

— Позволь, именитый старейшина, возобновить наше знакомство. Странный случай привёл меня в Дерпт. Прошёл слух, что дворянин Вирланд, которого я знал за человека опасного по злоречию, передал тебе письмо рыцаря Тонненберга, будто бы найденное мною в бумагах покойного моего брата.

Ридель поспешил показать Юннингену письмо Тонненберга. Оно обличало Тонненберга в предательстве, в разврате, в жестокости над вассалами, у которых он отнимал имущество и детей, оковывая цепями даже слепых стариков. В этом письме Тонненберг писал к брату Юннингена, что ждёт только дня свадьбы, чтобы пустить в ход приданое Минны и бросить в огонь родословную и пилькентафель богатого сумасброда, будущего тестя.

— Почерк сходен с рукою Тонненберга, — сказал Юннинген, — но письмо явно подложное. Я прежде не водил с Тонненбергом знакомства и не стоял бы за него, если бы клевета не коснулась меня. Мог ли я передать письмо, которое в первый раз теперь вижу? Говорят, будто бы Вирланд уехал в мой замок. Забавно придумано! И я узнал о том в день моего приезда в Дерпт. Но он не осмелится показаться там, или я иступлю меч об его голову.

Юннинген горячился. Ридель с ужасом подумал о коварстве Вирланда, прикрытом личиною искренности.

Следствием разговора с Юннингеном было свидание с Тонненбергом.

— Прости меня, достопочтенный Ридель! — сказал Тонненберг, бросившись обнимать его. — Мне бы довольно было нескольких слов для обличения Вирланда, но я хотел, чтобы ты не от меня услышал доказательство клеветы его. Вирланд подговорил беглеца, грабителя Рамме, опозорить меня, написать под мою руку гнусное письмо. Но на что мне раздирать горестью твоё сердце и мучить себя напоминанием о похитителе Минны?..

— Рыцарь! — воскликнул Ридель. — Если ты любил её, помоги мне найти похитителя. Отомсти за несчастного отца!

— Жаль тебя, почтенный Ридель! — сказал Тонненберг, сжимая его руку. — Но что делать? — Послушай, друг Юннинген, ты недавно узнал меня, а полюбил по-братски. Отправимся искать Вирланда!

Князь Курбский и дерптский воевода помогут мне. Вассалы мои и московские воины будут стеречь по разным дорогам. Предатель от нас не уйдёт. Ах, Минна! Минна! Вот и верь прелестному личику!

— Друзья мои, — сказал Ридель, — я не поверю, чтоб она согласилась быть за Вирландом... Она скорее умрёт.

— А если счастье, — перебил его Тонненберг, — поможет мне найти твою прекрасную Минну, я уверен, многоуважаемый Ридель, что ты назовёшь меня сыном твоим.

Тысячи проклятий Вирланду и полдюжины кубков вина скрепили возобновление дружбы Риделя с Тонненбергом, и рыцари почти со слезами вырвались из объятий плачущего старика.

Бригитта, прогнанная Риделем, нашла себе пристанище у тётки Тонненберга, просившего, чтобы бедная старушка, неутешная о Минне, была призрена из сострадания его родственницей.

ГЛАВА X

Обвинённый

Сумрак распространялся по небу, когда Курбский увидел вдалеке русский стан, расположенный под Вейсенштейном. Княжеский аргамак далеко за собою оставил других утомлённых коней, но Курбский желал ещё ускорить его бег и, объясняясь с Мстиславским, облегчить тягость огорчённого сердца. Время настало ненастное; осенняя сырость от близости болот и дождь, порывавшийся с облаков, наносимых холодным ветром, умножали мрак; вскоре совсем стемнело. Но сквозь леса, по местам вырубленного, уже приметно было слабое зарево от огней сторожевого отряда, и Курбский увидел на холмистом возвышении вспыхивающее, почти угасающее от дождя пламя костров, разложенных между шалашами, сплетёнными из древесных ветвей. Копья, щиты и мечи, на гладкой стали коих отсвечивался огонь, развешаны были на шестах и на ветвях. Простые ратники грелись у огня на голой земле; войлоки, растянутые на жердях с той стороны, откуда бушевал ветер, укрывали их.

Владимир, окружённый стражей, так отстал от князя, что потерял его из виду. Курбский оглянулся и, не видя своих спутников, удержал своего коня.

У одного шалаша лежали на земле два ратника; за навесом нельзя было видеть их лиц, но слышен был их разговор.

— Худо совсем, — говорил один. — Пять недель стоим под Пайдою [\[17\]](#), а до проклятого этого гнезда не доберёмся.

— Воевода похвалился во что бы ни стало взять — так надо взять.

— А чрез болотное море птицей не перелетишь. Сколько снарядов погрузло, сколько силы потрачено!

— Правда, а если бы с нами был князь Андрей Михайлович Курбский?

— Иное дело: тут не о чем думать. Идёшь за ним, и он везде выведет. С ним бы давно были в Колывани [\[18\]](#). А то стоим здесь столько времени понапрасну. Запасы исходят; голод не свой брат, погонит нас к Руси.

— То-то воевода и гневен, — сказал вполголоса другой.

— Да гневайся на себя! — отвечал товарищ. — Неудача всякому не по сердцу, а догадки не у каждого много.

Курбский с беспокойством слушал этот разговор, досадуя на безуспешные усилия Мстиславского. В это время подъехали Владимир и другие всадники.

— Ну, вот мы и в стане, Владимир, — сказал князь. — Бедный юноша, ты даже не знаешь, в чём тебя обвиняют, ты терпишь за любовь к Адашеву. Напомни, что говорил ты о заключении Адашева в дерптскую башню?

— Князь... я не говорил, но рыдал. Ты знаешь, чем Адашев был для нас; тебе известно, как чтило его семейство наше...

— Но в горе ты мог произнести несколько слов... а чужая клевета могла их дополнить.

— Свидетель Бог, что никому я зла не желал, никого оскорбить не хотел.

- Так, но печаль неосторожна в словах. Помнишь ли, что говорил ты над прахом Адашева?
- Что говорил я? Не помню слов моих; и мог ли я помнить себя у могилы Адашева?
- Ты сказал, что осиротело отечество, могут и это прибавить к твоему обвинению.

Владимир задумался.

- Ещё одно смущает меня, — сказал он, — грамота, которую я привёз к тебе от князя Курлятева.

— Но в тот же день ты вступил в Коломенскую десятню под знамёна Даниила Адашева. Грамота осталась у него, и при мне Даниил бросил её в огонь. О чём ты вздыхаешь, Владимир?..

- Какое-то худое предчувствие тревожит меня.

Пламя костра осветило приближающегося всадника.

Курбский узнал его и тихо сказал Владимиру:

- Не считать ли худым предчувствием встречу с воеводой Басмановым?

— Не ждали тебя, князь! — закричал Басманов. — Что тебя привело сюда? Не задумал ли помочь нам?

- В чём? — спросил Курбский. — Если винить невинного, то я не вам помощник.

- Невинного? — сказал Басманов. — Не всякий ли прав, кто служит не царю, а Адашевым?

— Не говори об Адашевых. Один уже в земле, другой в опале. Но если любить их есть преступление, то и войска, и вся Москва полна преступниками...

- От царских очей ни один преступник не утаится, — резко сказал Басманов.

- От Божьей руки ни один клеветник не скроется, — тем же тоном проговорил Курбский.

- О ком ты, князь, говоришь?

— О тех, которые тайными путями собирают на ближнего стрелы невидимые, прислушиваются к шёпоту досады и скорби; каждому слову дают противное значение, каждую речь превращают в злонамеренный умысел с тем, чтоб на гибели других основать своё счастье...

— Кто посмел снять цепи с оскорбителя царского? — вскрикнул Басманов татарскому голове, указывая на Владимира.

- Я! — сказал Курбский.

— Выше голову, юноша! — сказал Басманов Владимиру с язвительной улыбкой. — Храбрейший воевода взялся быть твоим заступником.

- Басманов, не говори так...

- Не угрожай мне, князь Андрей Михайлович, предки мои не слыхали угроз от твоих предков.

— Не считайся со мною в старейшинстве, — сказал Курбский. — Дед и отец твой призывали в молитвах святого моего прародителя князя Фёдора Ростиславича, а ты всегда стоял ниже меня в воеводах.

Воеводы сошли с коней пред раскинутым шатром князя Мстиславского, окружённым вооружёнными всадниками.

Мстиславский не мог скрыть досады при нечаянном прибытии Курбского. Он не желал иметь его свидетелем своих неудач и тем более не желал уступить ему славы взятия Вейсенштейна. Мстиславский знал, что ревальцы с боязнию ожидали приступа русских, не предвидя надёжной обороны, но не уходил от Вейсенштейна. Воины ослабевали в трудах, наряды гибли в болотах, запасы истощались, но,

раздражённый неудачами, Мстиславский хотел одолеть Вейсенштейн и природу. Ему не доставало искусства и мужества Курбского. Неудивительно поэтому, что он встретил Курбского с холодностью и выслушал его с негодованием.

Владимир стоял среди суровых татар, готовых, по одному мановению военачальника, занести убийственное железо над своей невинной жертвой.

— Князь Курбский, я не ведаю, кто здесь первый воевода? — сказал Мстиславский.

— Тот, кого прошу я, — отвечал почтительно Курбский.

— Ты просишь и повелеваешь! — воскликнул Мстиславский. — Не я, но ты снял оковы с оскорбителя царского.

— В чём оскорблён государь?

— То царь и рассудит, — сказал надменно Мстиславский, — не имею времени с тобою беседовать.

Он повелел воинам наложить оковы на Владимира.

— А ты, — продолжал он, обратясь к татарскому голове, — как дерзнул преступить мои повеления, допустить снять с преступника цепи?

— Моя вина... — едва мог промолвить татарин, преклонясь пред Мстиславским.

— Посмотрю я, кто с тебя снимет цепи, — сказал Мстиславский и повелел заковать его.

— Если ты воевода, чтоб только налагать цепи, — сказал Курбский, — я не дивлюсь, что ты несчастлив в осаде Пайды. Нужно заслуживать любовь подвластных, чтоб легче было повелевать ими.

Мстиславский затрепетал от гнева; но укоризна была столь справедлива, что он смутился, не находя слов возразить. Басманов отвечал за него.

— Князь, Андрей Михайлович, не тебе так говорить старейшему и саном, и родом.

— Оскорбляя меня, — сказал Мстиславский, — ты оскорбляешь царя, который облёк меня властью.

— Не думай, что мудрый царь оскорбляется правдой, — сказал Курбский.

С этими словами он вышел из шатра; проходя мимо Владимира, он сказал:

— Терпи, добрый юноша! — и пожал его руку.

— Строптивый муж! — воскликнул Мстиславский. — Царь смирит тебя и решит спор между мною и тобой. — А ты, несчастный, — сказал он Владимиру, — сознайся в твоём преступлении.

Владимир молчал.

— Отвечай! — сказал Мстиславский.

— Отвечай, воевода тебя вопрошает, — крикнул Басманов.

— Скажи вину мою.

— Говорил ли ты, что царя окружают клеветники? — спросил Мстиславский.

— Нет.

— Говорил ли ты, что Адашев невинен? — сказал Басманов.

— Говорил.

— Неразумный юноша, ты обличил себя в преступлении. Не развозил ли ты тайно грамот, оскорбляющих царское величество?

— Нет.

— Для чего же прибыл ты из Москвы?

— Служить государю в полках его.

— Так... Но ты доставил тайно возмутительную грамоту князю Андрею Курбскому.

Владимир пришёл в смущение.

— Он молчит... он сознается, — сказал Басманов.

— Я не предатель, — сказал Владимир с негодованием, — я не доставлял возмутительной грамоты.

— Утверди же крестным целованием, что ты не привозил никакого письма от Курлятева.

Владимир в смущении не знал, что отвечать, и поднял глаза на крест, висевший в углу шатра.

— Смотри, — продолжал Басманов, — целуй крест на том, что ты не привозил такой грамоты.

При сих словах он показал юноше список с того письма, с которым Владимир прибыл из Москвы к Курбскому; список доставлен был Басманову его лазутчиком.

Владимир с трепетом отклонил руку Басманова.

— Нет, — сказал он, — не погублю души моей на неправде! Я привёз из Москвы грамоту от князя Курлятева князю Курбскому.

— Тайно?

— Что друг поверяет другу, то было и для меня тайной.

— Возмутительною?

— Нет! — перебил его Владимир, — и присягну на животворящем кресте. Никогда бы добрая мать моя не отдала мне возмутительной грамоты...

Владимир остановился. Внезапная мысль, что мать его может подвергнуться опасности, охладила страхом его сердце.

— Итак, твоя мать передала тебе грамоту? — спросил Мстиславский.

— Она и Курлятевы издавна живут Адашевским обычаем! — проговорил Басманов. — Она проводит дни в посте и молитве, а дерзает на смуты и ковы...

— Боярин! — сказал Владимир. — Есть Бог Всевидец! Страшись порочить безвинно.

— Безвинно! — воскликнул Басманов и указал Мстиславскому на то место грамоты, где Курлятев писал, что клеветники на Адашева и Сильвестра отравляли ласкательствами сердце Иоанна. — Рассуди, князь! — прибавил он. — Не хула ли на царя? Кто, кроме раба-возмутителя, дерзнёт быть судиею государевой воли?

— Славные воеводы! Князь Курлятев не возмутитель, но верный слуга государю; с вами стоял за него в битвах. Если осуждать каждое неосторожное слово в домашних разговорах, в беседе друзей, то кто не будет виновен пред Иоанном?

— Оправдай себя, — сказал Мстиславский, — а о других не заботься.

— Ужели не вступится за меня твоя совесть? Умоляю тебя, воевода! Не о себе умоляю, но о матери моей, пощади от скорби её старость! Не ищи в простых словах злых умыслов, не преклоняй слух к наветам.

— Отвести его, — сказал холодно Мстиславский, — и держать под стражею, доколе не придёт повеление отправить его в Москву...

Между тем князь Курбский прибыл к своим полкам. Увлекаемый силой чувств, он порой жалел о последствиях своей неосторожной пылкости, но, по великодушию, не боялся понести царский гнев, желая спасти невинных. В опасении о судьбе Владимира и возмущённый вестью об опале на Даниила Адашева, злополучного Даниила, не заставшего в живых ни жены, ни отца, Курбский решился отправиться в Москву и готов был писать о сём к Иоанну, но обстоятельства переменились.

Осеннее ненастье, скудость в продовольствии, изнурение воинов от болезней и голода наконец победили упорство Мстиславского и вынудили его отступить от Вейсенштейна. Видя необходимость возвратиться в Россию, он отправил гонца к Иоанну и вскоре со всем воинством выступил из Ливонии, оставив охранные отряды в покорённых городах.

Желание Курбского исполнилось. Полки его двинулись к Москве. Он спешил от поля побед к семье, нетерпеливо его ожидавшей. Уже Новгород остался позади. Продолжая и ночью путь с верным Шибановым, Курбский только на короткое время останавливался отдыхать; вскоре он миновал и Тверь. Настал день, сильный ветер осушил влажную землю; опавшие листья желтели по сторонам дорог; но осеннее солнце ещё сияло ярко, прощаясь с полями и рощами. И вот вдалеке открылась Москва неизмеримая, блистающая, как златой венец на зелёных холмах.

— Москва! — воскликнул Курбский и, при виде светлых, несчётных крестов, как бы в знамение благодати над ней, её с высоты осеняющих, поклонился святыне родины.

Часть вторая

ГЛАВА I

Горестная встреча

Вихрь, обрывая листья деревьев, мчал их по воздуху. Стены и башни московские грозно белели под небом, потемневшим от туч; золотые главы церквей потускнели в облаках пыли. Курбский въехал в Москву. За городскими воротами теснился на улицах народ, в движениях людей видно было беспокойство, во взорах уныние; радостных лиц не встречалось. Несколько боярских детей быстро пронеслись на конях и, встретив знаменитого вождя, приветствовали его, но ни один из них не остановился, как бы опасаясь заговорить с Курбским.

Князь в Москве, но там нет царицы, нет Алексея Адашева, нет Сильвестра, там ждут его вражда и клевета!.. В задумчивости он опустил поводья; и вдруг до слуха Курбского доносится печальное священное пение, погребальное шествие, подымаясь по горе к полю, преграждает дорогу. Его узнают, идущие перед гробом останавливаются, диакон церкви Николая Гостунского, Иоанн Фёдоров, подходит к нему.

— Князь Андрей Михайлович! — говорит он, поклонясь Курбскому. — Анастасия пошла к своему Алексею!

Курбский узнает, что видит гроб жены Алексея Адашева.

Недолго прекрасная пережила весть о смерти своего супруга.

Курбский подошёл к носилкам, на которых возлежал гроб, закрытый покровом из серебряной обьяри. Князь поклонился до земли и тяжело вздохнул; в это время сверкнула перед ним золотым венцом икона Божией Матери. Он вспомнил, что ею благословила на брак Анастасию царица, супруга Иоанна. Теперь не в светлый брачный чертог вела сия икона, но, свидетельница тайных молитв Анастасии, предтекала ей в путь к вечной обители.

Глядя на идущих в печальном шествии, Курбский искал супруги своей и не обманулся: быв подружкой Анастасии с юности, она провожала её и к могиле. Гликерия вдруг увидела князя. Горестное свидание! Она произнесла его имя и более не могла произнести ни слова; неизъяснимая скорбь выражалась на её лице! Князь с удивлением заметил, что Даниила Адашева не было в шествии; не видел и Сатиных, братьев Адашевой, ни почтенной Марии. Ужасны были вести, ожидавшие Курбского. На вопрос о Данииле Адашеве, Гликерия указала на небо, дыхание её стеснилось, глаза наполнились слезами. При вопросе о Марии она зарыдала.

Между тем раздавался плач идущих за гробом. То были бедные, лишившиеся благотворительницы, страдальцы, ею призренные, сироты, ею воспитанные. «На кого ты оставила нас? В какую дорогу собралась? Разве светлые палаты тебе опостыли или наша любовь тебя прогневала, что ты нас покинула?» Так причитали, по обыкновению, утешая, исчисляя её богатства и вспоминая добродетели.

Тут шла юная десятилетняя питомица Адашевых Анна, дочь дворянина Колтовского, лишившаяся в младенчестве отца и матери. Прелестное лицо сироты было орошено слезами.

Немногие из бояр сопровождали печальное шествие, но за толпою бедных шли несколько боярских

детей, в чёрных одеждах и высоких шапках, за печальными санями, обитыми чёрным сукном. Завеса закрывала сидящую в них, но все знали, что то была княгиня Евдокия Романова, супруга князя Владимира Андреевича, двоюродного брата царя. Она любила Анастасию Адашеву и вместе с царицей посещала её; верная дружбе, не забыла о ней и в бедствии и желала отдать ей последний долг любви, не страшась Иоаннова гнева. Ещё несколько болезненных старцев влеклись на клюках за гробом супруги благотворителя. Боязнь не заградила уста их: они благословляли имя Алексея Адашева.

Тогда как все близкие к Адашевым представлялись виновными в глазах Иоанна, омрачённого подозрениями, честолюбивые братья царицы, боясь утратить с кончиной сестры своё могущество, старались стать необходимыми для царя и, показывая заботливость о нём, явно и тайно говорили, что Адашевы извели их сестру. В доме Алексея Адашева нашли латинскую книгу с чертежами, поднесённую в дар от иноземца. Она сочтена была чёрною книгою, тем более что переплёт её почернел от времени. Клеветники толковали, что посредством её Адашев успел очаровать Иоанна и что волшебство разрушилось, когда бросили книгу в пламя. К несчастью, при последних минутах умирающей царицы в дворцовой кладовой, между драгоценными боярскими одеждами, хранящимися для торжественных дней государева выхода, найдены были корни неизвестной травы в одежде Турова. Боярин Басманов, Василий Грязной, Левкий, а за ними и другие ненавистники Адашевых повторяли рассказы о вредном зелье; указали несколько веток, подброшенных за серебряный поставец в царской поливальной, веток той самой травы, какую нашли в парчовой ферязи Турова. Клевета утвердилась на суеверии, и последствия были ужасны. Туров погиб в то самое время, когда несчастный Даниил Адашев приближался к Москве. Гнев Иоанна стремился истребить Адашевых. За день до приезда Курбского герой Крыма пал под ударом того же топора, который обагрился кровью Турова. Идя к лобному месту, он обличал клеветников, с величием души приветствовал некоторых встречавшихся ему воинов, бывших с ним в крымском походе, но не мог удержаться от слёз при виде своего двенадцатилетнего сына. Юный Тарх упал к ногам родителя и обнимал колена его. Едва могли оторвать его от Даниила; Тарх умолял бояр и народ помиловать отца, но в это время блеснуло ужасное лезвие и голова Даниила покатилась вниз. Казалось, громовой удар потряс всех, ропот последовал за первым движением ужаса. Сатины, братья Адашевой, указывали на труп героя и на раны его за отечество; сын лежал без чувств подле окровавленного топора. Клеветники слышали проклятия и спешили донести царю о мнимом возмущении. Иоанн появился на лобном месте, сопровождаемый татарскими царевичами. Грозно окинул он взглядом народ и, увидев Сатиных, повелел их схватить. Мановение руки его было смертным приговором братьям Адашевой и юному сыну Даниила. Кровь лилась перед народом, онемевшим от ужаса.

— Так поражу всех единомышленников Адашева! — сказал Иоанн. — Не будут они вредить волхованиями и возмущать народ. Не пощажу ни рода, ни племени, ни младость, ни старость. Изменники! — говорил он, указывая на труп Даниила. — Они хотели волшебством вредить царскому здоровью и править царством посохом Сильвестра и рукою Адашева. Скоро узрите казнь новых злодеев!

Вот о чём услышал Курбский; Мария и пять её сыновей, между ними любимец Алексея Адашева юный Владимир, — осуждены на казнь.

Клевета, которой хотели верить, очернила и Курбского. Но он забыл о себе, готовый обличить клеветников или пожертвовать собою и с погребения Анастасии, не возвращаясь в дом свой, поспешил предстать Иоанну.

Иоанн не допустил Курбского, повелев сказать, чтоб ожидал царского слова. Тогда князь решил обратиться к первосвятителю митрополиту Макарию, открыть пред ним скорбь души своей и просить его ходатайства о помиловании несчастного семейства Марии.

ГЛАВА II

Первосвятитель

Белокаменные палаты митрополита возвышались близ дома князя Мстиславского, возле Чудова монастыря, со многими деревянными строениями на обширном дворе, к которому примыкал сад, простиравшийся до кремлёвской стены. Митрополит, отдохнув после трапезы, опираясь на посох, прохаживался под тенью ветвистых яблонь. Белые цветы их давно уже уступили место плодам; ветви рябин краснелись кистями. Неподалёку стояла покрытая ковром скамья, под полотняным намётом, утверждённым на деревянных столбах и осеняемым тенистыми клёнами. На скамье этой митрополит любил сидеть, углубясь в размышление. Он сел на неё, держа в руке длинный столбец Степенной книги, развернул его, стал рассматривать, как вдруг послышались шаги и он увидел подходящего гостунского диакона Фёдорова.

Поклонясь митрополиту, диакон остановился в отдалении, примечая на почтенном лице Макария следы душевной скорби.

— Что, всё кончили? — спросил митрополит.

— Отдали земное земле! — отвечал диакон.

— А где положили её?

— Возле страдальца Даниила, Князь Андрей Михайлович прибыл в Москву и сопровождал погребение.

— Спаси его Боже от напасти! — прошептал митрополит. — Тяжкое время, отец Иоанн! Господь на нас прогневался.

— Помолись, владыко! Господь примет молитву твою и подаст тебе силу утишить бурю царского гнева.

— Потерпим! Всевышний наслал искушение, Он и отнимет напасть. Что принёс ты, отец Иоанн?

— Первый лист, владыко, тиснения Деяний Апостольских, — сказал Фёдоров.

— Начаток благословенного дела! — сказал митрополит с приметным удовольствием; сняв с себя чёрный клобук, он перекрестился и взял лист из рук диакона, лицо которого прояснилось радостью успешного труда в книгопечатании. — Благодарение Богу! — проговорил митрополит, рассматривая лист. — Не одни чужеземцы преуспевают в мудрости книгопечатания. Свыше дар послан, дабы все пользовались. Честь тебе, отец Иоанн, и благодарность твоему радению.

— Слава Богу, царскому разуму и твоему святительству, — отвечал диакон, преклоня голову, — а мы с Петром Мстиславцем во всю жизнь делатели на пользу церкви святой и царству православному.

— Бумага добротная, буквы чёткие и оттиск тщательный. Зрение моё от старости притупилось, но печатное слабым глазам моим легче читать.

— Посетуют, владыко, списыватели книг церковных...

— Посетуют и замолчат! Не жертвовать же общею пользою выгоде их. О, если б Бог сподобил нас так напечатать всю Библию!

— И жития святых отцов, труды твоего преосвященства.

— Четьи-Минеи? Да, не забылось бы имя наше и в позднейшие лета! Келейник, подай чару мёду отцу диакону.

— За здоровье владыки! — сказал Иоанн Фёдоров, подняв высоко чару, поднесённую на серебряном блюде.

— Пей за художников книжного дела! — весело сказал митрополит, благословив чару.

В это время служитель пришёл сказать митрополиту, что чудовский архимандрит Левкий желает его видеть и ждёт приказа владыки.

— Левкий? — повторил митрополит с неудовольствием. — Избавит ли. Бог от кознодея! Не хочу видеть его в саду моём. От дыхания его повредятся плоды мои. Приходи ко мне завтра, отец Иоанн, тогда, как распустишь учеников из училища.

Митрополит встал и, сопровождаемый диаконом, вышел из сада. У крыльца палаты встретил его архимандрит смиренным поклоном. Бодрый здоровьем, Левкий сгибался под чёрною рясою; лицо его было бледное, но полное, глаза быстрые и усмешка лукавая. Начиная говорить, он потуплял глаза в землю, часто вздыхал, но и в тихих речах его обнаруживались порывы страстей; в самой холодности можно было приметить пламень злобы.

— Не опять ли от царя? — спросил митрополит, дав знак идти за ним в образную.

— Не от его величества, а по церковной потребе.

— Хорошо, Левкий, что подумал о церкви. Ты проводишь целые дни в царских чертогах.

— Ох, не по заслугам государь меня, многогрешного, жалует. Но ты пастырь церкви, ходатай милостивый.

— С чем же пришёл ты?

— Утруждаю твоё преосвященство. Заступись за святую обитель, не дай в обиду по духовной грамоте Данилки Адашева.

— Адашева? — переспросил митрополит. — Помяни Боже страдальца! Не вздыхай, Левкий, ты, Захарьины и Басманов погубили Адашевых...

— Преосвященный владыко, волхование погубило их. Царских злодеев Бог обличил.

— Волхование! — повторил митрополит, сев на скамью и покачав головой. — Спаси Господи от волхвов и наушников.

— Известно, владыка, что лютые зелья найдены у Турова: он подбросил их царице, а ссужали Адашевы.

— Правда ли, Левкий?

— Вассиан и Мисаил заверят крестным целованием у чудотворцова гроба. Царица скончалась бездетной; хотелось Сильвестру и Адашевым править царством и волею державного государя, а Марья-чародейка помогала им!

— Не мешаюсь в дела мирские, но много, Левкий, принял ты греха на душу!

— Царь рассудил... — начал Левкий.

— Бог рассудит, — перебил его митрополит, — и взыщет невинную кровь.

Макарий подошёл поправить светильню лампы, горячей пред иконами. Лампада ярко вспыхнула

пред потемневшим лицом архимандрита, и внезапный блеск её осветил лик небесного мстителя.

В это время послышались шаги, Левкий оглянулся и увидел князя Курбского.

Не ожидал Курбский встретить здесь виновника гибели Адашевых, не ожидал и Левкий увидеть князя. Он не мог вынести взгляда Курбского, невольно вздрогнул и опустил глаза в землю.

Митрополит приветствовал князя словом Евангелия: «Благословен грядый во имя Господне!»

Курбский поцеловал руку первосвященителя и сказал:

— Господь отнял от нас своё благословение. Лесть и клевета обошли нас, владыко, нет правды в мире, нет мира в сердцах!

— Мир вам! — сказал митрополит, осенив его крестным знамением.

— Священитель, меч губит невинных.

— Господь всем воздаст! — сказал митрополит, указывая на образ страшного суда, им самим написанный.

Образ этот стоял на станке, ещё не оконченный митрополитом. Трудясь с жаром духовного красноречия в описании святой жизни и чудес угодников Божиих, митрополит Макарий усердствовал сам изображать лики их так, как представлялись они его воображению. Сей труд служил отдыхом для неутомимого архипастыря. При возникающем гонении на невинных, Макарий, не однажды возвышая голос свой в царской думе, но не видя успеха и считая для себя неприличным вступаться далее в дела светские, желал представить безмолвный урок сановникам и, после кончины Алексея Адашева, начал писать образ страшного суда. Не скоро митрополит надеялся кончить сию икону; но уже можно было видеть главные части образа — праведников и мучеников, призываемых Спасителем в царство славы, и беззаконников, поглощаемых геенским огнём.

Левкий, стараясь скрыть своё смущение, осмелился хвалить искусство письма, а Курбский, указывая на изображение, сказал:

— Страшна участь клеветников и лицемеров! Губители невинных гибнут в адском огне. Их терзают муками, каким они подвергали других; но муки их вечны. — И, схватив руку дрожащего архимандрита, который отступил от образа, Курбский прошептал: — Вот что готовят себе злодеи, преподобный отец!

— Чародеи и обаятели, — отвечал Левкий, вздыхая и не смотря на икону.

— Нет страшнее чародейства, как злоречие клеветы, — заметил Курбский.

— Радуюсь, князь, прибытию твоему! — проговорил митрополит, прерывая речь князя и приглашая его сесть на скамью, покрытую суконной паволокою.

Левкий хотел удалиться.

— Можешь остаться, — сказал Макарий. — У меня с князем нет тайны; Андрей Михайлович будет говорить при тебе.

— Я спешил в Москву просить за невинных; царь не дозволил мне предстать к нему; зложелатели торжествуют. Святой владыко, удостой быть посредником между мною и государем.

— Велики заслуги твои, князь Андрей Михайлович, — сказал митрополит. — Голос мой ничего не прибавит к ним. Посредство моё в делах духовных; не касаюсь суда мирского и воли мирской.

— Первосвященитель, — возразил Курбский, — когда у подножия трона измена расстилает сети для пагубы невинных, тогда мудрость духовная может стать пред троном в заступление истины.

— Разделяю с тобой скорбь о бедствии невинных, но не мешаюсь в дела синклита. Господь зрит мысли и сердца. Обвинитель Адашевых пред тобою; сам Левкий свидетель, что, призванный государем в думу, я говорил за обвиняемых, просил не судить их заочно и допустить к оправданию. Не хочу более печалить старость мою и надоедать государю; вижу, что пора мне сложить бремя моё, отойти к житию молчальному. Левкий, ты можешь сказать государю о желании старца Макария.

— Не оставляй нас, владыко, — сказал Левкий, вздыхая. — Ты первосвяtitель церкви, столп православия.

— Не трать лстивых слов, — сказал митрополит, — я знаю тебя, и ты меня знаешь.

— Святитель, — сказал Курбский, — в безмолвной жизни ты будешь служить себе; ныне служишь церкви и царству и ещё можешь возвысить голос в защиту гонимых.

— Церковь молит о них пред престолом Господним, — тихо сказал Макарий.

— Но бедствия их не смущают ли душу твою? — спросил Курбский.

— Не смущайся бедствием добрых! «Блажен иже претерпит искушение, зане искушён быв приимёт венец жизни».

— «Претерпевый до конца, той спасётся», — прибавил Левкий.

— Так, Левкий, спасается тот, кто потерпел от наветов, но наветнику нет спасения.

Говоря это, митрополит взял из рук Левкия список с заветательной грамоты Даниила Адашева.

Курбский устремил пронизательный взгляд на архимандрита.

— Скажи, — сказал митрополит Левкию после некоторого молчания, — в чём ты обвиняешь Даниила Адашева и по смерти его?

— Великий первосвяtitель! — отвечал Левкий, не поднимая глаз. — Он положил на слове отказать святой Чудовской обители огородную землю в Китае, за торговой площадью. Отправляясь в Ливонию, писал нашему келарю, что если Бог пошлёт по душе, и тому месту быть за святою обителью; но в грамоте оказалось, что мимо Чудовской обители отдано то место, где гостунское училище, и сказано взять для того же училища данные отцу келарю в ссуду для обители четыре рубля московскими деньгами да полтину московскую.

— У сей грамоты, — сказал митрополит, — сидел отец его духовный от Ильи пророка, и в грамоте означено, где что дать ему и с кого взять. Отменить намерение он был властен.

— Обитель нуждается в перестройках келейных, отдачею же денег под училище это приостановится...

— Стыдись, Левкий, удерживать достояние сирот и детей. Обители обогащены дарами царей и бояр, а для вертограда наук ещё способов мало.

— Многие науки во вред душе, — сказал Левкий.

— Не видит ли Левкий чародейства в науках? — спросил Курбский.

— Не гневайся, князь, — отвечал Левкий, — и дай молвить слово: ты знаменитый воин, но Адашевы опутали тебя волхованиями.

— Довольно! — прервал сурово митрополит. — Я уже слышал твои наговоры.

— Левкий, — сказал Курбский, — благодари Бога, что сан твой и присутствие первосвяtitеля ограждают тебя; но помни суд Божий.

— Ты мне грозишь, князь, в присутствии владыки?

— Я говорю пред владыкою и то же скажу пред царём, хотя бы заплатил жизнью за истину...

— Князь, скрепи сердце, — сказал митрополит. — Не для того я удержал Левкия, чтоб воспалить гнев твой. Я желал показать тебе, что не верю и не потворствую лукавым наветам.

— Прости скудоумие моё, преосвященнейший владыко, — сказал Левкий. — Пред державным государем говорил я в простоте сердца. Глас народа — глас Божий; везде знают Адашевых; велико слово государево. Содрогался я, слыша от него самого, что Адашевы и новгородец Сильвестр обаянием омрачили царские очи его и владели державною волею.

— Не обаянием, но страхом Божиим, — возразил Макарий. — Сила их была не в чародействе, но в разуме и добродетели.

— Помилуй, владыко, ты ставил государя на царство, и браком его сочетал, а поп Сильвестр насылал повеления, и боярам, и воеводам делал что хотел!

— Господь послал его, — сказал Макарий.

— Господь и оборонил от него, — молвил Левкий... — А то он и Адашевы, сговорясь, отвращали государя от врачей телесных и врачества душевного; отговаривали не ездить на богомолье в отдалённые обители...

— На всяком месте слышит Господь Его призывающих, — сказал Макарий.

— Милует Бог, и государь увидел волков в одежде овчей...

— Но обличится и тот, кто в одежде ангельского чина, сеятель клеветы на пагубу добрых, — сказал Курбский.

— Князь Андрей Михайлович, не моя вина, что государь пожаловал простоту мою и со мною, смиренным, беседует. Гордым Бог противится, смиренным даёт благодать.

— Смирение в личине, — сказал митрополит, — благодать не в чертогах, где ты остришь меч казни.

— Не моя вина, владыко. Меч суда Божия на главу грешников. Завтра казнят чародейку Марию с её окаянными племенем.

— И не прилипнет язык твой! — воскликнул Курбский.

— Князь, — сказал Левкий, — разве неизвестно тебе, что в палатах царицы...

— Знаю, — перебил его Курбский, — что Даниил Адашев присылал к Марии травы, привозимые в Ливонию из-за моря; знаю, что Туров ими пользовался, но не знаю, кто первый осмелился назвать целебное зловредным и клеветать на добродетель.

— Клеветать? — повторил Левкий, — но царский врач объявил, что в зелье том зловредная сила, а Даниил...

— Левкий! — сказал митрополит, — вчера кровь невинного обагрила землю; но здесь место оскорблять память доблестного вождя. Оставь у меня свиток, в котором начертана последняя воля невинно погибшего, и не смущай моего спокойствия.

— Прости, владыко, я поусердствовал для святой обители. Не взыщи на моём скудоумии. — Сказав это, Левкий сделал три поклона перед образами, поклонился в пояс Макарию и вышел.

Митрополит и Курбский молча проводили взглядами Левкия. Старец, не вставая со скамьи и качая седовласую голову, устремил глаза в землю, в глубокой думе. Курбский внимательно посмотрел на

митрополита и, схватив руку Макария, готовый упасть к ногам его, воскликнул:

— Спаси, спаси невинных! Во имя Божие заступись за них, добрый пастырь! Да не порадуются клеветники на пагубу всех, любивших Адашева!

— Успокойся, князь! — сказал митрополит. — Господь, наказуя бедствиями, не оставит людей своих.

— Да поможет он тебе умиловать Иоанна! Чуждая буря возмутила душу его.

— Так, — сказал Макарий, — в юности он дал обет властвовать, как Всевышний указал избранным помазанникам, и много лет властвовал правдою, когда Сильвестр и Адашев, как правосудие и добродетель, предстояли пред ним.

— И мы чтим его как отца! — добавил Курбский, — тысячу раз готовы были жертвовать жизнью за правдивого государя!..

— Его воля над нами, но горе отлучающим сердце царя от народа, угасающим светильник любви и милосердия. Решаюсь, князь, хотя и отвергаются просьбы мои, ещё раз предстать к государю и молвить о невинных. Может постичь и меня участь Сильвестрова, Левкий посмеётся над старцем...

— Служитель Бога правды, дерзай на правду пред царём земным! — сказал Курбский, целуя руку митрополита.

ГЛАВА III

Клеветник и заступники

В обширной палате, устланной богатыми персидскими коврами, золотая лампада с жемчужными поднизями ярко горела перед образом нерукотворного Спаса. Перед иконою на ковре стоял Иоанн и молился. Возле него на парчовой подушке лежал рукописный Псалтирь, облечённый малиновым бархатом, но царь читал псалмы, почти не заглядывая в священную книгу. Прочитав несколько кафизм, он начал вечерние молитвы... В это время дверь тихо отворилась и кто-то сказал со вздохом: «Отврати лице твоё от грех моих», — и поклонился.

Это был Левкий, пришедший, по обыкновению, беседовать с государем. Иоанн взглянул на своего любимца и продолжал молиться вслух; Левкий же хотя и не осмеливался повторять за царём, но тем не менее слышны были его усердные земные поклоны.

Иоанн встал и, милостиво подавая руку Левкию, сказал:

— Вижу я, что бы богомолец.

— Как не умилиться, государь, видя твоё благочестие; милует и хранит тебя Бог, мне ли не молиться, когда великий царь смиряет себя пред Господом!

— По грехам и молитва должна возрастать, — сказал Иоанн.

— Великий государь, и святые не без грехов. Апостол сказал о себе: «Аз плотен есмь, продан под грех», а мы не святые, не апостолы, в жизни всему время, да и чем грешен ты, государь, разве своим милосердием?

— Злоумышленники подвигли меня на гнев, дерзновенные хотели властвовать мною, но терпению есть предел.

— Так, государь, в писании же сказано: «Всякая душа владыкам да повинуется, противящиеся власти — Божию повелению противятся».

— Я строг и гневлив, — сказал Иоанн, — но всегда ли жить мне младенцем по наказу Сильвестрову и терпеть моих зложелателей?

— Великий государь, Господь повелел повиноваться и строптивым, а ты строптив ли был с Алексеем Адашевым? Милостив, как к единокровному брату, смирялся перед ним, а изменник воздавал тебе лукавством, и другие по его же обычаю; но мужайся и крепись, Господь не отступит от тебя.

— Знаешь ли, — спросил Иоанн, садясь на резной позолоченный стул, — что князь Андрей Курбский уже в Москве?

— Я встретился с ним, государь, у владыки митрополита Макария и лучше бы не встречался.

— Для чего он прибегает к Макарию? О себе или о других просит?

— Лучше умолчу, государь, скажу с пророком Исаиею: «Казни твои не покоряются — общники татям...»

— Курбский дружен с Адашевыми, — сказал Иоанн, — он прозорлив и кичлив, но храбрый и верный слуга... счастлив он, что я помню его во вратах Казани!

— Прости моему скудоумию, великий государь, когда скажу: каково дерево, такова и отрасль. Дед Курбского, князь Михаил Карамыш, на деда твоего, великого государя, умышлял измену; дети его ехидного рождения, злобного ума, казну дедов твоих расхитили, непрестанно зло умышляли в тайне. Слыхал ты, государь, что Андрей Курбский, взысканный твоею милостию, отпускал твоих пленников, оскорблял воевод старейших, служил вместо тебя Адашевым, ездил в Юрьев к Алексею и хоронил его, заступался за Турова и за сына чародейки Марьи, развозившего грамоты Адашевских угодников?

— Велики вины его, — проговорил Иоанн, но велики и заслуги; он виновен легкоумием и дерзостью, а не изменой; Адашевы его ослепили, но они и меня уловляли; знаю, что ещё много злого семени, но Курбский мне ещё нужен; пощажу его, а других не помилую!

— Ох, государь, много ещё адашевцев, яд аспидов под устами их, озлобление на путях.

— Знаю, — сказал Иоанн, — что Курбский прибыл просить за Даниила Адашева. Он дерзнёт просить меня о пощаде других, но завтра же увидит меч мой над ними!

В это время один из царских стольников доложил государю, что митрополит Макарий просит дозволения представиться.

Иоанн сердито взглянул на стольника, однако же повелел призвать митрополита.

Почтенный старец, в фиолетовой рясе и в сакосе из рытого полосатого бархата, опираясь на пастырский посох, смиренно вошёл и приветствовал государя, подошедшего принять благословение. Лицо Левкия выражало лукавое внимание.

Государь пригласил митрополита сесть.

Макарий начал просьбою успокоить его старость, говорил, что в преклонных летах желает уклониться от мира; Иоанн же убеждал его не оставлять паствы для блага церкви.

— Если и останусь, государь, — отвечал митрополит, — то могу пострадать от наветов; прискорбно мне, старцу и твоему богомольцу, подвергнуться гневу твоего величества; но кто дерзнёт сказать, что убежит от стрел, клеветы? Укажу на прежних любимцев твоих; совестью свидетельствуюсь, что не верю преступлениям, взведённым на Адашевых, не вижу правосудия в казни их. Государь, прости дерзновение старцу; немного остаётся мне жить, не вхожу в суд твой, но умоляю гласом церкви, склонись к милосердию! Правдою устрояется престол начальства.

— Владыко! — холодно отвечал Иоанн, — мы Божиею милостию уже достигли зрелого разума и, кроме милости Божией, Пресвятой Богородицы и всех святых, от людей учения не требуем; неприлично, владея множеством народов, добывать чужого ума.

— Справедливо, государь! — сказал митрополит, — но и царский разум просвещается святым писанием: Соломон вещает: удерживай гнев, паче берущего грады...

— Знаю! — возразил Иоанн, но в книге Премудрости сказано: премудр судия наказует люди своя.

— Наказует, а не казнит, государь. Там же сказано: Престол и князей низложит Господь и посадит кроткие вместо их. Прославь кротостию душу твою!

— Я кроток с достойными. Земля правится нами, а не боярами и воеводами; жаловать своих рабов мы властны и казнить также; довольно было и в юности нашей неустройства и мятежей; помнишь ли, первосвяtitель, что и на тебе мантию разорвали...

— То были, государь, буйные мятежники, а не слуги верные, то были закоснелые в преступлениях, а не смиренные вдовы, не младенцы невинные... Молю твоё величество миловать их.

— Макарий, кто вразумил тебя просить о пощаде злодеев моих?

— Тот, кто кающегося злодея помиловал! — сказал Макарий, указывая на лик Спасителя; — тот, кто рек: блаженны милостивые...

— Так! — сказал Иоанн, смягчаясь, — но не всё, что возможно Богу, возможно царю. Чародейка Марья помогала отлучить от меня Анастасию Романовну; Адашевы умышляли известить род мой, надеть Мономахов венец на князя Владимира Андреевича...

— Государь! — возразил с твёрдостью Макарий, — един Бог сердцеведец знает истину; не мне исследовать вины судимых, но и ты не должен внимать одним обвинителям. Допусти к светлому лицу твоему князя Андрея Курбского, дозволи ему...

— Курбского? — вскрикнул Иоанн. — Строптивый в устах своих носит погибель свою; едва могу воздержать гнев на дерзость сего горделивца! Разве у него десять голов? Или он надеется на заступление святого прародителя своего, князя Феодора Ростиславича; но исполню твоё прошение: да явится предо мною Курбский.

По слову государеву известили князя Курбского о повелении Иоанна. Знаменитый военачальник спешил в царский дворец, смущаясь ожиданием неизвестного, но с решимостью обличить клевету пред Иоанном.

Вступив в столовую палату, князь Курбский увидел многих лиц, ему не знакомых: Несколько бояр, из приверженцев Адашева, стояли в безмолвии, с поникшими головами; новые любимцы Иоанна с надменностью и величавостью смотрели на доблестного воеводу.

Братья царицы Анастасии упали духом: они уже тайно раскаивались в зложелательстве Адашевым; новые любимцы затмили их блеск и могущество. На скамье, покрытой серебро-травчатой камкою, у большого окна, сидел небрежно молодой боярин в драгоценной парчовой ферязи; отложной воротник его, унизанный изумрудами и яхонтами, показывал роскошь царского любимца; обувь была украшена узорчатыми золотыми цветами с крупными перлами. Юность оживляла румянцем гордое лицо его, выразительные глаза показывали пылкость страстей; самонадеянная усмешка видна была на устах, придавая чертам его особенную привлекательность; его русые волосы вились кудрями. Это был юный Фёдор Басманов, новый любимец Иоанна. Подле него стоял, завернувшись в алый бархатный охабень, высокий мужчина; лицо его изображало невоздержность и грубую весёлость. То был князь Афанасий Вяземский. Он смеялся, смотря на одетого в синий атласный кафтан, с разноцветными парчовыми нашивками, царского шута Василия Грязного, который, подкидывая бобровую шапку с длинной золотой кистью, забавлял прибаутками и кривляньем окружающих; рядом с ним стоял широкоплечий богатырь, первый наездник, первый удалец в пиршестве, что легко было приметить по его красноватому лицу, выражающему отвагу и буйство. — Малюта Скуратов. Поодаль — два черноризца: тучный Вассиан и бледный Мисаил, приверженцы Левкия, разговаривали шёпотом, как будто не примечая горбатого карлика, который из-за них костылём Левкия задевал царского шута. Таково было собрание, представившееся князю Курбскому, там, где некогда встречали его Алексей Адашев и мудрый Сильвестр. С горестью подумал он о превратности судеб человеческих и вдруг понял всё, чему удивлялся в перемене Иоаннова нрава.

При появлении Курбского карлик отёрнул костыль, шут прекратил кривлянья, бояре перестали смеяться. Один Басманов сохранил небрежное равнодушие.

Иоанн отпустил уже митрополита; но Левкий был при нём. Царь стоял, нахмурясь, опершись рукою на стол, покрытый фиолетовым бархатом с золотою бахромою.

Курбский, войдя и поклонясь Иоанну, твёрдыми шагами подошёл к нему.

Царь отступил, сказав ему с грозным видом:

— Потомок князей ярославских, сильный мой воевода, как служишь ты ныне царю твоему? Верностью ли Курбского или изменою? Покорностью ли, или адашевским, фарисейским обычаем?

— Государь! — сказал Курбский, — ты знаешь, как я служил тебе — кровь моя лилась за тебя, тело сокрушено ранами в битвах; с крестоносною твоею хоругвиею подвизался я на татар и ливонцев, повсюду полки твои побеждали со мною.

— Знаю дела твои, — сказал Иоанн, — вся твоя храбрость подобна сонному видению. Силён ты с полками моими, сражаясь с нетрезвыми немцами, но как исполняешь ты волю мою? Не ты ли отпускал моих пленников? Бежал от воинства навестить Адашева в башне Юрьевской! Не ты ли, насмехаясь над моей волей, оскорблял старейшего воеводу князя Мстиславского за адашевских слуг? О чём советовался ты с предателем Даниилом, вредителем царского здоровья?

— Государь, бог видит правоту, сокрушаюсь...

— Не оправдывайся перед Богом и перед царём не мудрись; что говоришь о сокрушении, предав душу неправдам.

— Неправдою не жил я, и святой предок мой, князь Фёдор Ростиславич, не указал мне так жить, но вижу над собою твой гнев...

— Хочешь ли не бояться власти моей? Покорствуй, но если зло мыслишь — бойся; не хвались предками: дед твой, Михаил Карамыш, умышлял измену на моего деда, а друзья твои, Сильвестр и Адашев, отторгали мою державу под власть свою.

— Ты сам, государь, избрал их, сам повелел Адашеву защищать немощных от руки сильных, против его желания возвёл на высокую степень...

— Так! — оборвал его Иоанн. — Я желал прекратить неправды, утратить хищников, но истребилось одно зло, возросло другое, раб стал над владыкою; любимцы мои везде поставили своих угодников, Курлятева в синклит допустили, а меня влекли на битву, как ратника под знаменем...

— Запрещали ездить на поклонение к святым местам для спасения душевного и телесного здоровья, — прибавил вполголоса Левкий.

— Должно прежде царство устроить, — говорили они, — а разве можно устроить без Божией помощи? Помню я, что было и в болезни моей, когда готовились отдать венец мой князю Владимиру Андреевичу!.. А теперь погубили мою агницу...

— Не берегли и тебя, государь, пострадал ты голодом и жаждою, — сказал Левкий.

— Так! — продолжал царь. — Я должен был вкушать пищу не по своей воле; они сокращали трапезу мою, хотели бы и жизнь сократить.

— Волки в одеждах овчих! — вздохнув, сказал Левкий.

— Государь, ранами моими умоляю тебя, дозвожь мне говорить с тобой наедине.

— Дерзостно сердце твоё! — вскрикнул царь. — Что превозносишься ты над Левкием или думаешь, что нет у меня воеводы, кроме тебя? Князь Андрей, ты не гасишь, а разжигаешь пламень; ты единомышленник Адашевых, смотришь, как бы посеять плевелы, а не исторгнуть зло.

— Вижу, государь, — отвечал Курбский, — вижу плевелы; у клеветников, стоящих пред тобою, лезть в устах их, яд под языком; вижу гнев в глазах твоих, но правда в сердце моём; не жалею ни жизни, ни славы; возьми от меня твои награды и почести, возврати любовь твою, я заслужил её кровью! — Курбский упал к ногам государя.

Первые слова его Иоанн слушал с изумлением и негодованием, но сила чувств Курбского проникла в сердце царя.

— Чего ты хочешь, строптивый? — сказал Иоанн.

— Оправдания гонимых, пощады злополучной вдове, добродетельной матери невинных детей. Удостой выслушать, государь, верного слугу твоего.

— Не величай себя этим высоким титулом; слуга мой, старейший из верных бояр — князь Воротынский; послужи его послушанием, не вступайся за губителей, промысляющих лицемерием и отравой. Врач показал...

— Врач, подкупленный клеветниками. Выслушай до конца, государь, умоляю тебя.

— Терпение моё выше твоей дерзости, — сказал Иоанн, — говори!

Курбский встал, почтительно поклонился и продолжал с твёрдостью оправдывать обвинённых; между тем Левкий вздыхал, пожимал плечами и взглядами своими старался возбуждать недоверчивость Иоанна.

— Тебя ослепили Адашевы! — сказал Иоанн Курбскому. — Я выслушал афинейское твоё красноречие, но исполню мою волю. Читай Златоустовы беседы и не утруждай меня твоими. Иди, потомок русовских князей, твои святые за тебя молятся.

Курбский удалился, скрепив в душе своей скорбь и отчаяние.

— Что ты думаешь, Левкий? — спросил Иоанн любимца своего.

— Очарован вражеской силой! И я, великий государь, слушая его, поверил бы, если б не оградились молитвою. Спаси тебя Боже, утруждён ты и разгневан, подкрепи силы, развесели сердце. По слову Сираха: радование сердца вино пиемо во время прилично.

— Чувствую жар и жажду, — сказал Иоанн, — вчера долго пробыли мы за трапезой; не лучше ли кружка воды, чем кубок вина?

— Ах, государь, вспомни совет: не пей воды, но мало вина приеми, желудка ради и честных недугов.

Сказав сие, Левкий махнул рукой стольнику, который, за отбытием князя Горенского, заступал должность крайнего, и немедленно появился на царском столе золотой поднос, на котором стояли братина ложчатая с бастром^[19], позлащённый воронок с крепким мёдом и любимый Иоаннов кубок в виде сокола, у которого вместо глаз вставлены были алмазы, а золотые крылья были осыпаны рубинами и яхонтами.

Стольник, отведав вино из братины, подал его Левкию, который, отведав, налил в кубок и поднёс Иоанну с низким поклоном.

— Пей во здравие, государь, — сказал он ему, — твоя утеха — нам веселие, не всё скорбеть и крушиться. Бог дал тебе царство крепкое, державу честную, поживи для своего покоя, ты не иннок, не отшельник от мира, сам всех мудрее, дал бы Господь тебе здравия... будет помощница для твоей царской радости!

— Право, Левкий, ты умнее Сильвестра, — молвил Иоанн, усмехнувшись.

— Вздумал ко псу применить! Ох, государь! Не мои речи, а Господне смотрение. В десятый день по кончине царицы Бог положил тебе на думу: жениться на сестре польского короля, и послы уж отправлены... как бы мы повеселились на твоей царской свадьбе!

— Послы мои хвалят Катерину: всем наделена от Бога, дородством, здоровьем и красотой; король рад отдать, да спорит, чтоб быть ей в римском законе.

— Пойдёт на спор, быть войне; а свадьба своим путём; много княжон и царевен, дочь дщери лучше! Воля твоя: выбирай, государь!

Так говорил Левкий, угождая Иоанну. Скоро разговор стал шумнее. Фёдор Басманов, Афанасий Вяземский и Мал юта Скуратов вошли по приглашению царя; за ними Вассиан и Мисаил. Смех шута и крик карлика в присутствии иноков и царя придавали собранию странную весёлость. Ложчатая братина стучала о золотой поднос при прославлении имени Иоаннова и усердных поклонах, пока не ударил колокол в Благовещенском соборе ко всеобщей.

ГЛАВА IV

Жертвы клеветы

Мрак ночи редел над Москвою; уже рассветало, когда на площади, за кремлёвской стеной, слышался стук топоров — воздвигали деревянный помост. Наставший день долженствовал быть днём ужаса для всей Москвы. Многие граждане, поражённые скорбью, затворились в своих домах, другие, побуждаясь любопытством, которое было сильнее страха, бежали туда, где смерть поджидала новых жертв. Палач уже стоял среди толпы неистовой черни, говорившей с безумною радостью, что будут казнить чародейку с детьми её.

— Она отравительница! — говорил один простолюдин. — Да с чего быть добру? Она не православная, а из ляхов проклятых, и дети-то её знались с нечистою силою: теперь им скрутили руки перед крестом, так и нечистая сила не поможет.

— Экое диво! — сказал мещанин из кожевенного ряда, качая головой: — Эта чародейка раздавала в народе много милостыни.

— И прещедро наделяла в память Алексея Адашева, — сказал другой.

— Да в Петров пост скоромилась, — закричал один из стрельцов.

— А сколько пустила оборотней! — пробормотала беззубая старуха. — Кого волком, кого медведем; не одну царицу испортила, а помогал ей... наше место свято!

— Ведь и деньги-то её, — пробормотала толстая купчиха. — Лишь кто перекрестится, ан из рук пропадут...

— Нет, не грехи, родная! — сказал старик нищий, стоявший печально в толпе. — Её подаяние не пропадало.

— Да ты почём знаешь?

— Как не знать, свет мой, вот третье лето я питаюсь её милостыней, третью зиму ношу её шубу.

— Видно, что милосердная! — сказал купец. — Так чародейка ли она? Бог ведает.

— Сохрани Спас и думать, — сказал молодой ремесленник, — она, моя кормилица, спасла мою мать от болезни; призрела сироту, соседкина сына; но, видно, горе ей на роду написано...

— Молчи, молчи, — остерёг, толкнув его, дядя, — вот идёт дьяк, поволокут тебя в земскую избу.

— Какие сыновья-то у ней! — сказал нищий старик. — Тоже предобрые и ещё на возрасте!

— Видал я их, — проговорил купец, — хоть бы у православной таким быть!

В это время раздался треск барабана; показался отряд стрельцов, вооружённых бердышами; за ними шли к лобному месту осуждённые, держа в связанных руках горящие восковые свечи, слабый свет которых ещё более оттенял бледность их лиц. Впереди шёл Владимир, наречённый жених дочери боярина Сицкого; за ним следовали два московских жильца — братья его. Отчаяние, видно, было на их лицах. Как ни ужасна мысль умереть от рук палача и в цвете лет, но ещё ужаснее было для них видеть гибель матери и братьев. Несчастливая шла под чёрным покрывалом с двумя младшими сыновьями.

Осуждённые подошли к лобному месту. Возле помоста стоял думный дьяк, он прочёл приговор:

— За злодеяния матери и сына, друживших Адашеву, предать чародейку смерти, со всем её окаянным племенем. Таково повеление царское!

— Погибай, окаянная! — раздались крики в толпе.

— Швыряй камнями в бесовское отродье! — заревел закоптелый чеботарь, размахивая жилистыми руками.

— Молчи ты, чёрный бес! — крикнул ему стоявший неподалёку служитель Курбского: — Её судит Бог и царь, а не ты, чеботарь!

— Дело! Дело! — закричали в народе, и чеботарь приумолк.

Грозный час наступал: палач приблизился к осуждённым; в разных местах между народом слышались плач и вздохи.

— Помилуй нас, помилуй! — кричали два отрока, дети Марии, упав к ногам дьяка.

— Сановник царский! — сказала Мария, обращаясь к думному дьяку, — заклинаю тебя именем Бога живого, дозвожь мне в последний раз благословить детей моих!

Дьяк постоял в нерешимости, но уступил состраданию, с мрачным видом он дал знак подвести детей к матери.

Тогда, возложив на головы детей руки, отягчённые цепями, Мария сказала:

— Благословляю вас на венец мучеников! Отец Небесный видит невинность вашу. Дети! Его солнце сияет нам и в сей час, когда смерть пред нами, его небо осеняет нас! Не страшитесь орудия казни. Дети! Смерть не разлучит, но соединит нас! Мы переселимся в отечество небесное.

Она поцеловала сыновей своих и заплакала, склонясь на плечо Владимира; солнце озаряло перед ними площадь, кипящую народом; ничто в природе не предвещало их жребия, и вековые кремлёвские стены тихо стояли в неподвижной красоте своей так же, как в радостные дни жизни их... Скоро кровь их брызнула на помост... Мария безмолвно молилась. Владимир, склонив голову, шёл за братьями; на последней ступени он хотел на кого-то взглянуть и вдруг затрепетал... ужас выразился на лице его. Перед его глазами мелькнули главы Благовещенского собора, возле дома Адашевых, где в первый раз он увидел дочь боярина Сицкого. Несчастный вспомнил о милой невесте, о прежних надеждах своих и содрогнулся, холод объял его сердце, он зашатался, застонал и упал мёртвый. Палач остановился в недоумении, но, как бы досадуя, что смерть предупредила его удар и похитила жертву, с безумным ожесточением потащил мёртвое тело на плаху, размахнулся окровавленным топором и, высоко подняв голову Владимира, сбросил её со смехом на ступени помоста...

Казнь закончилась. Народ в неподвижном оцепенении смотрел на тела убиенных; наконец слышался шёпот. «Спаси нас, Господи!» — переходило из уст в уста.

— Мученическая кончина! — сказал со вздохом один боярин, отирая слёзы.

— Для топора ли вы были взлелеяны, прекрасные дети? — говорил другой.

— Ох, ох, ох! Все мы — люди грешные, не убежать тьмы кромешной! — кричал в толпе юродивый.

ГЛАВА V

Ночь

Княжеский деревянный дом Курбских находился близ церкви Николы Госту некого; крытые кровли высоких хором ещё издалека были видны из-за тесового забора, отделявшего от дома сад Владимира Андреевича, за которым на месте бывшего некогда подворья ордынских послов виднелся златоверхий Никола Гостунский; несчётное множество разноцветных, блестящих крестами глав видно было в отдалённости под гору за кремлёвской стеною и кровлями боярских домов. Десятилетняя Анна Колтовская стояла в сенях, любясь на работу девушек, которые возле решетчатого окна сидели за пядями, выстилая серебром цветы по синему бархату; из сеней был переход в светлицу, где Гликерия незадолго перед тем, по обещанию, низала жемчугом пелену к чудотворной иконе в обитель Вознесенскую, но княгини не было в светлице; она была у вечерни, находя в молитве утешение среди бедствий, внезапно постигших её друзей.

Семилетний Юрий, её сын, смотрел из широкого окна светлицы, ожидая возвращения матери.

— Ещё нейдут от вечерни, — сказал он вошедшей Анне, — а тучи собираются, видно, будет проливной дождь, застанет матушку на дороге.

— Она скоро придёт, — сказала Анна, — а чтоб тебе не скучно было, поди посмотреть, как красиво там вышивают богатую ферязь!

— А ты хотела бы носить такое платье?

— Я не княжна, не царевна, отец мой бедный дворянин, так не мне такое платье носить; незачем и желать.

— А если ты будешь княгиней? — сказал, смеясь, Юрий. — Матушка говорит, что она была стрелецкая дочь, а теперь она княгиня, отец мой князь, он взял казанского царя в плен, и казанская царица дарила его доспехами. Хочешь ли, я покажу тебе их? Мамушка пошла туда оправить лампаду.

Анна улыбнулась и с любопытством побежала с Юрием через сени, в обширный покой, в котором князь Курбский обыкновенно беседовал с друзьями. В переднем углу, над широкой лавкой иконы блистали драгоценными ризами, свидетельствуя усердие к вере и богатство боярина; в другой стороне, на ткани, которою была обита деревянная стена, развешано было оружие: булатный меч, старинная броня ярославских князей, сулица с рукоятью и клинком, острым с обеих сторон, в парчовом чехле; две татарские сабли, подаренные от Сумбеки и Едигера, лёгкое метательное копье с зубчатым ратовищем, колчан с позолоченными обручами, остроконечный высокий шишак, называемый иерихонскою шапкой, панцирь из стальных пластин с золотыми насечками. Далее видна была серебряная булава с позолоченным и осыпанным яхонтами яблоком, подаренная Иоанном за взятие Казани, шестопёр с булатными острями, отбитый в башкирских степях. В углу покоя стоял поставец, отягощённый сулеями, стопами, кубками и кружками в виде оленей, медведей и соколов, с шутивными и поучительными надписями — достояние предков, добыча войны, дары царские. Но драгоценнее золота и серебра были для Курбского лежавшие на широком дубовом столе столбцы и книги; рукопись, облечённая бархатом, в которой греческий краснописец собрал поучительные слова Златоуста; тут же лежали в свитках: жития Александра Великого, Антония и Клеопатры, грамматика Максима Грека и список со священной книгой Макария. Над столом видны были две редкости: зеркало, имевшее вид щита в медной оправе, украшенной листьями и змеями,

и хрустальный рог с резьбою; возле них висел портрет знаменитого изобретателя книгопечатания Гуттенберга, имя которого тогда с удивлением повторялось уже в России и изображение которого подарил Курбскому приезжавший в Москву императорский посол.

Юрий и Анна с любопытством рассматривали оружие и драгоценности в палате князя, а добрая мамушка Юрия рассказывала о них, что слыхала. Но на книги поглядывала она косо и, проходя мимо Гуттенбергова портрета, перекрестилась.

— Вот, — сказала она, — наше место свято, латинский еретик, прости Господи, висит как икона на стенке; он, лукавый, вздумал печатать всякую грамоту; отец Пимен, спасский протопоп, говорит, что приходят последние дни, что грамота — антихристова печать и, ох, худо будет!.. Да князь-то Андрей Михайлович не то говорит; наслушался он, мой батюшка, проклятых немцев, а по моему разуму я все бы книги в печи сожгла.

— Вот какова ты, мамушка! — сказала, смеясь, Анна. — Это Бог людей умудрил; у нас читают в церкви Апостол по писаному, а скоро будут читать по печатному; государь на то казны даст, владыко благословил, гостунский диакон трудится, а князь Андрей Михайлович помогает.

— Ну, да с вами не сговоришь, моя касаточка, Анна Алексеевна; я что от людей слышу, то и толкую; отец диакон — человек добрый, да и мудрости у него много, а проще-то — лучше. Вот ведь Адашева мудрость погубила, а вы, ещё пташки, в молодые лета мало знаете, а поживёте, увидите... Ох, ох, ох! Недаром развелось звездочётов да кудесников.

Мамушка хотела что-то ещё сказать, но, как будто боясь проговориться, приложила палец к губам и, покачав головой, замолчала.

— О чём же встосковалась, родная моя? — спросила она Анну.

— Не верь, мамушка, не верь тому, что говорят на добрых людей... — Слёзы помешали Анне договорить.

— О! — воскликнул Юрий. — Если б я мог поднять меч, то заступился бы за Адашевых.

— Мамушка, — сказала Анна, отёрши слёзы, — мне хотелось бы попросить тебя: не знаешь ли какую боярскую дочь, чтоб купила мою бархатную повязку, я сама вышивала её шелками и золотом.

— Для чего это? — спросила с удивлением мамушка.

— Дал бы Бог получить за работу сколько-нибудь денег, хочу раздать бедным на помин моих благодетелей; мне не носить богатых уборов; они сироте не пристали.

— Ненаглядная моя красота, райская жемчужинка, — сказала с умилением мамушка. — Бог не оставит тебя за то, что ты милосердна и благочестива; наша матушка-княгиня будет тебе вместо родной матери так же, как боярыня Адашева, царство ей небесное, помянуть не к ночи, ко дню; но вот идут по крыльцу. Ступайте, дети, видно, княгиня воротилась из церкви.

Юрий побежал встретить мать, а Анна пошла с мамушкой в светлицу.

Княгиня не отвечала на ласки сына: она отвела глаза, покрасневшие от слёз, и, опустясь на скамью в изнеможении, наконец спросила:

— Не возвратился ли Шибанов?

— Не приходил ещё, — отвечал Юрий, — а утром я видел его из окна: он шёл с Непеей...

Послышался топот коня, заскрипели ворота, и князь Андрей Михайлович вошёл в светлицу.

— Всё свершилось! — сказал он супруге. — День ужаса и позора! Кровь невинных заливает путь

Иоанна!

Грудь Курбского тяжело вздымалась, и Юрий, прижавшись к руке отца, не смел произнести ни слова.

Княгиня обняла супруга и сказала:

— Друг мой, князь Андрей Михайлович, не круши себя и меня!

Князь встал и удалился в свой уединённый покой. Там он преклонил голову на дубовый стол и оставался неподвижен, пока не услышал шаги вошедшего человека... это был почтенный гостунский диакон.

— Ничто не спасло их! — сказал Курбский, пожав руку диакона. — Шибанов видел их смерть.

— Добродетель бессмертна! — отвечал диакон.

— Что стало с Иоанном? Боже Всемогуций, как изменились нрав и вид его!

— Сердце человеческое, — сказал диакон, — изменяется на добро или на зло и переменяет наш образ. Касающийся смолы — очернится.

— Счастлив Алексей, что успел закрыть глаза и не был свидетелем казни брата.

— Горе клевете и верящим ей! — сказал диакон.

— Придёт время, — воскликнул Курбский, — когда содрогнётся потомство, услышав о смерти Марии. Дивная жена, достойная вечной памяти! Некогда просветится невинность твоя при помощи просвещения человеческого!

— Так, — сказал с вдохновением диакон, обращаясь к любимому предмету своих разговоров, — книгопечатание распространит познания: правда объяснится, благодаря художеству Гуттенберга. Чудное изобретение, князь Андрей Михайлович! Мысль человеческая, заключённая в кратком начертании, может переходить из страны в страну, от века в век!

Они ещё беседовали, но уже смерилось, никого не появлялось на улицах, частый осенний дождь с шумом лился на крытые высокие кровли и, отражаясь от белого железа церковных глав, стремился на землю ручьями.

— Тяжело мне от ран! — сказал князь. — Ещё больше от скорби! Пора бы и Шибанову возвратиться...

Шибанов вскоре появился... С таинственным видом подошёл он к своему господину и сказал, что всё исполнено.

— Благодарю тебя, верный слуга мой, — сказал Курбский, — не от меня жди награды.

— Не для награды служу я, — отвечал Шибанов, — готов за отца господина и жизнь положить.

— Поспешим, — сказал Курбский, — отец Иоанн с нами. Туда, к могиле Даниила Адашева; если не могли спасти жизнь их, сохраним хотя бы прах.

Князь поспешно накинул на себя охабень и вышел, сопровождаемый диаконом и Шибановым.

Тиха была ночь над Москвою, улицы ещё не были закинута рогатками, но уже никого не показывалось. Затворились московские жители в домах, изредка мелькал огонь вечерних лампад; граждане спешили предаться успокоению; но не скоро сон слетел на вежды их; душа, поражённая ужасом, удаляла спокойствие.

В это время престарелый привратник отворял вход в ограду уединённой обители для трёх печальных посетителей. В углублении ограды виден был на лугу заколоченный досками бревенчатый сруб; вскоре из

кельи вышел иеромонах в мантии, с кадилом и двумя черноризцами. Два фонаря освещали путь человека, который призывал их исполнить последний долг, подобно Товиту, тайно предававшему земле тела несчастных. Тихо свершился печальный обряд погребения в необычайный час, среди безмолвия ночи, но тем торжественнее казался он при блистании вечных звёзд.

ГЛАВА VI

Золотая палата

Суеверие разносило молву об адашевцах; разговоры народа о несчастных жертвах и казнях долго не умолкали. Между тем русские послы доставили Иоанну портрет прекрасной сестры Сигизмунда Августа. Царь желал скорее обладать подлинником; с нетерпением ждал польского посланника, но прибыли неожиданные гости: послы с дарами от Абдулла, царя бухарского, и Сеита, царя самаркандского. Имя покорителя Казани и Астрахани гремело в азиатских странах; властители их искали дружбы Грозного.

Приехал и польский посол. Думный дьяк и печатник Щелкалов спешил переговорить с ним и донёс царю, что посол прибыл не для брачных условий, а с гордыми требованиями. Пламенник войны должен был возгореться вместо светильников брачных.

Оскорблённый Иоанн хотел немедленно выслать посла, но, взглянув на портрет Екатерины, ещё не решился отказаться от надежды на брак и, желая напомнить ляхам о силе русского царства и показать блеск московского двора, повелел звать посла в Кремлёвский дворец. В тот же день должны были представляться послы самаркандский и бухарский.

С рассветом начали собираться царские сановники в приёмных палатах, заботясь о приготовлении пиршества и приёма послов. Вооружённые стрельцы протянулись строями по Кремлёвской площади; туда же спешили толпами боярские дети и служилые люди в нарядных одеждах. Даже московские купцы, желая похвалиться богатством и усердием к государю, заперли лавки и оделись в парчовые кафтаны, которые для торжественных дней береглись в кладовой и переходили по завещанию от отца к сыну.

От дворцового крыльца до первой приёмной палаты по обеим сторонам лестницы и в сенях стояли боярские дети и жильцы в светло-синих бархатных кафтанах с серебряными и золотыми нашивками. В передней палате толпились стольники в кафтанах из парчи и глазета, в средней палате сидели бояре и окольничие; степень старейшинства их означалась богатством отложных воротников, шитых в узор золотом с жемчужными зёрнами. Думные дьяки, привыкшие встречать и провожать послов, похаживали с величавою важностью или толковали с думными дворянами за особым столом, на котором лежало несколько грамот и памятных записей в свитках.

Но уже царь шествовал чрез переходы в золотую палату; звук труб возвещал приближение послов, и улицы наполнились народом. Почётные гости ехали на красивых конях, гордо выступавших в блестящей сбруе, но ещё вдалеке от дворца, по правилу, не позволявшему подъезжать к царскому крыльцу, должны были сойти с коней и идти пешие.

Стечение народа многим препятствовало видеть проходящих; особенно жаловался на тесноту дворянин Докучай Сумбулов боярскому сыну Неждану Бурцеву. Докучай по малому росту должен был довольствоваться рассказами своего высокого товарища.

— Вот, — говорил Неждан, — посол самаркандский, в жёлтом кафтане из камки кизильбашской, подпоясан индейскою шалью, а шуба-то на нём распахная, крыта объярью, отливает в прозелень золотом.

— Я вижу только мухояровую шапочку, — отвечал Докучай, — обшита соболями, унижена по узору жемчугом.

— Это идёт посол бухарского царя, Авдула, пояс у него так и горит самоцветными камнями.

— Эх, за народом-то не видать, — повторял Докучай.

— Вот никак польский посол в аксамитовом кунтуше, в атласной шубе с откидными рукавами, шапка из вишнёвого бархата; а длинное цаплино перо так и развевается.

— Цаплино-то перо я вижу, — сказал Докучай.

— Он и сам выступает как цапля, — проронил Неждан.

— А много идут за ним?

— Много,.. все поляки, экие нехристи, дивись на бусурманов: мимо собора идут, не перекрестятся...

— А это кто такой дородный молодец? Щёки румяные, волосы светло-русые, кудрявые?

— Английский торговый гость, Антон, а прозвище-то мудреное... Уж как царь его жалует; послала его сама королева Елизавета; не диво, что щеголяет в синем бархатном плаще, а епанча какая! Шляпа с белыми перьями, на руке посверкивают перстни алмазные...

— Не вижу, — сказал Докучай, приподнявшись на носки сафьяновых сапог.

— А вот старый немец, голова Божьих дворян, которого полонил воевода князь Курбский.

— А теперь будут вместе пировать в золотой палате.

— Нет! Князь Курбский под великою опалой государевой.

— Гнев Божий на людей! — сказал Докучай.

— Молчи, наше дело сторона! — молвил Неждан.

«Князь Курбский под опалой государевой!» Так отвечали и в приёмной палате старцу, ливонскому гермейстеру Фюрстенбергу, спросившему о славном воеводе думного дьяка, и Фюрстенберг был в недоумении, за что победитель его мог подвергнуться царскому гневу?

В это время польский посол вошёл в приёмную палату. При всей горделивости, с какою он вступил во дворец государя, от которого ему поручено было требовать уступки Новгорода, Пскова, Смоленска и других городов и областей, в основание мирного договора, он не мог скрыть удивления при виде блеска московского двора.

Обширная палата была наполнена царедворцами в златоцветных одеждах, в собольих шапках, украшенных жемчугом; они сидели на бархатных лавках важно и чинно, но в глубоком безмолвии: казалось, каким-то очарованием никто не трогался с места, и так было тихо, как будто послы проходили чрез пустую палату. Смотрящему издали казалось, что золотое море блистало со всех сторон.

Растворились двери золотой палаты; посол потупил глаза, не выдержав блеска окружающего великолепия. Вся гордость его исчезла с приближением к самодержцу российскому. По златошёлковому ковру, расстилавшемуся до ступеней трона, посол дошёл до середины палаты.

На возвышении, облачённом малиновым бархатом, стояли греческие кресла из слоновой кости, с разрезными изображениями птиц, зверей и растений. Здесь посол увидел царя в одежде, обшитой широкою жемчужной каймою, унизанной алмазными цветами. Ожерелье из драгоценных камней метало яркие лучи; с него ниспадала золотая цепь с яхонтами. Рука Иоанна покоилась на бархатной подушке, держа царственный скипетр; лицо его поражало важным, строгим видом. Небольшие глаза его обращались на предстоящих, как глаза орла, следящие добычу. Чёрная борода его сбегала на грудь; длинные широкие усы, до половины закрывая уста, спускались почти наравне с бороною.

У ступеней трона стояли юные рынды с серебряными топориками, в белых атласных полукафтанах, опушённых соболями, в высоких чернолисых шапках, из-под которых вились гладкие, как шёлк, волнистые

кудри; стояли безмолвно, неподвижно.

Думный дьяк, встав перед троком, произнёс титул царя и торжественно воскликнул, что посол польского и литовского короля Сигизмунда Августа бьёт челом царскому величеству.

Посол три раза почтительно поклонился, не без смущения подал грамоту Сигизмунда и, повторив по обряду титул царя, заключил кратким приветствием.

Царь отвечал лёгким наклоном головы и, привстав с трона, спросил о здравии брата своего короля Сигизмунда Августа.

Посол отвечал, снова преклонясь пред царём. Иоанн, просмотрев поданный Щелкаловым свиток, в котором заключался перевод королевской грамоты, нахмурился и, приподняв скипетр, сказал:

— Вот наш ответ королю Сигизмунду: желаем мира и союза по любви христианской; но доколе держим скипетр российского царства, дошедший к нам по роду и наследию от великого князя Владимира и великих боговенчаных предков наших, дотолé никому не уступим ни единой пяди от богодарованного нам царства, но сохраним всецело и от врагов невредимо.

Иоанн умолк, но послу ещё слышался грозный голос его; он стоял в смущении. Тогда думный дьяк подошёл к нему и сказал, что великий государь жалует его, приглашает к царской своей трапезе с другими послами.

Поцеловав руку царя, посол сел на приготовленном для него месте, возле ливонского магистра Фюрстенберга.

Щелкалов дал знак бухарскому послу подойти к трону; между тем польский посол имел время внимательнее обозреть палату и находящихся в ней.

Над царским местом блистала большая икона в золотой ризе, с драгоценными камнями; на серебряном столе с позолоченным подножием лежали на златобархатных подушках три короны: мономахова и царств казанского и астраханского. По правую сторону трона, на местах, покрытых среброткаными паволоками, сидели царские братья: князь Юрий Васильевич, двоюродный брат, князь Владимир Андреевич и другие Иоанновы сродники; возле них в пышной восточной одежде и в блестящих доспехах сидели цари и царевичи, служащие царю московскому: потомок Тохтамыша, сын Сумбеки, вдовы Саф-Гиреевой, Александр Сафгиреевич; царь казанский Симеон Касаевич, прежде именованный Едигером; любимец Иоанна царевич Симеон Бекбулатович и астраханский царевич Кайбула; далее сидели на парчовых лавках первостепенные царские сановники, а с левой стороны родословные князья и бояре. Повсюду блистали аксамит, золотые кружева, золотые цепи, отливал радугами яркий бархат, лоснился чёрный соболь, белели жемчужные кисти.

После бухарского посла подошёл к трону посол самаркандский и приветствовал царя речью от имени своего властителя, которую думный дьяк провозгласил в переводе со златописаной грамоты султана Сеида, царя Абусандова сына:

— Превеличайший в великих! Превознесённый властелин многих земель! Славны были Дарий и Соломон, ты их славнее; как солнце, освечиваешь вселенную, как месяц среди звёзд, блещешь среди владык земных! Благотворение твоё, плодовитое древо, даёт всем прохладу; ты — царь царей, подобен Гамаюну, подобен Александру; меч твой, как ключ, отмыкает замки крепких градов, саблей твоей открываешь пути в чуждые царства...

Радостно слушали бояре речь посла, и на лице Грозного просияло веселие; обратясь ласково к послу, он спросил его о здравии царя Сеида, обещал самаркандским и бухарским купцам не только дозволить торговлю в Казани и Астрахани, но и во всех городах русского царства.

Азиатские послы поднесли в дар царю золотые ткани, блюдо с восточным жемчугом и чашу с виноградною кистью из рубинов и изумрудов.

Иоанн повелел отдарить их драгоценными мехами, также и посланника Елизаветы, англичанина Антона Дженкинсона, поднёсшего ему алмазную цепь в дар от лондонской российской компании.

Ловкий, предприимчивый Дженкинсон умел угождать и Иоанну, и англичанам: для первого он приискивал и покупал драгоценности, для последних — хлопотал о выгодах торговли; он осмотрел Россию от Архангельска до Астрахани и собирался ехать в Бухарию и Персию.

— Антон! — сказал царь. — Я твои алмазы велю нашить на моё ожерелье, а ты носи на плечах русскую шубу. Да пожери твоих английских гостей, зачем не возят никаких узорочных товаров? Что мне в сукне их, возили бы парчу.

— Государь! — отвечал Дженкинсон. — У вас ли парчи не достало? Но была бы ваша царская воля, а я для вашего величества готов ехать в Татарию и в Персию за парчами и алмазами, лишь бы туда открыт был путь усердным к вам англичанам.

— Свободный вам путь от Архангельска до Астрахани.

— Королева будет благодарить ваше величество. Лишь бы осмотрели мы, каково плавание по Каспийскому морю, будем из Персии возить к вам по Волге жемчуг пудами, а для нас дозвоьте, государь, поискать железа в Уральских горах.

— Дам грамоту, — сказал Иоанн, — но вы, торговые люди, далеко забираетесь. Есть и у нас промышленник на великой Перми, Григорий Строганов; выпросил под слободу места пустые, леса чёрные, поля дикие, а теперь казны у него больше, чем у казанского царя. Не правда ли, Симеон Касаевич?

— Меч твой, государь, убавил нашего богатства, а мудрость твоя прибавила нашего разума; мы тобой от тьмы к свету вышли, — отвечал царь казанский.

— Вот Фюрстенберг! — сказал Иоанн, обратясь к угрюмому ливонскому магистру. — Хорошо, когда бы ты также думал, как царь Симеон Касаевич.

Фюрстенберг, услышав слова Иоанна, встал, дрожащими шагами подошёл к трону и сказал:

— Великий государь, прошу одного на старости: дай мне могилу в отечестве!

— Магистр! — сказал Иоанн. — Ещё много вины на тебе и меченосцах твоих, они ссорили меня с цесарем, набегали на отчину нашу, когда должны бы служить мне: род мой от Августа Кесаря, по Рюрикову родству, а власть наша над ливонской землёй от нашего предка князя Юрия Владимировича.

— Твоя воля над нами, — сказал Фюрстенберг, низко преклонив голову.

Как необычно было это смирение магистра после той надменности, с какою некогда он заключил в темницу архиепископа рижского, несмотря на родство его с королём польским, Иоанн вспомнил об этом.

— Ты сам показал отвагу, только худо, что после винился королю, а не просил нашей помощи.

— Забудь наши вины, государь, и дай мне, старцу, приют.

— Даю тебе в отчину город Любим; наше царское жалованье, — сказал Иоанн. — Там будешь в покое. Думный дьяк заготовит грамоту.

Фюрстенберг преклонил колени и, поцеловав простёртую к нему руку Иоанна, сказал:

— Повели, государь, устроить там кирку для старца.

— Хорошо... но когда-нибудь я изберу время поспорить с тобою о вере, укличу тебя в неправедном

толке и крещу в православие, как царя Едигера.

В это время думный дьяк, подойдя к царю, сказал:

— Великий государь, возвратился посланный тобою в Кавказские земли, боярин твой, князь Вишневецкий, а с ним просит бить челом тебе сын князя Темгрюка от пятигорских черкес.

Иоанн дал знак, и знаменитый, бывший польский магнат — царский боярин князь Вишневецкий — вошёл в палату и бил челом с князем черкесским. Пламенные глаза и смелая осанка князя Мастрюка показывали отважного питомца кавказских горцев. Круглая черкесская шапочка прикрывала его голову, поверх короткой кольчуги на красном полукафтаны серебряный пояс стягивал его стан, и стальное чешуйчатое оплечье звенело на груди.

Иоанн похвалил мужественную красоту юного князя. Тогда Вишневецкий заметил, что у Темгрюка есть дочь несравненной красоты, звезда среди черкесских дев.

Царь слушал с удовольствием о черкесской княжне и сказал:

— Видно по брату, что сестра хороша.

Но уже наступал час трапезы. Царь встал и, ополоснув руки водой из золотой умывальницы, стоявшей близ трона на золотом стоянце, отёр их белоснежным полотенцем.

Отворились двери в столовую палату, где приготовлен был пир. Здесь представилось ещё более ослепительное великолепие; нельзя было вступить без радостного чувства в этот чертог блеска. Палата озарена была множеством светильников; яркое сияние их отражалось в золотой горе; в таком виде представлялся средний столб палаты, снизу доверху обставленный рядами сосудов. На широком основании стояли позолоченные стопы, сулеи, братины, над ними поднимались пирамидою золотые блюда, чаши и кружки; вершина оканчивалась семью венцами золотых кубков; резными, витыми, ложчатыми, чешуйчатыми, с гранями, с чеканью, с надписями, изображениями. С обеих сторон возвышались два столба серебряной утвари, и около каждого стояли по шести серебряных бочек с золотыми обручами.

— Добыча ливонской войны! — сказал Иоанн, указав на них Дженкинсону. — Это рыцарское серебро!

Царь сел за особый стол с ближними родственниками и с казанскими царями. Посланники польский, английский и гермейстер Фюрстенберг сели за стол напротив царского, с первостепенными сановниками, а для послов и князей азиатских с татарскими царевичами и карачами, по правой стороне палаты на великолепном примосте разостланы были шёлковые ковры, на которых они сели по восточному обычаю.

С левой стороны поместились за двумя столами знатные бояре и сопровождающие посланников.

Стольники, неся позолоченные и серебряные блюда с яствами, а чашники — кубки и стопы с вином и мёдом, шли из дверей по два в ряд, один за другим, необозримым, блещущим в золоте строем, к столу царя. Стольник отведывал от каждого блюда, крайний — от каждого кубка, и подавал государю. Откушав от яствы или коснувшись устами кубка, царь отсылал блюдо и кубок для передачи своим гостям и любимцам, и крайний, по слову или по его знаку, именуя кого-нибудь из послов, из князей или из бояр, подносил царскую подачу. Принимающий вставал и кланялся царю. Таким образом самые лакомые блюда и кубки с драгоценными винами были почётным даром от царской руки, со стола государева.

Пять часов продолжался обед — так роскошно было обилие яств; каждый разряд, например: жареное, пряженое, сахарные яства, появлялись в двадцати разных видах; четыре раза обносили вокруг столов за здоровье кубки с крепким мёдом, испанским вином, с белым, прозрачным мёдом. Крайний выбился из сил, восклицая, и уже охриплым голосом провозгласил:

— Князь Вишневецкий! Великий государь жалует тебя сею чашею мёду.

Вишневецкий встал, выпил чашу мёду и поклонился.

Крайний воскликнул:

— Князь Вишневецкий выпил чашу мёду и государю челом бьёт! Князь Мастрюк Темгрюкович! — снова воскликнул он. — Великий государь жалует тебя сахарной башней с царского стола своего!

Толмач повторил его слова по-черкесски.

Черкес поднялся на ноги и поклонился, а крайний кликнул:

— Великий государь! Князь Мастрюк Темгрюкович за подачу твою челом бьёт!

— Князь Мастрюк! — сказал весело Иоанн. — Зови отца и сестру твою посмотреть Москву.

— Государь! — молвил князь Вишневецкий. — В черкесской земле сыновья не живут с отцами; Мастрюк ещё не видел сестры своей.

— Пусть же увидит её в Москве, — сказал Иоанн, вставая из-за стола.

Пиршество закончилось.

— Ну, был пир! — говорил ключник Истома Дружинин, принимая серебряные блюда от стольника, Постника Игнатьева. — Сколько угощали послов и князей!

— Не каждого принимать особо, — отвечал Постник.

— Мы утрудились до пота лица. Останется хлопот и на завтра.

— Правда, — сказал Истома, — собирать кафтаны да утварь, переносить в кладовые.

— Беда, — молвил Постник, — если бы для каждого посла было столько погрому, а то угостили всех одним разом, и царю слава!

ГЛАВА VII

Царский брак

Сигизмунд Август не помышлял о союзе с царём. Польский посланник поспешно выехал из Москвы. Иоанн готовил месть и, стараясь удалить из памяти мысль о прекрасной польской Екатерине, снова послал Вишневецкого на Кавказ: он решил увидеть и даже возвести черкесскую княжну на трон московский.

Князь Курбский не появлялся в царских палатах. Все приверженцы Адашевых страшились за свою судьбу; князь Курлятев, доблестный старец, князь Александр Горбатый были под опалою; одно заступничество митрополита Макария отдаляло жребий, грозивший им. Новые любимцы и утешители Иоанна, превозносясь своим могуществом, обрекали гибели многих. Клевета смело бросала тень подозрений на знаменитых бояр, вернейших сынов отечества, и тревожилась только ожиданием новой перемены.

Радостно принял Темгрюк царское слово; через несколько месяцев княжна черкесская прибыла в Москву; Иоанн встретил её у Кремлёвской стены и равнодушно смотрел на красавицу. Свежая, как роза, лёгкая в движениях, величаясь поступью, но дикая и несколько робкая, черкесская княжна привлекала его полными огня взорами, выражавшими пылкость чувств; чёрные волосы её ниспадали заплетёнными шелковистыми косами на высокую грудь, и алые уста улыбались. С быстротою стрелы черкешенка взлетала на коня, поражала птиц на лету и трепетание крыл падающего голубя, и кровь, брызжущая из раны, веселили её. Никакого сходства не было в ней с Анастасией, но тем не менее она возбудила страсть в Иоанне.

Когда в царских палатах поднесли ей жемчужный убор и алая ферязь, унизанная алмазами и яхонтами, облекла стройный стан её, тогда Иоанн забыл и Анастасию, и прекрасную сестру короля Сигизмунда.

Спешили приготовлениями к брачному торжеству; княжна переменила веру, и названа была Марией; брат её, Матрюк, назван был Михаилом и возведён в степень старейших царедворцев. Толпы черкесов в блестящем вооружении, с копьями, стрелами и луками появились при московском дворце, и бояре московские с беспокойством предугадывали в новых пришельцах царских любимцев.

Уже гонцы призывали всех бояр занять по степеням их и по царскому указу места при бракосочетании государя; уже знали, что свадьбе быть в неделю [\[20\]](#). Московские граждане нетерпеливо ждали торжественного дня, и он настал.

Звон колоколов раздавался по всей Москве, народ теснился на Кремлёвской площади, ожидая увидеть выход царя к брачному венчанию; у Красного крыльца стояли великолепные, обитые бархатом сани, с парчовыми подушками; ясельничий накинул на коня шёлковое покрывало, вышитое жемчугом. Между тем средняя брусая палата Кремлёвского дворца, убранная золотыми парчами, уставлена была образами; на всех стенах её сияли в драгоценнейших окладах взятые из соборов чудотворные иконы. Место в палате для царя и царицы обито было лазоревою камкою и покрыто златошитыми подушками; на каждой лежало по сороку соболей; третий сорок соболей держала сваха. Пред царским местом на столе, накрытом белокамчатною скатертью, лежали на золотых блюдах калачи и соль.

Сваха и боярыни окружали прекрасную невесту в её тереме и расплели ей косы. Царедворец, присланный от жениха, известил невесту, чтобы она шествовала в палату. Она встала, боярыни шли перед

нею, а за нею несли большие брачные незажённые свечи и караваи; на каждом из них положено было восемнадцать больших серебряных пенязей, с одной стороны вызолоченных. Невеста, войдя в среднюю палату, села на изготовленном месте, а жена свадебного тысяцкого и свахи — на лавках, боярыни, со свечами и с караваем, стали в ряд возле свех. С любопытством посматривала черкешенка на две узорчатые золотые мисы с драгоценным осыпалом; на них в трёх углах насыпан был хмель; с трёх сторон висело по девяти соболей, и лежало девять одноцветных платков: бархатных, камчатных и атласных, и по девяти больших золотых пенязей. Тут князь Юрий Васильевич вошёл в палату с боярами и боярскими детьми, сел на большое место и, дав знак боярину-дружке, князю Мстиславскому, приблизиться, повторил за подсказывавшим ему боярином: «Зови великого государя и скажи ему: великий князь Юрий Васильевич велел тебе с божиею помощью идти к делу своему». Тогда Иоанн пошёл в среднюю палату в сопровождении всех бояр и поезжан. Поклонясь святым образам, он приблизился к месту, на котором сидела подле невесты младшая сестра её, и, дав ей знак встать, сел на её место.

Священник в светлой ризе начал читать молитву; в это время жена свадебного тысяцкого подошла с золотым гребнем расчёсывать голову жениха и невесты. Богоявленскими свечами зажгли брачные свечи, надели на них золотые обручи, осыпанные дорогими камнями, и обогнули соболями. Уже надели на прекрасную черкесскую княжну жемчужную с алмазами кикю с белым сребротканым покрывалом. Жена тысяцкого, подойдя к мисам, взмахнула золотым осыпалом, и хмель посыпался на жениха и невесту, в знак обилия и плодородия. Старший дружка, по благословению отца посаженного, князя Юрия, разрезал перелечу и сыр, поставил на золотых блюдах перед Иоанном и Марией и разослал ломти к присутствующим боярам и боярским жёнам.

Вскоре жених встал, и при колокольном звоне началось торжественное шествие с Красного крыльца в Успенский собор. Царь сел на коня, а невеста — в сани. Державный жених облечён был в аксамитный становой кафтан; полы были выложены перлами, пояс и пуговицы алмазные, вокруг рукавов золотые кружева блистали дорогими камнями, на голове сверкал царский венец, кольчатая цепь висела по жемчужному ожерелью; во взгляде Иоанна была величавость, но лицо его было бледно; чёрная вихрастая борода и длинные усы придавали ему грозный вид. За ним следовали черкесские князья; народ боязливо посматривал на них. Светло сиял Успенский соборный храм; Иоанн встал на правой стороне близ столба у митрополитова места, а Мария — на левой стороне, у другого столба, перед ними поезжане со свечами и караваем. Жених и невеста приблизились к митрополиту; старший дружка, царевич Симеон Бекбулатович, разостлал им под ноги лазоревую камку и сорок пушистых соболей. Подле венчания митрополит Макарий поднёс хрустальный сосуд с фряжским вином.

Царь, выпив вино, ударил сткляницу об пол и, по обычаю, растоптал её. Свершился священный обряд; новобрачные сели у столба на помосте, покрытом персидским ковром, на парчовые изголовья, и митрополит произнёс поздравление. Подошёл князь Юрий Васильевич и хотел что-то сказать, но, поцеловав брата, поклонился и отошёл. За ним приветствовал князь Владимир Андреевич, двоюродный брат; князь Михаил Темгрюкович, брат царицы; молодая княгиня Юрия Васильевича, Иулиания, подвела двух отроков в светлой одежде: то были дети покойной царицы Анастасии — Иоанн и Фёдор. Мало было из бояр, кто бы не взглянул на них с умилением; иные невольно вздохнули; с обоих клиросов гремело многолетие царскому дому.

Царь вышел один в боковые соборные двери на площадь, а царица поехала из церкви в санях, запряжённых восемь белыми конями. За нею следовали жена тысяцкого, сваха-царица Сумбека и свахи боярыни.

Между тем носили свечи и караваи к брачной постели в сенник, поставили обе свечи в дубовую кадь, обтянутую искромётною серебряною объярью; в головах царского одра спальники насыпали пшеницу; по

четырёх углам поливальной воткнули золочёные стрелы, повеся на них по соболю и по пшеничному калачу; на бархатных лавках по углам поставили оловянные с мёдом; постель с правой стороны сенника постлали на три девяти ржаных снопах, припоминая, что в счастливейшее время, в торжество брака Иоанна с Анастасиею, стлали брачный одр два брата Адашевы. В головах одра и по стенам поставили четыре иконы в драгоценных окладах. Стены обиты были золотоцветным бургским бархатом, шитым шелками.

Царица вошла на крыльцо; раздались песни величания. Новобрачным предложен был завтрак; вскоре царь вышел из палат, сел на коня и в сопровождении всего брачного поезда, при колокольном звоне объезжал монастыри и церкви для принесения молитв. Он посетил и Чудовскую обитель, где встретил его приветствием Левкий. Отсюда спешил Иоанн в другие обители; был в Сретенском монастыре, сооружённом в память избавления от татар дедом его. Наконец когда он возвращался в Кремль, вдруг послышался из толпы громкий хохот; женщина странного вида, расталкивая народ, появилась перед царём, завопила что-то непонятное.

— Прочь, безумная! — закричал татарский царевич Симеон Бекбулатович, — не останавливай государя! Это кликуша, — сказал он.

— Не гоните её, — сказал Иоанн, — Господь многое возвещает устами простых.

— Не гоните меня, — говорила кликуша. — Слушай не слушай, царь, а тебе мои загадки пригодятся.

— Посмотрю, — сказал Иоанн, — что ты мне скажешь?

— Тебе вся мудрость открыта, — продолжала кликуша с диким смехом, — так скажи мне: какой был ключ деревянный, замок водяной, где заяц ушёл, а ловец потонул?

Иоанн быстро ответил.

— Моисей, — сказал он, — открыл жезлом путь чрез Чёрное море, вот ключ деревянный и замок водяной; заяц — израильтяне, а ловец — Фараон.

— Премудрый государь, — говорили бояре, — и ты проведёшь нас невредимо через море житейское!

— Загадаю другую загадку: два стоят, два идут, два чередуются. Скажи, что такое?

— Слыхал я, — сказал Иоанн, — стоит небо и земля, идут солнце и луна, чередуются день и ночь.

— А я думала, — закричала кликуша, — небо и земля — Русь и Москва, солнце и луна — царь и царица, а день и ночь — веселье и горе. — Она вдруг захохотала. — Ещё загадка: стоит град на пути, а пути к нему нет... Обмолвилась, не ту загадала, есть мудренее: долго ли проживёт князь Андрей Курбский?

— Князь Курбский, — повторил Иоанн с недоумением, — может быть, и это я знаю.

— И я тоже, — проговорила быстро кликуша, — я сейчас отгадаю: он умрёт за день прежде тебя.

Тут она закричала, завопила диким голосом, завертелась, затряслась, стала рвать на себе волосы.

Суровые черкесы с изумлением на неё посматривали. Никто не смел подойти к ней; Иоанн и сопровождавшие его удалились, толкуя о загадках кликуши.

Возвратясь во дворец, Иоанн повелел царице идти к столу, и сопровождающие её шли по шёлковым персидским коврам, сели за стол на полавочники, обитые парчой, свахи вокруг царицы, боярыни за большим столом. С царём сели братья и знатнейшие сановники; перед новобрачным поставили жареную курицу на золотом блюде, но он до неё не касался, и старший дружка, обернув её скатертью, отнёс к царской постели.

Между тем, ещё до начала пира, ближний боярин, сев на царского коня, ездил с обнажённой саблей

вокруг сенника, устроенного на палатном дворе для царской почивальни. При окончании пиршества Иоанн и Мария стали у дверей палаты, и посаженный отец, князь Юрий Васильевич, выдавая молодую супругу, сказал затверженную речь: «Бог положил на сердце тебе, государь, жениться, взял княжну Марью, и ты держи её по тому, как Бог устроил». Тогда княгиня Иулиания, супруга Юрия Васильевича, с громким хохотом надела на себя, по обряду, две шубы собольи, шерстью навыворот и осыпала новобрачных хмелем.

Всему поезду раздавали ширинки, шитые серебром и золотом. Наконец все пошли к сеннику; пред царицей понесли караваи и свечи, а пред государем фонарь с богоявленскою свечою, для зажжения других светильников в разукрашенном сеннике, где над дверьми и над каждым окном утверждены были золотые кресты внутри и снаружи. В глубине поднимался брачный одр, окинутый куньим одеялом и чернолисей шубой под шёлковой простыней.

Толпы народа долго ещё стояли вокруг двора государева... Наконец толпы разошлись, огни стали потухать, лишь боярин с обнажённой саблей ездил вокруг сенника до рассвета.

ГЛАВА VIII

Вечерняя беседа

Наступил памятный для России день. За тридцать один год в сей день родился Иоанн, ужасная гроза бушевала над Москвою и ещё страшнее разразилась громом над волнами Волхова, колебля в основании Новгород. Старые бояре припоминали, что от самых пелён новорождённый нарёкся Грозным в молве народа.

С рассвета царские палаты наполнились поздравителями. Не одни ближние бояре и святители церкви, но и купцы московские били челом на царской радости и подносили дары: серебряные сосуды, аксамиты, золотые корабельники, поставы сукна; каждый усердствовал что-нибудь поднести государю.

Многие уже разошлись, когда явился боярин Алексей Басманов; он поднёс костяной жезл в серебряной золочёной оправе.

— Довольно жезлов у тебя, государь, — сказал хитрый ласкатель Иоанну, — а ещё нет жезла на адашевцев.

Басманов показал, что сквозь затейливый жезл прoderнут был острый железный прут и при нажатии рукой пробивался из наконечника.

Иоанн усмехнулся и, взяв жезл, слегка устави́л в ногу Басманова. Тот проворно отдернул ногу.

— Жезл сей на врагов великого государя! Царская милость твоя над нами!

— Пусть все государи христианские и басурманские послужат тебе рабски! — сказал Василий Грязной.

— Ты наш, Богом избранный царь, Богом почтенный и превознесённый, — сказал с умилением Левкий.

— Да имя твоё славится от моря до моря, — продолжал Басманов.

— А слава твоя воссияет на веки, как пресветлое солнце! — перебил Левкий.

— От пучины твоего разума льются реки щедрот, — продолжал Басманов и поклонился Иоанну до земли; за ним и все окружающие.

Жезл, выскользнув из руки Иоанна, упал на ковер; несколько любимцев бросились к нему и едва не опрокинули друг друга.

— Так ли было при Сильвестре! — спросил Иоанн с довольным видом.

— Так ли было, государь, при Сильвестре? — повторил Басманов почти со слезами, вероятно, от боли в ноге.

Боярин Репнин вздохнул.

— Хочу для строптивых быть грозным, — сказал Иоанн, взглянув на Репнина. — Дар Басманова пригодится.

— Гроза ведёт к покаянию, — заметил Вассиан.

— Грози не грози Курбскому — не покается, — сказал Левкий.

Но внимание всех обратилось на вошедшего в палату, возвратившегося с Афонской горы, Матфия, епископа сарского и подонского.

Иоанн не без смущения услышал поздравление от старца, посланного за год перед тем в Иерусалим и на Афонскую гору с подаяниями по Анастасии. Как-то раз слёзы в память её показались в очах царя; он живее почувствовал разлуку с Анастасией, как мало могла заменить сию потерю прелестная его черкешенка.

Полудикой красавице всё было чуждо: и язык, и нравы. Молодая царица была поутру в соборе, но мало понимала молитвы и священное пение; присутствовала при торжественном пире, но тут одна новость приводила её в удивление; с пылкою живостью, иногда с восклицаниями, подбегая к блестящим мелочам, она с бесчувственным равнодушием смотрела на всё, что было для русских святынею драгоценных воспоминаний, и взирала с таким же пренебрежением на бояр и воевод, славных заслугами, как и на стольника, подносящего ей чашу с плодами.

Вечером вокруг Марии собрались боярыни и дочери их в богатых нарядах, пестреющих радугую всевозможных цветов: одна перед другою старались веселить царицу играми, песнями, но Иоанна тут не было. Царь остался в своей палате, в кругу любимцев и приближённых бояр, и с князем Юрием сидел за столом на бархатном полавочнике. В углу палаты, на другом столе, сработанном новгородскими мастерами и поддерживаемом резными позолоченными медведями, протянувшими лапы один к другому, стояли на парчовой скатерти две енды с крепким мёдом, принесённые четырьмя чашниками. Между царедворцами были Левкий и Вассиан. Одни из гостей подходили к Иоанну, иные стояли поодаль, примечая каждое его движение, и становились то угрюмыми, то весёлыми, смотря по тому, хмурился или смеялся царь. Разговор перелетал из края в край палаты, но более всех говорил Василий Грязной, по должности своей тешить шутками Иоанна.

— Царь государь, — сказал он, в лето 7068 от сотворения мира подарил своего шута, Василия Грязного, золотым колпаком, а в 69-е лето, на своей царской радости, не пожалует ли большим кругляком?

Грязной показывал на золотую медаль, отличие знаменитых воевод.

— Пожалуй его, Симеон Бекбулатович, — сказал царь любимцу своему, молодому татарскому царевичу.

Симеон отгадал мысль Иоанна, и шут от его толчка перевернулся на земле несколько раз при громком смехе бояр.

— Доволен ли жалованьем? — спросил Иоанн.

— Челом бьёт на милости Васька Грязной, лишь бы не подчивал его, как немецких послов.

— А разве не весело пировали?

— Сам знаешь, прислуги было много, блюда золотые, а все пустые.

— Как ни честили дорогих гостей, — сказал с усмешкою князь Мстиславский, — что честь, когда нечего есть!

— То правда, — сказал князь Юрий Васильевич.

— Немцы пыхтели, краснели, — продолжал Грязной, — а я-то упрашивал...

— Как Эзопова лисица журавля, — сказал Иоанн, — ты сказал бы по-немецки: за пустое пустым и платят; дани не присылали, а послы их к нам рыщут.

— Так и за подчиванье не взыщут, — прибавил Грязной.

— Поделом немцам! Землёю богаты, а мужеством скудны, — сказал Шереметев.

— И горды, — прибавил князь Горенской.

— Все рыцари их ходили как князя в светлой одежде, — заметил Мстиславский, — а жёны в храм Божий без атласного платья не шли.

— Зато святая Русь одолела немцев, — сказал князь Горбатый.

— Святая Русь! — сказал Грязной. — А спроси, князь, кто строил нам соборы, — ан все немцы, то Аристотель, то Алевизо.

— Твои немцы из итальянской земли, — сказал Шереметев.

— Мне всё равно, — возразил Грязной, — домовый ли в доме, леший ли в лесу, всё тот же бес.

— Репнин ли, Горбатый ли, все адашевцы, — сказал Вассиан на ухо Басманову, а тот повторил Иоанну.

— Бог и слепых умудряет, — сказал князь Горенский. — Немец же выстроил Покровский собор, а как красив!

— Малые главы прижались к большой средней, как дети к матери, — сказал Шереметев.

— Как мы, твои богомольцы, около тебя, государь! — сказал Левкий Иоанну.

— Так, государь-братец, — подтвердил Юрий Васильевич.

— Он и построен в память взятия Казани, — сказал царь, — где со мной были храбрые... — Тут он остановился.

— Вольно тебе было, государь, — подхватил Грязной, — не взять меня под Казань; я дело бы справил не хуже, чебурахнул бы хоть какого великана.

— Как Курбский татарина Янчуру? — спросил Репнин.

— Не о поганных речь, — сказал Грязной.

— Тебе ли так говорить? — заметил князь Александр Горбатый. — Вспомни, что Курбский — оберегатель святорусской нашей земли.

— Да, — сказал, вслушавшись, Грязной, — медведь медовые улья стережёт, только уцелеет ли мёд?

— Этого медведя давно бы пора в зверинец, — сказал небрежно Фёдор Басманов.

— В Ливонии побрал несметные корысти! — проворчал Алексей Басманов.

— Неправда, одна корысть его — слава, — возразил с твёрдостью Репнин.

— Смотри, пожалуй, лисица по волке порука, что овечек берег! — воскликнул Фёдор.

— Не юродствуй, Басманов, — сказал князь Горбатый.

— Не думаешь ли, что я Никола Псковский? — гордо спросил царский любимец.

— Тот юродствует для спасения, а ты для кубка...

— Князь Горбатый! — вскричал Иоанн. — Кому говоришь ты и в чьём присутствии?

— Государь! Он младший в царедворцах, а я старый боярин думы твоей, потомок князей суздальских.

— Князь Горбатый, я тебя выпрямлю! — гневно сказал царь.

— Все адашевцы, как борзые, заходили на цепях, — шепнул Вассиан Скуратову.

— Я знаю, — сказал громко Иоанн, — что здесь ещё много единомышленников Адашевых и Курбского. Дорого мне стоят сберегатели земли русской!

— Что долго думать, государь? — сказал Грязной. — Произведи Курбского из попов в дьяконы, зашли его куда-нибудь, хоть в вельянские воеводы или степи басурманские, сыщется разорённый городишко, пусть там себе воеводствует ярославский князишка.

— Умён ты, шут Грязной, — сказал Иоанн, — за это велю провезти тебя по городу на быке с золочёными рогами.

— Завеличается он, государь, — сказал Левкий, наливая чашу мёду.

— А тебе завидно? — спросил Грязной.

— Что завидовать, — сказал Левкий, допивая кубок, — смотря на лес, сам не вырастешь. Поздравляю с почестью!

— Пить так пить, — говорил Грязной, потягивая вино из воронка и передавая другим сидящим, — весёлая беседа на радости — пир! Только мёду мало... А чтоб на всех достало, хорошо бы ливонскую бочку выкатить.

— Потешьте шута, — сказал Иоанн.

И чашники вкатили серебряную бочку.

— Не испугаете, — закричал Грязной, заглянув в пустую бочку, — завтра же вытрезвлюсь.

— Когда вытрезвишься, поезжай со мной на охоту.

— Эх, государь, мне уже чистое-то поле наскучило; бывало скачешь на коне, посвистываешь: добрый мой конь, бурочка, косматочка, троелеточка! А земля так и бежит под тобой! Бывало, государь, завидишь, птица летит, пустишь стрелу — взвыла, да пошла калёная, уходила стрела орла на лету; а зайца ли травить...

— Полно, заяц, — сказал Малюта Скуратов, — ты и в поле ничего не наезжал, не следил зверя бегущего, не видел птицы перелётной.

— Видал соколов почище тебя.

— Молчи ты заяц, Грязной, — сказал Иоанн.

— Заяц не укусит, государь, ни одной собаки, — отвечал Грязной, — а я закусая не одного Скуратова!

— За это я велю тебя запить мёдом насмерть.

— Смерти не боюсь, государь, а боюсь твоей царской опалы, в мёду же медовая смерть!

Иоанн усмехнулся, посмотрел на Грязнова и на большую серебряную бочку, как будто измерял её глазами, нельзя ли со временем исполнить его желание.

Кубки не переставали ходить вокруг стола; разговор коснулся службы боярских детей.

— Государь, — сказал громко Малюта Скуратов, — пусть боярам служат дети боярские на земщине, а ты, oprичь того, учреди для себя царскую стражу.

— Оберегать твоё дражайшее здравие! — прибавил Левкий.

— Да из кого же выбрать, — спросил Грязной, — небось из черноризцев?

— А разве благочестивому царю неприлично окружить себя ангельскими чинами? Так, государь, в

телохранителях твоих должен быть и ангельский чин.

— Нет, Левкий, прока в постниках мало, — сказал Грязной.

— Надёжнее будет, — сказал Фёдор Басманов, — когда царь выберет удальца к удальцу, чтоб было на кого понадеяться, а за царя постоять!

— Я соглашу тебя с Левкием, — сказал Иоанн, — выберу удалых и облеку их в ангельский чин.

— Хорошо, государь-братец, — сказал князь Юрий Васильевич.

— Пусть никому не служат, опричь тебя, — сказал Левкий, — и назови их опричниками, а сам будь нашим игуменом; воздержания, государь, от тебя не требуем, довольно твоего благочестия, ты благочестив и милостив; таков, как прётся песня про князя Ивана Даниловича. Левкий, постукивая кубком, запел:

А как было то в Москве белокаменной.
При князе Иване Даниловиче,
Зачинался тогда Успенский собор,
На зачине был сам батюшка, великий князь,
Видит много он бедных по улицам;
Стало жаль ему нищей братии,
Государь наш князь в руки посох взял,
Государь наш князь калиту подвязал,
Наменял он корабленичков
На копеечки серебряные,
Наделяет бедных и страждущих.
С той поры его Калитой прозвали,
И Бог взял Калиту на небес высоту.

Левкий, окончив песню и сняв клобук, поклонился.

— Ну, что ты распелся, — сказал Иоанн, — попросил бы лучше Басманова.

— На твоё рождение, государь, я потешу тебя песнею, — сказал Фёдор Басманов и запел:

Высота ль, высота поднебесная.
Глубина ль, глубина океан-море,
Широко раздолье по всей земле;
Что ж земля всколебалася,
Сине море всколыхалось?
Всколебалася земля русская,
Всколыхалось море синее,
Для рожденья светлокняжева,
Государя Ивана Васильевича,
Рыбы нырнули в реки, глубину...

— А вы кричите, — сказал Басманов весёлым гостям, — рыбы, рыбы, рыбы.

Птицы полетели высоко, в небеса...

И все с громким хохотом повторили «птицы, птицы, птицы», махая руками.

Туры да олени за горы ушли...

И бояре, закричав «туры да олени», побежали вслед за Басмановым, спотыкаясь, кругом стола. Смех раздавался в палате.

Басманов продолжал:

Князь наш растёт не по дням, по часам,
Он говорит своей матушке:
«Не пеленай меня, матушка,
В пелену, пояс шёлковый.
Пеленай, государыня,
В крепки латы булатные,
Дай на голову шлем золотой,
Тяжку палицу, свинцовую,
Я возьму царство казанское,
Завоюю астраханское.
Завладею сибирским я,
Три короны к тебе принесу!»

— Склад лучше песни, — сказал Афанасий Вяземский.

— Поцелуй Фёдора, — сказал Алексей Басманов Иоанну, — как я целую его. Он поёт, как красная девица.

— У меня голова кружится, государь, а то я лучше бы спел, — сказал изнеженный любимец.

— Голова кружится — ляг отдохнуть, — сказал Иоанн, держа его за руку.

Басманов улыбнулся и склонился головою на плечо Иоанна.

Между тем шут Грязной хвалился, что скоро будет воеводой.

— Горе-воевода! — сказал Мстиславский.

— Не хвались воеводством, а хвались дородством, — сказал Малюта Скуратов.

— Мстиславский толст, а я не прост, — говорил Грязной, — величается он воевода большого полка, а я воевода большого ковша, так посмотрим, кто одолеет?

— На чём же бой, на копьях, что ли? — спросил царевич Симеон Бекбулатович.

— На чарках, и кто отстанет, тот полезай сквозь ухо иглы.

Иоанн смеялся, а Малюта Скуратов, взяв с серебряного блюда чрезвычайной величины дыню, покатиł её к Грязному, закричав: «Ешь за то, что весело шутишь».

— Экая невидаль! — сказал Грязной, притворяясь обиженным, — другое дело, если б подвинул стопу мёду и сказал: «Пей за то, что весело шутишь».

Иоанн велел крайнему подать золотой кувшин с вишнёвым мёдом, сам налил серебряную стопу и

вдруг опрокинул на Грязнова.

— Пей за то, что весело шутишь!

— Вот как, братец-государь, — сказал, простодушно засмеявшись, Юрий Васильевич.

Раздавался шумный хохот, алый мёд лился ручьями с головы Грязнова на парчовую скатерть.

— Князь Воротынский и зван был на твой пир, да не приехал, — сказал Иоанну Алексей Басманов, заикаясь от мёда.

— Сидят пасмурные, поникши головой, — шептал Левкий, указывая на Репнина и сидящих возле него, в углу палаты, князя Горбатого, Шереметева и юного князя Оболенского. — Замечай теперь, государь, замечай лица и мысли и отличишь верного раба от изменника. Кто скучает за весёлым пиром, у того злое на уме.

— Адашевцы осуждают нас, — сказал царь.

— Не повторяли и песни в честь тебя, государю, — сказал Скуратов.

— И Молчан горюет, как будто в беде, — заметил со злой усмешкой Алексей Басманов, указав на дьяка Молчана Митнова, так прозванного за его молчаливость.

— Пей, Молчан, — сказал молодой Фёдор Басманов, — пей за весёлых гостей!

— Шестой кубок! Нет, не пью я мёда из твоих горьких рук...

— Государь! Молчан досадил мне и не пьёт кубка за твоё веселье, — жаловался Басманов царю.

— Я научу его веселиться! — гневно сказал Иоанн.

Но вошёл брат царицы, князь Михаил Темрюкович, и разговор Грязного с черкесом на время укротил гнев Иоанна.

ГЛАВА IX

Феодорит

Иоанн, чувствуя всю необходимость и важность деятельности самодержца, возвратился к царским трудам. День его начинался с рассветом. Он выслушивал приближённых сановников, читал челобитные, разбирал посольские статьи и разряды, решал сомнения боярской думы и карал нарушителей закона. В то же время он спешил с приготовлениями к войне в месть за отказ Сигизмунда Августа. Воеводам объявлен был поход, и опальный князь Курбский должен был, по повелению царя, выступить из Москвы с полками под Псков.

— Да заслужит за вину свою послушник Адашевых! — сказал Иоанн.

Впрочем, уже не доверяя Курбскому главного начальства, он избрал старейшими воеводами бояр, ему неприязненных.

Княгиня страшилась и подумать о разлуке с супругом.

— На горе мне оставаться! — говорила она ему. — Позволь мне с сыном ехать за тобой в Псков!

— Гликерия, — сказал князь, — не в обычай жёнам сопровождать воевод в их ратных походах.

— Друг мой, князь Андрей Михайлович, не стало родных моих, а без тебя мне весь свет опустеет; умру я с тоски!

— Подумай, Гликерия, что скажут, когда увидят в военном стане сына и жену Курбского.

— Позволь мне видеть Псковопечерский монастырь, помолиться о Спасении твоём! Разве жёны воевод не ездят на богомолье? Вспомни, что ты сам обещал свезти меня к печерским угодникам.

— Добрая жена! Не одно благочестие внушило тебе эту просьбу. Знаю, что ты боишься за меня.

— Так не скрою, — отвечала княгиня. — Всё принуждает меня следовать за тобою, опасение и любовь. Боюсь твоего пылкого сердца. Кто без меня успокоит тебя? Юрий, проси со мною отца твоего!

Курбский согласился, чтобы Гликерия, чрез несколько дней после отъезда его, в сопровождении Шибанова отправилась с Юрием из Москвы в Псковопечерскую обитель, поручив юную свою питомицу княгине Евдокии Романовне, супруге князя Владимира Андреевича. Курбский снял со стены древнюю прародительскую броню, облёкся в доспехи и, простясь с родными и друзьями, выехал из дома, но на пути к своей ратной дружине посетил митрополита Макария.

С радостным лицом вышел к нему старец-первосвятитель.

— Знаешь ли, князь, — сказал он, — какой гость в доме моём? Ты не ждал его видеть, а он уже спрашивал о тебе.

— Святой владыко! Не возвратился ли Феодорит? — спросил с радостью Курбский.

— Пойдём и увидишь, — сказал митрополит, подавая ему руку, и, поддерживаемый князем, отворил дверь в тёплые сени и повёл его по деревянной лестнице в верхнюю светлицу.

Дверь была не заперта. Несколько человек стояли там; Курбский, не замечая их, бросился к сидящему иноку, убелённому сединами, но ещё бодрому видом. Инок обернулся, увидя вошедших митрополита и князя Курбского, хотел встать, но воевода не допустил.

— Возлюбленный старец, отец мой духовный! Как сладостно мне узреть тебя, как прискорбно было не видеть честных седин твоих!

— Здравствуй, любимый сын мой духовный! Привет тебе от святого гроба, от животворящего креста Господня. Но зачем ты, первосвященник, привёл его? Не в труд бы мне сойти к вам; здесь у меня тесно.

— Князь не осудит, — сказал ласково митрополит, — здесь все люди Божии.

— Так, владыко, — отвечал Феодорит, — это мои ближние братья; скудны они, но Бог-Промыслитель мне посылает на их долю.

Митрополит окинул взором стоящих, и все с благоговением поклонились ему до земли. Возведя взоры на Макария и чтя в нём верховного пастыря церкви, они безмолвствовали. Митрополит не в первый раз видел, что гость его, не утомляясь трудами и долгим странническим скитанием, пользовался каждой минутой для благодеяний, называя себя слугою всех.

— Время отпустить их, — сказал Феодорит.

Затем он разделил между бедными несколько просвир и, взяв полную горсть серебряных денег из кожаного кошель, встал и каждому подавал, во имя Господне, сколько внушали ему сострадание и прозорливая внимательность. Тогда дети и старцы, забыв присутствие митрополита, бросились целовать руки и одежду инока, но Феодорит, поспешно отстранясь, сказал:

— Братья и дети, благодарите Божий промысел, а не меня, грешного скитальца; не моё добро раздаю, а что Господь послал вам чрез раба своего.

И все набожно стали молиться пред иконою, и с восторгом благодарности вышли из светлицы. Тогда черноризец, сев с двумя своими духовными сыновьями — митрополитом и Курбским, радостно с ними беседовал.

Курбский расспрашивал его о недавнем путешествии в Царьград и удивлялся, что Феодорит, при самой глубокой старости, в ничто вменяет труды.

— Вспомни, — сказал Макарий, — сколько он странствовал; тринадцати лет оставил родительский дом и пошёл на Соловки жить среди студёного моря, но учитель его был учеником святого Зосимы Соловецкого.

— О, сколько Бог послал тебе благодати, отец мой! — говорил Курбский, обратясь к Феодориту. — Ты видел и Александра Свирского?

— С божественным Порфирием он провёл многие лета в пустыне, — сказал митрополит.

Феодорит возвёл взор к небу; глаза его наполнились слезами.

— Сыны мои! — проговорил он тихим голосом. — О блаженных днях вы напоминаете мне! В пустыне покой мой.

— Вся жизнь твоя — подвиг! — сказал Курбский. — А сколько принял ты нужды, сколько потерпел от клевет!

— Вы же, сыны мои, за меня заступились, — возразил Феодорит. — От наветов в мире не избежешь, а скорбь христианину в радость. Не утешил ли меня Господь, когда я два лета провёл в Ярославле, в обители, где, князь Андрей, почивает блаженный твой предок, Феодор Ростиславич Смоленский.

— Оттуда царь послал тебя на новое странствие, — сказал Курбский.

— И с Божьею помощью свершилось! — продолжал старец. — Господь управлял мой путь в лапландских снегах, сохранил меня и в Царьграде, где два месяца страдал я огненным недугом.

— Вчера ты порадовал государя. Патриарх благословил его на царский престол, — сказал митрополит.

— Обещал прислать и книгу царского венчания, — прибавил старец.

— Святое дело совершил ты, отец! — продолжал Макарий. — Но не гневен ли государь, что ты отказался от царских даров его?

— Отказывался, — отвечал Феодорит, — а приневолен взять; возвратясь сюда, я увидел драгоценный кожух под аксамитом, которого не хотел принять в царских чертогах.

— Царь дарит тебя, — сказал Макарий, — ещё тремястами сребреников и хотел почтить духовною властью.

— Властью! — воскликнул, усмехаясь, Феодорит. — Но чего мне желать? Всё, что царь повелел, Бог привёл мне исполнить. Не довольно ли этого отшельнику? А в награду за труды не принял ли я благословение апостольского наместника, патриарха вселенского? Даров и власти от царского величества не требую; пусть дарует тому, кто просит; я отрёкся от серебра и одежд драгоценных; хочу украшать душу для Бога, а не тело для земли; одно моё желание: пожить мирно и безмолвно в келье моей, пока не отзовёт меня Бог. Так говорил я государю, но он убеждал меня, да не прекословлю я царской воле его, и я, повинувшись, принял двадцать пять сребреников.

— А где же присланный царский кожух? — спросил Курбский.

— Не для меня соболя и аксамит, — отвечал старец, — я уже продал его, и ты видел здесь тех, для кого я продал. Мне пора в обитель Прилуцкую, да собираюсь побывать в моей пустыне, над рекой Колой, навестить диких лопян, мною крещённых. Веришь ли, что и в Царьграде, стоя у Чёрного моря, я думал о Ледовитом и о тамошних моих духовных детях.

Митрополит и Курбский с умилением слушали старца, вменявшего ни во что трудности и отдалённость пути и изнурявшего тело своё непрерывными подвигами.

Феодорит, казалось, забылся, погружившись в размышление; устремив неподвижный взор в отдалённость, он безмолвствовал, чему-то внимал: то глубокое благоговение, то святая радость выражались в духовном созерцании старца. Митрополит и Курбский почтительно отошли в сторону, чтобы не смущать его, и тихо между собою разговаривали.

— Обители горния! — воскликнул наконец Феодорит, подняв руки к небу. — Каким светом блистаете вы, пролейте сей свет благодати на всех сынов земли; согрейте теплотою веры сердца их; проясните их ум омрачённый, да чтут они Бога, как сыны, да возлюбят друг друга, как братья! Россия, утверждайся благодатию, велика будет слава твоя! Крепись в благочестии: дивны судьбы твои! Придёт он, придёт исполин к Северному морю, падут пред ним дремучие леса, засыплет он зыбкие болота, поставит на них твердыни великого града, на раменах его опочиеет русский орёл!.. Легки крылья бессмертной души, далеко земля подо мною; свободно плавание в воздушном пространстве. Отечество моё, всюду вижу тебя; от востока солнца до запада! Твои корабли на морях; твои знамёна на стенах несокрушимых бойниц; горы твои дадут злато; царства земные преклонятся пред славой твоей.

Он умолк; но долго ещё в прозорливом восторге взирал на небо; первосвященник и князь Курбский с удивлением внимали ему, не прерывая его пророческих слов. Они знали, что Феодорит впадал иногда в самозабвение; но его добродетели, прозорливость, события, уже оправдавшие несколько его предвещаний, апостольские странствия и мудрые беседы — всё побуждало, всё уверяло их, что Бог посещает сего старца дивными видениями и даёт ему силу бестелесного существа.

Феодорит склонил чело на скамью в тихой дремоте; душа, утомлённая восторгом, погрузилась сама в

себя; тихий сон сомкнул вежды старца. Митрополит и Курбский, поцеловав край одежды его, удалились.

Курбский простился с Макарием, но, отъехав от палат митрополита, внезапное смущение овладело им: почему не дождался он пробуждения Феодорита и не взял на путь его благословение? Но уже воинство ожидало вождя, трубы давали знак к походу, и московские граждане теснились у кремлёвской стены, чтоб видеть Курбского, едущего поразить врагов России, не зная, что он уже не возвратится в стены Москвы.

ГЛАВА X

Провидец

Радужно угощал псковский наместник Булгаков русских воевод. Между тем как почётные гости подъезжали к его дому, невдалеке от ворот народ собрался около человека в рубище, опоясанного цепью и сидевшего на камне, в нём нетрудно было узнать псковского юродивого Салоса; он смотрел в землю и напевал унылую песню.

— Что так приуныл, Никола? — спрашивали его.

— Ох, горе! Великое горе! — готовьте телеги, вывозите уголья из города, вычерпайте великую реку, заливать пламя.

— Что говоришь ты? Какие уголья? В городе веселятся, у наместника пир.

— Пир! — воскликнул Салос. — Суета веселится в стенах, а стены распадутся, перегорят, как перегорели сердца ваши!

— Полно, юродивый, с чего гореть нашим стенам?

— Души почернели, как уголь, и дома ваши в уголь истлеют. Пойдём молиться! Боюсь, чтоб не упал свод Свято-Троицкого собора!

Сказав это, Салос взошёл на паперть собора, напротив дома наместника, и возопил громогласно:

— Держись, держись, свод Свято-Троицкого собора! Не пади на главы наши, как мы пали в соблазн греха. Некогда упал ты, но спаслись отцы наши, стоя в благочестии, а ныне подавили мы совесть; боюсь, чтоб не подавил ты нас!

Салос упирался руками в стены собора. Гремящий голос его поразил страхом сердца; вдруг он стремительно сбежал с паперти на площадь и, прискакивая, начал петь:

Псков мой, Псков!
Заповедный кров,
Черны тучи идут,
Твоё горе несут:
Псков мой, Псков,
Заповедный кровь,
Что-то видятся мне
Твои башни в огне;
Псков мой, Псков,
Заповедный кров,
Поклонись, помолись,
Во грехах повинись;
Господня рука,
На преступных тяжка,
Жить бы верой о Нём,
Не гореть бы огнём!

Юродивый умолк. Он качал головою, руки его дрожали, и, казалось, он видел пред собою будущее. Окружающие его, содрогаясь, внимали ему и молились.

— Доброе дело молиться, — сказал он, — а лучше молиться делами!

— Да как же молиться делами? — спросил дюжий хлебник Лука, стоявший у корзины с хлебами.

— Не лукавствуй, Лука, — отвечал юродивый, — продавай хлебы, а не душу свою, — и, сказав это, Салос начал раздавать его хлеб стоявшим в толпе нищим и старикам.

Раздражённый хлебник, развязав свой ремённый пояс, бросился на юродивого. Салос безмолвно стерпел удар; но народ освободил его из рук хлебника.

— Не смей трогать Николу! — кричали ему. — Лучше подай милостыню!

— Доброе дело творить милостыню, — сказал Салос, — но ещё лучше предать Богу волю свою. Тогда будете и к бедным щедры, и добрыми делами богаты.

— Дай-то, Господи! Богатство нажить не худо, — сказал, поглаживая бороду, седой купец.

— Да о таком ли богатстве он говорит? — возразил другой.

— Дай нам, Господи, спастись! Не оставь нас, Господи! — сказал третий.

Гневно посмотрел на них Салос и сказал:

— Что вы зовёте: Господи, Господи, а не творите, что Господь повелел? Отступите от нечистых, не прикасайтесь! Враны в перьях павлиньих! Самохвальство возносит вас! Столбы, указующие пути другим, сами вы с места не двигаетесь! Омойте лица ваши, лицемеры; проклят завидующий ближнему! Проклято сердце, веселящееся злословием! Проклята рука, в забаву себе уязвляющая других! Постыдится ищущий стыда ближнему. Позорящий других себя опозорит. Горе!..

Псков мой, Псков!
Заповедный кров,
Черны тучи идут,
Твоё горе несут;
Что-то видятся мне
Твои башни в огне...

— Горит, горит! — закричал он. — Дом богача жестокосердного; горит жилище бедняка ленивого; пламя истребит нажитое неправдою и богатство почитающих себя праведными. Стой, хижина доброго человека! Господь хранит тебя; а ты, терем боярский, осветись палящим огнём, Господь повелевает тебе!

С трепетом слушали слова его. «Он пророчит беду», — говорили между собою.

В столовой палате псковского дома наместника пировали за весёлою трапезою князь и бояре. Обед был постный, но по русскому гостеприимству изобильный; уже обнесли взварец крепкого вина, настоенного кореньями, мёд ароматный полился в кубки из серебряной лощатой братины, и после жарких появились стерляди, окружённые паром, а рыбные тельные казались белыми кречетами, раскинувшими крылья на узорчатых деревянных блюдах; просыпанные караваи подымались горками; перепечка с венцом краснелась на серебряной сковороде и рассольный пирог плавал во вкусном отваре из рыб. Орлы и пушки, башни и терема сахарные, колеса леденцовые, разноцветный сахар зеренчатый, пестреющий, как дорогие камни в глубокой чаше, были яствами последней статьи; более сорока блюд сменялись одно другими; крепкие душистые наливки поддерживали возможность пресыщаться; наконец полились в кубки фряжские

вина; гости пили за царя и за царевичей, за митрополита и за победоносное оружие. Давно уже степенные бояре расшутились; присказки и приговорки возбуждали то весёлую улыбку, то громкий смех. По любви русских ко всему домашнему много доставалось иноземным обычаям; завёлся разговор о немецких причудах, русские бояре не могли надивиться, что немцы, как козы, едят полевую траву.

— Диво ли, — сказал князь Серебряный, — что травую лакомятся, они едят и зайцев нечистых.

— Наказал их Бог, как Навуходоносора, — заметил князь Горенский, — мало, что едят траву; лютым зельем носы набивают.

— А как зовётся зелье, которое видели у цесарского посланника? — спросил один из бояр.

— Табак, — отвечал Горенский.

— Уж не этой ли проклятой травой портят людей? — спросил Серебряный.

— Во всяком народе свой обычай, — сказал Шереметев. — Наш чеснок для немца не лучше, чем табак для русского.

— А всего пуще железный чеснок, — прибавил с усмешкой Булгаков, — как бывало подсыплем около стен, то сколько попадает немецких да литовских наездников!

— У нас и без того немцы на конях не удерживались! — сказал Курбский.

Послышался шум, открылись двери палаты и вошёл нежданный, непрошенный гость, с босыми ногами, в рубище, с посохом, остановился у дверей и громко спросил:

— Есть ли на богатом пире место для нищего? Есть ли среди весёлых гостей доступ печальному?

Наместник встал из-за стола и подошёл к юродивому; все изумлены были появлением Салоса.

— Будь гостем моим! — сказал Булгаков. — Мы чтим старость, не чуждаемся бедности, сострадаем печальным.

— Примите дар мой! — сказал Салос и вдруг зарыдал. — Поминайте Сильвестра, поминайте на острове среди Белого моря... дожили мы до чёрных дней!

— Ты нарушаешь веселье наше, — сказал наместник. — Где же дар твой?

— Дар мой — слёзы, единый дар, приличный вашему жребию. Радость ваша сонное видение, оплачьте со мною веселие ваше!

— Да не сбудутся слова твои, прорекатель бедствия, — сказал князь Серебряный. — Ты видишь нашу мирную беседу собравшихся на весёлом пиру, празднующих щедроты царя.

— Князь Серебряный, князь Горенский, князь Курбский, верьте, верьте веселью, оно обманет вас; вместе пируете вы, но одной ли дорогой пойдёте вы с пира? Разойдётесь вы в путях жизни; скоро друзья не узнают друзей, братья отрекутся от братьев, вождь оставит воинов, отец убежит от детей... Укрепитесь, терпите, смиренному всё во благо.

— Чудный старец! — сказал Булгаков.

Между тем Курбский, сидевший дотол с поникшей головой, не отрываясь смотрел на юродивого.

— Добро, прощайте! — сказал Салос. — Пойду к благоверному князю Тимофею; он христианин.

— А разве мы не христиане? — спросил Серебряный.

— Христиане ли? — сказал Салос. — Молимся до праха земли, а возносимся до края небес; за одну обиду платим дважды; шесть дней угождаем себе, да и седьмого Богу не отдаём! Помолимся довмонтовой молитвой: Господи, Боже сил призри на кроткие и смиренные, а гордым высокие мысли низложи!

Прощайте! Даруй вам Бог смирение и терпение.

Салос запел и побежал к дверям. Последние слова бояре уже слышали из сеней, и скоро на улице, под окнами наместникова дома, раздался голос удаляющегося юродивого:

Псков мой, Псков,
Заповедный кров,
Что-то видятся мне
Твои башни в огне!

— Не к добру его песни! — говорили бояре. — Недавно же, видимо, было во Пскове знамение: лучи огненные расходились по небу; не знак ли гнева Божия?

Через несколько дней князь Курбский встревожен был вестями из Москвы; он узнал от прибывшей в Псков супруги своей, что новые жертвы безвинно гибли по подозрениям Иоанна и проискам любимцев царя. Часто приходил он в собор, освящённый славными воспоминаниями для псковитян, поклоняться останкам доблестных князей Гавриила и Довмонта, искал утешения веры, но едва мог укротить порывы оскорблённого сердца. Казалось, невидимые зложелатели человеческого спокойствия старались отравлять мир души его. До него беспрестанно доходили слухи об угрозах Иоанна и новых бедствиях. Терпя оскорбления, видя опасность, Курбский, по убеждению супруги, обращался к митрополиту Макарию и к новгородскому архиепископу Пимену, просил их напомнить Иоанну о заслугах его, но заступничество первосвященителей только отдаляло, а не отвращало жребий, ему грозящий. В Курбском погасла уже преданность к Иоанну, смутные мысли овладевали душой его. Он таил свои намерения, но, встречаясь с Салосом, всегда чувствовал замешательство; взор этого старца, казалось, проникал в сердце Курбского, угадывал борение мыслей его.

В один летний день князь, осматривая шатры воинов сторожевого полка, расположенные на лугу за Предтеченским монастырём, увидел Николу, спящего на хворосте возле монастырской стены.

— Никола спит на хворосте! — сказал он сопровождавшим его. — Немного нужно для доброго старца, он блажен в нищете своей, но здесь жарко, солнце печёт, ноги его обнажены!

Юродивый открыл глаза и поднялся с хвороста.

— Хорошо уснуть на солнышке! — сказал он Курбскому. — Хорошо жить под Божьим кровом!

— Здравствуй, старец! — сказал Курбский.

— Холодна рука твоя, Андрей, но горячо сердце; хлад в мыслях твоих, пламень в душе твоей. Прощай!

— Куда же идёшь ты?

— Если хочешь, пойдём со мной, — сказал Салос. — Авось не собьёмся с дороги, прибавил он с таинственным видом.

— Пойдём, — отвечал Курбский, желая знать, что скажет провидец.

Салос, взяв его за руку, медленно шёл с Курбским через поле.

— Был зной, а вот и облака! — сказал он. — Облака безводные, ветром гонимые. Смотри, вот деревья... немного осталось листьев.

— Листья их поблекли под зноем, облетели с ветром, — сказал Курбский.

— Мало в них крепости, — сказал Салос, и ты — сильный воевода, а нет в тебе твёрдости... Горько тебе, Андрей, но не спеши бежать, чтоб не набежать на зло!.. Солнце везде увидит тебя, где бы ни укрылся ты, а очи Господни тьмами тем светлее солнце!

— Не понимаю тебя, старец!

— Андрей! Ещё успеешь венчаться, когда жена твоя будет кончаться.

— Странны слова твои.

— Сетует на тебя, горько сетует предок твой, князь Феодор.

— О чём сетует он?

— Напрасно! Ты князь и боярин, сердце твоё не должно знать смирения; предки твои святые, и ты должен мстить за обиды. Но смотри, чтоб меч твой не грянул бедой на тебя.

Курбский содрогнулся, поражённый прозорливостью юродивого.

— Разве ты знаешь мысли мои? — спросил он.

— Смотри, вот косогор, — сказал Салос. — Разве я не вижу его? За косогором долина, всё молодой лес да кустарник, а есть и старые дубы... Эге, да вихрь подымается в поле. Андрей, смотри, как мягкая трава стелется, как ветер обрывает листья и кружит их по воздуху... Смотри, мчатся с пылью и прахом! Слабые листья.

— Будет буря! — сказал Курбский. — Чёрные тучи разостлались по небу.

Салос шёл безмолвно, опираясь на посох.

— Гроза близка, отец мой.

— Да, но крепкий дуб стоит под грозой, не трогаясь с места.

В это время сильный вихрь ударил из тучи, опрокинул пред собою деревья, заскрипел дуб... Вдруг небо засверкало стрелами разлетевшейся молнии, и гром разразился с ужасною силою, как будто небо обрушилось на землю.

Оглушённый ударом и ослеплённый блеском, Курбский остановился и несколько минут думал, не зная, куда идти. Наконец он оглянулся на Салоса.

— Смотри, — сказал юродивый спокойно, как бы продолжая прерванную речь, — дуб этот, сломленный вихрем и опалённый молнией, не переброшен, как лист, на чужое поле, но пал на том же месте, где вырос. Честно его падение пред Господом!

Сказав это, он благословил расколовшийся дуб, бросаясь в кустарник, скрылся от глаз изумлённого Курбского.

Странные угрозы и песни юродивого немногих из жителей Пскова приводили в уныние; многие ещё не верили бедствию, не видя его и почитая слова юродивого расстройством ума. Салоса уважали за благочестие, но смеялись над его песнями. Нравы псковитян в это время отклонились от непорочности предков; богатство ввело роскошь, и новгородское удалство приманивало псковитян подражать буйству Новгорода, слывшего в народе старшим братом Пскову.

Не прошло и двух дней, как псковитяне испуганы были звоном колоколов, возвещавших пожар. Огонь появился у нового креста на полонице. Небрежность ли стражи или смятение испуганного народа были причиной, что пожар усилился, но силой ветра перебрасывало искры и горящие головни через реку; тут запылало Запсковье, и под тучами дыма пламя быстро стремилось из одной улицы в другую, охватывая вершины зданий; церкви казались огненными столбами в разных концах города; между ними со страшным

треском разрушались дома, при воплях народа и не умолкающем звуке набата, призывавшего отовсюду на помощь. Ужас ещё увеличился взрывом пороховых погребов; казалось, огнедышащая гора вспыхнула над Псковом, извергая в воздух град камней и пепла; пламя, как лава, с новою силою разлилось по улицам, и пятьдесят две церкви погибли в пожаре. Тогда-то народ окружил Салоса и, упавая к ногам его, просил помолиться о прекращении бедствия. Никола проливал с ними слёзы и помогал таскать воду из реки, приговаривая: «Господь наказал за грехи по правде, помилует по благости!»

На другое утро ещё густой дым застилал всё небо над Псковом; большая половина города представляла пожарище, и самый Свято-Троицкий собор обрушился в пламени; едва успел усердный народ вынести святые останки князей Гавриила и Довмонта, и сам Никола Салос среди пожара и разрушения вынес в церковь Преображения Господня мечи князей, защитников Пскова.

ГЛАВА XI

Взятие Полоцка

Поляки радовались бедствию Пскова, но Курбский был уже в Литве и предал огню предместья Витебска. Князь Серебряный разгромил литовцев близ Мстиславля. Русские воеводы спорили о старейшинстве, но успехи их устроили литовцев. Сигизмунд предлагал мир Иоанну, царь требовал уступки Ливонии и велел боярам припомнить на переговорах, что и Литва была достоянием русских венценосцев. Между тем на юге России князь Владимир Андреевич отразил набег крымских татар. Хан бежал, и с новым годом Иоанн предпринял блистательный поход, собрав ополчение, какого ещё не бывало при нём, не для долголетней войны, но для верного, рассчитанного удара. Он стремился показать Сигизмунду силы России и овладеть Полоцком, оплотом Литвы. Это давало возможность удалиться на время из мрачной Москвы, бывшей позорищем казней, и развлечь уныние народа. Иоанн сам отправился с воинством, окружённый казанскими, астраханскими и черкесскими царевичами. Многие бояре царской думы, окольные и дьяки сопровождали его. Казалось, царский двор присоединился к воинству. Сигизмунд Август не верил слухам о приближении трёхсот тысяч русских. Блеск доспехов, богатство оружия отличали дружину царскую; семь рынд с серебряными топорами сопровождали Иоанна в торжественном шествии, неся вооружение государево: меч, сулицу, колчан и другие доспехи. В воеводах большого полка были князь Мстиславский, оба Шереметевы, Иван Васильевич большой и меньший, князья Пётр Шуйский и Серебряный, но старейшим над всеми был князь Владимир Андреевич. Русская сила, как необозримая в пространстве река, окружила Полоцк. Радзивилл с литовцами спешил на помощь осаждённым; но триста сажен стены было уже разбито русскими барсами и драконами. Устрашённые граждане не хотели защищаться, тем более что Иоанн, казалось, готов был миловать побеждённых.

Въехав в верхний замок Полоцка с царскою пышностью, Иоанн повелел представиться знатнейшим полоцким гражданам. Войско окружало площадь пред замком. Черкесские всадники на статных конях, вооружённые с головы до ног, охраняли берег Двины, а дружины стрельцов, в красных кафтанах с бердышами в руках, казались багряною стеной, увенчанной сверкающей полосой. Между рядами их проходили с трепетом в замок почётные граждане полоцкие, предшествуемые епископом, и несли драгоценные дары грозному победителю. Иоанн ожидал их в большой палате замка, на возвышенном месте, устланном шёлковым ковром, и стоя под сенью златотканого балдахина, украшенного литовским гербом. Поодаль его почтительно стояли князь Владимир Андреевич, царевич Симеон Бекбулатович и Михаил Темрюкович.

Полоцкий воевода Довойна, приблизясь к Иоанну, просил его о выполнении договора: не касаться имения граждан. О том же просил и епископ полоцкий, напоминая, что это было первое условие сдачи.

— Царь московский, — сказал Иоанн, не коснётся имения полоцких граждан, но здесь я великий князь полоцкий. Вся Литва — моя наследная отчина. Епископ и воевода, ждите нашего слова в Москве, а здесь ни в латинском епископе, ни в польском воеводе нет нужды. Царевич Симеон Бекбулатович, покажи усердие к православию. Распорядись, чтоб ни одной латинской церкви в Полоцке не осталось. Всех крестить, а для ослушников Двина глубока...

Повеление Иоанна ужаснуло полоцких граждан, ропот и крики раздались на площади перед замком, но медные барсы и драконы уставились с валов на толпы, и народ затих.

— Хочу, — продолжал Иоанн, — избавить короля Сигизмунда Августа от забот о казне полоцкой; незачем оставлять для него здесь запаса в богатстве граждан. Золото и серебро взять всё на дружину; немцев не обижать, хоть и стояли за польского короля. Они не знают, кому служили, но мне не чужие. По Божией милости корень русских владык от прусса, брата Августа Кесаря. Ротмистры Албрехт, Балкер и Ян, вы здесь пришельцы, даю волю вам возвратиться восояси или к королю, пусть видит, что я вас с ляхами не ровняю. Кого хочу миловать, милую, и жалую вас, на моём княжении полоцком, золотыми корабельниками.

Иноземцы не ожидали такой милости. Иоанн допустил их к руке своей.

— Ныне, государь, — сказал князь Владимир Андреевич, — исполнилось проречение, что Москва вознесёт длани свои на плечи врагов её.

— Так совершилось слово Петра Чудотворца, — отвечал Иоанн, — напомним о сём нашему богомольцу, митрополиту Макарию. Князь Михаил Темрюкович, поезжай обрадовать Москву и царицу, сестру твою, а первосвятителю отвези от меня поминок, крест с драгоценными камнями. Не теряйте времени, воеводы мои, стены полоцкие разрушены, Витебск дымится пожарищем, путь вам открыт.

Князь Воротынский подал царю письма королевской рады. Польские магнаты снова предлагали выгодный мир, извещая, что послы их готовы ехать в Москву. Этого и ожидал Иоанн. Главная цель его — утратить врагов — была достигнута; впрочем, труды войны были для него в тягость.

— Когда так, — сказал он, — пусть едут послы! Послов не секут, не рубят. Ляхи смирились, а нам нужен отдых. Сигизмунду будет о чём подумать, а мы, возблагодарив Бога, поспразднуем в Москве с нашими крещёными царевичами.

Поручив восстановление полоцких стен и защиту города князю Петру Шуйскому, Иоанн с избранною дружиною отправился обратно в Москву. Бояре, один перед другим, спешили к нему на пути с поздравлениями от супруги и сыновей. Пред стенами Волоколамской обители святого Иосифа встретил отца царевич Иоанн, старший сын его, младший царевич Феодор, ожидал его в Крылацком селе и сам благовестил в церковный колокол при приближении государя. В Старице великолепно угостила Иоанна княгиня Евфросиния, мать князя Владимира Андреевича; в то же время Иоанн получил весть о рождении сына Василия. Радостно было шествие покорителя Полоцка в свою столицу; казалось, повторилось торжество покорения Казанского царства.

ГЛАВА XII

Праздник Ваий

Наступила неделя Ваий. Ещё до рассвета Кремль наполнился толпами народа, стремившегося видеть обряд воспоминания шествия Господня во Иерусалим, тем более поразительный, что, по древнему обычаю, в сей день царь, воздавая смиренное поклонение святыне, шёл пеший возле ехавшего первосвященителя. Колокольный звон возвестил начало торжественного хода. Из Успенского храма вынесли ветвистое дерево, со всех сторон увешанное яблоками, кистями изюма, смоквами и финиками. Утвердив его на двух широких саях, стоявших у паперти собора, почётные граждане повезли священное дерево, и шествие тихо подвигалось вперёд при пении пяти отроков, стоявших на саях; ослепительная белизна их одежд, как покров непорочности, юность, смирение и благочестие, придававшие лицам их небесную красоту, священные стихиры, стройно и согласно ими повторяемые, — всё возбуждало умиление в зрителях. Невыразимы были чувства видевших приближение древа Иерусалимского, за коим боярские дети несли алтарный фонарь — знамение светильника церкви; священные хоругви развевались в воздухе, кадильницы диаконов дымились фимиамом пред ликами шести чудотворных икон. Ряды священнослужителей в богатейших ризах, казалось, лились, как золотая река; долго не видно конца ей; но вот пошли архиереи, и на коне, в виде жребяти осяго, покрытом белою пеленою, сидел первосвященитель, митрополит Макарий, придерживая левою рукою сверкающее златом евангелие, а правою — благословляя народ, припадающий со слезами, по сторонам пути его. Коня вёл под уздцы царский брат, князь Юрий Васильевич, и сам царь с непокрытою главою шествовал, придерживая шёлковый повод. Конь степенно и тихо переступал по алому сукну, устилавшему дорогу пред ним. Верховные царские сановники, князья и бояре следовали за государем, наконец усердные граждане с вербами и свечами шли стеной за торжественным шествием, как бы сопровождая самого Спасителя, грядущего во Иерусалим.

— Ещё молод, а немощен, — говорили в народе, смотря на князя Юрия.

— Зато добр, воды не замутит, — тихо сказал брату своему стольник Прокудин.

— Да и в стоячей-то воде проку мало, — возразил стоявший возле него дворянин Лука Чихачов.

В это время благоговейный порядок шествия нарушен был неожиданным случаем. Князь Юрий Васильевич оступился; в глазах его потемнело, он упал на руки подбежавших стольников, но вскоре старание царских врачей привело его в чувство. Иоанн, приметя в толпе прибывшего в Москву доктора Бомелия, поручил брата своего его попечению.

Болезненная слабость Юрия не давала надежд на его выздоровление. Печальная супруга его видела приближение неотвратимого жребия. Несколько месяцев ещё продолжалось бремя жизни с болезнью. С наступлением зимы Иоанн лишился брата и вскоре сопровождал в Новодевичий монастырь прекрасную княгиню, вдову Юрия, принявшую пострижение и имя Александры. И в самом уединении Иоанн хотел окружить её блеском; казалось, весь княжеский двор Юрия переселился с нею в обитель; но иногда во мраке ночи слышали у стены монастырской плач кликуши, приговаривавшей: «Не любил бы да не убил бы!»

Много событий волновало Москву. Двоюродный брат царя князь Владимир Андреевич подвергся опале. Иоанн окружил его соглядатаями. Евфросиния, мать его, принуждена была принять пострижение. Князь Вишневецкий бежал в Литву; Курлятев лишён боярского сана, разлучён с женою и пострижен с

детьми; бояре, не принадлежавшие к любимцам царя, трепетали за свою участь. Одних рассылали по монастырям, другие гибли в Москве.

То подозрения, то укоры совести удручали сердце Иоанна; сумрачный, смутный, после весёлых пиршеств приходил он к супруге своей и сетовал на окружавших его.

— Для чего терпишь ты противных тебе? — спрашивала царица. — У тебя есть стрелы, мечи на виновных; брось тела их зверям! И, слушая рассказы черкешенки, привыкшей видеть месть неукротимых горцев, Иоанн успокаивался.

Не ослабевая в трудах государственных, он искал отдыха в вечерних беседах с своими любимцами, но невоздержание заглушало рассудок; а между тем клеветники, указывая на молчаливых и важных бояр, шептали ему: смотри, они на пире твоём не хотят быть весёлыми и нас осуждают; дух Сильвестра и Алексея ещё держится в них. И очи Грозного раскидывались на беседу; горе было тому, в чьём лице виделся ему обличительный взор Сильвестра или Адашева. И те казались опасны пред ним, чей род восходил к древним ветвям поколения Мономаха и Рюрика, и те, чьё богатство, обращаемое в благотворения, приобретало любовь народа; и те, чьи заслуги были предметом общей молвы. Знаменитейший из бояр князь Воротынский послан был в заточение на Белоозеро, Шереметев повергнут в темницу, князь Львов поражён булавою...

Дни, полные страха, не мешали вечерним беседам; трепетавшие утром должны были веселиться вечером. В одну из таких бесед Василий Грязной притащил мешок, набитый личинами разного рода, по большей части звериными или представляющими страшилищ. Каждый из собеседников наряжался, как хотел. Боярин Репнин, свидетель сего странного игрища, не мог удержаться от смеха.

— Старик! — кричал Иоанн. — Не хочешь ли, как новый Сильвестр, увещевать меня, как младенца? Плачешь ты на свою беду!

— Плачу я, государь, на свою голову, что дожила она до тёмных дней.

— Молчи, боярин, если не хочешь, чтобы я послал тебя в беседу к медведям князя Михаила Темрюковича. Образумься, веселись с нами, возьми личину крымского хана или польского гетмана, под личиною будешь веселее.

Иоанн хотел сам наложить маску на лицо угрюмого боярина, но Репнин отстранился.

— Советник думы твоей не скоморох, — сказал он и, выхватив личину, бросил её к ногам и растоптал пред Иоанном.

Грозный царь прогнал его, но гнев на Репнина кипел в душе его. Через несколько дней Репнин был убит подосланными убийцами.

Между тем перемирие с Польшею рушилось. Царь хотел удержать свои завоевания и требовал Полоцка и Ливонии. Поляки собирали новые силы к отражению русских. Радзивилл, осторожнейший и хитрейший из польских вождей, окружил русских в лесах, близ Орши. Здесь пал доблестный князь Пётр Шуйский; труп его брошен был в колодезь, но Радзивилл, желая представить всю важность победы своей и гибели славного воеводы, велел с почестью перевезти труп его в Вильну, в сопровождении русских пленников. Польский король, страдавший тогда болезнью, услышав о победе, ожил и сказал, что радость действует успешнее врачей. Хитрый Радзивилл, желая довершить свой успех, приготовил другое донесение к королю; преувеличив число сил своих и поражение русских, он послал гонца такою дорогою, чтоб русские могли захватить вестника. Так и случилось.

Русские полки, поверив перехваченному известию, отступили: одни к Смоленску, опустошая всё на пути, другие собирались под Невлем, где был и Курбский. Соболезнуя о погибших друзьях и ближних,

князь изнемогал в душе; привыкшая к победам рука его, казалось, оцепенела, мрачные думы сменялись одна другою... В это время польский отряд Замойского и Лесневельского, разведя ночью множество огней, чтоб показаться многочисленнее, успел занять место, удобное к обороне, между озером и рекою. Поляки едва могли противостоять усилиям русских; защищались отчаянно, но случай обратил битву в их пользу. Курбский был ранен и должен был сдать начальство другим воеводам. Заступившие место его не умели одолеть неприятелей; множество русских пало, и поляки остались на месте — хвалясь, что, ранив русского льва, перебили овец.

Весть о неудаче под Невлем, преувеличенная окружающими Иоанна, возбудила его гнев и подозрения. Помня ещё слова московской кликуши, он уже их приписывал умыслу Курбского, хотевшего избежать грозной руки его; митрополит Макарий ещё оправдывал Курбского пред царём, но скоро от трудов и прискорбий угасла жизнь великодушного заступника гонимых.

В последний день декабря не стало Макария, и диакон Иоанн Фёдоров, восклонясь на гроб его, с глазами полными слёз взирал на почившего старца.

— О, как торжественно твоё безмолвие, великий святитель, — говорил он. — Ты, как плод созревший, ожидаешь, да вкусит тебя Господь. Дела твои, муж правды, говорят за тебя в самом молчании смерти. Много потрудился ты для христианского просвещения! Благодарим тебя! — Слёзы пресекли голос диакона; он поклонился в землю пред гробом митрополита.

ГЛАВА XIII

Бегство

Среди воинского стана князь Курбский получил повеление быть наместником покорённого Юрьева. Вожди избоины были удивлены; носился слух, что шутка Грязного подала Иоанну мысль к унижению Курбского.

Негодование гордого воеводы достигло последней крайности.

— Меня! — воскликнул он. — Меня Иоанн жалует наместником Юрьевским! Забавляет мною шутов своих, в воздаяние за раны мои! Не так ли поступили и с Алексеем Адашевым? Хотят насытиться позором моим. Но они не унижат Курбского. Судьба войны ещё колеблется...

На другой день, оставляя Псков, Курбский пожелал проститься с воинами; ратники собрались на двор княжеский. Курбский говорил со всеми приветливо, благодарил за сподвижничество, угостил пиром на дворе своём, наделял подарками на память.

— Возьми нас с собой, храбрый князь! — кричали ратники.

— Нет, пришло время проститься; а не думал я с вами расстаться... С тобой, Ратманец, я сражался под Тулой, с тобой, Утеш, переходил степи башкирские!.. Прощайте, сподвижники ратные, гроза моя летучая, копьё боевые!

Курбский обнимал их, и они с горестью провожали его; но скоро быстрый конь унёс его. Курбский спешил в Дерпт или, как звали русские, Юрьев, куда последовала за ним прибывшая из Псковопечерской обители супруга его с юным сыном.

Все жители дерптские были изумлены и обрадованы прибытием нового наместника. Они спешили ему представиться. Между ними были старейшина Ридель и Тонненберг.

Ридель всё ещё тосковал о похищенной дочери и, встречаясь иногда с Тонненбергом на улицах дерптских, проклинал коварство Вирланда.

Уже прекратил своё существование славный орден меченосцев, но Тонненберг не снимал с себя рыцарских лат. Он представлялся лицом таинственным; то являлся в Дерпте, то в Нарве, то в Новгороде. Московские воеводы пользовались его посредничеством к покорению Ливонии, ливонские ратсгеры поручали ему склонять на милость воевод московских. В Новгороде любили его как весёлого удалца; там он сбывал разное оружие и драгоценные вещи. Курбский видал его ещё в Пскове, и Тонненберг старался заслужить его доверие, показываясь прямодушным и твёрдым в правилах чести.

Граждане дерптские часто видали своего воеводу в церкви святого Георгия, куда заходил он навещать прах Алексея Адашева. Однажды, когда Курбский молился там пред образом святого победоносца, заметил он невдалеке стоящего человека, странно одетого, который, казалось, был в нерешимости, подойти ли к нему, и осматривался, нет ли ещё кого в церкви.

Князь, дав ему знак приблизиться, спросил его имя и откуда он.

— Я из Москвы, — отвечал боязливо незнакомец, — имя моё Марк Сарыгозин и пришёл открыть тебе тайну. Князь, не выдавай меня.

— Кто бы ты ни был, — сказал Курбский, — если умыслил недоброе, не жди от меня покров.

— Я из московских жильцов, — отвечал Сарыгозин, — а меня неволею велели постричь в чернецы за то, что я хотел взять за себя дочь стольника Нащокина, на которой задумал жениться царский шут Василий Грязной.

— А тебя он хотел заставить молиться? — спросил Курбский.

— И я бежал из монастыря, — продолжал Сарыгозин.

— Беглецов здесь не укрывают, — сказал Курбский.

— Князь, — отвечал Сарыгозин, — я не останусь в Юрьеве, но и ты не долго здесь будешь; спасай себя, князь, меч над твоею головою.

— Что говоришь ты? — спросил Курбский. — От кого ты знаешь о том?

— Знаю, князь, и на верности слов моих поцелую крест. Друг твой, благодетель мой Головин, едучи из Москвы в Ругодив, узнал меня на пути и велел спешить к тебе с вестью, что ты снова в опале. Бутурлин назначается на смену тебя... С ним отправится Малюта Скуратов... Чтоб не встревожить верных полков твоих, есть ему тайное повеление...

— Понимаю, — сказал Курбский с горькой усмешкой. — Могу верить тебе и благодарю Иоанна! Следуй за мной.

Княгиня Курбская заметила, что супруг её возвратился встревоженный, прошёл с незнакомцем в дальний покой, затворился и долго говорил с ним; наконец, велел Шибанову дать ему одного из лучших своих коней, ласково отпустил незнакомца.

В тот же день Курбский узнал от Тонненберга, что в доме одного дерптского жителя приготавливаются покои для каких-то бояр, ожидаемых из Москвы.

Следующий день был праздничный, и в доме воеводы собрались старейшины дерптские и многие граждане с поздравлениями. Чёрные епанчи их, обувь с широкими раструбами, кружевные манжеты, выпущенные из рукавов, отличались от одежды русских, окружавших князя, но они также усердствовали изъять своё уважение славному воеводе.

— Благодарю, высокоименитые ландраты, за ваши приветствия и доброжелательство ко мне, — сказал Курбский, и старейшины низко кланялись князю, прижимая к груди свои шляпы, украшенные густыми чёрными перьями.

Курбский разговаривал с Риделем, как вдруг вошёл нежданный посетитель. Прибывший из Москвы Малюта. Скуратов спешил представиться наместнику дерптскому. Курбский устремил на него испытующий взгляд. Скуратов приветствовал его, не изменяясь в лице, и сказал, что послан царём в Юрьев ждать указа о назначении по разряду в воеводы. В словах Скуратова Курбскому слышалось лукавство, улыбка его казалась улыбкою убийцы. Курбский, отпустив собрание, спешил открыть супруге свои опасения и ужасную решимость, давно уже тяготевшую на душе его.

Княгиня безмолвствовала, наконец перекрестилась и сказала:

— Бедствие наше велико, но можно искать спасения, бежим, князь Андрей Михайлович, скроемся из Юрьева!

— Мне бежать? — воскликнул Курбский. — Нет, ещё много преданных мне... пусть приступят убийцы... Может быть, сам Иоанн содрогнётся.

— Друг мой, что ты предпримешь?

— Иль спокойно ждать казни? — спросил Курбский. — Мне, потомку князей ярославских, пасть без

отмщения, к позору моего рода и племени, к утехе Грязного и Левкия? Иоанн дорогой ценой купит смерть мою! Но ты, Гликерия... но сын мой...

— Спаси себя и нас! — сказала княгиня, падая к ногам его. — Умоляю тебя, скройся, если только можно укрыться от царского гнева: на край света последую за тобою! Пожалей меня, пожалей твоего Юрия!

— Гликерия, — сказал смягчённый князь, — куда убежим мы? К Сигизмунду?.. Но бегство предаст нас. Невозможно мне с вами скрыться. Нас узнают, тогда не спасёмся. Повсюду стерегут тайные приставы царские; бегство моё ободрит их. Одною смелостию можно отвратить бедствие. Лучше уйти мне к моим верным дружинам в Псков или в Новгород, а вас я тайно отправлю к другу моему Головину в Ругодив.

— Как? — спросила с ужасом княгиня. — Ты хочешь восстать на царя? Князь Андрей Михайлович, побойся Бога всемогущего.

— Я хочу, — сказал Курбский, — избавить Россию от кровавого жезла Иоаннова.

— Бог даёт царей, — возразила княгиня. — Господь наказал нас Иоанном Грозным; но неужели ты думаешь, что русские воины забудут страх Божий и восстанут с тобою на законного государя? Нет, Андрей Михайлович, тогда и Бог от тебя отступится! Русь не помыслит изменить государю. Вспомни, что в Пскове Дмитрий Андреевич Булгаков, в Новгороде Фёдор Андреевич Булгаков: они ли отступят от верности? Друзья твои скорее примут смерть, как Адашев, а не поднимут руки на мятеж. Не прибавляй преступления к бедствию! Беги, если можешь...

Курбский погрузился в глубокую думу, потом тихо сказал:

— Гликерия, повторяю, что бегство с тобою и с сыном нас погубит. Один среди опасностей я найду ещё путь во Володимерец ливонский. Избирай: или расстаться со мною, или увидеть здесь смерть мою!

— Расстанемся! — отвечала княгиня. — Спасай себя.

— Вечная разлука не легче смерти. Где вас оставляю? Где я найду вас? Иоанн помилует ли семейство моё?

— Если Бог помилует, не погибнем, — сказала княгиня.

Курбский опустился на колени и, простерши руки к иконе Спасителя, долго молился. Наконец, встав, начал ходить скорыми шагами и, остановившись, сказал с твёрдостью:

— Я отправлю вас в Нарву. В семье Головина вы найдёте пристанище. Когда же получите весть, что я в Вольмаре, по-нашему, в Володимерце, с Богом поезжайте морем в Ригу, там сестра старца фон-Редена; некогда я возвратил её брату взятого в плен сына; она радушно примет тебя.

— Неблизок путь до Нарвы, — сказала княгиня, — дорога болотная, леса дремучие.

— Это в противную сторону от пути в Вольмар. Я дам вам отважного проводника. Ливонец фон-Тонненберг отправляется в Нарву, ему известны все дороги, он будет охранять, защищать вас, с вами же отправится и Шибанов.

Курбский призвал Тонненберга и с твёрдостью прямодушия сказал ему:

— Ты знаешь меня, а мне известны твоя смелость и усердие. Причины, которых нет нужды объяснять, отзывают меня из Дерпта. Между тем жена моя и сын должны отправиться в Нарву. Это тайна, которую я тебе доверяю. Будь им проводником. Я заплачу тебе золотом за услугу твою; мне нужна твоя отважность и скромность.

Предложение было неожиданно для Тонненберга, но он с радостью согласился быть проводником

княгини.

— Эта тайна умрёт со мною! — сказал он. — Клянусь тебе, знаменитый князь...

— Не клянись, я верю слову чести, слову рыцарскому. Ты служил мне и Адашеву, страшись напомнить о сём Иоанну. Прими от меня в залог благодарности мой кубок, — продолжал князь, подав ему золотой, украшенный дорогими камнями кубок, поднесённый от граждан дерптских.

Тонненберг отказывался. Наконец он взял кубок, но опустил его на стол, при виде вошедшей княгини.

— Вверяю тебе супругу мою, — сказал Курбский, — вверяю тебе моего сына.

Тонненберг, казалось, не слышал слов этих; всё внимание его было обращено на княгиню. Она вошла медленно и с потупленным взором. Благородное, открытое лицо её украшалось выражением кротости; минутный румянец заиграл на щеках её, но, когда подняла она длинные тёмные ресницы, когда блеснули светлые глаза её, выражавшие тайную горесть и добродушие, Тонненберг удивился, что княгиня, быв уже матерью девятилетнего сына, могла сохранить пленительную красоту, какой он не ожидал видеть.

Он приветствовал княгиню; вместо ответа вздох вылетел из груди её; она поклонилась Тонненбергу и села в кресло; Юрий, вбежавший за нею, примечая грусть матери, ласкался к ней, играя белым покрывалом, упавшим на её бархатную ферязь.

— Помогите найти нам безопасный путь к друзьям нашим, — сказала княгиня.

Тонненберг спешил всё приготовить к отъезду княгини по поручению Курбского и пред наступлением ночи обещал ждать с повозкою близ ворот восточной башни. Княгиня должна была выйти с сыном в сопровождении Шибанова за город, а между тем в течение дня двое верных служителей переносили тайно разные драгоценности в загородную хижину, опустевшую после жившего в ней пастуха; в этой хижине Курбский должен был проститься с семейством.

Уже смеркалось. В одной из тесных улиц Дерпта, в доме гражданина Гольцбурга, мелькали в высоких окнах огни. Если бы Курбский мог быть тайным свидетелем того, что происходило там, он увидел бы несколько человек зверского вида, испытывающих острия сабель и кинжалов, которые выбирал Малюта Скуратов при блеске светильника и раздавал, переходя от одного к другому. Курбский услышал бы, как уговаривались они в следующую ночь напасть внезапно на дом его и умертвить безоружного.

— Чтоб увериться в успехе, — говорил Скуратов, — нужно прежде сменить всех стражей. Нелегко уgomонить смуглого эфиопа, он одним ударом руки справлялся с черемисскими великанами. Это мне царь говорил, но и Малюта постоит за себя! Я на медведя хаживал, авось и с Курбским управлюсь.

— А мы поможем, — сказал уродливый татарин.

— Мой ятаган, — продолжал Малюта, — не даст промаха, хоть бы на нём были заговорённые латы; не то задушим его...

— Не хвались прежде времени, — сказал Гроза Одинцов, — осторожно надобно напасть на этого зверя; говорят, многие из юрьевских граждан постоят за него.

Курбский не знал об этой беседе, но не медлил. Каждая минута приближала к опасности. Тонненберг готов был сопровождать княгиню с сыном; Шибанов заботился о сохранении драгоценностей, необходимых для пути; княгиня уже вышла под кровом ночи из дома. Шибанов вёл Юрия. Тихо приближались они к городским воротам; не доходя до них, повернули мимо забора в поле, где в чаще деревьев стояла пастушья хижина.

Курбский спешил к своему семейству; в хижине накрыт был усердным Шибановым вечерний стол. В последний раз Курбский занимал место за столом подле любимой супруги; в последний раз сын его стоял

возле него. Чувство неизъяснимой скорби наполняло сердца их. Яства на столе остались почти нетронутыми. Часто встречались взоры супругов, но они не могли долго смотреть друг на друга. Так умирающая мать нередко отдаляет от себя любимых детей, чувствуя приближение вечной разлуки и страшась подумать о них. Время летело быстро. Ненастная ночь темнела над городом. Курбский сидел безмолвно, с поникшей головой; княгиня вздрогнула, услышав бой часов на башне, и уже не сводила глаз с князя; слёзы прерывали слова её; любовь и страх боролись в её сердце.

— Сын мой, сын мой, насмотришься на отца своего! — сказала она, рыдая.

Встав, Курбский в последний раз прижал к сердцу супругу и благословил сына.

— Прости, Гликерия! Прости, Юрий!.. — сказал он и возложил на сына родительский крест, и, закрыв рукою глаза, вырвался из их объятий.

В это время вошёл Шибанов с извещением, что Тонненберг ждёт. Курбский, пожав руку Тонненберга, сказал:

— Береги их, и когда будет можно... доставь мне весть о них!..

Была глубокая ночь; граждане дерптские покоились сном... Одни стражи окликались на стене городской, но у западной башни, обращённой к Вольмарской дороге, стражи было немного. Курбский поспешил к стене, у которой уже была привязана приготовленная Шибановым верёвочная лестница...

Часть третья

ГЛАВА I

Рыцарский замок

Тонненберг и Шибанов ехали на конях возле повозки, закрытой навесом, в которой сидела княгиня с сыном. Дорога пролегла между болотами; с обеих сторон видны были равнины, казалось, покрытые травой, но один шаг на это мнимое поле подвергал опасности неосторожного путешественника.

Серые облака покрывали всё небо над местами печальными и пустынными; изредка видны были болотные птицы, перелетающие по кочкам, или вереницы диких гусей, которые, высоко поднявшись, неслись тёмною нитью к Пейпусу. Скоро показалось это обширное озеро, разливавшееся в необозримую даль; дремлющие воды его почти не колыхались, лениво омывая ровные песчаные берега.

«Не таков путь к белокаменной Москве, — думал Шибанов, — но не туда дорога нам; где вы, светлые дни наши? Было время, да миновало!..»

Печальные мысли его прерваны были топотом скачущих всадников.

— Не погоня ли за нами? — сказал он Тонненбергу.

Повернув коня в ту сторону, откуда доносился конский топот, Тонненберг прислушивался.

— Должно быть, погоня, — сказал он, — нам вместе опасно ехать; лучше повороти вправо по опушке леса, а мы повернём за пригорок; там мы снова съедемся на берегу озера. — Сказав это, Тонненберг закричал эстонцу, правившему повозкою. — Гони влево во весь опор! — И сам поскакал за повозкой.

Шибанов поворотил в лес; через несколько минут его настиг отряд всадников. Один из них требовал ответа, кто он и куда едет. Шибанов назвался боярским слугой из Таваста и сказал, что ездил в Юрьев.

— Не видал ли, — спрашивали всадники, — высокого, смуглого человека в латах или в охабне?

— Видел большого человека, — говорил Шибанов, — как богатырь на коне, а волосы как смоль, развеваются ветром. Он как стрела пронёсся мимо меня...

— Куда же? — спрашивал объездный десятник.

— Вот в ту сторону, — сказал Шибанов, махнув рукою на северо-запад, к Колывани.

— К Колывани здесь и дороги нет, — сказал десятник.

— Да разве я сказал твоей милости, что здесь его видел? — возразил Шибанов. — Он встретился мне недалеко от Юрьева.

Всадники поскакали назад.

Шибанов радовался, указав дорогу совершенно противоположную той, которой поехал Курбский. Оставалось настичь княгиню; но далее густота леса препятствовала пути. Наконец Шибанов увидел, что деревья, поверженные силою ветра, сплелись и образовали непроходимую стену. Тогда он, повернув назад, поехал влево, но и тут открылось непроходимое болото. Он увидел, что сбился с пути, и потерял

надежду настичь княгиню, однако же через несколько времени выбрался на дорогу, ведущую к селению, и, расспросив о пути к Нарве, или, как называли русские, к Ругодиву, удивился, узнав, что лес, указанный ему Тонненбергом, вовсе ведёт не туда. Шибанов в недоумении решил продолжать путь к Нарве.

Между тем Тонненберг, объехав топь, повернул через лес на обширную равнину; в разных сторонах были видны огромные гранитные камни, казалось, руками исполинов разбросанные на песчаной степи, невдалеке один от другого; несколько бедных эстонских хижин, сложенных из булыжника, скреплённого землёю и мохом, видно было на высоте отдалённых пригорков; густой чёрный дым вился над ними, и здесь-то остановился Тонненберг, чтобы дать отдохнуть усталым лошадям. В первый раз ещё княгиня Курбская остановилась в селении после двухдневного пути; бедные жители хижин со страхом смотрели на Тонненберга. Княгиня была в чрезвычайном беспокойстве, видя, что Шибанов не возвращается, и спрашивала, может ли он догнать их? Тонненберг ободрял княгиню, но наступила ночь, Шибанов ещё не возвращался. «Нарва должна быть близко», — говорила княгиня; Тонненберг подтвердил её надежду, но убеждал продолжать путь.

Мало-помалу равнина стала приметно возвышаться, снова показались зелёные холмы; за ними вдали синелась пелена необозримых вод.

— Не море ли это? — спросила княгиня.

— Это Пейпус, — отвечал Тонненберг.

— Пейпус! Нет, мы давно отъехали от берегов его. Куда же мы едем?

— Туда, где княгиня Курбская будет в безопасности.

Такой ответ не успокоил княгиню. Тонненберг, казалось, был в замешательстве и наконец признался, что ночью они сбились с пути, но скоро выедут к Нарве.

Дорога пролежала дикими местами; с одной стороны, вдоль залива, темнели сосновые рощи, с другой — вспыхивали огоньки на болотах: кое-где на горных крутизнах мелькали озаряемые луною развалины рыцарских замков, опустошённых войною и междоусобием. Мрачные деревья, как великаны, стояли на пути, качая чёрными ветвями. Но уже приближался рассвет: красноватая полоса показалась на востоке, края туч вспыхнули огнистым пурпуром, и скоро весеннее солнце, яркими лучами расторгнув облака, осветило окрестности. Дорога по отлогому скату горы повернула в лес.

— Ах, матушка, опять в лес, — сказал печально Юрий.

Княгиня спросила ещё раз, далеко ли они от Нарвы.

Тонненберг отвечал ей смехом, в глазах его видно было лукавство. Княгиня не знала, что подумать о своём спутнике, и тревожилась долгим отсутствием Шибанова.

Между деревьями показалось несколько эстонцев в рубищах; они бродили, как тени и, услышав стук повозки, бежали с пути, укрываясь от едущих. Тонненберг кричал на своего задремавшего эстонца, чтоб ехал скорее; повозчик в испуге очнулся и хлестнул малорослых лошадей; они помчались птицею, не отставая от скачущего Тонненберга. Скоро в лесу раздался свист, на который Тонненберг отвечал звуком медного рога, висевшего на цепи под его епанчой. Из-за кустарников чернела в горе пещера; княгиня услышала шум, и четверо сухощавых эстонцев высокого роста и угрюмого вида выбежали вооружённые топорами и дубинами. Тонненберг, подъехав к ним, что-то сказал; они скрылись в пещеру. Несколько далее открылись из-за деревьев, на возвышении утёса, чернеющие башни старого замка; зубцы их поросли мхом, подъёмный мост через ров вёл к заграждённым решёткой воротам.

— Эрико, въезжай на мост, — закричал Тонненберг эстонцу.

— Куда мы едем? — спросила княгиня.

— Мы здесь остановимся, — сказал Тонненберг.

Лишь только они переехали мост, решётка ворот поднялась по звуку рога. Тонненберг поскакал вперёд на тёмный двор замка, и княгиня услышала стук опустившейся за ними решётки и звон цепей подъёмного моста.

Всё объяснилось. Тонненберг сбросил с себя маску...

Видя изумление, слёзы, слыша упрёки княгини, он говорил ей о невозможности супругу её возвратиться в Россию, говорил об угрожающих ей опасностях и восторгался красотой её.

— Не одна страсть, — сказал он ей, — но и желание спасти княгиню Курбскую побудили меня удалиться в этот уединённый замок.

Княгиня с презрением слушала слова предателя, обличившие всю черноту души его.

— Где твои клятвы? — сказала она ему. — Верь, что никакое преступление не укроется от небесного Мстителя; не прибегай к новым хитростям скрыть злой умысел; вспомни, что ты был меченосцем, где твоя честь? Прошу тебя, дай мне проводника до Нарвы.

Тонненберг улыбнулся.

— Успокойтесь, княгиня, — отвечал он, — после трудного пути нужен отдых, но отсюда нет выхода; отвечая любви моей, вы будете повелевать замком и его владетелем. В этих старых стенах можно найти княжеское довольство.

— Злодей, ты забываешь, что говоришь с женой князя Курбского, ты можешь держать меня в неволе, даже лишить жизни, но, кроме презрения, ничего не увидишь в глазах моих.

— Я надеюсь. — Сказал он, — что через несколько дней гостя моего замка будет ко мне благосклоннее.

Княгиня бросилась в кресло, ломая руки в отчаянии. Юрий плакал.

— Куда это, матушка, завезли нас? — спросил он. — Эта большая комната с круглыми сводами блестит позолотою, но и образа нет, а на стенах представлены охотники с собаками. Вот, — продолжал он, рассматривая украшения комнаты, — шёлковый занавес, как полог, раскинут над кроватью; наверху пучок пушистых перьев в золотом обруче; вот чёрный шкаф с решетчатыми дверцами; сколько и нем парчи, кружев и бархата! Вот стол с немецким зеркалом и возле него хрустальный ларчик; в нём всё жемчуг.

— Не прикасайся, Юрий, к сокровищам злодея! — сказала княгиня. — Лучше молись, чтоб мы их не видали.

Тут вошла красивая, нарядно одетая эстонка с корзиною столового прибора, а за нею два служителя несли несколько оловянных блюд с яствами; княгиня не хотела касаться до них, но Юрий упрашивал её. Чтоб успокоить его, она согласилась подкрепить свои силы.

Молодая эстонка смотрела на неё с участием, и княгиня задала ей несколько вопросов, на которые Маргарита, однако же, не могла отвечать. Мало понимая русский язык, она краснела и перебирала разноцветные ленты, спускавшиеся с её пёстрой шапочки, обложенной серебряною сеткою, то оправляла свой передник с цветною накладкою, то сбористые рукава, белевшие около полных рук, из-под красивого нагрудника; бисерное ожерелье с корольковыми пронизиями дополняло её наряд. Маргарита налила в кубок вина и знаками упрашивала княгиню выпить, но Гликерия отклонила кубок и была рада, когда эстонка ушла.

Ничего утешительного не представлялось в её мыслях; вопросы Юрия, расспрашивавшего об отъезде отца, его страх при малейшем шуме разрывали сердце Гликерии. Ночь привела с собою новые опасения, но сон, овладев изнурёнными силами, на несколько минут возвратил княгине спокойствие.

Шум и крики пробудили её. Они раздавались за стеною, отделявшею этот покой от столовой залы в башне замка, где Тонненберг пировал с приехавшими гостями. Ещё вечером княгиня слышала топот коней и замечала свет на дворе замка, она догадалась о прибытии гостей к Тонненбергу. Буйные крики привели её в ужас; она не могла объяснить себе этого ночного явления, и, приблизившись к стене, слышала песни и хохот. Вдруг раздался страшный стук, зазвенели сосуды и оружие; ей нельзя было ни понять, ни расслышать слов, но она нечаянно заметила в досчатой стене круглую скважину — давний след ружейного выстрела. Наклонясь к ней, она увидела в освещённой зале, за длинным столом, около расставленных чаш и кубков несколько человек в замшевых одеждах, подпоясанных разноцветными шёлковыми шарфами, за которыми сверкали охотничьи ножи и стволы пистолетов; некоторые сидели, другие уже лежали на лавках, постукивая огромными кубками. Брань мешалась с дружескими приветствиями и проклятия с радостными восклицаниями. В багровых лицах разгульных гостей глубоко врезались следы пороков, во взглядах их выражались или дерзость, или жестокость. Многие из них прежде принадлежали к обществу рыцарей, но это собрание более казалось шайкой разбойников.

Имя Курбского нередко слышалось в речи их.

— Мы не думали, — говорил рыжий Юннинген Тонненбергу, — чтоб ты, удалец, так скоро возвратился в свой замок, а нагрянули к тебе для ночлега. Как видишь, приятель, мы не с турнира, а с охоты, и собрались потешиться в лесах за волками и зайцами.

— Не привёз ли какой добычи? — спрашивал Зеттенрейд.

— У него не добыча на уме, — сказал Юннинген. — Он гоняется за красавицами, как собака за зайцами; жаль только, что орден меченосцев распался, а то он всё щеголял бы в рыцарской мантии.

— Рыцарская мантия, — сказал Тонненберг, — у меня была только для наряда; впрочем, я ничего не теряю. Не для чего носить орденского креста, так велю вышить на епанче золотой кубок, который выбираю себе гербом.

— Вот это славно, — сказал Брумгорст, — посвяти и нас в рыцари золотого кубка!

— За чем дело стало? — спросил Юннинген. — Эй, Шенкенберг, сорвиголова, наливай большие кубки для нового посвящения в рыцари.

— Наливай через край, — закричал Тонненберг, — да и сам выпей кубок одним духом; я недаром прозвал тебя Аннибалом.

Слова эти относились к высокому, быстроглазому мальчику с приплюснутым носом и чёрными курчавыми волосами. С необыкновенною силою приподнял он большой кувшин вина, с необыкновенным проворством обошёл вокруг стола, и в одну минуту все кубки были налиты; в доказательство своей ловкости он с усмешкой опрокинул кувшин и выпил одним глотком остатки; глаза его запрыгали от радости.

— Молодец! — сказал Юннинген. — Славно пьёт.

— И промаха в стычке не даст, — сказал Тонненберг. — Это не мальчишка, а чертёнок; пуля его всегда сыщет место; ему всё равно, стрелять ли в зайца или в охотника.

— Я не знаю, чего в нём больше, — сказал Юннинген, — силы или лукавства. Скажи, сорвиголова, чем ты берёшь?

— Чем? — пробормотал Шенкенберг, оскаля зубы. — Всё, что силой возьмёшь, — твоё; где не станет

силы, там возьмёшь хитростью.

— А не боишься петли? — спросил Ландфорс.

— Без череды и в петлю не попадёшь; маленький плут, как муха в паутине, завязнет, большой — проскользнёт.

— Разбойник! — сказал Юннинген. — А на вид пигалица.

— Что за пигалица? Не шути с ним. Он Шенкенберг, даровая гора, — сказал Зигтфрид.

— Что за прозвище? Скажи, сорванец, кто тебе дал его? — спросил Юннинген.

— Так прозвали меня после дяди Плумфа, — забормотал Шенкенберг скороговоркой. — Он был проволочник и тянул вино, как проволоку. Жили мы в трёх милях от чёртовой пасти, одной пещеры; все обегали этой воронки; а смельчак дядя побился об заклад, что перед закатом солнца пойдёт со мною ночевать к пещере; мне тогда было десять лет. Сказал и пошёл. Уж то-то была дорожка! Мы вязли в песке, а вдоль пути чернела река в глубине песчаного желоба. Дядя шептался с флягою, а я похлёстывал галок. Луна торчала фонарём на небе, но скоро ветер взбесился и погнал облака, как зайцев; дяде казалось, что луна качалась от ветра, а сам он качался от вина; около леса мы повернули к горе, тут камни и сосны перетолкались, как гости после пира. Воздушные трубы ревели в утёсах горы, и скоро мы очутились перед чёртовой пастью. Из глубокой впадины слышались свист, вой и грохот, а сосны перед пещерой светились искрами. Мы отыскивали ощупью мшистый камень и присели на нём. «Спи себе, — сказал дядя, — бояться нечего, чёрт мне кум!» Правду сказать, после таких слов немного страшно было, однако я прилёг возле дяди. Вдруг мерещится мне страшилище, чёрное, косматое, вышиною с добрую сосну; оно смотрело на меня, похлопывая огненными глазами, и показало мне гору серебряную, — «Здравствуй, кумов племянник! — зарычало оно. — Я подарю тебе эту гору, но прежде добудь сто котомок ста пулями». Тут скала грохнула, камни полетели на камни, я вскочил, хотел будить дядю, но дядя пропал!.. На другой день я нашёл его; он лежал на песке, опрокинувшись головою в реку, возле него валялись пёстрая фляга и рогатина, с которой он ходил на волков. Загулял он у кума! Видя это, пошёл я бродить по свету, добывать котомки, и забрёл в Верьель. С тех пор меня прозвали даровою горою.

— Ну, Тонненберг, — сказал Юннинген, — нашёл ты по себе молодца; только ему ещё долго у тебя учиться, сам чёрт не узнает, как ты посетишь праведника.

— Да! Могу похвалиться, — сказал Тонненберг, — мне верил Адашев, и сам Курбский поверил мне ненаглядную жену свою.

— Да как же сумел ты вползти к ним в душу? — спросил Ландфорс.

— Эх, простаки! — отвечал Тонненберг. — Умейте скрывать себя и угождать людям и будете повелевать ими.

— Так ты не всё брал силою, а подчас и хитростью! — воскликнул краснолицый, широкоплечий Брумгорст.

— Что твоя сила! — сказал Тонненберг. — Хитрость — вот та золотая цепь, которою легко притянуть все сокровища Ливонии.

— Не говори о Ливонии, — сказал, покачиваясь, Ландфорс, — ты её продавал московским воеводам; у тебя нет ни совести, ни отечества.

Тонненберг захохотал.

— Молчи, седой медведь! — сказал он. — Там и отечество, где весело жить, а совесть — хорошее словцо для проповеди.

— Так для тебя всё равно, что новгородцы, что мы? — сказал Ландфорс, встав со скамьи, и пошатнулся на Юннингена.

— Вот о чём спрашивает! — возразил Тонненберг. — С новгородцами я жил с детства, а с вами я грабил новгородских купцов. Отец мой повешен в Новгороде на вечевой площади, а я с удалыми новгородцами разгуливал по Волхову, по Мете, дрался на кулачных боях, потом захотелось мне пожить с рыцарями; я попал в милость к его светлости, епископу Дерптскому, служил у него на посылках. У меня был ещё старый дядя, которому удалось сделать очень умное дело: умереть и оставить мне замок; тут-то я запиrowал.

— Особенно, когда подманивал с товарами богатых новгородских купцов...

— Я угощал их, — сказал Тонненберг с ужасным смехом. — Разумеется, что они уже не возвращались...

— Вот это по-рыцарски! — сказал Ландфорс. — Уф, мне страшно с тобою, вокруг тебя всё мне чужды сатанинские головы.

— Немудрено, — сказал, захохотав, Юннинген. — Это наш Аннибал из-за твоего плеча его дразнит.

— Да ты и в кирку входил с собаками, — продолжал Ландфорс.

— Молчи, проповедник, — закричал Тонненберг, вспыхнув от досады, — вот тебе подарок от сатаны. — И бросил в Ландфорса оловянное блюдо, которое, ударив старика и плечо, погнулось и покатилося на пол.

Эхо разносило по замку дикие крики буйных товарищей Тонненберга. Когда ссора утихла, звук кубков смешивался с нестройными песнями; долго ещё говорили о грабежах и убийствах, стуча по столу мечами и бросая на пол опорожнённые кубки.

Всё это слышала несчастная княгиня Курбская, и ужас её ещё увеличился от пробуждения Юрия, который прижимался к ней в испуге. Ему чудились страшные лица, и он боялся открыть глаза, думая, что уже злые люди ворвались в комнату.

Наконец всё затихло в замке... Наставшее утро прошло спокойно, но в полдень появился Тонненберг. Красивое лицо его обезображивалось следами безумного разгула; забыв всякое приличие, он схватил княгиню за руку и сказал:

— Одумалась ли ты, моя прекрасная Гликерия? Ты смиренна и робка, но здесь, в замке, нет принуждения; предайся весёлости, забудь твоего беглеца, корми сластями маленького сына и будь благосклоннее к твоему обожателю; в моём замке есть пастор, который нас обвенчает.

— Чудовище! — сказала княгиня, отдёргнув с негодованием руку, прижав к себе Юрия.

— Ого! — сказал Тонненберг. — Ты любишь гневаться, но должна уступить судьбе; здесь затворы крепкие, леса дремучие.

— Вижу твой умысел, — сказала княгиня, — но пока дышу, до тех пор буду гнушаться тобою, презренный злодей.

— Посмотрим, гордая княгиня, — сказал Тонненберг, — не будешь ли ты благосклоннее? — Он схватил Юрия и потащил его на террасу.

— Смотри, — сказал он, — если ты ещё будешь противоречить мне, то я сброшу твоего сына с башни.

Слова эти были для неё громовым ударом; едва не упала она без чувств, но отчаяние возвратило ей

силы; она бросилась к Тонненбергу и, силясь вырвать Юрия из рук его, схватилась за железную решётку террасы; волосы её рассыпались по плечам. Тонненберг смотрел на неё с нерешимостью, наконец сказал ей:

— Я беру твоего сына с собою; жизнь его будет залогом за твоё повиновение. Два дня даю тебе на размышление; на третий он будет сброшен с башни или ты будешь моею.

Прошло два дня слёз и ужаса; рассвет третьего дня Гликерия встретила молитвою; тяжкие вздохи вырывались из груди её. Когда Тонненберг вошёл к ней, она сидела неподвижно.

— Отдай, отдай мне моего сына! — сказала она изменнику.

— Он возвратится к тебе, верь моему слову.

— Возврати и ты не услышишь моего ропота, — сказала княгиня.

— Могу ли я надеяться на любовь твою?

— Не требуй любви кинжалом... Дай мне забыть мою беду.

— Княгиня, я возвращу Юрия, но клянусь, если через два дня ты не согласишься носить имя супруги моей, он погибнет.

Тонненберг удалился. Скоро незнакомый человек привёл маленького Юрия, который со слезами и радостью бросился к матери. Незнакомец, который, по-видимому, был один из служителей замка, при грубой наружности своей не мог скрыть сострадания.

— Несчастливая боярыня! — сказал он. — Куда это привела тебя злая судьба.

Княгиня удивилась, услышав человека, говорящего по-русски, в эстонской одежде.

— Кто ты, мой друг? — спросила она его. — Неужели ты из эстонцев, слуга этого злодея?

— Нет, — сказал печально служитель, — я прежде был в кабале у русского боярина, но жестокость его заставила меня бродить по Ливонии, и я нашёл здесь пристанище, у рыцаря или у разбойника, не знаю, как сказать. Ему нужен был русский слуга, и новый мой господин, поручив мне надзор над замком, женил меня на эстонке. Маргарита тобой не нахвалится. Жаль тебя, добрая боярыня, а нельзя спасти! За мной сотни глаз примечают, а больше всех этот пострелёнок, сорвиголова. Не знаю, когда вынесет Бог из этого адского гнезда, а уж жизнь надоела мне. Попал я из огня в полымя.

— Спаси меня, — сказала княгиня, — я тебе отдам дорогие камни мои; возьми моё ожерелье; найди только средство вывести нас отсюда.

— Нет, боярыня, не вижу никакой надежды; мой господин и без вины рад кожу снять, а за вину и подавно; не одна ты попала сюда в западню; здесь есть ещё прекрасная девушка, дочь богатого человека, её зовут Минна... Тоже как птичка в клетке!.. Заговорился я, княгиня; без памяти рад, что есть с кем русское слово промолвить!

— Зачем же Тонненберг держит в заключении эту несчастную? — спросила княгиня.

— Вот видишь ли, боярыня, он увёз её от отца, кажется, из Юрьева, а у ней был жених, немец, которого она не любила; вот этого-то немца наш ястреб тоже захватил и держит здесь в подземелье; иссушил бедняка, в чём душа в теле! А и немочка-то с ума сходит, как узнала, на кого променяла отца; хотела не раз броситься из окна, но к окну приделана железная решётка. Бедняжка обманулась, увидев, что худо, но было поздно; теперь плачься Богу, а слёзы — вода.

Всё это говорил он вполголоса, и слова его ещё более увеличили в душе княгини омерзение к Тонненбергу.

— Боже! — воскликнула она, упав на колени. — Ты один можешь спасти нас. Не дай совершиться злодейству или прекрати нашу жизнь. Ах, что говорю я, прости мне Милосердный! Жизнь — Твой дар и воля Твоя во благо; я верю, что Ты спасёшь нас!

Она отирала слёзы, катящиеся по щекам её; молитва укротила волнение души её.

Пир продолжался в замке. Тонненберг и друзья его собрались на охоту, вывели со двора коней, покрытых богатыми чепраками, выгнали свору борзых и гончих собак, вооружились копьями и алебардами, затрубили в рога и понеслись толпой на равнину.

Княгиня видела шумный отъезд их и узнала от Юрия, что они возвратятся через два дня, как говорил ему русский слуга. Гликерия с содроганием подумала о возвращении Тонненберга.

— Князь Андрей Михайлович, супруг мой, не придёшь ты избавить меня! — восклицала она. — Знаешь ли ты, что жена и сын твой в вертепе разбойников?

Всю ночь шумел порывистый ветер и к утру усилился. Крики птиц предвещали бурю. Разорванные тучи быстро неслись от моря над замком, усиливая стремление ветра, воющего в лесу. Волны страшно воздымались, стремясь с яростным рёвом к отлогому берегу; наконец вихрь закрутился столбом и, сшибаясь с морем, погнал валы пенными горами; всё предвещало наводнение.

Волны быстро устремились на равнину и, возрастая, поглощали поля и кустарники. Буря, свирепствуя, ломала верхи деревьев, стволы которых были уже залиты водою. Обломки сосен и берёз неслись по волнам, хлещущим с яростью на всём пространстве долины пред замком; казалось, море, разорвав берега, стремилось потопить землю. Из леса быстро неслись всадники к замку, погоняя своих коней и стараясь спастись от грозящей опасности; впереди них можно было узнать Тонненберга. Между тем море настигло их; кони разбивали копытами волны, но, выбившись из сил под тяжестью всадников, не могли выдержать усилия вихря; напрасно Тонненберг понуждал шпорами коня своего; конь сбросил его с себя; страшно кричал он, прося помощи, но холодные волны заглушают его крик, и злодей, отягощённый железным доспехом, тонет пред глазами княгини Курбской и выбежавших на башню служителей замка.

ГЛАВА II

Освобождение

Наводнение было непродолжительно; море скоро возвратилось в берега свои, но следы бедствия были ужасны; на возвышении около замка разбросаны были прибитые волнами трупы и груды деревьев, вырванных силою ветра; равнина была изрыта потоками, рвы около замка завалены камнями и песком. В замке происходило страшное смятение; никто из слуг Тонненберга не жалел о нём; но каждый спешил воспользоваться случаем; ломали двери, разбивали погреба, сундуки; челядь бегала по всему замку с Шенкенбергом, который показывал тут своё удалство; расхитили всё, что могли; достояние злодея пошло прахом, между тем как чёрные вороны клевали его труп, и коршуны, кружась в воздухе, оспаривали у них добычу.

Княгиня Курбская благословляла промысл небесный; но посреди своевольств и грабежа ей угрожала новая опасность.

Несколько эстонцев ворвались в её покой и с жадностью бросились искать драгоценностей. Княгиня в испуге отбежала в угол покоя, заслонив собою Юрия, и уже думала, что грабители не пощадят её жизни, но в эту минуту появился незнакомец, более похожий на привидение, нежели на человека. Волосы его были всклокочены; на руке висел обрывок тяжёлой цепи; бледное, рябое лицо его, сверкающие косые глаза выражали ожесточение; он с быстротою бросился на грабителей, остолбеневших при его виде и, выстрелив в одного из них, поверг его мёртвым; другие разбежались в ужасе.

Появление незнакомца изумило княгиню; за ним вбежал Пармен, русский слуга Тонненберга.

— Где же она? — спрашивал незнакомец по-немецки. — Веди, веди меня к ней!

— Испуг лишил её чувств, — сказал Пармен, — жена моя заботится о ней...

— Минна, несчастная Минна! — восклицал незнакомец, а это был Вирланд. — Благодарю тебя, избавитель мой, желал бы я сжечь этот проклятый замок, этот вертеп злодейства, не оставить камня на камне в жилище изверга!

— Зачем жечь? — сказал Пармен. — Ему коршуны выклевали глаза, а бедная Минна свободна, возьми её и поезжай куда хочешь, два коня к услугам твоим, а меня помани добрым словом.

— Добрый русский человек, без тебя Вирланд умер бы с голоду и стужи в подземелье.

— Я того и ждал, — сказал Пармен, — что Тонненберг за эту заботу сорвёт с меня голову, но, к счастью, он не проведаль; и то, может быть, что имел во мне нужду по делам его с русскими.

Скоро отворилась дверь, и вошла жена Пармена, поддерживая молодую девушку; приятные черты лица её, некогда одушевлённые милою весёлостью, представляли томность и задумчивость; Глаза потускли от слёз, и румянец не играл на щеках её. Это была Минна, не резвая и беспечная Минна, а невольница Тонненбергова замка. При взгляде на Вирланда щёки её вспыхнули, голова закружилась... Минна опустилась в кресло. Вирланд стоял в смущении... Этот человек, за несколько минут ожесточённый и пылкий, вдруг затих; горесть любви его, некогда отвергнутой Минною, была сильнее ненависти к Тонненбергу; он желал облегчить жребий Минны, ещё надеялся заслужить её благодарность; надежда ободряла любовь, не угасшую в сердце его; но в то же время Вирланд понимал, что наружность его могла ещё более возбуждать отвращение в Минне; во всех движениях его видны были замешательство и печаль.

Наконец он подошёл к Минне и сказал:

— Злодей погиб, вы свободны, бедствие сблизило нас.

Минна не отвечала, но посмотрела на него с участием; она уже не презирала человека, который подвергся за неё бедствию, самая наружность его возбуждала в ней сострадание. Обманутая Тонненбергом, она тем более могла ценить постоянство Вирланда, чувствуя необходимость в его помощи.

— Мог ли думать я встретить здесь Минну? — сказал Вирланд.

— Коварство обмануло меня, легковёрную, — тихо отвечала Минна, — я убегала от Вирланда, а Тонненберг увлёк меня в бездну.

— Несчастливая, и вы последовали за ним добровольно?

— Ах, я достойна презрения, во всю жизнь буду оплакивать день, когда Бригитта помогала моему побегу.

— А меня захватили ночью безоружного, оковали цепями и повергли сюда в подземелье; конюший Тонненберга, притворявшийся простаком, подкупил моего Дитриха подлить мне в вино усыпительных капель.

— Тонненберг совершил злодейство, — сказала Минна. — Он сумел отвести от себя все подозрения и вину свою обратить на вас.

Заливаясь слезами, Минна открылась Вирланду, что была отвезена к мнимой родственнице Тонненберга, Фальстаф, у которой пробыла несколько дней; забор был нарочно подпилен ночью Дитрихом и Конрадом со стороны Вирландова дома; из повозки, проехавшей с Вирландом за городские ворота, хотел выскочить переодетый в женское платье Шенкенберг. Через несколько дней после того Минна отправилась с Бригиттой из дому мнимой тётки в Тонненбергов замок. Там она стала подозревать страшную тайну; недоумение и боязнь её день со дня возрастали; замечая свет в отдалённой башне, она узнала от Бригитты, что и Вирланд захвачен Тонненбергом. Скоро сам Тонненберг сказал о том Минне и в то же время убеждал её уведомить отца, что избавил её из рук похитителя. Такое коварство ужаснуло Минну; она отказалась от гнусного обмана и почувствовала отвращение к Тонненбергу. Но через несколько месяцев, когда она решилась показаться согласной, с тайным намерением открыть всё отцу своему по возвращении в Дерпт, недоверчивый Тонненберг переменял сам свои мысли, опасаясь выпустить её из замка, где она уже могла заметить, кто был рыцарь её. Скоро Минна узнала, что не одна она была жертвою обмана в замке Тонненберга, и любовь уступила место ненависти. Тонненберг слышал одни укоры, видел одни слёзы, Минна тосковала и гнушалась злодеем; он держал её, как заключённую, в башне.

— Тогда отчаяние едва не погубило меня, — продолжала Минна. — Не знаю, что было бы со мною, если бы небо не наказало злодея. Что бы ни ждало меня, желаю возвратиться к отцу моему, упасть к ногам его; он увидит моё раскаяние и, может быть, не отвергнет несчастной Минны.

— Дозволь мне сопровождать тебя в Дерпт, — сказал Вирланд, — я буду твоим охранителем и оправдаю тебя перед добрым отцом твоим!

Минна не без смущения благодарила его. Вирланд, вооружась, спешил отправиться из замка, а княгиня Курбская просила его принять от неё пособие, необходимое ему для скорейшего прибытия в Дерпт. Несколько эстонцев, которых Вирланд обещал щедро наградить, вызвались оберегать Минну в пути. Сама княгиня заботилась скорее оставить замок и вскоре отправилась с сыном в той же самой повозке, в которой прибыла туда. Пармен согласился проводить её до Нарвы.

Небезопасен был путь, но, вверяясь промыслу Божию, княгиня с радостью услышала стук растворившихся ворот замка; с удовольствием смотрела она на подъёмный мост, ужасавший её при въезде

в мрачное жилище, а теперь открывающий ей свободный путь... Так различны бывают впечатления от одних и тех же предметов, нас окружающих.

Трудно было пробираться дикими местами после ужасов наводнения; дороги забросаны были деревьями или, превратясь в болота, сделались непроходимыми; к счастью, Пармен, которому все окрестности были известны, нашёл возможность пробраться мимо болот, но путники были ещё далеко от большой дороги; нападение бродяг, скитающихся по лесам, не устрашало Пармена, запасшегося оружием; он знал, что при первом выстреле эстонцы остановятся, при втором — обратятся в бегство.

Скоро весеннее солнце теплотою лучей осушило землю, дорога становилась удобнее, и путники остановились подкрепить свои силы в роще, окружавшей небольшой холмик. Пармен повёл усталых лошадей к источнику; княгиня с Юрием села на траве, положив подле себя узелок со своими вещами и часть дорожного запаса. Густота деревьев закрывала их от ярких лучей солнца, прохладный ветерок, вея в роще, колыхал полевые цветы, и птицы весело пели, высоко кружась в воздухе. Вдруг княгиня услышала вдалеке выстрел и крик. Схватив Юрия и подняв с земли узел, она сбегала с холмика в глубокую лощину, поросшую кустарником; тут она увидела два огромных гранитных камня, покрытых густым мхом и цветущими растениями. Между камнями княгиня заметила щель, в которую скрылась с Юрием. Ещё слышались крики с разных сторон, хлопанье бича, стук колёс, стоны; наконец всё затихло.

Тщетно ожидая возвращения Пармена, она решилась выйти с Юрием, поворотила на холм и спустилась в равнину к источнику, куда пошёл Пармен; там видны были следы проехавшей повозки; Пармена не было. Княгиня была в ужасном беспокойстве — опасения её оправдались; пройдя далее, она увидела под наклоном деревьев, возле источника, человека, сброшенного с берега в воду, и с ужасом узнала несчастного Пармена.

Не скоро она могла успокоиться, не знала, какую избрать дорогу, откуда взять Проводника, оплакивала жребий Пармена и собственную участь. Пройдя рощей, она скоро пришла к небольшому озерку, от которого по широкому полю пролегало несколько тропинок в разные стороны. Она перекрестилась и пошла вправо, не зная, куда приведёт этот путь, но, примечая вдалеке чернеющий лес, полагала, что идти лесом ей безопаснее; на месте более открытом труднее было уйти от преследователей.

Северный ветер охладил воздух; ясный день быстро изменился в ненастье; к вечеру стужа сделалась чувствительнее, весенний дождь превратился в метель. Княгиня прошла несколько вёрст лесом. Страшно бушевал ветер, и чем далее она шла, тем лес становился всё гуще.

ГЛАВА III

Эстонская хижина

Княгиня Курбская шла, ведя за руку сына. Юрий дрожал от стужи. Остановившись, она согревала своим дыханием его окоченевшие руки. Она села на старый пенёк и развязала узел, в котором находился остаток хлеба, взятого в дорогу.

Она видела себя окружённую лесом. Ночь застигла её, а дорога была ей неизвестна. Она слышала ещё в Дерпте, что эстонцы, бежавшие от жестокости своих господ, скитаясь в лесах, жили ловлею диких зверей и грабительством.

Княгиня боялась выйти на большую дорогу, боясь попасть в руки сторожевого отряда; она желала и страшилась приближения дня; наконец изнурение победило страх, она решилась провести ночь под тенистыми кустарниками, на пне срубленной сосны, и склонилась головою на ветви. Утомлённый Юрий уснул на коленях матери. Небо закрыто было тучами; крупный дождь шумел, прорываясь с ветром сквозь листья.

Княгиня проснулась, когда ранние лучи солнца проникли сквозь ветви частого леса. Она тяжело вздохнула, перекрестилась, разбудила Юрия и продолжала путь.

Несколько часов шла она, никто не встречался ей, только дикие птицы с шумом пролетали по лесу и робкий заяц перебегал дорогу. «Здесь не видно и следа людей», — подумала она; но в это самое время заметила невдалеке идущего эстонца. Длинные желтоватые волосы его были накрыты треушником; на коротком кафтане, опоясанном кушаком, висели нож и топор; серые глаза его сверкали из-под нахмуренных рыжих бровей.

Эстонец, казалось, был удивлён этой встречей; поглядывая искоса на княгиню, он прошёл мимо, но вдруг остановился, озираясь вокруг. В это время в стороне послышался шум проезжающих всадников.

Между тем княгиня, чувствуя голод, который начинал уже изнурять их, и боясь снова быть застигнутой ночью в этом диком месте, решилась подойти к эстонцу и с умоляющим взглядом сказала ему:

— Добрый человек, прошу тебя, выведи меня из леса!

Эстонец, не понимая слов её, смотрел на неё. Она снова повторила просьбу и, дав ему серебряную монету, показывала на лес и на дорогу; также старалась дать понять ему, что ей нужен хлеб.

Тогда он махнул рукой и подал ей знак следовать за ним.

Не без трепета смотрела княгиня Курбская на своего спутника.

— Матушка! — говорил Юрий, прижимаясь к ней. — Я боюсь этого человека.

— Бог хранит нас, — сказала княгиня, пожимая ему руку.

Долго шли они по едва заметной тропинке, наконец, показалась из-за кустарников чёрная, низенькая, полуразвалившаяся хижина, сложенная из камней.

Заскрипела дверь, и княгиня вошла в жилище. Печь, почерневшая от дыма, несколько грязных досок на земляном полу, несколько полок над широкой лавкой, кучи соломы в углах — вот что предстало ей при первом взгляде. Двое детей играли на земле глиняными черепками.

Эстонец, бросив нож на окно, сказал жене, что он встретил русскую женщину с сыном и что они голодны.

Толстая малорослая эстонка что-то проворчала сквозь зубы и принесла кусок хлеба и кувшин с отбитыми краями, налитый молоком.

Таков был ужин княгини Курбской. Она встала и сказала Юрию:

— Сын мой, мы должны благодарить Бога за пристанище, которое он дал нам.

Сын молился возле матери. Эстонец и жена его смотрели на них с удивлением.

Гликерия, взяв за руку эстонку, благодарила её ласковой улыбкой и поклоном. Скорбь сердца, которая обнаруживалась в её лице, возбудила жалость в эстонке.

Утомлённая усталостью, княгиня села, вздохнув, на соломе, набросанной в углу хижины, и, сняв с себя шубу, покрыла дрожащего Юрия. В это время, при свете горящей лучины, блеснуло драгоценное ожерелье княгини.

— Ах, ах, светлые камешки! — закричали дети, и эстонец с жадностью уставился на ожерелье. Между тем княгиня закрыла ожерелье фатою и, перекрестясь, легла на соломе.

Эстонец, разостлав шкуру на полу, лёг возле лавки, на которой заснули жена и дети.

Лучина погасла; при глубоком мраке ночи нельзя было ничего видеть в хижине.

Княгиня Курбская, думая о супруге и сыне своём, не могла сомкнуть глаз; прошедшее было бедственным, будущее казалось ужасным и мрачным, как тьма ночи, её окружавшая.

Скоро показалась луна, и свет её сквозь пробитое отверстие, служившее окном хижине, озарял княгине мрачное её пристанище.

Вдруг послышался шорох; она взглянула и увидела, что эстонец встаёт и тянется через лавку к окну. О Боже, он смотрит на княгиню и сына её, спящего кротким сном невинности. Гликерия, закрыв рукой глаза, тихо молилась: «Пресвятая Владычица! помилуй меня!»

Схватив нож, эстонец задел за веретено, лежавшее на окне; веретено, застучав, покатилося на лавку; стук его разбудил жену эстонца. Открыв глаза, она испугалась: нож блестел в руке её мужа.

— Молчи, молчи! — сказал эстонец. — Я знаю, что делаю.

— Ах, ты хочешь убить русскую и её сына?

— Заколоть и бросить в яму, а шубу её, серебряные деньги и светлые камни возьмём себе.

— Побойся! Это злое дело. Юмалла всё видит и накажет тебя.

— Бес с тобой, молчи...

— Муженёк мой, жаль мне этой женщины. Помилуй её для меня! Пожалей мать, сжался над ребёнком, не трогай их! — говорила жена, останавливая его.

— Пергала! Что тебе в них?

— Помилуй, хоть для малых детей твоих! Не заливай нашей хижины кровью!

И жена выхватила нож из руки его и бросила на окно.

Они ещё шептались, споря между собою; княгиня во всё это время едва смела дышать. Вскоре всё затихло.

Луна скрылась за тучами. Гликерия не могла ничего видеть, но прислушивалась. Эстонец ворочался,

кашлял, наконец, захрапел, и княгиня Курбская во мраке ночи, встав на колени возле спящего сына, благодарила слезами небо за спасение жизни их.

На другой день княгиня встала с зарею, но не знала, на что решиться. Если бы она вышла с сыном из хижины, эстонец мог бы догнать их в лесу и погубить, при том же, потеряв путь, она могла встретить новые опасности. Но сам эстонец вывел её из недоумения; он дал ей знак, чтоб она сняла своё ожерелье и шубу, и бросил их на лавку своей жене; после этого эстонка подала ей прялку.

Княгиня поняла, что хотят её удержать. Эстонец указывал Юрию, чтобы он подложил дров к разведённому огню. Молодой князь смотрел в глаза эстонцу с боязнью и удивлением, но тот махнул перед ним ножом с угрожающим видом, и Юрий повиновался; дрожащими руками, не привыкшими к тяжёлой работе, он подложил дров, между тем эстонец раздувал тлеющий огонь. Скоро княгине Курбской показали дорогу к роднику, который был недалеко от хижины. Гликерия должна была прясть на семейство эстонца и носить в хижину воду.

Она покорилась своей судьбе, плакала, но не роптала на небо, как ни ужасна была перемена её состояния; терпение и кротость её даже переменили грубость эстонки в ласковость. В самых унижительных работах Гликерия не видела унижения; хижина стала опрятнее, даже дети эстонца стали смирнее.

Часто сидела она с Юрием пред входом в хижину, здесь, говоря с сыном своим, она внушала ему покорность к Богу и любовь к добру.

Иногда как бы сквозь сон вспоминая прежнее, Юрий спрашивал её: увидит ли он отца, и зачем родитель покинул его.

— Люди разлучили нас, — отвечала княгиня со слезами, — но Бог соединит, если не в этой, то в другой, лучшей жизни. Если Бог освободит нас из неволи, — говорила она Юрию, — не открывай никому своего имени; это подвергнет нас величайшей опасности. Мы не должны терять надежды на освобождение, сын мой! Бог знает, к чему ведёт. Освободив нас от злодея, Он здесь спасёт нас от неволи, если это во благо нам, а терпение наше будет нам в заслугу пред Его милосердием. После разлуки с отцом твоим мне тяжелее было бы в нашем боярском доме, нежели в этой хижине, где мы отдалены от врагов отца твоего; здесь никто не смеётся нашему бедствию, мы окружены бедностью, что сроднее с горестью нашего сердца, нежели светлые княжеские палаты. Жизнь мрачна и во дворце для души, тёмной грехами, а с чистым сердцем, сын мой, можно найти спокойствие и в мраке пустыни! Юрий, если Бог и мне велит с тобою расстаться, не забудь слов моих и помни о матери!..

Летом княгиня ходила с эстонкой собирать землянику, растущую обильно на покатох широкого рва, в который эстонка кидала иногда зёрна стекляруса, куски лент, ломти хлеба с суеверными приговорами; тут рос старый клён; эстонка кланялась пред ним и с суеверным страхом целовала камень, возле него лежащий. Она говорила княгине, что сюда приходят не за одними ягодами, но и для молитвы лесным духам, покровителям хижин и сберегателям домашних животных.

Прошло лето, миновала и осень; зима убелила дорогу, и ветви сосен ломались, отягощённые снегом. Скоро настал жестокий холод.

Княгиня сидела весь день за пряжею льна до позднего вечера при свете зажжённой лучины; тогда плотно заколачивали отверстие и запирали двери; волки, бродившие по лесу, часто по ночам выли пред хижиной.

ГЛАВА IV

Страница

В морозное утро, когда лес побелел от инея, а тропинки и деревья сверкали яркими звёздочками при сиянии солнца и дым исчезал в воздухе розовым паром, эстонец запряг тощую лошадь в дровни и поехал с Юрием в лес нарубить сучьев, но недалеко от хижины лошадь чего-то испугалась и понесла. Эстонец оглянулся и увидел двух волков, которые бежали за ними по снегу. Голодные волки уже догоняли лошадь. Эстонец замахнулся на них топором, но обледеневший топор выскользнул из рук его и упал в снег; хищные звери готовы были броситься на путников; мальчик с воплем прижался к эстонцу, тогда злодей, желая спасти себя, схватил Юрия и бросил его на дорогу.

В этом месте был глубокий овраг, занесённый метелью; Юрий провалился под сугроб. Яростные звери нагнали эстонца и кинулись на него. Испуганная лошадь умчалась в глубину леса.

Юрий, оцепенев от стужи, уже замерзал, но Провидение послало ему избавителя. Несколько возов, нагруженных товарами, проезжали мимо, и позади них в широких санях новгородский купец. Он заметил волчьи следы, кровь на снегу и руку Юрия, которая торчала из-под снега. Новгородец велел отрыть снег; наконец Юрия вытащили.

Красота мальчика возбудила жалость в сердце новгородца, но напрасно старался он привести несчастного в чувство. Новгородец спешил в Великие Луки и не мог более медлить в диком и опасном месте. Он думал, что мальчик заблудился в лесу. Не видя хижины, находившейся далеко в стороне за деревьями, и не примечая никакого пристанища, он решил взять с собой Юрия, опасаясь, чтоб он не стал жертвой диких зверей; посадил его в свои сани.

Лошадь примчалась из лесу с пустыми дровнями; это привело в ужас жителей хижины. Эстонка обегала все тропинки и возвратилась с воплем: она нашла обагрённые кровью лоскутья одежды и кушак, которым был подпоясан её муж; волчьи следы, заметные недалеко, открыли ей страшный жребий его. Княгиня не сомневалась более, что и Юрий погиб с ним вместе.

Прошло четыре месяца. Гликерия не выходила из хижины; четыре месяца тяжких страданий провела она на одре болезни. Эстонка, видевшая гнев Божий в смерти своего мужа, усердно ходила за больною; она привыкла к княгине и жалела её. Несчастное семейство терпело во всём недостаток. По временам эстонка отлучалась в ближайшее селение для покупки хлеба; тогда дети её оставались с княгиней, шум их тревожил больную, вид их напоминал ей сына, бывшего одних с ними лет.

— Милый сын, лютые звери растерзали тебя, — восклицала она в изнеможении, и сердце её обливалось кровью, но вера подкрепляла в тяжком испытании. — Не смею роптать на Тебя, — говорила она, обратив мысли к Богу. — Ты, взяв от меня сына, может быть, спасашь его от вечного бедствия!

Весенняя теплота, животворя землю, возвратила силы княгине. Мало-помалу она начала прохаживаться около хижины. Скорбь и болезнь изменили вид её; глаза потускли от слёз, тихая тоска согнала улыбку с её уст. Княгиня находила утешение только в благочестивых молитвах.

Она решила оставить хижину и взять в ближнем селении проводника до Нарвы. Эстонка возвратила ей несколько камней из её ожерелья, другие же былиброшены детьми; но ещё оставалось много денег, и эстонка отдала их вместе с шубою. Жалея расстаться с княгиней, она не смела её останавливать, да притом и сама, боясь оставаться в лесу, собиралась перейти с детьми в соседнее селение.

Княгиня простилась с нею и, расспросив о дороге, пошла тропинкою, ведущею к Чудскому озеру, откуда лежал прямой путь к Нарве. Там княгиня могла ожидать известия о своём супруге, но с ужасом помышляла, как горестно будет их свидание, если судьба соединит их.

Она шла с пожилой эстонской крестьянкой. Нейпус светил ровным зеркалом в необозримую даль; ярко горела огненная полоса на краю небосклона и ещё долго мерцала по захождении солнца; роса ложилась на поля, на кочках вспыхивали летучие огоньки. Наконец, появился месяц и озарил всё пространство; ночь была так ясна, что по сторонам песчаной дороги отражались тени кустарников. Скоро показались рыбацьи хижины на берегу озера; здесь Гликерия и спутница её провели ночь и на заре пошли дальше.

Княгиня уже не боялась быть узнанной; страдания не оставили в её сердце места для боязни. Несколько всадников встретились ей на пути, лицо одного из них показалось знакомо; это был боярский служитель, добрый Непея. Он не узнал княгиню Курбскую. Заметив, что он отстал от товарищей, она назвала его по имени. Непея с удивлением посмотрел на неё, соскочил с коня и простодушно приветствовал княгиню. Он проживал у окольного Головина в Нарве и направлялся в Псково-Печерский монастырь. Встретив княгиню, он вызвался проводить её до Нарвы.

Наградив за труд свою спутницу, княгиня пересела в телегу, нанятую Непеей; он сам повёз её. Дорогою она спросила его: нет ли вести о князе Андрее Михайловиче?

— Слышно, — сказал он, — что князь был во Владимирце ливонском, а оттуда поехал к польскому королю; о тебе же, боярыня, были слухи, что ты утонула, а после стали говорить, что тебя загубили с сыном. Да где же он, свет мой ясный, Юрий Андреевич? Бывало, я на руках его нянчил; аль не стало его в живых, что ты горько плачешь? Не взыщи на простоту мою, государыня-матушка, не думал тебя словом опечалить. Жизнь бы отдал, боярыня, чтобы видеть тебя весёлою, как была ты прежде, когда жив был господин мой, Алексей Фёдорович Адашев.

Так говорил Непея княгине и, услышав об её участи, горевал вместе с нею.

— Не привёл Бог меня, матушка, оборонить тебя от лиходеев твоих! Со мной ты не боялась бы их; не видал бы я тебя! Попытался бы кто поразведать со мной силы своей, так сорвал бы я с плеч его буйную голову, разметал бы всю силу нечистую; ведь ты слышала, государыня, что я поймал немецкого славного витязя, из наибольших первого; вот уж можно сказать, что был храбрец! А жаль мне, что положил он в Москве свою голову, под мечом царя Грозного. Что делать, горе да беда над кем не живут! А и в горе люди песни поют; вот и здесь, на пригорке, бедные эстонки поют и пляшут! Кстати, остановимся коня покормить...

Прекрасен был вечер, небо на западе представлялось светло-бирюзовым морем, в котором почти неприметно несло лёгким ветерком несколько золотых облачков. Молодые эстонки, провожая праздник, собрались на цветущем холмике вокруг ветвистого вяза. Цветные ленты, опущенные из заплетённых кос, развевались на плечах их; бисерные узоры и радужная бахрома украшали передники; держась одна за другую, девушки составляли цепь, в середине которой играл на кобозе, приплясывая, весёлый эстонец, а молодая крестьянка пела:

— Юрий, Юрий, не пора ль мне прийти?
— Ах, любезная, нет, погоди,
Для чего вчера не пришла?
Ты меня одного бы нашла;
Теперь пятеро нас собралось,
Лучше утром с зарей приходи;

Приходи же, я буду один;
Но роса падёт, легче ступай,
Поскорей по траве пробегай!..
— Ах, тогда время в поле идти,
Наше стадо мне надо пасти,
Нет, уж лучше приду той порой,
Когда змеи и жужелиц рой
Призатихнут в траве луговой.

Эстонки веселились, но упомянутое ими имя возбуждало горестные мысли в княгине.

Запад алел при закате солнца, которое, как багряный щит, величественно погружалось в тихие воды необозримого Чудского озера; песни умолкли, крестьянки разошлись, а княгиня Курбская приближалась уже к Нарве.

Нарвский окольничий, Пётр Головин, был из числа тех праводушных бояр, верных сынов отечества, которыми издревле хвалилась Россия, и особенно в то время, когда добродетели Адашева и Сильвестра возбуждали соревнование в сановниках, окружавших царя. И после падения Адашева, когда любимцы отдалили от трона старых бояр, ещё во многих городах русских оставались воеводы, которых народ называл добрыми боярами, и новые царедворцы, называвшиеся приверженцами Адашевых. Головин давно был в приязни с Курбским и не изменил дружбе: он встретил княгиню с искренним радушием, а в городе разнёсся слух, что к окольничему приехала бедная родственница жены его.

Княгиня провела несколько месяцев в семействе друзей; предаваясь задумчивости, она желала только уединения, но утешение дружбы доступно и огорчённому сердцу. Ожидая удобного времени для отплытия из Нарвы, она тревожилась, не имея никакого известия от супруга; но дошёл слух, что князь жил то в Вильне, то в Ковне, а иногда и в Варшаве, и с почестию принят королём Сигизмундом Августом. Самое местопребывание князя было ей неизвестно наверное, и она оставалась, не зная, куда же ей отправиться.

Вести из Москвы были ужасны; гнев Иоанна страшил всех, кого подозревали в сношениях с Курбским, и княгиня боялась за Головина, страшилась, чтобы не открыли её пребывания в Нарве. Разосланные лазутчики наблюдали за поступками и словами воевод и бояр.

Наконец, дошли в Нарву неожиданные слухи из Литвы; княгиня не хотела им верить, но странные вести подтверждались: князь Курбский, возведённый в достоинство первостепенного польского вельможи, готов был вступить в брачный союз с сестрой Радзивилла, вдовою знаменитого князя Дубровицкого. Молва уже называла их супругами.

Горестная и оскорблённая Гликерия не думала, чтобы князь мог так скоро изгнать из памяти её и сына; новый брак казался ей поруганием супружеской верности; но недолговременно было негодование кроткой души; княгиня размыслила, что это могло случиться по неверному слуху о её участи и не сомневалась, что князь был обманут рассказами о мнимой гибели её в замке Тонненберга, тем более, что после этого около года она прожила в эстонской хижине. Княгиня простила ему неумышленную измену, но ещё новая скорбь прибавилась к её бедствию: она узнала, что Курбский идёт с поляками на Россию.

Дни и ночи несчастная проводила в молитве, чтоб умиловить небо за супруга; присутствие друзей было ей в тягость; она не хотела удручать их своею тоскою, не могла участвовать в их беседе; всё призывало её в святое уединение от мятежного мира; все мысли её обратились к пристани спокойствия для гонимых бедствием; сердце её избрало Богородицкую Тихвинскую обитель; там желала она провести остаток дней своих и, заключись в тесной келье, посвятить себя Богу.

Головин одобрил её намерения. Княгиня спешила отправиться в путь и простилась с друзьями. Непея сопровождал её.

Дорога лежала по берегу реки Наровы; за несколько вёрст от города река, свергаясь с крутых утёсов, кипела водопадом; великолепное зрелище представлялось княгине: быстрые воды на покате, сливаясь стеною, падали с рёвом на камни, разбиваясь в пену и отражая радугами солнечные лучи в тонком облаке брызг. Далеко разносился грохот водопада! Птицы не смели пролетать над ними и, оглушаемые падением воды, падали в кипящую бездну.

Беспрерывное стремление воды, неумолкающий шум водопада напоминали ей о быстроте времени, сброшенные порывом ветра в волны Наровы, деревья стремительно увлекались в её жерло и исчезали в кипящей пучине. Так слабые смертные несутся по волнам жизни с течением времени, падают в бездну вечности, появляются минутно и исчезают в неизвестности. «Где вы, — думала княгиня, — столь драгоценные мне, ещё недавние спутники моей жизни, родные мои? Навек увлечены вы от любви моей, но вы живы для Бога! Он соединит меня с вами».

С этими мыслями княгиня продолжала путь к Луге и оттуда в Новгород, где наместник, Дмитрий Андреевич Булгаков, мог доставить ей надёжный способ к безопасному достижению обители Тихвинской, где сестра его была игуменью.

ГЛАВА V

Грамота

Мы оставили князя Курбского на пути к Вольмару, где у городских ворот ждал его слуга с двумя конями. Быстро понёсся князь под мраком ночи по знакомой дороге, не отдыхая до самой горы Удерн. Здесь он остановился в роще до рассвета; слуга стерёг коней у источника. Дерпт остался далеко; гора Удерн находилась несколько в стороне от проезжей дороги, но Курбский, ожидая погони, отдыхал недолго. Прежде, нежели блеснуло солнце, он сел на коня, и восходящее светило дня уже застало его в лесу.

За лесом путь его преграждала река, стремившая тёмные воды между песчаных холмов; она носила название Черной. Суеверное предание разносило молву, что в ней потонул чёрный витязь и что тень его иногда являлась на берегах пугливым путникам. Узкий, сплочённый из брёвен плот привязан был к дереву у берега реки; моста для перехода не было, и перевозчик ещё не появлялся. Он спокойно спал на прибрежном холме, в ветхой избушке. Лучи солнца, блеснув в "отверстие хижины, разбудили его; он потянулся, открыл глаза и закричал от испуга: его плот быстро нёсся к противоположному берегу. Человек в чёрной одежде стоял возле двух чёрных коней на плоту, который, казалось, двигался сам собою; за конями не видно было слуги, управявшего плотом. Воображению эстонца представлялось такое сходство незнакомца с чёрным витязем, что он несколько не сомневался в истине предания и, зажмурив глаза, бросился на пол, дрожа от страха.

По песчаным возвышениям, на которых местами росли тёмные сосны и можжевельник, Курбский продолжал путь к Вольмару; по обеим сторонам видны были болота, поросшие мхом. Открывалась уже долина пред Вольмаром, по которой извивается извилинами светлая Аа. Вдалеке белели ряды палаток польского войска, составлявшего сторожевую цепь; последние лучи солнца освещали долину; вечерний ветерок веял прохладой от струй реки, которая, уклонясь влево, возвращалась быстрым изворотом в долину Вольмарскую, расстилалась полукругом и, снова изменяя своенравное течение, стремилась по лугам в противоположную сторону. Курбский, примечая утомление своего коня, сошёл с него, сел на прибрежный камень, погладил по спине изнурённого аргамака, велел слуге провести коней по траве и утолить их жажду; а сам, сев на камень, обозревал окрестности. Верхи вольмарских зданий виднелись из отдалённых садов, отражая блеск огнистой зари; восток туманился в отдалении влажными парами, и синий сумрак сливался с розовым сиянием запада. Курбский услышал лёгкий шум, стая птиц пролетала пред ним, высоко поднявшись над рекою. Курбский следил за их полётом; они стремились к Нарве и вскоре скрылись.

Он увидел двух литовских всадников, с двумя широкими посеребрёнными крыльями, прикреплёнными к панцирю. Князь сказал им, что желает видеться с верховным вождём литовского стана.

Литовцы, удивлённые видом и осанкою Курбского, отвечали, что готовы проводить его в шатёр воеводы Станислава Паца, начальствовавшего в литовском стане, под Вольмаром.

— Не воеводу Паца, — сказал Курбский, — я должен видеть королевского наместника в Ливонии, князя Радзивилла. Мне известно, что он в Вольмаре.

— Великого маршала литовского, князя Радзивилла? — сказал один из литовцев, посмотрев с удивлением на Курбского. — Много ступеней до наияснейшего князя: начальник наш, Станислав Пац, а есть ещё воевода Зебржидовский; а может идти и выше, к старосте самогитскому Яну Ходкевичу; сам

светлейший князь Радзивилл не в стане, он в городском замке.

— Я сказал, что мне должно говорить с самим королевским наместником, ваше дело — указать мне дорогу к нему.

Литовцы отрядили несколько воинов для сопровождения незнакомца в Вольмар, но, желая показать принятые ими предосторожности, побрякивали своими саблями.

Князь Радзивилл, почётнейший из вельмож при польском дворе, гордый богатством и властью, уважаемый королём Сигизмундом Августом за личную храбрость, не раз встречался с князем Курбским на поле битвы и не мог забыть лицо этого военачальника. Когда известили его о русском, желающем видеть его, Радзивилл велел пустить его, но при взгляде на него поднялся с кресел, забыв свою важность и, казалось, не верил внезапному появлению Курбского.

— Если не обманываюсь, — сказал Радзивилл, — я вижу...

— ...изгнанника русской земли, — прервал его Курбский, — пришедшего просить убежища от великодушия короля Сигизмунда Августа...

Лицо Радзивилла прояснилось радостью, хотя в глазах его ещё заметна была недоверчивость, при виде столь знаменитого человека, прибегающего к покровительству противников. Но он скоро уверился в том, чему желал верить, и ожидал уже видеть ослабление сил московского царя, надеясь, что за Курбским многие перейдут в пределы Польши.

Оставшись наедине с Курбским, Радзивилл обнадежил его именем короля, что он будет принят согласно его сану и доблестям.

— Сигизмунд Август, — сказал он, — умеет чтить мужество в противниках и будет хвалиться, приобретя преданность героя, останавливавшего успехи его оружия.

Предложив Курбскому остаться в Вольмарском замке, торжествующий Радзивилл спешил отправить гонца к королю с неожиданной вестью и угадал удовольствие Сигизмунда Августа. Король, находившийся в Вильне, приглашал к себе Курбского занять первостепенное место между его вельможами.

Свершились ожидания Курбского. Самолюбие его было удовлетворено, и все мысли его обратились к возможности ужаснуть Иоанна. Этот порыв возмущённых чувств заглушил голос упрека в душе его, и сама скорбь об оставленном семействе уступила место голосу мести, болезни гордой души его. Готовясь к свиданию с королём, Курбский обдумывал предприятия мести, к собственному своему позору бесславия имя своё изменой.

В то же время он с нетерпением ожидал вести о прибытии своего семейства в Нарву, но, к удивлению его, Шибанов, успевший пробраться из Нарвы окольными дорогами в Вольмар, известил его, что, остановленный в пути, потерял из виду княгиню — и напрасно несколько дней ожидал её в Нарве. Князь успокаивал себя мыслью, что Тонненберг, известный ему хитростью и осторожностью, где-нибудь укрывает её в надёжном месте до первой возможности прибыть безопаснее в Нарву, тогда как, по слухам из Дерпта, русские воеводы, не находя городских ключей, вынуждены были разломать городские ворота и послали погоню.

Желал ли князь оправдать пред Иоанном или пред самим собою своё преступление, но, не показывая робости беглеца, решил вызвать самого Иоанна к ответу пред Россией и пред Польшею, пред современниками и потомством. Он начал писать к нему грамоту, объясняя причину своего бегства. Перо быстро бежало в дрожащей руке его по длинному свитку, но в смятении души Курбский не находил ни мыслей, ни слов к выражению всего, что желал сказать; подробности снижали силу письма, а негодование стремилось выразиться в каждом слове. Курбский разорвал свиток, отбросил его и начертал на другом,

строки, которыми был довольнее; чувствовал слёзы, вырывающиеся из глаз на эту грамоту, не хотел стереть их и оставил свидетелями скорби своей.

«Царю от Бога прославленному, — писал он, — ещё более воссиявшему благочестием, ныне же омрачённому за грехи наши. Да вразумится прокажённый совестью, какой нет примера и среди безбожных народов! Не буду исчислять всех дел твоих, но от скорби сердца, гонимый тобой, скажу в кратких словах. О, царь! За что погубил ты сильных в Израиле? Воевод, тебе Богом данных, предал смертям? Пролитая святую, победоносную кровь их в самих храмах Господних, обгазя кровью мучеников порог церковный, воздвиг гонение на преданных тебе, полагающих за тебя душу свою? Не праведно обвинял ты в изменах и чародействе, усиливаясь свет прелагать во тьму и называть сладкое горьким. Чем прогневали тебя христианские представители? Храбростью их покорены тебе царства, где праотцы наши были рабами. Счастьем и разумом вождей твоих даны тебе сильные города германские; за это ли нас губишь? Ужели ты думаешь быть бессмертным или, прельщённый в небывалую ересь, не думаешь предстать нелицемерному Судье на страшном суде Его? Он Спаситель мой, сидящий на престоле херувимском, судья между мною и тобою. Какого зла не претерпел я? Не могу исчислить всех бед и напастей! Ещё душа моя объята горем и рука трепещет от скорби. Всего лишён я и из земли Божией изгнан тобою. Не упросил тебя покорностью, не умолил слезами, не преклонил к милости прошением святителей церкви; ты воздал мне злом за добро, за любовь непримиримую ненавистью. Кровь моя, как вода пролитая на брани, вопиет на тебя к Богу. Да будет Бог-сердцеведец обличитель мой; я рассмотрел себя в делах, мыслях и совести и не вижу себя ни в чём пред тобою виновным».

Исчислив заслуги свои, Курбский писал:

«Хотел говорить я пространнее о делах моих, совершенных на славу твою, силою Христа моего, но уже не хочу; пусть лучше знает Бог, нежели человек; Господь всем воздатель. Знай же, о царь, что уже не узришь в мире лица моего до дня преславного пришествия Христа моего, но до конца моего буду вопиать на тебя со слезами Богу и Матери Владыки херувимского, надежде моей и защитнице и всем святым, избранникам Божиим и государю праотцу моему, князю Феодору Ростиславичу. Тело его нетленное благоухает, источая от гроба струи исцеления; ты знаешь об этом! Не думай о нас как о погибших, избивенных тобою, невинно заточенных и изгнанных. Не радуйся, хвалясь бедствием их, как победою. Избивенные тобою, предстоя у престола Господня, просят отмщения; заточенные и изгнанные тобою непрестанно вопиют к Богу день и ночь. А ты хвалишься в гордости, при этой временной и скоротекущей жизни, вымышляя мучения на христиан, твоих подданных, предавая поруганию образ ангельский с ласкателями, товарищами пиров твоих, губителями души твоей и тела. Это письмо моё, до сих строк слезами моими смоченное, велю и в гроб с собой положить, ожидая идти с тобою на суд моего Бога Спасителя. Аминь.

Писано в Вольмаре, граде государя моего Августа Сигизмунда короля, с надеждой утешения в моей скорби его государевой, а более Божией милостью».

Оставив у себя список с этой грамоты, Курбский запечатал свиток перстнем. Но кому вручить грамоту для доставления Иоанну? Курбский позвал Шибанова.

— Здесь моё оправдание, — сказал он ему. — Не успокоюсь, если не прочтёт царь этой грамоты, но кто осмелится передать её Грозному? Могут утаить или истребить, а я хочу, чтобы она достигла в Москву, прямо в руки Иоанна.

— Есть боярин, на кого надёжно положиться тебе, — отвечал Шибанов.

— Если ты знаешь, скажи, кто возьмёт на себя труд и страх подать царю мою грамоту?

— Я, — отвечал Шибанов.

— Ты, Василий? — спросил с удивлением Курбский.

— Я, твой верный слуга, — повторил Шибанов решительно.

— И ты не страшишься?

— Готов умереть за тебя, боярин, — отвечал Шибанов, — да истосковался по Москве; хоть бы раз ещё взглянуть на святые соборы! Всё постыло в чужой, неправославной земле.

— И здесь земля христианская, православных не гонят, худо тебе не будет.

— Ах, князь-господин, остался у меня в Москве отец дряхлый, а пред выездом из Юрьева слышал я, что старик мой ослеп, а всё от слёз по Данииле Фёдоровиче Адашеве, с которым он был в крымских походах. Некому будет закрыть глаза его, некого будет и благословить ему; на душе моей ляжет тяжкий грех, когда я останусь здесь. Ты, боярин, в безопасности, слуг у тебя будет много, отпусти Шибанова на святую Русь; поживя в Москве, я возвращусь к тебе.

— Жаль твоего старика. Я готов отпустить тебя, — сказал Курбский, — но ты слуга мой: тебя погубят!

— Погубят, не моя вина, — отвечал Шибанов, — смерти не боюсь; двух не будет, одной не миновать, а грешно мне покинуть слепого отца на старости; боюсь гнева Божьего!

— Жаль мне расставаться с тобой, но, когда ты решился ехать в Москву, отвези мою грамоту. Если тебя остановят в пути, скажи, что ты послан к самому царю, а когда приедешь в Москву, подай грамоту в руки Иоанну. Может быть, совесть пробудится в нём, правда устыдит его, да и бесславно царю мстить слуге за господина. И сам же он говорил, что послов не секут, не рубят.

— Поверь мне грамоту, — сказал Шибанов, — я подам её самому государю.

— А если тебя не помилуют?

— Грозен царь, да милостив Бог, на земле смерть, а в небе спасенье. За правду бояться нечего, а потерпеть — честно!

— Не удерживаю тебя, мой верный Шибанов, — сказал Курбский, обняв его, — снаряжайся в дорогу.

— Благодарю тебя князь, мой отец. Что же мне прикажешь на путь?

Курбский поручил проведать о жене своей и сыне, достигли ли они до Нарвы, и переслать весть из Новгорода чрез купца иноземного.

В тот же день верный слуга приготовился к отъезду, пришёл взять грамоту и проститься с боярином. Приняв от Курбского грамоту, Шибанов перекрестился, поцеловал руку его и поклонился в ноги.

Курбский, как бы предчувствуя, что не увидит его более, прижал его к сердцу и, плачущий, опустил голову на плечо его. Исчезло расстояние между воеводой и слугой. Казалось, два друга прощались.

— Василий, ты едешь на вольную смерть?

— Богу живём, Богу и умираем; позволь сослужить мне последнюю службу! — отвечал Шибанов и, поклонясь ещё раз своему господину, отёр слёзы и сел на коня.

ГЛАВА VI

Верность

В раздумье ехал Шибанов по берегу реки Аа; мысли одна другою сменялись; на сердце его было тяжело, а пред глазами далеко раскидывались поля и цепью тянулись холмы. Заря окинула розовою завесою небо, и рощи, огибая извороты реки, вдали покрывались туманом, но ещё сверкала в излучинах светлая Аа, и всё было тихо, всё дышало весной.

Переодетый в одежду купца, Шибанов доехал до окрестности Нарвы, осторожно разведывая о Тонненберге, и узнал от встретившихся эстонцев, что Тонненберг погиб во время наводнения; о княгине с сыном говорили то же самое. Не зная ничего намеренное, по обыкновению, молва прибавлялась к молве, увеличивая ужасы тем, чего не было. В Нарве о княгине, жившей тогда в эстонской хижине, не было никаких вестей, и Шибанов, поверив слухам, с убитым горестью сердцем повернул на дорогу к Москве.

Из Новгорода верный слуга через иноземного купца послал Курбскому весть о судьбе семейства его.

По большой московской дороге, на берегу Тверды, собралось множество торжковских горожан. Ярко пылали разложенные костры, около них кружились хороводы; голосистые песни разливались из конца в конец улицы; блеск огня рассыпался искрами на газетных повязках сельских девушек, одетых в богатые цветные сарафаны. С хохотом смотрели они на перескакивающих чрез костры смельчаков.

У ворот одного дома сидели на завалинке два торжковских купца, разговаривая о торговых делах.

— Ну что, друг, — спросил один, — купили ли у тебя коня?

— Положили на слове, — отвечал скороговоркою другой, поглаживая усы и побряхтывая, — завтра дело сладим. Не приложив тавро, коня продавать нельзя.

— Правда твоя! Мичура накликал было беду, коня купил, а к пятнальщику не привёл; недельщик привязался; Мичура кошелём поплатился; недельщик отпустил душу на покаяние; а послушим — и сам попал в беду; проведаль дьяк и взыскал с недельщика самосуд.

— Что дело, то дело; за самосуд заплатишься; а зачастую дьяки норовят и напраслину, благо выгода за тяжбу с рубля никак по алтыну.

— А будто худо? Зато меньше тяжб; не всякий захочет судиться.

— И поневоле захочешь, когда обижают; вот меня ни за что ни про что обидел боярский сын Щетина — по шерсти ему, собаке, имя дано — как не судиться! Хорошо бывало прежде, как вызывали на бой; дед мой говаривал: «Меня обидеть не смей, клевету не взведи, спрошу присяги и суда Божия, поля и единоборства! Хоть бы игумен то был — сам на поле нейдёшь, так бойца выставляй». А дядя-то был такой удалец, что приступа к нему не было.

— Где на Щетину управу взять? Слышь ты, он со всеми дьяками в ладу, сколько на него крестьян плачутся; житьё хуже холопов! То и дело, что ждут Юрьева дня, как бы перебежать поскорей к другому, и то не легко, дело бедное, плати пожилое за двор, за повоз, по алтыну с двора, да чтобы хлеб снять с поля, ещё два алтына.

— Угодил Богу, кто не давал Щетине на себя кабалу, а то за полтретью рубля [\[21\]](#) сгубить всю жизнь.

— Закабалить бы ему моего Петра, — сказал с усмешкою Гур. — Отдают же отцы детей в кабалу, а от

Петра мне не ждать добра; глазают по улицам, поёт с молодыми парнями да пляшет в хороводах; вот и теперь шатуном бродит, благо Иванов вечер.

— Дело молодое, теперь-то и погулять. Наживёт деньгу, с умом да с трудом, состроит себе и хоромы.

— К слову о хоромаш: как летось был я в Москве, видел, что бояре стали строить каменные хоромы, слышь ты, как царские терема; все норовят по-новому, а каково-то будет в каменных палатах жить?

— Ну, оно так, в деревянных теплее, да ныне много и на свят Руси чужеземной мудрости! Все фрязины, немцы! От них несдобровать; навезли всякого снадобья, людей портить. До того дошло, что батюшка Грозный царь, как буря, всё ломит; всех чародеев без милости губит!

— Туда и дорога! Говорят — все адашевцы; и Курбский-то был за них, да видя, что худо, бежал в Литву.

— Полно, так ли, соседушка? Спознается ли он с нечистою силою? Ведь без него бы Казани не взять.

— А разве он даром храбривал? Нет, брат, сила в нём не человечья. В проезд свой из Москвы он у меня останавливался. Я и слугу его, Василья Шибанова, знаю.

— Ахти, — сказал Гур, — вот идёт покупщик мой.

— Что же, отвёл ли покупного коня заклеить? — спросил, подойдя к Гуру, человек небольшого роста с окладистой бородою, в длиннополом синем суконном кафтане, опоясанный зелёным шёлковым кушаком и в остроконечной красной шапке, опушённой чёрной овчиной. — Деньги готовы, а мне надо ехать.

— Раньше утра нельзя, свет мой; день-то нынче праздничный, пятнальщик загулял.

— Не стал бы я ждать, если бы добрый мой конь ноги не повредил.

— Жаль такого коня, — сказал Гур.

— Как не жаль! Бывало от Москвы до Тулы сто восемьдесят вёрст без перемены проскачет. Отгулял свои ноженьки! Нечего делать; поглазеть хоть на хоровод.

Сказав это, он отошёл от них.

— Послушай, сосед, — сказал Варлам, который стоял в стороне и всматривался в боярского служителя, — остерегись!

— А что такое? — спросил тихо Гур.

— Да это слуга Курбского; надо дьяку заявить.

— Не ошибся ли ты?

— Уж я тебе говорю, это Шибанов; смотри, не упускай; худо будет, велено слуг Курбского ловить; я тебе говорю, что узнал его, хоть он и отрастил себе волосы.

— Что же нам делать? — спросил Гур.

— Да крикнуть нашим молодцам, чтоб схватили его.

— Дело, а то узнают, что купил здесь коня, так и нам несдобровать.

— Держи, держи! — закричал Варлам, и встревоженный народ хлынул толпой к ним.

— Кого, за что? — спрашивали Гура и Варлама.

— Слугу Курбского, — сказал Варлам, указывая на Шибанова. — Схватите его, ведите его к

недельщику.

— Что вы, православные? — сказал Шибанов. — Вы видите, что я не бегу, а к недельщику и сам пойду; я человек проезжий, боярский слуга, и еду не к Курбскому, а в Москву.

— Что его слушать, ведите его к дьяку! — закричал Варлам, и Шибанова окружили и повели в дом недельщика.

Недельщик стал расспрашивать, и Шибанов сказал ему, что едет из Новгорода в Москву с грамотою к царю, а кто послал его, о том царь знает.

— Держите его до утра, — сказал недельщик, — и представьте завтра в суд к дьяку.

На другой день утром Шибанов стоял в приказной избе. На скамье, за дубовым столом, под иконою, сидел дьяк и возле него недельщик; пред ними стояли горожане, пришедшие в суд по делам.

Дьяк велел принять от одного половину бирки и приискать другую в ящике. Биркой называлась палочка в палец толщиною с зарубленными на ней метками; расколов её вдоль, оставляли одну половину у приёмщика, а другую — у отдатчика. Оказалось, что на палочке Рахманьки Сурвоцкого, когда приложили другую половинку бирки, намечены были крест, три косые черты и две прямые. Это означало, что принято от него в суд одно сто, три десятка и две пары беличьих шкур вместо денег, а Рахманько приговорён был к заплате в казну по суду.

После него подошёл боярский сын Щетина, человек угрюмого вида, и высыпал из мешка деньги.

— Что это? — спросил дьяк, нахмурясь.

— Грех надо мной, — отвечал Щетина, — зашиб своего холопа, а тот и не встал. Вот, — продолжал он, высыпав из мешка деньги, — пеня за убитого.

— Ещё, — сказал недельщик, — с него же велено взыскать купцу Дуброве тридцать белок.

— Принимай, — сказал Щетина, взяв от слуги узел с беличьими шкурками и подавая недельщику. — Теперь я отплатился; не дадите на меня бессудную грамоту.

— Хорошо, — сказал дьяк, — перед судом ты оправдан, да перед Богом-то виноват.

Щетина махнул рукою и вышел.

За ним позвали Шибанова. На все вопросы он отвечал только, что везёт грамоту к царю и никому не может отдать её, как в государевы руки.

Его не смели задерживать, но дьяк счёл за нужное отправить с ним двух стрельцов для надзора до самой Москвы.

Уже пробило пятнадцать часов дня на Фроловской башне, когда Шибанов приблизился к Москве. Между пространными садами и огородами шумели мельницы ветряными крыльями, далее дымились кузницы, а там белели московские стены, и тысячи церквей пестрели разноцветными главами и блистали святыми крестами.

— Привёл Бог увидеть! — сказал Шибанов, перекрестясь на златоглавые соборы, и прослезился.

Скоро стемнело; закинули рогатки по улицам; стража останавливала идущих, считая шестнадцатый час от восхождения солнца.

Недолго стучались стрельцы в тесовые ворота большого дома думного дьяка, Василия Щелкалова. Хозяин велел впустить их. Неутомимый в трудах, он и ещё один из московских сановников сидели за свитками, читая грамоты и скрепляя повеления боярской думы.

Стрельцы подали ему донесение торжковского дьяка, и Щелкалов с удивлением посмотрел на Шибанова, покачал головой и сказал ему:

— Зачем пришёл ты в Москву? Знаешь ли, что ждёт тебя здесь? В Москве нет дома Курбских, не признаешь и места, где был он; а ты осмелился идти с грамотой беглеца к государю?

— Он господин мой, — отвечал Шибанов, — и велел мне вручить государю своё писание; я повинуюсь, как Бог велел; хочу быть верным рабом.

— Раба неверного, — перебил его Щелкалов. — Боярин твой бежал к врагам русской земли, а ты пришёл от него в святую Русь!

— Не мне судить его, а Богу, — отвечал Шибанов. — Если бы я отступился от него в бедствии, Бог бы от меня отступился.

— Дело кончено, — сказал Щелкалов, — с чем пришёл, то и подай, примет ли царь от тебя грамоту или нет — не моё дело; завтра, пред государевым выходом в собор, будь у красного крыльца. Я доложу о тебе государю.

— Дозволь мне, боярин, повидаться со стариком, отцом моим.

— Не худо, — сказал Щелкалов, — да и простись с ним! — Ступай. — С этими словами он отпустил Шибанова.

На другой день, едва рассвело, Шибанов встал и, открыв ставни, заграждавшие окна, славословил Бога псалмами; потом поклонился в ноги спящему отцу своему и поцеловал его. Слепой старец проснулся.

— Ты уже встал, Василий? — спросил старик. — Мало отдохнул ты с дороги!

— Благослови меня, батюшка, снова на путь, — сказал Шибанов.

Куда же? — спросил старик. — И петухи ещё не пели.

— Нет, светло, батюшка; иду поклониться Успенскому собору.

— Ещё не скоро заблаговестят, — сказал отец. — Скоро ль воротишься ты?

— Хлопот много, — сказал Шибанов, — но Бог приведёт, скоро будем вместе.

— Управи Господи путь твой, родной мой, — сказал старик, — не могу я на тебя наглядеться!

Выйдя из ворот, Шибанов пошёл по улице. Он услышал, что кто-то назвал его по имени, оглянулся и увидел на скамье ремесленника, работающего под навесом, на котором висела на крючках разноцветная сафьянная обувь. Шибанов узнал своего знакомого Илью и сказал:

— Бог в помощь!

— Спасибо, — отвечал Илья. — Не знал я, что ты в Москве, забреди хлеба-соли отведать: для старого приятеля найдётся и каравай, и мёду ковш. Добро пожаловать!

— Не время, — сказал Шибанов, — прости, до свидания!

С горестию видел добрый слуга пустое место, обнесённое забором; между размётанными брёвнами проросла трава; здесь стоял прежде дом князя Курбского, а теперь ничего не видно было, кроме разрушения. Скоро Шибанов дошёл до кремлёвской стены и поворотил на Красную площадь. Сердце звало его к молитве, и он вошёл в Успенский собор.

Чрез некоторое время, держа в руке грамоту, Шибанов встал перед красным крыльцом; народ уже показывался на площади.

День был воскресный. Приближался час государева выхода. Скоро заметили Шибанова черкесские

стражи и хотели отогнать от крыльца. На шум подошёл боярин Алексей Басманов.

— Отойди, старик, от крыльца, — закричал он, — царь скоро выйдет.

— Великий боярин, я должен подать государю грамоту, — отвечал Шибанов.

— Бойся утруждать царя, подай в приказ.

— Мне велено подать в царские руки его.

— О чём писано в грамоте?

— Богу известно.

— От кого эта грамота?

— Государю ведомо.

Боярин гневно посмотрел на Шибанова, но оставил его в покое.

Между тем раздался уже благовест; стольники и стряпчие показались на красном крыльце. Один из них нёс басмановский дар — жезл с острым наконечником, другой — государеву псалтирь рукописную; в народе слышался почтительный шёпот: «Царь шествует!» И скоро появился на красном крыльце Иоанн, сопровождаемый своими любимцами, рындами и черкесами. Думный дьяк уже известил его о челобитчике. Иоанн искал глазами Шибанова, который, приблизясь, поклонился ему до земли.

— С чем ты? — спросил его царь.

— С грамотою господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича Курбского, — отвечал Шибанов.

Окружающие царя изумились. Иоанн с гневным видом вырвал жезл из рук стольника и, ударив острым наконечником в ногу Шибанова, пригвоздил её к земле. Дав знак взять от него грамоту, он повелел Щелкалову читать её, а сам, опершись на жезл, слушал в грозном молчании.

— Вот как беглец и изменник наш дерзает писать к нам, своему законному государю! — воскликнул царь после того, как прочитали грамоту Курбского.

Лицо Иоанна почернело от гнева, и глаза его помутились свирепством.

— Скажи, — кричал он Шибанову, — кто соумышленники моего изменника, твоего господина, и где скрыл он свою жену и сына?

— Ничего не могу сказать об этом тебе, государь, но что повелено мне, то я исполнил.

— Отвечай или умрёшь с муками, — сказал Иоанн.

— Твоя надо мною царская воля явить гнев или милосердие, — отвечал неустрашимый Шибанов; между тем кровь текла струёю из ноги его.

— Исторгните у него признание! — воскликнул Иоанн, отдернув жезл.

Шибанова повели в застенки, куда принесли орудия пытки. Василий перекрестился и с твёрдостью праведника отдался во власть мучителей. Тело его терзали, но душа его, обращённая к Богу, скрепилась силой веры. Под ударами он благословлял имя Божие. Не исторгли никаких жалоб из уст, не слышали никакого ропота. Тщетно думали узнать от него тайные намерения и связи Курбского.

— Господь знает сердце его, — отвечал Шибанов.

— Кляни изменника, своего господина, — кричали ему.

— Помилуй Боже моего отца боярина, — говорил страдалец. — Помяни в изгнании моего

благодетеля!

Тщетно силою угроз и мучений принуждали верного слугу объявить убежище княгини Курбской и сына её. Шибанов упал, обagrённый кровью, но молчал и молился. Не ослабевали удары, не ослабевала и молитва его; простёртый на земле, он уже чувствовал приближение смерти.

— Прими, Господи, душу мою! — сказал он, сисясь ещё раз возложить на себя крестное знамение.
— Помилуй рабов твоих, князя Андрея и царя Иоанна, — тихо промолвил он и упал в руки мучителей.

ГЛАВА VII

Брак из честолюбия

С беспокойством ждал Курбский вести о семействе своём. Между тем польский король, из вражды к Иоанну, почтил русского вождя самым благосклонным приёмом в Вильне. Курбский вдруг увидел себя на блистательной среде, и чем более ласковый король, пламенный читатель героизма и страстный любитель просвещения, беседовал с князем и узнавал его, тем очевиднее было благоволение его к Курбскому; многие из польских магнатов не завидовали, а радовались возвышению славного пришельца, в котором ожидали видеть защитника Польши.

Но далеко было утешение от сердца Курбского. От Головина не было слуха о прибытии княгини в Нарву, а пришла ужасная весть, что она укрывалась в Тонненберговом замке и погибла с сыном во время наводнения, убегая от преследования грабителей. Обманутый мнимым известием, несчастный отец семейства уверился в бедственной потере, узнав, что сам Тонненберг не избег гибели. По рассказам других, княгиня исчезла с сыном в лесу, где найден убитым сопровождавший её русский слуга. Письмо от окольного Головина из Нарвы довершило горесть Курбского. Он знал, что о Гликерии и Юрии не было слуха в Нарве, и в то время, когда княгиня после потери сына страдала в эстонской хижине, Курбский не сомневался, что у него уже нет семейства, что он один на земле.

Король, желая развлечь уныние князя, приглашал его в Варшаву, куда сам отправлялся на несколько недель. Курбский не мог отказать королю и, отягчённый ударами судьбы, хотел бы забыться.

Шумны и блистательны были варшавские праздники, особенно в доме Радзивилла. Польские красавицы там искали побед; Курбский был предметом общего внимания, удивления и разговоров. Это замечала сестра Радзивилла, княгиня Елена Дубровицкая, вдова ещё в цвете лет, пылкая, мечтательная, славлюбивая. В чертах её красота соединялась с гордостью; высокий рост придавал ей особенную величавость, глаза её блистали огнём души, белизна высокого чела оттенялась тёмно-коричневыми волосами, в алых устах выражалась гордая самоуверенность, но в лице её не было приятности; она была подобна тем изображениям, которые, нравясь правильностью рисунка и живостью кисти, не оставляют впечатления на сердце.

Сам король представил Курбского княгине Дубровицкой. Ей были известны подвиги героя по рассказам польских вождей и русских пленников. Она нашла, что Курбский не был так страшен, как представлялся в её воображении; важный, мужественный, выразительный вид его нравился ей более, нежели ловкость и уклончивость польских магнатов, окружавших короля. Княгиня приветствовала Курбского, не скрывая своего удивления к его доблестям и участия в горестной судьбе его. Курбский отвечал ей с прямотою воина и незаметно увлёкся беседой; Сигизмунд с торжествующим видом дал заметить княгине произведённое ею впечатление.

Курбский понимал намерения короля сблизить его с Польшей, но утрата семейства удаляла от него всякую мысль об утешении; впрочем, сам король с свойственно ему любезностью взял на себя заботу успокоить его.

Курбский видел, что сама судьба расторгла навек прежний союз его; чувствовал, что мысль о невозвратимой потере будет только изнурять его силы. Быв почти одиноким в шумной Варшаве, он не отклонялся от дружбы Радзивилла и привык беседовать с княгиней Дубровицкой. Испытав ненадёжность

счастья, князь мог видеть, что ему легко утвердиться при дворе Сигизмунда Августа союзом с знаменитым родом и показать Иоанну, что в Польше не считают Курбского беглецом. Слепо предавшись будущему, он успел на время заглушить в памяти минувшие бедствия; ему казалось, что он начал жить новой жизнью, так всё вокруг него и сам он в себе изменился.

В красивой зале, обитой зелёным штофом, сидела, облокотись на мраморный столик, поддерживаемый четырьмя позолоченными грифами, княгиня Елена Дубровицкая. Пред нею, в богатой фарфоровой вазе, благоухали прелестнейшие цветы лета, роскошный дар природы, взлелеянный искусством. Возле княгини на стуле, обитом зелёным бархатом, сидел с лютнею Иосиф Воллович, двоюродный брат княгини. Голубой венгерский полукафтан, украшенный золотыми шнурами и кистями, стягивал стройный стан его; из-под шёлкового кушака блестела серебряная рукоять сабли; края одежды его опушены были собольим мехом; волосы, стриженные в кружок, закрывали до половины его большой лоб; нежная томность выражалась в его больших, голубых, открытых глазах, и в милой улыбке видно было что-то лукавое, что, однако ж, нравилось женщинам. Цвета юностью и красотой, он ещё казался робким и застенчивым, тем не менее он был опасен для молодых красавиц, не принимавших предосторожности в разговоре с Иосифом. Удовольствие слушать его было так заманчиво, что они не замечали, как заронились в их душу искра пламенной страсти, особенно когда он, высказывая откровенно свои мысли и чувства, поднимал к небу свои голубые глаза или когда лёгкая рука его резво перебежала по струнам лютни, а сладостные звуки вырывались из уст, и улыбка образовала на розовых щеках его ямку, как будто под пальцем Эроса. Тогда польские красавицы не могли равнодушно смотреть на Иосифа, и женская гордость смирялась пред могуществом красоты и любезности. Иосиф, казалось, сам не знал или не хотел примечать, сколь он нравился, но ни от кого так не были приятны приветствия польским красавицам двора Сигизмунда Августа, как от Иосифа. Княгиня Елена Дубровицкая часто называла его молодым пажом своим, обращаясь с ним как с милым двоюродным братцем; скоро присутствие его сделалось для неё необходимо.

Не сводя глаз с княгини и по временам опуская застенчиво тёмные ресницы, Иосиф пел романс, который Елена слушала с восхищением. К удивлению её, последние слова романса были обращены к ней:

Елена красотою славна,
Но за неё погибла Троя;
Елена новая страшна,
Пленив московского героя;
Легко прекрасной побеждать,
Но бойся сей опасной славы;
Чтоб от раздоров нам Варшавы
За красоту не потерять.

— И ты этого боишься, любезный Иосиф? — спросила княгиня. — Разве ты думаешь, что моему выбору позавидуют варшавские красавицы! Я им оставляю Париса опаснее.

— Не зависть женщин, княгиня, а негодование мужчин вам угрожает опасностью. Неужели мы будем спокойно смотреть, как дерзкий москвитянин похитит от нас царицу прелестных Варшавы? — Иосиф с лукавой улыбкой смотрел на княгиню, пощипывая свои чёрные усы.

— Похитить? Ты ошибся, милый братец, лучше скажи, что мой пленник будет столько же полезен Польше, сколько прежде был страшен. Ты слышал о его подвигах?..

— О, если верить рассказам, то это новый Ахилл, и мы должны вас поздравить с победой.

— Да, Курбский в мужестве не уступает героям древности; не от одного короля я знаю о делах его;

наши храбрейшие маршалы свидетели его славы. Так, я с восхищением слушала, как одно появление его решало участь битвы, как он останавливал тысячи татар...

— Ему и драться с татарами, — сказал с насмешкой Воллович, — один вид его испугает.

— Люблю, мой изнеженный братец, люблю этот дикий мужественный вид, по которому с одного взгляда отличаешь героя; не рыцаря вежливости, не милого трубадура, но отважного предводителя воинов, меч которого может служить к славе Польши, к торжеству Сигизмунда Августа над его врагами...

— Словом сказать, княгиня, ваш выбор есть жертва отечеству?

— Почему бы и не так? Княгиня Дубровицкая, сестра князя Радзивилла, не имеет нужды в титуле княгини Курбской...

— Но союз этот будет порукою за верность московского героя. Ах, княгиня, вы несправедливы ко многим или не знаете сами могущества вашей красоты. Что нам в Курбском и его подвигах? Его привели сюда страх и мщение; они ручаются за его верность, и он не вздумает возвратиться к царю Иоанну Васильевичу. Но здесь ваш взгляд мог бы вдохнуть геройство...

— Даже и в Иосифа Волловича, — перебила его, засмеявшись, княгиня.

Воллович покраснел и, встав со стула, сказал:

— Вы, кажется, во мне видите, княгиня, не более как молодого пажу, приходящего забавлять вас звуками лютни...

— И в самой досаде своей похожего на Эрота, который мне так надоел в прекрасных стихах Андрея Треческого и которым Иосиф так любитесь в мраморной статуе моего сада в Дубровицах. .

— Благодарю за лестное приветствие, но верьте, что если бы вы захотели, то Иосиф не приносил бы вам цветы, не приходил бы к вам с лютней, умел владеть мечом в пылу битвы и повергнуть венок победы к ногам Елены. Любовь и слава...

— Тише, тише, — сказала Елена, взяв из вазы розу и закрывая ею уста Волловича. — Ты так часто и так неосторожно говоришь мне о своих чувствах, что я боюсь ревности московского Ахилла. Он может подслушать нас. Мой Иосиф с некоторого времени также принимает на себя вид героя, а я, право, не хочу быть виновницей чего-нибудь похожего на Троянский раздор...

В это время послышался шум; слуги княгини с поспешностью отворяли двери, и один из пажей её вбежал известить о прибытии короля Сигизмунда Августа.

Такое неожиданное посещение приятно удивило гордую княгиню. Король никогда не приезжал к ней утром, но иногда удостаивал посещением своим её праздничные вечера, на которых собиралось лучшее варшавское общество, а лучшие музыканты доставляли удовольствие гостям концертами.

Воллович почтительно отошёл в сторону; княгиня поспешила встретить короля в дверях. Сигизмунд Август вошёл, ведя под руку Николая Радзивилла.

— Вините брата вашего, княгиня, — сказал он, — за нечаянное беспокойство, в которое вас приводит моё посещение; он сообщил мне приятное известие. — Садясь в кресла, король продолжал: — Я спешу поблагодарить вас за ваше намерение наложить оковы на знаменитого Курбского. Он нужен мне и Польше, и ничто более не может обеспечить меня в его преданности, как узы, налагаемые на него рукою красоты.

— Слава великодушия вашего, государь, и покровительство ваше мужеству привели к вам князя Курбского; вы почтили его, ваше величество, и этого довольно, чтобы я признавала его достойным союза с домом Радзивиллов.

— Я боюсь только того, — сказал король, — чтобы не переманить всех московских бояр; пример Курбского соблазнителен. Приятель мой, Иван Васильевич, будет грозить муками и казнями, а красавицы Варшавы будут сплетать для них цепи из роз и лавров. Не одни русские могут позавидовать участи Курбского, — добавил он, обращая мельком взгляд на Иосифа.

— Ваше величество, — сказал Радзивилл, — нельзя завидовать жребии изгнанника. Он оставил отечество, а отечество священо для благородного сердца.

— Так, мой любезный Радзивилл, но тем более должно жалеть о Курбском. Вся жизнь его была посвящена отечеству; не один он изгнан неблагодарностью. Это человек пылкий, стремительный во всех своих действиях, что опасно при дворе московском. Здесь другое дело; он мог бы бояться стрел красоты, но, к счастью, княгиня Дубровицкая отвратила это опасение. А вы, молодой певец, — продолжал Сигизмунд, обратясь к Волловичу, — не прославляете ли новую победу прелестной княгини? Я вижу здесь лютю. Это инструмент, приличный для звуков любви... так сказать, для прославления её могущества, которому повинуются всё на свете.

— В этом убеждает пример любезнейшего из государей, — сказала княгиня Дубровицкая. — Вы правы, ваше величество; лютя посвящена красоте, так же как лавр геройству.

— Я должен признаться, княгиня, что имею теперь хорошее мнение о выборе русских в красоте. Прежде всего убедил меня в том царь Иван Васильевич, вздумав посвататься за сестру мою Екатерину. Он, как известно, большой любитель красоты, так же как и я, жаль только, что нравы наши не сходны. Но я не о нём хотел говорить. Скажите, княгиня, скоро ли вы надеетесь увидеть Курбского?

— Я ожидаю его, государь, завтра на вечер...

— Очень хорошо; я дам вам совет, за который вы, верно, меня поблагодарите. У вас, вероятно, будет Венцеслав Шаматульский, любезный мой капельмейстер. Но вы можете приятнее удивить Курбского, пригласив к себе собравшихся в Варшаву наших учёных и стихотворцев. Московский герой — любитель красноречия и так же усердный слуга Минерве, как и Марсу; признаюсь, что я удивлён образованностью Курбского. Мы уже говорили с ним по-гречески, и я уверен, что он будет вам читать стихи Анакреона по-гречески.

Княгиня благодарила короля за новое свидетельство его благоволения.

— Скажу откровенно, княгиня, — продолжал король, — что я принимаю искреннее участие в судьбе Курбского. Я уважаю храбрость. Он потомок смоленских и ярославских князей, но этот титул исчезает в глазах литовцев и поляков, почему я и решился наделить его другим княжеством. Пусть узнает царь Иоанн, что Сигизмунд Август умеет чтить героев.

Сказав ещё несколько приятных приветствий княгине Дубровицкой, как будто мимоходом хваля итальянских поэтов, король удалился с Радзивиллом. Княгиня с весёлым и гордым видом, посмотрев на Волловича, сказала ему, что надеется видеть его завтра в числе своих гостей.

— Мне всегда приятно быть свидетелем вашего торжества, княгиня, но я не принадлежу к знаменитым учёным, которых вы завтра к себе ожидаете, благодаря заботливости Сигизмунда Августа Ягеллона, принимающего столь великое участие в избираемом вами супруге... — ответил Воллович.

— Это что-то похожее на ревность, милый Иосиф, но я хочу, требую, чтобы ты был свидетелем моего праздника. Я желаю, чтобы ты сблизился с князем Курбским; он будет тебе полезен. Я предсказываю тебе, — продолжала, улыбаясь, княгиня, — что ты займёшь почётное место при дворе Сигизмунда Августа и не отстанешь от твоего брата Евстафия.

— Я желал бы, чтоб оставалось для меня место в вашем сердце. Повинуюсь, княгиня, и завтра

надеюсь видеть московского героя у ваших ног.

Иосиф сдержал своё слово. На следующий день, в пять часов вечера, он уже спешил в дом княгини Дубровицкой. Толпа народа теснилась пред домом на улице, смотря с любопытством на богатство одежд гостей, собиравшихся в дом княгини. Обширный двор был заполнен лошадьми, около них суетились шляхтичи и служители; время от времени в широкие ворота въезжали тяжёлые, богато украшенные резьбою кареты, обитые кожей с позолотой. Между разукрашенными столбиками опущена была кожаная занавесь, которая отдёргивалась при подъезде к крыльцу, и по опущенной деревянной лесенке, волочившейся сбоку кареты, сбегали варшавские красавицы, за которыми важно и чинно спускались по ступенькам гордые паны и степенные супруги их.

В обширной зале, обитой малиновым сукном, висели портреты разных знаменитых лиц, близких княгине. Уже множество гостей собрались здесь, ожидая Курбского. Некоторые окружили Елену, другие заняты были игрой в шахматы или прогуливались в примыкавшей галерее. Великий коронный гетман Иоанн Тарно, знаменитейший из гостей, разговаривал с Вячеславом Ореховским, славным польским оратором, возле них сидел епископ Мартын Кромер, беседуя с братом Иосифа Волловича, красноречивым Евстафием; поодаль почтительно сидели, принимая время от времени участие в разговоре, Квятковский и Стриковский — польские историки, между тем все поклонники красоты восхищались игрой на арфе прелестной Иозефины, племянницы графини Дубровицкой.

Вдруг всеобщее внимание обратилось на двери залы, которые широко растворились, и вошёл Курбский в польской одежде, приличествующей его званию, но не блестящей великолепием; Курбский чуждался пышности. Татарская сабля висела у его пояса, та самая, которая сверкала на ливонских полях. Если не по одежде, то по виду можно было узнать в нём между литовцами и поляками чужеземца. В лице его было величие без гордости, важность без суровости, он окинул быстрым взглядом многочисленное собрание и, приветствовав княгиню, непринуждённо вступил в разговор.

— Как приятно мне, — сказал он княгине, — встретить у вас моего старого знакомого, с которым мы сходились на ратном поле. — Курбский указал на портрет Гетмана Хоткевича. — Теперь, надеюсь, мы будем дружнее.

Княгиня хвалила сходство портретов.

— Сходство поразительное! — сказал Кохановский. — Особенно в портрете Варвары Радзивилл. Отчего, — продолжал он, вздохнув, — здесь нельзя более видеть ту, которая представляется в этом портрете?

— Изображение её, — сказал Курбский, — напоминает мне драгоценные для меня черты моего друга, Алексея Адашева.

— Ах! — сказала княгиня Дубровицкая. — Я не могу без глубокой горести смотреть на портрет несчастной моей родственницы. Жизнь её угасла в цвете лет, при блеске счастья.

— Такова же была судьба и моего друга, — сказал Курбский с чувством и продолжал говорить о свойствах души, заслугах и жребии Алексея Адашева.

С большим участием слушали его все присутствующие. Елена восхищалась силою красноречия Курбского, а из глаз Иозефины выкатилось несколько слёз.

Королевский любимец, Евстафий Воллович, был одним из самых внимательных слушателей Курбского. Искусный в делах политики, Евстафий уже пролагал себе путь к высокому званию канцлера и, умея ценить достоинства ума, искал Дружбы Курбского. Он беседовал с князем, когда вдруг с галереи раздался громкий звук музыки; все гости встали — вошёл король.

Присутствие Сигизмунда оживило общество. Пение и танцы попеременно привлекали внимание короля; но, рассыпая приветствия искусству и красоте, он с удовольствием заметил, что Курбский казался равнодушным к хозяйке праздника.

— Это лев, — говорил он, шутя, Радзивиллу, — лев, опутанный розами!

— Прекрасная эмблема, государь, — сказал Радзивилл.

— И мы дадим её в герб князю Курбскому. Да, венок из роз, окружающий льва, изображение мужества, будет знаком могущества красоты, покоряющей силу, и предвестием того счастья, какое найдёт здесь Курбский после минувших бедствий.

Раздались снова сладкозвучные голоса итальянских певцов; наконец, начался весёлый маскарад танцующих, ослепляя взоры блеском одежды. Древние рыцари мешались с восточными одалисками, турки, арабы — с пастушками Карпатских гор, испанцы — с амазонками; между ними была Иозефина, за которою следовал льстец и очарователь прелестных, младший Воллович, прикрывавший приветствиями княгине свою любовь к милой её племяннице. Впрочем, сам Сигизмунд Август был в этот вечер его соперником.

Курбский казался здесь богатырём Владимирова века, переодетым Добрыней, но, не любя маскарадов и утомлённый непривычным для него зрелищем, он с удовольствием возвратился с шумного праздника Дубровицкой в свой дом.

Чрез несколько дней Радзивилл прислал ему большой свиток, доставленный гонцом из Москвы. Князь с изумлением развёртывал длинный столбец; казалось, конца ему не было. Это был ответ Иоанна на вольмарскую грамоту, ответ, которым царь желал постыдить, утратить, повергнуть изменника в прах.

Много было в чертогах Иоанна толков, забот и труда при составлении этого ответного послания. Здесь придуманы были все укоризны и обличения, какие только казались Иоанну и царедворцам его наиболее выразительными. В самом начале Иоанн славил верность Шибанова в укор изменнику. *«Как не устыдишься раба своего, Шибанова, — писал державный. — Он соблюл своё благочестие и пред царём, и пред народом; стоя при смертных вратах, не только же отвергся тебя, но хвалил и желал за тебя умереть. Ты не поревновал его благочестию! Для тела погубил душу; не на человека, но на Бога восстал. Бог велит повиноваться властям. Для чего же побоялся от меня, строптивого владыки, пострадать, утратишь невинной смерти? Такая смерть не есть смерть, а приобретение. Ты же продал душу за тело и клеветал на нас. Кровию порога церквей мы не обгазяем, мучеников за веру у нас нет; казнят чародеев, предателей, но таких собак везде казнят. Изменникам везде казнь и опала. И апостол повелевает страхом спасать! Ты пишешь, что убиенные предстоят у престола владычня, но суетишься. Бога никто же виде! Судью приводишь Христа, не отказываюсь и я от суда Его. Он, Господь Бог наш, судья праведный, испытует сердца; все помышления наши во мгновение ока пред Ним наги и явны. От ока Его никто не укроется. Ты приводишь судью Христа, а отказываешься от дел Его. Забвенны тобой слова: солнце да не зайдёт во гневе! Молитесь за творящих напасть! И не Божия земля изгнала тебя, ты сам себя от ней отлучил. Пишешь, что до дня Страшного суда не явишь нам лица своего, кто же и видеть захочет такое лицо эфиопское?..»*

Пространно было послание, но ещё мало казалось Иоанну: он дополнил его выписками из поучений святых отцов указаниями на священное писание, древнюю историю и даже на баснословие, превращая письмо в целую книгу; наконец, заключил, что по слову: «с Безумным не множи словес», — не хочет более тратить речей с ним.

Прискорбнее всего было Курбскому услышать о том, чего он должен был ожидать: о неизменной верности и мученическом терпении Шибанова.

— Добрый слуга мой! — сказал он с тяжким вздохом. — Тебе подивится потомство! Мне должно преклонить чело пред тобою. Желал бы я слезами омыть язвы твои! Но как мог я усомниться в Иоанне? По какой слепоте не видел я участи, ожидавшей тебя? Не обвинит ли меня потомство? Совесть моя вопиет сильнее укоров Грозного.

Впрочем, Курбский с жестоким удовольствием видел, что гневный Иоанн, желая высказать всё, что хотел, ослабил силу своего ответа, до того увлекаясь многоречием, что сам обличал себя в поступках и чувствах, потемняющих славу венценосца.

— Да не порадуется Иоанн моим унижением! — воскликнул князь. — Пусть он услышит моё торжество, увидит брачный союз Курбского с знаменитейшим домом Литвы и Польши! Судьба разорвала союз мой с родиной. Погибло семейство моё! Пусть же буря бросит мой чёлн в новую пристань. Отныне я принадлежу Сигизмунду Августу.

Не прошло трёх месяцев, как король Сигизмунд Август присутствовал в Вильне при бракосочетании княгини Дубровицкой; герб с изображением льва, окружённого цветочным венком, возвышался над воротами дома Курбского. В православном храме, видя возле себя Елену, князь вспомнил Гликерию и непонятное предсказание Салоса; в то самое время оно исполнялось. В тихой тихвинской обители княгиня Курбская произносила обет иночества; она более не жила для мира, а только для молитв, тогда как ожесточённый и виновный супруг её готов был с войсками Сигизмунда Августа вторгнуться в пределы отечества.

ГЛАВА VIII

Встреча и разлука

Новгородец, которому сын Курбского был обязан спасением жизни, с радостью видел успех своих попечений. Юрий начал оправляться, хотя болезненная томность, следствие испуга и печали о разлуке с матерью, осталась надолго в лице его. Всю дорогу до Великих Лук, он пробыл почти в беспамятстве; в этом городе он стал припоминать постигшую его опасность, но не помнил того, как долго лежал под снегом. Мысль о матери исторгала его рыдания. Он не знал окрестностей эстонской хижины, да и новгородцу не представлялось возможности снова ехать в ту сторону. Юрий не мог указать к ней дороги, и лес был так обширен, что нельзя было надеяться найти путь к бедной хижине; притом, помня завет матери и боясь нескромностью навлечь на неё опасность, Юрий решился не открывать о своём роде и сказал новгородцу, что он сын бедной вдовы, нашедшей пристанище у эстонцев, а отец его, отправясь в какой-то город, пропал без вести. Новгородец утешал его. Желая угодить Богу добрым делом, он оставил при себе Юрия, заботился о нём, как о родном, и, переезжая из одного города в другой, брал его с собой.

При всей юности своей Юрий не забывал слов матери, что от одного Бога можно ожидать верной защиты. Добрый сын усердно молился о ней; где бы ни был он, мысль его всегда обращалась к ней, везде недоставало для него матери, печаль о ней сделалась его болезнью. Новгородец старался рассеивать тоску его простодушными рассказами и приводил ему в пример себя, уверяя, что никто в свете не может быть совершенно счастливым.

— Во многих случаях, — говорил он, — мы сами бываем виною скорби своей; мне также привелось расстаться с добрым братом, уже нет надежды увидеть его, но не случай разлучил нас, а моё неразумие.

— Как ты расстался с ним? — спросил Юрий.

— Я расскажу тебе, — отвечал новгородец, — выслушай и не ропщи на твой жребий. Один Бог знает, к чему ведёт нас. Отец мой был новгородский купец и торговал с ганзейскими городами; честностью заслужил уважение, разумом добыл богатство. По Волхову ходили суда его, нагруженные чужеземными товарами. Дом его был как полная чаша; сундуки набиты цветными парчами, а ларцы золотыми кораблениками; праздничный стол ломился от серебряных чаш и блюд. У отца нашего было много детей, но осталось двое братьев: я, старший, да Никола, меньшей. Отец любил нас равно обоих, и мы любили друг друга. Всё, что было у нас, делили мы поровну; каждый сладкий кусок пополам. Провинился ли я перед отцом, брат мой принимал вину на себя; ему ли дадут дело, я помогал в труде его. Отец хвалил нас; посторонние люди любовались нами и ставили своим детям в пример нашу любовь и согласие. Бог наконец прекратил дни отца моего. Не успел он оставить по себе завещания, но мы уже были на возрасте; богатство шло в раздел. Все думали, что мы разделимся поровну, но враг душ человеческих, лукавый, позавидовал нам, ослепил глаза мои жадностью; жаль мне было делиться серебром и золотом, и тем более что брат по торговле скоро должен был жить розно со мною. Я охладил к нему, и он с удивлением заметил во мне перемену. Скоро начались между нами несогласия; дошло до ссоры, а там до вражды; я не хотел выделить брату ровную часть и ссылался на своё старшинство. Добрый брат обижался не тем, что я отнимал у него часть имения, но жаловался, что я переменялся в любви к нему; упрашивал меня со слезами не льститься на богатство к обиде, не менять дружбу на золото. Жестокое сердце моё окаменело корыстолюбием; я не трогался его просьбами, а упрёки раздражали меня. Наконец брат, видя, что старание его безуспешно, пришёл ко мне и сказал: «Когда тебе нужно богатство, а не брат, то владей всем;

оставляю тебе имение; не возьму ничего; Бог с тобою, только не сердись на меня и прости, в чём я виноват пред тобой!» Сказав сие, брат мой заплакал и поклонился мне в ноги. Жалко мне стало его, но лукавый скрепил моё сердце. Промолчал я, а брат вышел и не приходил больше; я его не видел в тот день. На другой день он тоже не приходил ко мне. Сказали, что вчера ещё вышел из дома. И вечером он не возвратился домой; я стал тосковать о нём, начал расспрашивать, отыскивать, но брат пропал без вести. Нет о нём слуха! С тех пор богатство опостылело мне, совесть как змея на сердце. Много было потерь и убытков, а всё ещё много с меня осталось. Вспомнил я любовь брата моего, вспомнил наше прежнее счастье и слова отца, утешавшегося нашим согласием. Не знаю, жив ли брат и где он теперь; если он жив, то, верно, в нужде и бедствии, а я живу в избытке, но страшусь суда Божия и охотно бы поменялся богатством моим на рубище моего брата, лишь только бы увидеть его и прижать к сердцу, родного!

Так рассказывал Никанор новгородец Юрию.

Между тем польское войско, предводительствуемое Курбским, подвигалось к Великим Лукам и роптало на нерешимость вождя. Медленность в движении полков не оправдывалась в глазах поляков молвы о быстроте и отважности князя. Курбский чувствовал, что идёт по русской земле: одно мщение сроднило его с Польшей. Увлекаемый стремлением ненависти, Курбский желал ужаснуть Грозного, окружить его смутами и опасностями, но страшно было пробуждение совести несчастного вождя! Ступив на русскую землю, он узнал, что сердце его не могло отторгнуться от отечества, которому некогда посвящена была жизнь его, труды, победы и раны. Таковы плоды измены! Человек, понимая своё бедствие, на пути мрака не имеет силы возвратиться к свету, падает, и тёмная глубина бездны охватывает жертву; взор его стремится к высоте, но дорога светлого пути для него уже недоступна. Курбский мог со славою умереть невинно, но измена свершилась: одно преступление ведёт к другим. Приняв почести от Сигизмунда, в укор Иоанну, он не мог отказаться от начальства над войсками; предводительствуя врагами России, стал врагом родной своей страны. Но рука, привыкшая к победам, не осмелилась разразиться грозой над отечеством; каждый шаг вперёд укорял его в измене; он обессилел этим чувством и старался уже отвращать бедствия, навлекаемые им на Россию, желая устрашать Иоанна только призраками опасности.

Войско роптало и ослушалось повелений вождя. Поляки хотели потешиться разорением русских сел и городов.

Русские полки встретились с неприятелями близ Великих Лук. Поляки стремились пробраться в богатый Великолуцкий монастырь; давно они желали добычи. Сошлись противники, завязалось сражение, и Курбский не мог остановить убийственной сечи. Поляки порывались к монастырским стенам, но град камней со стен, туча стрел из луков и дождь пуль из ручниц и пищалей отразили всадников; они скоро опомнились и с неистовою яростью понеслись на, русские отряды, защищавшие монастырь; счастье послужило им: русские смешались и отступили в беспорядке; к большому ужасу их, Курбский показался на холме мрачный, грозный, подобно вестнику смерти, духу мщения. Увы, не знали они, что сердце его тогда дрожало за русских.

— Не устоять против этого зверя! — кричали русские воины, рассыпаясь в бегстве; между тем несколько человек кричали ему: — Предатель! Изменник! Судит Бог тебе за кровь русскую!

Уже разрушались монастырские стены, и сквозь проломы побежали отчаянные иноки, падая под мечами врагов.

— Прекратите, прекратите убийство! — кричал Курбский.

Но поляки не слушали слов его; в страшном смятении смешались вопли жертв и крик поражающих; уже две церкви пылали; пламя охватило монастырскую кровлю; с треском раздробились стропила высокой

колокольни, и звон падающих колоколов раздался среди дыма, пожара и звона мечей. Курбский видел, как святые иконы падали из рук трепещущих старцев, как русская кровь брызгала на золотые венцы и оклады. Душа его содрогнулась; он не вытерпел и бросился наказать непокорных, невнемлющих его повелениям. Поляки с изумлением остановились. Вдруг он замечает в толпе русских знакомое лицо. Курбский узнает своего сына, бледного, испуганного, покрытого пылью, обгрённого кровью... Юрий узнает отца, простирает к нему руки, но в эту минуту внезапно подоспевший полк башкирских стрельцов разделяет отца с сыном, пронёсшись между русскими и поляками.

— Спасите, спасите этого отрока! — кричит Курбский воинам, и спешит добраться до Юрия; множество ратников падает около Курбского, уже бегут от него с трепетом свирепые башкиры и татары, кидая луки и сабли; уже в оцепенении повергаются пред ним его пленники, но он более не видит сына. Тщетно Курбский, озираясь вокруг, зовёт его: радостные крики поляков заглушают голос вождя. К нему теснятся с поздравлениями, но князь не слышит приветствий; он ищет сына. Но Юрий уже далеко. Новгородец Никанор увёз его.

Битва закончилась. Поляки грабили окрестности и искали монастырские драгоценности, дымящиеся развалины церквей свидетельствовали о жестокости врагов и упорной защите обители.

ГЛАВА IX

Братья

— Итак, князь Курбский — отец твой? — спросил новгородец Юрия. — Отчего прежде ты не сказал о том?

— Ах! — отвечал Юрий. — Мать запретила мне говорить об отце моём, иначе мы можем погибнуть.

— Правда, — сказал Никанор, — если узнают, что ты сын Курбского...

— Зачем не допустил ты меня к отцу моему? — спрашивал Юрий.

— Бедный Юрий! — отвечал новгородец. — Ты мог бы погибнуть и от русских, и от поляков на пути к отцу; я должен был увести тебя от мечей, отовсюду грозивших нам. Не знаю, что будет с тобою; может быть, Бог приведёт тебя к родителям, но нужно молчать о твоём роде. Жизнь моя по торговле заботлива, езжу из места в место; не знаю, кому доверить тебя. Теперь мне нужно отправиться в Псков, пробуду там две недели; есть у меня добрый знакомец, купец Заболоцкий; мы у него пристанем.

Скоро прибыли они в Псков, и ласковый Заболоцкий принял старого знакомого с радушием. Новгородец, не открывая ему, каким случаем он нашёл Юрия, сказал:

— Это сирота, сын русского боярина, не имеет пристанища, ни ближних, ни знакомых; я желал бы поместить его в монастырь, где бы он мог быть послушником; он же грамотен.

— Видно, что боярский сын, — сказал Заболоцкий, — в монастырях грамотным рады, оставь его у меня, я отвезу его в Печерскую обитель. Благословенное место, город, а не монастырь; поглядел бы ты, как она украсилась.

— Давно не бывал я там, — отвечал Никанор.

— Поезжай в Госпожинки; ведь Успенье-то — храмовый праздник.

— Знаю, я там слушал заутреню в подземном соборе, молился в святой горе, и Богозданную пещеру осматривал, бродил по ископанным улицам, а полдничал в дубовой лесу на святой горе.

— Теперь там сажают плодовые деревья, — сказал Заболоцкий, — а стену то мы вывели кругом всей обители. Есть чем похвалиться, послужили игумену Корнилию!..

— Да, и ты приложил немало, — сказал Никанор.

— Зато на каменной-то стене десять башень построили, в ограде трое ворот, а над святыми воротами церковь.

— Слухом земля полнится. Печерская обитель твёрже крепости.

— Да, не скоро возьмут немцы или Литва. Пусть попытаются подступить, так их кольями со стен закидают. Сам государь пожаловал в обитель серебра и золота; недавно прислал свою цепь золотую, два ковша серебряные, да оставил на память свою вилку, а Иван-царевич пожаловал серебряный ковш.

— Помнится, — сказал Никанор, — был в ризнице перстень царицы Анастасии Романовны?

— Как же, сама сняла с руки и отдала отцу ризничему, а перстень-то с надписью её имени и с лазоревым яхонтом, и к чудотворной-то иконе привесила шитую золотом пелену своего рукоделия, а князь Курбский из ливонского похода прислал позолоченный бокал.

Юрий тяжело вздохнул; Заболоцкий оглянулся, спросил его, о чём он вздыхает.

— Как бы хотел я там помолиться, где бывал отец мой.

— Бог — отец сиротам, — сказал Заболоцкий, — не оставит и тебя. Чудны судьбы Господни! Прославилась Печерская обитель. А знаешь ли, как она основалась? Был отшельник; неизвестно, откуда пришёл он в то место; неизвестно, сколько лет прожил там и когда отошёл к Богу, известно только, что он жил в горной пещере и назвал её Богозданною. Прошло много времени, когда двое ловчих, гоняясь в лесу, пришли на то место, где стоит ныне церковь Владычицы; вдруг послышалось им сладкое пение, как будто ангельские голоса, и вокруг разливалось благоухание. Удивлённые ловчие рассказывали о том окружающим жителям, но ничего там не видели, кроме горы и дремучего леса, а случилось, по многих годах, владельцу того места поселиться в надгорьи у речки, и рубил он лес на горе, подсек превысокий дуб, покатился тот дуб на другие деревья, на край горы с такою силою, что с корнями их выворотил; тогда вдруг увидели отверстие глубокой пещеры и над нею надпись на камне: пещера Богозданная.

— А кто же соорудил церковь подземную? — спросил Юрий.

— Священник из Юрьева. Терпя обиды от немцев, он переселился во Псков, а оттуда перешёл в пещеру; полюбив пустынное место, он первый начал копать церковь в горе, поставил на столбах две кельи; тут Бог привёл ему и постричься. Лет девяносто прошло, освятили пещерную церковь; старца-священника давно в живых не было, но видно, что был богатырской силы; на теле его найдена под рясой кольчуга. А всего более послужил обители дьяк Мисюр; его волостными и казною прокопана гора в самую глубину, и обитель-то основал он, провёл ручей-камень сквозь неё, подняв воду на гору, и с той поры славна стала обитель Печерская. Сказать правду, последний раз слушая там благовест большого колокола, я прослезился...

— Отчего же, друг? — спросил Никанор.

— Два года, как тот колокол прислан от воевод по взятии Вельяна, а с той поры из воевод немного осталось: Адашевых поминай, Петра Шуйского тоже, Курбский в Литве, людская жизнь переменчивей звука, а колокол всё по-прежнему благовестит!

Вдруг послышался звон колокольчика под окнами Заболоцкого.

— Что это? — спросил с удивлением Никанор.

— Это наш Никола юродивый; разве ты не знал о нём?

— Слышал много и желал бы увидеть его. Не привелось с ним встречаться, когда бывал он во Пскове.

— Он святой человек, — сказал Заболоцкий, — кто что ни говори, а его слово даром не пропадёт. Теперь он ходит, собирает подаяние на разорённых пожаром и многим помог, но вот он идёт ко мне на крыльцо; ты увидишь его. Это он стучится.

И Заболоцкий пошёл встретить Салоса.

— Рад доброму гостю! — сказал он, вводя его.

— Хорошо, у кого для добра всегда время есть, — сказал Салос.

Никанор рассматривал юродивого и, казалось, был поражён его видом; в волнении души он закрыл рукою глаза, как будто бы видел в нём своего обличителя, но это было минутное движение, он задрожал и, снова устремив на него глаза, сказал:

— Какое сходство, таков был мой брат Николай.

— Все люди — братья, — сказал Салос, простерши к нему объятия, — а братья живут в несогласии,

но Бог всех примирит! — Салос обнял Никанора; слёзы покатались из его глаз.

— Ты плачешь, старец? — спросил Никанор.

— Оба мы старцы, — отвечал Салос, — а за двадцать лет ещё цвела наша жизнь; не от радости побелели наши волосы, а на радость мы свиделись.

— Возможно ли? — сказал Никанор. — Неужели ты мой брат, Николай?

— Я был Николай бедный, а ты Никанор богатый; теперь я Николай богатый, а ты Никанор бедный.

— Так, бедный, — воскликнул Никанор, орошая слезами руки его, — упрёки совести — истинная бедность! Брат мой, прости меня!.. — И он хотел упасть к ногам Салоса, но Никола не допустил и, благословляя брата, сказал:

— Тот богат, кто примирится с совестью; ты раскаялся, я благословляю тебя именем небесного нашего Отца!

— Брат мой! — продолжал Никанор. — В каком виде я встречаю тебя? Это рубище! Эта верёвка...

— Одежда братии Христовой, — сказал Салос, — рубище на теле — одежда для души, покров от суеты мира, а верёвкой я связал тело, чтобы грехи не связали душу.

— Приди, возьми своё достояние, — сказал Никанор, — приди в дом брата; возьми всё, что желаешь! Ты молчишь, брат мой, разве ты навсегда от меня отрёкся?

— Никанор, — сказал Салос, — ты найдёшь меня в каждом, кому прострёшь руку помощи, а я не забуду тебя там, где соковища ни тлеют, ни ржавеют.

— Для чего ты ведёшь жизнь скитальца и осудил себя на бедность и нужду?

— Боюсь ржавчины, Никанор, она ко всему пристаёт. В довольстве да в роскоши тело светлеет, да душа ржавеет; а ведь Бог смотрится в душу человеческую! В тёмной душе не видать образа Божия.

— Жаль мне тебя, брат Николай!

— Брат Никанор, веселись обо мне! Я летаю, как птица под небом, во свете Божия солнца. Не тяжелы мои крылья, крепок мой посох!

— Оставя брата, ты искал Бога, — сказал Заболоцкий.

— И Бог возвратил мне брата, — сказал Салос, — и даёт ещё сына. Кто этот отрок? — спросил он, указывая на Юрия.

— Несчастный сирота, найденный мною в лесу.

— Он твой сын! Благодетель отец сироты; но он и теперь ещё в диком, дремучем лесу, на каждом шагу опасность, звери грозят растерзать его.

— Как же спасти его?

— Отдай его мне; я буду бродить с ним по полю; под деревом опаснее гроза. Поди ко мне, отрок, Бог тебя посылает ко мне!

Юрий взглянул на Салоса, подошёл к нему и почтительно поцеловал его руку.

— Но какой будет жребий его? — спросил Никанор.

— Именем Божиим говорю тебе, отдай его мне и не спрашивай отчёта от Провидения Божия.

Эти слова превозмогли нерешимость Никанора. Он взглянул на Заболоцкого, желая узнать его мнение...

— Пусть будет, что угодно Богу! — сказал Заболоцкий.

— Юрий! — воскликнул Никанор. — Вверяю тебя моему брату, повинуйся ему с сыновней любовью.

— И я буду отцом тебе, — сказал Салос Юрию, — и укажу тебе путь к Отцу твоему.

Радость блеснула в глазах Юрия.

— Время придёт ещё, — сказал Салос, — но и не возвращается время. Должно спешить на добро, чтобы поспеть в дом родительский, пока не заграждены врата. Брат Никанор, друг Павел, юный Юрий... Нас всех ждёт Отец наш. Он призывает нас; смотри, сколько светильников зажжено Им во время ночи, чтобы мы не сбились с дороги, а мы идём ли к Нему? О, если бы все мы свиделись в доме Его! Пойдём туда, Юрий; держись, отрок, за руку старца!

Салос повёл Юрия, безмолвно за ним следовавшего. Никанор и Заболоцкий не смели его удерживать, но слёзы катились из глаз их; они чувствовали присутствие чего-то таинственного, святого и в юродстве Салоса примечали стремление души, отделившей себя от сует, разорвавшей цепи страстей. Они провожали Салоса за ворота. Тут, осеня их знамением креста, он удалился с Юрием.

В семи вёрстах от Печерской обители стояло несколько крестьянских дворов, окружённых цветущими лугами и желтеющими нивами. Быстрый ручей отделял нивы от сенокоса, а вдалеке между холмистых возвышений виднелось озерко, как голубое зеркало, отражая в чистых водах своих лазурь небес; золото жатвы, покрывающей прибрежные пригорки, казалось блестящим его украшением. На одном из пригорков спал юный отрок; возле него стоял почтенный старец, опершись на посох.

— Пора вставать, Юрий, проснись мой сын, — сказал он. — Божие солнце давно уже для тебя светит, а ты ещё спишь.

— О, как приятно уснуть на заре! — сказал отрок, открыв глаза. — Прости меня, отец, мой; вчера я устал от ходьбы...

— Бойся не усталости, но отдыха; есть всему час; солнце вчера обошло всё небо и устало в пути, а сегодня опять взошло в свою пору.

— Прекрасное утро, отец мой! Как ярко сияет солнце! Посмотри, поле так и блещет; птички весело кружатся по светлому небу, а на горе-то как будто алмазная полоса на царской одежде.

— А если бы солнце захотело отдыхать так же, как ты, то ещё всё было бы темно. Ни одна бы птичка не вылетела из гнёздышка; озеро покрывалось бы чёрной пеленой. Стыдно, Юрий, человеку спать, когда уже Бог выслал для него своё солнце. Зачерпни воды из источника; омой лицо, чтобы оно было чисто, а душу освяти молитвой, чтобы провести день непорочно. Вчера подсадовал ты на грубых крестьянских детей: доходило до ссоры; а всякая ссора тёмное дело! Берегись, Юрий, чтобы солнце не увидело тёмных дел; стыдно будет взглянуть на него.

— Как теперь, отец мой, хороши цветы в поле. Вчера вечером они, казалось, поблекли.

— Они дремали, — сказал Салос, — а теперь всякий цветок пробудился; все они стоят и смотрят на Божие солнышко; каждый из них бережёт мёд для пчелы и сладкий сок для мотылька. Сорви этот цветок.

— Нельзя приступить к нему, у него иглы колючие, а вокруг крапива.

— Хорошо. Не прикасайся же ко всему, что может уколоть твою совесть; собирай для души цветы, не примешивая терновника, а если злые люди обидят, не плати злом людям злым, чтобы не быть похожим на них. Они жалки, сын мой, они люди слепые!

— Однако же видят, — сказал Юрий.

— Смотрят, а не видят, сын мой. Всё вокруг их говорит им, что лучше быть добрыми, но они слепы и глухи. Ты вчера возмутил воду ручья; в ней стало не видно солнца; теперь же смотри, как тихие воды реки светло сияют. Тихая душа радуется; в мирной душе свет Божий, а злой человек — возмущённая вода, в которой не видно ни солнца, ни неба. Помни и то, что бегущая вода светла, а стоячую закрывает тина. Берегись праздности!

— Какой вчера был тихий вечер, отец мой.

— Да, и человек должен быть подобен вечерней тишине или утреннему спокойствию в час рассвета. Шумен и зноен полдень. Жалки люди, бегущие под вихрь! Вихрь ослепляет пылью, лучше оставаться под мирным кровом. Теперь мы недалеко от селения.

— Вот бедные дома, — указал Юрий.

— Ты не знаешь, кто беден, кто богат, — сказал Салос. — Здесь трудятся в смирении. Хлеб в трудах сладок, а смиренный пред Богом высок! Смотри, дети играют на травке; нарви цветов и сплети два венка; я хочу подарить детям. Мне больше нечего дать им.

Юрий бросился срывать васильки, во множестве растущие по сторонам дороги, проложенной между двумя полями.

— Ты сорвал васильки; хорошо, Юрий! Какие цветы собираешь, таков и венок твой будет; каковы дела, такова и награда.

Скоро Юрий сплёл два венка и подал их Салосу. Старец и Юрий приблизились к играющим детям. В это время один из них начал бранить другого, но скромный мальчик отошёл, промолчав. Салос подозвал его к себе и наложил васильковый венок на его белокурые волосы.

— Прими венок кротости! — сказал он.

Мальчик улыбнулся и весело побежал к товарищам.

— Ах, какой красивый венок! — закричали дети.

— Кто тебе дал его? — спросил старший брат.

— Вот этот добрый старик, — отвечал мальчик, указывая на Салоса.

— Отдай мне венок.

— Ах нет, он так хорош, мне жалко расстаться с ним.

— Уступи мне, я твой старший брат!

Мальчик снял с себя венок и отдал брату.

— Вот венок послушания, — сказал Салос, подойдя к нему и подавая ему другой прекрасный венок. — Бог подаст тебе третий венок за добродушие и любовь братскую! И ты люби каждого из братьев твоих, — добавил он, обратясь к Юрию.

— У меня братьев нет! — сказал Юрий, вздыхая.

— Каждый человек брат твой. Для доброго сердца никто не чужой. Слышал ли ты о старце Феодорите?

— Слышал и помню, что он навещал нас, когда мы жили в Москве.

— А видал ли ты лопарей?

— Нет, не видывал.

— Эти люди живут у Белого моря, в сторонах бесплодных, холодных, где солнышко — редкий гость; но Феодориту и они не чужие. Старец каждый год навещает их, как братьев, и любят они его, как дети отца.

Справедливо говорил Салос, и дивны были странствия Феодорита. В то время уже на берегу Белого моря, близ устья реки Колы, виднелось на холме несколько изб, огороженных частоколом. Над одною из них надстроена была деревянная башенка с остроконечной кровлей, над которою в железном яблоке утверждён был крест. Такова была обитель, устроенная благочестивым Феодоритом, куда стекались крещённые им бедные и добродушные лопари не столько для молитвы, сколько для получения подаяния. Видя служение и обряды церковные, они с младенческим смирением слушали наставления старцев и мало-помалу отвыкали от своих суеверий. Каждый год они с нетерпением ожидали приезда Феодорита, как появления летнего солнца, зная, что к празднику Благовещения Феодорит приезжал в любимую обитель к своим диким питомцам. Ни трудность пути от Вологды чрез дебри и тундры, ни зимний холод северных пустынь не удерживали его; старец приезжал к своим детям духовным в известное время.

В год бегства Курбского лопари по-прежнему ожидали прибытия Феодорита и, оставляя свои юрты, отовсюду собирались толпами в Кольскую обитель. Одни в дар усердия тащили инокам мешки с мёрзлой рыбой, другие, приютись в шалашах, сложенных из хвороста и занесённых снегом, поглядывали в ту сторону, откуда обыкновенно приезжал добрый наставник их.

В ясный полдень услышали они издалека бег оленей по хрупкому снегу и, едва заметили старца, сидящего в санях, как с радостными криками бросились навстречу к нему, махая остроконечными шапками и кланяясь ему в пояс. Беловласый, ещё бодрый старец, отряхая снег с тёплой одежды своей, приветствовал их. Он благословлял их и раздавал им в дар разные необходимые для них мелочи. Лопари выражали шумными восклицаниями радость и благодарность. Отпрягнув оленей, они последовали за Феодоритом в обитель.

Старец спросил, не разучились ли они читать по изобретённым для них письменам святое евангелие?

— Нет, отец, — отвечали они, — мы твёрдо помним каждый знак твой. Как жаждущий пьёт струю из реки, так мы читаем слово святое.

Несколько дней провёл Феодорит в обители, беседуя с добрыми дикими людьми и наставляя их в истинах веры. Но по возвращении в Вологду спокойствие старца было возмущено дошедшим известием, что князь Курбский, духовный сын его, бежал в Литву от Иоаннова гнева.

Феодорит любил Курбского и, ещё незадолго перед тем, просил Иоанна снять с доблестного вождя опалу. С глубоким прискорбием старец послал Курбскому строгий завет, чтобы он вспомнил свой долг пред отечеством и, бежав от временной кары, не стремился бы в вечную гибель.

Курбский оправдывался пред Феодоритом, но письмо его уже не застало старца в пустыне. Феодорит уехал. В то время Малюта напомнил Иоанну о преданности Курбского Феодориту и о заступничестве старца за князя. Более не видали Феодорита ни в Коле, ни в Вологде.

ГЛАВА X

Обманутые ожидания

Курбский оставил воинский стан. Мало-помалу силы князя восстановились, но спокойствие не возвратилось к нему. В довершение прискорбия он скоро получил письмо из Нарвы от преданного ему окольничего Головина и узнал, что Гликерия ещё жива и постриглась в Тихвинской женской обители. Курбский с мукой читал эти строки. Он уже супруг другой жены, а Гликерия жива! Жива, для укора его совести! Одна мысль осталась ему в утешение, что княгиня нашла приют под кровом веры. Жребий сына остался для него в неизвестности. Окружающие Курбского замечали в князе необыкновенную перемену. Скрывая скорбь в душе, он стал угрюм, молчалив; сердце его отвратилось от удовольствий; он искал уединения. Там только он мог отдохнуть от тоски, его удручающей.

Гордая Елена обманулась в честолюбивых своих ожиданиях. Долго она не могла объяснить себе тайной скорби князя и полагала, что уныние его было следствием страданий от ран и разлуки с сыном, нечаянно встреченным и, вероятно, погибшим в битве. Однажды, застав князя, перечитывающего письмо Головина, она увидела слёзы в его глазах. Изумлённая нечаянным открытием, что Гликерия Курбская жива, Елена не могла скрыть чувство негодования. До неё дошли уже слухи, что Гликерия была дочь бедного стрельца; воспоминание Курбского о прежней жене его оскорбляло её; в глазах самолюбивой Елены не было извинения Курбскому. Ей казалось, что избранный ею должен был пожертвовать всем и что, способствуя его возвышению, она вправе быть единственным предметом его любви. В гордой душе Елены не было сострадания.

— Я не хочу мешать счастью князя Курбского, — сказала она насмешливо. — Если он желает, то властен возвратиться в Московию, ехать к воскресшей супруге своей.

Курбский не отвечал, но взор его блеснул негодованием; сердце его отвратилось от Елены.

Тяжко было ей отказаться от обольстительных надежд; тяжело было и Курбскому видеть в супруге своей совершенную противоположность кроткой, добродушной, покорной Гликерии. Холодность заступила место угождений, семя раздора развивалось.

Елена надеялась ещё торжествовать над ним и, призвав на помощь женское очарование и светское искусство, старалась возбудить в Курбском ревность, но чем более принимала вид рассеянности, чем более показывалась при роскошном дворе Сигизмунда Августа, тем более Курбский чувствовал незаменимость своей потери. Не отвыкнув ещё от обычаев отечества, он почитал не переменным долгом жены смирение и преданность супругу, заботливость о семействе и о доме, святость верности и, видя различие нравов в Ливонии и Польше, не столько привык извинять, как презирать легкомыслие в женщине.

Иосиф Воллович был почти ежедневным гостем в доме Курбского и спутником княгини и прекрасной её племянницы на блестящих варшавских вечерах. К удивлению Елены, Курбский как будто не замечал заботливости её об Иосифе, и то, что по расчётам её должно было возбудить в князе ревность, возбуждало в нём только равнодушие к ней. Он перенёс уже столько несчастий, что не почитал злополучием непостоянства Елены и предоставил ей тщеславиться преданностью молодого Волловича.

Курбский охладел к воинской славе, но был деятельным участником в совещаниях короля. Иногда любовь к отечеству готова была погасить в нём чувство мести, но часто оно восплалялось сильнее при вести

о новых кровавых событиях в Москве. Курбский услышал, что знаменитый друг его, боярин, потомок суздальских князей и некогда путеводитель Иоанна к победам, князь Александр Горбатый, по наветам Басмановых, осуждён был на казнь вместе с сыном. Сердце Курбского трепетало при рассказе, как сын спешил опередить отца, склонив голову под меч, но старец отстранил юношу, чтобы не быть свидетелем его казни и, благословя сына с любовью, пал, предав себя Божией воле. Юноша, наклонясь к отсечённой главе отца, принял её в объятия, поцеловал и, полный веры и упования, славил Бога Спасителя за то, что суждено ему окончить земную жизнь неразлучно с отцом и невинно, как невинно потерпел Агнец Божий. «Господи, прими души наши в животательные руки Твои!» — было последним словом его.

В то же время, узнав о кончине Сильвестра в его заточении, Курбский стремился навлечь бурю на Грозного, желал лишить Иоанна опоры в знаменитейших его вождях и боярах. Веря молве о ропоте Мстиславского, Воротынского и других на учреждение опричников, Курбский советовал Сигизмунду склонить их соединиться для избавления себя и отечества. Король, со своей стороны, готовый не щадить никаких жертвований для привлечения их к себе, благодарил Курбского за совет, который скоро пал тяжким бременем на совесть изменника. Рассылая тайные письма знаменитейшим из московских бояр, испытывшим тягость Иоаннова гнева, король надеялся привлечь их примером Курбского, и пылкий князь верил по слухам и по своим чувствам, что гонимые Иоанном ждут только случая избавиться от его ига.

Ожидания Сигизмунда Августа и мысли Курбского не оправдались. Получив письма, Воротынский, Мстиславский и другие единодушно говорили: «Всё, что имеем, имеем от Бога и государя; все ходим под Богом и под царским смотрением; благоденствуем, когда царь благоденствует; грозен во гневе он, но терпение наше заслужит нам Божию милость».

Говоря так, они решили не оставлять Сигизмунда без ответа, гордо исчисляя все свои титулы, подвластные им области и удельные свои города. Гонец с письмами их поспешил в Гродно, где находился король.

— Ты обманулся, князь, — сказал король Курбскому, краснея от негодования. — Бояре московские поругались над моим предложением. Дерзость их неимоверна. Они издеваются надо мною, величая себя наместниками и державцами, а меня братом своим, и чрез несколько строк прокуратором, фальшером, лотром^[22]. Я предлагал им избавить их от ига; они отвечают, что где нет твёрдой воли в царе, там нет прочности в царстве; я обещал Воротынскому и Мстиславскому целые области в дар, а они, насмехаясь, просят от меня городов по Днепру, всю Волинию и Подолию и приглашают идти под Иоаннову власть. И старик, о котором я так много от тебя слышал, боярин и воевода Полоцкий, выжил из ума; он пишет, что тешить меня скоморошеством не учен. Посмотри сам, как величает тебя Воротынский. — И король подал Курбскому письмо Воротынского.

Курбский горестно улыбнулся.

— Я обманулся в них, государь, — сказал он Сигизмунду Августу. — Они привыкли к своему бременю.

— Пусть же будут жертвами Иоанна! — воскликнул король.

— По крайней мере, государь, на жизни их не будет пятна, — сказал Курбский, тяжело вздыхая.

— Ты снова, князь, предался мрачным мыслям. Здесь нашёл ты отечество, достойнейшее тебя; видишь благоволение наше и можешь чувствовать, что для просвещённого мужа счастье там, где человечество счастливо.

— Государь! Бог не даёт на земле двух жизней; не найдём и другого отечества. Ты усыновил меня Польше, а России усыновил меня Бог. Я люблю и чту тебя, государь, ты осыпал меня щедротами, но здесь для меня нет полного счастья; не найду его в почестях и в богатстве, не находя спокойствия в душе.

— Иоанн будет и оправданием твоим. Ты хочешь постыдить, укротить его. Другие терпят и гибнут с позором.

— Нет, государь, — возразил Курбский, — свято терпение их! Они чтут власть, от Бога поставленную. Достойный муж! — продолжал он, смотря на письмо Воротынского. — Завидую твоей любви к отечеству, смиряюсь пред благородным твоим негодованием!

Король с удивлением посмотрел на Курбского; он не ожидал такого после оскорбительных выражений в письме Воротынского, укорявшего беглеца и предателя.

— Государь, — сказал Курбский, — я дал обет служить тебе и сдержу свято; но мудрый король простит признанию сетующей души моей.

Сигизмунд Август почувствовал справедливость слов Курбского и с того времени более употреблял его в совещаниях, нежели в предводительстве польскими войсками. Напрасно зависть польских вельмож распространяла злоречивые толки и старалась поколебать в короле благосклонность к Курбскому. Сигизмунд Август узнал его достоинства, и князь сумел заслужить его доверие.

Но и Волловичи быстро возвышались. Евстафий открывал себе блистательный путь. Его деятельность, проникательность, искусство соглашать людей разных мнений, стремление к славе отечества приближали его к высокой степени великого канцлера литовского. Молодой Иосиф при помощи своего брата, Елены и Радзивиллов также скоро стал любимцем Сигизмунда. Счастье даёт новое направление уму; в сладкоречивом певце открылись достоинства человека государственного. Елена гордилась возвышением Иосифа и, чтобы заставить молчать злословие, Согласилась уступить своего любимца племяннице.

Между тем Курбский предлагал Сигизмунду Августу средство держать в тревоге Иоанна, и сам Грозный начал искать мира. Король, дав во владение Курбскому богатый округ с городом Ковелем и, в досаду Иоанну, почтив пришельца достоинством князя Ковельского, показал недоброжелателям князя неверность их замыслов. Наговоры друзей Елены возбуждали только временно неудовольствие короля при слухе о семейных несогласиях Курбского. Отклоняясь от них, Курбский большую часть года проводил в замке, подаренном ему королём.

Сигизмунд Август, утомлённый заботами о войне, не отклонялся от переговоров о мире с Иоанном и спешил в Гродно, ожидая московских послов.

Когда послы вошли в гродненский дворец, Курбский, сидевший на правой стороне близ королевского трона, обратил на них взгляд и в ту же минуту упрёк совести уязвил сердце его. Он почувствовал пред ними своё унижение.

Послы Иоанна с твёрдостью и важностью приблизились к трону короля, почтили Сигизмунда Августа приветствием и поклонились вельможам, сидевшим влево от трона, не обратив внимания на сидящих с другой стороны знатнейших панов рады. Послы знали, что на этой стороне сидел Курбский, и не хотели смотреть на изменника.

Оскорблённый пренебрежением, князь Ковельский побледнел. Пред ним были бояре, некогда преданные ему и любившие его, а теперь они почитали преступлением взглянуть на Курбского. Насмешливый шёпот и переговоры сидевших возле Курбского польских вельмож не столько тревожили его самолюбие, как невнимание соотечественников. Минувшие дни его славы представились его воображению; он ужаснулся, подумав, что погубил изменой плоды всех своих подвигов, и позавидовал неукоризненной твёрдости добрых бояр, хотя в отечестве и над их головами висел меч Иоанна.

И в присутствии Курбского русские послы, пред лицом Сигизмунда, смело требовали именем Иоанна выдачи московского изменника как свидетельства согласия на мир, которого желал Сигизмунд. Курбский

не смутился и, обратив взгляд на короля, спокойно ожидал его ответа. При малейшем сомнении в праводушии Сигизмунда Августа он первый готов был предать себя Иоанновой мести.

— Если брат мой, царь московский, желает мира, — отвечал Сигизмунд Август, — пусть предложит он другие условия. Мы дали прибежище пришельцу и не знаем изменника. Чтя доблести князя Курбского, мы приблизили его к нашему трону и хвалимся его заслугами. Здесь нет московского боярина, вы видите князя Ковельского.

Послы, не возражая королю, подали ему грамоту Иоанна, а приверженцы Курбского с торжеством посмотрели друг на друга.

Наконец московский посол на совещании с литовским канцлером должен был увидеть Курбского, но смотрел на него, как на незнакомца.

— Колычев не узнает меня? — спросил Курбский, приблизясь к нему.

— Я знал Курбского под Казанью, — отвечал Колычов, — и не знаю его в Литве. Я чтит защитника России, но не хотел бы видеть врага отечества.

— Иоанн отлучил меня от отечества. Господь судья ему.

— Измена твоя, — возразил Колычов, — не вредит ни славе, ни счастью великого государя. Бог даёт ему победы; тебя казнит стыдом и отчаянием.

— А вы благоденствуете ли с опричниками? — спросил Курбский.

— Не знаем опричников. Кому велит государь жить близ себя, тот и близок к нему, а кому велит жить далеко, тот и далёк. Все люди божьи да государевы.

Так говорил Колычов по наказу Иоанна; но могло ли быть тайною, что Иоанн, в слободе Александровской со своими опричниками отстранясь от народа и царства, учредил себе обитель, в которой избранные из любимцев его составляли братию, а сам Иоанн был за игумена. Опричники стали ужасом царства; не было пределов и меры их дерзости и самовластию.

Курбский думал, что Иоанн, истощив всю силу укоров в письме к нему, желал знать, как подействовали они; в таком случае, казалось, московские послы могли бы передать царю ответ его отступника. Ответ Курбского был уже готов и начинался словами: «Широковещательное и многошумящее писание твоё принял; послание безмерно пространное и нескладное, не только учёным мужам, но и простым, даже детям на удивление и смех; особенно в чужой земле, где есть люди искусные и в грамматических, и в риторских, и в философских учениях». Краткий ответ Курбского заключался тем, что он хотел и мог бы отвечать на каждое слово Иоанна, но удержал руку, возлагая всё на Божий суд, зная, что неприлично рыцарю спорить подобно рабу.

Никто из послов не дерзнул взять на себя доставление ответа Курбского. Князь должен был ожидать благоприятного случая.

Вскоре Курбский узнал о новых жертвах подозрений Иоанна и искал свидания с королём. Сигизмунд Август занемог сильным припадком подагры; но чрез несколько дней князь был приглашён к нему в гродненский дворец. Королевские пажы сказали ему, что Сигизмунд Август в саду.

Летний день освежался лёгким ветерком; озеро, обсаженное густыми тополями, струилось зыбью; цветы пестрели на дорожках и окружали столбы павильонов. На уступах террасы невдалеке слышался тихий звук лютни; Курбский приблизился; голубые шёлковые завесы между столбами павильона были отдернуты, и в углублении князь увидел короля в испанском платье, отдыхающего на бархатной софе. Облокотись на атласную подушку, Сигизмунд Август дремал; две розы выпали из руки его; на пёстром

агатовом столике лежала виноградная кисть возле большого хрустального бокала, в котором отсвечивалось золотом несколько оставшихся капель венгерского вина. Больная нога Сигизмунда, страдавшего подагрой, опустилась на табурет; у изголовья сидела прелестная певица, тихо перебирая нежные струны лютни и напевая итальянскую баркароллу; птички резвым щебетанием на ветвях, казалось, хотели вторить пению; утомлённый король дремал.

Услышав шум шагов, он открыл глаза и, увидев Курбского, ласково сказал:

— Добрый день, князь. Что наши противники?

— Число их возрастает, государь; дерзость умножается.

— Что делать? Моё правило, любезный князь, терпимость мнений. Ох... подагра в сильном разладе со мной; но не отказаться же мне от ноги. Терпи, любезный князь, и не спорь с ними, чтобы они против тебя меньше шумели на сейме! Но чем закончить нам переговоры с московским царём?

— Время действовать решительно, — отвечал Курбский. — Гибелен плод замедления, теперь или никогда! Собери свои силы, помощь готова отовсюду. Храбрые венгерцы, отважные валахи, немцы соберутся к тебе; не жалею казны. Есть и на Иоанна управа: разбуди опять крымского змея золотым дождём; хан проснётся, и со всех сторон поколеблется престол Иоанна.

Сигизмунд Август обнял Курбского; надежда торжествовать над Иоанном блеснула в глазах короля. Князь возвратился в свой дом довольный королём, но смущённый в душе. Тем не менее, увлекаясь местью, Курбский обратил мысли свои к цели преступных желаний. «Иоанн почувствует силу моих советов», — думал он, и сердце его, обманув совесть, затрепетало от радости.

ГЛАВА XI

Сказка слепца

Александровская слобода представляла Иоанну удобство для уединения, в котором он хотел соединить и богомольство, и свободу разгула. Там-то в особенности Иоанн окружил себя избранными им сберегателями, под именем опричников, отстраняя от себя всех, для него сомнительных, под именем земских. Бояре, недовольные учреждением опричников, изумлены были неслыханным событием. Татарскому царю Симеону Касаевичу, оставленному в Москве, дан был Иоанном титул царя всей России.

— Незачем бы так величать татарина, когда Господь нас избавил от ханского ига, — говорил на вечере князя Ростовского знаменитый земский боярин-конюший, начальник приказа большой казны.

— Оно только для Намёка, Иван Петрович, что земские не в милости царя и не заслужили себе другого повелителя.

— Для шутки ли, для намёка ли, а непригоже Симеона Касаевича честить титулом царя всей России, — сказал старец-боярин. — В Адашево время того бы не было.

— Далось тебе Адашево время! — сказал случившийся тут же князь Горичкий.

— Однако близ сумерек; пора и домой! — сказал боярин-конюший.

— Не пущу, Иван Петрович, не пущу!

— Не отнимай воли, князь!

— Воля твоя, а палаты мои.

— Широка твоя палата, да выходы тесны. В другой раз не приду к тебе. Сули хоть сто золотых кораблеников.

— Аль спешешь к нашему орлу, царю Симеону Касаевичу?

— Перед ним бы и я в орлы угодил! — сказал старец боярин.

Иначе были пересказаны слова его Грозному и шутка перетолкована Басмановым в оскорбление Иоанну. В шумном разгуле пира с опричниками он призвал знаменитого сановника и в присутствии царедворцев, велел возложить на него царскую одежду, венец, посадить боярина на престол и приветствовать как царя. Потом Иоанн приказал казнить старца. И родня, и друзья его, князья Ростовские, Щенятевы, Ряполовский, погибли как его единомышленники, а в боярском списке отмечено: выбыли из разрядов.

Ещё далёк был предел Иоанновой жизни; рок ждал его бесчисленных жертв. Опричники терзали Россию. Дома опальных бояр подвергались расхищению; слуги, сберегатели господ своих, гибли под мечами опричников, налетавших саранчою на селения земских, где всё, чего не могли захватить, истребляли.

С каждым днём становилось страшнее имя опричников. Появление их приводило в ужас народ. Кромешники, как они сами себя называли, предаваясь самовольству, казались воинством тьмы кромешной. Тогда восстал против них новый первосвященник Москвы, предстательствуя за народ; но заступничество добродетельного Филиппа ожесточило Иоанна. Опричники расхищали богатства граждан, увлекали жён от мужей, и на них не было суда и управы. Митрополит ещё раз с твёрдостью возвысил голос

против опричников и перед алтарём, в Успенском соборе, обличил самого Грозного. Иоанн, ударив жезлом о помост, вышел из храма. Курбский услышал, что через некоторое время Филипп был лишён сана; с него сорвали святительскую одежду; на колени его бросили голову казнённого племянника его, Колычева. Наконец, гонимый святитель был сослан в монастырь Отрочь, где ожидал его венец страдальческий. Между тем опричники пировали в слободе Александровской; там веселился и Иоанн.

Он ещё не забыл о прекрасной сестре Сигизмунда Августа; Екатерина была уже супругой Иоанна, герцога финляндского. Подозрительный король, брат герцога, заключил его в темницу. Тогда Грозный вздумал просить шведского короля выдать герцогиню русским послам, назначая это условием мира со Швецией. Жестокий Эрик обещал выполнить его желание и передать ему Екатерину. Грозный готовился быть властителем жребия той, которая страшилась мысли быть супругой его; но скоро Эрик лишился королевства и жизни; герцог, освобождённый из темницы, был возведён на престол, и Екатерина вместо пленницы Грозного стала шведской королевой.

Гонец с этой вестью спешил в Александровскую слободу, где тогда находился Иоанн. За три версты до царских палат остановили его вооружённые опричники на конях, с привязанными к сёдлам собачьими головами и мётлами. Они допрашивали всех идущих или едущих земских, к кому, от кого и кто послан? Проехав длинную улицу, гонец увидел дивный соборный храм и большие палаты, обведённые рвом и валом, как неприступная крепость. В то самое время ударили в колокол; параклисиарх Малюта Скуратов благовестил, и скоро при оглушающем звоне с высокого крыльца средней палаты появились братья дивной обители. Они спускались по мосту к воротам, ведущим через вал, и шли на соборную площадь; головы их прикрыты были тафьями; но под чёрными рясами заметны были кафтаны, блестящие золотом и опушённые дорогами мехами. За ними, опираясь на жезл, шёл в чёрной мантии царь-игумен. Шествие направлялось к великолепному соборному храму, увенчанному разноцветными главами. Несколько тысяч опричников, в блестящих доспехах, собрались на площади перед собором. На них не было чёрной одежды, отличия избранных, но это не мешало им хвалиться, что они принадлежали к опричнине, и с пренебрежением смотреть на земских бояр, вызываемых из Москвы в Александровскую слободу; помахивая мётлами и секирами, они ждали слова на буйный разгул.

— Зачем земские зашли в слободу? — спросил один из них, указав на двух бояр, пробирающихся за гонцом через толпу. — Пусть живут себе в Москве! Мы одни здесь служим царю, грызём врагов его и метём себе Русь!

Узнав от гонца, что шведские послы готовились ехать в Россию, Иоанн велел впустить их в слободу и вдруг повелел отнять всё их имущество, оставляя из милости жизнь. Эта месть казалась ему утешением в досаде, когда он узнал, что Екатерина стала королевой.

Внезапно, в самый новый год (1 сентября), скончалась царица Мария Темрюковна. Носилась страшная молва о виновнике её смерти. Много и других событий взволновало Москву. Опять появились утешители, царские любимцы быстро сменялись одни другими, и между ними взял первенство врач-иноземец Елисей Бомелий. Левкий уже не появлялся у царя. Он изнемогал: царский врач не спас его. Страшен был врач в Бомелии! В чёрных глазах его, углублённых под красноватыми веками, заметны были лукавство и жестокость; он был ещё опаснее, чем казался. Хвалясь знанием сокровенных таинств и тревожась за жизнь Иоанна, Бомелий овладел его доверенностью и указывал мнимых злоумышленников. Князь Владимир Андреевич и его приверженцы презирали Бомелия, но опасно было наступить на змея.

Врач-гадатель обвинял в смерти царицы тайных врагов её и смело указал на Владимира Андреевича, который, готовясь в поход против хана, проезжая через Кострому, был встречен народом с любовью и почестью. Иоанн желал избавить себя от опасений, и через несколько месяцев князь Владимир и супруга его, княгиня Евдокия Романовна, по велению Иоанна испили чашу с отравой. Мать князя Владимира и с

нею вдова князя Юрия, Иоаннова брата, обе уже инокини, брошены были в волны Шексны.

Дни и ночи Иоанна часто шумели весельем, но сон его был возмущаем грозными видениями. Долго иногда он не мог сомкнуть глаз; ночью три слепца рассказывали ему сказки, а утром он отправлялся на охоту с опричниками; тогда целый день раздавались в лесу стук топоров и перекличка охотников, гонявших диких зверей на поляну, заграждённую срубленными деревьями. Отважные ловцы боялись не лютости зверей, а несчастья — прогневить Иоанна. Некоторые из них были предостерегаемы собственными своими прозваниями, данными им взамен родовых имён. Призадумались Неустрой, Замятия; зато смело ожидали случая показать себя Гуляй и Будила и шутили с товарищами, толкуя, кому какое достанется прозвище. Отставшему от других быть Одинцом, не попавшему рогатиной в зверя слыть Неудачей! Но ещё счастлив был тот, для кого неудача оканчивалась прозвищем; иной платил жизнью за пса, измятого медведем. Лай гончих, рёв медведей, терзаемых копьями, крики охотников доставляли развлечение Иоанну, по крайней мере заглушали на время внутренние муки его.

В один вечер, утомясь охотой, он отъехал в сторону от ловчих и увидел обширный опустелый дом князя Владимира Андреевича. Ветер нагонял тучи. Иоанн, желая отдохнуть и укрыться от ненастья, взошёл на крыльцо, поросшее мхом; рынды следовали за ним.

— Прочь от меня! — крикнул он сопровождающим его. — Прочь, я хочу один отдохнуть здесь.

Царедворцы отступили. Он пошёл вперёд и остался в опустелом жилище. Бросаясь на ветхий ковёр, ещё покрывающий широкую лавку, он задремал, но вдруг, пробуждённый стуком, очнулся... Не видя никого и слыша только собственный голос, он вдруг показался себе существом посторонним; быстро озираясь вокруг, он переходил из покоя в покой, никого не встречая; двери скрипели на петлях, и ставни створчатых окон колыхались и стучали от ветра. Иоанн смутился, ощущая присутствие чего-то невидимого; ему стало страшно; он затрубил в рог, висевший на золотой цепи поверх его терлика. Рынды и ловчие прибежали на зов. Скоро он возвратился в слободской дворец, но не скоро мог успокоиться. Страшный мир призраков смущал мысли его. Он начал молиться. Но ему казалось, что Божия сила отринула молитву его. Слова его превращались в глухие, невнятные звуки. Беспокойно бросаясь на одр и прикрыв рукой глаза, он забылся, но какой-то свет проникал сквозь руку его. Он отдёргнул руку, и ему представились отроки в белых одеждах, стоящие у одра его; всматриваясь, он увидел, что свет луны падал на свитки; успокоив мысли, он снова приник к изголовью. Вдруг почудились ему стоны. Тут он снова встал, но всё было тихо. Тогда закричал он:

— Слепой Парфений, иди ко мне! Меня тревожит бессонница.

Парфений поспешил на призыв, прихрамывая и покашливая. Это был один из трёх слепых, которые по ночам рассказывали царю сказки в Александровской слободе. Парфений был псковитянин. Давно носились слухи, что Иоанн гневен на Псков и Новгород, веря наговорам на преданность их Сигизмунду. Парфений, пользуясь правом рассказчика, желал склонить Грозного на милость, сказать ему несколько слов правды.

Бережно опираясь на костыль, слепец стал поодаль царского одра и спросил:

— Какую, великий государь, повелите рассказывать сказку?

— Какую придумаешь, — сказал Иоанн, — я хочу сна и спокойствия.

— С царского позволения, — сказал Парфений, — начинается сказка о Дракуле. Жил был Дракула, — начал Парфений, — мутьянский князь, гневом страшил, а правду любил. Приехал в ту землю купец богатый, из Угорской земли Басарга тороватый; на возу были кипы товара да с золотом мешок. Приустал Басарга с дороги, не близкий был путь, захотелось вздремнуть. Купец богатый оставил воз на площади перед палатой, понадеясь на честных людей, и пошёл отдохнуть. На ту пору человек незванный, неожиданный подошёл к возу, запряметя мешок, взял без спросу. Проснулся купец на заре, спохватился, к мешку

торопился, ни золота, ни мешка не нашёл; Дракуле челом бить пошёл, рассказал всё, как было. Рассердился Дракула и рвёт, и мечет, не что твой кречет, а сам приговаривает: «Ступай, откуда пришёл, твоё золото найдётся в эту же ночь». Забили по городу в набат, скачут, шумят; велел Дракула вора найти, до сумерек привести, а вор догадлив был, и след простыл. Дракуле донесли, что нигде не нашли. Рассердился Дракула и рвёт, и мечет, не что твой кречет, а сам приговаривает: «Срою весь город, если не сыщется золото»; позадумался, принадумался, велел из казны принести золотых монет, ночью в мешок уложить, в воз положить, столько златниц, сколько было в мешке, да ещё лишнюю. Купец Басарга до зари не доспал, взглянуть на воз пошёл, мешок с золотом там нашёл; купец удивился, считать торопился, лишнюю златницу начёл. Купец был честный, не то, что иные бояре, пошёл Дракуле сказать: «Нашёл я своё золото при товаре, да одну златницу лишнюю, и та не моя; прикажи её взять от меня». Дракула купца похвалил, а и вор пойман был; суд ему короток: с золотом на шею мешок, и вздёрнули на крюк перед палатами. Дракула сказал купцу: «Ступай, Басарга! Не миновать бы и тебе крюка; скажи спасибо себе, что цел; лишнего взять не посмел!» Тут купец всполошился, перекрестился, слёзно Бога благодарил: «Слава Тебе Боже, что я честен был!» А Дракула-князь похвалялся; научить честности всех обещался. В том городе, государь, было поле, и через поле то, под горою, колодезь с ключевой водою. Дракула взял чашу золотую, поставил у колодца на колоду; всякой, кто хотел, из колодца пил воду, а до чаши никто не касался, грозного князя боялся. У владыки смотрят сто глаз, а Дракула горазд: хотел, чтобы всякое дело с перелома кипело; было бы всё в порядке; не было бы ни калек, ни бедных, ни тунеядцев вредных; всякой чтобы труд свой справлял, а другим помогал. Не легко тому быть, а у Дракулы наука: казнить да казнить. Нагнал он переполоха на всех валахов; никому спуска не было. Мужу ль жена согрешила, провинилась; в доме небрежно водилось, дети в красне, в хороше не ходили, жену такую казнили. Муж ли поглядывал на чужую жену, мужа казнить за вину. И князь Дракула перевёл столько людей, что на площади его и на палатных дворах, вместо шаров на ограде, торчали головы на железных колах. Вот пришли к нему два черноризца из угорской земли. Дракула угостил их трапезой и, развеселясь, спросил: «Что об нём думают, смышляют, правдимым ли его почитают?» Старший черноризец сказал: «Ты правду утвердить пожелал, но у тебя все вины виноваты; за всё казнишь, не разбираешь, с плевелами и пшеницу вырываешь. Судить вину закон, а иную Бог; человек не без греха, Бог не безмилости. Будешь за всё казнить, не исправишь, на суд Божий ничего не оставишь». А младший черноризец, челом ударя, сказал: «Слава суду государя, правосуден ты и премудр исправитель, Божия суда совершитель». Полюбилось такое слово Дракуле. Старца черноризца велел казнить, младшего казной наделить, а сам встречному поперечному продолжал судить по-прежнему; ещё на думе осталось: дряхлых, увечных всех перевести, а глядь, прибавляется старым веку, там видит хилого, там калеку; ходят, трясутся, худо служат, на бедность да на увечье тужат; придумал разом исправить, чем бы помочь людям таким, что в тягость себе и другим. Велел Дракула клич кликнуть: бирючи скликают, всех увечных и дряхлых сзывают. Со всех концов города собрались, ждали помощи, дождались: их обложили дровами и сожгли у палат пред воротами; от костров вихрь пламя метал, загорелись палаты, и Дракула тут же сгорел; не спознался с дряхлостью, не скучал хилостью. Хороша строгость с разумом, хорошо правосудие с милостью...

Слепой старик досказал тихим, дрожащим голосом свою сказку. На его счастье Иоанн заснул, и слепой, перекрестясь, вышел из государевой почивальни.

ГЛАВА XII

Заступник Пскова

Клевета готовила страшное бедствие Новгороду и Пскову. Ложная грамота, будто бы от имени новгородского владыки к Сигизмунду Августу, подброшенная злоумышленниками, подвигла Иоанна, кипевшего гневом и подозрениями, разрушить до основания гнездо мнимого мятежа. Грозный двинулся с воинством, но поход его должен был оставаться тайною, пока не появится царь перед воротами виновных. Идущие и ехавшие навстречу его ополчению обречены были смерти; селения и города были опустошены в пути его. Тогда-то любимец его, Малюта Скуратов, явился в Отрочь монастырь принять благословение страдальца Филиппа и, выбежав из кельи, сказал инокам, что Филипп задохся от жара.

Страшное полчище, оставляя за собою гибель и опустошение, как туча, остановилось у Волхова. Разгром новгородский продолжался шесть недель. Каждый день казался днём страшного суда; воины Иоанна захватывали всех, кого могли; влекли старцев, жён и детей без разбора пред лицо судьи, столь же немилостивого к невинным, как и к виновным. Он стоял, окружённый опричниками, среди моста над Волховом; на его глазах пробивали застывающий лёд реки и, связывая матерей с младенцами и отцов с сыновьями, бросали с высокого моста в холодную глубину. Страшные стоны слышал Иоанн; алою кровью обрызган был снег на окраинах прорубей; несчастные жертвы бились и, отражаемые баграми, исчезали под ледяною корою реки.

Наконец прекратилась кара над Новгородом. Иоанн, проезжая по улицам, не встречал жителей, которые и не смели показываться на пути его.

Жребий Новгорода готовился и Пскову; граждане бродили, как тени, по улицам; все ожидали смертного приговора.

Иоанн остановился в Никольском монастыре на Любатове, в пяти вёрстах от города. Опричники уже острили свои мечи; не время было медлить тем, которые желали спасения; все граждане собирались перед домом псковского наместника, доброго боярина Токмакова, прося заступления. Но кто мог быть заступником перед грозным Иоанном? С сокрушённым сердцем слушал наместник мольбы их, но ничего более не сказал им, лишь только чтобы они сами себе были заступниками, встретили бы царя с хлебом и солью, чтоб каждый бил ему челом перед своими воротами, чтоб везде по улицам накрыты были столы для его воинов и чтоб смотрели они на несущих им казнь, как на желанных гостей, благодетелей жданных.

В сенях наместникова дома граждане увидели сидящего Николу Салоса, бросились к нему, окружили его со всех сторон; одни орошали слезами его руки, другие целовали его рубище, прижимая к сердцу вериги его.

— Худо, — сказал им Никола, — боялись вы не Бога, а посадника, не совести, а наместника!

— Спаси, спаси нас! — взывали старцы. Матери полагали пред ним детей своих. — Помолись, заступи для невинных младенцев, — кричали они, простирая к нему руки.

Слёзы блеснули в очах Николы, он взял одного из младенцев, благословил его, поцеловал и, подняв высоко, громко сказал:

— Есть Бог Спаситель, есть Господь заступник! Его молитесь, он Него ждите покрова.

И граждане, ободрённые одним словом юродивого, кланялись ему в землю, лобызали ноги его, и

трудно было старцу пройти с крыльца сквозь толпу их.

На другой день, с рассветом, Псков огласился колокольным звоном из края в край города, как будто в радостнейший день. Никого не осталось в домах; все выбежали к воротам, окружая длинные столы, накрытые чистыми скатертями, уставленные праздничными яствами, украшенные, чем кто мог и как кто придумал. Все ожидали одного; сердца всех трепетали прежде, нежели появился он. Иоанн ехал на аргамаке, чёрном как ночь, блестящий царским великолепием, но сурово опустив голову и только по временам взглядывая на обе стороны; взоры его казались молниями для предстоящих, но он видел не то, чего ожидал — никто не бежал от лица его; все преклонились перед ним, все называли его милосердным отцом-государем, как бы радуясь его пришествию; даже младенцы, сложив ручонки свои, кланялись в землю и, наученные матерями, лепетали с детской невинностью: «Отец-государь, будь над нами воля твоя!»

Грозный смягчился. Одним словом, он мог изречь смертный приговор всем сим живым существам, прославляющим его милосердие; но, казалось, остановился в намерении и обдумывал жребий Пскова.

Он не пошёл в палаты наместника, ожидавшего его пришествия, но вздумал оказать эту честь Николе Салосу, которого желал видеть, наслышавшись о его странной жизни и уважая в нём святость добродетелей, прославивших его имя. Он ожидал его встретить в толпе народа, но, не замечая его, повелел проводить себя в жилище Салоса.

— Государь! — отвечал ему наместник. — Никола юродивый не имеет постоянного жилища; прежде проводил он целые дни под открытым небом на куче соломы или хвороста, а теперь проживает в пустой келье Знаменского монастыря, где избрал для себя пристанище, прислуживая юному отроку, приведённому им в монастырь.

— Хочу видеть Салоса, — сказал Иоанн и в сопровождении наместника и знатнейших сановников отправился посетить убогую келью юродивого старца. Сойдя с аргамака перед воротами обители, Иоанн взял у юного рынды хрустальный посох и, опираясь на него, вошёл в святые ворота, но здесь уже ожидал его Никола, держа в руках кусок окровавленного мяса, и поднёс Иоанну с низким поклоном. Грозный царь изменился в лице.

— Я сырого мяса не ем, — сказал он юродивому.

Салос, бросив свой дар, взял хлеб у юного отрока, стоящего возле него, и, подавая Иоанну, сказал:

— Иванушка, Иванушка, покушай хлеба и соли, а не христианской крови!

Если бы в эту минуту лицо Салоса не выражало святого чувства, если бы в голосе его не было твёрдости праведника, ничто, казалось, не спасло бы его от Иоаннова гнева, но царь видел в нём необыкновенного человека, во взгляде его — прозорливость, в словах его — предвещание. Он скрепил порыв гнева и, милостиво подав Салосу руку, сказал:

— Веди меня в келью свою, не отказываюсь от твоего хлеба и соли, не хочу проливать крови христианской.

Войдя в тесную келью, Иоанн увидел набросанную в углу солому, служившую постелью Салосу. На стенах ничего не было видно, кроме старинной иконы Спасителя. Она украшена была вербами, а с другой стороны кельи виден был деревянный примост, занавешанный пологом; возле него стоял простой дубовый стол, на котором два глиняных сосуда служили для трапезы, а рукописная, обветшалая псалтырь — для вседневных молитв.

Иоанн, сев на скамью, спросил Салоса, для чего он держит при себе отрока?

— Хочу наглядеться на него! — отвечал Никола. — Детство его мирно, он тих, как младенец, а кто не

будет подобен младенцам, не войдёт в царствие Божие. Не припомнишь ли, государь, кто сказал это? У меня «слабая память».

Между тем Иоанн внимательно смотрел на отрока; черты лица его казались ему знакомы, и чем более царь глядел на него, тем грознее становилось лицо Иоанна.

— Скажи своё имя! — спросил он отрока.

Юрий хотел отвечать, но юродивый предупредил его.

— Сын земли, — сказал Никола, — пред твоим величеством, которое некогда будет перстью земной.

— Малюта, — спросил царь, обратясь к любимцу своему Скуратову, — на кого походит сей отрок?

— Если верить глазам, государь, он совершенно походит на твоего изменника Курбского.

— Я давно ищу сына Курбского, — сказал Иоанн. — Малюта, что, если зверь на ловца бежит?

— Не давать ему бегу, — отвечал Малюта.

— Не далёк и твой бег! — сказал Салос. — Превозносишься ты, Малюта, и падёшь, как Иванушкин конь. И вы, — продолжал Салос, обратясь к другим царедворцам, — веселитесь за трапезой царской, а не знаете, что для многих из вас и дерево на гроб уже срублено.

— Кто отец твой? — спросил Иоанн Юрия.

— Бог милосердый! — сказал Салос.

— Ты отвечай мне, — продолжал гневный Иоанн, схватив Юрия за руку, и приметил висящий на груди его позолоченный крест. Рассматривая крест, Иоанн воскликнул: — Так, это сын предателя, изменника Курбского! — и яростно взглянул на Салоса.

Никола стоял спокойно перед окном, не обращая внимания ни на кого: он посмотрел на небо и тихо сказал:

— Разразит!

— Я вижу по кресту, в котором хранится часть мощей Феодора Ростиславича; узнаю этот крест, не обманываюсь, сей отрок — сын Курбского.

— Разразит! — сказал Салос. — Конь твой падёт, и всаднику горе.

— Не пугай, безумный! Грозы в феврале не слышать, а будет моя гроза над всем Псковом, и прежде всего да погибнет отродие Курбского! — Сказав это, Иоанн поднял жезл свой, чтобы поразить несчастного Юрия, упавшего пред ним на колени и молившего небо о помиловании.

— Разразит! — воскликнул громко Салос. — Не посягай на Псков; что у Бога возьмёшь, то от себя отнимешь.

Иоанн остановился, услышав отдалённый гром.

— Отец мой! — сказал Юрий, обратясь к Салосу. — Помолись обо мне!

— Отец твой Андрей Курбский, — вскричал Иоанн с порывом яростного мщения, — умри за отца твоего!

В это мгновение сверкнула пламенной стрелой молния и, казалось, пролетела над жезлом. Юрий упал без чувств. Иоанн содрогнулся и отскочил от него, уронив жезл.

— Ещё ль не помилуешь Пскова? — спросил Салос у Иоанна. — Ещё ль не пощадишь невинного отрока? Разразит!

И снова блеснула молния, и второй удар грома, сильнее прежнего, последовал за словами юродивого.

В это время прибежал юный рында сказать государю, что любимый аргмак его пред воротами обители пал.

Иоанн побледнел и, видя вокруг себя трепет на лицах бояр и воинов, поспешил удалиться из кельи с такою поспешностью, что даже забыл свой посох.

— С Богом нет при человеку, — сказал торжественно Салос ему вслед.

С того времени Юрий неотлучно находился при Николе юродивом. С ним вместе странствовал он в окрестностях Пскова, был участником его молитв и посредником благотворений. Салос, собирая дары богатых, отдавал их убогим рукою Юрия. Юноша рос в смирении и благочестии и дивился мудрости того, кого все другие почитали безумным. Научась плести кошницы из гибких древесных ветвей, он работал, сидя на камне среди поля, с таким же удовольствием, как на мягком ковре, слушая рассказы старца, говорившего ему о чудесах неба и земли. Иногда, прерывая работу, Юрий возводил на небо глаза, орошённые слезами любви и усердия к Богу.

— Благодарю тебя, отец мой, — говорил он Салосу, — ты научил меня познавать во всём благодать Божию и любить Создателя; утешительны слова твои, жаждет сердце слушать тебя, моя душа просвещается.

— Свет Божий просвещает всякого, чьё сердце смиренно! Но отвечай мне, счастлив ли ты? — Юрий несколько смутился. Салос продолжал: — Ещё есть в душе твоей семя скорби; память о матери и злополучном отце. Молись о нём, ищи в Боге всего, что утратил, и Бог тебе возвратит.

— Он возвратил мне в тебе, — сказал С чувством Юрий.

— Время переходит, сын мой; были дни, настанут другие. Старец дряхлеет, и Господь велит праху возвратиться в землю; довольно мы шли с тобою рука об руку; будь для других добрым и надёжным спутником.

— Ужели ты хочешь оставить меня? — спросил Юрий, поражённый горестным предчувствием.

— Не оставить, но найти тебя под кровом Божией Матери. Когда увидишь на хворосте ветхое моё рубище, возрадуйся обо мне и иди на восток, на восток и север; среди бурного моря узришь тихий остров, корабль златоглавый в пристани спасительной; над ним лучи благодати небесной. «Здесь!» — скажет тебе Ангел пустыни, и ты пребудь там, услышав сей голос.

Так говорил старец, и Юрий с благоговением слушал непонятные слова его.

Против обыкновения своего, Салос, возвратясь с ним в хижину, сам приготовил вечернюю трапезу; покрыл старый дубовый стол благоуханными липовыми цветами и зелёными листьями, поставил в деревянной чаше сотовый мёд и, вынув из холстинной сумы хлеб и овощи, положил их на стол, благословил и предложил Юрию вкушать яства; после этого, помолясь, поцеловал юношу и, тихо сказав: «Теперь пойду на покой!» — простился с ним.

На другой день Юрий, проснувшись, увидел, что старец уже вышел из хижины. Принявшись за обыкновенную работу, он ожидал его возвращения к полудню, но старец не приходил. Юрий вышел из хижины с беспокойством, спрашивая встречавшихся поселян, не видали ли Салоса; ему отвечали, что Никола утром пошёл на гору к ветхой церкви, стоящей на вершине горы. Юрий, думая, что старец, отслушав утреннюю службу и устав на молитве, прилёг где-нибудь отдохнуть, возвратился в хижину, где дожидался его прихода, не вкушая пищи, до появления вечерней звезды, но уже наступил и вечер, и небо померкло, а Салос не возвращался. Тогда Юрий, сев на лавку к окну, уныло смотрел на появляющиеся

звёзды, и в тишине вечера долго слышалось у окна его тихое пение Божественных псалмов, пока не набежали ненастные облака и не закрыли сияние звёзд; полился дождь. Юрий затворил окно, но в то же время потекли горячие слёзы из глаз его.

С рассветом он уже снова был на горе, снова спрашивал о Салосе, но никто ничего не мог сказать ему. Обходя несколько раз около церкви, он увидел между ветвистых берёз, против алтаря, кучу хвороста; с трепещущим сердцем Юрий приблизился... Рубище Салоса виднелось в хворосте; Юрий раскидал хворост и увидел своего наставника, уже бездыханного...

В тот же день стеклось несчётное множество народа из Пскова и всех окрестных мест к телу юродивого старца. Псковские граждане с жёнами, воины и сановники, все шли, все стремились к гробу Николы Салоса; даже дети бежали из города поклониться ему; сняли вериги, отягчавшие мудрого безумца, и целовали следы их, врезавшиеся в теле его. Тих и светел лежал он пред ними; с мрачною горестию окружали его; но кто в это время скорби страдал более всех? Тот, кто, забытый толпою, в отдалении смиренно молился.

Не долго оставался Юрий в сих местах. Отдав последнее прощание Салосу и помня завет его, он решил немедленно отправиться в путь, и, взяв котомку и страннический посох старца, единственное наследство своего наставника, юноша пошёл на север, склоняя путь и к востоку, по указанию старца. Много прошёл он полей и дубрав, городов и селений, но нигде не чувствовал желания остаться; ничто его не удерживало.

Много дней прошло уже со времени его странствия, и вот однажды летним утром, приблизясь к берегу одной реки, он увидел обширный монастырь, златоглавый, кресты которого, сияя, сверкали лучами солнца из-за деревьев, растущих в ограде. Юрий остановился, любуясь зрелищем: быстро неслись серебристые облачка по лазуревому небу; синяя дымчатая туча разостлалась позади монастыря, на которой ярко выставилась обитель, а над ней радуга развилась огнецветною лентою. Белые монастырские голуби вились около кровли, блестя белизною крыльев, а сизые ласточки перепархивали над рекой, скользя по струям косицами чёрных перьев. Юрий стоял объятый задумчивостью; вдруг он услышал голос: «Здесь», — и содрогнулся при неожиданном звуке. «Здесь, — повторил за оградой стоящий инок, указывая что-то своему послушнику, — над рекою». Но Юрий иначе понял слова эти; он принял их как исполнение пророчества Салоса, как голос небесный, повелевающий остановиться в сей мирной обители.

ГЛАВА XIII

Новая царица

Когда Иоанн, устрешённый словами провидца, спешил в Москву, совесть восстала в нём на его угодников и льстецов; грозная кара началась с приближённых его, и тогда же один из самых лютых опричников, боярин Алексей Басманов, осуждён был умереть от руки юного любимца Иоаннова. К ужасу потомства, это был Феодор, сын Басманова, но скоро погиб бесчеловечный исполнитель страшной воли, не предвидя, что гнев судьбы искоренит и последние отрасли преступного рода Басмановых. Гибли виновные, ещё более — невинные.

На торговой площади, близ Кремлёвского рва, железные когти, разженные клещи лежали на сковородах под строем виселиц; площадь озарялась ярким пламенем костра. Над ним поднимался на железных цепях огромный чугунный чан с кипящею водою. Москва онемела безмолвием; осуждённых влекли на пир смерти. Недоставало зрителей... Трепещущие жители укрывались в домах; Иоанн велел опричникам гнать отовсюду народ на площадь.

— Гойда! Гойда! — кричали опричники, потрясая копьями, выгоняя народ смотреть на суд изменникам.

Между тем крымский хан, отважный Девлет-Гирей, пользуясь смятением Москвы, вторгся в пределы России и быстро, как туча под вихрем, приближался к Серпухову. Ужас овладел Иоанном. Страшась и врагов, и подданных, он с опричниками поспешил в Ярославль. Воеводы готовились к защите Москвы в предместьях, но в светлое утро праздника Вознесения хан зажёл столицу Иоанна. Вихрь поднимал пламя на воздух; Москва со всех сторон занялась, и ад предстал там, где за несколько недель Иоанн тешился муками. Ураган волновал море огня. Сами татары спасались, бросая добычу, и хан бежал от пожара. Солнце надолго исчезло над Москвою в тучах дыма; один Кремль, со святыми соборами, оставался как остров среди необозримого пожарища. Исчезли даже следы любимого жилища Иоаннова. Арбатский дворец его поглощён был огнём; река замкнулась трупами; смерть неслась в вихрях дыма и пламени, смерть ждала в тесноте улиц и подавляла толпы; треск разрушающихся зданий и стон народа слились в один адский гул с рёвом огня. Восемьсот тысяч человек погибли!

Хан, довольный добычею, вышел из России, а Иоанн... заботился об избрании себе новой супруги и невесты царевичу, своему старшему сыну...

Две тысячи прекрасных девиц в богатейших нарядах, дочери бояр и купцов, явились по царскому повелению в Александровской слободе. Всех по очереди представляли Иоанну и сыну его. Каждая девица должна была без покрывала подойти к царю и царевичу и, став на колени, поднести ширинку, шитую золотом. Двадцать четыре были избраны из числа представленных и могли надеяться быть царицами. Из них Иоанн предпочёл трёх: Марфу, дочь новгородца Собакина, Анну, сироту дворянина Колтовского, и Евдокию, дочь Сабурова.

Как три звезды, сияли три несравненные между прекрасных, и долго колебался Иоанн, которую избрать из них. Жизнь играла в юной, пламенной Евдокии; кротость и добродушие были пленительны в чертах Анны; робкие взоры её призывали любовь, а улыбка дышала непорочностью сердца; Марфа казалась как пышный цвет, взлелеянный в неге. Иоанн повелел им стать вместе пред собою. Три девы снова преклонили пред ним колена; румянец стыдливости разгорелся в лице Евдокии; как младенец, тихий

в неведении судьбы своей, стояла, сложив смиренно руки, Анна; с горестию, с трепетом преклонила боязливо чело Марфа, опустив чёрные ресницы пленительных глаз. Иоанн повелел ей взглянуть на него; этот взгляд решил судьбу Марфы. Иоанн нарёк её своею невестою. Слово его поразило её. Она затрепетала, побледнела и, опомнясь, увидела пред собою царские дары. Жемчуг, драгоценные камни, парчи и соболя лежали пред нею в ларцах; юные боярышни окружали её, приветствуя будущую царицу; отец её, купец новгородский, уже в боярской одежде поздравлял со слезами ненаглядную дочь. Иоанн, ещё равнодушный к Евдокии и Анне, снова призвал их к себе и спросил царевича, которую он предпочтёт. Сын Иоанна избрал Евдокию Сабурову; она наречена была невестой царевича.

Приготовлялись к торжеству двух браков. Но Марфа, как роза, надломленная ветром, внезапно стала увядать. Доктор Бомелий объявил, что невеста царя испорчена врагами его, и нашёптывал Иоанну на князя Михаила Темрюковича, брата покойной царицы-черкешенки. Не пощадил Иоанн князя черкесского, не отложил ни казней, ни брака. Красавец, дружка царицы, Борис Годунов должен был веселить свадебных гостей умным приветом; однако ж умный дружка держался меры в шутках, видя, что новобрачный был встревожен, а лицо молодой обличало её болезнь и тоску.

Совершился и брак царевича с Евдокией Сабуровой, но царь на пиршестве сидел угрюм и грозен, а царица в мертвенной бледности казалась блее своего жемчужного ожерелья. Чрез девять дней она перешла с брачного ложа в гроб и предана земле в девичьей Вознесенской обители.

Иоанн, по кончине Марфы, хотел отказаться от мира и, завидуя спокойствию отшельников, намеревался постричься в обители Кирилла Белоозёрского.

— С тех пор, как припал я к честным стопам вашего игумена, — говорил он кирилловским инокам, — с тех пор, как старец, отец ваш, возложил на меня руку с благословением, мнится мне, что я уже вполнину чернец, ношу на себе рукоположение ангельского образа.

Но намерения Иоанна так быстро сменялись, что не прошло и полугода, как четвёртый брак его привёл в смущение святителей церкви и удивил Россию неслыханным событием. Царицею была юная Анна Колтовская; та самая, которая некогда жила сиротой в доме княгини Курбской. По совершении брака Иоанн, склонясь на просьбы благочестивой супруги, созвал святителей церкви, прося смиренно простить вину его и благословить брак; приведённые в умиление смирением державного, святители утвердили брак его, с заветом примерного покаяния.

В это время открылось новое поле славолюбию Грозного. Король Сигизмунд Август скончался в Книшине. С ним пресёкся род Ягеллонов. Тогда-то вся Польша представлялась, как взволнованное море: никогда не было более шума на сеймах. Немецкий император, французский принц, седмиградский князь предлагаемы были в польские короли; папа и даже турецкий султан указывали по своим видам наследника Сигизмунду. Коронный канцлер, Фирлей, промышлял корону для себя, а враги Курбского предлагали призвать на трон царя Иоанна Васильевича.

— Не привлекайте грозы, чтобы она не разразилась над вами, — сказал Курбский.

— Покоритель Казани и Астрахани, — отвечал Евстафий Воллович, — может быть надёжным щитом для нас.

— Он сам отрёкся от славы своей, жалуюсь, что его невольно влекли под Казань. Царства покорены грудью верных вождей его, а чем он воздал им? Гонением, казнями! Выдайте меня Иоанну, если страшитесь его, но не предавайте ему судьбы своей.

— На чьё избрание голос твой? — спрашивали Курбского.

— Изберите того, кто умеет владеть своими страстями, не выводит рода от Августа Кесаря, а велик

душою; воздержан в счастии, твёрд в бедствиях, любит благо людей более себя, чтит правду и закон выше власти своей. Изберите седмиградского князя, Стефана Батория.

Несколько голосов присоединилось к мнению Курбского, но споры о избрании французского принца Генриха или царя московского ещё не умолкали; Курбский, видя волнение умов, уклонился от сеймов, уединяясь в Ковельский замок, но гордая княгиня не решилась отказаться от блеска. Она жила то в Варшаве, то в Вильне.

Наконец поляки призвали на трон французского принца. Генрих Валоа торжественно прибыл и короновался, но во время самого коронования великий маршал Фирлей стал спорить с королём и угрожал уйти из церкви с короною, а через несколько дней, в присутствии короля, один из вельмож бросился с саблею на другого и смертельно поранил третьего, хотевшего отвести удар. Генрих не мог обуздать своеволия. Изнеженный Парижем, он думал только о празднествах, удовольствиях, любовался польскими красавицами, восхищал их своим щегольством; но мятежные сеймы поляков утомляли его терпение. Генрих вздыхал о Франции.

Между тем Москва отдохнула с новою царицею; мрак бедствий прояснялся. Иоанн уничтожил опричнину. И небо даровало ещё радость Иоанну: поражение крымского хана, который, снова вторгшись за добычей в Россию, приближался к Москве, но доблестный Воротынский был её хранителем, разгромил и обратил в бегство татарские полчища. Светло было торжество Грозного. В это время из Франции пришла грамота царских послов о Варфоломеевской ночи, приводящей в трепет потомство. Годунов читал донесение, внимательно слушали царь и бояре весть о страшном избиении гугенотов.

— Кто из христианских государей, — сказал Иоанн, обращаясь к своим сановникам, — кто не будет скорбеть, слыша о таком бесчеловечном кровопролитии! И можно ли верить, чтоб столько тысяч людей было избито в одну ночь?

— Был твой гнев над изменниками, — отвечал Малюта, — но более пяти сот в один день не избивали.

— Ты строг и милостив, — сказал Богдан Бельский, — а король Каролус слабоумен, у него милосердия, нет!

— Безумное дело так губить свой народ, — продолжал Иоанн, качая головою. — Знаю, что меня называют грозным, а вот как поступает французский король не за измену, не за злой умысел, а за то, кто как верует. Оборони Бог от такой лютости! — И лицо Иоанна прояснилось, совесть его успокоилась. При мысли о ужасах Варфоломеевской ночи ему показалось, что он ещё может почитать себя правосудным.

Смерть свела с престола распорядителя Варфоломеевской ночи, и Генрих Валоа, забыв о Польше, торопился возложить на себя корону Франции. Поляки противились отъезду его, но король, дав великолепный пир, в ту же ночь тайно уехал в Париж навсегда. При вести, что король бежал из королевства и отрёкся от Польши, снова начались сеймы и раздоры. Две из сильнейших враждующих сторон провозгласили каждую своего короля. Одни отправили от себя посольство к немецкому императору, другие к седмиградскому князю, Стефану Баторию, с тем, чтоб он женился на старшей сестре покойного Сигизмунда Августа. Баторий опередил императора, пятидесятилетняя невеста, благодаря своим попечителям, вышла замуж, и Стефан получил корону.

Иоанн Грозный негодовал и предавался мрачным мыслям. Страсть, скоро возгораясь, также быстро и охладевает в душах пылких. Он не находил уже развлечения в присутствии Анны; юная прелестная супруга не могла успокоить его тайных страданий, особенно когда внезапные укоры совести потрясали душу его. Безмолвная покорность Анны далека была от соответствия душе Иоанна; только в минуты его исступления, когда страшные призраки пробуждали его от сна, Анна стремилась успокоить его, но безуспешны были её

старания. Кроткая царица скоро увидела, что слова её не проникали в сердце его, как луч солнца скользит от ледяного холма, иногда озаряя, но не согревая его.

Блеск палат, великолепие одежд не радовали Анну. Среди бесед и торжеств она являлась существом чуждого мира. Всё её окружающее казалось ей странными мечтами смутного сна; душа её желала пробуждения, не зная, скоро ль оно настанет. Величие сана и почести, воздаваемые Анне, не изменили её смирения. Она хотела видеть счастливых вокруг себя; благотворить — казалось ей первым благополучием царской власти.

Она сопровождала Иоанна в Новгород, чтоб облегчить жребий несчастных семейств после разгрома новгородского. Едва узнали там о приближении царя с семейством его, архиепископ и всё духовенство поспешили навстречу ему с иконами и крестами. Тогда, по сказанию, в Новгороде было больше церквей, чем дней в году; звон колокольный раздавался по всем окрестностям. Приветные крики у ворот Хутынского монастыря возвестили прибытие державного с царевичами. В ночь приехала царица и на другой день явилась в Новгороде, как ангел милосердия при Иоанне.

Новгородцы, успокоясь от ужасов, уже собирались толпами смотреть на величие и могущество царское. Тысячи стрельцов из разных русских городов стеклись в охранное царское войско. Иоанна окружали два сына его и датский принц, Магнус, русские вожди и бояре, татарские мурзы и царевичи. Они сопровождали Иоанна при выездах; двое оружничих везли шлемы; рынды, в белых глазетных кафтанах, один за другим несли за царём саадак, копье, сулицу, рогатину, сверкавшие золотом и дорогими камнями; когда же царица шествовала в соборы, бедные окружали её, как дети мать. Кроткою и приветливою являлась она приближённым. Добрые граждане не могли насмотреться и на двух царевичей, сыновей Иоанна, когда они шли за отцом. В лице старшего было что-то величавое и суровое; младший опускал глаза в землю, и народ говорил об нём: «Будет смиренник и постник!» Проходя мимо колокольни, младший царевич остановился, что-то сказал сопровождавшему его боярину и пошёл на лестницу. Скоро раздался благовест, и проходящие останавливались, радостно говоря друг другу: «Это благоверный князь Феодор Иоаннович, это царевич благовестит!»

Облако мрачных подозрений ещё всюду носилось перед Иоанном. Он не доверял ни Новгороду, ни Москве. Часто после весёлых и шумных пиров, тревожимый смутными мыслями, он готов был на новые ужасы, если бы не останавливала его супруга. Всё трепетало и безмолвствовало пред ним; никто уж из бояр не смел быть заступником невинно гонимых. Свидетельница бедствий, юная царица решилась стать между Иоанном и его жертвами. Превозмогая робость, кроткая Анна осмелилась противоречить неукротимому властителю.

— Знаю я мысли их, — говорил Иоанн о боярах.

— Один Бог знает тайные помышления, — отвечала она.

— И от меня не укроются! Зачем они угрюмы на пирах моих? У них злое на мысли.

— Не удручай себя опасениями!

— Изменники окружают меня. Разве Курбский не бежал в Литву? И другие хотят передаться врагам моим! Я и без опричников наведу страх на всех.

— Властвуй милосердием. Пусть ни ты, ни тебя не страшатся.

Иоанн гневно взглянул, и слова замерли в устах Анны; она вышла из чертога.

Тщетно думал Иоанн, дав свободу одной страсти, положить предел другой. Один порок увлекал его в другие; но чувствуя, что невольнику страстей нет надежды на блаженство небесное, он впадал в отчаяние, хотел забыться в веселии, и самое веселие его было страшно. Душа его волновалась противоборством

добра и зла. Иногда ещё напоминание веры и голос супруги обращали его к раскаянию и упование возрождалось в душе.

— Если грехи мои, — говорил он царице, — превзошли число песчинок моря, то не покроет ли их пучина милосердия Божия?

По чудному противоречию своих склонностей, то ревнитель благочестия, то нарушитель священных уставов, то невольник своих приближённых, то неумолимый каратель их, созидатель царственного блеска и губитель славы своей, быстро предаваясь всякому влечению воли, он часто не узнавал себя. Ещё труднее было другим узнавать в нём одного и того же венценосца в разных отрезках жизни.

Царица видела безнадёжность своих стараний укротить Грозного; не могла и сама оставаться свидетельницей дел Иоанна без тяжких страданий. В один из праздников церкви, когда ещё в утренний час не раздавался соборный благовест, царица вошла в работную палату Иоанна.

Царь стоял пред широким наложником, облокотился на бархатную наволочку, и рассматривал свитки с разрядами; удивлённый нечаянным появлением Анны, он, нахмурясь, взглянул на неё.

— Прости, государь, если я тебя потревожила, — сказала царица. — Вчера я не дерзала нарушить твоего веселья и думала, что в утренний час тебе свободнее выслушать просьбу мою.

— О чём, Анна?

— О том, что давно лежит на душе моей, позволь мне, государь, исполнить священный долг: я дала обет помолиться о тебе в обители Тихвинской.

— Что заботиться ты о моём спасении, смиренная голубица? Молись о себе, чтоб не попасть в ястребиные когти лукавого.

— Мой жребий в Божией воле, — отвечала Анна. — Господь — защитник слабых, а о тебе, государь, я должна молиться — я супруга твоя; моё счастье в твоём благоденствии. Но я вижу, увы, я вижу, государь, что ты не знаешь спокойствия.

— Кто сказал тебе?

— Ты сам, твои стенания в мраке ночи, смятение в часы молитвы. Содрогаясь, видела я, что тебе чудились призраки. Смутен твой сон!

— Не напоминай мне, — сказал торопливо Иоанн, — что тебе до призраков?

— О, государь, я сама редко смыкаю глаза. Мне чужды вопли и стоны... Ах, дозвожь мне, дозвожь молиться за тебя!

— Молись о себе, — сказал Иоанн супруге, упавшей к ногам его. Но она не слышала его; она рыдала у ног его.

Иоанн задумался.

— Хорошо, Анна, помолись обо мне, — сказал он, смягчаясь.

— О, если бы Бог услышал молитву мою! Если б обратил Он твоё сердце на милосердие! Да осенит тебя Божия Матерь от злых наветников! Не погуби, государь, надежды моей, удали от себя Скуратовых, пощади народ твой!

— Дерзновенная! Кому говоришь ты? — гневно вскричал Иоанн.

— Я несчастна, государь! С младенчества я жила сиротою, но мирно было сиротство моё; ты воззрел на меня, государь; тебе угодно было возложить на бедную сироту царский венец. Не скрою от тебя, что чертоги мне страшны, венец мне тяжёл, я несчастнее здесь, чем в убогом доме отца моего.

— Ты безумствуешь, — перебил её Иоанн.

— Не дивись моему безумию; я плачу не о себе, но о тебе, государь! Что бы ни постигло меня, скажу, что ты должен страшиться Божия гнева. Твои чертоги — вертеп убийств.

Анна произнесла слова эти почти с исступлением. Иоанн, дрожа от ожесточения, схватил тяжёлый жезл. Тогда Анна, став у иконы Богоматери и сложив крестообразно руки на груди, безмолвно ожидала удара.

— Прочь от иконы! — вскричал Иоанн.

— Рази! Невинным открыто небо!

Эти слова спасли Анну. Рука Грозного остановилась. Иоанн не верил себе, это ли смиренная сирота, это ли кроткая Анна, избранная им в супруги, взор его сверкал негодованием.

Бледная, но уже спокойная, как ангел, вся в Боге, мыслию и душою, величественная и смиренная, она стояла под образом, осеивающим её лучами, и грозным казался Иоанну лик Богоматери.

Отбросив жезл, Иоанн начал ходить по чертогу; тогда Анна перекрестилась и, став на колени, поклонилась три раза иконе небесной Заступницы.

— Удались, — сказал тихо Иоанн, — и готовься к отъезду в обитель Тихвинскую.

Царица вышла.

«Откуда дерзость в слабой жене?» — подумал Иоанн и вспомнил, что Анна в сиротстве её была призрена Курбскими. «Это остатки плевел Адашевских! — воскликнул он. — Пускай же обитель будет вечным ей заточением!»

Часть четвёртая

ГЛАВА I

Царица в обители Тихвинской

Зимнее утро белело инеем на высоких главах Тихвинского женского монастыря; звон колоколов далеко разносился в округности; толпы народа теснились на пути к святой обители, ожидая прибытия царицы Анны. Ещё задолго разнеслась весть, что государыня едет из Москвы в монастырь на богомолье, и все жители окрестных мест желали видеть её и поклониться доброй царице.

Снег падал частыми хлопьями, но метель не разгоняла народа, всегда любопытного, всегда усердного к государям. Скоро показались вдалеке широкие сани, обитые пушистыми собольими мехами; в них сидела царица с боярынями; народ раздвинулся и с благоговением приветствовал её радостным криком и желанием благоденствия. Царица кланялась приветливо; сопровождавшие её бояре наделяли бедных страдалцев щедрою милостынею, и вокруг шумел говор народа: «Вот наша матушка, наша царица благочестивая!»

Приятность вида кроткой Анны возбуждала общее удивление, но что-то горестное таилось в самой улыбке её; игуменья и за нею сёстры, шествуя по две в ряд, встретили её пред самой оградой; здесь лик Богоматери, поднесённый инокинями, казалось, призывал царицу под кров свой. Смирненно преклонилась Анна пред чудотворной иконой, и весь народ с умилением последовал примеру царицы — все пали на колена: старцы и дети, бояре и служители их.

Игуменья приветствовала государыню с благополучным прибытием, и Анна вступила за нею в соборную церковь, где мольбы её соединились с молитвами отшельниц и о благе царя и России.

Тихое священное пение раздавалось под сводами храма и проникало душу царицы утешением и спокойствием. Отсюда спешила она посетить кельи сестёр: с каждою из них беседовала и, шествуя по переходу, спросила игуменью о числе живущих в обители.

— Тридцать сестёр, государыня, — отвечала игуменья, — и только одна из них, страждущая болезнию, сестра Глафира, не удостоилась представиться твоему царскому величеству.

— Я хочу сама её навестить, — сказала Анна и спешила войти в келью больной.

Она увидела её на одре; страждущая, сложив руки, преклонила голову пред крестом, следы слёз видны были на ресницах её; тихая молитва вылетала из уст.

Но какое было изумление царицы, когда, подойдя к сестре Глафире, она узнала в ней свою благодетельницу, княгиню Гликерию Курбскую.

Прежде, нежели княгиня могла припомнить черты её, Анна бросилась к ней, схватила её руку и, прижав к сердцу, вскричала:

— Воспитательница моя, где нахожу я тебя?

Княгиня с изумлением слушала её и не понимала этой благодарности, но, узнав, что пред нею сама царица, хотела упасть к ногам её. Анна не допустила этого и заключила её в объятия.

— Неисповедимы судьбы Господни! — воскликнула княгиня, всплеснув руками. — Царица приходит ко мне, и я в ней вижу свою питомицу! Бог возвеличил твоё смирение и утешил меня твоим присутствием.

— Велика ко мне милость Его! — воскликнула Анна. — Когда я ещё увижу тебя. Здесь отраднo душе моей; здесь в благоговейных молитвах прославляется имя Господне!

Наступил час трапезы, и царица, отпустив игуменью и сестёр, пожелала остаться в келье Глафиры.

— Я хочу, — сказала она, — разделить трапезу с той, которая некогда питала меня; желала бы, благочестивые сёстры, поселиться у вас в сей мирной обители; надеюсь, что Бог совершит чистое желание сердца!

Царица осталась наедине с Глафирою и, предавшись чувствам своим, с любовью взяла её руку.

— Мы здесь одни, — сказала она ей, — забудь, что ты видишь царицу; твоя Анна пришла к тебе; благодарю за твои попечения, за твою любовь ко мне; дозволю мне называть тебя по-прежнему матерью. Матушка, я здесь счастливее, нежели в царских чертогах.

Глафира слушала её с удивлением; давно уже лицо княгини Курбской не оживлялось столь сильными чувствами; слёзы умиления катились по щекам её. Хотя ей известно было о необыкновенной судьбе её питомицы, перешедшей из боярского дома на трон, но она не ожидала встретиться с нею в Тихвинской обители и с такими чувствами смирения видеть супругу Иоаннову. Она страшилась за неё и не удивлялась желанию Анны, предпочитавшей тишину монастырского уединения великолепию Кремля.

— Какая перемена, — сказала она государыне. — Я жена изгнанника, ты супруга царя! Но верь мне, я не ропщу на виновника моих бедствий и молюсь за него.

— Ты молишься! — сказала Анна. — О, душа ангельская! Да услышит Бог твои моления. Но нет, мольбы твои обличают его пред Богом. Увы, как изменилась ты! Такой ли я тебя видела?

— Чувствую, что близок предел страданий моих, — продолжала княгиня. — Не жалею о сём, добрая государыня; я жена осиротелая, мать злосчастная; сын мой погиб, супруг мой погубил себя; но я с терпением несу крест; Спаситель нёс его; есть лучшая жизнь, есть лучший мир, там найду я моего Юрия; туда собираюсь я и, пока живу, молюсь за моего бедного супруга и за царя его.

На другой день инокини собрались в келию страждущей сестры Глафиры; она уже не могла вставать с болезненного одра; благочестивые сёстры окружали её с заботливостию; между ними была и царица.

Не одна одежда отличала её от прочих сестёр; её можно было узнать по нежному участию, с каким она стояла у одра больной, подавая ей питьё, отирая пот с чела её, поправляя изголовье; казалось, что нежная дочь стояла пред страждущею матерью. Глафира заметила её слёзы и кротко сказала ей:

— Не тоскуй о нашей близкой разлуке; душа моя уже давно стремится к Создателю; в Его обители нет ни слёз, ни скорби; там просветлеет счастье наше. Сегодня мне представился в сонном видении вертоград красоты неописанной: над ним, как море, разливалось сияние, радуга полукругом обнимала небо от одного конца до другого; над нею блистали несчётные звёзды и солнце; края радуги, касаясь земли, превращались в два светлых источника; от них веяло животворной прохладой; но я лежала среди тёрнов колючих, томясь жаждой и не имея сил подняться с земли. Мимо меня пролетали ангелы и призывали меня лететь за ними. «Нет крыльев и силы!» — говорила я. Тогда они сказали: «Три крыла возносят к небу: вера, любовь и надежда». Тут увидела я инока; он зачерпнул воды из источника и подал мне; я испила, встала с тёрнов, три светлых ангела подали мне венок, и я понеслась в море света.

— Сон твой внушил тебе благочестивые мысли; вчера ты говорила со мною о любви к Богу, о надежде и вере; вчера ты указывала нам радугу после дождя из окна твоей келии.

— Но душа моя жаждет испить от источника жизни вечной; хочу свершить священный долг христианский; призовите ко мне инока ближайшего монастыря принять жертву покаяния и утолить жажду души моей святыми дарами.

— Да подкрепят они жизнь твою! — сказала царица, отирая слёзы.

— Уже я прошла моё поприще, — продолжала Глафира. — Не желай возвратиться мне к жизни земной; двенадцать лет уже, как я обрекла себя Богу; всё принесла в жертву Ему, и скорбь о супруге, и память о сыне.

— В Боге живёт душа твоя, и Его никто у тебя не отнимет, — сказала царица. — Поживи для друзей твоих!

— Разве я не буду жива для них, — спросила княгиня, прижав руки Анны к сердцу, — когда возвращусь к источнику жизни и света?

Скоро пришёл почтенный старец, инок мужского Тихвинского монастыря, в сопровождении юного черноризца, его послушника, несшего священные книги, крест и посох старца.

Исполненная чистейшей веры и твёрдая в святой надежде, Глафира принесла покаяние со слезами любви к Богу. Всё, что колебало её мысли, всё, что смущало её на пути жизни, представлялось ей преступлением пред Тем, кто должен быть единственной целью человеческой любви и желаний бессмертной души.

— Прискорбно мне, — говорила она пред всеми, проливая слёзы покаяния, — что предавалась унынию и не всегда с терпением сносила жребий мой; всё время земных бедствий не есть ли минута пред вечностью? Жалею, что давно не имела сил разорвать оковы земных склонностей, не допуская душу предаваться Богу, волею которого живём и умираем. Прости мне, святой отец, во имя Господне! Простите, сёстры, мои вины пред вами, если чем заслужила от вас нареkanie.

Старец, царица и все присутствовавшие при этом признании, чистой души проливали слёзы умиления.

— Приди ко мне, Спаситель мой! Тебя ожидала я! — воскликнула Глафира, коснувшись устами священной чаши. — Освяти душу мою и спаси меня, помани сына моего Юрия, — прибавила она тихо, — и спаси отца его!

При этих словах молодой инок, который давно уже не сводил глаз с княгини, вдруг изменился в лице, зарыдал и, упав к подножию одра, схватил руку её, воскликнув:

— Благослови, благослови меня!

Княгиня взглянула на него; до того времени не обращала она внимания на окружающих её, предавшись благоговейному чувству, приподнялась, качая головой; сердце её казалось ей воскресшею надеждою; все черты её сына представились ей в лице инок, и она простёрла к нему дрожащие руки.

— Родная! — сказал инок, преклонясь до земли.

— Ты сын мой! Юрий... Спаситель мне возвращает тебя.

Она с трудом дышала; лицо её изменилось от сильного волнения, она опустилась на одре и несколько времени лежала безмолвно; но прежнее спокойствие скоро появилось в лице её; чистая, небесная радость оживила черты.

— Благословляю Провидение! — сказала она, возведя взор к небу и сложив руки с благоговением. — Бог возвратил мне в тебе отраду жизни моей. Ты закроешь глаза матери!

Все присутствовавшие были поражены этим неожиданным случаем; их судьбой, разлучившей мать и сына и соединившей теперь в стенах Тихвинской обители.

— Прошу, да скроется в стенах этих тайна возвращения сына моего, — сказала княгиня, обратясь к окружающим. — Умоляю вас священными тайнами божественных даров; от этого зависит спасение жизни его.

Всё единодушно дали обет в молчании. Тогда Глафира пожелала узнать всё случившееся с Юрием после разлуки их.

Рассказ его ещё более воспламенил в душе Глафиры удивление и благодарность к неисповедимому промыслу Всевышнего.

Уже приближался вечер. Тихо катилось на запад блестящее светило. Инокینی, считая шестнадцатый час дня, спешили к службе вечерней; одна царица оставалась в келье княгини, ожидая её пробуждения.

Глафира открыла глаза и искала взглядом сына. Юрий приблизился.

— О, сколь утешена я! — сказала она тихо, едва внятно.

Юрий с прискорбием заметил, что последние силы её исчезли и жизнь готова была угаснуть.

— Сын мой! — продолжала она, стараясь возвысить ослабевающий голос. — При конце жизни моей, заклиная тебя! Предав прах мой земле, вспомни, Юрий, об изгнаннике, отце твоём! Я знаю, что он живёт в Литве, пользуясь почестью при польском короле; знаю, — повторила она вздохнув, — что он уже супруг другой жены; но он несчастлив, сын мой; не может быть счастлив! Иди к нему, утешь его; ты ещё не связан обетом инок... и принеси ему последнее прощание твоей матери.

— О, родительница, благослови меня в путь, — сказал Юрий, и мать осенила его крестным знаменiem и призывала на него благословение Божие. Сделав последнее усилие, она простёрла руку к подошедшей царице, и слеза выкатилась из глаз её.

Это была последняя слеза; взор её обратился на небо; она вздохнула и тихо скончалась. Царица и Юрий упали к ногам её. Заходящее солнце, освещая уединённую келью Глафиры, скрылось, и последний луч его исчез с её отлетевшею душою.

Возвратившиеся от вечерних молитв инокینی застали уже сумрак и безжизненное тело сестры их, счастливой страданием и кончиною. Судьба её свершилась; не осталось и следа её скорби; тогда-то поняли предстоящие ей всё благо земных бедствий, всё достоинство великодушия, всю святость терпения.

Вскоре после этого горестного события царице донесли, что в обитель прибыл из Москвы боярин Шереметев с царским словом. Анна спешила услышать что-нибудь неожиданное. Шереметев почтительно поклонился ей. Царица, заметив его смущение, предупредила его ласковым словом.

— Прости, государыня, если опечалю тебя, — отвечал Шереметев. — Бог посылает тебе испытание.

— Какое? — спросила с твёрдостью Анна. — Я покорна воле Всевышнего.

— Супруг твой, великий государь, царь Иоанн Васильевич, присудил тебе, государыня, остаться в Тихвинской обители и посвятить себя Богу.

С радостью и недоверчивостью слушала Анна и заставила Шереметева повторить слова его.

— Услышала меня Пресвятая Владычица! — воскликнула она, повергшись на колена. — Ты приемлешь меня под свой благодатный покров.

С умилением смотрел на неё Шереметев. Как чист был этот порыв непорочной души к Богу; в какой красоте представлялась царица, предпочитающая всему венец небесного царствия. Тяжкое бремя спало с

души её. Земное уныние исчезло; душа её, в смиренной молитве, свободно возносилась на крыльях любви к Богу.

В невыразимом благоговении стоял Шереметев, устремив на неё взгляд. С светлым лицом обратилась к нему Анна и, сняв с себя золотую цепь, подала ему ласково.

— Отвези от меня сей дар супруге твоей, а государю скажи о моей благодарности за его милость ко мне.

Шереметев подал царице роспись выдач, назначенных ей в обители из царской казны. Анна, видя новый знак покровительства Божия, тогда же определила сей дар в жертву благотворениям.

— Донеси государю, — сказала она, — что его дар благословится многими. Будь свидетелем моего обета Богу.

Призвав игуменью и сестёр, Анна объявила им с радостью о неожиданной вести. Удивление, прискорбие и удовольствие благочестивых сестёр так слились в душе их, что они сами не могли постигнуть чувств своих.

Вскоре совершился священный обряд пострижения. С этого дня Анна приняла в инокинях имя Дарии и уже смотрела на обитель как на вечный приют свой.

— Государыня! — сказал Шереметев, прощаясь с нею. — В одежде ангельской вспомни и о нас в молитвах твоих.

— Прости, Шереметев! — сказала новоназванная Дария. — Поклонись царю и Москве. Теперь, — продолжала она, весело обратясь к окружающим её инокиням, — теперь мы не расстанемся.

Шереметев, садясь на коня у ограды, слышал, как тихое пение раздавалось в стенах святого храма. Боярин ещё долго прислушивался: оно казалось ему пением ангелов, радующихся спасению души человеческой; он не мог знать, что спустя полвека в Тихвинской обители ещё будет молиться старица Дария; что шведы разрушат монастырь Тихвинский, и царица-отшельница будет скрываться в дремучем лесу, но когда русские изгонят пришельцев, Дария возобновит обитель великолепнее и обширнее прежнего. Он не знал, что юный родоначальник нового державного поколения Романовых, Михаил, успокоив Россию, вспомнит о смиренной вдове Иоанна Грозного и, желая почтить в дни брачного своего торжества, пошлёт ей богатые дары и примет её благословение.

Юрий спешил исполнить завет матери, но судьба поставила преграды его стремлению. Он вышел из Тихвинской обители, но война помешала ему достигнуть литовских пределов. Три года провёл он, странствуя по обителям Псковской области. Щедрая помощь царицы Анны обеспечила его в пути.

Проходя как-то лесом, Юрий внезапно был окружён отрядом ливонских наездников. Они ограбили его и хотели бросить в овраг, но жизнь его спасена была отрядом дружины псковского наместника. После долгого пути, терпя нужду и бедствия, Юрий изнемог и принуждён был ещё на год остаться в Пскове; укрепясь там в силах, он снова пустился в дорогу.

В Юрьеве остановился он в доме одного из зажиточных граждан, но не хотел долго оставаться в городе, где многое напоминало ему жизнь при отце и горестное прощание с ним в ночь его бегства. Хозяин дома, человек радушный, хотя угрюмой и некрасивой наружности, сам пригласил под кров свой русского инок; молодая хозяйка ласково встретила пришельца, а дети, игравшие при входе незнакомца, с удивлением смотрели на его одежду и с робостью прижимались в угол. Заботливая мать, подозвав их, шутила над боязнью их, а отец внимательно смотрел на Юрия.

— Мне кажется, Минна, — шепнул Вирланд жене, — что лицо его напоминает того русского князя, который был грозой нашего края.

— Князя Курбского? — спросила Минна.

Юрий не без замешательства услышал это имя, опасаясь быть узнанным, но догадки хозяев далее не простирались, разговор перешёл на другое.

— Я люблю русских, — продолжал Вирланд. — Под властью их край наш спокойнее, но время ещё опасно. Царь московский, короли польский и шведский грозят нам и спорят, деля Ливонию, а, на беду, ещё напугал нас грабитель Аннибал Шенкенберг. Этот злодей подчас налетит неведомо откуда, пропадёт неизвестно куда. В лесах видят и слышат его, но до сих пор не поймали.

Юрий рассказал о случившемся с ним, и по описанию его Вирланд в предводителе узнал Шенкенберга, некогда бывшего прислужником в Тонненберговом замке.

К радости юрьевских граждан, скоро открыли убежище разбойника. Шенкенберг был захвачен дружиной псковского наместника и приведён, скованный, в Юрьев. Толпы жителей окружали его с боязнию. Простолюдины почитали его чародеем, а по злому его виду, курчавым волосам и оскаленным зубам принимали за лукавого духа. Немцы хотели было забросать его камнями, но он уцелел под воинскою стражею, пока не отослали его в Псков, где в страх грабителям он изрублен был мечами.

Ещё несколько месяцев война преграждала пути к ливонской границе, но скоро заключили перемирие, и Юрий смог отправиться к цели своего путешествия.

ГЛАВА II

Ковельский замок

Польша изменилась с избранием в короли Стефана Батория. Война с Москвией была на сейме главным условием королевской короны. Курбский желал представиться новому королю, уважая в Стефане мужа благодушного и просвещённого. Баторий, любя славу мужества и высокий ум, оставил Курбского в числе первостепенных вельмож и даже заочно почтил его своей приязнью. Счастье снова улыбнулось Курбскому.

Прошло около года. Новый король прибыл в Вильно, и Гетман Замойский известил Курбского, что король надеется видеть его на торжественном акте виленской академии, открытой по повелению Стефана.

Множество посетителей собралось в обширной академической зале, но первый ряд широких, с позолоченною резьбою кресел ещё не был занят. Ученики в коротких чёрных епанчах стояли строем, шёпотом ободряя один другого и проверяя в памяти латинские речи, которые они должны были говорить знаменитым посетителям. Пред ними с заботливым вниманием стояли иезуиты, наставники их, надеясь блеснуть их успехами перед королём, своим покровителем. Благодарность их поместила на стене залы изображение короля, как виновника их празднества. Курбский вместе с другими подошёл к этому изображению. Польские воеводы, указывая на портрет мужественного короля, хвалились, что он в битве храбрее всех, старый сенатор прибавил к этому, что нет благоразумнее сенатора и учёнее законоведца, как Стефан Баторий. Одни хвалили его набожность и добродушие, другие — простоту и приятность беседы.

— Правда, правда, — сказал князь Радзивилл, — он во всём король; в нём и сила королевская; он на охоте и льва одолеет.

Так говорили о Стефане Батории. Вдруг грянула музыка и раздалась торжественная песнь; всё собрание встало, почтительно приветствуя короля.

Стефан Баторий благосклонно окинул взглядом окружающих. Он был среднего роста; в широких плечах его угадывалась сила, лицо было смугло, но вид его не был суров; в нём сияли сановитость и ум, а когда говорил он, весёлая улыбка украшала речь его и можно было любоваться его зубами, белыми как жемчуг. Его сопровождали великий гетман Замойский и Сандомирский староста Пенкославский. Замойский, увидев Курбского, поспешил представить его Баторию.

— Нам приятно, — сказал король, — встретиться в обители мирных наук.

— Здесь имя Стефана Батория так же славно, как и на полях войны, — отвечал Курбский.

— Война не должна мешать просвещению. Лавры — украшение меча, — сказал Баторий. — Посмотри, князь, на успехи моих питомцев.

Выслушав приветственную речь на латинском языке, король с удовольствием слушал перевод записок Юлия Цезаря. Стефан знал почти наизусть записки его и, помогая в объяснении ученику, сказал ему:

— Учись, учись, молодой человек, я тебя сделаю паном!

Оглянувшись на Курбского, внимательно слушавшего объяснение, король спросил:

— Я слышал, князь, что и ты любишь латинский язык?

— Государь, это язык великих людей и великих писателей.

— Хорошо учиться ему в академии, а для меня изучение . было труднее, но я благодарен немцам, что понимаю Юлия Цезаря.

Баторий намекал на трёхлетнее своё заключение, когда ещё в звании Сигизмундова посланника он был задержан при венском дворе и не унывал в заключении, читал Тацита и выучил наизусть записки Юлия Цезаря.

— Цезарь много помог мне, — продолжал Стефан. — Это наставник-полководец. Учись, молодой человек, по-латыни, — повторил король питомцу, — я тебя сделаю паном.

На другой день Курбский по назначению короля был на совещании во дворце.

— Князь! — сказал ему Баторий. — Крымский хан просит меня, чтобы ты был вождем полков его. Зная твою храбрость, я не дивлюсь его просьбе и предлагаю тебе согласиться. Ты будешь полезен нам.

— Государь, — отвечал Курбский, — я страдаю от недугов прежних ран и скорее положу под меч мою голову, чем буду служить под знаменем неверного против земли христианской. Пощади меня, не увеличивай вины моей пред отечеством.

Король понял его чувства и не возобновлял своих требований. Отпущенный благосклонно Баторием, Курбский возвратился в Ковель.

Был тихий вечер, солнце садилось за холмы, розовое сияние разливалось по струям реки и, как пурпуровая фольга, отражалось в окнах отдалённого здания, когда молодому путнику открылись при повороте за холмом белеющие башни Ковельского замка, они гордо поднимали верхи свои над рощею, и флаг с гербом владетеля замка, с изображением льва среди венка из цветов, высоко развевался в воздухе. Сквозь просеку тянулась песчаная дорога к железным воротам каменной ограды. Юрий с трепещущим сердцем приближался к ней и за несколько шагов от ограды повстречал привратника.

— Кому принадлежит этот замок? — спросил он, поклонясь привратнику.

Викентий с удивлением посмотрел на него. Ему странно было видеть молодого человека в одежде русского инока, идущего в Ковельский замок, где собирались только учёные польские паны.

— Это замок ясновельможного князя Ковельского, Андрея Михайловича Курбского.

— Друг мой, — сказал Юрий. — Доложи вельможному князю, что русский черноризец просит пристанища в замке; я иду далеко, но ослабел в пути и боюсь захворать.

— Нам не до русских монахов, — сказал грубо Викентий, — мы ожидаем сюда короля, Стефана Батория.

— Мне немного надобно места в этом обширном замке, — возразил Юрий. — Какой-нибудь угол в одной из башен, прошу тебя, скажи обо мне твоему господину.

— Прежде надобно сказать дворецкому Флавиану; подожди меня у ворот, я тебе дам знать.

Привратник удалился, и сердце Юрия исполнилось невыразимым чувством. «Боже! — говорил он мысленно. — Здесь ли я увижу отца моего, под этим ли кровом обитает князь Курбский? Вот замок, принадлежащий ему. Наконец, через пятнадцать лет разлуки, я увижу отца; но что свершилось со мною и с ним? Где встречу родителя? Узнает ли он сына, пришедшего к нему с последним прощанием злополучной матери? Уже другая носит имя княгини Курбской. Отец, не лиши меня любви твоей: я оставил святую обитель, исполняя волю родительницы, я пришёл упасть в твои объятия и утешить твоё болезненное сердце!»

Привратник возвратился и сказал ему, униженно кланяясь, что князь Ковельский приглашает его, радуясь, что может дать пристанище русскому. Юрий последовал за ним и, чувствуя слёзы, скатывающиеся

из глаз, отирал их украдкой.

По каменному крыльцу, ограждённому мраморными перилами, Юрий вошёл в сени; на четырёхугольном столбе прикреплённый троеручный светильник озарял путь под тёмными, высокими сводами. Отворив дубовую дверь, Юрий очутился в обширной комнате, в которой прислужники чистили оружие, а богато одетый дворецкий важно расхаживал, поправляя усы, и внимательно оглядел с головы до ног пришельца.

— Ясновельможный князь ожидает вас, — сказал он Юрию. — Идите прямо через залу.

Юрий вошёл в залу, стены которой убраны были разными украшениями из кедрового дерева и представляли взору его множество портретов польских королей и прежних владельцев Ковельского замка. Чёрные бархатные кресла, с позолоченною резьбою и шитые золотыми травами, стояли в углублении залы, а примост у высоких окон устлан был богатыми цветными коврами; у одного из простенков на мраморном столе стояли часы в серебряной пещере, у которой медный геркулес, подняв палицу над девятиглавою гидрою, при каждом бое часов ударял её в голову, по углам стен висели блестящие рыцарские вооружения.

Юрий быстро окинул взглядом залу, проходя в следующий покой. Там при свете лампы, горевшей пред иконой Спасителя, возле круглого стола из чёрного дерева он увидел сидящего в широких, обитых парчой креслах, величавого, угрюмого человека; смуглое лицо его изрезано было рубцами и морщинами, но ещё сохранило выражение возвышенного ума и благородной души; седые волосы его свидетельствовали не преклонность лет, но силу скорби, убелившей безвременно его голову. Юрий ещё мог узнать в нём отца своего, пережившего бурю злосчастия, но в то же время подумал: «О Боже, Боже! Как меняется человек!»

Юрий скрепил все силы души своей, чтоб не вдруг открыться пред отцом, но испытать прежде чувства его и узнать, чем можно успокоить его преклонные дни. Он почтительно поклонился князю, который обратил на него быстрый, внимательный взгляд.

Неизъяснимое чувство исполнило душу Курбского, что-то влекло его к молодому иноку. Безмолвствуя в душевном волнении, поднялся он с кресел и, не сводя глаз с пришельца, подошёл к нему, взял его за руку, и рука его задрожала, он сжал её с нежным участием и сказал:

— Добро пожаловать, единоземец, пришелец с русской земли! Какие вести принёс ты мне о моём любимом отечестве?

— Я странник, светлейший князь, и пробираюсь в Литву повидаться с родными, мы молимся о России и храбрых её защитниках, а не знаем дел светских, но ослабел я в трудном и долгом пути: прошу дать мне пристанище под кровом твоим.

— Благодарю за посещение твоё, радостно мне услышать здесь слово со святой Руси, но разве, юноша, я известен тебе, что ты ко мне обратился?

— Имя твоё помнится землёю русскою, — отвечал Юрий. — Ещё отцы твердят о твоей храбрости детям, престарелые воины ещё вспоминают о любимом вожде их.

— Друг мой! — прервал с живостью Курбский. — Для чего вспоминают они? Память моя покрыта позором, я здесь беглец и изгнанник. Не упрекают ли меня русские?

— Они знают, — отвечал Юрий, — что ты любил Россию и проливал кровь за отечество, они оплакивают твоё бегство и судьбу твою.

— Так, юный инок! Ты справедливо сказал: среди блеска, меня окружающего, судьба моя достойна слёз! Забудь, что ты видишь князя Ковельского; обними меня, единоземец! Дай прижать Курбскому хоть

одного русского к осиротелому сердцу; помолись обо мне, инок, чтоб Бог простил мне вину пред отечеством. Не против России восстал я, — прибавил Курбский со вздохом. — Отдохни в замке моём, дворецкий мой отведёт тебе светлый покой. Там найдёшь ты и святые иконы, и летописи, если есть охота знать события веков прошедших. Пользуйся моею трапезою и останься у меня, сколько пожелаешь; чем долее, для меня приятнее.

Юрий поклонился князю и быстро вышел, чтоб не зарыдать и не броситься в объятия родительские.

Прошло несколько дней, и все в замке говорили о необыкновенной ласковости князя Ковельского к юному иноку, иные подозревали в этом тайные сношения князя с Россией, другие были уверены, что Курбский так благосклонно принял его или по набожности из уважения к духовному сану, или по любви к отечественным летописям, над коими трудились иноки. Курбский почитал за драгоценность духовные книги, почему и подумали, что юный инок доставил ему какую-нибудь любопытную рукопись.

Между тем, как ожидали в замке прибытия князя Константина Острожского и самого Стефана Батория, обозревавшего Волынию, внезапно удивил всех нечаянный приезд княгини Елены Курбской. Её сопровождали Иосиф Воллович и множество пажей.

Князь встретил её в зале с холодной учтивостью.

— Чего ожидать нам с прибытием вашим, княгиня? — спросил он. — Ковельский замок не представит вам тех приятностей, какие вы находите в Дубровицах: здесь уединение, там шумная весёлость.

— Не для веселья прибыла я сюда, — отвечала гордо княгиня, — но чтоб положить предел огорчениям. Согласитесь, князь, что титул княгини Курбской мне в тягость; я намерена здесь ожидать прибытия короля и просить его быть между мною и вами посредником. Между тем любезный брат мой Иосиф, — продолжала она, указывая на младшего Волловича, — позаботится развлечь мою скуку чтением рыцарских повестей или игрою на лютне.

— Охотно желаю, княгиня, — отвечал Курбский, — чтоб игра молодого певца заставила вас позабыть угрюмость старого воина.

— Нет, князь, — отвечала Елена, — не изнеженные звуки любила я, но песни победы и славы; не русского князя избрала я супругом, но храбрейшего воеводу, которого великие подвиги, справедливые или вымышленные, привлекли к нему моё сердце. Я желала приобрести в нём героя моему отечеству, обманулась я, князь, жестоко обманулась! Герой мой читает библию и вздыхает о суете мира...

— Княгиня, было время, когда рука моя не утомлялась победами, бедствие привело меня в Польшу: здесь почтили заслуги воина; блеск ума и красоты в спутнице моей жизни дал мне надежду забыть горестную судьбу мою, и я обманулся, княгиня, жестоко обманулся! Я узнал, что не довольно одного блеска для счастья; есть время, когда душа стремится к другим чувствам, призраки света, ещё уловляющие ваше внимание, рассеиваются перед моими глазами. Желаю, чтоб вы долее верили им, долее обольщались приятными мечтами о счастье; моё счастье погибло, вот почему я уединился под ковельскими сводами, предоставляя вам роскошь и пышность в Дубровицах.

— Простите, князь, за беспокойство, которое я нанесла вам своим присутствием, надеюсь, что беседа русского монаха рассеет ваше уныние.

Поклонясь князю, Елена поспешно удалилась в отдельные покои замка, которые оставались пустыми в её отсутствие и назначались для виленского пана Иеронимова, бывшего с князем в приязни.

Елена недолго оставалась в Ковеле. Несколько дней ещё её удерживала надежда встретиться с королём. Но, узнав, что Баторий, отзываемый важнейшими обязанностями, отменил намерение прибыть в Ковель, княгиня скоро отправилась, оставя Курбского с другом его, князем Константином Острожским.

Часто оба они, сев на коней, проезжали по холмам около берегов Горыни, а иногда на ладье неслись по извилинам Турин, обозревая окрестности Ковеля и беседуя о любимой теме Курбского — ограждении православия от новых учений.

Победы Иоанна Грозного обратили Курбского к другим мыслям. Иоанн вступил с войском в Ливонию. Молодой супруг царской племянницы, датский принц Магнус, был избран к покорению Ливонии, с титулом ливонского короля. Многие города сдались Магнусу, но, легкомысленный, он располагал быть полным властелином Ливонии, тогда как Иоанн считал её своим приобретением. Скоро открылось, что Магнус, чтоб сохранить себе королевский титул, замышлял отдаться в покровительство Батория. Иоанн вызвал его к ответу, но в Вендене оставалось много приверженцев Магнуса. Они запёрлись в замке и не сдавались. Страшась Иоанна более смерти, они взорвали на воздух древний замок и погребли себя под его развалинами.

Иоанн торжествовал победы свои в том самом Вольмаре, где некогда спасался Курбский от гнева его. Иоанн вспомнил Курбского и с пленным литовским сановником, князем Полубенским, послал к нему новую грамоту. После полного своего титула, смиренного сознания своих беззаконий и надежды на Божию милость Иоанн укорял Курбского и за ласки семейству Курлятева, и за мысль возвести на царство князя Владимира, и за многое, в чём подозревал его. Представляя промысл Божий в победе своей над Ливониею, он писал: *«Бог даёт власть, кому хочет, и без тебя побеждаем! Где ты думал укрыться, мы тут. Бог нас принёс на покой твой, и мы прошли далее твоих дальних городов, а ты ещё далее бежал от нас! Рассмотря дела свои. Не гордясь пишу тебе, но к напоминанию исправления, чтобы помыслил ты о спасении души своей».*

Среди блистательного собрания у князя Ковельского неожиданно разнеслась весть, что прибыл гонец от царя московского с грамотой к Курбскому. Гости его были удивлены, и общее любопытство обратилось к царскому посланнику. Это был высокий, смуглый казак, весёлого и добродушного вида.

Курбский рассматривал грамоту с заметным смущением, но, желая скрыть свои чувства, стал расспрашивать казака о его походах.

Бурнаш, так назывался вручитель грамоты, перебивал во многих странах, был и в Мунгалии, и даже в Китае.

— Да, — говорил он, приосанясь и поглаживая бороду, — великий государь посылал меня с товарищем, атаманом Петровым, проведывать иных государств, где какие люди и обычаи, и ездил я от Бухары до моря.

— Что же видел ты в Мунгалии? — спрашивали окружающие.

— Видел города: строены на четыре угла, по углам башни, дворы и палату кирпичные, а кровли разноцветные, храмы клином стоят, а наверху звери, неведомо какие, все каменные.

Курбский усмехнулся.

— Я и внутри был, — продолжал Бурнаш. — Против дверей высоко сидят болваны каменные, все золочёные, и пред ними свечи неугасимые. А моление мунгалов: поют в две трубы превеликие, как затрубят в трубы, да забьют в бубны, и припадут на колени, всплеснут руками, да расхватают руки и ударятся о землю, лежат с полчаса недвижимы, а запоют, страх человека возьмёт!

Много ещё рассказывал Бурнаш, но гости недоверчиво переглядывались, думая, что, по обыкновению путешественников, он мешает быть с небылицами.

Курбский, оставшись наедине с Иеронимовым, одним из любимых своих гостей, с досадой перечитывал письмо торжествующего Иоанна.

— Ты решил отвечать? — спросил Иеронимов.

— Ответ готов в мыслях моих.

— Каким величанием ты почтишь Иоанна?

— Страннику не до величаний. Скажу, что лишнее убогому князю Ковельскому исчислять титула державного, что простой воин недостойн прислушать ухом исчисление грехов его, но дал бы Бог, чтобы покаяние его было истинное, а не хромало на оба колена, спотыкаясь на унижение и на гордость. Лукавый научает каяться только устами.

— Думаю, что ответ твой будет пространен, — сказал Иеронимов.

— Нет, сокращу моё письмо, скажу, что не должно воинам тратить слова, как рабам, да и сам он видит правду слов моих; пред ним голод, мор, меч, послы гнева Господня. Под Тулой, под Казанью мы платили дань саблями в главы бусурманов, а теперь Иоанн хоронится от татар по лесам с кромешниками. Он укоряет, что я восстал на Русь; но и Давид, гонимый Саулом, принуждён был с языческим царём воевать землю израильскую, а я предался королю христианскому. Давно готов мой ответ на письмо Иоанна; но затворил он русское царство, а теперь будет случай послать к нему и прежнюю грамоту с письмом королевским.

Курбский убеждал Иоанна не писать более к чужим подданным и заключил свой ответ словами: «Сокращаю письмо моё, чтоб не было подобно твоему; не хочу более спорить с твоею высокостью. Лютость гнева твоего устремляет в нас огненные стрелы свои издалика и вотще».

Отправляя ответ свой, Курбский с горестью вспомнил о Шибанове, который в Москве ненадолго пережил свои страдания.

ГЛАВА III

Курбский в Полоцке

Несогласия Курбского с княгиней побудили Стефана Батория призвать его в Варшаву, где родня и приверженцы Елены старались возбудить против него негодование короля. Но Баторий не изменил к нему благосклонности.

— Угадай, князь, — сказал король шутливо, — что принудило меня вызвать тебя из ковельского затворничества? К моим воинским заботам, по спору с Грозным, прибавилось ещё междоусобие в моём королевстве. Да, князь, междоусобная война между мужем и женою. Тут надобно быть вторым Соломоном, чтоб разрешить, кто прав, кто виновен. Помоги советом рассудить это дело.

— Государь, сохраните справедливость, это ваш долг и надежда подданных.

— Закон и правду я чту выше власти моей. Тебя обвиняют, князь.

— Кто мои обвинители?

— Жена твоя, её братья и родственники.

— Я не имею нужды в оправдании против них. Княгиня преступила долг доброй жены, Волловичи, её поклонники и любимцы, враждуют со мной. Пора положить предел нареканиям их.

— Послушаем и противную сторону! — сказал король, и по звону колокольчика отворились двери приёмной залы. Курбский с удивлением увидел княгиню Елену и братьев её.

— Ваше величество! — сказала княгиня. — Будьте защитником прав моих! Не хочу называть мужем моим человека, который хотел видеть во мне невольницу, отлучить от света и общества, чтоб заключить меня в замке, где он живёт нелюдимом.

Иосиф и Евстафий с жаром защищали княгиню, упрекая Курбского в неблагодарности к супруге.

Княгиня продолжала обвинения, Курбский напоминал ей забвение её обязанностей.

— Вижу, — сказал король, — что трудно согласить вас, но желаю знать, чем прекратить несогласия?

— Избавьте меня, государь, от титула княгини Курбской, — сказала Елена. — Моя холодность к нему перешла в ненависть. Пусть расторгнут союз, за который я вечно буду винить себя.

— Он расторгнут виновницей, — возразил Курбский. — Я возвращу ей приданое. Пусть ей останутся Дубровицы, а мне спокойствие.

— Будет ли спокойна совесть того, — спросила Елена, — кто изменил отечеству? Чего и нам ожидать? Он почти отрёкся от оружия, и на сеймах не слышать его голоса!

— Княгиня! — сказал король. — Советы князя Ковельского мне были полезнее оружия.

— Государь, дозвоьте ей говорить, я заслужил укоры. У меня была верная жена, я оставил её, убегая позора, грозившего мне, и заслужил позор за новый Мой брак, не вспомнив златого слова о злых жёнах.

Король усмехнулся, но, не дав договорить ему, с важностью сказал:

— Берегись, чтоб я не перешёл на сторону княгини. Ты многое дозволяешь себе; союз супружества

СВЯТ.

— Церковь соединила нас, пусть она и разлучит! — сказала Елена. — Тогда спадёт с меня бремя!

— Король свидетелем моего согласия, — сказал Курбский. — Расстанемся без укоризны.

— Расстанемся! — повторила Елена.

— Итак, моё посредничество закончено! — сказал король, отпустив княгиню.

Курбский благодарил Стефана за участие в нём и, устранившись от светской молвы и пересудов, вопросов и сожалений, спешил в свой Ковель забыть свои огорчения. Но обстоятельства изменили его намерение; он услышал, что в числе новых Иоанновых жертв погиб и князь Воротынский. При вести о сём, Курбский, забыв неприязнь знаменитого мужа, почтил его горестными слезами и похвалою. «О, муж силы и света, исполненный разума и доблестей! — восклицал он. — Славна память твоя, не говорю в твоём неблагодарном отечестве, но и в чужих странах, и здесь, и везде, среди христиан и неверных! Имя твоё славно и пред Царём ангелов, венец твой — венец мученика! Воротынский послужил победами светлыми, непоколебимою верностью, и, полусожжённый, он умер на пути к темнице! Не скорби, Курбский, ты оправдан!» Так Курбский извинял себя в борьбе смутных чувств, но печально было это утешение. Жизнь и смерть Воротынского ещё более возвышали достоинства верности отечеству и бросали мрачную тень на дела Курбского.

Иоанн хвалился могуществом в Ливонии. Стремление унижить гордость его побудило Курбского советовать королю идти прямо к Полоцку, где Грозный не ждал нападения. Курбский хотел исторгнуть древнее наследие Рогвольда из-под руки Иоанна, и ещё раз облёкся в воинский доспех.

Король велел полкам двинуться к Полоцку. Курбский недалеко от Десны, где среди широкой реки возвышается огромный камень, омываемый волнами, видел иссечённый в камне четверосторонний крест с древнею надписью: «Вспоможи Господи раба своего Бориса, сына Генвилова». Эта надпись напомнила о благочестии знаменитого полоцкого князя, отец которого первый из литовских князей принял христианство, а мать была дочерью великого князя Тверского. Здесь-то некогда неслись суда с запасами для основания святых храмов и обителей полоцких. Путь между подводными камнями представлял опасности, и здесь-то князь Борис, с твёрдою верою в помощь Бога, вырезал на камне знамение спасения христианского и оставил вечную молитву о помощи Божией. Столетия, не изгладя надписи, покрыли только мхом изображение креста, вид его обратил мысли Курбского к его собственной участи. Для чего среди волнений жизни потерял он из виду знамение терпения Победителя смерти? Тогда бы остался он чист душою и ничто не удручило бы его совесть! В виду креста безбедно проплыли ладьи сына Генвилова мимо порогов Двины, и давно уже воздвигся храм, в котором вспоминалось в молитвах имя благочестивого князя полоцкого. Размышляя о том, Курбский сетовал на себя.

Русские воеводы мужественно готовились в Полоцке к отражению неприятелей, но с негодованием узнали, что Курбский предводительствует полками литовскими. Баторий со всех сторон обложил город, заградив все дороги. Русские воеводы защищались отчаянно, но упорство и смелость Батория не уступали их храбрости. Полоцк был взят, и знамёна Батория развевались над стенами, откуда за несколько лет перед тем московский орёл бросал молнии на берега Двины и Полоты.

Русские воеводы запёрлись в полоцкой соборной церкви и приготовились умереть. Король предложил им пощаду и почести, лишь бы они присоединились к нему; но истинно доблестные, они отвергли предложение и сказали, что готовы возвратиться к царю своему, что бы ни ждало их от Иоаннова гнева. Лучше смерть от законного государя, чем за измену почёт от чужого! Курбский при этом ответе почувствовал своё унижение, но при взгляде на полоцкий замок тотчас вспомнил, что здесь был Иоанн с торжеством победы, и преступная радость заблестала в глазах Курбского. Не победе Батория радовался он,

а унижению гордости Иоанна.

Курбский вошёл в палату, где король-победитель принимал поздравления. Замойский, увидя его, указал на него польским полководцам.

— Вот путеводное светило Иоаннова счастья, оно померкло для него, но возшло для нас.

Курбский не благодарил за приветствие и краснел от негодования, слыша вокруг себя, как поляки в хвастливых рассказах старались унижить русских воинов, называя их малодушными беглецами.

Сам король заступился за русских.

— Я знаю их храбрость, — сказал он, — и для нас не было бы славы сражаться с малодушными. Благодарение мужеству и Богу, подателю силы, — продолжал Баторий, подойдя к Курбскому и потрепав его по плечу. — Князь, мы вытеснили отсюда полки Иоанна. Продолжает ли он переписку с тобой?

— Он писал ко мне, государь, по завоевании Вольмара.

— Не пропусти случая отвечать ему с полоцких стен, я беру на себя переслать письмо твоё.

Курбский воспользовался предложением и принялся с жаром за новое письмо к Иоанну.

Он писал:

«Если пророки плакали о Иерусалиме и о храме, с ним погибающем, то нам ли не плакать о разорении града Бога живого, твоей церкви телесной, омытой слезами покаяния? Чистая молитва, как благоуханное миро, восходила к престолу Господню, и царская душа, как голубица с крылами сребристыми, блистала благодатью Духа Святого. Такова была душа твоя, церковь телесная! Тогда все добрые последовали твоим крестоносным хоругвям. Но всегубитель привёл к тебе вместо сильных воителей гнусных ласкателей; вместо святых любителей правды мужей празднолюбцев и чревоугодников; вместо храброго воинства кровожадных опричников; вместо книг благодатных скоморохов с гудками; вместо блаженного Сильвестра и советников души твоей собираешь ты, как мы слышим, волхвов и чародеев для гадания о счастливых днях, подобно Саулу. Знаешь, что постигло его. Не щадил ты ни дев, ни младенцев, но о других, ужасных делах твоих, оставляю писать и, положив перст на уста, изумляюсь и плачу. Вспомни дни своей юности, когда блаженно ты царствовал. Любящий неправду ненавидит душу свою; плавающий в христианской крови — погибнет. Ты лежишь на одре злоблезненном, объятый летаргическим сном. Опомнись и восстань! Аминь».

В конце письма Курбский приписал:

«Мая 4. В Полоцке, городе короля нашего Стефана, после славной его победы под Соколом».

Баторий прочёл грамоту Курбского.

— Много тут правды, — сказал он, — но она не полюбится Иоанну.

— Горькое врачевство спасительней. Горечь услаждают одним младенцам.

— Ты и в письме говоришь о том. Я вспомнил, что Иоанн любит чтение. У меня нашлись для него любопытные книги! Это яркое изображение жизни его. Пусть увидит, как пишут о нём! Король показал Курбскому записки итальянца Гваньини.

— Гваньини, — как современник, — продолжал Баторий, — мог ещё писать по пристрастию, но Иоанн нашёл бы своё изображение и в речи Цицерона против Антония. Жаль, что не знает он латинского языка!

Курбский вызвался перевести ему эту речь и присоединил её к своему письму. Между тем Грозный просил перемирия, и король отправил к нему с гонцом письма Курбского и книгу Гваньини.

Иоанн на этот раз пренебрёг оскорбление; угостил посланного в шатре своём и в грамоте к Стефану, прося отложить военные действия, писал, что даст ответ на книгу, когда прочтёт её.

Между тем как польские воеводы, угощаемые королём, пировали в полоцком замке, Курбский отправился в знаменитый храм Спасский, близ города. За широким полем, орошаемым Полотою, воздвигнута была ещё в двенадцатом веке обитель Святого Спаса преподобною Евфросиниею, дочерью Юрия, князя полоцкого; деревья, веками взращённые, осеняли древний храм.

Курбский вошёл в тенистую церковь, великолепие которой некогда удивлялись. Стены её были украшены древнею греческой живописью, представлявшею лики святых угодников, окружённые сиянием. Курбский заметил несколько иезуитов, расположившихся в храме. Стефан Баторий, уважая учёных отцов, отдал им в дар и церковь, и землю, к ней принадлежащую. Горестно было Курбскому видеть это. Храм представлял ему великие воспоминания; в алтаре хранился драгоценно украшенный золотой крест, дарованный Спасской обители преподобною Евфросиниею; в нём хранились часть от животворящего древа Господня и другие дары святыни, принесённые ею из Иерусалима.

Четыре века уже лежал этот крест в святом храме с надписью: «Честное древо бесценно есть», и под великим заветом: «Да не изнесется из монастыря никогда же», а на преслушников налагалось заклятие.

Узкий ход под сводом вёл в алтарь; по обеим сторонам храма видны были вверху, возле хоров, два небольших круглых окна. Курбский знал по преданию, что в одной из келий, примыкавших к сим окнам, жила некогда праведная Евфросиния, а в другой — святая Параскева, внучка князя полоцкого. Он пожелал видеть убежище, которое предпочла благочестивая княжна чертогам. Удручённый скорбью земных бедствий, он желал помолиться там, откуда возносились к небу святые молитвы её. Взойдя по узкой лестнице на верхние переходы, он увидел низкую дверь, которая вела в келью. Церковнослужитель отпер её, но Курбский, остановись в размышлении, долго не переступал порог, обозревая издали приют спасения святой жены. Пусто и безмолвно было её убежище. Слабый свет, казалось, сливался в нём с таинственным мраком.

Несколько веков прошло уже после основательницы храма, которая здесь жила, молилась и благотворила. Курбский желал найти какой-нибудь памятник её бытия; не видно было и признаков, чтоб эта келья была обитаема, но Курбский живо представил себе, что за несколько лет Иоанн, завоеватель Полоцка, стоял перед этою самою дверью; сюда же судьба привела его изгнанника. Нагнувшись до пояса, Курбский прошёл в келью, где три шага от одной стены до другой ограничивали всё пространство жилища полоцкой княжны. Подойдя к окну, Курбский увидел церковь во всём её благолепии. В час богослужения он мог бы слышать священные молитвы, но на то время в храме никого не было, и только две неугасимые лампы теплились перед алтарём. Обратясь в другую сторону, Курбский подошёл к углублённому в широкой стене круглому окну, из которого открывается вид на необозримое поле и небо. Он поражён был зрелищем нерукотворного храма Божия. Мысль, что у этого самого окна некогда стояла праведная княжна, обратила Курбского к молитве с глубоким чувством смирения. Никем не видимый, князь благоговейно преклонил колена в обители праведницы. Помолясь, он ещё не скоро отошёл от окна. Вечерняя звезда, как алмаз, сверкала на синеве сумрака; последние лучи солнца угасали на крутых берегах Полоты; необъятный воздушный свод застилался покрывалом ночи, широкое поле и деревья на нём темнели, но свет мерцал на вершинах отдалённых зданий, на извилинах реки, и огнецветная полоса зари сияла влево из-за тёмной рощи; а на дороге чернел кирпичный столб с распятием, по преданию поставленный над преступною инокинею. Курбский взирал на небо; звёзды одна за другою появлялись перед ним, как вестники жизни вечной. Небесные утешители, они сияли во мраке, лучи их радовали взор и проникали, как звуки, в душу злополучного вождя; светозарность их отгоняла всякую мысль о земных бедствиях.

— Радуйся в горнем Иерусалиме, земная странница! — говорил Курбский, в благочестивом умилении

обращаясь мыслью к праведной Евфросинии; но, подумав о высоком назначении человека, содрогнулся. Ещё утром месть внушила Курбскому уязвить гордость Иоанна известием о взятии Полоцка Баторием, а в эту минуту Курбский скорбел о своём гонителе и плакал об Иоанне счастливых времён Адашева, об Иоанне, которому столько лет готов был жертвовать своим счастьем, своею жизнью, последнею каплею крови.

Выходя из Спасского храма, князь увидел знакомого ему инокa, который некогда был при Феодорите.

С таинственным видом сказал ему инок, что Феодорит предвещал ему встречу с Курбским в Литве.

— Не велел ли он чего передать мне? — спросил Курбский.

— Он велел мне, когда увижу тебя, напомнить о гневе Господнем и завещал тебе остановиться на пути гибельном...

Курбский содрогнулся, как будто слыша загробный голос самого Феодорита, и дал завет себе не поднимать более меча на Россию.

ГЛАВА IV

Ковельские гости

Юрий жил в ковельском замке в то время, когда отец его был под стенами Полоцка. Князь помышлял уже о возвращении в Ковель. Баторий надеялся обратить Курбского к осаде Пскова и, замечая его нерешимость, негодовал на него. Курбский поспешил откровенно с ним объясниться.

— Верить ли, князь, что ты отрёкся за мною следовать? — спросил король.

— Государь, ты видел меня на стенах Полоцка.

— Что же мешает видеть тебя и пред бойницами Пскова?

— Воинские труды и прежние раны уже истощили силы мои... Ещё более тягчит меня чувство души моей; скажу прямо: во Псков не дерзнёт войти Курбский. Там древняя Русь; каждый шаг укорит попирающего землю отечества!

— Разве ты не сражался против московских полков?

— Так, — сказал Курбский, изменяясь в лице, — но мне казалось тогда, что я шёл за Россию, к низложению гордости Иоанна. Пожалей меня, государь! Ожесточение ослепило меня. Тяжки раны мои, но рана души неисцелима. Пожалей меня, государь, страшен ответ мой пред Богом и потомством; возьми от меня Ковель, не требуй идти на Псков!

Баторий с участием посмотрел на него и позволил возвратиться ему в ковельский замок. Там Курбский желал провести остаток жизни и отказаться от шума и блеска. Более прежнего находил он удовольствие в книгах духовных и в дружеской переписке о предметах веры. Курбский любил уединённые и мирные беседы, иногда перечитывая с Юрием описания жизни героев древности или подвигов христианских страдальцев. «Тяжкий жребий, постигавший людей мудрых, великих, святых, учит презрению бедствий, — говорил он Юрию. — Но счастлив тот, кто может похвалиться терпением». И глубокий вздох обличал душевное смущение Курбского. Случалось, что, беседуя с Юрием, он вдруг содрогался при случайном слове или мысли, близкой к его положению. Страшно было ему припоминать себе своё преступление пред отечеством; собственною кровию желал бы он смыть пятно позора, если б можно было изгладить минувшее.

Князь Острожский познакомил Курбского с англичанином Горсеем. Любитель наук и знаток в минералах, Горсей путешествовал и торговал драгоценными камнями. Его знания и обходительность привлекли к нему Курбского. Князь любил с ним беседовать, а в Горсее возбудилось любопытство видеть Иоанна и Москву.

Знойный июльский день сиял над ковельскими рощами; голубые воды Турин не колыхались при уснувшем ветерке, но чем ниже опускалось солнце, тем становилось прохладнее; приятность летнего вечера вызвала из домов ковельских жителей; одни рассыпались по роще или сидели на лугу, другие гуляли по берегу реки, прислушиваясь к отдалённым песням.

Вдруг общее внимание обратилось на подходившего незнакомца. Одежда его показывала человека духовного звания, окладистая борода его была с проседью. Труды и заботливость провели морщины по челу его; ум и прямотушие видны были в степенном лице. Он спросил одного из стоящих у берега: найдёт ли он в замке князя Андрея Михайловича Курбского?

— Князь выехал прокатиться в ладье, — отвечал Флавиан, садовник ковельского замка. — Слышишь ли голоса поющих? Это гости его гуляют с ним по реке.

— А кто гости его? — спросил незнакомец.

— Пан Иеронимов из Вильны, братья Мамоники оттуда же и много ещё; всех не перечесть, а вот смотри, они подъезжают.

Незнакомец, нетерпеливо всматриваясь вперёд, спешил увидеть старого друга.

— Что это, русские песни? — спросил он с удивлением.

— Да, князь любит русские песни.

— Откуда он набрал певцов?

— Все пленные, из-под Луцка. Князь собрал их в своём замке.

Незнакомец вздохнул и, пригладив длинные волосы, оправил запылённую и полинявшую рясу; ладья поравнялась с ним. Тут пришелец с радостью простёр руки князю.

— Князь Андрей Михайлович!

Пение умолкло, ладья причалила к берегу. Князь ковельский спешил обнять гостунского диакона.

Литовские паны обступили их. Особенно англичанин Горсей, также участвовавший в прогулке, с любопытством смотрел на пришельца.

— Что завело тебя в Ковель, отец Иоанн? Как очутился ты здесь? Много лет не видались мы!

— Занесло меня горе, а пуще воля Божия. Много лет уже странствую, князь Андрей Михайлович, когда не стало митрополита Макария, оклеветали дело святое! Я отпечатал Апостол, а писатели книг восстали на меня и Петра Мстиславца. Неведомо, какие люди подожгли ночью книгопечатню; возобновлять было некому. На меня же, прости Господи, смотрели как на чародея; принуждён спасаться, чтоб не бросить дело святое.

— Какое твоё желание? — спросил Курбский.

— Напечатать Библию, — отвечал диакон. — Господь мне помог у пана Ходкевича, там я напечатал Евангелие. Пан поручил мне обучать его шляхтичей грамоте, подарил меня домом; жил я в приволье, но слезами кропил изголовье; в раздумье чудилось мне: «Рабе ленивый! Рабе ленивый! Спрятал талант свой!» Тяжко лежало на душе бремя, что не отпечатал Библии, решил оставить Ходкевича, искать другого пристанища, лишь бы свершить богоугодное дело.

— Не теряй надежды! Бог пошлёт помощь. Недалеко отсюда лучший споспешник в святом деле.

— Князь, у тебя на мыслях, что у меня на душе! Путь мой к его светлости, князю Константину Острожскому. Заговори за меня пред ним доброе слово. Он сам вызывал меня, но не себе прошу я покров, а труду моему во славу Божию, на общее благо.

— Господь внушил тебе твёрдую волю, — сказал Курбский, — и даст надёжный приют. Соверши твой подвиг! Радуюсь, что пришлось с тобою свидеться. С тобою легче мне стало, как будто бы я свиделся с родиною!

Многие из гостей Курбского хвалили усердие гостунского диакона. Князь предложил возвратиться по реке в Ковельский замок; ввёл отца Иоанна в ладью и посадил возле себя; гребцы взялись за вёсла, и ладья понеслась.

Князь возвратился с гостями в замок. Разговор их коснулся Грозного.

Горсей спрашивал: от чего изменился нрав Иоанна?

Курбский обещал скоро объяснить это чудное превращение. Многие говорили, что Курбский пишет историю Иоанновой жизни.

— Тут будет живописцем твоё негодование? — спросил Иеронимов.

— Я представлю Иоанна, как он сам изобразил себя в письмах своих, — отвечал Курбский.

— И не давай места мщению, — сказал диакон гостунский. — История отмстит за тебя!

Англичанин сказал, что посмотрит на Грозного.

Курбский почитал шуткою решимость его, но Горсей не изменил своего намерения. Скоро узнали, что он уехал в Москву.

Курбский познакомил Иоанна Фёдорова с князем Острожским. По совету друзей, князь Константин завёл в Остроге славянскую типографию и поручил её наблюдению бывшего гостунского диакона.

Видя быстрое распространение новых учений, Курбский возгорел ревностью к православию и желал положить преграду лютеранству. Может быть, этой ревностью он надеялся умалить преступление своё пред Богом и отечеством. Он прибегнул к оружию истины — писаниям святых отцов; не щадя пожертвований, собрал он в книгохранилище своём творения великих учителей церкви; ежедневно читал и изучал эти писания в отражение нововведений; старался о переложении сих книг на славянский язык, общепонятный в Литве; собирал учёных людей, побуждая просьбами и письмами, и сам деятельно участвовал в трудах. Не надеясь на свои знания, он уже в старости принялся за усовершенствование себя в языке римлян и нередко проводил часы ночи над изучением латинских слов. Его пример, его убеждения воспламенили в юном князе Михаиле Оболенском такую ревность к наукам, что знаменитый юноша пожертвовал несколькими годами жизни обучению в краковском училище; тем не ограничилась жертва познаниям: Оболенский впоследствии оставил свой дом, молодую супругу и детей, стремясь обогатить себя новыми сведениями, и провёл два года в путешествии.

Укоры и насмешки сыпались на Курбского; его одного почитали виновником странной решимости Оболенского; но укоризны умолкли с его возвращением. Оболенский оправдал ожидания Курбского.

Прибытие его было торжеством для владельца Ковельского. Курбский, хвалясь успехами своего любимца, пригласил на пир многих вельможных панов и друзей своих.

«Что за пир у князя? Какой съезд в его замке?» — говорили с любопытством друг другу ковельские жители, указывая на множество ездовых, колымаг и панских коней, стеснившихся пред воротами замка; в окнах блестели огни, давно уже не освещавшие уединённого жилища Курбского; известно было, что он чуждался веселий и казался угрюм на пирах. «Слышно, — говорили некоторые, — что возвратился из Волошской земли молодой князь Оболенский; года два был в отлучке; жена и дети оставались у княгини Чарторыжской, а вчера прикатили сюда в замок. Наехало столько вельможных панов, сколько не собиралось и в прежние годы; прибыли и светлейший князь Константин Острожский, и воевода пан Троцкий, и Козьма Мамонич, и Ян Иеронимов; от Посполитой Вечи приехал пан Бокей; а по этой сбруе и перьям на конях, по этим гербам на рыдване как не узнать, что в числе гостей и князь Николай Радзивилл.

Все они съехались в Ковель пировать у Курбского, обрадованного возвращением Оболенского.

Дружественно беседовали гости; развеселясь после роскошного стола, они собрались около молодого Оболенского и с любопытством слушали его рассказы; в глазах Курбского блистала радость, что юный князь возвратился из путешествия с богатыми плодами познаний, но с душою чистою, непоколебимый в благочестии.

— Я боялся за корабль мой, — сказал Курбский с весёлой улыбкой, — но он возвратился с драгоценностями. О, мой возлюбленный, — продолжал он, обняв князя, — в тебе искры огня божественного; меркнет шаткий ум, душа твёрдая в благочестии сияет чистою верою.

— Я чтил тебя и помнил твои советы, — отвечал Оболенский.

— Что ни говори, князь, — сказал пан Троцкий, продолжая играть в шахматы с Радзивиллом, — ясновельможному князю Ковельскому много достанется за тебя от иезуитов, они и без того на него сердятся.

— Особенно с тех пор, — сказал, потрепав по плечу Курбского, князь Константин Острожский, — когда ты отговорил княгиню, чтоб она не поручала им воспитывать своего сына.

— Я всегда буду благодарить его милость, князя Ковельского, — сказала княгиня Чарторыжская, сидевшая подле супруги Оболенского.

— Берегись, князь, — сказал вполголоса, пожимая руку Курбского, Козьма Мамонич, — берегись лютеран; письмо твоё к Чаплицу сильно их раздражило; они второй раз созывают на тебя собор, хотят тебе отвечать.

— Поговорят и разойдутся, — сказал с важностью, вмешавшись в речь, сановитый князь Острожский. — А мы с Курбским порадуемся отпечатанной Библии. Трудно одолеть его! Он ополчается оружием священных писаний.

— Сим победиши! — сказал Курбский. — Не оставлю ратовать на отступников веры и златым словом моего наставника, многострадательного Максима. Светлые мужи! Вельможные паны! Перелагал я с римского языка на язык прародительский Златоустовы беседы на послания апостольские, а недавно написал повесть о соборе, отторгшем западную церковь от матери её, церкви восточной.

При сих словах он подал им книгу, облечённую в пергамент с серебряными застёжками. Гости рассматривали и хвалили труд князя; многие из них желали иметь список с его сочинения, особенно Мамоники.

— Я предупредил ваше желание, — отвечал Курбский, и распорядился, чтобы принесли свитки.

— Примите подарок духовный, — сказал Курбский, — утверждайтесь в благочестии, но прошу вас, — продолжал он, обращаясь к виленским панам, — не кидайте драгоценных камней на прах, не мечите бисера перед невеждами. Они упрямы и сварливы; с такими людьми лучше не спорить.

Разговор склонился на необходимость распространения полезных книг, когда новое учение волновало умы, привлекая последователей.

— Это буря с моря неистового, — сказал Курбский, — дух тьмы подвиг гордых и суетумудрых, но мы не дадимся в руки, как птицы, соединимся в оплот против новых учений! — Свершим труд с Богом, нам помогающим!

Курбский объяснял, как необходимо для отражения ложных толков перелагать на славянский язык писания вселенских учителей церкви.

— Для чего же не на польский? — спросил пан Бокей.

— На польскую барбарию? — прервал с пылкостью Курбский, не замечая, что многие из гостей нахмурились. — Но можно ли передать на скудном, нестройном языке всё, что так выразительно на обильном и величественном языке славянском, на языке прародительском Руси и Польши? Спросите князя Острожского, скольких трудов стоило перевести Библию и на литовское наречие.

Пан Бокей и княгиня Чарторыжская возражали Курбскому, что польский язык уже мог похвалиться

многими искусными писателями, и что век Сигизмунда Августа почитался золотым веком писателей польских.

Ещё долго беседовало избранное общество в замке князя Ковельского, и набожная княгиня с удовольствием вмешивалась в необыкновенный разговор, тем более что в тогдашних собраниях почти всегда говорили только о новостях и забавах, веселясь музыкою и маскарадными превращениями.

Наконец гости разъехались, кроме семейства Оболенского. Курбский не предался отдохновению; посматривая на большие стенные часы, он чего-то ожидал; вскоре отворилась дверь и, к удовольствию князя, вошёл почтенный старик с длинною седой бородою; благообразное и умное лицо его показывало строгую жизнь и простодушную весёлость. Это был Седларь, житель львовский, мещанин, которого Курбский принял с таким же радушием, как и вельможных панов.

— Желая с тобою беседовать, я писал к сыну твоему, чтобы ты навестил меня; но для чего не приехал ты на обед ко мне?

— Ясновельможный князь, — отвечал старик, — у тебя было столько светлых панов, что едва ли оставалось место для львовского мещанина!

— Друг мой Седларь, тебя давно знают и дадут место почтенному старцу; все мы сыны одной матери-церкви и стремимся к одной цели: служить к утверждению православия; когда сойдём с поприща жизни, сравняемся с Иром убогим, и за все княжества получим только сажень земли. Толки и секты, как смутные источники, со всех сторон отлучают от нас братий наших; мы должны охранять благочестивые сердца от болезни, должны умножать число сынов истинной церкви. Пойдём, друг мой, взглянуть на добрые начинания наши, помоги нам усердием и советом!

Курбский повёл Седларя в отдалённый покой, где находилось книгохранилище. Среди небольшой, круглой залы с высоким сводом стоял широкий стол, над коим горела светильница, опущенная сверху на блестящих медных цепях; около стен, между столбами, стояли шкафы из резного орехового дерева; в них хранились, в свитках и пергаментных книгах, творения учёных мужей и святителей церкви. В креслах, стоявших полукружием около стола, сидели юный князь Михаил Оболенский, Юрий, друг его Марк, ученик старца Артемия, и книгопечатник князя Острожского Иоанн Фёдоров, который приехал порадовать Курбского успешным печатанием Библии. Одни из них читали разложенные книги, другие переводили, советуясь с князем Оболенским, который рассматривал роспись книг Курбского и отмечал, какие из них, по его мнению, могли быть скорее переведены. Курбский с торжествующим видом указал Седларю на собрание, среди которого трое юношей, из коих один был князем и уже отцом семейства, трудились с благочестивым желанием не для земной славы.

Старец, подняв взор и руку к небу, казалось, молил благословить эти труды. Седларь стал беседовать с князем Оболенским, обозревая список книг. Между тем Курбский придвинул к себе книгу любимого Златоуста; облокотись на стол, с пером в руке, он углубился в мысли, выражая латинские слова славянскою, возвышенною речью.

ГЛАВА V

Открытие и обет

Часто беседовал князь Курбский с Юрием и находил неизъяснимое удовольствие в этой беседе. Он видел, что молодой инок понимал его чувства, разделял с ним горесть о бедствиях отечества; взор юноши воспламенялся, когда Курбский рассказывал о своих ратных подвигах. Юрий внимательно слушал каждое слово его, следовал за каждым движением, как бы становясь свидетелем минувших событий русской славы.

Курбский поверял ему свои прежние надежды к водворению в России наук при помощи книгопечатания, и Юрий помышлял с сожалением, что исполнение этих надежд отдалилось ещё на долгое время.

— Много, друг мой, — говорил Курбский, — будет смут и препятствий к благу от самого мудрого изобретения человеческого. Суетность и страсти людей посеют свои семена; хитрость и легкомыслие, ослепляя умы, надёжнее поведут к заблуждению; плоды зла возрастут в одно время с плодами добра. Но что лучше: нива ль бесплодная или поле, покрытое виноградом и тернием?

— Появятся делатели, — сказал Юрий, — исторгнут тёрны, и люди насладятся плодами.

— Так, — кивнул Курбский, — торжествующая истина озарит всё своим светильником; от лучей его истлеет зло, а корень добра утвердится. Будет время, что устыдятся тираны, уничтожится лютость казней и безумия человеческого; познания не будут почитать чародейством, и погаснут костры изуверов.

— Мы ожидали, — сказал Юрий, — увидеть на родном языке все книги священного писания.

— А теперь Константин Острожский получит славу издания первой славянской Библии; у него трудится мой друг, неутомимый дьякон, отец Иоанн. Какой человек! Изгнанный из Москвы наветами, видя, что тщетны труды его, где суеверы едва не предали огню двор печатный, он удалился к Ходкевичу, и принят ласково. Муж разумный, любитель книг и письмен, Ходкевич одарил его, но отец Иоанн желал служить не Ходкевичу, а всему православию; у него была на сердце мысль: совершить издание Библии; день и ночь думал он об успехах печатания; писал ко мне, что много раз орошал слезами свой одр, виня себя в нерадении к делу великому, чувствуя способность свою и видя, что другие о том не заботятся. Он повторял: «Боюсь истязания Божия, какой дам ответ, когда услышу от Господа: «Раб ленивый, что сделал ты с талантом моим?» — Он оставил Ходкевича, имущество и деревню ему подаренную, пришёл ко мне; ты знаешь, что я представил его князю Острожскому, и вот плоды их трудов.

Тут Курбский показал Юрию превосходно отпечатанную в Остроге первую славянскую Библию, облечённую в синий бархат с серебряными изображениями пророков и евангелистов.

— Для чего бы Москве не похвалиться сим великим даром? — сказал Юрий. — Теперь там нет и двора печатного!

— Если нет, то будет. Лучи такого светильника везде разольются! Ещё слава Богу, — продолжал Курбский, — что в святой русской земле есть сокровище: твёрдый дух народный и добрые нравы, и они утверждаются силою благочестия; в русском сердце — преданность к православию и любовь к родине; в русской руке — неутомимость терпения, святая верность послушания. Вот на чём основано благоденствие России, что возвеличит её над всеми просвещёнными царствами! Без сего основания просвещение лживо

и вредно. Если поколеблются добрые нравы, оно обратится в погибель. Итак, будем желать просвещения, утверждённого православием.

В этих разговорах неприметно проходило время; Курбский, предаваясь стремлению мыслей, забывал свою скорбь, Юрий слушал его с восторгом. Ему приятно было питать деятельность размышлений его отца, чтобы только успокаивать болезненное чувство его души. Он с нетерпением ожидал времени, когда сможет открыться ему, но прежде желал привлечь к себе сердце родителя и увериться, что ему приятно будет присутствие сына. Курбский, казалось, отклонялся от воспоминания о своей супруге и сыне, но это происходило от того, что он не хотел обнаружить душевных терзаний, желая сохранить в себе тайну бедствия, тяготившего его воспоминанием и укором.

В одно утро Юрий застал князя необыкновенно встревоженным; он заметил следы слёз на лице его и с участием спросил, что было причиною его скорби и смущения.

Курбский искренно пожал его руку и сказал:

— Не дивись, друг мой, часто довольно одной мечты для возмущения души человеческой; меня, взрослого в битвах, онемевшего сердцем от лет и бедствий, старого, сурового воина, привёл в смущение сон, самый обыкновенный; в нём нет ничего ужасного, но пробуждение заставило меня почувствовать весь ужас судьбы моей; я видел возле себя супругу и сына, некогда оставленных мною в Юрьеве; они говорили со мною радостно, так же, как в прежние дни, а всё, что случилось со мной после разлуки с ними, показалось мне сном. Я рассказывал им о видениях моих, и они удивлялись мнимым призракам бедствия. Всё это было так живо, как будто бы я сейчас их видел здесь; сын так нежно ласкался ко мне, жена так старалась успокоить мысли мои, что, кажется, я ещё слышу утешительный голос их, пробудясь, я не поверил глазам своим; искал взором любезных мне, но вспомнил, что уже пятнадцать лет, как я лишился супруги и сына; в ту минуту я как бы снова потерял их; видно, друг мой, что для вечной души нашей ничтожно расстояние времени!

— Так ты ещё оплакиваешь твою супругу и сына? — спросил Юрий. — Но, может быть, судьба возвратит тебе Юрия?

— Нет, — сказал Курбский, — он погиб с моею Гликериею; верный слуга мой не нашёл и следов их; были и другие слухи, но не оправдались. Нет никакого сомнения, что они погибли; я уверился в смерти их.

— Сын твой жив! — воскликнул Юрий, не удерживая более сердечного порыва.

— Что говоришь ты? Где он? — удивился Курбский.

— У ног твоих! — воскликнул Юрий, бросаясь перед ним на колени.

— Боже, возможно ль? Ты ли сказал?

— Ужель ты не узнаешь меня? Ужели ни одной черты не осталось в лице моём, по которой мог бы ты узнать Юрия?

Слова его проникали в сердце Курбского; он устремил на юношу испытующий взгляд; сильное волнение обнаружилось в лице князя, но ещё колебался он верить призыву сердца, боясь обмануться в неожиданном счастье.

— Отец, взгляни на крест, которым ты благословил сына!

Сказав это, Юрий показал скрытый на груди его крест с мощами, который всегда носил на себе.

Курбский задрожал и, обняв Юрия, прижал его к сердцу, склонясь на плечо его; голос изменял ему; едва мог он произнести имя сына.

— Я узнаю, наконец, — сказал он, — моего Юрия; узнаю крест, который дал я тебе в день разлуки;

вот рубец на руке твоей... ты забыл, но я помню, как ты поранил себя, играя в младенчестве моим тяжёлым мечом. О, сын мой, дай ещё прижать тебя к груди моей, дай согреться моему сердцу, излиться слезам моим!.. Скажи мне, где мать твоя, где моя добрая, кроткая Гликерия?

— Она уже в другом мире, — сказал Юрий, — я закрыл ей глаза и принял последнее её завещание: идти к отцу моему и утешить его.

Неизъяснимы чувства любви родительской и нежности сыновней, когда судьба, по долголетней разлуке, внезапно соединит сына с отцом. Юрий рассказал отцу о чудных путях, какими вело его Провидение; между тем горячие слёзы катились по бледным щекам старца. Курбский отёр слёзы и сказал:

— В каком виде ты предстал мне, о, сын мой, благоговею перед саном священным, но вспомни, что ты сын Курбского; отец твой изменник отечеству; ты умолял небо за грехи мои, лучше загладь вину мою! Я уже недостойн ступить на Божию землю, но ты можешь возвратиться в Россию. Внемли же отцу: заклинаю тебя, о, сын мой! Перемени одежду инока на броню воина, стань под хоругви ратные, возьми меч мой, смой с него пятно позора, заслужи за меня перед отечеством и, если можешь, сын Курбского, умри за Россию!

— Бог мне свидетель, что совершу твою волю, но открой мне путь в родину! Сын твой станет под хоругвь крестоносную, во славу России! — воскликнул Юрий.

— Увы, путь мой кончен! — возразил Курбский. — Я только могу принести жертву отечеству, отдав ему сына. Юрий, отпуская тебя, отрекаюсь от счастья; по крайней мере прах мой будет спокоен в земле, если сын мой загладит измену мою. Об одном молю тебя: когда узнаешь ты, что меня не станет в живых, вели положить меня лицом к России, тогда мне легче будет под чужою землёю!

Наставало время разлуки. Отец готовился проститься с сыном. Назначенный день наступил, но чувства боролись в сердце Курбского...

— Сын, побудь ещё у меня! — сказал он. — Мне ничего не остаётся, кроме тебя... Ещё придёт час!..

И Юрий, видя скорбь и нерешимость отца, остался.

ГЛАВА VI

Осада и битва

Стефан Баторий убедил на сейме бросить все силы к ослаблению могущества Иоаннова. Много было шуму и споров, но кончилось исполнением требования короля; война продолжалась с новым ожесточением. Иоанн уклонялся от битвы, а Баторий двинулся к Пскову. Курбский с горестью видел жребий, грозящий знаменитому городу Ольги. Юрий заметил беспокойство отца и скорбь об участи Пскова.

— Время, родитель, — сказал он, — время с тобою расстаться! Дозволь мне свершить, что сам ты внушил мне!

Любовь к сыну умолкла перед чувством пробуждённой любви к отечеству. Курбский уже не колебался в решимости отпустить Юрия, дав ему лучшего коня и ратные доспехи, отдал ему и меч свой и благословил в путь. Они расстались.

Курбский ожидал и страшился получить весть о Юрии. Обретение сына казалось ему каким-то утешительным сном.

Знамёна Батория уже развевались перед стенами Пскова. Король, не надеясь взять силой, хотел победить лаской и велел пустить в город стрелы с привязанными к ним грамотами. Граждане псковские, подняв несколько стрел на большой площади, близ Троицкого собора, с удивлением читали льстивые грамоты Батория.

«Если отворите мне ворота, — писал король, — всем пощада! Живите по своим законам, ведите торговлю как в старину, и пожалую вас, как ни один ещё не был награждён от царя».

Воеводы читали грамоты в присутствии народа, собравшегося на вече. Псковитяне слушали с негодованием. «Предпочесть ли тьму свету? — говорили они. — Оставить ли царя православного и покориться иноверцу? Не хотим богатств всего мира за нарушение крестного целования. Если Бог за нас, никто на нас; умереть готовы, а не предадим нашего государя! Не подкупит король нашу совесть!» Так со всех сторон кричали псковские граждане. «Отошлём же, — сказали воеводы, — ответ королю на обороте грамот его, отошлём со стрелами».

— Отошлём, отошлём! — повторялось из конца в конец площади. — Пусть готовится к бою! Бог покажет, кому одолеть.

Между тем по приказанию предусмотрительного Стефана вели подкопы под псковскими стенами. Скоро началось метание бомб; они падали в город, но от преждевременного разрыва их мало было вреда. Осаждающие стремились к стенам; литовские гайдуки, закрываясь огромными щитами, неслись к воротам; в то же время стенобитными орудиями разбивали каменные стены, но кипящая смола и зажжённый лён падали с них на литовцев в виде пламенных клубов, и сквозь узкие отверстия башен сверкали выстрелы ручниц; то появлялся, то исчезал лес острых копий; длинные рогатины с железными острыми крючьями, захватывая отважных наездников, срывали их со стен и взбрасывали на воздух.

Столь же сильный отпор встретило войско Батория под знаменитым Псковопечерским монастырём. Немецкие ратники уже разбили часть ограды и, гордые успехом, взбирались на стену, но в то самое время лестницы подломились под ними; наступающие оборвались в ров, и приступ был отложен до другого дня.

Иноки ходили по стенам с хоругвями и крестами, возбуждая мужество в воинах; даже матери, оставляя детей, шли на стену, готовясь отражать неприятеля; отроки, едва только могшие поднимать копьё, бежали за матерями и помогали нести оружие и бросать камни и огонь с высоты.

Гетман Замойский, ожесточённый долгим сопротивлением, послал объявить инокам, что бросит все силы литовские на монастырь, если они не сдадутся, но русские иноки не колебались предпочесть смерть сдаче, и один из них вышел из обители отдать сей ответ неприятелю.

Везде говорили о славной обороне Пскова. Много было гостей на пиру у князя Острожского. Они с жаром спорили, когда вошёл Курбский.

— Король не отступит от Пскова, — сказал Радзивилл.

— Если продлится упорство осаждённых, как до сих пор, Псков устоит! — возразил Опалинский.

— Или падёт под развалинами, — прибавил Острожский.

— Чего нельзя взять силою, можно взять хитростью, — сказал Радзивилл.

— А помогла ли хитрость с ларцем? — спросил Опалинский. — Московитяне осторожны и скоро догадываются.

Слова его относились к неудаче с ларцем, подброшенным поляками возле ставки князя Ивана Шуйского. Русские объездные принесли ларец к воеводе, как добычу, но Шуйский остерёгся, не отпер ларца, а велел вскрыть его особенными орудиями, и то издали. Лишь только подняли крышку, раздалось двенадцать выстрелов; пули посыпались из самопалов, но ни одна никого не поранила, и коварная выдумка только обнаружила бессильную злобу.

— Не так должно воевать полководцам Стефана Батория! — сказал Курбский. — Тайное убийство позорит храбрость; сражайтесь лицом к лицу!

— Цель воинов — победа, — возразил Евстафий Воллович, — чем бы ни приобреталась она, лишь бы преодолеть врагов.

— Преодолеть мужеством, — отвечал Курбский. — Псковитяне дают вам пример.

— Какое пристрастие! — заметил Евстафий. — Можно верить, что так думает князь Курбский, но так ли должен говорить князь Ковельский?

— Ты обманываешься! Князь Ковельский не отречётся от слов Курбского.

— Зачем же ты радуешься упорной обороне Пскова?

— Радуюсь каждому свидетельству великодушия, где бы ни видел его.

— И не желаешь успеха нам и отрёкся сопровождать войско Батория к стенам Пскова?

— Я нёс его знамёна под Полоцк, но, ратую с Иоанном, я не дерзал далее попираť землю отечества. Король уважил моё признание. Я не пошёл ни с ханом на Москву, ни с королём на Псков.

— А только вооружал хана против Московии и указал путь Стефану Баторию, — сказал Воллович с коварной усмешкой.

Рука Курбского опустилась на меч, но он сдержался и отвечал Волловичу:

— Я не умел презирать оскорблений и увлёкся стремлением к мести; ненависть ослепила меня, а ты хотел бы, чтоб я увенчал моё преступление?

— Довольно с тебя, — продолжал Евстафий. — Не твои ли полки зажгли монастырь Великолуцкий?

— Так было против воли моей, но если виновен я, то должен ли идти далее путём преступления? Когда и тебе священна родина, не угашай во мне последней искры любви к отечеству.

— Мы знаем, — сказал князь Острожский, — что Курбский не хотел обагряться русской кровью.

— Князь! — возразил Курбский с глубоким вздохом. — Лучше скажи, что, обезумленный бедствием, я стал подобен убийце своего друга, но, если преступник оплакивает преступление, винить ли его за то или требовать, чтоб он повторил удары, довершил язвы, нанесённые собрату его?

Расспрашивая об осаде Пскова, Курбский слышал о подвигах русской дружины. Через одного из пленников он получил тайно письмо от Юрия, узнал, что он уже навыв владеть мечом в ратной службе. «Сын Головина, — писал Юрий, — вызывал по предложению Строгановых охотников на подвиги в Сибирском крае».

Курбский думал, что там Юрий мог бы менее опасаться быть узнанным и ещё более ознаменовать свою отвагу и храбрость, и благословлял его на далёкий путь.

Русские воеводы упорно держались в городах ливонских, но безуспешная осада Пскова более всего обезнадёживала Батория; он уже советовался с папским легатом, Антонием Поссевином, о необходимости заключения мира с Москвиею.

— Не так думал я кончить войну, — говорил Стефан. — Мужество русских обмануло наши расчёты. Если б у них было более воевод надёжных, не знаю, как бы возвратился я в Польшу. Что делать с людьми, которые идут на битву как на пир, спят на мёрзлой земле как на ковре; засев в стенах, умирают от голода, а не мыслят сдаться?

— Это железные люди! — сказал Поссевин.

— Пробита ли стена, — продолжал король, — они заслоняют грудью, надобно ли стоять — стоят, пока живы. Я сам видел, как взорвали под русским отрядом подкоп. Одни гибли, а другие шли на их место, как будто у них жизнь запасная!

— Они терпеливы, — возразил Поссевин, — но не устоят против неколебимого неприятеля.

— Нет, скажу откровенно, я начинаю колебаться. Трудно одолеть людей, которых нельзя ни утратить, ни подкупить. Нет терпеливее, нет вернее русского воина.

— О, если б таких воинов усыновить апостольской церкви и Святейшему Отцу! — сказал Поссевин.

— Случилось, — продолжал король, — что литовский отряд окружил несколько московских пушек. У пушкарёв не доставало ни ядер, ни пороха. Наши кричали им «сдайтесь», а они до последнего повесились на пушках своих.

Гейденштейн, королевский секретарь, с удивлением слушал рассказы Батория и решил внести в свою историю славное для русских свидетельство доблестного противника.

Вошедший в шатёр оруженосец известил о прибытии гонца. Баторий услышал о неудачной битве литовцев и снова увидел необходимость не медлить с заключением мира.

ГЛАВА VII

Синодики

Оборона Пскова не столько занимала мысли Иоанна, как расчёт с его совестью.

Была ещё ночь. Вся Москва покоилась сном, но не спал царский дьяк перед самой почивальней Иоанна. Светильники ещё горели на столе, на котором он дописывал тетрадь с черновых листов царской руки. Усердно писал дьяк чётким уставом, отличая киноварью заглавия, но бледен он был; сердце его трепетало горестными воспоминаниями, слёзы вырывались из глаз, и чёрные буквы, казалось ему, багровели кровавыми пятнами.

— О, страшный отчёт совести! — тихо сказал он, взглянув на тетрадь, в которой каждое слово дышало смертью, отзывалось страданием.

Это был список погибших по велению Иоанна; длинный список — уже вторая тетрадь, а первая за несколько месяцев была отослана в Кириллов монастырь, с богатым вкладом, для вечного поминания опальных.

Многих из них знал дьяк в счастье и в славе, в цвете силы и красоты; многих любил он, а здесь каждое имя стояло перед ним, как надпись могильного памятника. Но всё было смешано в списках: знаменитейшие князья и слуги, дьяки, воины, псары и рыболовы, старцы и младенцы — каждый был вписываем, как припоминал Иоанн, но жёны рядом с мужьями и отцы с детьми. Дьяк содрогнулся...

— Лучше, — сказал он, подумав, — быть последним нищим, чем властвовать многими царствами без страха Божия!

Уже рассветало. Дьяк, погасив светильники и дописав последнее имя, задремал было на заре, но, услышав шорох, с боязнью очнулся; дверь отворилась, вошёл Иоанн.

— Все ли? — спросил он. — Где тетрадь?

Дьяк подал её с трепетом.

— Ты дрожишь? Да, ты должен содрогаться, начертывая сии строки; вот до чего довели меня ваши измены, непокорство, тайные коварные умыслы! Что это? Сорок жён, почти сряду! Много погибло их, правда, но женская красота — тленный, часто гибельный дар, и я не хотел, чтобы смерть рознила жён и мужей. Теперь они спасены от греха, я дал им венец мученический, а такая смерть — не смерть, а приобретение! Так я хочу примириться с погибшими от меня; буду молить Господа о спасении душ их! Пусть каждый день поминают имена их в обители чудотворца Кирилла, на литиях, на литургиях, по все дни! Ещё нет здесь многих имён... уже и память мне изменила; несколько столбцов затерялось в моих свитках... Но кого я не вспомнил, вспомнит Господь! Отошли список и дачу на поминание в обитель чудотворца Кирилла.

В следующую субботу в Кирилловой обители уже совершалось поминовение по вновь присланному синодику, и в кормовой книге обители записано царского даяния по опальным две тысячи двести рублей.

Непримиримая совесть по временам расторгала перед Иоанном завесу дел его. Тогда он молился, но часто самая молитва исчезала в устах его, казалось, отрезаемая невидимой силой. Опасение всё ещё представляло ему отовсюду призраки мятежа и измены.

Иоанн был уже супругом седьмой жены и помышлял о новом браке. Новая его жена царица Мария обрадовала Москву рождением сына, а Грозный вошёл в переговоры о супружестве с родственницей Елизаветы, и гордая дочь Генриха восьмого, для видов торговли и лондонской российской компании, подавала Иоанну надежду на брак с её племянницей.

Ещё протекло два года. Пора бы делать новое дополнение к синодикам, но Иоанну страшно было внести туда имя сына. Впрочем, богатые подаяния посланы были на Афонскую гору и в Иерусалим. Московские купцы с дарами Иоанна, опасаясь встречи крымских татар, избрали путь через Литву в Италию, чтобы далее ехать морем в Палестину и Грецию. Они уже достигли Литвы, где в большой корчме по виленской дороге собралось много путников; к их толкам о спорах варшавского сейма внимательно прислушивался высокий, сухощавый человек, сидевший в стороне у камина. Он, казалось, читал какую-то книгу, но не проронил ни одного слова. Это был шляхтич Фанель, ловкость и искусство которого были известны в Вильне. Канцлер Воллович использовал его во многих случаях как лазутчика. Фанель принадлежал к числу людей, добивающихся бесстыдством богатства; его презирали, хотя и щедро платили за услуги его.

Вдруг вбежал опрометью хозяин корчмы и сказал, что на двор его въехали московские купцы, отправляющиеся через немецкую землю в Иерусалим и везущие царские дары для святых обителей в поминовение царевича Иоанна. Хозяин был рад богатым постояльцам; в корчму втащили несколько мешков с серебром. При виде их забежали глаза у Фанеля; между тем со всех сторон зашумели пересказы о страшном и беспримерном событии.

Грозный наказал себя в любимом сыне своём, поразив его в гневе тяжёлым посохом. Напрасно Борис Годунов бросился удержать руку гневного отца, сам подвергаясь опасности; удар был смертелен, и, терзаемый поздним раскаянием, злополучный сыноубийца ещё в надежде умиловить небо отправил с московским купцом Коробейниковым дары в палестинские церкви.

Путники остановились в корчме до рассвета. Фанель, не дожидаясь утра, отправился ночью в путь. Купцы, пробудясь на заре, с восходом солнца были уже в нескольких вёрстах от корчмы и, поднявшись на холмистую крутизну, въехали в густой лес. Вдруг окружило их множество наездников; купцы, хорошо вооружённые, отбивались от нападающих и едва не уступили числу их; к счастью, подоспела неожиданная помощь: князь Ковельский возвращался из Гродно в Ковель. При появлении его грабители скрылись, а встревоженные купцы радовались и благодарили Промысл, что даяние царское не перешло в руки разбойников.

ГЛАВА VIII

Свидание с Горсеем

Одна из башен замка Ковельского была обращена к уединённой роще, которая с крутизны спускалась в глубокую долину. Сквозь просеку деревьев открывался вид на далёкое пространство. Голубая Турия, катя быстрые светлые воды, обтекала в извилистых оборотах зелёные луга; за ними на синеющих пригорках виднелись кровли рассеянных сел. Длинным переходом соединялась башня с замком; древние стены представляли воинственные изображения рыцарей и старинных владельцев замка. Сквозь широкие окна, обращённые к западу, вечернее солнце освещало багряным сиянием галерею, и черты витязей оживлялись пред взорами Курбского, часто проходившего по галерее в уединённую башню, где в тихой беседе с мудрецами древности он на время забывал свои бедствия.

Когда возвращался он из башни в приёмную залу, то уже в отдалении едва мерцала огнистая полоса угасающей зари; сумрак ночи облекал небо; темнота и молчание царствовали в длинной галерее, и только отзывались шаги Курбского, идущего в глубокой думе по переходу, ещё незадолго блиставшему яркими тенями вечера и великолепным отблеском солнца, уже погруженному в глубокую тьму. Этот переход от света к мраку был приятен Курбскому, сходясь с его положением, и склонял его мысли к превратности земного величия.

Однажды, когда он сидел пред окном башни, погружившись в думы, молодой придверник прибежал сказать ему, что иностранец, прибывший из Москвы, желает его видеть. При слове «Москва» встрепенулось сердце Курбского; казалось, струя пламени пробежала в нём; всё заключалось в этом слове: и покинутое отечество, и утраченная честь, и погибшее счастье; в одну минуту представилось Курбскому воспоминание всей его жизни. К Москве ещё стремилось сердце, но укоризна язвила его... Увы, он изменил отечеству. Но он желал слышать о нём, знать, что происходит под небом его родины, чего ещё ждёт Россия от Иоанна...

Князь спешил приветливо встретить иноземца, в котором с радостью узнал учёного Горсея.

Скорыми шагами приблизился Горсей к Курбскому; весть необыкновенная была в устах его, и прежде, нежели сказал он, Курбский понял уже, что произошло великое событие. Лицо англичанина оживлялось выступающим румянцем, рука его дрожала, пожимая руку князя Курбского.

— Нет уже Иоанна, князь Ковельский, — сказал он. — Россия тебя призывает.

— Нет Иоанна? — повторил с недоумением Курбский, как будто не понимая Горсея.

Князь не думал пережить Иоанна; ему казалось, что сама смерть страшилась Грозного.

Горсей уверил его, что Иоанн уже кончил дни и предан нетлению подле праха царственных предков.

— Иоанна нет? — повторил Курбский. — Мир земле. — И в лице его выразилась минутная радость, страшная радость, так что Горсей не выдержал его взгляда и, содрогаясь, отступил.

— Скажи мне, — спросил Курбский, схватив его руку, — скажи мне, как умер он? Не разверзлась ли земля под его ногами? Гром небесный не сокрушил ли его чертоги? Какими явлениями предвестила природа это событие! Как смерть увлекла свою ужасную жертву?

— Иоанн умер тихо, — сказал Горсей. — Но смерть проявлялась в грозных знамениях. Однажды, вышедши на Красное крыльцо, он увидел комету странного цвета: она заметно багровела, как будто кровь

проступала в её сиянии; все заметили это явление между церковью Иоанна великого и собором Благовещения. Иоанн смутился и воскликнул: «Вот знамение смерти моей!» Страх его скоро уступил место другим чувствам: на другой день он разослал гонцов искать повсюду гадателей и звездочётов, даже в Лапландию, на берега Белого моря. Шестьдесят волхвов собрались в Москве гадать о судьбе Иоанна; им отвели обширный опустелый дом князя Владимира Андреевича, но в то же время развилась в Иоанне болезнь. Говорят, что он почувствовал в себе тление внутренности; опухоль разлилась по телу. Звездочёты сказали ему себе на беду, «что 18 марта последний день его». «Сожгу прежде вас на костре!» — сказал Иоанн, но, созвав бояр, говорил о делах государственных, завещал престол царевичу Феодору, обратился к милостям, не оставлял и казней, но уже силы его истощались; однако в тот же день он призвал меня в палаты свои, показал мне свои драгоценности; рынды принесли его в креслах тяжело дышащего. При взгляде на сокровища он оживился. «Я знаю, Горсей, — сказал он, — что ты сведущ в дорогих вещах, ты понагляделся на них во дворце сестры нашей Елизаветы; посмотри, менее ли богатства у русского царя?» При этих словах он повелел отворить дверь в хранилище сокровищ; блеск ослепил меня! Груды серебра и золота сияли предо мною; на золотых блюдах сверкали алмазы и яхонты. «Смотри, — говорил царь, — вот, Горсей, восточный алмаз, подивись его весу, цены ему нет! А вот разноцветный опал блещет, как небесная радуга! Загляни в эту чашу: в ней жемчуг; ощупай жезлом, как она глубока, не скоро исчерпаешь и ковшом; насыпана перлами по края, как пшеницею. Вот это, — говорил он, переводя одышку, — лазоревый яхонт, камень сапфир, такого ты не видал у Елизаветы. Это сибирский плод, а моя Сибирь — золотое дно!» Так говорил он, а я со страхом слушал его; мне казалось, смотря на изнурённого больного, что сама смерть из-за плеча его любовалась сокровищами. Вдруг застонал он при взгляде на ожерелье из восточных перл... «Сын мой! — вскричал он. — Горе мне!.. Сын мой... ты ещё носил бы это ожерелье!» Тут опустился он без памяти в кресла, и рынды вынесли его в почивальню. Две ночи сряду призывал он сына, охладевая, но врачи парами возбуждали в Иоанне теплоту; поутру он оживился и спросил: «Какое число месяца?» «Марта 18-е», — отвечали ему боязливо. «Восемнадцатое? — сказал он. — А я бодрее в силах. Лгут звездочёты, не узнали судьбы моей. Последний им день! Объяви им казнь за их басни! — приказал он Бельскому. — Уготовь казнь против окон моей почивальни». «Государь, они говорят, что день ещё не прошёл», — отвечал Бельский. Царь задумался и, сидя на одре, велел принести шахматную доску, собираясь играть с любимцем своим, он расставил шашки, но вдруг шашки полетели на пол, Иоанн упал на одр. Он не вставал более и скончался под молитвами пострижения. Мертвеца покрыли схимою и называли Ионою.

— Иона во чреве китове! — сказал Курбский. — Но не на три дня замкнула его челюсть земли. Нет, века, века пройдут, он не выйдет из неё и предстанет на суд...

Оставшись один, Курбский взглянул на мрачное небо.

— Итак нет Иоанна!.. — воскликнул он. — Как призрак, сокрылся!.. О, для чего наше бедствие не было призраком? Для чего смерть не сразила меня пред Казанью? Для чего не пал я от мечей ливонских? Я не изменил бы отечеству!

Давно уже слышались глухие перекаты грома, в эту минуту молния блеснула в окно замка.

— Иоанн! — воскликнул Курбский. — Я призываю тебя на суд пред Богом; в шуме грома, при блеске молнии, вопию, вопию на тебя к небесному мстителю! Иоанн, ты навёл мрак на жизнь мою, ты умертвил ближних моих, ты разлучил меня с семейством моим, ты опозорил славу мою, ты погубил душу мою!..

Молния змеилась по небу, рассыпаясь стрелами; гром потрясал древние башни замка.

ГЛАВА IX

Последняя повесть

Долго ещё представлялось Курбскому, как грозный Иоанн, уже смиренный смертию, лежал на одре в одежде инок; как с сокрушением и трепетом сердца на него смотрели окружающие. Многим изрекали гибель эти уста, сколь многих жизнь угасла от одного мановения этой руки! Тени жертв Иоанна носились около гроба властелина, предаваемого нетлению. «О, если бы до конца жизни следовал он благим внушениям Адашева и Сильвестра? Как бы различна была повесть жизни его! Как бы лучезарна была слава его!» Так думал Курбский... и удивлялся, слыша от Горсея, что народ забыл свои бедствия, молясь о помиловании державного... Завоевания Казани, Астрахани, Сибири, Ливонии казались венцами его величия не одним его современникам. «Бедно всё величие человеческое без смирения страстей! — сказал Курбский Горсею. — Жизнь наша — борьба добра и зла; горе тому, кто отдастся злу, губя своё вечное благо!» Но внутренний голос слышался в душе Курбского: да молчит суд человеческий пред судом Господним!

Слух о кончине Иоанна привёл в волнение поляков. Шумнее стали их сеймы. Стефан Баторий не соглашался на мир с Феодором, если не отдадут Литве Новгорода, Пскова, Смоленска; вельможи Батория по хитрому внушению короля даже обещали в случае смерти бездетного Стефана избрать Феодора его преемником и присоединить Польшу к России. Зная, по слухам, что Феодор был здоровья слабого, Стефан, чувствуя крепость сил своих, надеялся воспользоваться скорою смертью болезненного Феодора, но судьба определила слабому пережить сильного. Стефан скончался в декабре 1586 г., не успев ослабить Россию ни силою, ни хитростью.

Курбский, забыв свои немощи, решил ехать в Гродно, поклониться царственному праху своего покровителя. Но утомлённый свидетель превратности человеческой жизни и счастья, он не долго был там, где чуждались его и всё было чуждо ему. Отдав долг благодарности, он спешил в свой Ковель.

Туманны были зимние дни; снеговая метель осыпала путь, избитый конями. Неподалёку от Гродно князь остановился на ночь в корчме. Мрачна была ночь; бушевал холодный ветер со свистом и воем. Курбский лежал на одре, но тревожен был сон его, и глаза по временам открывались в смутной дремоте. Внезапно слышит он шум... слышит, как хлопнуло окно при сильном порыве ветра... и в сию минуту кто-то появился. Курбский не верит глазам своим: при свете лампы он видит самого Грозного в чёрной одежде инок! Его волнистая борода, его остроконечный посох! Курбский содрогнулся. «Что тебе?» — вскричал он, торопливо поднявшись с одра и устремив взор на страшное видение. «Я пришёл за тобою», — сказал гробовым голосом призрак, остановив на нём впалые, неподвижные глаза и стуча жезлом приближался к одру князя. «Отступи!» — воскликнул князь в ужасном волнении духа, отражая призрак знаменем креста. Привидение уже стояло у одра его и подняло остроконечный жезл. Курбский мгновенно бросился на жезл, исторг его и, схватя обеими руками, переломил; вдруг погасла лампада, что-то застучало у открытого окна... служители бежали со светильниками на призыв князя, призрак исчез, но нашли упавшую маску, довольно сходную с лицом Иоанна; на снегу заметили следы нескольких человек... Ничто более не обличало виновников злоумышления. Были ли это приверженцы Волловичей или другие враги Курбского, осталось ему неизвестным.

Утомлённый бедствиями жизни и всё ещё ожидая вести о сыне, Курбский почти отрёкся от мира, чуждаясь людей.

После смерти Батория уже забыли о Курбском при польском дворе; молва о разрыве его брака давно замолкла; он ничего не слыхал о княгине и не желал слышать о ней; а при немощах старости не принимал никого из польских вельмож. Один только Ян Иеронимов по временам навещал старца. Для него ещё растворялись железные ворота Ковельского замка, дряхлевшего, подобно своему владельцу.

Время начинало разрушать стены; князь не заботился исправлять их. Широкий двор перед замком порос густою травою, но от крыльца пролежала тропинка в сад. Князь Ковельский оставил при себе немногих вернейших слуг, и они только знали, что господин их время от времени принимал в саду своём беднейших из окружных жителей и щедро наделял несчастных, запрещая им разглашать о том. Непрístupный для гордых панов, он ещё долго был доступен каждому бедному поселянину, но впоследствии немногие его видели и немногие слышали голос старца. Среди сада, под навесом тёмных лип, возле пруда, видна была древняя башня; от неё спускалось к пруду крыльцо с широкой площадкой, обставленной полукругом скамьями. Окно башни заграждено было решёткой, сквозь которую при вечернем свете лампад виден был внутренний покой со сводами, казавшийся часовней. Сюда-то приходил старец, и здесь, не примечаемый сидящими пред башней, он слышал их разговор, откровенное признание их потерь и печалей доброму Флавиану, его садовнику, и, умея отличить притворство от истины, утешитель незримый посылал им помощь по мере их нужды. Флавиан, услышав стук в железную решётку, подходил к окну, и мгновенно решётка поднималась: серебро или золото падало в руки Флавиана; верный служитель передавал этот дар пришельцам на выкуп пленников, на освобождение из темниц, на призрение сирот или возобновление жилищ, погибших от огня. Видя радость их, слыша благословения, Флавиан указывал им на небо и, напоминая долг молчания, отпускал их чрез садовую дверь позади замка.

В один ненастный день недалеко от Ковельского замка шёл, возвращаясь из плена, пожилой израненный воин. Претерпевая недостаток и желая скорей пробраться на родину, он просил помощи; от иных слышал отказ, а другие говорили ему: проси у садовника Ковельского. Эти слова побудили ратника расспросить о садовнике; по приходе в Ковель ему нетрудно было отыскать Флавиана. Сострадательный исполнитель воли князя Ковельского назначил ему час прийти к башне и рассказал о нём своему господину.

— Благодарю тебя, Флавиан! — сказал старец, ласково пожав его руку. — Ты искусный садовник, но всего лучше, что помогаешь мне растить цветы добра; они принесут нам плод в другой жизни!

Воин не замедлил явиться. Флавиан, посадив его на скамью, расспрашивал о подробностях битв и ранах его.

Ратник, одобряемый ласковостью, рассказывал ему всё, что с ним было, что видел... Вдруг отворилась дверь, с крыльца сошёл незнакомый ему старец величественного роста, опираясь на посох; одежда его более походила на смиренное платье отшельника, нежели на убранство, приличное князю Ковельскому; седая борода падала на пояс его; чело, обнажённое от волос, представляло следы скорби и изнурения, но ещё не угас огонь его взора. С сильным душевным движением старец бросился к воину, хотел говорить, но слова исчезали в дрожащих устах; в лице его так быстро изменялись чувства сильной души, что испуганный ратник готов был скорее почтись его призраком, нежели живым существом. Сам Флавиан удивился перемене в чертах князя Ковельского.

— Ты видел его! — наконец проговорил он. — Какое было на нём оружие? Какой был вид сего русского воина?

Ратник с удивлением смотрел на Курбского.

— Не был ли на нём крест позлащённый? Не поминал ли кто-нибудь о сходстве его? — Старец не мог договорить и, ослабев, сел на скамью.

Флавиан встал почтительно, и польский ратник последовал его примеру.

Он подробно повторил старцу прерванный рассказ свой о том, как, устремись в самую середину врагов, теснящихся к русскому знамени, и бросив раздробленный щит свой, какой-то юноша схватил хоругвь и, увлекая её, старался мечом очистить дорогу. Пищали обращены на него, но храбрые сподвижники не выдают своего героя; живую стеною заслоняют его и принимают на себя грозящие ему удары. Литовцы свирепеют негодованием, уже видят неминуемое поражение, не думают о своей защите и прорываются с воплем ожесточения отомстить за себя. Израненный конь его пал, и, прежде нежели юноша успел соскочить с него, меткое копье поражает витязя в грудь; он падает, сжав в руках своих священное для него знамя; его падение было гибельно врагам: ни один из них не спасся от русских мечей, и скоро русские крики победы огласили всё поле, покрытое телами врагов.

Свидетели доблести юного воина спешат отыскать виновника победы, павшего на поле славной битвы. Они находят его едва дышащего. Копье уже исторгнуто из груди его, и сорванное с древка знамя присохло к ране. Уже хлад смерти разливался в чертах его.

— Кто этот юноша? — спрашивали друг друга военачальники; никто не мог объяснить этого; не знали, откуда он и когда он явился, но все видели дела его, все дивились его великодушной отважности и пересказывали друг другу чудеса его подвигов. Припоминая черты лица его, иные находили в нём сходство с князем Андреем Курбским... Но никто не смел сказать о нём Иоанну.

— Свершилось! — воскликнул Курбский. — Жертва принесена; он исполнил завет мой!

Он упал на колени и хотел молиться; глаза его обратились на небо, но он уже не мог говорить, не мог и встать с колен. Флавиан поднял его и с помощью воина перенёс в башню, на скамью, устланную ковром, но едва положил его на это ложе, славный муж, испытанный бедствиями, с тяжким вздохом поник челом и отошёл к вечному покою.

Прошли века... Изгладились и следы знаменитой гробницы князя Ковельского. Но, кажется, небо примирилось с ним: давно уже русские орлы пролетели за Ковель, и Россия приняла под материнскую сень свою прах изгнанника...

Е. А. Тихомиров

Первый царь московский Иоанн IV Васильевич

Грозный

Том первый

I

Женившись вторым браком на греческой царевне Софии Палеолог, затем женив старшего сына своего Иоанна на дочери молдавского воеводы и господаря и выдав свою дочь Елену за великого князя литовского Александра, ставшего впоследствии королём польским, великий князь Московский Иоанн III Васильевич много хлопотал о том, чтобы найти невесту и для своего сына и наследника престола Василия среди европейских дворов. Поиски его, однако, не увенчались успехом. Оставалось покориться необходимости выбирать невесту для будущего государя из подданных. Великий князь выбрал невесту для своего наследника из 1500 девиц, вызванных в Москву на смотрины от служилых людей всей земли русской. Выбор пал на Соломону Сабурову, дочь незначительного дворянина Юрия Константиновича Сабурова[23].

Четвёртого сентября 1505 года была отпразднована свадьба. Но великая княгиня Соломонида, или Соломония, была бесплодна. Тщетно несчастная княгиня употребляла все средства, которые ей предписывались знахарями и знахарками. Через своего брата Ивана Юрьевича Сабурова она беспрестанно отыскивала себе «и жонок, и мужиков», чтобы какими-нибудь чародейственными средствами привлечь к себе любовь мужа. Одна такая жонка-знахарка из Рязани, по имени Стефанида, осмотрев Соломонию, решила, что у неё детей не будет, но дала ей наговорную воду, велела ей умываться и дотрагиваться мокрою рукою до белья великого князя. Другая, какая-то безносая черница, давала ей наговорного масла или мёда, велела натираться им и уверяла, что не только великий князь полюбит её, но она будет иметь и детей.

Прошло, однако, уже двадцать лет супружеской жизни, а детей у Соломонии всё не было.

У великого князя Василия Иоанновича было в обычае путешествовать по своим владениям в сопровождении бояр и вооружённого отряда детей боярских. Это называлось объездом. В один из таких объездов Василий увидел на дереве птичье гнездо, залился слезами и начал горько жаловаться на свою судьбу. «Горе мне! — говорил он. — На кого я похож? И на птиц небесных не похож, потому что и они плодовиты; и на зверей земных не похож, потому что и они плодовиты; и на воды не похож, потому что и воды плодовиты: волны их утешают, рыбы веселят». Взглянув на землю он сказал: «Господи! Не похож и на землю, потому что и земля приносит плоды свои во всякое время, и благословляют они Тебя, Господи». Вернувшись из объезда в Москву, великий князь начал советоваться с боярами и говорить им с плачем: «Кому по мне царствовать на Русской земле и во всех городах моих и пределах? Братьям отдать? Но они и своих уделов обстроить не умеют». На этот вопрос слышались голоса между боярами: «Государь великий князь! Неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда». Высказывавшие это намекали на необходимость развода. Но не бояре могли решить этот вопрос, а власть церковная. Сохранилось

предание, что великий князь по совету митрополита Даниил, посылал грамоту ко всем четырём восточным патриархам, прося у них разрешения развестись с неплодною женою и вступить в. новый брак, но все патриархи отвечали великому князю решительным отказом. Как бы то ни было, первосвяtitель Русской Церкви вопреки ясному учению Евангелия и в противность церковным правилам дозволил государю развод с его женой.

Но были люди, смотревшие на это дело иначе. Главным противником развода был инок Вассиан Косой, бывший князь Василий Патрикеев. Великий князь оказывал ему большое уважение за ум и образованность и позволял ему иметь сильное влияние на дела церковные. Но теперь, когда возник вопрос о разводе, Вассиан был против него. Вместе с ним против развода как против дела незаконного и бесовестного были князь Семён Феодорович Курбский, почтенный благочестивый старец, некогда славный воин, покоритель Перми и Югры. Мнение Вассиана и Курбского поддерживал и знаменитый Максим Грек.

Несмотря на их сопротивление, в ноябре 1525 года был объявлен развод великого князя с Соломонию, которая была насильно пострижена в монашество. Герберштейн, бывший послом в Москве от германского императора, передаёт в таком виде обстоятельства этого пострижения.

Когда великой княгине начали стричь волосы, она голосила и плакала. Митрополит поднёс ей монашеский кукуль — шапочку. Она вырвала его из его рук, бросила на землю и стала топтать ногами.

Стоявший рядом близкий советник Василия Иоанновича Иван Шигона ударил её плетью и сказал:

— Так ты ещё смеешь противиться воле государя и не слушать его повелений?

— А ты, — сказала Соломония, — по какому праву смеешь бить меня?

— По приказанию государя! — ответил Шигона.

— Свидетельствуюсь перед всеми, — громко сказала Соломония, — что не желаю пострижения и на меня насильно надевают кукуль. Пусть Бог отомстит за такое оскорбление!

Пострижение произошло 28 ноября 1525 года в Москве, в Рождественском девичьем монастыре. Постригал Соломонию Никольский игумен Давид, вероятно, в присутствии митрополита. Из Москвы бывшую великую княгиню Соломонию, в монашестве Софию, отправили в Покровский Суздальский монастырь^[24].

В противоположность рассказу Герберштейна о пострижении великой княгини Соломонии приведём и рассказ, находящийся в летописи, служащей продолжением Нестору: *«Благоверная великая княгиня Соломонида, видя неплодство чрева своего, яко же и древняя Сарра, начат молити государя великаго князя Василия Ивановича всея Руси, да повелит ей облещися во иноческий образ. Царь же, государь всея Руси нача глаголати сице: како могу брак разорити, а вторым совокупитися, — паче же государь благочестив и совершитель заповедем Господним и законному повелению? Христолюбивая же великая княгиня с прилежанием и со слезами начат молити государя, да повелит ей сотворити тако, якоже хочет. Царь же ни слышати сего не восхоте, и приходящих от нея вельмож отревая с злобою. Великая же княгиня, видя непреклонна государя на моление ея, начат молити Данила Митрополита, да умолит о сём государя, дабы сотворил волю ея быти»*. Великий князь послушался митрополита.

Однако это известие, очевидно, внесено в летопись из страха разгневать великого князя. Все другие источники единогласно утверждают, что Соломония была пострижена насильно.

Вскоре после пострижения Соломонии в Москве разнёсся слух, что она беременна и скоро разрешится. Этот слух подтверждали две боярыни, жёны близких к государю людей, вдова казначея Юрия Траханиота, Варвара, и жена постельничего Якова Мансурова. Они говорили, Что слышали от самой

Соломонии о её беременности и близких родах. Великий князь очень смутился этой молвою, удалил из дворца обеих боярынь, а вдову Траханиота приказал даже высечь за то, что она раньше не донесла ему об этом. Он послал в монастырь к Соломонии разузнать дело на месте своих дьяков: Третьяка Ракова и Меньшого Путятину, Чем окончилось исследование, нам неизвестно. Герберштейн пишет, что в бытность его в Москве выдавали за истину, что Соломония родила сына, именем Юрия, и никому его не показывала. Когда к ней явились посланные узнать истину, то она сказала им: «Вы недостойны того, чтобы глаза ваши видели ребёнка. А вот когда он облечётся в своё величие, то отомстит за оскорбление матери». Но многие не верили, что Соломония действительно родила.

Предание о том, что у Соломонии был ребёнок, живо до сих пор в Суздальском Покровском монастыре.

II

Ровно через два месяца после пострижения Соломонии, 28 января 1526 года, великий князь Василий Иоаннович женился на Елене Васильевне Глинской, дочери Василия Глинского, литовского выходца. Митрополит Даниил опять вопреки церковных правил благословил великого князя вступить в новый брак и даже сам обвенчал его.

Никакого выбора невест на этот раз не было.

Новая супруга великого князя не походила на тогдашних русских женщин. Отец её и особенно дядя, живший в Италии и Германии, были люди образованные. И Елена, без сомнения, усвоила от родных иноземные понятия и обычаи. Женившись на ней, Василий Иоаннович тоже как будто стал склоняться к сближению с другими европейскими государствами. В угоду молодой жене он даже сбрил себе бороду; а это, по тогдашним понятиям, считалось не только делом непристойным, но даже тяжким грехом: православные считали бороду необходимою принадлежностью благочестивого человека. На иконах, представлявших страшный суд, по правую сторону Спасителя изображались праведники с бородами, а по левую — басурманы и еретики, обритые, с одними только усами, «аки коты и псы», как говорили набожные люди.

III

Вступив во второй брак, Василий Иоаннович освятил этот брак в самом начале молитвою о чадородии. Через месяц после свадьбы, назначая в Новгород архиепископом своего любимца архимандрита Можайского монастыря Макария, великий князь поручил ему, как придет на паству, «в октеньях молити Бога и Пречистую Богоматерь и чудотворцев о себе и о своей княгине Елене, чтобы Господь Бог дал им плод чрева их», о чём действительно и молились по всей епархии в церквях и монастырях.

В конце года великий князь совершил богомольный поход в Тихвин, к Тихвинской Богоматери, куда приехал вместе с Новгородским владыкою Макарием 24 декабря, в навечерие праздника Рождества Христова, пробыл там три дня и три ночи, молился «о здравии и о спасении, и чтобы ему Господь Бог даровал плод чрева... великую веру и умильное моление показал ко Всемилоستивому Спасу и Пречистой Богородице и к Их угодникам; показал многую милость к печальным людям, которые в его государевой опале были, монастыри милостынями удоволил».

Но прошло почти два года, а Господь всё не благословлял детьми и этого брака. Осенью 1528 года великий князь, прожив до Филипповских заговен в Новой Александровой слободе, предпринял оттуда новый богомольный поход по монастырям к чудотворцам вместе с великою княгинею: был в монастырях Переяславских, Ростовских, Ярославских, на Белом озере в Кириллове монастыре, на Кубенском озере в Спасо-Каменном монастыре, везде милостыню великую давал и потешение по монастырям и в городе попам, прося молиться о чадородии, «чтобы дал Бог отроду него был». В Переяславле основывал тогда свой монастырь преподобный Даниил, ученик Пафнутия Боровского. Посетив св. старца, великий князь завещал поставить в монастыре каменную церковь во имя св. Троицы, для чего и запас к церковному строению послал, прося преподобного молить Бога о даровании ему чада. По словам Макария, любимца великого князя, последний «не умалял подвига в молитве, не сомневался от долгого времени своего бесчадства, не унывал с прилежанием просить, не переставал расточать богатство нищим, путешествуя по монастырям, воздвигая церкви, украшая св. иконы, монахов любезно успокаивая, всех на молитву подвизая, совершая богомольные походы по дальним пустыням, даже пешком, вместе с великою княгинею и с боярами; всегда на Бога упование возлагая, верою утверждаясь, надеждою веселясь... желаше бо попремному от плода чрева его посадити на своём престоле в наследие роду своему».

Таким образом, четыре с половиной года протекли в непрестанных молитвах, в непрестанных подвигах благочестия и милосердия. В последнее время супруги с особенною верою прибегали к преподобному Пафнутию Боровскому. Наконец молитва их была услышана: Господь внял стенаниям и слезам супругов и «разверзе союз неплодства их». 25 августа 1530 года была великая неизречённая радость великому князю и великой княгине и всему Московскому государству: в этот день Бог даровал государю сына Иоанна — молитвенный плод, столько времени и с такою горячностью ожидаемый родителями. В 1584 году рязанский епископ Леонид свидетельствовал перед царём Феодором Иоанновичем как о деле всем известном, что «по прошению и по молению преподобного Пафнутия чудотворца дал Бог наследника царству и многожеланного сына отцу». Это подтверждается ещё и тем, что восприемниками новорождённого первенца Васильева от купели были избраны ученики преподобного Пафнутия — Даниил Переяславский и Кассиан, прозванный Босым. Крещение новорождённого совершено было в Троице-Сергиевом монастыре игуменом Иоасафом Скрипицыным у мощей преподобного Сергия. Здесь Даниил своими руками носил младенца во время литургии и к причастию св. Таин. Рассказывали, что великая княгиня во время своей беременности, «яко быст близ рождения», спросила одного юродивого,

Дементия, кого она родит. Он, юродствуя, отвечал: «Родится Тит — широкий ум». Она ещё больше стала молиться, чтобы исполнилась её надежда. За девять дней до рождения, в Успенский пост, иереи служили обедню, вовсе не ведая, что великая княгиня уже непраждна. Когда на ектении, среди обычных молений о великом князе и о великой княгине, следовало произнести: «О еже подати им плод чрева», — один клирик внезапно, яко сном объят, возгласил: «И о благородном чаде их», — и в изумлении оглядывал других служащих, желая знать об имени царственного младенца. Богодарованному отроку наречено имя Иоанн, «еже есть Усекновение Честный Главы», сказано в летописи. В мамы к новорождённому малютке была избрана Аграфена Челядника, сестра будущего наперсника Елены, князя Ивана Фёдоровича Овчины-Телепнева-Оболенского.

Ни одному царскому рождению не придавали такого великого значения и особенного смысла, как этому рождению будущего грозного царя. Летописцы записали, что будто бы в час его рождения по всей Русской земле внезапно был страшный гром, блистала молния, как бы основание земли поколебалось.

Великий князь не знал, как выразить свою радость и свою благодарность Богу: сыпал золото в казны церковные и на бедных, велел отворить все темницы и снял опалу со многих знатных людей, бывших у него под гневом: с князя Фёдора Мстиславского, женатого на племяннице государевой и ясно уличённого в намерении бежать к польскому королю, с князьями: Щенятева, Суздальского-Горбатого, Плещеева, Морозова, Лятцкого, Шигоны и других, подозреваемых в недоброжелательстве к Елене. С утра до вечера великокняжеский дворец наполнялся усердными поздравителями — не только москвичами, но и жителями самых отдалённых городов. Пустынники, отшельники приходили благословить державного младенца в пеленах и были угощаемы за великокняжескою трапезою. В знак признательности к угодникам Божиим, покровителям Москвы — святым митрополитам Петру и Алексию, великий князь устроил для мощей их богатые раки: для первого золотую, для второго — серебряную.

Понятно после этого, как велика была любовь Василия к своему первенцу и как сильна заботливость о нём. Уезжая из Москвы, он писал Елене в ответ на её письма: «Говоришь ты, что у сына на шее показался веред. Ты мне прежде об этом зачем не писала? И ты бы мне теперь дала знать, как Ивана сына Бог милует, и что у него такое на шее явилось и как явилось, и давно ли, и лучше ли теперь? Да поговори с княгинями и боярынями, что это такое у Ивана сына явилось, и бывает ли это у детей малых? Если бывает, то от чего бывает: с роду или от чего иного? Ты бы и впредь о своём здоровье и о здоровье сына Ивана не держала меня без вести. Да и о кушанье сына вперёд ко мне отписывай: что Иван сын покушает, чтоб мне было ведомо».

Через два года с небольшим после Иоанна, 30 октября 1532 года, у Елены родился другой сын — Юрий (Георгий), восприемником которого был тоже Даниил Переяславский. Крещение его совершено было тем же Троицким игуменом Иоасафом Скрипициным.

IV

В конце 1533 года Великий князь Василий Иоаннович отправился с женою и детьми в Троицкий монастырь праздновать день святого Сергия, угостил там братию и поехал оттуда на охоту в Волок-Ламский «тешиться». На пути, в селе Озерицком, у него оказалось на левой ноге «знамя болезненности» — болячка с булавочную головку, багровая, но без верху. Он, однако, продолжал путь. Праздник Покрова Пресвятыя Богородицы Василий отпраздновал в селе Покровском, в Фуникове, и провёл там два дня. Болезнь начинала беспокоить его, но он перемогался. На третий день, в воскресенье, он приехал в Волок и был на пиру у любимца своего, дворецкого Тверского и Волоцкого, Шигоны. Боль увеличивалась, и лекарства не помогали. В понедельник он ходил в баню, а за столом сидел в постельных хоробах с великою нуждою. Поутру во вторник погода случилась весьма удобная для охоты: он велел позвать ловчих Нагого и Дятлова и «не унявся» поехал в село своё Колие. До села того едучи, мало было потехи. Из Колпии великий князь послал за братом Андреем в старицу — звать его на охоту. Через силу выехал он в поле с собаками, но с третьей версты воротился назад: болезнь его одолела, он слёг в постель, не вставая к столу. Тогда он послал за князем Михаилом Глинским, дядей великой княгини, и врачами своими Феофилом и Люевым (Буловым). Прикладывали к болячке пшеничную муку с пресным мёдом и печёный лук, отчего она стала рдеться и гноиться. В Колии великий князь пробыл две недели. Возвращаться на коне в Волок он уже не мог: дети боярские и княжата понесли его на носилках. Стали прикладывать мазь, и гною выходило по полутазу и даже тазу. Велика была тягость «в грудех», ставили горшки-семянники, которые оказали своё действие. Но облегчения никакого не было: «и от того часа порушися ему ества (то есть пропал аппетит), не нача ясти, — и уразуме князь великий болезнь свою смертную». — Тогда послал он в Москву своего стряпчего и дьяка за духовными грамотами деда и отца, не веля о том сказывать никому. Мансуров и Путятин привезли грамоты тайно от всех — от княгини и братьев, митрополита и бояр.

Накануне дня памяти Варлаама Хутынского [\[25\]](#) ночью вышло из больного места гноя больше таза и стержень в полторы пяди, но не весь. Больной обрадовался, надеясь на облегчение, но напрасно. Становилось час от часу хуже и хуже. Он послал тогда за боярином своим Михаилом Юрьевичем Захарьиным и любимым старцем Мисаилом Сукиным. Они приехали. «Я хочу постричься, — сказал он им и духовнику своему протопопу Алексею, — чтобы платье чернеческое было у вас готово: смотрите, не положите меня в белом». Открылся совет с прочими, как ему ехать в Москву. На совете решено побывать прежде в Иосифове монастыре, у Пречистой помолиться. С великим трудом отправился великий князь в путь и взял заговейное в селе своём на Бие-Городе вместе с братом Андреем. Повели его под руки в церковь. Великая княгиня с детьми, приехавшая из Москвы, следовала за ними. Дьякон от слёз не мог промолвить ектении о здравии государя; игумен, братия, бояре и все люди плакали. Когда началась обедня, великий князь, не имея сил стоять, был вынесен на паперть церковную и положен на одр, на котором и лежал во всё продолжение службы.

Когда кончилась обедня, его отнесли в келью. Игумен стал умолять его покушать. Великий князь немного поел через силу и велел своему брату с боярами идти в монастырскую трапезу. Переночевав в Иосифовом монастыре, он поехал в Москву. Дорогою часто останавливались и отдыхали. Василий советовался с боярами, как бы въехать в город не явно, потому что на Москве в то время были иноземные послы. Наконец решили остановиться на Воробьёвых горах. Здесь больной пробыл два дня. Сюда приезжали к нему из Москвы митрополит Даниил, епископы, архимандриты, бояре. Под селом Воробьёвым по его приказанию стали строить мост на Москве реке. Это было в ноябре; лёд стал ещё не очень крепко; его рубили, поспешно вбивали сваи, а на них мостили доски. На третий день великий князь

отправился в Москву. В каптану, поставленную на сани, впряжены были четыре коня; едва, спустившись с горы, стали они взбираться на мост, как тот подломился: дети боярские успели удержать каптану и быстро обрезали гужи у коней. Великий князь принуждён был вернуться. Он посердился на городничих, смотревших за постройкою, но не положил на них опалы. Он въехал в Москву другим путём — на пароме под Дорогомиловым в Боровицкие ворота.

Первой заботой великого князя по приезде в Кремль и успокоении в постельных хоромы было — написать духовную. Он чувствовал себя очень плохо. Около него находились постоянно митрополит, коломенский святитель, любимый старец Мисаил Сукин и духовник. Он советовался с ними о пострижении. «Я знаю, — сказал он первосвятителю, — никто не хочет, чтоб я сделался монахом; но ты, отче, не смотри ни на кого и сотвори по воле Божией инока мя быти, хоть я и грешен». Он велел тайно служить обедню у Благовещения, в пределе Василия Великого, и принял Божественные Дары, поднесённые ему коломенским владыкою Вассианом. В среду, в присутствии только доверенных духовных лиц, он освящался маслом. В воскресенье же велел служить у Рождества и принести к себе святое причастие. Он не мог двигаться, и ему к постели придвинули кресло; но, как увидел святое причастие, то встал сам с постели, и только немного пособил ему усесться на кресле боярин Михаил Юрьевич. Протопоп Алексей поднёс святыя дары, а поп Григорий — дору (антидор). Он встал на ноги и с великим благоговением и слезами приобщился пречистого Тела и Крови Христовой; потом откушал освящённого хлеба, дору, укропу, кутии и просфоры. Отдохнув, он призвал митрополита, братьев, Юрия и Андрея, и бояр. Узнав о болезни великого князя, они все съехались из своих отчин, братья же ещё прежде. Великий князь сказал им: «Приказываю (отдаю на руки) сына своего Ивана Богу и Пречистой Богородице, и святым чудотворцам, и тебе, отцу своему, Даниилу митрополиту всея Руси; даю ему своё государство, которым меня благословил отец мой, князь великий Иван Васильевич всея Руси. И вы бы, мои братия, князь Юрий и князь Андрей, стояли крепко в своём слове, на чём крест целовали мы между собою — о земском строении, о ратных делах; против недругов сына моего и своих стояли дружно, чтоб рука православных христиан была высока над басурманами и латынами. Вы же, бояре и боярские дети, и княжата, ведаете сами, что наше государство Владимирское, Новгородское и Московское ведётся от великого князя Владимира Киевского. Мы вам — государи прирождённые, а вы нам — извечные бояре: стойте крепко, чтоб мой сын учинился на государстве — государь и чтоб была на земле правда».

Затем он отпустил от себя всех и, оставив только Дмитрия Бельского с братьею да князей Шуйских, Горбатовых и Михаила Глинского, обратился к ним с такими словами: «Поручаю вам Михаила Львовича Глинского. Человек он приезжий; и вы бы того не говорили, что он приезжий: держите его за здешнего уроженца, потому что он мне верный слуга». Обратившись же к Глинскому, он сказал ему: «А ты, князь Михаил, за моего сына Ивана и за жену мою Елену должен охотно пролить всю кровь свою и дать тело своё на раздробление».

Болезнь усиливалась, от раны пошёл дух — «нежид смертный». Великий князь обратился к доктору Люеву: «Брат Николай! Пришёл ты ко мне из своей земли и видел моё великое жалованье к себе: можно ли тебе, чтоб было облегчение болезни моей?» Николай отвечал: «Жил я, государь, в своей земле и прослышал о твоём великом жалованье и ласке; я оставил отца и мать, и землю свою и приехал к тебе, государь, видеть твоё великое жалованье до себя и хлеб-соль. Готов бы я хоть тело моё раздробить для тебя, государь. А мощно ли мне мёртвого живым сотворить? Я не Бог».

«Слышите? — сказал Василий детям боярским и своим стряпчим. — Николай надо мною познал, что я уже не ваш». Стряпчие и дети боярские сдерживали слёзы и, вышед вон, заплакали горько.

На воскресенье против той ночи, как причаститься святых Таин, великий князь притихнул и начал во сне порывистым голосом петь: «Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже!» Потом проснулся и сказал: «Как

Богу угодно, так и будет. Буди имя Господне благословенно отныне и до века». Пришёл к нему игумен Троицкого монастыря Иоасаф, и сказал ему великий князь: «Помолись, отче, о земском строении, о сыне моём Иване и о моих прегрешениях. Я крестил его у чудотворца и дал его чудотворцу, и на раку его клал. Молите Бога об Иване, сыне моём, и о моей жене». Игумену не велел выезжать из города. В среду великий князь приобщился ещё запасными дарами, но с постели встать не мог: его приподнимали под плечи. По приобщении вкусил немного взвару. Потом он призвал бояр своих — князей Шуйских и других, которые оставались у него от 3-го часа до 7-го, и рассуждал с ними о том, как править после него государством. А Глинский, Захарьин и Шигона оставались у него до самой ночи. Он наказывал им о своей великой княгине Елене, как ей без него быть и как боярам к ней ходить. Пришли братья Юрий и Андрей, и начали притужать его, чтоб вкусил чего-нибудь хотя мало. Больной отведал миндальной каши, едва поднеся к губам. Братья ушли, но он велел воротить Андрея. Были у него Глинский, Захарьин и Шигона. «Вижу сам, — сказал он, — что живот мой к смерти приближается. Пошлю за сыном Иваном: я благослаблю его крестом Петра митрополита. Пошлю и за женою: хочу проститься с нею». И потом вдруг передумал: «Нет, не надо приносить сына: я страшен, — как бы младенец не испугался». А брат Андрей и бояре советовали: «Пошли за сыном и благослови его; пошли и за княгинею». Тогда великий князь послал за женою, но прежде велел принести сына, плача ради великия княгини, и положил на себя крест Петра митрополита. Князь Михаил Глинский принёс на руках младенца Иоанна вместе с боярыней Аграфеной, его мамкой. Ему было только три года и три месяца. Василий приподнялся. Слёзы потекли у него из глаз. Он снял с себя крест Петра чудотворца, приложил ко кресту сына и, благословив, надел на него, и сказал: «Буди на тебе милость Божия. Как Пётр чудотворец благословил сим святым и животворящим крестом прародителя нашего, князя Ивана Даниловича и весь род наш даже и доныне, до нас, так и я благословляю тебя, сына своего старейшего: да будет тебе сей святой крест на прогнание врагов и борителей наших. Многие иноверные покушались на православие и на нашу державу, Богом порученную нам, разорить хотяще, но не возмogli одолеть крестной силы. Есть бо нам верным забрало крест честный и святых молитвы. Буди же на тебе его благословение, на твоих детях и на внучатах от рода в род, буди и моё благословение на тебе, на твоих детях и на внучатах от рода в род. Ещё благословляю тебя благословением нашего прародителя, великого князя, Володимировым Мономашим честным крестом. К сему же приими и венец царский Мономаш, и жезл, и прочую утварь царскую Мономашу, имиже мы, великие князи, венчаемся на великое самодержжество Русского царства. Тако ж вручаю тебе сей скипетр, великия России державу — великое княжение Владимирское, Московское и Новгородское, и всея Руси великое государство».

Так благословил он своего сына, целуя его со слезами.

— А ты, Аграфена, — сказал он, обратясь к маме, боярыне Челядниной, — чтобы от сына моего Ивана ни пяди никогда не отступала.

Пришла великая княгиня, поддерживаемая с одной стороны братом, князем Андреем, а с другой боярынями. Обливаясь горькими слезами, она причитала, все плакали. Великий князь утешал её: «Перестань, мне легче, ничего не болит, благодарю Бога». «На кого ты меня оставляешь, кому детей приказываешь?» — воскликнула она, немного успокоясь. Великий князь отвечал: «Я благословил сына Ивана Государством; великим княжеством, а тебе написал в духовной, как прежним великим княгиням по достоянию, согласно грамотам отцов наших прародителей, что следует». Тогда Елена начала бить челом о меньшем сыне, князе Юрии, прося благословить и его. Принесли Юрия: он был одного года. Великий князь возложил на него крест Паисеинский и потом взял к себе, веля, по преставлении своём, отнести тот крест боярину своему Михаилу Юрьевичу. Сына Юрия пожаловал тогда же отчиною: завещал ему Угличе-Поле с прочими городами.

Завещав правление Елене до совершеннолетия сына, великий князь простился с нею и велел идти к детям, а сам послал за владыкою коломенским Вассианом и старцем Мисаилом Сукиным, также за

троицким игуменом Иоасафом и велел ему стоять перед собою, а стряпчему Фёдору Кучецкому стать с ним рядом, потому что этот стряпчий был свидетелем кончины отца Васильева, великого князя Иоанна. Затем велел дьяку крестовому Даниилу петь канон великомученице Екатерине и канон на исход души. При начале канона он забылся и потом вдруг проснулся, как будто что-то увидел во сне, проговорил: «Государыня великая Екатерина! Пора царствовать», — благоговейно приложился к образу Великомученицы и коснулся его правою рукою, которая у него болела. Принесены были к нему и мощи её. Он велел принести также образ Пречистой и Николая чудотворца. Тогда он послал Шигону за духовным отцом, протопопом Алексеем, чтоб он принёс запасные дары, и велел спросить его, видал ли он когда, как душа расстаётся с телом. Тот отвечал, что ему редко случалось видеть это. Старец Мисаил Сукин принёс иноческое одеяние. Пришли митрополит Даниил, братья Васильевы, все бояре и дети боярские. Митрополит и владыка Вассиан присоветовали послать за образом Владимирской, что писал Лука Евангелист, и Николы Гостунского. Много и других чудотворных образов снесено было в спальню великого князя, и между прочими — образ великомученицы Екатерины, на который он смотрел беспрестанно. Подозвав к себе боярина Михаила Семёновича Воронцова, он поцеловался и простился с ним. Оборотившись, сказал брату Юрию: «Помнишь, как отца нашего, великого князя Ивана, не стало на завтрае Дмитриева дня, в понедельник... Вот и ко мне смертный час и конец приближается...»

Прошёл час. Великий князь позвал митрополита и владыку Вассиана и сказал им: «Изнемогаю, постригите меня, как я желал всегда». Митрополит Даниил и боярин Михаил Юрьевич похвалили его доброе намерение; но брат его, князь Андрей, Воронцов и Шигона не соглашались с ними, говоря: «Князь Владимир Киевский умер не чернецом, а сподобился праведного покоя; многие другие великие князья также», — и начался между ними великий спор. Великий князь повторял: «Постричься хочу, — чего мне долежать!»

Он велел принести святое причастие и держать близ него, начал креститься и говорить: «Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!» Потом прошептал некоторые слова из акафиста и наконец промолвил: «Ублажаем тя, преподобие отче Сергие...» Язык у него отнимался: он знаками просил пострижения, указывал на иноческое одеяние, целовал простыню. Он смотрел направо, на образ Пречистой Богородицы, что висел пред ним на стене, хотел креститься, но правая рука не могла уже приподняться, и боярин Захарьин поднимал её. Митрополит велел принести чернеческое одеяние, а эпитрахиль была с ним. Отрицание иноческое великий князь исповедал ещё в воскресенье, перед Николиным днём, приобщившись святых Таин, и тогда же приказывал положить на себя чернеческое платье на мёртвого, если не дадут постричь его.

Пришёл с чернеческим платьем старец Мисаил, а великий князь уже кончался. Митрополит подал чрез него эпитрахиль игумену Иоасафу. Князь Андрей Иванович и боярин Воронцов не давали священнодействовать. Митрополит Даниил закричал на князя Андрея: «Не благословляю тебя ни в сей век, ни в будущий! Его ты не отнимешь у меня: добр сосуд серебряный, а позлащённый лучше». Великий князь отходил. Митрополит спешил кончить обряд, назвал Василия Варлаамом, возложил на него парамантию^[26] и ряску, а мантии не оказалось: её второпях выронили, когда несли монашеское одеяние к великому князю. Троицкий келарь Серапион отдал свою мантию. В комнате было много иноков, с которыми великий князь беседовал прежде о душе своей. На грудь его они положили Евангелие и схиму ангельскую. Конец приходил: оставалось, кажется, одно мгновение жизни. Духовник не спускал с него глаз. Вот наступает последний вздох, чуть раскрылись уста — и отец Алексей влил святое причастие. Великий князь скончался. «И виде Шигона дух его отшедш аки дымец мал». И просияло как будто лицо его, по уверению предстоявших. Раздался плач. Бояре унимали стенавших, чтоб не услышала великая княгиня, ещё не знавшая о кончине. Это было 4-го декабря, на память великомученицы Варвары, со среды на четверг, в 10-м часу ночи.

Митрополит, намочив хлопчатой бумаги, сам обтёр тело усопшего от пояса. Потом отвёл братьев, князей Юрия и Андрея, в переднюю избу и привёл их к присяге служить великому князю Ивану Васильевичу, как отцу его и деду, равно матери его, великой княгине Елене, а жить в своих уделах и государства под ними не хотеть, людей к себе не отзывать, а против недругов, латинства и бесерменства, стояти за одно. К присяге были приведены тогда же и все бояре, боярские дети и дворяне.

Тогда митрополит пошёл к великой княгине, которая, лишь только увидела его, упала в обморок и около двух часов лежала как мёртвая. Между тем троицкий игумен Иоасаф и иноки Иоасафова монастыря, к которому особенно благоволил покойный, убрали тело, отослав княжеских стряпчих, расчесали бороду, подстлали под него чёрную тафтяную постель и положили на одр от Чудова монастыря, как подобает по чернеческому чину; потом отслужили заутреню крестовые дьяки с протопопом, часы, каноны и канон погребения. Наутро пришёл прощаться народ, боярские дети, княжата, гости, стряпчие, погребные и прочие люди. Поутру в четверг, в первом часу дня, митрополит велел звонить в большой колокол и ископать гроб, снявши меру, в Архангельском соборе. Собралось духовенство из ближайших областей, архиереи и архимандриты, всё Московское духовенство. Тело великого князя вынесено было в переднюю избу; дьяки его певчие, большая станица, стояли в дверях у комнаты и пели Святый Боже. Великую княгиню вынесли на руках из хором на лестницу дети боярские, в сопровождении бояр и боярынь. Тело великого князя Василия было положено в Архангельском соборе подле его родителя.

Жития его было 56 лет, 8 месяцев и 9 дней, а великокняжения 28 лет и 5 недель.

На гробнице его начертана следующая надпись:

«В лето 7042 (1533) декабря в 4-й день преставися Благоверный и Христолюбивый Князь Великий Василий Иванович всея России, во иноцех Варлаам».

V

По смерти Василия Иоанновича опека над малолетним Иоанном и управление великим княжеством принадлежали великой княгине — вдове Елене Васильевне. Это делалось по общепризнанному, подразумевавшемуся обычаю, и потому в подробном описании кончины Василия среди подробных известий о последних словах его и распоряжениях не говорится прямо о том, чтобы великий князь назначил жену свою правительницею; говорится только, что трём приближённым лицам: Михаилу Юрьевичу, князю Михаилу Глинскому и Шигоне — он приказал о великой княгине Елене, как ей без него быть, как к ней боярам ходить. Эти слова о боярском хождении и должны были принимать, как прямо относящиеся к правительственному значению Елены, должны были видеть в них хождение с докладами.

В Псковской летописи говорится о возведении малолетнего Иоанна на престол так: «Начали государя ставить на великокняжение в соборной церкви Пречистыя Богородицы митрополит: Даниил и весь причет церковный, князья, бояре и всё православное христианство. Благословил его митрополит крестом и сказал громким голосом: «Бог благословляет тебя, государь, князь великий Иван Васильевич, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Югорский, Пермский, Болгарский, Смоленский и иных земель многих, царь и государь всея Руси! Добр и здоров будь на великом княжении, на столе отца своего». Новому государю пропели многолетие, и пошли к нему князья и бояре, понесли дары многие. После этого отправили по всем городам детей боярских приводить к присяге жителей городских и сельских.

Итак, во главе государства появляются малолетний государь и правительница — женщина, и притом чужестранка из рода ненавистного московским боярам и нелюбимого народом! Чего же можно было ожидать? Казалось бы, что за смертью великого князя неминуемо должны последовать беспорядки. Но вышло обратное: в руках Елены власть несколько не ослабла; она оказалась достойной того положения, которое выпало на её долю. Трудным было положение Елены: её не любили братья покойного государя, у которых она отняла надежду на престолонаследие; не угодила она и дяде своему — князю Михаилу Львовичу Глинскому, который надеялся управлять от её имени и обманулся в своей надежде.

Самыми доверенными и самыми влиятельными людьми при дворе в первое время по смерти Василия Иоанновича были: князь Михаил Глинский и Шигона Поджогин. В конце княжения Василия Глинский замышлял изменить великому князю Московскому и бежать обратно в Литву, но был привезён в Москву и заключён в темницу. Но потом великий князь простил его и перед смертью завещал уважать как дядю своей жены. Таким образом, Глинский и в Москве достиг почти такого же положения, какое имел некогда в Литве при великом князе Александре. Но скоро появился ему опасный соперник — молодой князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, сумевший приобрести особенное расположение великой княгини, сблизившейся с ним, вероятно, при посредстве сестры его Аграфены Челядниной, мамки великого князя. Оболенскому и Глинскому стало тесно друг с другом, и Елена должна была выбирать между ними. Она выбрала Оболенского. Глинский был обвинён в том, что отравил великого князя Василия [\[27\]](#), точно так же, как в Литве обвиняли его в отравлении великого князя Александра. Герберштейн указывает ещё на другую причину опалы, постигшей Глинского: он уличал великую княгиню в безнравственности. 19-го августа 1534 года Глинский был схвачен и посажен в ту самую темницу, в которой сидел прежде при Василии: здесь он скоро и умер. Но вернёмся немного назад.

Умиравший Василий имел причины беспокоиться о судьбе малолетнего сына: осталось двое его братьев, которые хотя и отказались от прав своих на старшинство, однако могли при первом удобном случае возобновить старые притязания. А эти притязания были тем более опасны, что вельможи, потомки

князей, также мечтали и толковали о своих старинных правах и тяготились новым порядком вещей, введённым при Василии и отце его. Если Иоанн III ещё советовался со своими боярами и позволял противоречить себе, то Василий III не искал и не принимал ничьего совета, хотел быть сам мудрее всех и все дела, по выражению Берсеня, «сам-третьей у постели делал». По словам Герберштейна, Василий «властью своею над подданными превосходил всех монархов в целом свете». Всё повиновалось его самовластию. Между тем втайне бояре вздыхали о тех временах, когда их предки не дрожали перед великими князьями, а говорили с ними смело, когда князья без их совета ничего не начинали. Но при таких государях, каковы были Иоанн III и сын его Василий, опасно было шёпотом друг с другом поговорить об этом, страшно было даже помышлять...

«Вы бы, братья мои, князь Юрий и князь Андрей, — говорил умирающий Василий братьям, — стояли крепко в своём слове, на чём мы крест целовали». Боярам же он счёл нужным напомнить о происхождении своём от Владимира Киевского, напомнить, что он и сын его — прирождённые государи. Василий знал, что в случае уوبيцы и торжества братьев детям его нельзя ждать пощады от победителя...

Опасения умирающего сбылись: тотчас после похорон Василия великой княгине донесли уже о крамоле. Князь Юрий Иванович прислал дьяка своего, Третьяка Тишкова, к московскому боярину, князю Андрею Шуйскому, звать его к себе на службу. Шуйский сказал дьяку: «Князь ваш вчера крест целовал великому князю, клялся добра ему хотеть, а теперь от него людей зовёт!» Третьяк отвечал на это: «Князя Юрия бояре приводили заперши к целованию, а сами ему за великого князя присяги не дали: так это что за целование? Это невольное целование!» Андрей Шуйский передал об этом князю Горбатову, тот сказал боярам, а бояре — великой княгине. Елена отвечала им: «Вчера вы крест целовали сыну моему на том, что будете ему служить и во всём добра хотеть: так вы по тому и делайте. Если является зло, то не давайте ему усилиться». По приказанию великой княгини Юрий был схвачен. Его посадили в тюрьму и там умилили^[28].

Между боярами поднималось недовольство: им было не по душе, что Иван Оболенский был облечён полною доверенностью правительницы, занимал первое место в управлении. Многие обманулись в своих честолюбивых надеждах и, в негодовании на Елену и её любимца, задумали уйти в Литву. Это удалось двум боярам из самых знатных родов: князю Семёну Бельскому и Ивану Ляцкому. За соумышленничество с ними правительница велела схватить брата Семёнова, князя Ивана Фёдоровича Бельского, и князя Ивана Михайловича Воротынского с детьми. Вероятно, бояре же начали смуту между Еленой и Андреем, вторым братом умершего великого князя.

Князь Андрей Иванович Старицкий не был заподозрен в соумышленничестве с братом своим Юрием и спокойно жил в Москве до сорочин по великом князе Василии. Собравшись после этого ехать в свой удел, он стал спрашивать у Елены городов к своей отчине. В городах ему отказали, а дали, на память о покойном, шубы, кубки и коней. Андрей уехал с неудовольствием в Старицу. Нашлись люди, которые передали об этом неудовольствии Елене, нашлись и такие, которые шептали Андрею, что его хотят схватить. Елена призвала Андрея в Москву и старалась его успокоить, говоря: «К нам доходит про тебя слух, что ты на нас гнев держишь: не слушай лихих речей и стой крепко на своей правде; а у нас на сердце против тебя ничего нет. Назови тех людей, которые нас с тобою ссорят, чтобы и вперёд не было между нами смуты». Но Андрей, видно, имел причину не доверять ласковым речам: перед ним был живой пример брата его Юрия. Он не объявил, кто ему наговорил на Елену, сказал, что ему так самому показалось, и оставил Москву, по-прежнему не спокойный за свою участь. В Москву опять начали доносить, что Андрей собирается бежать в Литву. Елена послала звать Андрея в Москву по случаю войны с Казанью. Андрей отвечал, что не может приехать по причине болезни, и просил прислать лекаря. Правительница послала к нему лекаря Феофила, который, возвратившись, донёс ей, что у Андрея болезнь лёгкая — болячка на стегне, а он лежит между тем в постели. Тогда Еленой овладело подозрение: почему Андрей не приехал на совет о важном деле казанском? Она послала опять к Андрею осведомиться о его

здоровье, а между тем велела тайно разузнать, нет ли какого о нём слуха, и почему он в Москву не поехал? Ей донесли, что Андрей притворился больным потому, что не смеет ехать в Москву. Елена послала вторично звать его в Москву, и снова была та же отговорка болезнью. Тогда послали в третий раз с требованием непременно приехать в каком бы то ни было положении. Андрей отправил в Москву князя Фёдора Пронского со следующим ответом: *«Ты, государь[29], приказал к нам с великим запрещением, чтоб нам непременно у тебя быть, как ни есть. Нам, государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни и за нами посылаешь неотложно. А прежде, государь, того не бывало, чтоб нас к вам, государям, на носилках волочили. И я, от болезни и от беды, с кручины отбыл ума и мысли. Так ты бы, государь, пожаловал показал милость, согрел сердце и живот холопу своему, своим жалованьем, чтобы холопу твоему впредь было можно и надёжно твоим жалованьем быть бесскорбно и без кручины, как тебе Бог положит на сердце»*. Вероятно, он ещё не решался бежать, как его ни пугали. Вдруг он узнает, что боярина его, Феодора, схватили на дороге, что Иван Оболенский выехал со многими людьми в поле и хочет загородить ему дорогу в Литву. Тогда в страхе побежал он со своею женою и с сыном и, не смея пуститься за Литовский рубеж, направил путь к Новгороду. Этот город ещё не совсем забыл свою старую вольность и недолюбливал Москвы. Андрей стал рассылать грамоты по новгородским боярам, приглашая их к себе на службу: *«Великий князь мал, а государство держат бояре: у кого же вам служить? Приходите ко мне: я готов вас жаловать»*. Многие из детей боярских, владельцев в Новгородской земле, приняли сторону Андрея. В самом Новгороде архиепископ Макарий и царские наместники удержали народ от волнения; между тем поспешно собирали людей и укрепили Торговую сторону[30] в пять дней; около неё построена была стена в рост человека. В Москве тоже не дремали: всем служилым людям по дорогам велено спешить за Иваном Оболенским, который шёл по следам Андрея и настиг его недалеко от Новгорода. Оба войска стали друг против друга. Андрей не решался вступить в битву. Ещё прежде бежало от него несколько детей боярских. Одного из них удалось поймать. Беглеца пытали, посадив в одной сорочке в озеро. Он открыл так много сообщников, что Андрей велел оставить дело. Теперь, видя пред собою московское войско, он мало надеялся на своих приверженцев и стал ссылаться с Оболенским, прося у него правды. Иван Оболенский, от имени Елены, обещал, что на него не положат никакой опалы, и уговорил его вместе ехать в Москву. Андрей, по своей простоте, поверил данному слову, но Елена, как и надо было ожидать, не давала никаких обещаний. Оболенскому для виду объявлен был гнев правительницы, а Андрея заключили в темницу, чтоб впредь такой смуты и волнения не было, ибо многие люди московские поколебались. Одинаковой участи с Андреем подверглись жена его и сын Владимир. Все его бояре были пытаны и казнены. Фёдор Пронский также погиб в заключении. Тридцать человек бояр новгородских, которые передались на сторону Андрея, были биты в Москве кнутом и потом повешены по Новгородской дороге. Андрей не более полугода прожил в неволе.

Как бояре рассчитывали на слабость женского правления, так ещё более рассчитывали на это внешние враги. Борьбу с Москвой начало Польско-Литовское государство.

Новый великий князь московский отправил к королю польскому Сигизмунду сына боярского Заболоцкого с извещением о смерти отцовой и о своём восшествии на престол. Заболоцкому дан был между прочим такой наказ: *«Если спросят про умершего великого князя и его братьях, князя Юрия и князя Андрея Ивановичей, где теперь князь Юрий и князь Андрей? — то отвечать: князь Андрей Иванович на Москве у государя; а князь Юрий Иванович государю нашему тотчас по смерти отца его начал делать великие неправды через крестное целование, и государь наш на него опалу свою положил, велел его заключить»*.

С послами, приезжавшими от польско-литовских панов к московским боярам, а также с посланцем, ездившим объявлять о вступлении на престол Иоанна, было заявлено желание мира между Московским и Польско-Литовским государствами, но требовалось, чтобы послы литовские приехали в Москву, как это

водилось; послана была даже опасная грамота на этих послов. В Литве со своей стороны требовали, чтобы послы были присланы из Москвы и чтобы мир был заключён на условиях договора между Казимиром и Василием Васильевичем, то есть с отречением от всего, завоёванного Иоанном III и Василием III. Следствием подобных отношений была, разумеется, война. Перемирие истекло, сношения прекратились, и война началась летом 1534 года по тогдашнему обыкновению, опустошением. Сигизмунд заключил союз с крымским ханом Саип-Гиреем. Война эта, ведшаяся с переменным успехом, не ознаменована была, впрочем, ничем важным. Существенные успехи с обеих сторон ограничились тем, что русские построили на полоцкой земле города Себеж и Велиж, а литовцы взяли Гомель и Стародуб. Наконец, после переговоров, тянувшихся два месяца, после многих споров в Москве заключено было перемирие на пять лет — от Благовещеньева дня 1537 до Благовещеньева дня 1542 года.

Московское правительство считало необходимым поспешить с заключением перемирия с Литвою для того, чтобы иметь возможность управиться с Казанью и Крымом, более опасными соседями. В Крым отправлен был боярский сын Челищев с известием о восшествии на престол Иоанна IV. Русский посол должен был бить челом хану Саип-Гирею, чтобы он учинил себе нового великого князя братом и другом, как великий князь Василий был с Менгли-Гиреем, Челищев отправлен был в Крым в январе, а в мае татары уже разоряли русские области по реке Проне, но были прогнаны. Скоро, однако, в самом Крыму произошла усобица между ханом Саип-Гиреем и старшим из Гиреев — Исламом. Орда разделилась между соперниками, и это разделение было выгодно для Москвы, потому что хотя оба хана следовали прежним разбойничьим привычкам и ни от одного из них нельзя было надеяться прочного союза, тем не менее силы крымчан были разделены. Но Ислам вскоре был убит; тогда Саип-Гирей, став один ханом в Крыму, послал сказать великому князю московскому: «Если пришлешь мне, что вы посылали всегда нам по обычаю, то хорошо, и мы по дружбе стоим; а не придут поминки (дары) к нам всю зиму, то мы сами искать пойдём, и если найдём, то ты уже потом не гневайся. Не жди от нас посла, за этим дела не откладывай; а станешь медлить, то от нас добра не жди. Теперь не по-старому с голою ратью татарскою пойдём: кроме собственного моего наряду пушечного, будет со мною счастливого хана (султана турецкого) 100 000 конных людей... Казанская земля — мой юрт, и Сафа-Гирей царь — брат мне. Так ты б с этого дня на Казанскую землю войной больше не ходил; а пойдёшь на неё войною, то меня на Москве смотри». Таким образом, с единовластием Саип-Гирея началось вмешательство крымских ханов в дела казанские; потому что мысль об освобождении Казани от русских и соединении всех татарских орд в одну или, по крайней мере, под одним владетельным родом была постоянной мыслью Гиреев, к осуществлению которой они стремились при первом удобном случае.

В последнее время жизни великого князя Василия Иоанновича Казань повиновалась Москве в лице хана своего Еналея. Еналей перенёс свои подручные отношения и к наследнику Василия, оставшись по-прежнему верен Москве. Но — вследствие частой перемены ханов и вследствие разных влияний — русского и крымского в Казани давно уже образовались две партии, из которых каждая ждала удобного случая низложить противников. Во время войны Москвы с Литвою крымская партия в Казани увидела удобный случай свергнуть московского подручника: осенью 1535 года составилась заговор, под руководством князя Булата и царевны Горшадны, сестры Магмет-Аминя, бывшего царя казанского. Еналей был убит, и царём провозглашён Сафа-Гирей. Но московская партия не хотела со своей стороны уступить. Извещая правительницу, великую княгиню Елену, об убиении Еналея, приверженцы Москвы велели передать ей: «Нас в заговоре князей и мурз с 500 человек. Помня жалованье великих князей Василия и Ивана и свою присягу, хотим государю великому князю служить прямо, а государь бы нас пожаловал, простил царя Шиг-Алея и велел ему быть в Москву; и когда Шиг-Алей будет у великого князя в Москве, то мы соединимся со своими советниками, и крымскому царю в Казани не быть». Получив эти вести, великая княгиня решила с боярами, что надобно Шиг-Алея освободить из заключения^[31]. В декабре Шиг-Алей был

привезён с Белоозера и представлен великому князю. Хан встал на колени и говорил: «Отец твой, великий князь Василий, взял меня детинку малого и жаловал, как отец сына, посадил царём в Казани, но, по грехам моим, в Казани произошла в князьях и в людях несогласица, и я опять к отцу твоему пришёл на Москву. Отец твой меня пожаловал в своей земле, дал мне города; а я грехом своим перед государем провинился, гордостным своим умом и лукавым помыслом. Тогда Бог меня выдал, и отец твой меня за моё преступление наказал, опалу свою положил, смиряя меня. А теперь ты, государь, помня отца своего ко мне жалованье, надо мною милость показал». Затем Шиг-Алей представлялся великой княгине-правительнице. И он, и жена его, Фатьма-Салтан, были обласканы и одарены великим князем и его матерью.

Но, в то время как в Москве прочили Шиг-Алея на Казанский престол и имели в виду дать в нём опору противной крымцам стороне, в Казани, началась уже война с Сафа-Гиреем. Татары успели сжечь сёла около Нижнего, но были отбиты от Балахны. Не имели они успеха и в других местах. Потом казанцы вторглись в костромские волости. Князь Засекин, стоявший здесь для обороны, не собравшись с людьми, ударил на татар, но был разбит и убит. Однако приближение воевод с большим войском заставило татар удалиться. Московское правительство, как мы уже говорили, спешило с заключением перемирия с Литвою из-за казанских и крымских дел. Успокоив и обезопасив этим перемирием западные границы, оно в начале 1537 года двинуло войска к востоку, во Владимир и Мещеру. Сафа-Гирей явился под Муромом и сжёг предместья, но города взять не мог и ушёл, заслышав о движении воевод из Владимира и Мещеры. В таком положении находились дела, когда единовластие Саип-Гирея в Крыму явилось новым препятствием для русских к успешному наступлению на Казань. Угрозы крымского хана были так внушительны, что приходилось отказаться от решительных действий против Казани. Послу крымскому отвечали в Москве, что если Сафа-Гирей казанский пришлёт к государю и захочет мира, то государь с ним мира хочет. Саип-Гирей повторял: «Ты б к нам прислал большого своего посла, доброго человека, князя Василия Шуйского или Овчину, и казну б свою большую к нам прислал, и с Казанью помирился, и оброков своих с казанских мест брать не велел; а пошлешь на Казань рать свою, и ты к нам посла не отправляй, — недруг я тогда». В Москве рассуждали: «Не послушать царя (крымского хана) — послать рать свою на Казань, и царь пойдёт на наши украины, то с двух сторон христианству будет дурно — от Крыма и от Казани». На этом основании приговорили: рати на Казань не посылать; посла Саип-Гирея отпустить в Казань и с ним вместе послать боярского сына к Сафа-Гирею с грамотою. А в ответной грамоте Саип-Гирею великий князь писал: «Для тебя, брата моего, и для твоего прошения я удержал рать и послал своего человека к Сафа-Гирею: захочет он с нами мира, то пусть пришлёт к нам добрых людей. А мы хотим держать его так, как дед и отец наш держали прежних казанских царей. А что ты писал к нам, что казанская земля — юрт твой, то посмотри в старые твои летописцы, не того ли земля будет, кто её взял? Ты помнишь, как цари, потерявши свои ордынские юрты, приходили на казанский юрт и брали его войнами, неправдами; а как дед наш милостью Божиею Казань взял и царя свёл, то ты не помнишь! Так ты бы, брат наш, помня свою старину, и нашей не забывал». Итак, мы видим, что влияние на Казань, бывшее прежде на стороне России, перешло теперь к Крыму.

В 1537 году заключён был мирный договор со Швецией, по которому Густав-Ваза обязался не помогать ни Литве, ни Ливонии в войне с Москвою; утверждена была взаимная свободная торговля и выдача беглецов с обеих сторон.

С Ливониею возобновлён старый мир.

Воложского (Молдавского) господаря, Петра Стефановича, врага Сигизмундова, Московское правительство поддерживало деньгами.

Перечислим важнейшие внутренние дела в правление Елены:

Построение Китая-города в Москве. Уже великий князь Василий, находя Кремль тесным для

многолюдного населения и недостаточным для защиты в случае неприятельского нашествия, намеревался оградить столицу новою обширнейшею стеною. Елена осуществила его намерение. 20-го мая 1534 года начали копать глубокий ров от Неглинной вокруг посада, где были все купеческие лавки и торги, к Москве-реке через площадь Троицкую, место судных поединков, и Васильевский луг. Работали слуги придворные, митрополичьи, боярские и все жители без исключения, кроме чиновников или знатных граждан, и в июне кончили; а 16-го мая следующего года, после крестного хода и молебна, отпетого митрополитом, Пётр Малый Фрязин, итальянец, заложил около рва каменную стену и четыре башни с воротами Сретенскими (Никольскими), Троицкими (Ильинскими), Всесвятскими (Варварскими) и Козьмодемьянскими на Великой улице. Этот город назван был Китаем, или средним.

Построение новых крепостей и возобновление старых. Кроме двух крепостей на Литовской границе, даже на литовской земле (Себежа и Велижа), Елена основала: в Мещере город Мокшан (на месте, издревле именуемом Мурунза), Буйгород в Костромском уезде, Балахну у Соли, где прежде находился посад, и Пронск на реке Проне. Владимир, Ярославль и Тверь, обращённые пожаром в пепел, вновь отстроены. Темников перенесён на более удобное место. Устюг и Софийская сторона в Новгороде окружены стенами, укреплена Вологда.

Правительство заботилось об умножении народонаселения выходцами из чужих стран: так, в 1535 году выехали из Литвы 300 семей.

Уже в последнее время княжения Василия обнаружилось важное зло — обрез и подмес в деньгах, за что были казнены в Москве многие поддельщики и обрезчики: им лили в рот олово, отсекали руки. Елена запретила обращение поддельных и резаных денег: приказала их переделывать и вновь чеканить. При великом князе Василии на деньгах изображался великий князь на коне с мечом в руке, а теперь стал изображаться с копьём в руке, отчего деньги стали называться копейными (копейками).

Правительница Московского государства, юная летами, цветущая здоровьем, вдруг скончалась 3-го апреля 1538 года, во втором часу дня. Летописцы не говорят ни слова о её болезни. Герберштейн утверждает, что её отравили. Она была в тот же день погребена в Вознесенском девичьем монастыре (в Кремле) — усыпальнице царственных особ женского пола. Не сказано даже, что митрополит совершил над нею отпевание. Бояре и народ не изъявили, кажется, даже и притворной горести. Непритворно плакали и горевали только сирота-отрок Иоанн и любимец почившей Оболенский, который лишился всего и не мог уже надеяться ни на что в будущем.

VI

После смерти великой княгини Елены бояре невольно оказались правителями Русской земли. Исполнялось, таким образом, мимо их стараний тайное, заветное желание, которое они принуждены были заглушать в себе так долго.

Не чувствуя над собою ярма и государева страха, как бывало во дни оны, все эти Шуйские, Бельские, Оболенские, Палецкие, Кубенские, Шереметевы, Воронцовы и другие имели в виду только свои личные выгоды, руководились узкими побуждениями честолюбия, корыстолюбия или страха. «Всякий пёлся о себе, а не о земских и государских делах». Впоследствии царь Иоанн Васильевич в письме своём к Курбскому, вспоминая дни своей юности, так описывает времена боярского правления: «Они наскочили на грады и сёла, ограбили имущества жителей и нанесли им многообразные беды, сделали своих подвластных своими рабами, и рабов своих устроили, как вельмож; показывали вид, что правят и устраивают, а вместо того производили неправды и нестроения, собирая со всех неизмеримую мзду, и все творили и говорили не иначе, как в видах корысти (по мзде)». Это свидетельство царя подтверждается рассказами летописей. Так Псковская летопись выражается о характере наместников во время правления Шуйских: «Свирепи ако Львове и люди их аки зверьё дивии до крестьян».

Таким образом, правление бояр, правление слуг, оказавшихся нежданно в положении господ, окончательно упрочило силу того начала, которому они думали противодействовать во имя старых прав своих. Русь всеми своими сочувствиями обратилась к тому началу — началу самодержавия, которое уже сослужило ей великую историческую службу, освободив её от тяжёлой неволи татарской. От этого же крепкого самодержавия Русь ждала и надеялась защиты и от произвола, насилия, угнетения своих домашних татар...

Первое место между вельможами московскими занимали князья Шуйские, потомки тех Суздальско-Нижегородских князей, которые были лишены своих отчин великим князем Василием Дмитриевичем, так долго не хотели покориться своей участи и только при Иоанне III вступили в службу московских великих князей. Способности, энергия и честолюбие были наследственными в этом знаменитом роде. Главою его в это время был князь Василий Васильевич при великом князе Василии, отличившийся защитой Смоленска от Литвы.

Овладев Смоленском, Василий III поставил здесь наместником князя Василия Шуйского. После поражения русского войска при Орше многие лучшие люди в Смоленске завели сношения с литовцами, приглашая их взять назад город и обещая им со своей стороны деятельную помощь. Василий Шуйский, узнав об этом, схватил главных заговорщиков. Когда же литовцы явились перед городом, он велел повесить арестованных смолян на городской стене с теми самыми подарками, которые они недавно получили от великого князя московского: одни, например, висели в дорогах собольих шубах, у других на шее были привязаны серебряные ковши... После этого изменников в городе не оказалось, и литовский отряд должен отступить ни с чем.

От такого человека можно было ожидать, что он не станет очень стесняться и для достижения собственных личных целей. И действительно, уже в седьмой день по кончине Елены Василий Шуйский вместе с братом Иваном и другими распорядился насчёт её любимца: князь Оболенский и сестра его Аграфена были схвачены, несмотря на протестующие просьбы державного беззащитного отрока. Оболенский умер в заключении. Сестру его отправили в Каргополь и постригли в монахини. Заключённые в правление Елены князь Иван Бельский и князь Андрей Шуйский были освобождены. Бельский-

Гедиминович не захотел оставаться спокойным зрителем распоряжений Шуйского-Рюриковича, захотел распоряжаться и сам. Соединившись с митрополитом Даниилом и дьяком Фёдором Мишуриным, он стал подговаривать Иоанна возвысить званием некоторых из лиц, ему дружелюбных. Шуйские, хлопотавшие о повышении только своих родственников и доброхотов, озлобились на Бельского. «Встала, — говорит летописец, — вражда между боярами великого князя». Сторона Шуйских была сильнее, и Бельский снова попал в заключение, а советники его разосланы по деревням. Дьяка Мишурина Шуйские велели боярским детям и дворянам ободрать на своём дворе и нагого положить на плаху: ему отрубили голову без государева приказания. Митрополит Даниил остался пока нетронутым.

Василий Шуйский умер в октябре 1538 года, и влияние его перешло к брату его, князю Ивану. Новый правитель низложил митрополита Даниила, приверженца Елены (в феврале 1539 года), и сослал его в Волоколамский монастырь, где он был прежде игуменом. Там его заставили написать грамоту, в которой он отрекался от митрополии не по болезни или немощи, но по сознанию своей неспособности к такому высокому служению. Эта грамота подписана бывшим митрополитом 26 марта, а между тем уже 9 февраля был поставлен новый митрополит Иоасаф Скрипицын из игуменов Троицкого монастыря. Святители, поставлявшие Иоасафа, немало погрешили в том, что, уступая давлению мирской власти, избрали и поставили нового митрополита прежде, нежели прежний отрёкся от своей кафедры.

Свергнув Даниила, князь Иван Шуйский, без сомнения, рассчитывал иметь в избранном по его желанию первосвященнике верного союзника и твёрдую опору, но ошибся. Иоасаф вместе с некоторыми боярами в июле 1540 года осмелился ходатайствовать перед государем об освобождении Бельского: Бельский был освобождён и появился во дворце. Застигнутый врасплох, Шуйский принуждён был примириться с тем, чего уже нельзя было переделать, но в досаде перестал ездить к государю и советоваться с боярами. Правление перешло к Бельскому и митрополиту Иоасафу, ставшими «первосоветниками» государя. По ходатайству новых правителей освобождены были из темницы жена и сын удельного князя Андрея Ивановича Старицкого, причём Владимиру Андреевичу возвращён был даже отцовский удел. В то же время была оказана милость и другому удельному князю — Димитрию, сыну Андрея Ивановича Углицкого, племяннику Иоанна III, около 50 лет сидевшему в оковах в Вологде: с несчастного страдальца сняли оковы, но темница всё-таки не отворилась для него. В правление Бельского Пскову был возвращён его старинный самосуд с дозволением судить уголовные дела выборным целовальникам (присяжным), помимо великокняжеских наместников и тиунов их. Правитель думал возвратить на родину и брата своего, Семёна Фёдоровича Бельского. Но Семён давно уже строил козни против Москвы на Литве и в Турции, поднимая недругов против своего отечества.

Правление Бельского обещало много хорошего, но, к сожалению, скоро пало. Бояре вознегодовали на князя Бельского и на митрополита за то, что великий князь держал их у себя в приближении. Эти бояре были: князья Михаил и Иван Кубенские, князь Дмитрий Палецкий, казначей Иван Третьяков и с ними многие дворяне и дети боярские, а также новгородцы Великого Новгорода всем городом. Против правительства составилась заговор в пользу Ивана Шуйского, который находился в это время во Владимире, оберегая восточные области от набега казанцев. Московские заговорщики назначили Шуйскому и его Советникам срок — 3 января 1542 года, чтобы он прибыл в этот день в Москву из Владимира. Ночью на 3 января он явился в Москву со своими советниками без приказания государя. Ещё прежде его приехали сын его Пётр да Иван Большой Шереметьев с 300 человек дружины. В эту ночь в Кремле поднялась страшная тревога. За три часа до свету бояре пришли в постельные хоромы к государю и заставили попов петь у крестов заутреню. Между тем Бельского схватили на его дворе и засадили до утра, а потом отправили в заточение на Белоозеро. Советники его были разосланы по городам; одного из них — Щенятеева — выволокли задними дверьми из самой комнаты государя. На митрополита Иоасафа напали с особенным ожесточением: по его келии стали бить камнями. Испуганный, он думал найти убежище во дворце. Но

заговорщики бросились за ним и туда с великим шумом, разбудили государя и привели его в трепет. Тогда митрополит бежал на Троицкое подворье, но дети боярские и новгородцы преследовали его с ругательствами и едва не убили на подворье: только троицкий игумен Алексей, именем Сергия чудотворца, да князь Димитрий Палецкий с трудом умолили их воздержаться от убийства. Митрополит был взят и сослан на Белоозеро в Кириллов монастырь, откуда впоследствии был переведён в монастырь Троице-Сергиев, где и скончался. Но Бельский живой был страшен и опасен и на Белоозере, и потому в мае месяце трое преданных Шуйским людей отправились на Белоозеро и умертвили его в тюрьме. «И бысть мятеж велик в то время на Москве и государю страхование учиниша».

Верховная власть снова перешла в руки Шуйских. На место митрополита вместо Иоасафа возведён был новгородский архиепископ Макарий, один из знаменитейших духовных лиц русской истории. Сам Макарий свидетельствует в своём духовном завещании, что он отказывался от предлагаемой чести, но не смог прислушаться и был понуждён не только всем собором святителей, но и самим благочестивым царём Иоанном Васильевичем.

Князь Иван Шуйский, захвативший верховную власть, по болезни скоро удалился от двора, передав правление своим родственникам, Ивану и Андрею Михайловичу Шуйским, и Фёдору Ивановичу Скопину-Шуйскому^[32]. Но недолго пришлось править и этим Шуйским. Между ними первенствовал князь Андрей, так же нагло и свирепо, как и Иван Шуйский, творивший всё, что ему вздумается и ни во что не ставивший подраставшего великого князя. После свержения и смерти Ивана Бельского у Шуйских не было соперников. Но у них мог явиться соперник опасный не знатностью рода или личными заслугами, а доверенностью и расположением государя. И Шуйские ревниво следили за тем, чтобы кто-нибудь не стал им поперёк дороги. Иоанну исполнилось между тем уже 13 лет, и он, со своим живым впечатлительным умом, нагнав девицу на всякие смуты, созрел не по летам. Шуйские с опасением заметили его привязанность к Фёдору Семёновичу Воронцову. 9 сентября 1543 года трое Шуйских и советники их — князь Шкурлятев, князья Пронские, Кубенские, Палецкий и Алексей Басманов — в присутствии великого князя и митрополита, в столовой избе у государя, на совете, схватили Воронцова, стали бить по щекам, оборвали платье и хотели убить его до смерти. Иоанн послал митрополита и бояр Морозовых уговорить их, чтобы они не убивали Воронцова. Они не убили его, но с великим позором вытолкали на площадь, били, толкали и отдали под стражу. Государь опять прислал митрополита и бояр к Шуйским просить их, чтобы Воронцова отправили на службу в Коломну, если нельзя оставить его в Москве. Правители не уважили просьбы своего государя и приговорили услать Воронцова подальше — в Кострому. Всё это сопровождалось большими спорами и шумом. «И когда — говорит летописец — митрополит ходил от государя к Шуйским, Фома Головин у него на мантию наступил и разодрал её».

Поступок Шуйских с Воронцовым был последним безнаказанным боярским самовольством: 29 декабря 1543 года Иоанн велел схватить первосоветника боярского, князя Андрея Шуйского, и отдать его псарям. Псари убили его, волоча к тюрьмам. Советники и пособники его, по приказу великого князя, были схвачены и разосланы из Москвы. Молодой сокол расправлял свои крылья. Бояре были ошеломлены. «С тех пор — говорит летопись — начали бояре иметь к государю страх и послушание». У Иоанна были, конечно, советники, направлявшие его волю и внушавшие ему уверенность в себе и решимость действовать самостоятельно. То были его дядья с материнной стороны: Юрий и Михаил Васильевичи Глинские. Погубив Шуйского, они захватили теперь правление в свои руки. Опалы следовали за опалами. Много бояр заплатились за своё властолюбие, за неумение угодить Глинским: одних выслали в ссылку, иных казнили, а Афанасию Бутурлину отрезали язык за «невежливые» слова.

В мае 1546 года, когда Иоанну было уже 16 лет, случилось следующее происшествие. Великий князь отправился с войском в Коломну по вестям, что крымский хан идёт к этим местам. Однажды Иоанн, выехав погулять за город, был остановлен новгородскими пищальниками (их было человек с 50), которые стали о

чём-то бить ему челом. Он не расположен был их слушать и велел отослать. Не известно, как посланные великим князем исполнили его приказание. Известно только то, что пищальники начали бросать в них колпаками и грязью. Тогда Иоанн отправил отряд дворян своих прогнать пищальников. Но последние стали сопротивляться и дворянам. Дворяне вздумали употребить силу. Пищальники начали биться ослопами и стрелять из пищалей. С обеих сторон осталось на месте человек по пяти или по шести. Государь не мог этим местом проехать к своему стану и принуждён был избрать окольную дорогу. Иоанн встревожился, им овладело подозрение, и он велел дьяку своему, Василию Захарову, проведать, по чьей науке пищальники осмелились так поступить, потому что без науки, без постороннего внушения этого, по его мнению, случиться не могло. Захаров донёс, что пищальников подучали бояре — князь Кубенский и двое Воронцовых. Великий князь поверил Захарову и в великой ярости велел казнить Кубенского и Воронцовых. Курбский так характеризует Кувенского: «Муж зело разумный и тихий в совершенных уже летах». Летописцы говорят, что дьяк оклеветал бояр.

В правление Шуйских правосудие в московском государстве находилось в жалком состоянии. Если пограничные области были опустошаемы казанцами, то внутренние области, по свидетельству современника (Курбского), не менее страдали в это время от наместников. Летописец говорит о псковских наместниках, Андрее Шуйском и Репнине-Оболенском: «Были эти наместники свирепы, как львы, а люди их, как звери дикие, до христиан, и начали поклепцы добрых людей клепать, и разбежались добрые люди по иным городам, а игумены честные из монастырей убежали в Новгород. Князь Шуйский был злодей... поднимал он старые дела, правил на людях по сту рублей и больше, а во Пскове мастеровые люди, все делали на него даром, большие же люди давали ему подарки». Андрей Шуйский разорял требованием большого числа подвод для своих людей, ездивших к нему из его деревень и обратно. Каждый его слуга, под защиту имени своего господина, позволял себе всякого рода насилия.

В правление Бельского и митрополита Иоасафа начали давать губные грамоты всем городам большим, пригородам и волостям. По этим грамотам жители получали право самосуда, то есть право избирать своих судей и наказывать преступников («лихих людей») независимо от наместников и других государственных чиновников. «И была христианам радость и льгота большая от лихих людей, от поклепцов, от наместников, от их недельщиков и ездоков, которые по волостям ездят... Злые люди разбежались, стала тишина». Суд и расправа по этим грамотам производились над лихими людьми на месте избранными головами, и затем обо всём этом только давалось знать в Москву тем боярам, которым разбойные дела приказаны.

Неурядица, последовавшая за смертью великой княгини Елены, заставила бежать из Москвы архитектора Петра Фрязина, который выехал из Рима при великом князе Василии, принял православие, женился в Москве и получил поместья. В 1539 году он был отправлен укреплять новый город Себеж, воспользовался этим случаем и пробрался за границу, в Ливонию. На вопрос дерптского епископа, что заставило его бежать из Москвы, Пётр отвечал: *«Великого князя и великой княгини не стало, государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, и от них великое насилие, управы в земле никому нет, между боярами самими вражда, и уехал я от великого мятежа и без государства»*.

Что же делалось во всё это время во внешних сношениях московского государства? Рассмотрим прежде всего дела крымско-казанские.

Надеясь на защиту со стороны Крыма, казанцы начали опустошать пограничные московские области. В 1539 году они подходили к Мурому и Костроме. В упорном бою, происходившем недалеко от Костромы, они убили четверых московских воевод, но сами принуждены были бежать и потерпели поражение от царя Шиг-Алея и князя Фёдора Михайловича Мстиславского. В декабре 1540 года Сафа-Гирей с казанцами, крымцами и ногаями подступил к Мурому, но, узнав о движении владимирских воевод и царя Шиг-Алея из

Касимова, ушёл назад. Сафа-Гирей был обязан казанским престолом князю Булату. Но в Казани существовала партия, противная крымской. Сначала эта партия была слаба и не могла рассчитывать на деятельную поддержку со стороны Москвы. Но через несколько лет обстоятельства переменялись: Сафа-Гирей окружил себя крымцами, доверяя им одним и обогащая их. Это оттолкнуло от него и тех вельмож, которые прежде были на стороне крымской. Князь Булат стал теперь во главе недовольных и от имени всей казанской земли послал в Москву (в 1541 году) с просьбою, чтобы великий князь простил их и прислал под Казань своих воевод. «А мы, — говорил Булат, — великому князю послужим, царя убьём или схватим да выдадим воеводам. От царя теперь казанским людям очень тяжко: земских людей грабит, копит казну да в Крым посылает». Великий князь отвечал Булату и всей земле, что прощает их и высылает к ним воевод. Действительно, боярин князь Иван Васильевич Шуйский, с другими воеводами и многими людьми из 17 городов, отправился во Владимир наблюдать за ходом казанских дел и пересылаться с недовольными. Так как война с Казанью была вместе с тем и войною с Крымом, то правительство московское (Бельский с митрополитом Иосафом) отправило войско и в Коломну для наблюдения за южными границами. В Москву прибежали из Крыма двое пленных и сказали, что Сафа-Гирей узнал о движении русского войска и дал знать об этом Саип-Гирею. Последний двинулся на Русь со своею ордою, оставив в Крыму только старого да малого. Вместе с ним пошли турки, ногаи, кафинцы, астраханцы, азовцы, белгородцы (аккерманцы). В Москву было дано знать, что крымцы идут на Русь ордою в 100 000 человек, и даже более. Тогда из Москвы двинулся боярин князь Димитрий Фёдорович Бельский: ему и воеводам, стоявшим на Коломне, велено стать на берегу Оки. Князь Юрий Михайлович Булгаков-Голицын с одним из татарских царевичей должен был стать на Пахре. Но в то же время следовало опасаться и нападения царя Казанского, и потому царю Шиг-Алею из Касимова и костромским воеводам велено было стягиваться ко Владимиру на помощь князю Шуйскому. 28 июля Саип-Гирей подошёл к городу Осётру. Воевода Глебов бился с неприятелем в посадах, много татар побил и 9 человек живых прислал в Москву. Тогда князь Булгаков с Пахры был передвинут также на Оку, а на его место отправились другие воеводы. Между тем в Москве великий князь ходил в Успенский собор, молился у Владимирского образа Пресвятой Богородицы, у гроба Петра чудотворца, и потом спрашивал у митрополита Иоасафа и у бояр: оставаться ли ему в Москве или ехать в другие города? Все бояре порешили на том, чтобы великому князю быть в городе. Тогда стали запастись городские запасы, ставить по местам пушки и пищали, расписывать людей по воротам, по стрельницам и по стенам. Пришли вести, что хан уже на берегу Оки и хочет перевозиться. Великий князь писал к воеводам, чтобы между ними не было розни и чтобы они за святые церкви и за православное христианство крепко пострадали; а он, великий князь, рад жаловать не только их, но и детей их. Прочтя грамоту, воеводы стали говорить со слезами: «Укрепимся, братья, любовью, помянем жалование великого князя Василия; государю нашему, великому князю Ивану, ещё не пришло время самому вооружиться, ещё мал. Послужим государю малому, и от большого честь примем, а после нас и дети наши. Постраждем за государя и за веру христианскую. Если Бог желание наше исполнит, то мы не только здесь, но и в дальних странах славу получим. Смертные мы люди: кому случится за веру и за государя до смерти пострадать, то у Бога незабвенно будет и детям нашим от государя воздаяние будет». Когда же приказ великокняжеский объявлен был всему войску, то ратные люди отвечали: «Рады государю служить и за христианство головы положить, хотим с татарами смертную чашу пить». 30 июля утром Саип-Гирей пришёл к Оке на берег и стал на горе. Татары готовились переправляться. Передовой русский полк под начальством князя Ивана Турунта-Пронского начал с ними перестрелку. Хан велел палить из пушек и стрелять из пищалей, чтобы отбить русских от берега и дать своим возможность переправиться. Передовой полк Пронского дрогнул было; но к нему на помощь подоспели князья Микулинский и Серебряный-Оболенский, а за ними начали показываться князь Курбский, Иван Михайлович Шуйский и, наконец, князь Димитрий Бельский. Хан удивился и начал говорить Семёну Бельскому, вашему изменнику, и князьям своим с сердцем: «Вы мне говорили, что великого князя люди в Казань пошли, что мне и встречи не будет,

— а я столько нарядных людей в одном месте никогда и не видывал». Услышав, что к русским пришли пушки, Саип-Гирей отступил от берега и пошёл по той же дороге, по которой пришёл. Двое воевод отправились вслед за ним, били отсталых татар и забирали в плен. 3 августа татары пришли под Пронск и целый день бились с осаждёнными. Хан велел всем своим людям делать туры и припасать градобитные приступы, намереваясь осадить город со всех сторон. А воеводы Пронские, Василий Жулебин и Александр Кобяков, всеми людьми и женским полом начали укреплять город, велели носить на стены колья, камни и воду. В это время приехали в Пронск семь человек боярских детей с вестью от воевод Микулинского и Серебряного, «чтоб сидели в городе крепко, а мы идём к городу наспех со многими людьми». Жители Пронска очень обрадовались; и хан, узнав, в чём дело, велел сжечь туры и пошёл прочь от города. Не застав его у Пронска, воеводы пошли за ним дальше к Дону; но, приблизившись к берегам этой реки, увидели, что татары уже перевезлись. Тогда они возвратились в Москву, и была здесь большая радость. Государь пожаловал бояр и воевод великим жалованьем, шубами и кубками.

Весною 1542 года старший сын Саипов, Имин-Гирей, напал на Северскую область, но был разбит воеводами. В августе того же года крымцы явились в Рязанской области, но, увидав перед собою русские полки, ушли назад. Счастливее был Имин-Гирей в нападении своём на Белёвские и Одоевские места в декабре 1544 года: татары взяли в это время большой полон, потому что трое воевод московских рассорились за места и не пошли против крымцев.

После неудачного похода Саип-Гирея в Казани стали думать о мире. Здесь Булат помирился с Сафа-Гиреем и писал к боярам, чтобы просили великого князя о мире. Царевна Горшадна писала о том же самому Иоанну. Затем до весны 1545 года мы не встречаем никаких известий о казанских делах. В апреле этого года объявлен был поход на Казань — по какому поводу, неизвестно. Князь Семён Пунков, Иван Шереметев и князь Давид Паледкий отправились к Казани на стругах, с Вятки пошёл князь Василий Серебряный, из Перми — воевода Львов. Идучи Вяткою и Камою, Серебряный побил много неприятелей и сошёлся с Пунковым у Казани в один день и час, как будто пошли из одного двора. Сошедшись, воеводы побили много казанцев и возвратились благополучно. Не такова была судьба третьего отряда. Львов с терминами пришёл поздно, не застал под Казанью русского войска, был окружён казанцами, разбит и убит.

Хотя этот поход не сопровождался, как видим, особенно блестящими успехами, однако был важен в том отношении, что усилил внутренний беспорядок в Казани и борьбу партий. Многие из казанских вельмож уехали в Москву, а другие разъехались по иным местам. 29 июля двое вельмож, князь Кадыш да Чура Нарыков, прислали в Москву с просьбою, чтобы великий князь послал рать свою к Казани, а они Сафа-Гирея и его крымцев 30 человек выдадут. Иоанн отвечал им, чтобы они царя схватили и держали, а он к ним рать свою пошлёт. В декабре великий князь сам отправился во Владимир, вероятно, для того, чтобы получать скорее вести из Казани. 17 января 1546 года ему дали знать, что Сафа-Гирей выгнан из Казани и много крымцев его побито. Казанцы били челом государю, чтобы он дал им в цари Шиг-Алея, и в июне Шиг-Алей был посажен в Казани. Но изгнание Сафа-Гирея и посаджение Шиг-Алея было делом не долгим. Едва князь Бельский, посадивший Шиг-Алея в Казани, успел возвратиться оттуда, как пришла весть, что казанцы привели Сафа-Гирея на Каму и изменили великому князю и царю Шиг-Алею.

Шиг-Алей убежал из Казани.

Что касается отношения к Литве, то весьма важно было во время боярского правления то обстоятельство, что война с нею уже прекратилась. Престарелый Сигизмунд сам не думал уже начинать новой войны и хлопотал только о том, чтобы быть наготове в случае, если по истечении перемирия Москва вздумает напасть на Литву. Когда перемирие вышло, в марте 1542 года в Москву приехали литовские послы. Возобновлено было перемирие. Не добились ни вечного мира, ни даже размена пленных: король требовал в придачу к пленным уступки Чернигова и ещё шести городов. Боярину Морозову, ездившему в

Литву для размена грамот, велено было ходатайствовать за наших пленных, чтобы их не держали в оковах и позволяли им ходить в церковь: последнее утешение для несчастных, осуждённых умереть в стране неприятельской!

Сношения с другими странами были мирные: наши посланники ездили к султану Солиману, к царю Астраханскому Абдул-Рахману и к молдавскому господарю, Ивану Петровичу.

VII

Трёх лет Иоанн лишился отца, а восьми лет остался круглым сиротою и очутился на руках, или — вернее сказать — в руках, бояр, которые всеми мерами старались о том, чтобы не воспитать, а испортить ребёнка-государя, чего и достигли вполне.

Иоанн не имел того медлительного, расчётливого характера, каким отличались его отец и дед: он от природы был горячего, впечатлительного, страстного нрава. Развитию этой природной раздражительности способствовали и обстоятельства его детства. По смерти матери у него отняли всех близких людей, к которым он был привязан детским сердцем, отняли даже мамку Аграфену, заботы и ласки которой могли хоть сколько-нибудь заменить для него материнскую любовь. Вместо любимых людей появляются Василий и Иван Шуйские; его окружают люди, заботившиеся только орудием для своих корыстных целей. Ребёнок с блестящими дарованиями, каким был Иоанн, предоставленный с раннего детства самому себе, развивается быстро, не по летам. Перед его глазами происходила борьба сторон: людей к нему близких у него отнимали, влекли их в заточение, несмотря на его просьбы; потом слышал он об их насильственной смерти. Но в то же время он ясно понимал своё положение, потому что те же самые люди, которые, не обращая на него никакого внимания, при нём били, унижали людей к нему близких, при посольских приёмах и других церемониях стояли перед ним, как покорные слуги и всё делали его именем. Таким образом, ребёнок видел в боярах врагов, похитителей его прав, но бороться с ними он ещё не мог.

Научившись читать, Иоанн с жадностью накинулся на книги, прочёл всё, что только мог прочесть, изучил Священное писание^[33], Священную историю, церковную, прочёл римскую историю, русские летописи, творения святых отцов. Пытливый ум его особенно занимали те страницы, где говорилось о царях и их власти, о том, как цари относились к вельможам.

С другой стороны, из суровой и безотрадной своей детской жизни Иоанн вынес презрение к интересам других, неуважение к человеческому достоинству, к жизни человека. Он был окружён людьми, которые, добиваясь своих целей, не обращали на него никакого внимания, оскорбляли его, которые во взаимной борьбе не щадили друг друга, позволяли себе на его глазах насильственные поступки.

Такая-то неприглядная обстановка воспитывала и воспитала будущего «грозного» царя русского. Бояре пожалели то, что посеяли. К несчастью, не им одним пришлось пожинать злые плоды их злого сеяния...

Приведём воспоминания самого Иоанна о своём детстве. Вот что говорит он в своём письме к князю Курбскому: «По смерти матери нашей Елены остались мы с братом Георгием круглыми сиротами; подданные наши хотение своё улучили, нашли царство без правителя: об нас, государях своих, заботиться не стали, начали хлопотать только о приобретении богатства и славы, начали враждовать друг с другом. И сколько зла они наделали! Сколько бояр и воевод — доброхотов отца нашего — умертвили! Дворы, сёла и имение дядей наших взяли себе и водворились в них! Казну матери нашей перенесли в большую казну, причём неистово ногами пихали её вещи и спицами кололи; иное и себе побрали, а сделал это дед твой Михайло Тучков». Описав поведение князей Шуйских относительно дьяка Мишурина, князя Ивана Бельского и двоих митрополитов, Иоанн продолжает: «Нас с братом Георгием начали воспитывать, как иностранцев или как нищих. Какой нужды не натерпелись мы в одежде и в пище: ни в чём нам воли не было, ни в чём не поступали с нами так, как следует поступать с детьми. Одно припомню: бывало, мы играем, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись о постель нашего отца, ногу на неё положив. Что сказать о казне родительской? Всё расхитили лукавым умыслом, будто детям боярским на жалованье, а между тем всё себе взяли; и детей боярских жаловали не за дело, верстали не по

достоинству. Из казны отца нашего и деда наковали себе сосудов золотых и серебряных и написали на них имена своих родителей, как будто бы это было наследственное добро, а всем людям ведомо: при матери нашей у князя Ивана Шуйского шуба была мухояровая, зелёная, на куницах, да и те ветхи. Так если б у них было отцовское богатство, то, чем посуду ковать, лучше б шубу переменить. Потом на города и сёла наскочили и без милости пограбили жителей; а какие напасти от них были соседям, исчислить нельзя; подчинённых всех сделали себе рабами, а рабов своих сделали вельможами; думали, что правят и строят, а вместо того везде были только неправды и нестроения, мзду безмерную отовсюду брали, все говорили и делали по мзде».

По словам Курбского, Иоанна воспитывали великие и гордые бояре на свою и на детей своих беду, стараясь друг перед другом угождать ему во всяком наслаждении и сладострастии.

VIII

13 декабря 1546 года Иоанн (ему пошёл теперь уже 17-й год) позвал к себе митрополита Макария и объявил, что хочет жениться. На другой день митрополит отслужил молебен в Успенском соборе, пригласил к себе всех бояр, даже и опальных, и со всеми отправился к великому князю, который сказал Макарию: «Милостию Божиею и пречистой Его Матери, молитвами и милостию великих чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Сергия и всех русских чудотворцев, положил я на них упование, а у тебя, отца своего, благословясь, помыслил жениться. Сперва думал я жениться в иностранных государствах, у какого-нибудь короля или царя; но потом я эту мысль отложил — не хочу жениться в чужих государствах, потому что я после отца своего и матери остался мал: если я приведу себе жену из чужой земли и в нравах мы не сойдёмся, то между нами дурное житьё будет. Поэтому я хочу жениться в своём государстве, у кого Бог благословит, по твоему благословению». Митрополит и бояре, по словам летописца, заплакали от радости, видя, что государь так молод, а между тем ни с кем не советуется. Но молодой государь тут же удивил ещё другую речью. Он продолжал: «По твоему, отца своего митрополита, благословению и с вашего боярского совета, хочу прежде своей женитьбы поискать прародительских чинов, как наши прародители, цари и великие князья, и сродник наш, великий князь Владимир Всеволодович Мономах на царство, на великое княжение садились, — и я также этот чин хочу исполнить и на царство, на великое княжение, сесть». Бояре обрадовались, что государь в таком ещё младенчестве, а прародительских чинов искал.

16 января 1547 года совершилось царское венчание Иоанна.

Это было в воскресенье. Утром государь вышел в столовую комнату, где находились все бояре, а воеводы, князья и служилые люди, богато одетые, стояли в сенях. Духовник государев, благовещенский протопоп Феодор, взяв из рук Иоанновых на золотом блюде животворящий крест, венец и бармы, отнёс их, сопровождаемый конюшим, князем Михаилом Глинским, казначеями и дьяками в соборный храм Успения Богоматери. Вскоре затем пошёл туда и великий князь: перед ним шёл духовник с крестом и святою водою, кропя людей по обе стороны, а за ним — брат его, князь Юрий Васильевич, бояре, князь и весь двор. Войдя в церковь, государь приложился к иконам. Певчие возгласили ему многолетие. Митрополит благословил его. Затем служили молебен. Посреди храма, на амвоне с двенадцатью ступенями, были изготовлены два места, одетые золотыми паволоками, в ногах лежали бархаты и камки. Эти места заняли государь и митрополит! Перед амвоном стоял богато украшенный налой с царскою утварью^[34]. По окончании молебна архимандриты взяли и подали её митрополиту. Он встал вместе с Иоанном и, возлагая на него крест, бармы и венец, громогласно молился, чтобы Всевышний оградил сего христианского Давида силою Св. Духа: посадил его на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое око для послушных. Обряд закончился провозглашением нового многолетия государю. Митрополит поздравил государя: «Радуйся и здравствуй православный Царь Иванне, всея России Самодержец на многие лета!» Приняв затем поздравления от духовенства, вельмож и граждан, Иоанн слушал литургию, по окончании которой возвратился во дворец, ступая с бархата на камку, с камки на бархат. Князь Юрий Васильевич осыпал его в церковных дверях и на лестнице золотыми деньгами из мисы, которую нёс за ним Михаил Глинский. Лишь только государь вышел из церкви, народ, дотоле стоявший неподвижно и безмолвно, с шумом кинулся обдирать царское место: всякому хотелось иметь лоскут паволоки на память о достопамятном дне.

Торжественное венчание Иоанна было повторением венчания Дмитрия, внука Иоанна III, с некоторыми переменами в словах молитв и с тою разницею, что Иоанн III сам, а не митрополит, надел венец на главу внука. Современные летописи не упоминают ни о скипетре, ни о миропомазании, ни о

причащении, не сказывают также, чтобы Макарий говорил венчавшемуся царю поучения.

Чтобы придать ещё более значения своему царскому венчанию, Иоанн послал просить благословения к цареградскому патриарху Иоасафу^[35], от которого в 1561 году и получил утвердительную грамоту. В этой грамоте, подписанной тридцатью шестью греческими митрополитами и епископами, патриарх говорит между прочим: «Не только предание людей достоверных, но и самые летописи свидетельствуют, что нынешний властитель московский происходит от незабвенной царицы Анны, сестры императора Багрянородного, и что митрополит Ефесский, уполномоченный для того собором духовенства Византийского, венчал Российского великого князя Владимира на царство».

С этого времени русские государи стали уже не только в сношениях с другими державами, но и внутри государства, во всех делах и бумагах, именоваться царями, сохраняя и титул великих князей, освящённый древностию. Царский титул, не принятый официально, упоминался уже и прежде в дипломатических сношениях при Иоанне III и Василии III. Иоанн III, сочетавшись браком с греческою царевною, племянницею последнего Византийского императора, считал себя некоторым образом преемником славы и величия православных византийских царей. Он в некоторых своих грамотах уже титуловался царём и счёл нужным освятить обрядом царского венчания назначение себе преемника в особе своего внука Димитрия, которому не удалось царствовать. Сын и преемник Иоанна III, Василий, не повторил над собою венчания на царство, быть может, избегая подобия с племянником, который томился в оковах. Но и Василий не чуждался царского титула, укреплявшего и освещавшего возникшую самодержавную монархию. А в действительности, по словам Герберштейна, не было в мире монарха с такою властью над подданными, какую имел московский государь. Прежде ханы Золотой Орды были царями для русского народа, находившегося у них в порабощении. Теперь Орда уже не властвовала над Русью: теперь сам московский великий князь сделался её владыкою, тем, чем был для неё хан. Вся Русь становилась его достоянием. И вот преемник Василия, желавший быть на московском престоле тем же, чем Давид и Соломон были в Иерусалиме, Август, Константин и Феодосий в Риме, принимает уже официально титул царя и ревниво оберегает его в сношениях с другими государствами. Для придания большей важности царскому роду родословие московских государей выводилось так: Август кесарь, обладавший всею вселенною, поставил брата своего Пруса на берегах Вислы реки по реку, называемую Неман, и до сего года по имени его зовётся Прусская земля; а от Пруса четырнадцатое колено до великого государя Рюрика.

Тогдашние книжники приписывали изменению титула московских государей великое значение: *«Вся христианская царства преидоша в конец и спадошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть Российское царство; два убо Рима падоша, а третий (то есть Москва) стоит, а четвёртому не быть»*. В псковской летописи по случаю царского венчания Иоанна читаем: *«Яко же написано в Апокалипсисе глава 17: пять бо царёв минуло, а шестый есть, не убо пришло, но се абие уже настало и приде»*. В новгородской летописи читаем: *«И наречеса царь и великий князь, всея великия России самодержец великий показася, и страх его обдержаше вся языческие страны, и бысть вельми премудр и храбросерд, и крепкорук, и силён телом и лёгок ногами, аки пардус, подобен деду своему, великому князю Иоанну Васильевичу: прежде бо его никто же от прадед его царём славяше в России, не смеяше от них никийждо поставитися царём и зватися тем новым именем, блюдуцися зависти ради и востания на них поганных царь»*.

IX

Итак, Иоанн заявил желание найти себе невесту не в чужом, но в своём государстве. И вот зимою 1546—1547 года, ещё до венчания его на царство, были разосланы следующие грамоты:

«От великого князя Ивана Васильевича всея Руси в нашу отчину в Великий Новгород, в Бежицкую Пятину, от Новгорода вёрст за сто и за полтораста и за двести, князем и детям боярским. Послал я в свою отчину, в Великий Новгород, окольничего своего Ивана Дмитриевича Шеина, а велел боярам своим и наместникам, князю Ю. М. Булгакову да Василью Дмитриевичу, да окольничему своему Ивану, смотрити у вас дочерей девок — нам невесты. И как к вам эта наша грамота придёт, и у которых у вас будут дочери девки, и вы б с ними часа того ехали в Великий Новгород; а дочерей бы у себя девок одиночно не таили, повезли бы часа того не мешкая. А который из вас дочь девку у себя утаит и к боярам нашим не повезёт, и тому от меня быть в великой опале и в казни. А грамоту посылайте меж себя сами, не издержав ни часа».

Другая грамота «в Вязьму и Дорогобуж князем и детям боярским: дворовым и городовым. Писал к нам князь Иван Семёнович Мезецкой, да дворцовый дьяк, Таврило Щенок, что к вам послали наши грамоты, да и свои грамоты к вам посылали, чтоб по нашему слову вы к ним ехали с дочерьми своими, а велел я им смотреть у вас дочерей — себе невесты. И вы де и к ним не едете и дочерей своих не везёте, а наших грамот не слушаете. И вы то чините не гораздо, что наших грамот не слушаете. И вы б одиночно часа того поехали с дочерьми своими ко князю Ивану Семёновичу Мезецкому да к дьяку. А который из вас к ним с дочерьми своими часа того не поедет, а тому от меня быти в великой опале и в казни. А грамоту посылайте меж себя сами, не издержав ни часу».

Приведённые грамоты, рассылавшиеся ко всем помещикам или служивым людям, по разным местностям, знакомят нас отчасти с порядком предварительного выбора царской невесты. В областные и другие города посылали доверенных людей из окольничьих или из дворян с дьяками, которые заодно с местною властью, с наместником или воеводою и должны были пересмотреть всех девиц назначенного округа. Между тем по всему округу, во все поместья пересылалась государева грамота с наказом везти дочерей в город для смотра. Помещики собирались с невестами и затем избранных везли уже в Москву. Для многих, вероятно, по бедности, этот местный съезд был делом не совсем лёгким, и потому иные не слишком торопились исполнять царский наказ. Должно полагать, что лицам, пересматривавшим невест на месте, давался какой-либо наказ — словесный, а всего вернее писаный, с подробным обозначением тех добрых качеств, какие требовались для невесты государевой вообще и по желанию жениха в особенности. Без сомнения, немаловажное место занимала здесь и мера возраста или роста, с которою ездили осматривать невест в Византии. После смотра все избранные первые красавицы области вносились в особую роспись, с назначением приехать в известный срок в Москву, где им готовился новый смотр, ещё более разборчивый, уже во дворце, при помощи самых близких людей государя. Наконец избранные из избранных являлись на смотрины к самому жениху, который и указывал себе невесту, также после многого «испытания». После избрания царскую невесту торжественно вводили в царские особые хоромы, где ей жить, и оставляли до времени свадьбы на попечении дворовых боярынь и постельниц, жён верных и богобоязливых, в числе которых первое место тотчас же занимали ближайшие родственницы избранной невесты, обыкновенно её родная мать или тётка или другие родственницы. Введение невесты в царские терема сопровождалось обрядом её царственного освящения: здесь с молитвою наречения на неё возлагали царский девичий венец, нарекали её царевною, нарекали ей и новое царское имя. Вслед за тем дворовые люди «царицына чина» целовали крест новой государыне. По исполнении обряда наречения

новой царицы рассылались по церковному ведомству в Москве и во все епископства грамоты с наказом, чтобы о здравии новонаречённой царицы Бога молили, то есть поминали её имя на ектениях вместе с именем государя.

Вторая из двух приведённых выше грамот Иоанновых, написана была 4 января 1547 года; а месяц спустя, именно 3 февраля, происходила уже царская свадьба.

Выбор молодого царя пал на девицу одного из самых знатных и древних московских боярских родов, который, при наплыве родов княжеских, успел удержать за собою близкое к престолу место: девица эта была Анастасия, дочь умершего окольного Romana Юрьевича Захарьина-Кошкина, племянница боярина Михаила Юрьевича, близкого к великому князю Василию. Быть может, эти отношения не были без влияния на выбор царской невесты[36].

В житии преподобного Геннадия Костромского (память его празднуется 23 января) читаем: *«Некогда же случися святому, прийти в Москву, и прият был честно от боярыни Иулиании Феодоровны, жены Романа Юрьевича, благословения ради чад её, Даниила и Никиты, и дщери её, Анастасии Романовны». Благословляя детей прабабки царя Михаила, прозорливый Геннадий сказал Анастасии: «Ты, ветвь прекрасная, будешь нам царицею».*

Совершив обряд венчания в Успенском соборе, митрополит сказал новобрачным: «Днесь таинством Церкви соединены вы навеки, чтобы вместе поклоняться Всевышнему и жить в добродетели; а добродетель ваша есть правда и милость. Государь: люби и чти супругу. А ты, христоролюбивая царица, повинуйся ему. Как святой крест — глава Церкви, так муж — глава жены. Исполняя усердно все заповеди Божии, узрите благая Иерусалима и мир во Израиле».

Умная и добродетельная Анастасия имела большое влияние на своего супруга. В летописи читаем: «Предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна на всякие добродетели».

В первые два года супружества Бог не благословил Иоанна и Анастасию детьми. По благочестивому примеру отцов молодые супруги стали усердно молиться о разрешении своего неплодия. 21 июня 1548 года, когда прошло уже 16 месяцев, а наследника у царицы не было, в последнюю неделю Петрова поста государь со многим желанием и с великою верою совершает обетное богомолье к Троице пешком с царицею и с братом. С тою же, по всему вероятно, мыслью о чадородии и царица особо предпринимает 14 сентября новое богомолье к Троице, также пешком, по обещанию. Через неделю за нею выехал в монастырь и сам государь. Спустя год после этого обетного богомолья 10 августа 1549 года у супругов родилась дочь Анна. Государь был так обрадован рождением ребёнка, что тогда же заложил в Новодевичьем монастыре обетный храм во имя праведных Иоакима и Анны; слушал там всенощную и заутреню и на утро другого дня, 18 августа, освятив этот обывденный храм, крестил в нём новорождённую дочь, причём восприемником её от купели был преподобный Геннадий Костромской. Через год, однако ж, младенец скончался. Другая дочь, Мария, родившаяся 17 марта 1551 года, также скончалась младенцем и погребена в Вознесенском девичьем монастыре. На следующий год, 1552, 11 октября, родился сын Димитрий в то самое время, как царь окончил так счастливо завоевание казанского царства. Радость его о рождении наследнику была неизречённая. Связывая значение «казанского взятия» с победою над Мамаем, он дал сыну имя в память прародителя Димитрия Иоанновича Донского, первого победителя татар. По приезде из похода в Москву государь вместе с царицею возил новорождённого в Троицкий монастырь к крещению. Весною следующего года царь повёз с собою младенца даже в Кириллов монастырь на Белоозеро, отправляясь туда молиться вместе с царицею по случаю своего выздоровления от болезни. Но, к великой горести родителей, младенец скончался на возвратном пути их в Москву, в июне 1553 года. Царь и царица «зельною печалию объаты быша и сугубо скорбяще, понеже не имуще ни единого чада». Снова

предпринимают они богомольный поход по чудотворцам: молятся в Ростове у великого святителя Леонтия, прося у Бога чадородия в наследие своему царству; молятся в Переяславле у гроба преподобного Никиты и у честных его вериг; молят со слезами св. Никиту как благонадёжного ходатая к Богу. Молитвами угодника Бог отнял скорбь от их сердца. «Того же дни приидоша в град Переяславль и в царском доме своём обрадованно почиша. И ту царица зача во чреве своём. И оттуда приидоша в царствующий град Москву, веселящиеся и благодаряще Бога. Егда же приспе время, родися им благодарованный сын (28 марта 1554 года) и наречён бысть отчим именем царевич Иван». По случаю рождения царевича Иоанна прощены были судные пошлины. Царь писал дьякам: «Как сын наш царевич Иван родился, и которые дела засужены и кончены до его нарожденья, а пошлины ещё не взяты, с тех дел пошлин не брать». Потом родились у царя царевна Евдокия (26 февраля 1556 г.), царевич Феодор (11 мая 1557 г.). Царевна Евдокия крещена была в Чудове монастыре, в храме архистратига Михаила; восприемником её от купели был митрополит Макарий. Но она скончалась на третьем году (в июне 1558 года) и погребена была в самый день смерти в Вознесенском монастыре; сыновья же (Иоанн и Феодор) достигли совершенного возраста. Сохранением своего здоровья и жизни они обязаны были молитвам и заступлению того же угодника Божия, преподобного Никиты. Однажды, когда царевич Иоанн был уже по второму году, царица по обыкновению отдыхала, а царевич сидел у кормилицы на коленях. Вдруг кормилица слышит позади себя на лавке воду, kloчущую в оловянном сосуде. В испуге она вскочила с царевичем, думая, что сосуд проутлился (протёк); а в сосуде сохранялась вода, взятая из кладезя св. Никиты. Тут была приставница — мама царевича, Фотинья. Она тотчас приняла к себе царевича на руки, взяла потом сосуд, и «паки возгрем вода в сосуде» в руке Фотиньи, так что сама собою даже открылась крышка, и кипящая вода потекла из сосуда, исходя двумя источниками (быть может, намёк на двух сыновей царя). Благоразумная Фотинья, разумея, что это благодать Божия, принимала рукою кипящую воду и возливала её на голову и на лицо, и на всё тело царевича, приговаривая: «Буди сие Божие милосердие на многолетнее здравие и радость благородным твоим родителям и тебе государю и всему вашему царству». Проснулась и сама царица. Рассказали ей всё, как было. Взяла она сосуд в свои руки, и «паки воскипе вода и возливашеся на руце её». Царица благодатную ту воду возлила на своё лицо и на перси. Умывались тою водою и все живущие во дворце: видеша благодать Божию, дивляхуся, славяща Бога и великого в чудесах Никиту. Возвещено же бысть чудо сие и великому государю». Подтверждением этого сказания может служить то обстоятельство, что спустя два года по рождении царевича Иоанна, 1 сентября 1556 года, царь с царицею и с сыном, предприняв обычный богомольный поход к Троице, проехал оттуда в Переяславль к Никите чудотворцу и «повелел игумену общину соделати и велий монастырь соградиша». Затем известно, что в XVII столетии в числе домовых, сенных храмов и престолов на царицыной половине дворца существовал и придел Никиты Переяславского, устроенный, по всему вероятию, ещё при Иоанне Грозном, в особенное уважение к покровительству св. угодника Никиты. Он находился в храме св. Лазаря, в нижнем этаже сенной царицыной церкви Рождества Богородицы.

В 1547 году, 18 сентября, приговорил государь женить брата своего, князя Юрия Васильевича; и ходил государь с ним к Макарию митрополиту, чтобы благословил женить князя Юрия, и велел боярам и князьям привести на свой царский двор дочерей-девиц. Выбор пал на княжну Иулианию, дочь князя Дмитрия Фёдоровича Палецкого.

Х

Как сильно ни любил Иоанн свою юную супругу, но, не привыкнув до сих пор сдерживать себя, он не мог тотчас поддаться её умиротворяющему влиянию, и нельзя было поэтому ожидать в нём быстрой перемены.

Всем заправляли родные его — Глинские; повсюду сидели их наместники; не было нигде правосудия, везде происходили насилия и грабежи. Управы на новых правителей искать было негде. Сам царь не терпел, чтобы его беспокоили просьбами или жалобами. Особенно Михаил Глинский наделал много зла, позволяя своим холопам грабить народ. «В те поры Глинские у государя в приближении и в жаловании были, а от людей их чёрным людям насильство и грабёж: они же их от того не унимаху».

12 апреля 1547 года вспыхнул сильный пожар в Москве: погорели лавки со многими товарами и казённые гостинные дворы. А у Москвы-реки в стрельнице вспыхнуло пушечное зелие: разорвало стрельницу и разметало кирпичи по берегу реки и в реку. 20-го числа снова случился пожар за Яузой: погорели гончары и кожевники, горело на Яузе до самого её устья. 3 июня семьдесят псковских людей прибыли в Москву жаловаться на своего наместника, князя Турунта-Пронского, угодника Глинских. Они явились к царю в его сельце Островке. Иоанн, не выслушав челобитчиков, закипел гневом, велел раздеть их и положить на земле, поливать их горячим вином и палить им свечами волосы и бороды. Несчастные ждали смерти... Во время этого вдруг пришла неожиданная весть, что в Москве, когда в одной церкви начали благовестить к вечерне, с колокольни упал колокол-благовестник. Иоанн бросил свои жертвы и поспешил в Москву.

Падение колокола считалось предвестием бедствия. А тут к этому предвестию присоединилось ещё другое предзнаменование уже ожидаемой беды. В это время жил в Москве юродивый Василий Блаженный. Народ чтит его как угодника Божия. И в зимнюю стужу, и в летний зной, он ходил обнажённый, «как Адам первозданный». 20 июня, в полдень, Василия Блаженного увидели близ церкви Воздвижения на Арбате: он глядел на церковь и горько плакал. «Это не к добру: чует он беду!» — говорили в народе. Все в страхе ожидали неведомого несчастья.

На другой день, 21 июня, в этой самой церкви вспыхнул пожар, с чрезвычайною быстротою распространившийся по деревянным зданиям города, чему способствовал сильный ветер. Такого страшного пожара ещё никогда не бывало в Москве: он и известен под именем великого пожара. Огонь потёк, как молния, и в продолжение часа обратил в пепел всё Занеглинье и Чертолье (нынешняя Пречистенка). Потом буря понесла пламя на Кремль, где загорелся верх Успенского собора, потом занялись деревянные кровли на царских службах (палатах), причём сгорели: оружничая палата, постельная палата с домашнею казною, царская конюшня и разрядные избы, где велось делопроизводство о всяких назначениях по службе; огонь проник даже в погреба под палатами. Пострадала придворная златоверхняя церковь Благовещения: в ней погибли невосвратно Деисус письма знаменитого русского иконописца Андрея Рублёва, обложенный золотом, и все иконы греческого письма, древних великих князей, собранные «от многих лет» и украшенные также золотом и бисером многоценным. По каменным церквам сгорели иконостасы и людское добро, которое продолжали и в это время прятать по церквам. Успенский собор и митрополичий двор остались целы. В Успенском соборе уцелел иконостас и все сосуды церковные. Митрополит Макарий едва не задохся от дыма в соборе: он вышел из него, неся образ Богородицы, написанный митрополитом Петром; за ним шёл протопоп и нёс церковные правила. Макарий ушёл было сначала на городскую стену, на тайник (подземный ход), проведённый к Москве-реке, но не мог долго оставаться здесь от дыма. Его стали спускать с тайника на канате на взрубь к реке, канат оборвался, и

митрополит сильно расшибся, так что едва мог придти в себя. Его отвезли в Новоспасский монастырь. Кремлёвские монастыри — Чудов и Вознесенский, сгорели. Пожар сделался ещё ужаснее, когда дошёл до пороха, хранившегося в стенах Кремля, и произошли взрывы. Огонь распространился по Китай-городу, и эта часть города сгорела вся, исключая две церкви и десять лавок. Пожар охватил большой посад вплоть до Воронцовского сада на Яузе. Народу сгорело, говорят, 1700 взрослых человек и несчётное множество детей. Царь с супругою и с приближёнными своими не был в Москве во время пожара: он уехал в село Воробьёво. На другой день он поехал с боярами в Новоспасский монастырь навестить митрополита.

Между тем большая часть москвичей находилась в ужасном положении — без хлеба, без крова. Многие не могли отыскать своих близких родных, пропавших без вести. Народом овладело отчаяние. В те времена всегда готовы были приписать общественное бедствие лихим людям и колдовству. Разнеслась молва, что лихие люди, чародеи вражьи наветом вынимали из человеческих трупов сердца, мочили их в воде и этою водою кропили московские улицы, отчего и сгорела Москва. Донесли об этом царю, который велел боярам своим сделать розыск. Тогда знатные люди, ненавидевшие Глинских, воспользовались случаем погубить их. Эти враги Глинских были: дядя царицы Анастасии — Григорий, царский духовник, Благовещенский — протопоп Фёдор Бармин, боярин князь Фёдор Скопин-Шуйский, Иван Петрович Челяднин, князь Юрий Темкин, Фёдор Нагой и другие.

26 июня, в воскресенье, на пятый день после пожара, бояре приехали в Кремль на площадь к Успенскому собору, собрали чёрных людей и начали спрашивать: кто зажигал Москву? В толпе, заранее настроенной заговорщиками, закричали: «Княгиня Анна Глинская со своими детьми волхвовала: вынимала сердца человеческие да клала в воду, да тою водою, езда по Москве, кропила, оттого Москва и выгорела!» Легко было уверить в этом народ, так как все не любили Глинских и были недовольны их могуществом. От людей их народу было насилие и грабёж, а они людей своих не унимали. Конюший боярин, князь Михаил Васильевич Глинский, родной дядя царский, был в это время с матерью Анною, бабкою государя, во Ржеве, полученном от царя в кормление. А другой брат, Юрий находился в это время в Москве и, не подозревая, какие сети ему плели бояре, приехал к Успенскому собору вместе со своими тайными врагами. Услышав о себе и о своей матери такие неприязненные речи в народе, Юрий Глинский понял, что его может постигнуть, и поспешил укрыться в Успенский собор. Но бояре, злобясь на Глинских, как на временщиков, напустили чернь. Расходившийся народ вломился в Успенский собор, вытащив оттуда Глинского, убил его, выволок труп его из Кремля и бросил на торгу, где казнят преступников. Умертвив Глинского, чернь бросилась на людей его и истребила всех. Досталось тут и таким, которые вовсе не принадлежали к числу их. В Москве были тогда на службе дети боярские из Северной земли (нынешние губернии: Черниговская, Курская и Орловская). Народ перебил их потому только, что в их речи слышался тот же говор, что и у людей Глинского. «Вы все их люди, — кричала толпа, — вы зажигали наши дворы и товары!»

Так прошло два дня. Народ не унимался. Одного Глинского было мало: народу нужны были ещё жертвы. На третий день после убийства князя Юрия толпы черни явились в село Воробьёво, у дворца царского, с криком, чтобы государь выдал им бабку свою, княгиню Анну Глинскую, и сына её, князя Михаила, которые будто бы спрятаны у него в покоях. Иоанн был потрясён и страшно напуган всеми предшествующими событиями: «Он, — как говорит сам, — думал, что его обвиняют как участника в поджогах и хотят убить». Однако он выказал тут свою решительность: велел схватить крикунов и казнить. Скопище рассеялось, и многие, разбежались даже по другим городам. Но главные виновники восстания против Глинских не пострадали, а цели своей всё-таки достигли: оставшийся в живых князь Михаил Васильевич Глинский не только потерял надежду восторжествовать над своими врагами, но даже отчаялся в собственной безопасности и вместе с приятелем своим, князем Турунтаем-Пронским, побежал в Литву из своих ржевских сел. Об этом донесли государю. Иоанн послал в погоню за беглецами князя Петра

Ивановича Шуйского. Сведая о погоне, Глинский и Пронский вернулись к Москве: они думали тайком пробраться в город и уверить государя, что вовсе не бегали, а ездили на богомолье. Но Шуйский успел их схватить — одного в самых воротах, другого на посаде. Посидев немного под стражею, они были прощены и отданы на поруки, потому что вздумали бежать по неразумию и из страха, испугавшись судьбы князя Юрия Глинского.

Могущество Глинских рушилось, но не перешло оно и к врагам-завистникам их, виновникам их падения.

XI

Ужасный московский пожар произвёл сильное впечатление на Иоанна: «Страх вошёл ему в душу и трепет в кости». Пред его глазами море огня затопило и пожрало большую часть Москвы. Пред ним стояла грозная толпа народа, в котором была вся его сила и опора, которым, по воле Божией, он был призван властвовать, и эта толпа производила дикую расправу над его дядей. Он слышал грозные крики разъярённой черни, требовавшей от него — от своего владыки — выдачи остальных ближайших родичей. Было над чем задуматься! Не кара ли это небесная за его тяжкие грехи? И вот пред царём появляется грозный и вдохновенный проповедник — Сильвестр, священник Благовещенского собора, начинает ему говорить о несчастном положении московской земли, указывает, что причиною бедствий — нерадение и пороки царя, что кара Божия висит над ним, строго вразумляет его священным писанием и закликает страшным именем Божиим, рассказывает ему о чудесах и знамениях. Речи Сильвестра сильно подействовали на царя: он начал каяться, плакал и дал обещание с этих пор во всём слушаться своего наставника.

Курбский в своей истории Иоанна Грозного говорит, что во время народного возмущения против Глинских Бог подал руку помощи земле христианской таким образом: «Тогда явился к нему (Иоанну) один муж, чином пресвитер, именем Сильвестр, пришлец из Великого Новгорода, и начал строго обличать его Священным писанием и заклинять страшным Божиим именем; к этому начал ещё рассказывать о чудесах, о явлениях, как бы от Бога происшедших. Не знаю, правду ли он говорил о чудесах или выдумал, чтобы только напугать его и подействовать на его детский неистовый нрав. Ведь и отцы иногда пугают детей мечтательными страхами, чтобы удержать их от зловерных игр с дурными товарищами. Так делают и врачи, обрезывая железом гниющий член или дикое мясо до самого здорового тела. Так и он своим добрым обманом исцелил его душу от проказы и исправил развращённый ум».

Сильвестр овладел совестью царя, который отдался ему всецело как руководителю и наставнику.

Не следует думать, что Сильвестр прежде не был известен Иоанну, а явился пред ним внезапно и впервые, в селе Воробьёве. Как священник придворного Благовещенского собора, он был ещё прежде хорошо известен Иоанну и, как перешедший из Новгорода, пользовался, вероятно, покровительством Макария, когда тот в 1542 году стал митрополитом. Сильвестр ещё прежде обратил на себя внимание царя своими достоинствами, но теперь его внушения и его влияние получили гораздо большую силу. А то, что именно священник получил такое важное, первенствующее значение у царя, это можно объяснить тем, что царь изверился в князьях и боярах, раздражавших народ насилиями и притеснениями и восстановивших было его против него самого, царя, и решился искать опоры в лицах другого происхождения и испытанной нравственности.

Сильвестр около десяти лет стоял во главе управления государством. Вот что мы читаем в летописи: «Священник Сильвестр, родом новгородец, был у государя в великом жалованья и в совете духовном и думном: он всё мог делать, все его слушались, и никто не смел ему противиться ради царского жалованья. Он указывал и митрополиту, и владыкам, и архимандритам, и игуменам, и монахам, и попам, и боярам, и дьяконам, и приказным людям, и воеводам, и детям боярским, и всяким людям. Словом, он заправлял всеми делами, святительскими и царскими, и никто не смел сказать что-нибудь или сделать не по его воле. Только имени, одеяния и престола, как у царя и святителя, у него не было, а оставался он простым попом, на деле же владел он всем со своими советниками, и все его высоко почитали».

После Сильвестра ближайшим и довереннейшим лицом у царя стал Алексей Адашев, человек

большого ума и в высокой степени нравственный и честный. «С Сильвестром, — так продолжает Курбский свой рассказ, — тесно сошёлся в деле добра и общей пользы один благородный юноша, именем Алексей Адашев, который в то время был очень любим царём. Если бы всё подробно писать об этом человеке, то это показалось бы совсем невероятным посреди грубых людей: он, можно сказать, был подобен ангелу».

Алексей Фёдорович Адашев, ложничий царский, был человек очень незначительного происхождения: его отец только в следующем году был произведён в окольничьи. Сам Иоанн говорит об нём следующее: «Не знаю, каким образом вышел из батожников, устроился он при нашем дворе. Видя одну измену в наших вельможах, я взял его от гноища и поставил наряду с вельможами, ожидая от него прямой службы». Адашев был одним из тех простых худородных людей, которых Иоанн начал возвышать назло старинным боярским родам. Он уже прежде был известен Иоанну, случайно попав в число тех молодых людей, которых последний приближал к себе ради забавы.

«Что же полезного эти два мужа (то есть Сильвестр и Адашев) делают для земли своей, впрямь опустошённой и постигнутой горькою бедою? Приклони ухо и слушай со вниманием. Вот что они делают: они утверждают царя, и какого царя? — юного, воспитанного без отца, в злых страстях и в самовольстве. А важнее всего — они прежних злых его доброхотов или отделяют от него, или обуздывают. Названный нами священник учит его молитвам, посту и воздержанию и отгоняет от него всех свирепых людей, то есть ласкателей, человекоугодников, которые хуже смертоносной язвы в царстве; а быть себе помощником он уговаривает и архиерея великого города Москвы, Макария, и других добрых мужей из священства. Так они собирают около него (то есть царя) разумных людей, бывших уже в маститой старости или хотя и в среднем, возрасте, но добрых и храбрых, искусных и в военном деле, и в земском. Они до того скрепляют приязнь и дружбу этих людей с государем, что он без их совета ничего не устраивает и не мыслит. А тунядцев, то есть блюдолизов, товарищей трапез, которые живут шутовством, тога не только не награждали, но и прогоняли вместе со скоморохами и другими, им подобными».

Сильвестр и Адашев подобрали людей, более других отличавшихся широким взглядом и любовью к общему делу. Кроме митрополита Макария, которого мы везде встречаем ходатаем за опальных бояр, и Андрея Курбского, самого образованного из тогдашних воевод, к этому кругу принадлежали князья: Димитрий Курлятов, Палецкий, Пётр Шуйский, Александр Горбатый-Шуйский, Микулинский, Морозов, Мстиславский, Шереметев, Серебряный, Воротынский и другие. Но этот круг состоял не из одних только людей знатных родов: Сильвестр и Адашев стали извлекать из толпы людей незнатных, но честных, и поверяли им разные должности. Таким образом, из детей боярских возвышались люди, какие были нужны Сильвестру и Адашеву. Несмотря на то, что среди людей, окружавших тогда царя, были знатные потомки удельных князей, возвышение новых людей вначале не оскорбляло их гордости.

И вот государство стало управляться этим кругом близких к царю людей, который Курбский называет избранною радюю (думою). Без совета с людьми этой избранной рады Иоанн не только ничего не устраивал, но даже не смел и мыслить. Но опекуны его старались по возможности вести дело так, чтобы он не чувствовал тягости опеки. Впоследствии, когда Иоанн сбросил с себя власть этих людей, он так жаловался на ограничение своего самодержавия: «Я принял попа Сильвестра ради духовного совета и спасения души своей, а он попрал священные обеты и хиротонию, сперва как будто хорошо начал, следуя Божественному писанию; а я, видя в Божественном писании, что следует покоряться благим наставникам без рассуждения, ради духовного совета, повиновался ему в колебании и неведении. Потом Сильвестр сдружился с Адашевым, и начали держать совет тайно от нас, считая нас неразумными; и так вместо духовных дел начали рассуждать о мирских, и так мало по малу всех вас, бояр, приводить в самовольство, снимая с нас власть и вас подстрекая противоречить нам и почти равняя вас честью с нами, а молодых детей боярских уподобляя честью с вами. И так мало помалу утвердилась эта злоба, и вам стали давать города, и сёла, и те вотчины, которые ещё по распоряжению деда нашего у вас отняты, которых вам не

следовало давать, роздали: всё пошло по ветру, нарушили распоряжение деда нашего и тем склонили на свою сторону многих. Потом Сильвестр ввёл к нам в синклит единомышленника своего, князя Дмитрия Курлятева, обольщая нас лукавым обычаем, будто всё это делает ради спасения души нашей, и так с этим своим единомышленником утвердили свой злой совет, не оставили ни одной власти, где бы не поместили своих угодников, и с тем своим единомышленником отняли от нас власть, данную нам от прародителей, назначать бояр и давать им честь председания по нашему жалованью: всё это положили на свою и на вашу волю, чтоб всё было, как вам угодно; и утвердились дружбою; все делали по-своему, а нас и не спрашивали, как будто нас вовсе не было; все устройства и утверждения творили по воле своей и своих советников. Мы же, если что и доброе советовали, им всё это казалось непотребным. Во всякой мелочи, до обувания и спанья, я не имел своей воли: всё делал по их желанию, словно младенец».

Как бы то ни было, к этому времени — времени господства Сильвестра и Адашева — относятся самые важные и самые блистательные дела царствования Иоанна Грозного: издание Судебника и Стоглава, установление губных грамот, излюбленных старост и целовальников, освобождение народа от произвола наместников и волостелей, дарование ему льгот самоуправления, завоевание Казани и Астрахани.

XII

Вразумлённый и просветлённый московским пожаром и грозною речью Сильвестра, Иоанн захотел окончательно порешить с прошедшим, сильно тяготившим его. На 20-м году своего возраста, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправд, молодой царь умыслил привести всех в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы, разорить неправды, утолить вражду, он приказал собрать земский собор, или земскую думу из выборных людей всей русской земли. К большому сожалению, мы не знаем не только подробностей, но даже главных черт этого знаменитого события, этого необычайного веча. Мы не знаем, как избирали выборных, кого выбирали, с каким полномочием посылали.

Было это в один из воскресных дней. После обедни царь с митрополитом и духовенством вышел с крестами на Красную Площадь, покрытую съехавшимися со всей земли людьми, взошёл на Лобное место и после молебна начал говорить митрополиту:

«Молю тебя, святой владыко! Будь мне помощник и любви поборник. Знаю, что ты добрых дел и любви желатель. Знаешь сам, что я после отца своего остался четырёх лет, после матери — восьми. Родственники о мне небрегли, а сильные мои бояре и вельможи обо мне не радели и самовластны были, сами себе саны и почести похитили моим именем и во многих корыстях, хищениях и обидах упражнялись. Аз же яко глух не слышах и не имей во устах своих обличения, по молодости моей и беспомощности, — а они властвовали. О, неправедные лихоимцы и хищники, и судьи неправедные! Какой теперь дадите нам ответ, что многие слёзы воздвигли на себя? Я же чист от крови сей, — ожидайте воздаяния своего!»

Поклонившись на все стороны, Иоанн продолжал:

«Люди Божии и нам дарованные Богом! Молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Теперь нам ваших обид — разорений и налогов — исправить нельзя вследствие продолжительного моего несовершеннолетия, пустоты и беспомощности, вследствие неправды бояр моих и властей, бессудства неправедного, лихоимства и сребролюбия. Молю вас: оставьте друг другу вражды и тягости, кроме разве очень больших дел. В этих делах и в новых я сам буду вам, сколько возможно, судья и оборона, буду неправды разорять и похищенное возвращать».

В тот самый день, как произнесена была эта речь к народу, Иоанн пожаловал Алексея Адашева в окольничие и при этом сказал ему: «Алексей, взял я тебя из нищих и самых незначительных людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей, для помощи души моей. Хотя твоего желания и нет на это, но я тебя пожелал, и ни одного тебя, но и других таких же, кто б печаль мою утолил и на людей, вручённых мне Богом, призрел. Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных; не смотри и на ложные слёзы бедного, клеветующего на богатых, ложными слезами хотящего быть правым; но всё рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь суда Божия. Избери судей правдивых от бояр и вельмож». С этих пор он начал сам судить многие суды и разыскивать праведно. Правление боярское кончилось.

Достопамятный день искреннего покаяния и очищения перед народом был едва ли не самым светлым днём царствования Иоанна.

XIII

Церковь русская, в продолжение пяти с лишком веков своего существования, воспитала уже весьма много угодников Божиих. Но почти все они чествуемы были доселе только в тех местах, где подвизались и покоились по смерти, а не по всей России. Да и эти местные чествования, как не утверждённые высшею властью в русской Церкви — властью митрополита и собора, не могли иметь полной законности и полной обязательности для православных. Если же иногда учреждаемы были церковною властью повсеместные празднества в честь того или другого святого, например, в XI веке — в честь святых мучеников Бориса и Глеба, в начале XII века — в честь преподобного Феодосия печерского, в XIV — в честь святителя Петра, митрополита московского, в XV — в честь св. митрополита Алексия, то подобные события были крайне редки и совершались отдельно одно от другого. Митрополиту Макарию пришла мысль собрать по возможности сведения о всех русских святых, об их подвигах и чудесах, рассмотреть эти сведения на соборе и затем определить, каким из угодников Божиих установить праздники во всей отечественной Церкви, если таковые ещё не были установлены, и каким установить или только утвердить праздники местные.

И вот, по повелению царя и великого князя Иоанна Васильевича, в 1547 году состоялся в Москве собор, на котором под председательством митрополита Макария находилось семь святителей, кроме прочего духовенства: Алексий ростовский, Иона суздальский, Иона рязанский, Акакий тверской, Феодосий коломенский, Савва сарский и Киприан пермский. На этом соборе, после предварительных исследований и рассуждений, определено было — двенадцати святым «петь и праздновать повсюду» в русской церкви, а девяти — только местно.

Первого рода праздники учреждены: св. Иоанну архиепископу новгородскому († 1186) — 7 сентября; св. Александру Невскому († 1263) — 23 ноября; преп. Никону, игумену радонежскому († 1426) — 17 ноября; преп. Павлу Обнорскому († 1429) — 10 января; преп. Савватию соловецкому († 1435) — 27 сентября; преп. Дионисию глушицкому († 1437) — 1 июня; преп. Михаилу клопскому († 1452) — 11 января; св. Ионе, митрополиту московскому († 1461) — 30 марта; преп. Пафнутию боровскому († 1477) — 1 мая; преп. Зосиме соловецкому († 1478) — 17 апреля; преп. Макарию калязинскому († 1483) — 17 марта; преп. Александру Свирскому († 1533) — 1 августа.

Местно праздновать положено: в Москве св. Максиму юродивому († 1433) — 13 августа; в Твери св. Арсению, епископу тверскому († 1409) — 2 марта; в Муроме св. князю Константину († 1129) и чадам его Михаилу и Феодору — 21 мая; в Муроме же, св. князю и Петру и княгине Февронии муромским († 1228) — 25 июня, в Устюге преп. Прокопию († 1285) и Иоанну (1494) устюжским — 8 июля.

По всей вероятности, собор установил празднества исчисленным святым не потому, что их одних признал достойными чествования и прославления, а потому, что об них только имел под руками необходимые данные, на основании которых мог утвердить свой приговор. Поэтому, по благословению этого же самого собора, молодой царь обратился с просьбою ко всем святителям русской земли, чтобы они позаботились, каждый в пределах своей епархии, «известно пытати и обыскивати о великих новых чудотворцах» в городах, весях, монастырях и пустынях, пользуясь показаниями князей, бояр, иноков и вообще богобоязненных людей. Святители отозвались на предложение государя с сердечною радостью и вскоре, каждый в своём пределе, собрали «каноны, жития и чудеса» новых чудотворцев на самых местах, где каждый из них просиял добрыми делами и чудесами, по свидетельству местных жителей всякого рода и звания.

В 1549 году, по воле государя и митрополита Макария состоялся новый собор в Москве, пред которым святители и «положили» собранные ими сведения. Собор «свидетельствовал эти каноны, жития и чудеса и «предал Божиим церквам петь и славить, и праздновать» новым чудотворцам, как то совершалось прочим святым, Богу угодившим, во дни их преставления и открытия мощей их. Каким именно чудотворцам положено на этом соборе праздновать, сведений не сохранилось; но судя по тому, что собору были представлены сведения по возможности о всех местных чудотворцах каждой епархии, можно думать, что теперь установлено было чествование весьма многим, если даже не всем русским святым, какие подвизались до половины XVI века и которым не было ещё установлено такого чествования, за исключением, разумеется, тех, о ком не было представлено собору сведений. По крайней мере другого времени, когда могло быть учреждено чествование весьма многих из этих святых, которые, однако ж, доселе чтутся не местно только, а во всей русской Церкви, мы указать не можем: таковы, например, Киприан и Фотий, святители московские, Никита, Евфимий и Иона — новгородские, Леонтий, Исаия, Игнатий и Иаков — ростовские, Стефан пермский, Михаил, князь черниговский, с боярином Феодором, преподобные Авраамий и Исидор ростовские, Варлаам хутынский, Кирилл белоозёрский, Никита переяславский и другие. Достойно замечания, что почти все эти святые упоминаются вскоре после собора 1549 года самим царём Иоанном Васильевичем и митрополитом Макарием как угодники Божие и молитвенники пред Богом наравне с святителями Петром, Алексием и Ионою московскими и преп. Сергием радонежским, а многие внесены и в месяцесловы того времени.

Воздав таким образом подобающее чествование угодникам Божиим, которых признавал ближайшими заступниками и ходатаями на небеси за себя и за всю землю русскую и «молитвами» которых, по его собственным словам, он «начал править царство своё», юный государь приступил к делу земского или гражданского благоустройства и ещё на соборе 1549 года благословился у митрополита и прочих святителей пересмотреть и исправить судебник, чтобы впредь суд был праведный и всякие дела совершались законно.

XIV

Не только Иоанн жаловался на неправду, укоренившуюся в управлении, о том же свидетельствуют и летописцы того времени. Поэтому первой заботой советников юного царя было: восстановить суд и правду, умиротворить народ, потерявший терпение от бессудия, неправды и всяческих насилий во время злосчастливого боярского правления.

В 1550 году царь и великий князь Иоанн Васильевич со своими братьями и боярами уложил Судебник: как судить боярам, окольничим, дворецким, казначеям, дьякам и всяким приказным людям, по городам наместникам, по волостям волостелям, их тиунам и всяким судьям. Рассмотрен и дополнен был прежний великокняжеский Судебник Иоанна III и составлен новый, более подробный царский судебник. Кроме того, впоследствии были изданы «Уставные грамоты», дополнившие судебник.

Так как в то время явилась сильная потребность в мерах против злоупотреблений лиц правительственных и судей, то эта потребность и не могла не высказаться в новом судебнике. Подобно судебнику Иоанна III, новый Судебник запрещал судьям дружить, и мстить, и брать посулы (взятки), но не ограничивал одним общим запрещением, а грозил определённым наказанием в случае ослушания: «Если судья просудится, обвинит кого-нибудь не по суду без хитрости и обыщется-то вправду, то судье пени нет; но если судья посул возьмёт и обвинит кого не по суду и обыщется-то вправду, то на судье взять истцов иск (стоимость иска), царские пошлыны втрое, а в пене, что государь укажет. Если дьяк, взявши посул, список нарядит или дело запишет не по суду, то взять с него перед боярином в половину да кинуть в тюрьму. Если же подьячий запишет дело не по суду за посул, то бить его кнутом (подвергнуть торговой казни)». «Если виновный солжёт на судью, то бить его кнутом и посадить в тюрьму». Поставлены предосторожности против злоупотреблений дьяков и подьячих и наказания в случае их обнаружения: «Дела нерешённые дьяк держит у себя за своею печатью, пока дело кончится. Дьяки, отдавая подьячим дела переписывать с черна начисто, должны к жалобницам (прошениям) и делам прикладывать руки по склейкам, и когда подьячий перепишет, то дьяк сверяет сам переписанное с подлинником, прикладывает руку и держит дела у себя, за своею печатью. Подьячие не должны держать у себя никаких дел».

Государственное правосудие и управление сосредоточивалось в столице, где существовали чети, или приказы, к которым были приписаны русские земли. В них судили бояре или окольничьи, дьяки вели дела, а под ведомством дьяков состояли подьячие. В областях мы видим судебное и административное деление на города и волости. При городах были обыкновенно посады (города в нынешнем смысле), иногда и без города существовали посады, составлявшие до известной степени особое управление, так как посадские люди, занимавшиеся ремёслами, промыслами и торговлей, отличались от волостных. Волости были собранием земледельческих сел. Город с волостями составлял уезд, разделявшийся в полицейском отношении на станы. Уезд заменил старинное понятие о земле: как прежде городу нельзя было быть без земли, так теперь городу нельзя было быть без уезда, подобно тому как деревне нельзя быть без полей и угодьев. В городах и волостях управляли наместники и волостели, которые могли быть и с боярским судом (с правом судить подведомственных им людей, подобно боярам в своих вотчинах) или без боярского суда. Они получали города и волости себе «в кормление», то есть в пользование. Суд был для них доходною статьею, но это был собственно доход государя, который передавал его своим слугам вместо жалованья за службу. Там, где они сами не могли управлять, они посылали своих доверенных и тиунов. На суде наместников были дьяки и разные судебные приставы с названиями — праветчиков (взыскателей), доводчиков (зававших к суду и также производивших следствие), приставов (которые стерегли обвинённых) и недельщиков (посылаемых от суда с разными поручениями).

Рядом с этим государевым судебным механизмом существовал другой — выборный народный. Представителями последнего были: в городах — городовые приказчики и дворские, а в волостях — старосты и целовальники. Старосты были двоякого рода: выборные полицейские и выборные судебные. Общества были разделены на сотни и десятки и выбирали себе блюстителей порядка: старост, сотских и десятских. Они распоряжались раскладкою денежных и натуральных повинностей и вели разметные книги, где записаны были все жители с дворами и имуществами. Старосты и целовальники, которые должны были сидеть на суде наместников и волостелей, выбирались волостями или же вместе с ними и теми городами, где не было дворского. Всякое дело, производившееся в суде, писалось в двух экземплярах и в случае надобности поверялось тождество между ними. Как у наместников и волостелей были свои дьяки, так у старост — свои земские дьяки, занимавшиеся письмоводством, а у этих дьяков — свои земские подъячие.

Важные уголовные дела подлежали особым лицам — губным старостам, избранным всем уездом из детей боярских; в описываемое время их суду подлежали только разбойники. Это учреждение явилось в некоторых местах ещё в малолетство Иоанна и вызвано было усилившимися разбоями. В некоторых уездах было по два губных старосты. Власть их была велика: всё равно должны были подчиняться их суду.

Судебник заботился об ограждении народа от тягости государственного суда и от произвола наместников и волостелей: последние, в случае жалоб на них, подвергались строгому суду. Выборные судьи могли посылать приставов за людьми наместников и волостелей; и если бы наместники и волостели взяли кого-либо под стражу и заковали, не заявив о том выборным судьям, то последние имели право силой освободить арестованных. Только служилые государевы люди подлежали одному суду наместников и волостелей.

При желании обезопасить народ от произвола законодателя, составляя Судебник, уже имели в виду постепенно устранить земство от суда наместников и волостелей и заменить чем-нибудь другим отдачу им в кормление городов и волостей. Это отчасти видно из того, что в 1550 году раздавали во множестве детям боярским земли в поместья, разделяя их на три статьи и принимая во внимание, чтобы получали поместья те, которые не имели своих отчин. Это делалось именно с целью заменить доходы кормления наместников и волостелей дачею им земельных угодий. Эта мера, принятая в то время, значительно увеличила военную силу. К этому времени относится и образование стрельцов из прежних пищальников. Они составляли особый военный класс, жили при городах слободами, разделялись на приказы и вооружены были огнестрельным оружием и бердышами.

Что намечено было Судебником, то продолжали и доканчивали уставные грамоты того времени, давшие перевес в суде выборному началу. Это доказывается историей уставных грамот. По одной из них — устюженской — видно, что прежде наместники и волостели судили-рядили произвольно. При Василии Иоанновиче дана уставная грамота, определяющая обязанности волостелей; в 1539 году при боярском управлении, дана другая грамота, где доходы волостелей определены несколько точнее; а в 1551 году, сообразно Судебнику, волостелям запрещалось творить без участия старосты и целовальников. Мало-помалу управление наместников и волостелей совершенно заменялось предоставлением жителям права самим управляться и судиться посредством выборных лиц за вносимую в царскую казну как бы откупную сумму оброка. В 1552 году дана грамота Важской земле. Нужно заметить, что в этом крае древнее понятие о выборном праве могло укорениться более, чем во многих других местах, так как это была исстари новгородская земля. Жители сами подали об этом челобитную, жалуюсь на тягости, которые они терпели от наместников и волостелей. Последние изображаются в этой челобитной покровителями воров и разбойников. Многие из жителей, находя невозможным сносить такое управление, разбегались, а на оставшихся ложилось всё бремя налогов, в которых уже не участвовали убежавшие. Жители просили дозволить им избрать 10 человек излюбленных судей, которые бы вместо наместников судили у них как

уголовные дела (в душегубстве, и татьбе, и в разбое с поличным и костырем^[37], так и земские; а за это жители будут ежегодно вносить в царскую казну оброка полторы тысячи рублей за все судные наместничьи пошлыны, не отказываясь вместе с тем от исполнения государственных повинностей и взносов (посошной службы, то есть обязанности идти в рать, городского дела, то есть постройки укреплений денег полоняночных, на выкуп пленных и ямских, на содержание почт). Правительство дало согласие на такую перемену управления с тем, что весь валовой сбор оброка будет разложен по имуществу и по промыслам жителей. Вместо наместников явились излюбленные головы, или земские старосты, имевшие право суда и смертной казни; а для предотвращения злоупотреблений должны были выбираться целовальники, заседавшие в суде — свидетели и участники суда. Управление в крае поручалось сотским, пятидесятским и десятским, которые обязаны были наблюдать за благочинием, хватать подозреваемых и отдавать суду излюбленных судей или голов. Вслед за тем одни уезды за другими стали получать подобные грамоты. Наконец в 1555 году эта мера сделалась всеобщей.

Выборное право суда и управления развивало общественные сходбища, которые по закону отправлялись в уездах с целью принятия мер общей безопасности. Все сословия — князья, дети боярские, крестьяне всех ведомств — присылали из своей среды выборных на сходбища, где председательствовал губной староста. Каждый мог и должен был говорить на этих сходбищах, указывать на лихих людей и предлагать меры к их обузданию. Дьяк записывал такие речи, которые принимались в руководство при поисках и следствиях. Все члены общества обязаны были принимать деятельное участие в благоустройстве и содействовать своим выборным лицам в отправлении их должности. Очень важное значение получил тогда обыск. От него зависел способ суда над подсудимым. Если по обыску показывали, что подсудимый — человек дурного поведения, то его подвергали пытке; также показание преступника о соучастии с ним в преступлении какого-нибудь лица проверялось обыском и обвиняемый предавался пытке в таком случае, если по обыску оказывался худым человеком, а в противном случае речам преступника не давали веры. В сомнительных случаях, когда не было ни сознания, ни улик, дело, по жалобе истца, решалось в его пользу тогда, когда обыск давал неудовлетворительный отзыв о поведении ответчика.

Судебник допускал поле, или судебный поединок; но обыск в значительной степени вытеснял его из судопроизводства, так как во многих случаях, когда прежде прибегали к полю, теперь решали дело посредством обыска. Несмотря, однако, на уважение к форме обыска, законодатели сознавали, что обыск будет зачастую производиться с злоупотреблениями; а потому, для предотвращения этих злоупотреблений, установлено было жестокое наказание — наравне с разбойниками (следовательно, смертная казнь^[38]) тем, которые окажутся солгавшими по обыску; самим старостам и целовальникам угрожал ось наказанием, если они окажутся нерадивыми в преследовании и открытии такого рода преступления. Впоследствии, когда уже минуло господство Сильвестра и Адашева, значение обыска совершенно упало, хотя форма его не уничтожилась: отзывы, собранные по обыску, не служили уже главной нитью для избрания способов суда и почти не имели значения, так как одобренных по обыску можно было предавать пытке и казнить на основании показаний, вынужденных пыткой. Пытка допускалась единственно только в том случае, когда приговор по обыску признавал подсудимого худым человеком, если не причислять к пытке (так как он не причислялся к пытке в своё время) правежа — обычая, возникшего в татарские времена, по которому неоплатного должника в определённое время всенародно били палками по ногам, чтоб истребовать лежащий на нём долг. По Судебнику самый высший срок держания на правеже мог продолжаться месяц за сто рублей долга; а по истечении этого срока должник выдавался заимодавцу головою и должен был отслуживать свой долг работою. Вскоре вместо месяца за сто рублей долга назначено было два месяца правежа. В выборном судопроизводстве не существовало никаких судных пошлын: правосудие уделялось прибегавшим к нему безденежно.

По Судебнику, кроме духовных, все прочие составляли два отдела: служилых и неслужилых. Первые

делились на два разряда: высших и низших. К высшим принадлежали князья, бояре, окольничьи, дьяки и дети боярские; ко вторым — простые ратные люди, ямщики и все казённые служители разных наименований (пушкари, воротники, кузнецы и т. п.).

К неслужилым, или земским, причислялись: купцы, посадские и волостные крестьяне, жившие как на казённых землях (черносошные), так и на дворцовых и на частных землях. Служилые первого разряда пользовались явными преимуществами. Они занимали видные места и должности, владели поземельною собственностью, имели преимущество в судебных процессах: так, если кто в суде ссылался на их свидетельство, то оно считалось сильнее свидетельства простых людей. Бояре, окольничьи и дьяки освобождались от позорной торговой казни. Оттенки сословий изображались установленными размерами «бесчестия» за оскорбление: боярин получал 600 рублей, дьяк — 200; дети боярские — сообразно получаемому на службе доходу. Из торговых людей гость (первостатейный купец) считался вдесятеро выше обыкновенного торговца и получал 50 рублей, тогда как всякий посадский получал только 5 рублей. Волостной человек, крестьянин, был поставлен в пять раз ниже посадского, получая «бесчестия» всего один рубль; но, находясь на должности, получал наравне с посадским. Женщине платилось «бесчестие» вдвое против мужчины её звания.

Относительно холопства в это время сделано было несколько распоряжений, видимо, клонившихся к уменьшению числа холопов. Отменялось древнее правило, что поступивший в должность к хозяину без ряда делался его холопом. Детям боярским запрещалось продаваться в холопство не только во время службы, но и ранее. Судебник запрещал отдаваться в холопство за рост, предотвращая, таким образом, случаи, когда человек в нужде делался рабом. Впрочем, неоплатный должник после правежа отдавался головою заимодавцу; но, чтобы таких случаев было менее, постановлено было давать на себя кабалы не более, как на 15 рублей. При всякой отдаче головою излюбленные судьи должны были делать особый доклад государю. Наконец, беглый кабальный холоп не был возвращаем прямо хозяину, а ему предлагали прежде заплатить долг, и только в случае решительной несостоятельности выдавали его головою.

Относительно военной службы было установлено, чтобы каждый помещик приводил по требованию известное число ратников, смотря по количеству населённой земли в его поместье (обыкновенно со 100 четвертей один конный воин); при этом определялось, как должны быть вооружены ратники.

Каждый прибывший на службу помещик должен был явиться к воеводе своего города на смотр. Воевода отмечал в списке, кто и как приходил на службу. Тех, которые являлись в исправности — «конны, людны и оружны», записывали в высший разряд. Исправным выдавались от царя награды — прибавка поместий. У неисправных уменьшали земли. «Нети», или «нетчики», то есть вовсе не явившиеся на службу, наказывались ещё строже, если они не могли представить уважительных причин своей неявки. Для заведывания службою помещиков учреждён был разряд, или разрядный приказ, то есть присутственное место, где вели дело обыкновенно боярин и дьяк с подьячими, которым царь приказывал ведать то дело. Каждый помещик, достигнув совершеннолетия, являлся или к воеводе своего города записаться в служилый список, или отправлялся в Москву, в разрядный приказ, и при этом объявлял, с чего он будет служить, владеет ли он вотчинами и поместьями, или нуждается в новом наделе. В последнем случае ему давалось поместье и он назывался новик.

Царь Иоанн Васильевич обратил своё внимание на явление, которое, усиливаясь всё более и более, представляло правительству сильные затруднения, особенно во время войны: то было местничество. Как владетельный княжеский род у нас долго сохранял единство, так точно такие же понятия о родовом единстве господствовали и между членами частных родов. В силу этих понятий человек, подвигавшийся вперёд на службе, с тем вместе подвигал, возвышал целый род свой, иногда чрезвычайно обширный, состоявший из многих фамилий; равным образом и наоборот человек, понижавшийся на служебном

поприще, с тем вместе понижал целый род свой, целому роду наносил бесчестье или поруху. Отсюда главной заботой каждого служилого человека при назначении его на службу в младших товарищах с кем-нибудь, или под начальством чьим-нибудь было осведомиться, можно ли, совместно ли ему быть в младших товарищах, или в подчинении у известного лица без унижения своему роду, и если узнавал, что нельзя, то подавал просьбу, что вместе с таким-то быть не может. Средством для служилых людей узнавать, когда кто с кем прежде был в какой службе, служили разрядные книги, куда вписывались все служебные назначения и все местнические случаи, к которым подавали повод эти назначения. Разрядные книги велись самим правительством и частными людьми именно на случай местнических споров. Местничались воеводы по полкам, по городам, местничались царедворцы в придворных церемониях, местничались женщины за столом у царицы. Царь Иоанн Васильевич ограничил число случаев, когда воеводы разных полков могли местничаться; потом уничтожил право молодых служилых людей знатного происхождения местничаться с воеводами менее знатного происхождения: право местничаться они получали только тогда, когда сами становились воеводами, и тут прежняя их подчинённая служба не имела никакого влияния.

XV

Вслед за земскими учреждениями приступлено было к церковному благоустройству. Для этого в начале 1551 года созван был в Москве собор, важнейший из всех соборов, какие только были доселе в Церкви русской. Сведения о нём сохранились в особой книге, известной под именем Стоглава или Стоглавника, потому что она разделена на сто глав, отчего и самый собор обыкновенно называется Стоглавым.

«Державный самодержец, — читаем в соборной книге, — прекроткий царь Иван, осияваемый благодатию Св. Духа, подвигся тёплым желанием не только о устроении земском, но и об исправлении многоразличных дел церковных. Он возвестил о том отцу своему, митрополиту Макарию, и повелел составить собор. Когда повеление царское услышали архиереи русской земли, они объаты были невыразимою радостью и, как небопарные орлы, поспешили в Москву, и чудно было видеть царствующий град, красовавшийся пришествием отцов».

Собрались все до одного святители московской митрополии: новгородский Феодосий, ростовский Никандр, суздальский Трифон, смоленский Гурий, рязанский Кассиан, тверской Акакий, коломенский Феодосий, сарский Савва и пермский Киприан, с честными архимандритами, игуменами, духовными старцами, пустынниками и множеством прочего духовенства. Собравшиеся прежде всего совершили торжественное молебствие в соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы, а потом перешли в царские палаты. Это было 23 февраля 1551 года. Царь сел на своём престоле, и когда водворилось глубокое молчание и взоры всех устремились на державного, он внезапно встал с своего места и со светлым взором и весёлым лицом, приблизившись к святителям, сказал: «Молю вас, святейшие отцы мои, если я обрёл благодать перед вами, утвердите на мне любовь свою, как на присном вашем сыне, и не обленитесь изречь слово единомысленно о православной нашей вере и о благосостоянии святых Божиих церквей, и о нашем благочестивом царстве, и о устроении всего православного христианства. Я весьма желаю и с радостию соглашаюсь быть сослужебным вам поборником веры во славу Св. Животворящей Троицы и в похвалу нашей благочестивой веры и церковных уставов. Почему повелеваю, чтобы отныне удалилось от нас всякое разногласие и утвердилось между нами согласие и единомыслие». Затем царь предложил собору «своя руки писание», которое и было прочитано вслух всех. Здесь Иоанн, именем Тривпостасного Бога, Пресвятой Девы Богородицы и всех святых, особенно отечественных, снова умолял собравшихся пастырей потрудиться для утверждения истинной веры Христовой, для исправления церковного благочиния и царского благозакония, и всякого земского строения. Призывал не только духовных, но и князей, бояр, воинов и вообще православных христиан покаяться вместе с ним и обратиться на путь добродетели, указывая на примеры, древние и современные, страшных казней Божиих за грехи. Со слезами воспоминал о смерти своего отца, своей матери, об умерщвлении своих дядей, о своеволии и злоупотреблениях бояр, правивших царством, о своём сиротстве и отрочестве, проведённом в пренебрежении, без всякого научения и в пороках, о казнях Божиих, постигших Россию за беззакония, и в особенности о великом московском пожаре. «Тогда, — замечает государь, — страх вошёл в мою душу и трепет в мои кости, и смирился дух мой, и я умилился и познал мои согрешения, и прибег к св. церкви, и испросил у вас, святителей, благословения и прощения моих злых дел, а по вашему благословию преподал прощение моих злых дел, а по вашему благословию преподал прощение и моим боярам в их грехах против меня, и начал, по вашему благому совету, устроить и управлять вручённое мне Богом царство».

О чём же происходили совещания Стоглавого собора? Предметы для занятий собора были указаны в

вопросах царя и были вообще многочисленны и разнообразны; но круг их ещё расширялся самими отцами собора при их совещаниях. Можно сказать, что круг этот обнимал собою всю обширную область церковной жизни и касался более или менее всех её сторон: и учения, и богослужения с его обрядами, и управления, или святительского суда, и поведения духовенства, белого и монашествующего, особенно устройства монастырей, и поведения мирян, их суеверий, нравов и обычаев. Стоглавый собор имел в виду обновить всю русскую церковь, исправить все недостатки, какие существовали в ней, и указать ей путь для правильного развития.

Царские вопросы, предложенные собору, были собственно не вопросы (за исключением весьма немногих), а указания на разные недостатки в церкви, на которые царь хотел обратить внимание собора и требовал соборного решения. Одни из вопросов кратки, но другие довольно обширны и содержат живые обличения недостатков и беспорядков. Вопросы называются царскими не потому, что они были написаны самим царём, а потому что изложены от имени царя и им предложены собору.

Царь подал святителям следующий список беспорядкам, для прекращения которых требовал их содействия:

Чтоб по церквам звонили и пели по уставу, чтоб поставлены были старосты поповские над всеми священниками; при отдаче антиминсов продажа делается большая; иконы пишутся неприлично; чтоб при даче венечных замен не было великой продажи христианству; божественные книги писцы пишут с неправильных переводов и, написав, не исправляют же, ученики участия грамоте небрежно; у владык бояре, дьяки, тиуны, десятники и неделычики судят и управу чинят не прямо, волочат и продают с ябедниками вместе, а десятники попов по сёлам продают без милости, дела сочиняют с ябедниками, а жёнки и девки, с судью по заговору, чернецов, попов и мирян обвиняют ложно в насилиях и позоре; в монастырях некоторые постригаются для покоя телесного, чтоб бражничать; архимандриты и игумены некоторые службы Божией, трапезы и братства не знают, покоят себя в келье с гостями, племянников своих помещают в монастыри и довольствуют их всем монастырским... ребята молодые (голоусые) по всем кельям живут, а братья бедные алчут и жаждут и ничем неупокоены, всё богатство монастырское держат власти со своими родственниками, боярами, гостями, приятелями и друзьями; монахи и монахини по миру бродят, монахини живут в мирских просвирнях, монахи у мирских церквей в попах живут; просвирни над просвирами приговаривают (наговаривают). Милостыню и корм годовой, хлеб, соль, деньги и одежду по богадельным избам во всех городах дают из царской казны, христороубцы также милостыню подают; но в богадельные избы вкупаются у приказчиков мужики с жёнами, а прямые нищие, больные и увечные без призора по миру ходят, монахи и монахини, попы и миряне, мужчины и женщины с образами ходят и собирают на церковное строение: иноземцы этому дивятся. В монастыри отдаются имения, а строения в монастырях никакого не прибыло и старое опустело: кто этим корыстуется? Надобно решить — прилично ли монастырям отдавать деньги в рост?

Головы и бороды бреют и платье иноверных земель носят, крестное знамение кладут не по существу; бранятся скаредными словами: и у иноверцев такое бесчиние не творится; клянутся именем Божиим во лжи. Продают давлению. Христиане приносят в церковь кутью, канун, на Велик день пасху, сыры, яйца, рыбы печёные, в иные дни калачи, пироги, блины, караваи и всякие овощи; в Новгороде и Пскове для этого устроен кутейник во всякой церкви, в Москве же всё это вносится в жертвенник и в алтарь. В монастырях монахи, монахини и миряне живут вместе. Надобно заняться выпупом пленных из басурманских рук.

Удовлетворяя царским требованиям, собор постановил о поповских старостах, в Москве: сто священников — или как число вместит — избирают себе исполненного разума духовного рачителя божественному писанию, всякими добродетелями украшенного, он избирает себе десятских, и быть у одного старосты храмам сряду, чтоб священники могли удобнее собираться для совещаний о церковных

чинах, духовных делах и о всяком благочестии. Должны устроить в Москве семь соборов и семь старост. Этим избранным старост приводят к митрополиту, который их испытывает и поучает, старосты и священники в соборном храме держат полное собрание божественных правил, с которыми старосты должны постоянно справляться. Относительно церковного благочиния и нравственности духовенства собор постановил, чтоб церковное и алтарное устройство было благообразно, чисто и непорочно: в жертвенник и алтарь отнюдь бы ничего не вносили — ни съестного, ни каких других вещей, кроме икон, крестов, священных сосудов, риз, покровов, свечей, ладана, просвир, масла и вина служебного, также, чтоб престол не был без покрова и царские двери без занавеса. У простой чади в миру дети рождаются в сорочках, и был обычай приносить эти сорочки к священникам, которые клали их на престол до шести недель: собор определил — впредь такой нечистоты и мерзости в святые церкви не приносить. Собор постановил, чтоб просвиры были вдовы после одного мужа, не моложе 50-ти лет, в добрых делах свидетельствованные, отнюдь не должны они говорить над просвирами никаких речей; чтоб монахини при мирских церквях не жили в просвирах. Чтоб звон церковный был по уставу. Чтоб священники уговаривали своих духовных детей чаще ходить в церкви, особенно по воскресеньям и господским праздникам; священники в церквях должны показывать собою пример всякой добродетели, благочестия, трезвости; также на пирах, во всенародном собрании и во всех мирских беседах священникам должно духовно беседовать и божественным писанием поучать на всякие добродетели; а праздных слов, кощунства, сквернословия и смехотворения отнюдь бы сами не делали и детям своим духовным делать запрещали, где же будут гусли, прегудники и потехи хульные, от этих игр священники должны удаляться, уходить домой, а сами на них отнюдь не дерзать; чтоб службы церковные священники отправляли чинно и в ризах. Какие меры употреблялись для исправления церковных служителей, забывавших свои обязанности, это видно из следующего рассказа новгородского летописца под 1572 годом: архиепископ Леонид велел дьяков своих певчих поставить на правёж и велел на них взять по полтине московской, за то, что не ходят в церковь к началу службы.

Относительно иконописания собор постановил: писать живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублёв и прочие пресловутые живописцы, а от своего замышления ничего не изменять. Архиепископы и епископы по всем городам и весям и по монастырям испытывают мастеров иконных и их письма сами смотрят. Относительно изображений святых во Пскове в 1540 году было любопытное происшествие: к Успеневу дню старцы, переходцы с иной земли, привезли образ св. Николая и св. Пятницы на рези в храмцах (киотах). Во Пскове таких икон на рези прежде не бывало, и многие невежественные люди поставили это за болванное поклонение: была в людях молва большая и смятение. Простые люди начали священникам говорить, а священники пошли к наместникам и дьякам с собора, что в людях большое смятение. Старцев схватили, а иконы послали к архиепископу в Великий Новгород. Владыка Макарий сам молился пред этими святыми иконами, молебен им соборно пел, честь им воздал, сам проводил до судна и велел псковичам эти иконы у старцев выменять и встречать их соборно.

На жалобу царя, что ученики учатся грамоте небрежно, собор отвечал: «Ставленников святители строго допрашивают: почему мало умеют грамоте?» — и они отвечают: «Мы учимся у своих отцов или у своим мастеров, а больше нам учиться негде». Но отцы их и мастера и сами мало умеют, тогда как прежде в Москве, Великом Новгороде и по иным городам многие училища бывали, грамоте, писать, петь и читать учили, и мы по царскому совету собором уложили: выбирать добрых священников, дьяконов и дьяков женатых, благочестивых, грамоте, читать и писать гораздых, и у них устроить в домах училища: учили б они детей со всяким духовным наказанием, более же всего учеников своих берегли и хранили во всякой чистоте и блюли их от всякого растления. В Новгороде Великом попы, дьяконы, дьяки, пономари и просвиры принимаются к церкви уличанами за большие деньги: на пономаре берут рублей 15, и иногда

20 и 30; и кто даст деньги, с тем идут к владыке всю улицу. А если владыка прийдёт к церкви по хорошему поведению и грамоте гораздого, но если этот поп больших денег уличанам не даст, то они его не примут.

По отношению к церковному управлению предложено было исправить порядок, схожий с управлением наместников и волостелей в земском деле. Владыка в своей епархии напоминал собою удельного князя. У него был совет из собственных бояр, которые управляли и судили в епархии с докладом владыке. Судьями от владыки были его наместники и десятильники; при них были недельщики и доводчики, как и в земстве. Белое духовенство и монастыри были обложены множеством разнообразных пошлин^[39], от которых некоторые освобождались по благоволению владыки. Владыки раздавали свои земли в поместья детям боярским: эти земли переходили от владельца к владельцу не по наследству, а по воле архиерея. Дети боярские были обязаны службою владыке, хотя в то же время призывались и на государственную службу. Суд у святителей, соответствующий подлежащим этому суду предметам, был двух родов: духовный — в делах, относившихся к области веры и благочестия, как над духовенством, так и над мирскими людьми, и мирской — над лицами, исключительно состоявшими в церковном ведомстве. Собор не решился отменить суда бояр и десятильников, потому что и при великих чудотворцах Пётр, Алексей и Ион были десятильники, но учредил из священников старост и десятских, которые между прочими обязанностями должны были присутствовать на суде десятильников; да кроме того, на этот суд допускались ещё и земские старосты и целовальники вместе с земским дьяком. Всякое дело писалось в двух экземплярах, и одна сторона поверяла другую. Собор обратил внимание и на книги. Издавна переводились книги с греческого языка, отчасти с латинского, переписывались старые сочинения и переводы и продавались. Как переводы, так и переписки исполнялись плохо. Тогда всё письменное без разбора относили к Церкви, и оттого-то книги отречённые и апокрифные считались по невежеству наравне с каноническими книгами священного писания, и нередко приписывалось отцам церкви то, чего те никогда не писали. Это неизбежно вело к заблуждениям. Собор устанавливал род духовной цензуры, поверяя её поповским старостам и десятским. Книгописцы состояли под их надзором. Старосты и десятские имели право посматривать и одобрять переписанные книги и отбирать из продажи неисправленные.

Относительно беспорядков в богадельных избах собор отвечал: да повелит благочестивый царь всех больных и престарелых описать по всем городам, отдельно от здоровых строев, и в каждом городе устроить богадельни мужские и женские, где больных, престарелых и неимущих куда голову подклонить, довольствоваться пищею и одеждою, а богомольцы пусть милостыню и всё потребное им приносят, да приставит к ним здоровых строев и баб стряпчих, сколько будет пригоже; священникам добрым, целовальникам или городским людям добрым смотреть, чтоб им насильства и обиды от стряпчих не было; священники должны приходить к ним в богадельни, поучать их страху Божию, чтоб жили в чистоте и покаянии, и совершать все требы.

Одним из важнейших вопросов, поднятых Стоглавым собором, был вопрос о выкупе пленнных.

С первых веков христианства выкуп пленных считался лучшим делом христианского милосердия. Св. Амвросий Медиоланский разрешил даже продажу церковных сосудов для этого святого дела, его примеру подражали многие епископы. И в древней России выкуп пленных является делом всенародного христианского милосердия. Это образовалось как из общего христианского взгляда на пленённых варварами, как на несчастных, так и из особенностей отношений России к татарам. Они с XIII по конец XVII века страшно терзали Россию. Не раз русская земля бывала вконец разоряема и поплняема ими. Татары уводили в плен всех взрослых мужчин и женщин, сколько только могли, убивая детей, стариков и слабых. Не только до XV века, но и в период с половины XI до конца XVII века невозможно было выручить наших пленных из рук их иначе, как выкупом. Пленный у татар был вдвойне несчастен: он терял свободу, общение с Церковью и её таинствами и был в постоянной опасности утратить веру христианскую. Редкий

набег татар в XVI и XVII веке (не говоря уже о предшествовавших) не оканчивался пленением нескольких тысяч русских всех сословий; иногда они уводили по 50 000 и более. Поэтому дело пленённых татарами было самое популярное в древней России. Вся Россия готова была поголовно идти на освобождение их, «душу свою положить за них». Поэтому уже в первой половине XVI века, вскоре после сложения московского государства, выкуп пленных является одним из важнейших государственных дел. Для пояснения значения и важности выкупа пленных у татар, приведём слова одного писателя XVI века о положении христианских пленных: «Корабли, приходящие к крымским татарам, из Азии привозят им оружие, одежды и лошадей, а отходят от них, нагруженные рабами. И все их рынки знамениты только этим товаром, который у них всегда под руками и для продажи, и для залога, и для подарков; и всякий из них, по крайней мере имеющий коня, даже если на самом деле нет у него раба, но, предполагая, что может достать их известное количество, обещает по контракту кредиторам своим в положенный срок заплатить за одежду, оружие и живых коней живыми же, но не конями, а людьми, и притом нашей крови. И эти обещания исполняются в точности, как будто бы наши люди были у них всегда на задворьях. Поэтому один меняла, сидя у единственных ворот Тавриды и видя беспрестанно бесчисленное множество привозимых туда пленников наших, спрашивал у нас, остаются ли ещё люди в наших странах или нет и откуда их такое множество? Те, которые посильнее из этих несчастных, часто клеймятся на лбу и на щеках и, связанные или скованные, мучаются днём на работе, ночью в темницах, и жизнь их поддерживается небольшим количеством пищи, состоящей в мясе дохлых животных, гнилом, покрытом червями, отвратительном даже для собак. Женщины, которые понежнее, содержатся иначе: некоторые должны увеселять на пирах, если умеют петь или играть... Все они с жадностью ищут себе в жёны пленниц... Перекопский Саип-Гирей родился от христианки и женат на христианке... Когда рабов выводят на продажу, то ведут их на площадь гуськом, как будто журавлей в полёте, целыми десятками, прикованных друг к другу около шеи, и продают такими десятками с аукциона, причём аукционер кричит громко, что это рабы самые новые, не хитрые, только что привезённые из народа королевского, а не московского. Московское же племя считается у них дешёвым, как коварное и обманчивое^[40]. Этот товар ценится в Тавриде с большим знанием и покупается дорого иностранными купцами для продажи — по цене ещё большей — отдалённым народам... Красивые девушки нашей крови покупаются иногда на вес золота. Это бывает во всех городах полуострова, особенно в Кафе, этой ненасытной и беззаконной пучине, пьющей нашу кровь».

Читая это, мы понимаем то одушевление, которое было в древней России к освобождению наших пленных от татар. Выкуп этот бывал и в XV веке, и, вероятно, и прежде, но как дело частного милосердия и благотворительности духовенства. В XVI веке выкуп пленных был делом дворянства и духовенства. Летописец рассказывает, что в 1535 году великий князь Иоанн Васильевич и мать его Елена прислали к новгородскому архиепископу Макарию своего сына боярского с грамотою: «Приходили в прежние лета татары на государеву Украину и грех наших ради взяли в плен детей боярских и мужей, и жён, девиц, и Господь Бог смягчил сердца иноплеменников, и они возвратили назад плен, а за то просили у государя, великого князя, серебра. И князь великий велел своим боярам серебро дати елико достоин, а христианские души из иноплеменников искупити, а государь велел владыке Макарию в ту мзду самому вкупу быти по обежному счёту, а с монастырей своей архиепископии собрать 700 рублей». Благочестивый Макарий с большою ревностью собрал деньги на это, по выражению летописца, «духовное дело», вспомянувши слова Господни: «аще злато предадим, в того место обрящем другое, а за душу человеческу несть что измены дати»? Из летописи мы видим, что дворяне платили на окуп по возможности, с архиерейских имений окуп собирался правильно, как поземельная подать («по обежному счёту»), и, наконец, богатые монастыри вносили значительные суммы по назначению царя и раскладке архиерея. Впрочем, этот сбор был случайным, временным. Между тем непрерывные пленения русских татарами делали необходимым правильную организацию выкупа. Вопрос об освобождении пленных был одним из важнейших. Вспомним, что из одной Казани было освобождено в 1551 году 60 000 наших пленных: из этого видно, какая огромная

масса православных томила в неволе у татар. Не имея надобности в таком количестве рабов, татары приводили наших пленных на окуп. Но так как дело выкупа не было ещё правильно организовано, то нередко русские, снова были отводимы в рабство. Понятно после этого, почему вопрос об освобождении пленных был предложен царём Иоанном Васильевичем Стоглавому собору наравне с другими важнейшими религиозными делами: «пленных привозят из Орды бояр и боярынь и всяких людей, а иные сами выходят должные, беспоместные, и здесь окупить нечем; а никто не окупит, и тех полоняников, мужей и жён, опять возят назад в басурманство, а и здесь над ними наругаются всякими сквернами богомерзкими. Достоить о сем уложить собор, как тем окуп чинить и в неверие не отпущати. А которые собою вышли, устрой чинить же по достоянию, елико вместили, чтоб были в покое и без слёз». Следовательно, царём было предложено два вопроса: о выкупе пленных и о приличном устройстве их. Отцы собора подали мнение только относительно первого вопроса: «Которых окупают царские послы в Ордах, в Цареграде в Крыму, в Казани или Астрахани или в Кафе, или сами откупятся, тех всех пленных окупать из царской казны. А которых пленных православных христиан окупают греки, турки, армяне или другие гости и приведут в Москву, а из Москвы захотят их опять с собою повести, то этого им не позволят, за то стоят крепко, и пленных окупать из царской же казны, и сколько этого окупа из царской казны разойдётся, и то раскинуть на сохи по всей земле, чей кто-нибудь — всем равно, потому что такое искупление общею милостиною называется». Следовательно, собор предлагал сделать выкуп делом земским, и притом постоянною посошною податью. Но когда статьи соборного постановления были посланы в Троицкий Сергиев монастырь к бывшему митрополиту Иоасафу, бывшему ростовскому архиепископу Алексию, бывшему Чуловскому архимандриту Вассиану, бывшему Троицкому игумену Ионе и всем соборным старцам, то они, утвердив все другие статьи, о выкупе пленных написали: «Окуп брать не с сохе, а с архиереев и монастырей. Крестьянам, царь-государь, и так много тягости: в своих податях, государь, покажи им милость». Из этого видно, что троицкие отцы, движимые чистейшим религиозным чувством, желали удержать за искуплением пленных характер «духовного дела», тогда как отцы Стоглавого собора решили сделать его земским, для выгоды святителей и монастырей. Мнение троицких отцов не было принято: окуп собирався согласно решению собора посошно и притом со всей земли.

Запретив остальные беспорядки, указанные царём, без особенных подробностей Стоглавый собор обратил внимание ещё на некоторые бесчинства и суеверия: «На свадьбах играют скоморохи, и как к церкви венчаться поедут, священник со крестом едет, а перед ним скоморохи с играми бесовскими рыщут. Некоторые тяжутся не прямо и, поклепав, крест целуют или образа святых, на поле бьются и кровь проливают: и в то время волхвы и чародеи помощь им оказывают. Кудесы бьют, в Аристотелевы врата и в рафли (гадательные книги) смотрят, по звёздам и планидам глядят, смотрят дней и часов, и на такие чародейства надеясь, поклепца и ябедник не мирятся, крест целуют и на поле бьются и убивают».

Запрещено мужчинам и женщинам, монахам и монахиням мыться в бане в одном месте: этот обычай указан во Пскове. «По дальним сторонам ходят скоморохи, собравшись большими ватагами до 60, 70 и до 100 человек, по деревням у крестьян силою едят и пьют, из клеток имущество грабят, а по дорогам людей разбивают. Дети боярские и люди боярские и всякие бражники зернью (карты) играют и пропиваются, ни службы не служат, не промышляют, и от них всякое зло делается: крадут, и разбивают, и души губят. По погостам и сёлам ходят лживые пророки — мужики, женщины и девицы и старые бабы, нагие и босые, волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются, и говорят, что им являются св. Пятница и св. Анастасия и велят им заповедать христианам кануны заведывать; они же заповедывают христианам в среду и пятницу ручного дела не делать, женщинам не прясть, платья не мыть, камней не разжигать. «Собор запрещает заниматься злыми ересями, которые перечисляются: рафли, шестокрыл, воронограй, острономия, задеи, альманах, звездочеты, аристотель, аристотелевы врата, и иные составы и мудрости еретические, и коби бесовские. Запрещаются языческие обычаи, ещё довольно сильные в то время. Например: на поминках

сходились мужчины и женщины на кладбищах; туда приходили скоморохи и гудцы (музыканты); справлялось веселье, шла попойка, пляска, песни. Таким весёлым днём была в особенности суббота перед Троицыным днём. В великий четверток отправлялся языческий обычай «кликать мёртвых», теперь уже совершенно исчезнувший: он сопровождался сожжением соломы. В этот же день клали трут в расщелину дерева, зажигали его с двух концов, клали в воротах домов или раскладывали там и сям перед рынком и перескакивали через огонь с жёнами и детьми. Ночь накануне рождества Иоанна Предтечи повсеместно проводилась народом в плясках и песнях: то было древнее празднество Купалы. Подобные языческие празднества указываются, кроме того, накануне Рождества Христова и Богоявления и в понедельник Петрова поста: в последний из этих дней был обычай ходить в рощу и там отправлять «бесовские потехи».

XVI

Если Стоглав знакомит нас с недостатками и пороками русского общества в XVI веке, то другое замечательное литературное произведение того времени, «Домострой», приписываемое Сильвестру, показывает нам, какую жизнь лучшие люди тогдашнего времени считали образцовой. Составитель Домостроя в поучение сыну своему собрал в одну книгу правила и наставления, которым заповедует следовать всякому желающему жить праведной жизнью. Правила эти он заимствовал из поучительных слов отцов Церкви, по преимуществу Иоанна Златоуста, присовокупив и свои замечания и наставления сыну. Он говорит своему сыну и жене его: «Даю писание на память и вразумление вам и чадам вашим. Если наказания (наставления) нашего не послушаете и не станете следовать ему, и будете творить не так, как писано, то дадите за себя ответ в день Страшного суда, а я вашему греху не причастен».

«Домострой есть зеркало, в котором мы наглядно можем изучать и раскрывать все, так сказать, подземные силы нашей исторической жизни. Это — зеркало нашего древнего домашнего быта, зеркало нашего допетровского развития, зеркало общества и общественности», — писал Забелин.

В составе Домостроя различаются пять главных отделов: 1) как веровать, 2) как чтить царя и вообще светскую власть, 3) как чтить святительский и вообще духовный чин, или духовную власть, 4) как жить в миру, или наказ о мирском строении, и 5) хозяйственный, экономический наказ о домовом строении.

Центром всех поучений Домостроя является личность родителя как главы дома, как нравственно и имущественно большого или настоящего в доме. Все другие лица дома служили как бы необходимою обстановкой, необходимым придатком этой настоящей личности. Но, непомерно возвышая и освящая в лице родителя домашнюю власть, Домострой возлагает вместе с тем на главу дома и великую нравственную обязанность строить и охранять нравы дома, а равно и великую нравственную ответственность во всём, совершающемся в доме, не только со стороны собственных чад, но и со стороны всех домочадцев. Глава дома несёт великую ответственность пред Богом за это нравственное тело, называемое домом: он один за всех должен «ответ дати в день Страшного суда». Эта священная обязанность и великая ответственность сами собою уже давали владыке дома самые полные и самые широкие, беспрекословные права поступать в доме единственно только по своей собственной воле. Пред лицом домовладыки все были детьми, не исключая и их матери, или его жены. Равновесия отношений между мужем и женой Домострой и не предчувствует; жена, с одной стороны, — первый из домочадцев, как первый и ближайший слуга мужа, на обязанности которого лежит весь домашний обиход, а с другой — она старший из детей, правая рука мужа. Муж, господарь дома, оставался единственным, несомненно, самостоятельным, полным лицом; на нём одном утверждался и союз общежития. Родительская опека, как единая нравственная сила, державшая весь строй нашего древнего общества, и помимо писаного учения, должна была водворить в умах непреложное убеждение, что воля старшего есть закон для младших.

Указав, во что должен веровать всякий православный христианин (во св. Троицу, в Пречистую Богородицу, в воскресенье мёртвых и прочее), Домострой тут же, наряду с этими догматическими основами христианской веры, даёт наставления о том, как прикладываться к образам, как есть просфору, как христосоваться. «Прикладываться ко кресту или к образу следует, помолившись, перекрестясь, дух в себе удержав, а губами не плюскать... А просфору и всё освящённое вкушать бережно с верою и со страхом, крохи наземь не уронити, а зубами не откусывать, как прочие хлебы, а уламывая кусочками, класть в рот, а есть зубами... Если с кем о Христе целование сотворить, также — дух во себе удержав, поцеловаться, а губами не плюскать...»

Домострой советует также обращаться почаще за наставлениями к духовному отцу. «Подобает чтить и повиноваться ему во всём и каяться пред ним со слезами, и исповедать ему свои грехи, и заповеди его хранить и епитимии исправлять. А призывать его к себе в дом часто и к нему приходить и извещаться ему всегда по совести, и наставление его с любовью принимать и слушаться его во всём и чтить его, бить челом ему низко, советоваться с ним часто о житейских делах, как учить и любить мужу жену свою, и чад, и раб...»

Кто не живёт благочестиво, того, по верованию предков наших, постигало Божье наказание, разные несчастья и болезни. Врачеваться от болезни Домострой советует молитвою и милостынею. «Если Бог пошлёт на кого болезнь или какую скорбь, то врачеваться Божиею милостью, да слезами и молитвою, и постом, и милостынею к нищим, да истинным покаянием... Если кого чем обидел, — отдать вдвое и впредь не обидеть, да отцов духовных, священников и монахов просить помолиться и молебны петь, и воду святить честным животворящим крестом, и маслом святиться, да по святым местам обещаться...»

Обыкновенно так и поступали наши предки, но иногда прибегали совсем к другим средствам, которые сильно порицаются в Домострое. «Видя Божие наказание на себе и болезни тяжкие за премногие грехи наши и оставя Бога, создавшего нас, и милости, и прощения грехов не требуя от Него, призываем к себе чародеев и кудесников, да волхвов, да зелейников с кореньями. От них чаем себе помощи временные и готовим себя дьяволу во веки мучиться. О, безумные! Не рассуждаем о своих грехах, за что Бог нас наказывает, не каемся в них, не оставляем всяких неподобных дел, но желаем тленного и временного».

К числу грехов, за которые постигает людей Божие наказание, относится в Домострое между прочим и следующее: песни бесовские, плясания, скакание, гудские (музыка), трубы, бубны, сопели. Восстаёт Домострой и против травли зверей, против псовых и птичьих охот, против гаданий и волхований, которые были в те времена в большом ходу. Даже смех — и тот подвергался осуждению сурового наставника. Истинно благочестивою жизнью считалась жизнь иноческая, и всё, признававшееся греховным в монастыре, считалось дурным и в мирской жизни. Уподобить своё домашнее житьё монастырскому насколько можно более составляло верх желания благочестивых людей. В зажиточных домах отдельная «храмина», уставленная образами, служила главным местом, куда собиралась семья и домочадцы для молитвы, а у богатых бояр были даже свои домовые церкви. *«В дому своём, — говорится в Домострое, — всякому христианину во всякой храмине святые и честные образа ставить на стенах, устроив боголепно место со всяким украшением и со светильниками, на которых зажигаются свечи перед образами. После молитвы и пения погашаются и завесой закрываются от нечистоты и пыли. Всегда чистым крылышком или мягкой губкою вытирать их... На славословии Божиим, и на святом пении, и на молитве свечи зажигать и кадить благовонным ладаном...»* Перед иконами в «храмине» Домострой советует мужу с женой с детьми и с домочадцами, кто грамоте умеет, ежедневно отпеть вечерню, павечерницу, полунощницу, а утром отпеть заутреню и часы, в праздничные же дни и молебен.

Но нельзя ограничиваться одною домашнею молитвою: Домострой советует как можно чаще ходить в церковь и приносить с собою по возможности свечи, ладан, просфоры и всё прочее, необходимое для богослужения. Подробно говорится и о том, как надо стоять в церкви: «В церкви стоять со страхом и с молчанием молиться... При богослужении ни с кем не беседовать, со вниманием слушать божественное пение и чтение, не озиаться, ни на стену не прекланяться, ни к столпу, ни с посохом не стоять, ни с ноги на ногу не переступать». Далее подробно указывается, о ком и о чём следует молиться, как творить крестное знамение, как складывать при этом персты, причём молящийся должен иметь «моление в устах, в сердце умиление, и сокрушение о грехах, из очей испускать слёзы, а из души воздыхание».

Домострой указывает и на важнейшие христианские обязанности — милосердие и милостыню. *«Больных и заключённых посещай, милостыню по мере возможности раздавай; всякого скорбного и нищего, и нуждающегося не презри, а введи в дом свой, напой, накорми, согрей, одень. Молитвами их*

очистишь душу свою от грехов и Бога умилиставишь. Родителей своих умерших поминай».

К высшим, священным обязанностям человека относится и уважение к царской власти. *«Царя бойся, — говорит Домострой, — и служи ему верно, и всегда о нём Бога моли, отнюдь не криви перед ним душою, но покорно всегда истину отвечай ему, как самому Богу, во всём повинуйся ему, — так научишься и Небесного Царя бояться... Также и князьям покоряйся и должную честь воздавай им. Апостол Павел говорит: все власти от Бога; кто власти противится, тот Божию повелению противится. А царю и князю, и всякому вельможе не тщи́ся служить ложью, клеветою и лукавством. Погубит Бог всех, говорящих ложь. Старейшим тебя честь воздавай; средних как братью почитай; маломощных и скорбных с любовью приветствуй; юнейших, как детей, люби и всякому созданию Божию не лих буди. Славы земной ни в чём не желай, вечных благ проси у Бога, всякую скорбь и притеснение терпи, за обиды не мсти, зла за зло не воздавай».*

Умение всем угодить, со всеми ужиться высоко ценится Домостроем: со всеми должно вести себя так, чтобы не только не возбудить ни в ком вражды к себе, не наложить себе неприятностей, но заслужить у всех расположение и доброе мнение о себе. Ради этого Домострой позволяет даже иногда и покривить душой. *«Если людям твоим случится с кем-либо поссориться, то ты брани своих, хотя бы они были и правы, — этим и ссору прекратишь, и вражды не будет».* За столом в гостях Домострой предписывает хвалить все кушанья, хотя бы они были дурны: *«Не подобает говорить: гнило или кисло, или пресно, или солоно, или горько, но следует всякое кушанье хвалить и с благодарностью вкушать».* Особенно советуется гостеприимство и хлебосольство: ласково принять гостя, хорошо угостить его считалось самой священной обязанностью. Во время пиров Домострой советует особенно бережно обращаться с гостями: надобно было не только всячески ублажать их и угощать, но и заботиться, чтобы они вследствие обильного угощения не потерпели какого ущерба. Для этого Домострой советует всякому хозяину, устраивающему пир, назначать на это время особого бережного человека (который не должен был пить): он обязан был оберегать пьяного гостя, чтобы тот не потерял чего, не избился, не побранился с кем либо из других гостей, не подрался. Предостерегая от пьянства, Домострой говорит: *«Если упьёшься допьяна и тут же уснёшь, где пил, и не доглядит за тобой хозяин, у которого на пиру не один ты, а много гостей, то можешь платье на себе изгряднить, шапку изорвать, и деньги из кошны у тебя вынут — и хозяину, у которого ты пил, кручина немалая, а тебе ещё большая, а от людей срамота, — и скажут тебе: видишь ли, каков срам и ущерб твоему имени от большого пьянства! Если же ты поедешь с пира, а на дороге уснёшь, то и того хуже: возьмут у тебя всё, что имеешь, платье снимут с тебя и рубахи даже не оставят на тебе».* *«Когда зван будешь на брак, то не упивайся допьяна и не засиживайся поздно, потому что в пьянстве и долгом сидении бывает брань, свара, бой, кровопролитие. Не говорю не пить вовсе, — нет! но говорю не упиваться: я дара Божия не хую, но хую пьющих без воздержания».*

Указывает Домострой и на правила приличия: гость не должен садиться сам, без приглашения хозяина, на почётное место, а, напротив, должен скромно сесть на последнем месте и только тогда пересесть на лучшее, когда хозяин попросит: *«За обедом — не кашлять, не плевать, не сморкаться; а если уж понадобится, то отошед в сторону, вычистить нос или откашляться вежливо; а придётся плюнуть, то сделать это, отворотясь от людей, да ногой потереть».*

В семье, по Домострою, всё должно быть вполне подчинено главе дома, хозяину. Жена, дети и слуги должны «всё творить по его приказанию». Только с разрешения мужа жена могла ходить даже в церковь, а тем более в гости; во всём она должна была спрашивать его совета не только по хозяйству, но даже о чём говорить с гостями. Чувство страха считалось главным средством к водворению семейного благочиния, и потому наказания были в большом ходу. «Если жена или сын, или дочь не слушает приказаний и наставлений и не боится, то муж или отец должен учить их уму-разуму и плетью погнать, по вине смотря и не перед людьми; а поучив, примолвить и пожаловать и никак не гневаться друг на друга. А про всякую

вину по уху и по лицу не бить, ни кулаком под сердце, ни пинком, ни посохом не колотить... Кто с сердца или с кручины так бьёт, многие притчи от того бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнет, и главоболеие, и зубная болезнь... А плетью с наказанием бить — и разумно, и больно, и страшно, и здорово... А только если великая вина — за ослушание и небрежение, то плетью вежливенько бить, за руки держа, по вине смотря, да побив и примолвить, а гнев никак бы не был».

В каждом зажиточном доме в Москве было множество слуг и домашнее хозяйство было большое и сложное: хозяйке было, чем заняться дома. Домострой представляет нам образец «порядливой хозяйки», которая для всех слуг должна была служить примером трудолюбия и усердия. Она не должна была допускать того, чтобы её будили слуги; напротив, она должна была будить их. Проснувшись с рассветом, хозяйка должна дать всем людям работу и указать порядок на весь день; причём она не только должна смотреть за другими, но и сама знать, как всякое дело делается, чтобы иметь возможность указать другим. Она не должна была и сама сидеть сложа руки. «Муж ли придёт, гостя ли обычная — всегда бы над рукоделием сидела», и с гостями беседовать ей следовало «о рукоделье и домашнем строении, как порядок вести и какое рукодельице сделать, и кто что укажет, на том низко челом бить».

Бережливость и скопидомство считаются необходимыми свойствами хорошей хозяйки. «Придётся делать рубахи или женские платья, то всё самой (хозяйке) кроить или дать при себе кроить, и всякие остатки и обрезки — всё было бы прибрано: мелкое в мешочках, а остатки сверчены и связаны, и всё было бы припрятано. Понадобится починить старое платье, — и есть куски, и не надо отыскивать материи на рынке; а если придётся по рынку искать, то устанешь, подбираючи; приберёшь, то второе заплатишь, а то и совсем не приберёшь». В другом месте говорится: «Всякое платье верхнее и нижнее должно быть вымыто, а ветхое зашито и заплатано — тогда и людям пригоже посмотреть, и себе мило и прибыльно, и сиротине можно дать во спасение души».

Такая же бережливость и предусмотрительность приписываются хозяйке и в других хозяйственных расходах: она должна знать, как муку сеять, как квашню поставить, как тесто месить, как печь хлебы, пироги, калачи и проч., и сколько выйдет чего из четверти, из осьмины, и сколько высевок, должна знать «меру и счёт во всём и беречь всё: когда хлебы печь, тогда и платье мыть, — дровами неубыточно»...

Весь сложный хозяйственный обиход богатого дома до мельчайших подробностей указан Домостроем, в некоторых списках которого в конце прибавлена даже очень подробная роспись, какие кушанья в какие дни должно подавать. Трудны были тогда обязанности хозяйки дома — жены; за то великая честь и похвала той, которая управится с ними. «Если Бог дарует кому жену добрую, дороже она камня многоценного. Жена добрая, трудолюбивая и молчаливая — венец мужу своему. Блажен муж такой жены».

Кроме хозяйства, на обязанности жён-матерей лежало и воспитание детей. Мать вскармливала своих детей. Затем старались внушить им страх Божий и дух благочестия. Дочек мать приучала к разным рукоделиям и хозяйству. Мальчиков в зажиточных семьях учили грамоте, разным «промыслам» и «вежеству» — умению обходиться с людьми. Страх наказания служил главным средством при воспитании. «Казни сына своего от юности его, и он успокоит тебя на старость твою. И не ослабей, бия младенца. Если его жезлом бьёшь, то не умрёт, но здравее будет: бия его по телу, ты душу его избавляешь от смерти. Если дочь имеешь, положи и на неё свою грозу...»

Образец благовоспитанного юноши взят в Домострое из поучения св. Василия Великого. «Юноша должен иметь душевную чистоту, походку скромную, голос умильный, речь пристойную; при старейших должен молчать, мудрейших слушать; к равным себе и меньшим любовь иметь нелицемерную, мало говорить, но много разуметь, не избыточествовать беседою, не дерзку быть на смех, стыдливостью украшаться, долу зрение иметь, горе же душу...»

Как только сын достигал совершеннолетия, родители старались женить его. Ещё более хлопотали о выдаче замуж дочерей. В Домострое мы находим такие советы относительно этого предмета:

У кого родится дочь, тому следует с первых же дней её жизни думать о приданом — отчислять в её пользу часть всякого прибытка, откладывать на её долю полотно, разные материи, дорогие украшения, утварь и проч. Так, понемногу, незаметно, без особенных лишений, «себе не в досаду», и составится приданое. «Растут дочери и страху Божию и вежеству учатся, и приданое прибывает: как замуж сговорят, всё и готово. А умрёт дочь по воле Божией, приданое пойдёт на помин её души».

За слугами Домострой советует зорко следить и не доверять им, чтобы не крали, не обманывали, но вместе с тем предписывает заботиться об них, хорошо кормить и одевать их. Через слуг нередко возникали ссоры, и потому Домострой особенно настойчиво советует предупреждать сплетни слуг. «Слугам своим заповедуй о людях не переговаривать, и если слуги были где и видели что недоброе, того не сказывали бы дома, и что дома делается, того у чужих людей не рассказывали бы. Если придётся посылать куда сына или слугу — сказать что либо или сделать, то ты вороти его и выпроси, и только когда он повторит всё перед тобою, как ты ему сказывал, тогда пошли».

Слуга пришед к дому, куда послан, у ворот должен легонько постучать, а когда пойдёт по двору и станут его спрашивать, с каким делом идёт, то слуга не должен был говорить или мог ответить любопытному: «Не к тебе послан; а к кому послан, с тем мне и говорить». У сеней слуга должен ноги отереть, нос высморкать и молитву Иисусову сотворить. Если аминя не дадут, то в другой раз сотворить молитву и в третий. Как впустят, святым иконам поклониться дважды, а третий поклон хозяину отдать и править то дело, с каким послан. Умный слуга, если где и услышит что-либо враждебное своему господину, скажет обратное; где клянут и лают, а он похвалит и благодарение поведает. От таких умных и вежливых и благоразумных слуг промеж добрых людей любовь сводится, и таких умных слуг берегут и жалуют, как детей своих, и советуются с ними обо всём.

Мы уже видели выше, что Домострой не написан и не составлен, а только записан и собран Сильвестром. Но последняя глава в Домострое, начинающаяся так: «Благословение от Благовещенского попа Сильвестра возлюбленному моему единокровному сыну Анфину», бесспорно, принадлежит самому Сильвестру. Это поучение сыну, подкреплённое собственным примером и очень напоминающее поучение Владимира Мономаха. «Сын мой, ты имеешь на себе и святительское благословение, и жалование государя царя, государыни царицы, братьев царских и всех бояр, и с добрыми людьми водишься, и со многими иноземцами большая у тебя торговля и дружба. Ты получил всё доброе: так умеи совершать о Боге, как начато при нашем попечении. Имеи веру к Богу, всё упование возлагаи на Господа, прибегаи всегда с верою к Божиим церквам: заутрени не просыпай, обедни не прогуливай, вечерни не пропивай; павечерницу, полунощницу и часы ты должен петь каждый день в своём доме; если возможно по времени, прибавишь правила, — это от тебя зависит: большую милость от Бога получишь. В церкви и дома на молитве самому, жене, детям и домочадцам стоять со страхом, не разговаривать, не озираться; читать единогласно, чисто, не вдвое. Священнический и иноческий чин почитай; повинуйся отцу духовному; в дом свой призывай священников служить молебны. В церковь приходи с милостынею и с приношением. Церковников, нищих, малолетних, бедных, скорбных, странствовавших призывай в дом свой, по силе накорми, напой, согрей, милостыню давай в дому, в торгу, на пути. Помни, сын, как мы жили: никогда никто не вышел из дому нашего тощ или скорбен. Имеи любовь нелицемерную ко всем, не осуждай никого, не делай другому, чего сам не любишь, и больше всего храни чистоту телесную да возненавидь хмельное питьё; Господа ради отвергни от себя пьянство: от него рождаются все злые обычаи. Если от этого сохранит тебя Господь, то всё благое и полезное от Бога получишь, от людей честен будешь и душе твоей просвет сотворишь на всякие добрые дела. Жену люби и в законе с ней живи; что сам делаешь, тому же и жену учи: всякому страху Божию, всякому знанию и промыслу, рукоделью и домашнему обиходу,

всякому порядку. Умела бы сама и печь и варить, всякую домашнюю порядню знала б и всякое женское рукоделье; хмельного питья отнюдь бы не любила, да и дети и слуги у ней также бы его не любили; без рукоделья жена ни на минуту бы не была, также и слуги. С гостями у себя и в гостях отнюдь бы не была пьяна, с гостями вела бы беседу о рукоделье, о домашнем порядке, о законной христианской жизни, а не пересмеивала бы, не переговаривала бы ни о ком; в гостях и дома песней бесовских и всякого срамословия ни себе, ни слугам не позволяла бы; волхвов, кудесников и никакого чарования не знала бы. Если жена не слушается, всячески наказывай страхом, не гневайся; наказывай наедине, да, наказав, примолви и жалуй и люби её. Также детей и домочадцев учи страху Божию и всяким добрым делам. Домочадцев своих одевай и корми достаточно. Ты видел, как я жил в благоговении и страхе Божии, в простоте сердца, в церковном прилежании со страхом, всегда пользуясь божественным писанием; ты видел, как я был от всех почитаем, всеми любим; всякому старался я угодить, ни перед кем не гордился, никому не прекословил, никого не осуждал, не просмеивал, не укорял, ни с кем не бранился; приходила от кого обида — терпел и на себя вину полагал: от того враги делались друзьями. Не пропускал я никогда церковного пения; нищего, странного, скорбного никогда не презрел; заключённых в темницы, пленных, должных выкупал, голодных кормил; рабов своих всех освободил и наделил, и чужих рабов выкупал. И все эти рабы наши свободны и добрыми домами живут, и молят за нас Бога, и добра хотят нам всегда. Теперь домочадцы наши все свободные живут у нас по своей воле. Видел ты, сколько я сирот, и рабов, и убогих, мужеского пола и женского, в Новгороде и Москве вскормил и воспоил до совершенного возраста, научил, кто к чему был способен: многих грамоте, писать, петь; иных иконному писанию, других книжному рукоделию; одних серебряному мастерству, других другому какому-нибудь рукоделию; некоторых выучил торговать. Также и мать твою многих девиц, сирот и бедных воспитала, выучила и, наделив, замуж отдавала; а мужчин мы поженили у добрых людей. Многие из них в священническом и дьяконском чину, в дьяках, подьячих и во всяких чинах, кто чего породился и в чём кому благоволил Бог. Во всех этих наших вскормленниках и послуживцах ни сраму, ни убытка, никакой продажи от людей, ни людям от нас, ни тяжбы ни с кем не бывало; а от кого из них досада и убытки большие бывали, то всё на себе понесено, никто того не слышал, а нам то Бог исполнил. И ты, сын, также делай: на себе всякую обиду понеси и претерпи: Бог сугубо исполнит. Гостей приезжих у себя корми; а на соседстве и с знакомыми любовно живи, о хлебе, о соли, о доброй сделке, о всякой ссуде. Поедешь куда в гости, поминки (подарки) недорогие вези за любовь. А в пути от стола подавай домохозяевам и приходящим, сажай их с собою за стол и питейца также подавай; а маломочным милостыню давай. Если так будешь делать, то везде тебя ждут и встречают, в путь провожают от всякого лиха берегут, на стану не подадут, на дороге не разобьют. Кормят вот для чего: доброго за добро, а лихого от лиха, чтоб на добро обратился. Во всём этом убытка нет: в добрых людях хлеб-соль заёмное дело, и поминки тоже, а дружба вечная и слава добрая. На дороге, в пиру, в торговле отнюдь сам брани не начинай, а кто выбранит, терпи Бога ради. Если людям твоим случится с кем-нибудь брань, то ты на своих бранись; а будет дело кручиновато, то ударь своего, хотя бы он и прав был: тем брань утолишь, также убытка и вражды не будет. Недруга напоить и накормить — то вместо вражды дружба. Вспомни великое Божие милосердие к нам и заступление от юности и до сего времени на поруку я не давал никого, ни меня никто не давал, на суде не бывал ни с кем. Видел ты сам: мастеров всяких было много, деньги давал я им на рукоделье вперёд, много было из них смутьянов и бражников: но со всеми с теми в сорок лет расстался я без остуды, без пристава, безо всякой кручины. Всё то мирено хлебом да солью, да питьём, да подачею, да своим терпением. А сам у кого что покупал, продавцу от меня милая ласка, без волокиты платёж, да ещё хлеб и соль сверх. Отсюда дружба вовек: мимо меня не продаст, худого товара не даст. Кому что продаывал, всё в любовь — не в обман; не понравится кому мой товар, назад возьму и деньги отдам, о купле и продаже ни с кем брани и тяжбы не бывало, — оттого добрые люди во всём верили, иноземцы и здешние. Никому ни в чём не солгано, ни манено, ни пересрочено; ни кабалы, ни записи на себя ни в чём не даывал, ложь никому ни в чём не

бывала. Видел ты сам, какие большие сплётки со многими людьми бывали, — да всё, дал Бог, без вражды кончалось. А ведаешь и сам, что не богатством жито с добрыми людьми: правдою да ласкою да любовью, а не гордостью, и безо всякой лжи».

Как писал истории Соловьёв: *«В этом наставлении, в этом указании на свой образ мыслей и жизни Сильвестр обнаруживается перед нами вполне. Мы понимаем то впечатление, какое должен был производить на современников подобный человек: благочестивый, трезвый, кроткий, щедрый, ласковый, услужливый, превосходный господин, любивший устраивать судьбу своих домочадцев, человек, с которым каждому было приятно и выгодно иметь дело — вот Сильвестр! Таков именно долженствовал быть этот человек: иначе мы не поймём его нравственного влияния над молодым царём, не поймём того, как простой священник мог собрать около себя остатки боярства... Несмотря на то, что наставление Сильвестра сыну, носит, по-видимому, религиозный христианский характер, нельзя не заметить, что цель его — научить житейской мудрости: кротость, терпение и другие христианские добродетели предписываются как средства для приобретения выгод житейских, для приобретения людской благосклонности. Предписывается доброе дело, и сейчас же выставляется на вид материальная польза от него; предписывается уступчивость, уклонение от вражды, и основываясь при этом, по-видимому, на христианской заповеди, Сильвестр доходит до того, что предписывает человекоугодничество, столь противное христианству «ударь своего, хотя бы он и прав был: этим брань утолишь, убытка и вражды избудешь». Вот следствие того, что христианство понято не в духе, а в плоти! Сильвестр считает добрым делом освободить рабов, хвалится, что у него все домочадцы свободны, живут по своей воле, — и в то же время считает позволительным бить домочадца, хотя бы он справедлив был: хочет исполнить форму, а духа не понимает; не понимает, что христианство, учение божественное и вечное, не имеет дела с формами преходящими, действует на дух, на его очищение, и посредством этого очищения действует уже и на улучшение форм. Что смешение чистого с нечистым, смешение правил мудрости небесной с правилами мудрости житейской мало приносит и житейской пользы человеку, видно всего лучше из примера Сильвестра. Он говорил сыну: «Подражай мне! Смотри, как я от всех почитаем, всеми любим, потому что всем уноровил». Но под конец вышло, что не всем уноровил, ибо всем уноровить — дело невозможное: истинная мудрость велит работать одному господину».*

XVII

Одним из первых дел молодого царя Иоанна Васильевича был поход под Казань.

Мы уже упоминали что вследствие торжества Крымской партии в Казани, Шиг-Алей, посаженный русским правительством, принуждён был бежать из Казани. Первым делом возвратившегося в неё Сафа-Гирея было избиение предводителей противной партии: убиты были князья Чура, Кадыш и другие. Братья Чуры и ещё человек 70 доброжелателей Москвы — или что то же Шиг-Алея — успели спастись бегством в Москву. Через несколько месяцев Горная Черемиса прислала бить челом царю Иоанну, чтоб он послал рать на Казань, а они хотят служить государю. Вследствие этого челобитья отправился в поход князь Александр Борисович Горбатый, воевал до устья Свияги и привёл в Москву 100 человек Черемисы. В конце 1547 года Иоанн решился сам выступить в поход против Казани. В декабре он выехал во Владимир, куда приказал везти за собой пушки. Они были отправлены уже в начале января следующего года с большим трудом, потому что зима была тёплая, вместо снега шёл всё дождь, и обозы и пушки тонули в грязи. В феврале сам Иоанн выступил из Нижнего Новгорода и остановился на острове Работке, в 80-ти вёрстах за Нижним. В это время наступила сильная оттепель, лёд на Волге покрылся водою, много пушек и пищалей провалилось в реку, много людей потонуло в продушинах, которых не видно было под водою. Три дня простоял царь на острове Работке, тщетно ожидая пути. Тогда, отпустив к Казани князя Димитрия Фёдоровича Бельского и приказав ему соединиться с Шиг-Алеем в устье Цивили, Иоанн возвратился в Москву в больших слезах и в великой печали, что Бог не сподобил его совершить похода. Бельский соединился с Шиг-Алеем; и они вместе подошли к Казани. На Арском поле их встретил Сафа-Гирей, но был втоптан в город передовым полком, находившимся под начальством князя Семёна Микулинского. Семь дней после того стояли воеводы подле Казани, опустошая окрестности, и возвратились, потеряв из знатных людей убитым Григория Васильевича Шереметева. Осенью казанцы напали на Галицкую волость под начальством Арака-Богатыря; но костромской наместник Яковлев поразил их на голову на берегах речки Еговки, на Гусевом поле, и убил Арака. В марте 1549 года в Москву пришла весть о смерти Сафа-Гирея.

Медлительность московского правительства в войне с Казанью во время малолетства Иоаннова, происходившая главным образом от страха перед ханом Крымским, дорого стоила пограничным областям, сильно опустошённым казанцами. Когда Казань находилась в руках Сафа-Гирея, злейшего врага русских, она, по выражению современников, «допекала Руси хуже Батыева разорения: Батый только один раз протёк русскую землю, словно горящая головня; а казанцы беспрестанно нападали на русские земли, жгли, убивали и таскали людей в плен». Набеги их сопровождались варварскими жестокостями: они выкалывали пленникам глаза, обрезали им уши и носы, обрубали руки и ноги, вешали за рёбра на железных крючьях. Русских пленников у казанцев было такое множество, что их продавали огромными толпами, словно скот, разным восточным купцам, нарочно приезжавшим для этой цели в Казань.

Смерть Сафа-Гирея, усилившая внутренние волнения в Казани, была весьма выгодна для московского царя, не говоря уже о том, что в лице его русский народ избавился от своего жесточайшего врага. Царём казанским был провозглашён двухлетний сын Сафа-Гирея, Утемиш, под опекою матери Сююн-Беки. Если Казань долгое время могла поддерживать свою независимость благодаря малолетству Иоанна, то теперь, когда Иоанн возмужал и обнаружил намерение решительно действовать против казанцев, они, понимая невыгоду своего положения, послали к Крымскому хану просить у него помощи. Но московские казаки побили послов казанских и переслали в Москву грамоты, которые те везли в Крым. Не видя помощи из Крыма, казанцы в июле 1549 года прислали к Иоанну грамоту, в которой от имени Утемиш-Гирея писали о мире. Царь отвечал, чтобы прислали к нему для переговоров добрых людей. Не дождавшись послов из

Казани, Иоанн 24 ноября сам выступил в поход с родным братом своим Юрием, оставив оберегать Москву двоюродного брата своего Владимира Андреевича, и пришёл под Казань уже в феврале 1550 года. Однако и второй поход Иоанна под Казань также не имел успеха. Приступ к городу не удался: с обеих сторон было побито множество народа; а потом сделалась распутица — настали ветры, дожди, большая слякоть [\[41\]](#). Простояв под Казанью 11 дней Иоанн вынужден был возвратиться в Москву. Впрочем, он не хотел на этот раз возвратиться совершенно ни с чем: по примеру отца, основавшего Васильсурск, он заложил на устье Свияги город Свияжск. Дьяк Иван Выродков отправился на Волгу, в Углицкий уезд, в отчину князей Ушатых, рубить лес для церквей и городских стен и везти его на судах вниз по Волге; а для поставления города отправились весною на судах царь Шиг-Алей с двумя главными воеводами — князем Юрием Булгаковым и Данилою Романовичем Юрьевым, братом царицы Анастасии. Туда же поехали с войском и казанские выходцы, которых тогда в Москве было 500 человек. Князю Петру Серебряному велено было идти из Нижнего на Казанский посад. Казаки стали на всех перевозах по Каме, Волге и Вятке, чтобы воинские люди не ездили из Казани и в Казань. Серебряный в точности и с успехом исполнил приказ: явился внезапно перед Казанским посадом, побил много людей и живых побрал, а также освободил многих русских пленников; 24 мая Шиг-Алей пришёл с воеводами на Свиягу. Тотчас начали очищать от леса место, где предположено быть городу. Когда очистили гору, то пропели молебен, освятили воду и обошли с крестами по месту будущих стен; потом обложили город и заложили церковь в честь Рождества Богородицы и во имя Чудотворца Сергия. Лесу, привезённого сверху по Волге, достало только на половину горы; другую половину приготовили тотчас же воеводы и дети боярские своими людьми. Построение города окончено было в четыре недели.

Построение города Свияжска под боком у Казани было вторым шагом к полному покорению Казанского царства, как построение Васильсурска было первым шагом. В самом деле, скоро не замедлили сказаться следствия построения нового города. Горные черемисы, то есть жившие на правом, нагорном берегу Волги, увидав, что в их земле стал русский город, начали приезжать к Шиг-Алею и воеводам с челобитием, чтобы государь простил их и велел им быть у Свияжского городка, чтобы облегчил их ясак (оброк) и дал им свою жалованную грамоту о том, как им впредь быть. Государь дал им грамоту с золотою печатью и сложил с них ясак на три года, а Шиг-Алею и воеводам приказал привести горную сторону к присяге и послать черемис войною на Казань, чтобы удостовериться в том, останутся ли они верными государю. Воеводы привели к присяге черемис, чуваш и мордву и сказали им: «Вы присягнули государю, так ступайте, покажите свою правду государю, воюйте его недруга (то есть казанцев)». Новые подданные московского государя собрались большими толпами, перевезлись на луговую (левую) сторону Волги, пришли к Казани на Арское поле и крепко бились с крымцами, вышедшими к ним навстречу. Когда же из города вывезли пушки и пищали и начали стрелять, то черемисы и чуваш дрогнули и побежали, потеряв 100 человек убитыми и 50 человек взятыми в плен. Показав верную службу русскому царю, горные люди начали ездить по 500—600 человек в Москву, где встречали ласковый приём у царя.

Построение Свияжска и отпадение горной стороны усилило в Казани московскую партию, противную крымской: «начая розниться казанцы с крымцами», говорит летопись. Крымцы, опасаясь, что казанцы при первом удобном случае могут выдать их русским, собрались, пограбили всё, что было можно, и побежали из Казани в числе 300 человек, побросав жён и детей. Они бежали вверх по Каме и вошли в Вятку. Но вятский воевода Зюзин поразил их на голову и потопил; 46 человек были взяты в плен, отосланы в Москву и там казнены смертью — «за их жестокосердие», говорит летописец. После бегства крымцев Казань очутилась в руках русской партии. И вот к Иоанну явились казанские послы с челобитием, чтобы он не велел пленить их, дал бы им на царство Шиг-Алея, а царя Утемиш-Гирея с матерью Сююн-Бекою взял к себе. Иоанн отвечал, что пожалует землю казанскую, если казанцы выдадут царя, царицу, остальных крымцев и детей и освободят всех русских пленников. Алексей Адашев отправился в Свияжск объявить

Шиг-Алею, что государь жалует ему казанское царство с луговою и арскою стороною, но горная сторона отойдёт к Свияжску, как «взятая Божиим милосердием да саблею» государя ещё до челобитья казанцев. Шиг-Алея сильно оскорбило это последнее условие; но бояре прямо объявили ему, что оно не будет изменено ни под каким видом; то же самое было объявлено и казанским вельможам, когда они начали было говорить, что землю разделять не следует. В августе (1551 года) Шиг-Алей посажен был в Казани и, согласно условию, освободил русских пленников — 60 000 человек^[42].

В Казани опять начала усиливаться партия, противная русским, вследствие тяжёлых условий, наложенных московским царём. Шиг-Алею и вельможам казанским нестерпимо было отделение горной стороны. Оставленные при Шиг-Алее, боярин Хабаров и дьяк Выродков уже в сентябре дали знать государю, что русские пленные освобождены не всё, что Шиг-Алей знает это, но не обращает на это внимания, боясь волнения. Иоанн не мог терпеть того, чтобы русские люди томились в плену в подчинённом государстве, однако он надеялся кроткими мерами, ласкою заставить Шиг-Алея и казанцев исполнить предъявленные им условия. В Казань поехали боярин князь Дмитрий Палецкий и дьяк Клобуков: они повезли царские подарки хану, ханше, князьям казанским и благодарность царю и земле казанской за службу, но вместе с тем они должны были требовать освобождения всех русских пленных, в противном случае объявить, что государь терпеть этого не будет. Между тем как Палецкий поехал в Казань с этим наказом, из Казани в Москву приехали послы с челобитьем от Шиг-Алея, чтоб государь уступил ему горную сторону; если же он не хочет уступить всей стороны, то пусть даст хотя несколько оброков с неё и, кроме того, дал бы клятву царю и земле казанской в соблюдении мира. Иоанн велел отвечать, что не уступит с горной стороны ни одной деньги, а клятву даст тогда, когда в Казани освободят русских пленников — всех до одного человека. Возвратившиеся из Казани, боярин Хабаров и дьяк Выродков сообщили, что казанцы мало освобождают пленных, куют их и прячут по ямам; а Шиг-Алей не наказывает тех, у кого найдут пленников, оправдываясь тем, что боится волнения. Ему доносят, что казанские князья ссылаются с ногами: он об этом разведает и даст знать государю. Действительно, в ноябре Шиг-Алей и князь Палецкий дали знать, что казанские князья сносятся с ногами и хотят убить Шиг-Алея и Палецкого. Узнав о заговоре, Шиг-Алей опередил заговорщиков, зазвал их к себе на пир и велел их перебить числом 70 человек, а другие разбежались.

Необходимо было предпринять новые, более действенные меры к прекращению волнений и беспорядков в беспокойной Казани. Иоанн отправил в Казань Алексея Адашева сказать Шиг-Алею: «Сам ты видишь измену казанцев — они изначала лгут государям московским, брата твоего Еналея убили, тебя самого несколько раз изгоняли и теперь хотели убить: нужно непременно, чтобы ты укрепил город русскими людьми». Шиг-Алей отвечал на это: «Прожить мне в Казани нельзя: сильно я раздосадовал казанцев — обещал я им у царя и великого князя горную сторону выпросить. Если меня государь пожалует, горную сторону даст, то мне в Казани жить можно, и, пока я жив, до тех пор Казань государю крепка (верна) будет. Если же у меня горной стороны не будет, то мне бежать к государю». Князь Палецкий и Адашев говорили ему на это: «Если тебе к государю бежать, то укрепи город русскими людьми (то есть русским войском)». Шиг-Алей не соглашался на это: «Я бусурман (мусульманин), не хочу на свою веру стать и государю изменить не хочу же; ехать мне некуда, кроме государя». Палецкий и Адашев отправились в Москву, оставив в Казани Ивана Черемисинова с отрядом стрельцов беречь Шиг-Алея от казанцев. Приехав на Свиягу, Палецкий узнал здесь, что в народе ходят слухи: придёт весна, и казанцы изменят государю; а Шиг-Алея не любят. Когда же казанцы изменят, тогда — уверяли Палецкого — и горную сторону нельзя будет удержать.

Очевидно, Казань не могла долго оставаться в таком неопределённом положении. Дело приближалось к развязке. После кровавого пира, устроенного Шиг-Алеем, ненависть к нему достигла высшей степени. Было бы очень неблагоприятно силою поддерживать ненавистного хана. Как же было

лучше поступить в этом случае? Двинуть к Казани большие полки, не дожидаясь первого движения со стороны самих казанцев, значило ускорить кровавую развязку, подвергнуть явной опасности жизнь Шиг-Алея и находившихся при нём русских стрельцов, а главное, дать казанцам полное право к восстанию; с другой же стороны, захватить город внезапно, без ведома хана, было нельзя, а хан не хотел изменить бусурманству. К счастью, сами казанцы вывели Иоанна из затруднительного положения. Ненависть к Шиг-Алею и в то же время невозможность избавиться от него, невозможность борьбы с Москвою навели казанцев на мысль предложить Иоанну полное подданство, лишь бы только он вывел от них Шиг-Алея. Смены ненавистного хана желали в особенности те враги его, которые спаслись от участи, постигшей товарищей их на пиру ханском, и которых он обещал извести. Они снеслись с казанскими послами, задержанными в Москве по просьбе Шиг-Алея (так как были из числа главных врагов его), и решили действовать через них. В январе 1552 года эти послы явились к Иоанну и объявили, что им есть приказ от казанской земли просить государя, чтобы он свёл царя Шиг-Алея и дал им в наместники своего боярина. Если же государь не согласится на это, то казанцы будут добывать себе государя из других земель. В феврале в Казань отправился опять любимец государя, Алексей Адашев, чтобы свести с царства Шиг-Алея. Адашев объявил Шиг-Алею, чтобы он пустил московских людей в город, а сам пусть просит у государя, чего хочет. Шиг-Алей отвечал по-прежнему, что «бусурманского юрта не нарушит», но уедет в Свияжск, потому что в Казани ему жить нельзя — казанцы уже послали к ногаям просить себе другого царя. Заколотив тайно несколько пушек и отправив в Свияжск пищали и порох, Шиг-Алей 6 марта выехал из Казани на озеро ловить и взял с собою многих князей, мурз, горожан и всех 500 стрельцов московских. Выехав за город, он стал говорить казанцам: «Хотели вы меня убить и били челом на меня царю и великому князю, чтобы меня свёл за то, что я над вами лихо делаю, и дал бы вам наместника. Царь и великий князь велел мне из Казани выехать, и я к нему еду и вас с собою к нему же веду, — там управимся». Этих князей и мурз, приведённых Шиг-Алеем в Свияжск, было 84 человека. В тот же день боярин князь Семён Иванович Микулинский послал в Казань двух казаков с грамотами, в которых говорилось, что по челобитью казанских князей государь царь Шиг-Алея с царства свёл и дал им в наместники его, князя Семёна, чтобы они ехали в Свияжск присягать, и когда они присягнут, тогда он поедет к ним. Казанцы отвечали, что хотят во всём исполнить волю государеву. Черемисинов, отправленный в Казань, дал знать Микулинскому, что вся земля казанская охотно присягает государю и лучшие люди едут в Свияжск. Лучшие люди действительно приехали на другой день и присягнули. После этого Микулинский отправил в Казань Черемисинова с толмачом приводить к присяге остальных людей и смотреть, нет ли какого лиха и чтобы всё было тихо, когда русские полки будут вступать в город. Ночью Черемисинов уведомил Микулинского, что всё спокойно, царский двор опоражнивают и сельские люди, дав присягу, разъезжаются по сёлам. Черемисинов писал, чтобы наместник отправлял в Казань свой лёгкий обоз с съестным и прислал с сотню казаков, потому что последние на царёвом дворце могут пригодиться на всякий случай. Наместник отпустил обоз с 70 казаками, у которых было 72 пищали. Скоро затем двинулись в Казань и бояре — князь Семён Микулинский, Иван Васильевич Шереметев и князь Пётр Серебряный. Князь Ромодановский вёл сторожевой полк в сопровождении всех тех казанцев, которых вывел Шиг-Алей. По дороге их встречали разные князья и просили их ехать в город: «А мы (говорили они) — холопы государя, всё в его воле». В Казань и из Казани ездили к воеводам дети боярские и говорили, что все люди государеву жалованью рады и что Иван Черемисинов продолжает приводить всех к присяге.

Всё шло как нельзя лучше. Без особенных усилий и помех, без кровопролития Иоанн приобретал знаменитое царство, брался уже, так сказать, рукою за венец его. Но вдруг всё переменялось неожиданно.

Дорогою трое казанских вельмож (двое князей — Ислам и Кебяк и мурза Аликей) отпросились у воевод в Казань. Приехав в Казань, они затворили город и объявили жителям, что русские непременно истребят их всех, что об этом говорил сам Шиг-Алей. Когда бояре подъехали к Казани, они были встречены

Иваном Черемисиновым, который объявил им: «До сих пор мы лиха никакого не видали; но теперь, как прибежали от вас князя и стали говорить лихие слова, то люди замешались». Бояре подъехали к Царёвым воротам — ворота затворены, а вооружённые люди бегут на стены. Тут приехали к воеводам казанские князя и стали бить челом, чтоб не кручинились: «Возмутили землю лихие люди, подождите, пока не утихнут». Бояре отправили в город двоих казацких вельмож сказать жителям: «Зачем вы изменили? Вчера и даже сегодня ещё присягали — и вдруг изменили! А мы клятву свою держим, ничего дурного вам не делаем». Посланные возвратились с таким ответом: «Люди боятся побою, а нас не слушают». Все переговоры не привели ни к чему, и бояре, видя, что ничего доброго не выйдет, велели перехватать казанских вельмож и казаков, которых вывел Шиг-Алей, а казанцы задержали у себя детей боярских, прибывших наперёд с воеводскими обозами. Простояв полтора дня под Казанью, воеводы пошли назад к Свияжску, приказав не трогать Казанского посада, чтобы с своей стороны не нарушать ни в чём крестного целования. А казанцы, послав к ногаям просить царя немедленно начать войну, стали приходить на горную сторону и отводить жителей её от Москвы. Но горные люди побили их отряд и взяли в плен двоих князей, которых привели к воеводам; по приказанию воевод пленники были казнены.

Весть об этих неожиданных и прискорбных событиях получена была царём Иоанном 24 марта, и он немедленно отправил на помощь к воеводам в Свияжск шурина своего, Данилу Романовича Захарьина-Юрьева. Шиг-Алею велено было отправиться из Свияжска в свой городок Касимов. В апреле царь созвал совет относительно решительного похода на Казань. На этом совете высказано было много разных мнений. Принимая во внимание, что война предстоит не с одними только казанцами, но также и с ногаями и с Крымом, предлагали послать под Казань воевод, а самому царю остаться в Москве. Но Иоанн объявил, что хочет отправиться в поход непременно сам, рассчитывая в таком случае на более верный успех. «Бог видит моё сердце, — говорил он, — хочу не земной славы, а покоя христиан. Возмогу ли некогда без робости сказать Всевышнему: се я и люди Тобою мне данные, если не спасу их от свирепости вечных врагов России, с которыми не может быть ни мира, ни отдохновения?» Молодой царь глубоко сознавал необходимость сразить главу Казани и потому, несмотря на все возражения бояр, решительно сказал, что пойдёт на своё дело — дело, которое он считал нравственно обязательным для себя. И так решено было отпустить водою войско, большой наряд (артиллерию), запасы для царя и всего войска, а самому государю идти полем (сухим путём), когда приспееет время.

Между тем из Свияжска пришли дурные вести, что горные люди волнуются и многие из них ссылаются с казанцами, да и во всех мало правды, большое непослушание. К довершению несчастья, в русском войске открылась ужасная болезнь — цинга, от которой умерло много детей боярских, стрельцов и казаков и которая всё ещё продолжала свирепствовать. Получив эти известия, Иоанн велел князьям Александру Борисовичу Горбатову и Петру Ивановичу Шуйскому немедленно двинуться в Свияжск. Вести, присланные ими Иоанну с места действия! были ещё менее утешительны. Горбатый и Шуйский сообщали следующее: горные люди изменили всё, пристали к Казани и сделали нападение около Свияжска на табуны воеводских стад. Воеводы посылали на них казаков, но казанцы казаков разбили, убили 70 человек и взяли пищади. Болезнь (цинга) не ослабевает: продолжает умирать много людей. От князя Михаила Глинского из Камы ехали казаки в судах на Свиягу за кормом. Казанцы всех их перебили, не дав пощады и взятым в плен 31 человеку, перебили также и всех детей боярских, приехавших наперёд в Казань с воеводскими обозами и захваченных там жителями. Наконец — сообщали Горбатый и Шуйский — казанцы уже получили от ногаев царя — астраханского царевича Едигера-Магмета: его подстерегали, но не могли схватить на пути в Казань.

Таковы были печальные известия, полученные из Свияжска. Однако Иоанн не пришёл от них в уныние и не поколебался в своей решимости. Прежде всего он счёл нужным поднять дух в свияжском войске религиозными средствами, тем более что к болезни физической там присоединилась болезнь

нравственная — сильный разврат. Из Благовещенского собора перенесены были в Успенский собор мощи святых отцов, с них освящена была вода и отправлена в Свяжск с архангельским протопопом Тимофеем, «мужем изрядным, наученным богодухновенному писанию». Вместе с освящённою водою Тимофей повёз также поучение к войску от митрополита Макария[43]. Приехавший в это время из Касимова бывший царь казанский Шиг-Алей начал советовать Иоанну не выступать в поход до зимы — во-первых, потому, что летом следует ожидать прихода других недругов, и во-вторых, потому, что казанская земля сильно укреплена природою — лесами, озёрами, болотами; зимою её легче воевать: зима будет мостом. Иоанн отвечал ему, что воеводы уже отпущены со многими ратными людьми на судах с большим нарядом и со всеми запасами; а что у казанцев леса и воды представляют великие крепости, то Бог и непроходимые места делает проходимыми и острые пути превращает в гладкие.

Приближался последний, роковой час для Казани. Иоанн непоколебимо решился уничтожить это гнездо недругов, причинявших русским так много зла. Но если Иоанн укреплялся в своём решении религиозным одушевлением и сознанием необходимости избавить свой народ от жесточайшего его врага, то и казанцы решились защищаться отчаянно: они также сознавали, что начинающаяся война должна иметь для них роковое значение, что вопрос идёт теперь для них о том, быть им или не быть. Христианский царь шёл на мусульманское царство: спасать от него Казань — вот что сделалось общим убеждением всех мусульман, вот призывный клич, раздавшийся на берегах Волги, Салгира и Яика! Отовсюду — из Астрахани, из Крыма, из Сибири, от ногайцев стекались в Казань татарские удалыцы. Астраханский царевич Едигер стал уже царём казанским. Султан турецкий Салим, главный представитель мусульман, писал к ногаям, советовал им жить в мире с Астраханью и Крымом и усердно защищать Казань от гордого русского царя, сожалея в то же время, что отдалённость мешает ему оказать ей помощь войском и оружием. Не даром современники говорили, что на защиту Казани устремлены были все силы ада.

Шестнадцатое июня было днём выступления Иоанна в поход. Он простился со своею супругою, которая в это время была беременна. Анастасия Романовна с плачем упала в объятия супруга, оставлявшего её, быть может, надолго. Стараясь быть твёрдым, Иоанн утешал её, говоря, что исполняет долг царя и не боится смерти за отечество, и поручил её материнскому попечению всех бедных и несчастных: «Милуй и благотвори без меня, даю тебе волю царскую: отвори темницы, снимай опалу с самых виновных, по твоему усмотрению, и Всевышний наградит меня за мужество, а тебя за благость». Став на колени, юная царица вслух молилась о здравии и благоденствии супруга. Затем Иоанн отправился в Успенский собор и долго молился здесь, просил митрополита и весь священный собор быть ревностными ходатаями за Россию перед Богом, утешителями Анастасии и добрыми советниками брата его Юрия, который был оставлен начальником Москвы вместе с князем Михаилом Булгаковым (незадолго до этого времени возвратившимся из неволи литовской) и митрополитом. Вышедши из церкви, царь-воин сел на коня и с своею царскою дружиною поехал на Коломну, обедал в селе Коломенском и намеревался ночевать в любимом своём селе Остове, но на дороге встретил гонца, станичника из Путивля, с вестью, что многие люди крымские идут к Украине и перешли уже Северский Донец; не было только известно, кто ведёт их — сам ли царь (Девлет-Гирей, внук Мангли-Гирея) или царевич. Иоанн несколько не был смущён и обеспокоен этой вестью и одобрял бывших с ним, говоря: «Мы не трогали хана, но если он вздумал поглотить христианство, то станем за отечество: у нас есть Бог!» 19-го числа Иоанн прибыл в Коломну, где его ожидали новые вести: идут многие люди крымские, ждут их к Рязани и к Коломне. По этим известиям государь принял меры предосторожности: послал полки на берег, приказав большому полку[44] стать под Колычевым, передовому полку — под Ростиславлем, левой руке — под Голутвиным монастырём. Посоветовавшись с Шиг-Алеем, Иоанн отправил его в Касимов; затем вместе со своим двоюродным братом, князем Владимиром Андреевичем, осмотрел своё войско на берегах Оки. Как некогда при Дмитрии Иоанновиче Донском; во время похода против Мамаю, и теперь, спустя почти два века, на лугах

Коломенских собралось до 150 000 русского войска, шедшего против тех же татар, только на этот раз уже не оборонительно, а наступательно: постыдное иго татарское давно уже было свергнуто.

Русское войско, отправлявшееся в казанский поход и находившееся под начальством самого венценосного вождя, имело следующих предводителей: большим, или главным полком (центром), предводили Иван Фёдорович Мстиславский и князь Михаил Иванович Воротынский (получивший в это время почётный титул слуги государева), передовым полком — князь Пронский-Турунтай и князь Хилков, правую руку (правым крылом) — князь Пётр Щенятев и юный князь Андрей Курбский (оставивший описание казанского похода), впоследствии столь знаменитый, левой рукой (левым крылом) — князь Микулинский и Плещеев, сторожевым полком — князь Василий Серебряный и Семён Шереметев, царскою дружиною — князь Владимир Воротынский и Иван Шереметев. К этой дружине были причислены князь Владимир Андреевич, бывший царь казанский Шиг-Алей и двое братьев Адашевых. Кроме того, в рядах воинских находились князья Шемякины, Проскуровы, Палецкие и множество других воевод. Боярин Михаил Яковлевич Морозов повёз Волгою тяжёлые огнестрельные орудия и снаряды.

Окончив смотр войска и выбрав место для битвы, Иоанн возвратился в Коломну и написал в Москву к царице и к митрополиту, что ждёт хана без страха, надеясь на милость Божию, на их молитвы и на мужество войску, и просил первосвященника московского совершать всенародные молебствия об одолении супостатов. 21 июня появился гонец из Тулы с вестью, что пришли крымцы к Туле, предводимые, как видно, царевичем. Государь послал немедленно к Туле князей: Щенятева, Курбского, Пронского, Хилкова, Воротынского, собираясь и сам выступить на другой день утром, как вдруг, в отдачу ночных часов, явился другой гонец, сообщивший, что к Туле приходило татар немного — тысяч семь, повоевали окрестности и поворотили назад. Иоанн по этим вестям отпустил только воевод, а сам приостановился. Но 23-го числа, когда он сидел за столом, прискакал гонец от тульского наместника, князя Григория Темкина, с вестью, что пришёл сам царь и приступает к городу, с ним много пушек и турецкие янычары. Иоанн велел поскорее служить вечерню (потому что никогда не нарушал церковного правила), принял благословение у епископа Феодосия, приказал всем воеводам поскорее перевозиться через Оку и сам поспешил к Кашире, где назначено было перевозиться. Но тут прискакал новый гонец и объявил, что хана уже нет у Тулы: 22 июня крымцы пришли к Туле и делали приступ целый день, били по городу из пушек огненными ядрами, и когда в городе во многих местах загорелись дворы, хан велел янычарам идти на приступ, но воевода князь Григорий Темкин, несмотря на то, что с ним было немного людей в Туле, отбил приступ. На другой день утром хан хотел готовиться к новому приступу, как пришла весть, что русский царь идёт к городу. Граждане тульские стояли на стенах всю ночь. С наступлением зари они увидели бегство татар, а с другой стороны, увидав столбы пыли, закричали: «Боже милостивый, помоги нам! Царь православный идёт!» и бросились на татар: из города вышли не только ратные люди и все мужчины, но даже женщины и дети бросились за ними. Много татар было побито в этой вылазке, и между ними шурын ханский, князь Камбирдей; и весь неприятельский огнестрельный снаряд достался в добычу русским. Хан побежал в степь; а три часа спустя явились под городом воеводы, отправленные Иоанном: они погнались за татарами, разбили их на речке Шивороне, отполонили много своих пленников, взяли телеги и верблюдов ханских. Татары, взятые в плен, рассказывали: царь (то есть хан Крымский) потому пошёл на Русь, что в Крыму сказали, будто великий князь со всеми людьми у Казани. У Рязани перехватили станичников, которые сказали, что великий князь на Коломне, ждёт царя и хочет с ним прямое дело делать (то есть вступить в решительное сражение). Царь тогда хотел возвратиться в Крым, но князья начали ему говорить: если хочет покрыть свой стыд, то у великого князя есть город Тула на поле (в степи), далеко от Коломны, за великими крепостями — за лесами. Царь послушал их совета и пошёл к Туле.

Получив эти известия, Иоанн возвратился в Коломну и послал известительные грамоты в Москву и в Свяжск о славном изгнании врага. Извещая царицу, брата и митрополита о победе, он послал в Москву

трофеи — неприятельские пушки, верблюдов и пленников, чтобы обрадовать столицу этими видимыми знаками победы. 1 июля пришли в Коломну с тульского дела воеводы и донесли государю, что, по словам станичников, хан уходит очень поспешно, делая в день по 60 и по 70 вёрст и бросая много лошадей. Избавившись так счастливо от крымцев, царь начал думать с князем Владимиром Андреевичем и со всеми воеводами, как идти на Казань. Решили идти двумя дорогами: самому государю с царскою дружиною, левою рукою и запасным полком идти на Владимир и Муром, а главных воевод отпустить на Рязань и Мещеру, чтобы они могли заслонить царя от внезапного нападения ногаев^[45], а сходитьсь всем на поле за Алатырем. Но когда надобно было уже выступать в поход, новгородские боярские дети начали бить челом, что им нельзя больше оставаться при войске: с весны они были на службе в Коломне, иные за татарами ходили и на боях бывали, а теперь ещё приходится идти в такой долгий путь и стоять там немалое время! Государю была большая скорбь от этого челобитья, останавливавшего дело в самом начале. И вот он придумал средство, оказавшееся очень действенным: он велел переписать служилых людей и повестить, что, кто хочет идти с государем, тех он хочет жаловать и будет под Казанью кормить, а кому нельзя идти, те пусть остаются в Коломне. Когда об этом было повещено в войске, все отвечали в один голос: «Готовы идти с государем: он наш промышленник и здесь и там, промыслит нам, как ему Бог известит».

3 июля всё войско тронулось из Коломны. Иоанн с сердечным умилением молился перед иконою Богородицы, бывшею с Дмитрием Донским во время Мамаева побоища и стоявшею теперь в коломенском успенском соборе. Вместе с двоюродным братом своим князем Владимиром Андреевичем он оставил Коломну и 8 июля прибыл во Владимир, где нашёл архангельского протопопа Тимофея, возвращавшегося из Свияжска с доброю вестью, что цинга там прекратилась. Помолившись у гроба святого благоверного князя Александра Невского, молитвенника перед Богом за землю русскую, Иоанн 10 июля выступил из Владимира и 13-го прибыл в Муром, где был встречен другой радостной вестью, что воеводы князь Микулинский и боярин Данила Романович ходили на горных людей и разбили их, вследствие чего горные люди по Свияге реке вниз и по Волге снова присягнули государю. Здесь же Иоанн получил известие из Москвы, что супруга его с твёрдостью и покорностью Провидению переносит разлуку, что духовенство и народ непрестанно молят Бога о здравии царя и воинства ^[46]. В Муроме царь-воин молился у мощей святого благоверного князя Петра и княгини Февронии. Отпустив вперёд себя Шиг-Алея, вызванного сюда через стольника Фёдора Ивановича Умного, на судах к Казани с князем Петром Булгаковым и стрельцами, а также князей Юрия Шемякина и Фёдора Троекурова с боярскими детьми и посошными людьми, чтоб они на речках и «ржавицах» (болотах) мосты мостили, Иоанн 20 июля оставил Муром и вслед за войском переехал Оку и ночевал в Саканском лесу, на реке Велетеме, в 30-го вёрстах от Мурома. Царь шёл частым лесом и чистым полем, и везде войско находило обильную пищу: было много всякого овощу «благовонного»; лоси, по словам летописца, как будто сами приходили на убой («яко самозванни на заколение приходядаху»); в реках множество рыбы, в лесу множество птиц. «Егда же приспе пост (успенский) и в ты дни, — продолжает тот же летописец, — не видаху ни птицы, ни лосей». Черемисы и мордва, испуганные многочисленностью русского войска, приходили к царю, отдаваясь в его волю, и приносили хлеб, мёд, мясо, что дарили, а что продавали; кроме того, делали на реках мосты для переправы. На реке Суре государя встретили послы от свияжских воевод и от горных людей и объявили, что бояре — князь Пётр Иванович Шуйский и Данила Романович ходили на остальных горных людей, и теперь уже все без исключения горные люди добились челом и приложились к Свияжскому городу. Иоанн позвал к себе на обед горных людей, обласкал их и объявил, что прощает их народу прежнюю измену, и приказал мостить мосты по рекам и расчищать тесные места по дороге. За Сурою государь соединился с воеводами, шедшими через Рязань и Мещеру. Войско русское встречало на пути своим прекрасные картины природы: с одной стороны, глазам открывались зелёные равнины, холмы, рощи, тёмные леса, с другой — величественная Волга с дикими утёсами, с живописными островами, за нею — необозримые луга и дубравы. Изредка в крутизнах и ущельях показывались чувашские селения. Жители доставляли хлеб и

мёд, питьём служила чистая вода. И никто не жаловался. Трезвость и бодрость господствовали в войске. «Хлеба сухого наядохомся со мноюю сладостью и благодарением... Черемисский хлеб сладостнее калачей обретется, занеже подвизахомся за отечество», — писал Курбский. Наконец 13-го августа русское войско прибыло в Свияжск. Духовенство с крестами и иконами, князь Пётр Шуйский и боярин Заболоцкий встретили Иоанна во вратах крепости. Он пошёл в соборную церковь, где диаконы провозгласили ему многолетие, а бояре поздравляли его как завоевателя и просветителя земли Свияжской. Осмотрев крепость, государь изъявил благодарность князю Семёну Микулинскому и другим начальникам. Для него изготовили дом, но он не вошёл в него. Сказав: «Мы в походе», — сел на коня, выехал из города и стал в шатрах на лугу Свияги.

Воеводы пришли в Свияжск как в свой дом из долгого и трудного пути: здесь почти каждого из них ожидали домашние запасы, привезённые на судах. Кроме того, сюда наехало множество купцов из Москвы, Ярославля, Нижнего с разными товарами, так что можно было всё достать.

Став под городом на лугу в шатре, царь Иоанн Васильевич начал советоваться с князем Владимиром Андреевичем, с царём Шиг-Алеем, с боярами и воеводами, как ему своим делом промыслить. На совете было решено идти к Казани не мешкая, а к казанцам послать грамоты, что если они захотят без кровопролития бить челом государю, то государь смилуется над ними. Шиг-Алею поручено было написать к родственнику его, новому казанскому царю Едигеру, чтобы он выехал из города к государю, не опасаясь ничего, и государь его пожалует. Сам Иоанн послал грамоты к главному мулле Куль-Шерифмолке и ко всей земле Казанской, «чтоб не стояли за тех, кто начал лихое дело и землю возмудил, и били ему, государю, челом», и он их простит. Эти грамоты были посланы 15 августа, а на следующий день войско уже начало перевозиться через Волгу и становиться на Казанской стороне. 18 августа сам царь переправился за Волгу. Шиг-Алей отправился на судах занять Гостиный остров, а боярин Михаил Яковлевич Морозов повёз огнестрельный снаряд, рубленые башни и тарасы или тараны — осадные машины. Несколько дней шли дожди: реки выливались из берегов, низкие луга обратились в болота. Казанцы испортили все мосты и гати, приходилось вновь устраивать дорогу. К 20 августа всё было готово, и Иоанн переправился за Казанку. Здесь он получил ответ от Едигера: в нём заключалось ругательство на христианство, на Иоанна, на Шиг-Алея и вызов на брань.

Казанцы не захотели мира, приходилось прибегнуть к оружию. Иоанн велел вынимать из судов пушки и устраивать всё, необходимое для начатия осады города. Русское войско стояло в 6-ти вёрстах от Казани на гладких весёлых лугах, расстилавшихся, подобно зелёному сукну, между Волгою и горою, где стояла Крепость. Два дня выгружали пушки и снаряды из судов. Тут явился из Казани перебежчик Камай-Мурза с семью казаками и рассказал, что их поехало 200 человек служить государю, но казанцы, узнав об этом, почти всех перехватили. Про Казань рассказывал, что царь Едигер, мурзы и муллы бить челом государю не хотят и всю землю на лихо наводят, возбуждая во всех злобу против христиан; что съестных и военных запасов в городе много; что остальное войско, которое не в городе, собрано под начальством князя Япанчи в Арской засеке, чтобы не пропускать русских людей на Арское поле и тревожить их постоянными нападениями.

Царь созвал совет, передал речи Камая и рассуждал, как идти к городу. Решено было: самому государю и князю Владимиру Андреевичу стать на Царёвом лугу, царю Шиг-Алею — за Булаком у кладбища; на Арском поле стать большому полку, передовому и удельной дружине князя Владимира Андреевича, правой руке с казаками — за Казанкою, сторожевому полку — на устье Булака, а левой руке выше его. Приказано было, чтобы во всей рати каждый воин приготовил по бревну на тын и каждый десяток воинов — по туру[47]. Отдан был также строжайший приказ, чтобы без царского повеления, а в полках без воеводского повеления никто не смел «травиться», то есть бросаться к городу. 23 августа на рассвете полки заняли назначенные им места. Царь вышел на луг против города и велел развернуть своё

знамя: на знамени был Нерукотворённый образ Спасов, а наверху крест, бывший у великого князя Димитрия на Дону. Когда отслужили молебен, царь подозвал к себе князя Владимира Андреевича, бояр, воевод, ратных людей своего полка и обратился к ним с такою речью:

«Приспело время нашему подвигу: потщитесь единодушно пострадать за благочестие, за святые церкви, за православную веру христианскую, за единокровную нашу братию — православных христиан, терпящих долгий плен, страдающих от этих безбожных казанцев; вспомним слово Христово, что нет ничего больше, как полагать души за други своя. Припадём чистыми сердцами к Создателю нашему Христу, попросим у Него избавления бедным христианам, да не предаст нас в руки врагам нашим. Не пощадите голов своих за благочестие: если умрём, то не смерть это, а жизнь; если не теперь умрём, то умрём же после, а от этих безбожных как вперёд избавимся? Я с вами сам пришёл: лучше мне здесь умереть, нежели жить и видеть за свои грехи Христа хулимого и порученных мне от Бога христиан, мучимых от безбожных казанцев! Если милосердный Бог пошлёт нам Свою милость, подаст помощь, то я рад вас жаловать великим жалованьем. А кому случится до смерти пострадать, рад я жён и детей их вечно жаловать».

Князь Владимир Андреевич отвечал от лица всего войска:

«Видим тебя, государь, тверда в истинном законе, за православие себя не щадящего и нас на то утверждающего, и потому должны мы всё единодушно помереть с безбожными этими агаряками. Дерзай, царь, на дела, за которыми пришёл! Да сбудется на тебе Христово слово: всяк просяй приемлет и толкующему отвержется».

Вслед за тем духовник царский, протопоп Андрей, благословил крестом Иоанна и всё войско. Царь сел на богато украшенного аргамака, взглянул на образ Спасителя, осенил себя крестным знамением, сказал громким голосом, чтобы все слышали: «Владыко, о Твоём имени движемся!» — и с этими словами двинулся с войском к городу.

Достопамятная осада Казани была первым правильным опытом русских в искусстве брать города, защитники Казани проявили необыкновенное мужество, отчаяние истинно великодушное, так что победа была куплена русскими весьма дорогою ценою. Вот почему осада и взятие Казани, вместе с Мамаевым побоищем, живёт и до сих пор в памяти народа как славнейший подвиг древности, как подвиг вдобавок к тому благочестиво-христианский, которым тысячи христиан были избавлены от мучителей — бусурман.

Казань была сильной крепостью, защищённой самой природой. Участник осады Казани, князь Андрей Михайлович Курбский, описывает местоположение её следующим образом: «Град Казань в великой крепости лежит: с востоку от него идёт Казань-река, а с западу Булак-речка, зело тиновата и непроходима, под самый град течёт и впадает под угольную вежу (башню) в Казань (Казанку)-реку; а течёт из озера, Кабана глаголемого, немалого, которое озеро кончится аки полверсты от града; и лишь только переправиться тую нужную речку, тогда между озером и градом лежит с Арского поля гора, зело прикрытая (высокая, крутая) и к восхождению нужная (трудная). А от той реки около града ров копан, зело глубокий, аж до езерка, речённого Поганого, еже лежит подле самую Казань-реку; а от Казани-реки гора так высока, яко оком воззрити прикро (трудно): на ней же град стоит и палаты царские и мечети зело высокие, мурованные (каменные), ид еже их умершие царие клались; числом, памятамыя (помнится мне), пять их».

За высокими крепкими стенами [\[48\]](#) с боевыми башнями, окружавшими Казань и окружёнными, в свою очередь, широким и очень глубоким рвом, скрывалось 30 000 отборного войска и 2700 ногаев. Осаждающее войско было до 150 000 человек. Главную силу его составляли стрельцы — постоянное пешее войско, учреждённое впервые царём Иоанном Васильевичем Грозным. Стрельцы были вооружены ружьями и бердышами. При русском войске было 150 пушек.

Всё предвещало, что оборона будет очень упорная.

Когда русское войско подступало к Казани, там всё казалось тихо и пусто: не заметно было никакого движения, не видно было людей на стенах. Многие радовались, думая, что царь казанский от страха бежал с войском в леса; но опытные, бывалые воеводы советовали не вдаваться в обман и иметь тем большую осторожность. Русские обступали Казань. 7000 стрельцов и пеших казаков перешли по наведённому мосту тинистый Булак и, видя перед собою (не более, как в 200 сажнях) царские палаты и каменные мечети, лезли на высоту, чтобы пройти мимо крепости к Арскому полю, — как вдруг раздался шум и крик: отворились со скрипом ворота, и 15 000 татар конных и пеших ударили на стрельцов, расстроили и сломили их. Князя Шемякин и Троекуров удержали бегущих, они сомкнулись. На помощь к нашим послано было воеводами несколько боярских детей. Началась горячая схватка. Русские, не имея конницы, стояли грудью, из оборонительного положения перешли в наступательное, бросились на неприятеля, смяли его и гнали до самых городских стен, несмотря на сильную пальбу из города, взяли пленников и медленно отступили, в виду всех наших полков, которые, спокойно идучи к назначенным для них местам, издали наблюдали за этим первым славным делом. При этом особенного удивления заслуживал небывалый порядок: во исполнение царского приказания, бились только те, кому было приказано, — из других полков никто не смел двинуться. Когда все полки заняли назначенные им места, расставлены были шатры и поставлены три полотняные церкви: во имя Архистратига Михаила, Великомученицы Екатерины и преподобного Сергия Радонежского. Ночь прошла спокойно. Но на другой день царю и войску русскому пришлось выдержать сильное, неожиданное испытание: страшная буря сломила шатры и в том числе царский шатёр; на Волге разбило много судов, причём погибло много запасов. Войско упало духом: думали, что всему конец, что осады не будет, что, не имея хлеба, должны будут удалиться со стыдом. Но царь не унывал: он послал в Свияжск и в Москву за съестными припасами, за тёплой одеждой для воинов, за серебром, объявляя твёрдое намерение зимовать под Казанью, если это окажется нужным; ездил днём и ночью кругом города, рассматривая места, где удобнее делать укрепления. Осадные работы шли безостановочно: ставили туры, снабжали их пушками; где нельзя было ставить туров, там ставили тын, так что Казань со всех сторон была окружена русскими укреплениями — ни в город, ни из города не могла пройти весть. Казанцы постоянно делали вылазки, бились отчаянно с защитниками туров, но были постоянно отбиваемы в город. И в этих схватках, по замечанию летописца, всегда падало больше бусурман, нежели русских, в чём последние видели особенный знак милости Божией и получали новое подкрепление для своего мужества.

25 августа лёгкая дружина князей Шемякина и Троекурова двинулась с Арского поля к реке Казанке выше города, чтобы отрезать его от Луговой Черемисы, соединиться с правой рукою и стать ближе к стене. Казанцы сделали вылазку. Князь Шемякин был ранен; но князь Дмитрий Хилков, главный предводитель отрядов, помог ему с детьми боярскими отбросить неприятеля в крепость. Ночью сторожевой полк и левая рука без боя и сопротивления расставили туры и пушки. Стрельцы окопались рвом, а казаки, под самой городской стеною, засели в каменной, так называемой Даировой бане. Засев здесь, стрельцы и казаки не давали казанцам всходить на стены, снимая их оттуда меткими выстрелами. 26 августа большой полк выступил перед вечером из стана: князь Воротынский шёл с пехотою и катил туры; князь Мстиславский вёл конницу, чтобы помогать ему в случае нападения. Государь дал им отборных детей боярских из собственной дружины. Казанцы ударили на них с диким воплем, а с башен и стен посыпались ядра и пули. В дыму и в огне русские отражали казанцев ружейною стрельбою, копьями и мечами, хладнокровно шли вперёд, втеснили татар в город и наполнили неприятельскими телами мосты. Казаки стали на валу, стреляли до самой ночи и дали время князю Воротынскому утвердить и насыпать землёю туры в 50-ти сажнях от рва, между Арским полем и Булаком. Тогда он велел им отступить к турам и закопаться, скрыться под ними. Но темнота не прекратила битвы: казанцы до самого утра выходили и резались с

нашими. Отдыха никому не было — ни воины, ни воеводы не смыкали глаз. Иоанн молился в церкви и ежечасно посылал своих знатнейших сановников ободрять сражающихся. Наконец неприятель утомился, и восходящее солнце осветило решительную победу русских. Государь велел петь в стане благодарственные молебны.

27 августа боярин Морозов, прикатив к турам стенобитный снаряд, открыл сильную пальбу со всех наших бойниц (баттарей); а пищальники стреляли в городе из окопов. Казанцы скрывались за стенами, но, желая проведать о положении дел в нашем войске (добыть языка), напали на русских воинов, рассеянных в поле, близ того места, где стоял князь Мстиславский с частью большого полка. Мстиславский подоспел на выручку к своим, обратил в бегство неприятеля и взял в плен знатного улана Карамыша, который был представлен государю. Пленник сообщил, что казанцы готовы умереть и не хотят слышать о мирных переговорах.

28 августа из леса на Арское поле высыпал неприятель многочисленными толпами, напал на русские полки и хотя был отражён с уроном, однако не меньший урон был и на стороне осаждающих. От пленников узнали, что это приходил князь Япанча из своей засеки. После этого Япанча не давал покоя русским своими частыми и неожиданными нападениями, наездами: появится на самой высокой городской башне большое магометанское знамя, и вот Япанча, по этому условному знаку, нападает на русских из лесу, а казанцы из всех ворот бросаются на их укрепления, и начиналась лютая сеча. Войско наше истомилось от беспрестанных вылазок, от наездов из лесу и от скудости в пище: съестные припасы вздорожали; но и сухого хлеба ратникам было некогда поесть досыта. Кроме того, почти все ночи приходилось проводить без сна, охраняя пушки, жизнь и честь свою. Наконец царь на совете с воеводами порешил отрядить большую силу, чтобы покончить с Япанчею. Воеводою над этим отрядом был назначен князь Горбатый-Шуйский («муж зело разумный и почтенный и в военных вещах свидетельствованный»). Он искусно повёл дело и привёл его к желанному концу. Имея 30 000 конных и 15 000 пеших воинов, князь Горбатый-Шуйский расположился за горами, чтобы скрыть свои движения от неприятеля, и послал отряды к Арскому лесу — завязать борьбу с неприятелем. Япанча со своими наездниками бросился на русских. Последние начали отступать к своим укреплениям. Татары подумали, что русские бегут, погнались за ними, втиснули в обоз и пускали стрелы дождём, а другие толпы, конные и пешие, шли медленно, в боевом порядке, прямо на стан главного русского войска. Тогда князь Юрий Шемякин с полком своим, готовым к бою, бросился на татар из засады. Татары были поражены такою неожиданностью, однако, находясь уже далеко от леса, должны были принять битву. Скоро явился и сам Горбатый-Шуйский с многочисленным конным отрядом; а пехота наша заходила в тыл неприятелю с правой и с левой стороны. Татары обратились в дикое бегство: их давили, секли, кололи на пространстве 15-ти вёрст до реки Килары, где главный виновник победы, князь Горбатый-Шуйский, остановил своего утомлённого коня и трубным звуком созвал рассеянных победителей. На возвратном пути русские очистили лес, в котором скрывались беглецы, и взяли несколько сот пленников. Одним словом, грозный Япанча был совершенно истреблён. Государь обнял вождей, покрытых бранною пылью, орошённых потом и кровью, хвалил их ум и доблесть, благодарил и всех воинов. Затем он велел всех пленных татар (числом 340 человек) привязать к кольям перед нашими укреплениями, чтобы они уговаривали казанцев сдаться. В то же время русские ездили около города и обещали от имени царя жизнь и свободу и всем этим узникам, и самим осаждённым, если они добровольно сдадутся. Выслушав молча это предложение, казанцы пустили град стрел в своих несчастных сограждан, закричав им: «Лучше вам умереть от нашей чистой, нежели от злой христианской руки!» Упорство казанцев привело царя в ярость, он велел всех пленников перебить перед городом.

Хотя царь, видимо, и рассчитывал на долгую осаду, но всё-таки изыскивал всякие способы ускорить взятие города. И вот 31 августа он призвал «немчина розмысла навичного градскому разорению» (то есть инженера, искусного в разорении городов) и велел ему сделать подкоп под Казань от реки Булака между

Аталаковыми и Тюменскими воротами. Потом призвал Камая-Мурзу и русских пленных, выбежавших из Казани, и спросил у них, откуда казанцы берут воду. Ему сказали, что есть у казанцев тайник (подземный ключ) в берегу реки Казанки, у Муралеевых ворот (теперь «Тайные» ворота), а ходят к нему подземным путём. Царь сперва приказал воеводам сторожевого полка, князю Василию Серебряному и Семёну Шереметеву, уничтожить тайник, но воеводы отвечали, что этого сделать нельзя, а можно подкопаться под тайник от каменной Даировой бани, занятой уже русскими казаками. Царь послал для этого Алексея Адашева и розмысла, но последнему велел для подкапывания тайника отрядить учеников, а самому надзирать за большим подкопом под город. День и ночь работали над подкопом под тайник целые пять дней; наконец подкопались под мост, куда ходили казанцы за водою; сам князь Серебряный с товарищами вошёл в подкоп и, услышав над собою голоса людей, едущих с водою, дал знать государю. Царь велел поставить под тайник 11 бочек порошу (зелия), и 4 сентября тайник взлетел на воздух вместе с казанцами, шедшими за водой; поднялась на воздух часть стены, и множество казанцев в городе было побито камнями и брёвнами, падавшими с огромной высоты. Казанцы обмерли от ужаса. Русские отряды стремительно кинулись в пролом. Многие особенно рьяные удалцы ворвались в город с громким криком, «как львы рыкали (по словам летописи), свирепо безбожных татар убивали и множество их положили». Но казанцы очнулись от страха и отразили русских. Царь на этот раз удержал войско от нового приступа. В городе распространилось уныние. Многие думали, что дольше защищаться нельзя. Но более упорные взяли верх, стали копать землю в разных местах и дорылись до нового ключа. Вода в нём была смрадная и вредная: иные болели от неё, пухли; другие воздерживались насколько могли от питья, терпели нужду, но молчали и сражались.

6 сентября был взят с большим кровопролитием острог (укрепление), построенный казанцами в 15-ти вёрстах от города на Арском поле, на горе между болотами, где соединились остатки разгромленного войска наездника Япанчи. Во главе отряда шёл князь Семён Микулинский; с ним были бояре Данила Романович и Захарий Яковлев, князья Булгаков и Палецкий, головы царской дружины, дети боярские; стрельцы, атаманы с казаками, темниковская мордва и горные черемисы, служившие проводниками. Срубленный городнями, насыпанный землёю, укреплённый засеками, острог казался неприступным. Воины сошли с коней и вслед за неустрашимыми вождями, через болото, грязную дебрь, чащу леса, под градом пускаемых на них стрел, без остановки взлезли на высоту с двух сторон, отбили ворота, взяли укрепление в 200 пленников. Тела неприятелей лежали кучами. Взяв острог, воеводы пошли к Арскому городищу, воюя и пожигая сёла. От Арского городища они возвратились к Казани другою дорогою, повоевали всю Арскую сторону, многих людей побили, жён и детей в плен взяли, а христиан многих из плена освободили. Воевали они на 150 вёрст поперёк, а в длину до самой Камы; выжгли сёла и пригнали к Казани в полки множество скота, так что корову можно было теперь купить за 10, а вола за 20 денег. Царь и войско были в большой радости.

Однако опасности в окрестностях Казани ещё не прекратились для русских. Если Арский лес не бросал уже в них стрелы, зато луговые черемисы отгоняли наши табуны и тревожили наш лагерь со стороны Галицкой дороги. Стоявшие тут воеводы правой руки ходили на них и били их наголову, но опасность новых нападений, заставляя этот полк быть постоянно настороже, утомляла его; сверх того, занимая низкие равнины вдоль Казанки, он более всех терпел от пальбы с крепости, от ненастья и от сильных дождей, весьма обыкновенных в это время года, между тем как суеверие приписывало их чародейству. Князь Курбский говорит, что на городские стены, при восходе солнца, выходили какие-то старцы и бабы и в виду русского войска творили разные чары: «вопили сатанинские слова, махали своими одеждами на русское войско и неблагочинно вертелись», — и тогда вдруг поднимался сильный ветер, собирались тучи (хотя раньше небо было совершенно ясно), лил дождь ливнем, и земля на тех местах, где стояли русские, обращалась в болото. Царю посоветовали привезти из Москвы крест с частицею Животворящего Древа.

Когда был привезён этот крест и стали совершать с ним молебствия и крестные ходы, то сила «поганных чар», по словам Курбского, прекратилась. По словам летописца, были и для русских добрые предзнаменования, предвещавшие успех. Набожные люди видели вещие сны: один видел, как святые Апостолы благословляли Казань, где должно было водвориться православие; другому св. Николай Чудотворец повелел возвестить царю, что Казань будет взята. Замечен был некоторыми какой-то чудный свет над городом, поднимавшийся столбами.

Между тем осадные работы продолжались. Дьяк Иван Выродков поставил против Царёвых ворот башню в 6 сажень вышиною, построенную тайно, вёрстах в двух за станом; внесли на неё много наряду, пищали полуторные и затинные (небольших размеров пушки). Стрельцы начали стрелять с башни в город и побивали много народу. Осаждённые укрывались в ямах, копали рвы под городскими воротами, под стенами и рыли норы под тарасами: у всяких ворот за рвами были у них большие тарасы, насыпанные землёю. Выползая из нор, как змеи, они бились беспрестанно, день и ночь, с осаждающими. Особенно жестоко бились они, не давая придвигать туров ко рву. Тем не менее, однако, князь Михаил Воротынский успел придвинуть туры к самому рву, против Арской башни и Царёвых ворот, так что между городскими стенами и русскими турами оставался один ров в 3 сажени шириною и в 7 глубиною. Придвинув туры ко рву, осаждающие разошлись обедать, оставив подле укреплений немногих людей. Заметили казанцы эту оплошность, вылезли из всех нор и из-за Тарасов и неожиданно напали на туры. Защитники последних дрогнули и побежали. Но воеводы успели выстроить полки и ударили на казанцев, которые были сбиты во рвы. Русские били их и тут, но они норами убегали в город. Это дело было одним из кровопролитнейших; и хотя туры были спасены, однако это спасение дорого стоило осаждающим, которые потеряли много убитыми и ранеными. Сам князь Воротынский получил несколько ран и спасся от смерти благодаря крепости своего доспеха. В то время как ожесточённый бой кипел против Арской башни, ногаи и казанцы сделали вылазку из Збойлевых ворот на туры передового полка и яртоула. Здесь воеводы были готовы, подпустили неприятеля к турам, ударили на него со всех сторон и поразили без всякого для себя урона.

Уже около пяти недель стояли русские под Казанью, истребив во время вылазок и в городе не менее 10 000 неприятелей, а осада грозила кончиться ещё не скоро. Наступающая осень пугала всех более, нежели трудности осады: все желали скорейшего конца. Видя, что русский огонь не причиняет большого вреда осаждённому, скрывающемуся за тарасами, царь велел сделать подкоп под эти тарасы, и как только их взорвут, придвинуть туры к самым воротам Арским и Царёвым. 30 сентября тарасы взлетели на воздух вместе с людьми; брёвнами побито множество народа в городе, остальные обеспамятели от ужаса и долго оставались в бездействии; стрелы перестали летать из Казани. Пользуясь этим временем, воеводы утвердили туры подле Царёвых, Арских и Аталыковых ворот. Наконец казанцы опомнились, выскочили из всех ворот и с ожесточением напали на русских. В это время Иоанн сам показался у города. Увидав его, русские с новым, удвоенным рвением ударили на неприятеля, схватились с ним в воротах на мостах, у стен, бились копьями и саблями, схватывались за руки. Дым от пушечной и пищальной пальбы покрыл город и сражающихся. Наконец осаждающие одолели, взобрались на стены, заняли Арскую башню, втеснили в самый город. Князь Михаил Воротынский послал сказать Иоанну, что надобно пользоваться удачею и вести общий приступ. Но остальные полки не были приготовлены к этому дню, и, по царскому приказанию, воинов вывели насильно из города. Стены, ворота и мосты были зажжены, а в Арской башне утвердились русские люди. Мосты и стены горели целую ночь, из стен сыпалась земля. Русские воеводы велели своим ратникам на занятых местах заставиться крепкими щитами, а туры засыпать землёю. Татары также работали: ставили против пробитых мест срубы и насыпали их землёю.

На другой день, 1 октября, царь велел наполнить рвы лесом и землёю, устроить мосты и бить из пушек беспрестанно: били весь день и сбили до основания городскую стену. Общий приступ назначен был на следующий день, в воскресенье, 2 октября. Во всех полках ратным людям велено было очистить душу

(исповедаться и причаститься) накануне рокового дня. Но прежде решительного приступа царь хотел в последний раз испытать действие мирных переговоров: к городу был отправлен Мурза-Камай с предложением, чтобы казанцы били челом государю; если они отдадутся в его волю и выдадут изменников, то государь простит их. Предложение было отвергнуто. Осаждённые в один голос отвечали: «Не бьём челом! На стенах Русь, на башне Русь — ничего: мы другую стену поставим — и все помрём или отсидимся!» Итак, казанцы сами решили свою участь. Услышав их ожесточённо-отчаянный ответ, Иоанн произнёс: «Премилосердный Боже! Ты видишь моё сердце, что я посылал к ним с предложением мира; они отвергли его и предпочли кровопролитие. А потому да будет эта кровь на них и на детях их!» Решено было взорвать подкопы и всеми силами ударить на город в 3 часа следующего утра. По дорогам царь велел также расставить полки, чтобы не пропускать казанцев, если они вздумают бежать из города.

В ночь с субботы на воскресенье шли приготовления. Из города видели необычайное движение в русском стане, поняли, в чём дело, и тоже готовились к последнему смертному бою.

Занялась заря. Небо было ясное, чистое. Казанцы, готовые к бою, стояли на стенах, русские — в своих укреплениях. Ни с той, ни с другой стороны не стреляли. Время от времени только звучали то там, то сям трубы и бубны, и снова наступала полная тишина. То была тишина томительная, зловещая, словно затишье перед грозой... Царь перед рассветом беседовал наедине со своим духовником, затем стал вооружаться, надевать свой юшмак (доспех), как вдруг ему почудился колокольный звон из Казани. «Слышу, — сказал царь своим приближённым, — звон как будто Симонова монастыря!» Это было принято за доброе предзнаменование. Царь пошёл к заутрене в свою походную церковь. Князь Воротынский уведомил его, что розмысл всё уже приготовил, 48 бочек порошу под город подведено, и мешкать более нельзя ни минуты, потому что из города заметили приготовления. Царь послал возвестить по всем полкам, чтобы все изготовились к бою, отпустил от себя всех воевод по их местам, велел своему полку ждать себя в урочном месте, а сам начал молиться со слезами: «Владыко Христе! Помилуй рабов Твоих. Се пришло время Твоей милости; се время — подай крепость на сопротивных, рабам Твоим, освободи сырых и пленных! Пошли Свою древнюю милость свыше, да разумеют поганные, что Ты — Бог наш, что на Тебя уповая побеждаем! И Ты, о, Пречистая Владычица и Богородица, будь помощница мне и моему воинству! Надеющееся на Тя да не посрамится в брани Твоими молитвами!»

Царь слушал обедню. Дьякон оканчивал чтение Евангелия и лишь только возгласил последние слова: «И будет едино стадо и един Пастырь», как грянул взрыв, словно гром: земля дрогнула... Царь выступил немного из церковных дверей и увидел страшное зрелище: дым и земля, взорванная порохом, затмили воздух; брёвна, камни и множество людей летели ввысь. Он вернулся в церковь, чтобы дослушать службу, и продолжал молиться ещё усерднее. Дьякон произносил ектению: О благоверном Царе и великом князе Иоанне Васильевиче и о супруге благоверной Царице и великой княгине Анастасии Романовне, о пособити и покорити под нозе его всякого врага и супостата, при последних словах разразился второй взрыв, сильнее первого. Ужасно было видеть множество истерзанных трупов и искалеченных людей, летящих в воздухе на страшной высоте! С криком «С нами Бог!» русское войско со всех сторон кинулось на город. Татары призывали на помощь Магомета и с яростью схватывались с русскими. Жестокая сеча кипела в городских воротах, в проломах и на стенах. Один из царских приближённых вошёл в церковь и сказал государю: «Государь! Время тебе ехать, уж полки ждут тебя», — «Если до конца пения дождёмся, — отвечал ему царь, — то получим от Христа совершенную милость». — Явился второй вестник. «Великое время (непременно нужно), — сказал он, — царю ехать, чтобы укрепились воины в бою, увидев его». Царь глубоко вздохнул, и слёзы полились из глаз его. «Не оставь меня, Господи Боже мой, — молился он, — и не отступи от меня, вонми в помощь мою!» Обедня уже оканчивалась. Иоанн приложился к образу чудотворца Сергия, выпил святой воды, вкусил просфоры, принял благословение у духовника и сказал духовенству: «Простите меня и благословите пострадать за

веру Христову, молитесь Бога непрестанно, помогайте нам молитвою!» Сказав это, царь сел на коня и поскакал к своему полку.

Русские знамёна уже развевались на городских стенах, когда Иоанн подъехал к городу. Присутствие царя придало ратникам новые силы. Русские ворвались в город с разных сторон. Особенно лютой бой пришлось выдержать отряду князя Курбского, который приступил к городу со стороны речки Казанки. Здесь войску приходилось взбираться на гору, где стояла высокая городская башня. Татары подпустили русских близко к стене и затем дали страшный залп из ружей; посыпались на русских и стрелы, подобно частому дождю; полетели тучами и камни, побивая рать, словно град ниву. Когда же русские с неимоверным трудом подбились к самой стене, казанцы окачивали их сверху кипящим варом, валили на них с большой высоты огромные камни и грузные брёвна. Много погибло тут русских удалцов. Несмотря на отчаянное упорство татар, русские приставили всё-таки лестницы и взбирались на стену^[49]; иные лезли в окна башни, в проломы. Выбитые из башни, сбитые со стены, татары обратили тыл.

Лишь только русские ворвались в город, как пишет Курбский, многие из них, падкие до корысти, бросились грабить дома. Да и было на что позариться: многие дома и лавки были полны золота, серебра, дорогих мехов и самоцветных камней. Иные воины, которые лежали на поле, притворившись тяжелоранеными или убитыми, вскакивали, бежали в город и принимались усердно за грабёж. Набежали в город даже кашевары и обозные люди. Казанцы заметили это и, видя, что против них стоит не особенно много русских воинов, понесли на них всю силою и стали их теснить; те начали отступать. Тогда страх обуял русских грабителей: они ударились в бегство. Иные из них не попадали в ворота и бросались с захваченным добром через стены; а другие кидали и добычу, бежали и кричали впопыхах: «Секут, секут!» Сам царь увидел бегущие толпы своих людей, сначала было упал духом; но, узнав, в чём дело, ободрился и послал половину своего полка (10 тысяч человек) на помощь бившимся в городе, а тех, что кидались на грабёж, велел беспощадно убивать. Свежее войско, вступившее в город, помогло сломить отчаянную оборону. В самом городе долго ещё кипела яростная схватка. В страшной тесноте трудно было управляться копьями и саблями — враги схватывались руками и резались ножами, попирая ногами мёртвых и раненых. Иные воины лезли на кровли домов и оттуда разили врагов. Князь Воротынский просил помощи. Царь послал пеших воинов — конным невозможно было бы и пробраться в тесноте. Самая жаркая битва кипела около мечети, в которой затворилось значительное количество татар вместе со своим главным муллою. Татары отчаянно защищали свою святыню. Когда же в жаркой схватке пал их мулла, то оставшиеся в живых кинулись на царёв двор. Царь Едигер запёрся в своём дворце и долго отбивался от русских. Наконец, видя, что тут ему не спастись, ринулся со своим отрядом к воротам, думая прорваться сквозь ряды русских из города. Но путь ему загородил отряд Курбского, а сзади напирало главное русское войско. Татары по трупам своих взобрались на башню и закричали русским, что хотят вступить с ними в переговоры. Русские перестали биться, и татары начали говорить: «Пока стоял юрт и место главное, где престол царский был, до тех пор мы бились до смерти за царя и за юрт. Теперь мы отдаём вам царя живого и здорового: ведите его к своему царю! А мы выйдем на широкое поле испить с вами последнюю чашу». Выдав царя вместе с тремя приближёнными к нему вельможами^[50], татары бросились прямо со стены на берег Казанки и хотели пробиться к реке, но, встреченные залпом из русских пушек, поворотили налево вниз, бросили доспехи, разулись и перебрали речку, в числе 6000 человек.

Войско отвечало на эту речь радостными кликами. Затем царь устроил в стане радостный пир своим сподвижникам-героям. В этот же день он отправил своего шурина, князя Данилу Романовича, в Москву с радостною вестью к супруге, митрополиту и брату Юрию.

Казань была взята, но необходимо было распорядиться относительно воинственного народонаселения, жившего в её области и находившегося в зависимости от неё. Иоанн разослал по всем улусам чёрным ясным (податным) людям жалованные грамоты, в которых писал, чтобы они шли к нему

без страха: он их пожалует, а они бы платили ему ясак, какой платили прежним казанским царям. Арские люди и луговая черемиса прислали к царю с челобитьем, изъявляя покорность. Успокоенные царскими грамотами, они возвратились в свои дома из лесов, куда попрятались после разгрома Казани.

4 октября вся Казань была очищена от трупов. Царь поехал в неё в другой раз, выбрал среди города место, водрузил на нём своими руками крест и заложил церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Отслужили молебен, освятили воду и совершили крестный ход по городским стенам. На третий день, 6 октября, заложенная церковь Благовещения была уже готова и освящена.

В тот же день царь назначил наместником в Казань большого боярина, князя Александра Борисовича Горбатого и боярина князя Василия Семёновича Серебряного, оставил с ними дворян своих больших, много детей боярских, стрельцов и казаков.

11 октября, отслушав напутственный молебен новооснованной церкви Благовещения, покоритель казанского царства выступил в обратный путь. Сам государь поехал Волгою на судах, а конная рать пошла берегом на Васильсурск с князем Воротынским. Переночевав на берегу Волги, против Гостиного острова, Иоанн 12 октября с князем Владимиром Андреевичем, с боярами и с пехотными дружинами отплыл на судах к Свияжску. В Нижнем Новгороде он был встречен на берегу Волги всеми гражданами с крестами; здесь же он встретил посланных из Москвы с поздравлением от царицы, от князя Юрия Васильевича и от митрополита. Вышедши! здесь из судов, Иоанн поехал сухим путём на Балахну во Владимир. Здесь ждала его новая радость: прискакал боярин Василий Юрьевич Траханиот с вестью о рождении первого сына, Димитрия. Государь в радости спрыгнул с коня, обнял, целовал Траханиота, плакал и, не зная, чем наградить вестника счастья, отдал ему с плеча царскую одежду и коня из-под себя. Из Владимира через Суздаль и Юрьев царь поехал в Троицкий монастырь, где прежний митрополит Иоасаф, игумен и братия встречали его с крестами. 28 октября он ночевал в селе Тайнинском, где встречен был братом Юрием и некоторыми боярами. Наконец, 29 октября, приближаясь рано утром к своей столице, Иоанн Васильевич увидел на берегу Яузы бесчисленное множество народа, так что на пространстве 6 вёрст, от реки до города, оставался только самый тесный путь для государя и его дружины. Тысячи народа встретили и сопровождали своего царя радостными кликами: «Многие лета царю благочестивому, избавителю христиан!» У Сретенского монастыря он был встречен митрополитом с крестами. Благословившись у первосвященника, Иоанн говорил ему речь, в которой излагал историю казанского похода и которая оканчивалась так: «А тебе отцу своему и богомольцу и всему освящённому собору, вместе с князем Владимиром Андреевичем и со всем войском, за ваши труды и молитвы, — потому что вашими молитвами Бог соделал такие великие чудеса, — много челом бьём». Тут царь, князь Владимир и всё войско поклонились в землю, после чего Иоанн продолжал: «И теперь вам челом бью, чтоб пожаловали, потщились молитвою к Богу о нашем согрешении и о строении земском, чтоб вашими святыми молитвами милосердый Бог милость нам Свою послал и порученную нам паству, православных христиан, сохранил во всяком благочестии и чистоте; наставил бы нас на путь спасения, от врагов невидимых соблюл, новопросвещённый град казанский по воле Его святой нам данный, сохранил во имя святое Своё и утвердил бы в нём благоверие, истинный закон христианский, и неверных бы обратил к Нему, чтоб и они вместе с нами славили великое имя Святыя Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовеки веков, аминь». Митрополит отвечал также речью, в которой прославлял милость Божию и подвиги царя, сравнивал его с Константином Великим, Владимиром Святым, Димитрием Донским, Александром Невским. Эту речь он закончил следующими словами: «Мы же, твои богомольцы, что к Богу возглаголем оза Его великие милости и дарования тебе, царю благочестивому, верному Его рабу? Скажем только: Велий еси, Господи, и чудны дела Твои, нет слов к восхвалению чудес Твоих! А тебе, царь, как возможем бить челом и какие тебе похвалы принесём? Ты с Божиею помощью избавил нас от нападений варварских, жилища их до основания разорил и бедную братию нашу освободил из плена. Скажем тебе вместе с

избавленную братиею: радуйся, благочестивый царь, и веселися, приводя их ко Христу! Здравствуй, государь наш, с царицею Анастасиею, с Богом дарованным тебе сыном, царевичем Димитрием, с братьями — Юрием Васильевичем и Владимиром Андреевичем, с своими боярами и всем войском, — здравствуй в богоспасаемом царствующем граде Москве, на всех твоих царствах и на дарованном тебе, царстве казанском, в сей год и на будущия многия, многия лета! А за твои труды, царь благочестивый, со освящённым собором и со всеми православными христианами бьём челом». И митрополит, в свою очередь, со всем духовенством и народом пали ниц пред царём и его воинством со слезами радости.

Здесь же, у Сретенского монастыря, Иоанн переоделся: снял воинские доспехи и надел одежду царскую — на голову надел шапку Мономахову, на плеча бармы, на грудь крест, и пошёл пешком за крестами в Успенский собор, а оттуда во дворец.

8, 9 и 10 ноября у царя были столы (торжественные обеды) для знатного духовенства и вельмож, и три дня раздавались дары митрополиту и владыкам и награды воеводам и воинам, начиная с князя Владимира Андреевича до последнего сына боярского: кроме вотчин, поместий и кормлений, роздано было деньгами, платьем, сосудами, доспехами, конями на 48 000 рублей (сумма по тому времени огромная).

Торжество покорения Казани достойным образом завершилось торжеством веры Христовой над двумя казанскими царями — Утемиш-Гиреем и Едигером. Первого, ещё младенца, митрополит крестил в Чудове монастыре и назвал Александром. Государь взял его к себе во дворец. Едигер сам изъявил желание сделаться христианином. Таинство св. крещения было совершено над ним на берегу Москвы реки в присутствии государя, бояр и множества народа. Восприемником новопросвещённого Симеона от купели был митрополит. Симеон-Едигер удержал титул царя, жил в Кремле в особом большом доме, имел боярина, чиновников, множество прислуги, женился на дочери знатного сановника Андрея Кутузова, Марии, и пользовался всегда расположением государя. Тогда же крестилось много казанских князей, увеличивших собою число татарских родов в русском дворянстве. *«Тогда же, — говорит летописец, — и прежде того, и потом многие от неверных крестившиеся — мужи и жёны, старые и юноши и девицы и всякого возраста, и от рода царского и княжеского, и прочих вельмож и всякого чина, и от крымских, и казанских, и астраханских, и черемисы и иных орд».*

С завоеванием Казани расширились пределы не только Русской державы, но и русской церкви.

По важности места, каким была Казань, и по важности для церкви и государства следствий, какие могло иметь обращение окружного народонаселения в христианство, положено было учредить здесь особую епархию. В 1555 году составилась в Москве собор пастырей русской церкви, на котором было положено: быть в Казани архиепископу и при нём архимандриту и игуменам, а в Свияжске только архимандриту и игуменам; в состав же новой епархии должны входить — город Казань с окрестными улусами, город Свияжск с горною стороною, город Васильсурск и вся Вятская земля. Занять открывшуюся в Казани кафедру первому судил Господь Гурию, происходившему из незнатной боярской фамилии Руготиных (он родился в Радонеже). Рукоположение Гурия в сан архипастыря из игуменов Селижарова Троицкого монастыря совершилось с великою торжественностью: в священнодействии участвовали 10 святителей и вообще до 76 освящённых лиц, кроме инодиаконов и низших клириков. 26 мая первый архиепископ казанский и свияжский отправился из Москвы в свою епархию. Это отправление было необычное, первое в русской истории: архиепископ ехал в завоёванное неверное царство распространять там христианство, утверждать нравственный порядок; вёз с собою духовенство, нужные для церкви вещи, иконы. Этот духовный поход Гурия в Казань соответствовал отправлению греческого духовенства из Византии и Корсуя для просвещения Руси христианством при Владимире; он был завершением покорения Казани — великого подвига, совершенного для торжества христианства над мусульманством. Вот почему

отправление Гурия в Казань совершилось с большим торжеством. В седьмое воскресенье после Светлого Воскресения в Успенском соборе был молебен, который служили митрополит Макарий и новый архиепископ Гурий; Крутицкий владыка Нифонт с архимандритом и игуменами святил воду над мощами. После молебна духовенство с крестом, евангелием и иконами пошло на Фроловский мост (к Фроловским, или Спасским воротам), за ним шёл царь с братьями, князьями, боярами и множеством народа. Перед Кремлем был другой молебен, после которого царь и митрополит простились с Гурием. Так как в это время за Фроловскими воротами уже было положено основание знаменитому Покровскому собору в память взятия Казани, то Гурий говорил здесь ектению, осенял крестом и кропил святою водою. Вышедши на Живой мост из Нового города, он читал Евангелие, ектению, осенял крестом и говорил молитву — сочинение митрополита Илариона русского — за царя и за всё православие. Здесь был отпуск: Гурий осенил крестом и благословил следовавший за ним народ, окропил его и город святою водою и вошёл в судно, где продолжалось пение и чтение Евангелия. Под Симоновым казанское духовенство вышло из судна и было встречено симоновским архимандритом с крестами. Здесь Гурий служил литургию, обедал и ночевал, а на другой день рано отправился в дальнейший путь — по Москве-реке, Оке и Волге. На дороге, по прибрежным погостам и большим сёлам посылал кропить святою водою храмы, места и народ. Коломенский владыка должен был в своём городе велеть объявить на торгу, чтобы весь народ шёл к молебнам и навстречу казанскому архиепископу. Встреченный владыкою с крестным ходом и всем народом, Гурий служил в Коломне литургию и обедал у владыки. Во всех других городах был ему такой же приём. По приезде в Казань, новый архиепископ обязан был поучать народ каждое воскресенье, новокрещёных всегда поучать страху Божию, к себе приучать, кормить, поить, жаловать и беречь во всем, дабы и прочие неверные, видя такое бережение и жалование, поревновали христианскому праведному закону и просветились святым крещением. В «Наказе», данном Гурию, говорится:

«Которые татары захотят креститься волею, а не от неволи, тех велеть крестить, и лучших держать у себя в епископии, поучать христианскому закону и покоить как можно; а других раздавать крестить по монастырям. Когда новокрещёные из-под научения выйдут, архиепископу звать их к себе обедать почаще, поить их у себя за столом квасом, а после стола посылать их поить мёдом на загородный двор. Которые татары станут приходить к нему с челобитьем, тех кормить и поить у себя на дворе квасом же, а мёдом поить на загородном дворе; приводить их к христианскому закону, при чём разговаривать с ними кротко, тихо, с умилением, а жестоко с ними не говорить. Если татарин дойдёт до вины и убежит к архиепископу от опалы и захочет креститься, то назад его воеводам никак не отдавать, а крестить, покоить у себя, и посоветоваться с наместниками и воеводами: если приговорят держать его в Казани, на старой его пашне и на ясаку, то держать его на старой пашне и на ясаку; а нельзя его будет держать в Казани, из опасения новой измены, то, крестив, отослать к государю. Которого татарина за какую-нибудь вину воеводы велят казнить, а другие татары придут к архиепископу бить челом о печаловании, то архиепископу посылать отпрашивать виновного и, по совету наместника и всех воевод, взять его у наместника и воевод за себя и, если можно, держать его в Казани, а если нельзя, отослать к государю. Держать архиепископу совет с наместником и воеводами: на которых татар будет у них опала невеликая, и захотят их острастить казнию, а до казни не дойдут, о таких пусть они сказывают архиепископу; и архиепископу от казни их отпрашивать, хотя ему от них и челобитья не будет. Всеми способами, как только можно, архиепископу татар к себе приучать и приводить их любовью на крещение, а страхом ко крещению никак не приводить. Услышит архиепископ безчиние в казанских и свияжских воеводах, в детях боярских и во всяких людях, или в самих наместниках, относительно закона христианского, то поучать их с умилением; не станут слушаться — говорить с запрещением; не подействует и запрещение — писать о их бесчинствах к царю. Архиепископу держать наместников казанских и свияжских честно. Если случится наместнику казанскому и воеводам обедать у архиепископа, то наместника сажать по конец стола, воевод сажать

у себя по другую сторону в большом столе, пропуская от себя места с два; архимандритов, игуменов и протопопов сажать в кривом столе; после стола подать чашу царскую архиепископу, архиепископскую чашу наместнику, наместничью архимандриту или игумену большому, а не случится такого, то архиепископу боярину. О каких царских Думных делах наместник и воевода станут советоваться с архиепископом, то ему с ними советоваться и мысль свою во всяких делах им давать, кроме одних убийственных дел; а мыслей наместника и воевод никак не рассказывать никому. Держать архиепископу у себя во дворе бережение великое от огня, — поварни и хлебни поделать в земле; мёду и пива в городе у себя на погребе не держать, держать на погребе у себя квас, а вино, мёд и пиво держать за городом на погребе. Наместнику и воеводам говорить почаще, чтоб береженьё держали от огня и от корчем великое, чтоб дети боярские и всякие люди ночью с огнём не сидели и съездов у них, ночного питья не было; да и днём бы не бражничали, по городу и в воротах держали сторожей и береженьё великое. Если архиепископ узнает, что у наместника и воевод в городе небрежно или людям насилие, то говорить об этом наместнику и воеводам дважды и трижды, чтоб так не делали; если же не послушают, то писать к государю».

Новому архиепископу назначено было по тому времени большое жалованье — деньгами 865 рублей да из казанской, свияжской и чебоксарской таможенной пошлины десятой деньги 155 рублей 11 алтын; кроме того, столовые припасы шли натурою от ржи до прямых кореньев.

Наказ относительно обращения татар в христианство был выполнен как нельзя лучше Гурием и двумя архимандритами, Германом и Варсонофием, из коих первый был преемником Гурия на архиепископии казанской: несколько тысяч магометан и язычников обращены были в христианство. Мощи всех этих троих просветителей земли казанской почивают в соборном Благовещенском храме — теперь каменном, основанном в 1562 году св. Гурием на месте первой деревянной церкви, построенной сейчас же после взятия Казани.

В память покорения Казани царь Иоанн Васильевич воздвиг в Москве, по обету, храм в честь Покрова Богоматери о девяти верхах, или главах. Этот храм, известный теперь под именем Покровского собора на Рву, или церкви Василия Блаженного, находится на Красной площади, против Спасских ворот.

На медной доске, прибитой к стене храма, вырезана следующая надпись:

«Божиим благоволением и Пречистые Богородицы милостию и всех Святых молитвами, повелением благочестивого царя и великого князя Иоанна Васильевича всея России, лета 7062 (1554) начата созиданием сия церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, да на том же основании восемь церквей: вход в Иерусалим; живоначальные троицы; иже во Святых отец наших трёх патриархов — Александра, Иоанна и Павла Нового; Святого священномученика Григория Великия Армении; Святых мученик Киприана и Устины; преподобных: Александра Свирского, Варлаама Хутынского и великого чудотворца Николая. И поставлена бысть сия святая церковь, егда сам христолюбивый царь Иоанн Васильевич всея России со всеми своими воинствы ходи на Казань и многих тамо поби и разори и град взя и царя казанского с мурзами привезе в Москву».

Другим памятником покорения Казани служит памятник над могилою воинов, убитых под Казанью. Он находится в полутора вёрстах от Казани, неподалёку от Московского тракта, на том месте, где прежде был Успенский монастырь; потом тут была часовня, а в 1812 году начат постройкою настоящий памятник, оконченный в 1823 году. Он построен по чертежу архитектора Алферова, имеет вид усечённой пирамиды, 10 квадратных сажен в основании и 10 сажен вышины, с фронтонами со всех сторон. Площадь вокруг памятника, крыльца и фронтоны выложены камнем; вершина увенчана вызолоченным крестом, а весь памятник снаружи облажен листовым железом. Внутри в углах устроены четыре кельи, а в середине — церковь во имя нерукотворённого образа Всемилоственного Спаса. Под спудом, в подземельной пещере,

устроен гроб, в котором собраны кости воинов. Этот памятник сооружён на деньги, собранные жителями Казани и отчасти пожертвованные императором Александром Благословенным.

XVIII

В Казанском царстве, по обеим сторонам Волги, западной (горной) и восточной (луговой), жили разные дикие народы: черемисы, мордва, чувашы, мотяки, башкиры, подчинявшиеся царям казанским. После падения Казани эти народы долго не хотели подчиниться московскому владычеству: нужно было ещё пять лет опустошительной войны, чтобы усмирить их. В борьбе своей с русскими они находили себе помощь у ногаев и раз даже поставили себе царём ногайского царевича; но скоро увидели, что от него мало пользы, и убили его. Воткнув его голову на кол, они, по свидетельству Курбского, говорили: «Мы было взяли тебя того ради на царство, с двором твоим, да оборонявши нас; а ты и сущие с тобою не сотворил нам помощи столько, сколько коров и волов наших поел; и ныне глава твоя да царствует на высоком коле». Наконец в 1557 году, благодаря деятельности князя Петра Шуйского, казанская земля успокоилась и вся присягнула царю Московскому.

В войне против Москвы принимали участие ногаи, подушаемые турецким султаном, который никак не мог равнодушно сносить того, что магометанские владения достаются христианам, и потому хотел, чтобы все ближайшие к Москве магометанские народы постоянно враждовали против неё. Но, к счастью, для Московского государства, эти народы не были способны к такому дружному и постоянному действию. Ногайские князья ссорились между собою, и стоило одному из них вооружиться против Москвы, как другой, враждебный ему князь начинал заискивать расположения Московского государя. Один ногайский князь, Юсуф (отец Сююнбеки), был врагом Москвы, другой, Измаилью — её союзником. Этот последний ещё до взятия Казани предлагал Иоанну овладеть Астраханью^[51], выгнать оттуда Ямгурчея и на его место посадить Дербыша, ещё прежде выгнанного из Астрахани и жившего теперь в России; после взятия Казани это предложение возобновилось. В октябре 1553 года пришли к Иоанну послы от ногаев, от мурзы Измаила и от других мурз с челобитьем, чтобы царь и великий князь оборонил их от астраханского царя Ямгурчея, послал на него свою рать и посадил в Астрахани на его месте Дербыша, а Измаил и другие мурзы будут исполнять государеву волю. Царь велел Адашеву расспросить хорошенько ногайских послов, чего они хотят, и уговориться, как действовать вместе с ними против Астрахани. Уговорились, что царь пошлёт к Астрахани воевод Волгою на судах с пушками, а Измаил будет помогать им сухим путём. Решившись овладеть Астраханью, царь, по словам летописи, имел в виду не более, как возвращение себе древнего достояния своих предков, своего древнего отечества. Когда Владимир Святой делил волости детям своим, то эту Астрахань отдал сыну своему Мстиславу. Здесь был построен храм Пречистые; здесь владели многие государи христианские, потомки св. Владимира, сродники царя Иоанна Васильевича; а потом, вследствие междоусобных браней русских государей, Астрахань перешла в руки царей ордынских.

Весною 1554 года, как прошёл лёд, 70 000 русского войска, под начальством князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина, поплыли Волгою под Астрахань; туда же отправились вятские служилые люди, под начальством князя Александра Вяземского. 29 августа, когда царь, по обычаю, праздновал в селе Коломенском день своего ангела с духовенством и боярами, от князя Пронского прискакал гонец с вестью о взятии Астрахани. Русские заняли Астрахань без малейшего сопротивления, потому что защитники её побежали при первом виде врага. Ямгурчей ускакал к Азову, отпустив жён и детей на судах к морю. Царицы с царевичами и царевнами были перехвачены, но царя тщетно искали по всем дорогам. 7 июля настигнуты были толпы астраханцев, спасавшихся бегством: часть их была побита, другие взяты в плен, причём освобождено было много русских невольников. Посадив на престол астраханский Дербыш-Алея, Пронский обязал его клятвою давать московскому государю каждый год по 40 000 алтын да по 3000 рыб; рыболовам русским царским ловить рыбу в Волге от Казани до Астрахани и до самого моря безданно и

безъявочно. Если умрёт царь Дербыш-Алей, то астраханцы не должны тогда искать себе другого царя, а должны бить челом государю: кого им государь на Астрахань пожалует, тот и будет им люб.

Осенью 1555 года Измаил прислал в Москву послов с жалобою на царя Дербыша, что он изменяет царю и великому князю и наделал много дурного ногаям: чтоб государь их от Дербыша оборонил и взял Астрахань в своё полное владение, как Казань. В марте следующего года Измаил опять дал знать в Москву, что Дербыш изменил окончательно, соединившись с крымским ханом и с враждебными России ногаями. Через несколько дней пришла весть об измене Дербыша и от Мансурова, отправленного послом в Астрахань. Немедленно отправлены были к Астрахани сухопутьем 500 казаков с атаманом Лявуком Филимоновым и Волгою стрельцы с своими головами Черемисиновым и Тетериным, казаки с атаманом Колупаевым и вятчане с головою Писемским. Атаман Ляпун Филимонов опередил их, напал на Дербыша, побил у него много людей и много взял в плен. В конце сентября, когда царь, по обыкновению, был у Троицы для празднования дня св. Сергия (25 числа), пришло донесение от Черемисинова, что, приехав в Астрахань, он нашёл город пустым: царь и люди выбежали, разогнанные атаманом Ляпуном. Дербыш побежал к Азову и не возвращался более. Астрахань была окончательно присоединена к Москве. Таким образом, устья Волги окончательно закрепились за Московским государством. Из астраханского кремля московский стрелецкий голова легко наблюдал за ногаями, которые просили только позволения кочевать безопасно под Астраханью, ловить рыбу на Волге и торговать беспрепятственно. Усобицы, не прекращавшиеся между кочевниками, ручались и за будущую безопасность этих заступных русских владений.

Грозен был воин царь наш батюшка
Первый царь Иван Васильевич:
Сквозь дремучий лес с войском-силою
Он прошёл страну татарскую,
Сие царство взял Казанское
Государство Астраханское.

С завоеванием Астрахани царь московский, недавно сделавшийся царём казанским, принял ещё титул «царя астраханского».

IX

С утверждением Московского государства в устьях Волги пред ним открылось множество мелких владений в Прикавказье. Князья этих владений ссорились между собою и терпели от крымцев. Теперь, увидав у себя в соседстве могущественное государство, они бросились к нему, кто с просьбами о союзе и свободной торговле в Астрахани, а кто и с предложением подданства.

В ноябре 1552 года, после взятия Казани, в Москву приехали двое черкесских князей с просьбою к государю — вступить за них и взять их в холопы. В августе 1555 года прибыли в Москву другие черкесские князья — Сибок с братом Ацымгуком и Тутарык, с просьбою от всей земли черкесской, чтобы государь защитил их от царей турецкого и крымского. Князь Сибок просил окрестить сына его, а Тутарык просил окрестить его самого. Летом 1557 года приезжали в Москву ещё другие черкесские князья. Двое из князей черкесских, кабардинских, Темрюк и Тизрют, прислали бить челом о помощи против шамхала Тарковского. С другой стороны, из владений шамхала и князя тюменского (с берегов Терека), пришли послы с челобитьем, чтобы государь приказал астраханским воеводам беречь их со всех сторон. Наконец ханы хивинский и бухарский присылали с великим челобитьем, чтобы государь дозволил их купцам вести торговлю в Астрахани.

В Крыму смотрели, разумеется, весьма неблагоприятно на усиление Москвы на счёт татарских царств и всеми средствами старались мешать ему. Летом 1555 года, подняв Дербыш-Алея в Астрахани против русских, Девлет-Гирей крымский вздумал попытаться напасть врасплох на московские уkraine. По обычаю — в одну сторону лук натянуть, а в другую стрелять — хан распустил слух, что идёт на черкесов. Иоанн решился предпринять наступательное движение на Крым и отправил боярина Ивана Васильевича Шереметева с 13 000 войска к Перекопи — отвлечь хана от черкес. Шереметев двинулся, но на дороге узнал, что хан вместо черкес идёт с 60 000 войска к нашим украинам. Получив об этом известие, царь отправил тотчас же в поход воевод и на третий день выступит вслед за ними и сам с князем Владимиром Андреевичем в Коломну. Когда хан узнал, что царь идёт к нему навстречу, то поворотил назад. Между тем Шереметев шёл за ханом, с которым встретился на Судбищах (в 150 вёрстах от Тулы). Хотя хан и одержал победу над Шереметевым, который был тяжело ранен, однако войско его утомилось, потеряло много убитыми и ранеными, и он с большою поспешностью ушёл в Крым, так что догнать его не было возможности.

В марте 1556 года в Москву дали знать, что хан опять собирается на московскую Украину. Царь послал дьяка Ржевского с казаками из Путивля на Днепр, а между тем стал готовиться дать отпор хану. Получив весть, что царь готов его встретить, хан поспешил возвратиться. А Ржевский подошёл под Ислам-Кермень, одним своим появлением разогнав жителей; потом поплыл дальше к Очакову, побил турок и татар и поплыл назад. Переправившись от преследовавших его крымцев на западную (литовскую) сторону Днепра, Ржевский прислал сказать государю, что хан уже больше не пойдёт к московским украинам — и потому, что боится царского войска, и потому, что в Крыму моровое поветрие.

Поход Ржевского произвёл сильное движение в литовской Украине, между малороссийскими казаками. В сентябре 1556 года в Москву явился один из казацких атаманов с челобитьем от начальника малороссийских казаков, князя Дмитрия Вишневецкого, истого казака по природе, чтобы государь принял его к себе на службу. Царь с радостью согласился на его предложение, и Вишневецкий дал клятву приехать в Москву, но прежде обещал идти воевать с крымцами, чтобы показать свою службу царю. Следствием похода Вишневецкого было то, что хан отпустил всех пленников, взятых им на бою с Шереметевым, и прислал к царю с просьбою о мире.

В конце 1558 года, зимою, крымскому хану дали знать какие-то татары из Москвы, что здесь нет никого, что царь со всеми своими силами отправился в Ливонию к Риге, Де влёт-Гирей решился даже на зимний поход, лишь бы воспользоваться благоприятным случаем и напасть врасплох на Московские уkraine. Собрав до 100 000 войска, хан отпустил его тремя отрядами на Рязань, Тулу и Каширу. Но царевич Магмет-Гирей, предводительствовавший главным отрядом, на дороге узнал, что сам Иоанн в Москве; спросив затем, где князь Вишневецкий и боярин Иван Шереметев (два человека, более других страшные крымцам), и узнав, что первый в Белёве, а другой в Рязани, поворотил назад, переморив людей и лошадей.

В начале 1559 года Иоанн отправил князя Вишневецкого с 5000 войсками на Дон и окольного Данилу Адашева с 8000 на Псёл, чтобы оттуда выплыть на Днепр и воевать крымцев. Вишневецкий близ Азова разбил 250 крымцев, пробиравшихся в Казанскую область. Действия Адашева были гораздо успешнее. Выплыв на лодках на устье Днепра, он взял два турецких корабля, высадился в Крыму, Опустошил улусы и освободил московских и литовских пленников. На татар, застигнутых врасплох, напал ужас. Хан прислал с мирными предложениями, и царь, погрозив ему, решил на время прекратить войну с Крымом, несмотря на советы близких людей покончить и с Крымом точно так же, как он покончил с Казанью и Астраханью. Иоанн отказался последовать этому совету. Наступательная война с крымским ханом, магометанским владельцем и подручником султановым, влекла к войне с Турциею, которая была тогда на самой высокой степени могущества, пред которою трепетала Европа. Иоанн видел невозможность борьбы при тогдашних средствах Московского государства. При том же ему предстояло другое важное дело: уже началась война Ливонская.

Том второй

I

Как ни многочисленны были предметы, о которых рассуждал Стоглавый собор, но догматов православной веры он почти не касался. И вот едва прошло около двух лет после Стоглавого собора, как открылась потребность в новом соборе, который должен был рассуждать преимущественно об истинах христианской веры или, точнее, защищать их против проповедников ереси жидовствующих. Эта ересь является в двояком виде: одни из её последователей, люди простые и необразованные, отвергаясь веры христианской, предпочитали ей иудейскую, принимали жидовство и иногда даже обрезывались; а другие, люди образованные, книжные, не принимали самого жидовства, но только усвоили себе воззрения жидовствующих на христианскую веру и потому отвергали все собственно христианские догматы и установления и делались религиозными вольнодумцами. Даже после окончательного осуждения этой ереси в 1504 году следы её и сочувствие ей замечались ещё в землях заволжских, между иноками вологодскими и белозерскими, и её продолжали тайно держаться многие в Москве, особенно между вельможами. Лет через 20, под влиянием отчасти нового брожения умов, проникавшего к нам с запада, ересь эта обнаружилась вновь.

В великий пост 1553 года к священнику придворного Благовещенского собора в Москве Симеону пришёл боярский сын Матвей Семёнович Башкин и умолял принять его на исповедь, а на исповеди говорил: «Ваше дело великое. Волины сея любви никто же имать, как написано, да кто душу свою положит за други своя; а вы полагаете за нас души свои и бдите о душах наших». После того Башкин приезжал к Симеону на подворье да читал беседы Евангельские и, между прочим, говорил: «Ради Бога пользуй меня духовно; надобно не только читать написанное в беседах тех, а и совершать на деле. А всё начало от вас: прежде вам, священникам, следует показать начало собою и нас научить; да тут же в Евангелии и написано: «Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем». А кому нужно быть кротким и смиренным? То всё на вас лежит — прежде вам должно творить да и нас учить». Чрез какое-то время Башкин прислал за Симеоном своего человека, и, когда Симеон приехал к Башкину, тот начал говорить: «В Апостоле написано, что весь закон заключается в словах «возлюбише искренняго своего, яко сам себе»; а мы Христовых же рабов у себя держим. Христос называет всех братиею, а у нас на них кабалы нарядные, на иных — полные, а иные беглых держат. Я благодарю Бога моего, что было у меня кабал полных, всё изодрал и держу у себя людей добровольно: кому хорошо у меня, тот живёт; а кому нехорошо, идёт себе, куда хочет. А вам, отцам, надобно посещать нас почаще и наставлять, как самим нам жить и как людей у себя держать и не томить их». Все эти речи Башкина, очевидно, не заключали в себе ничего предосудительного. Но, вероятно, он говорил многое и совсем в другом роде, потому что Симеон, когда наступил Петров пост, сказал товарищу своему по собору, известному Сильвестру: «Пришёл ко мне сын духовный необычен и великими клятвами умолил меня принять его на исповедь в великий пост; многие предлагал мне вопросы недоумённые; требует от меня поучения, а в ином и сам меня учит, и я удивился тому и весьма усомнился». Сильвестр отвечал: «Каков-то сын тот будет у тебя, а слава про него носится недобрая». Значит, про Башкина уже знали и толковали в обществе с невыгодной стороны, и Сильвестр слышал о нём от других ещё прежде. Царя не было тогда в Москве: он ездил для богомолья в Кириллов монастырь. Башкин снова пригласил к себе Симеона и показал ему Апостол, который был извощён (закапан воском) во многих местах, предлагал вопросы, а сам толковал «не по существу и развратно. Когда Симеон молвил: «Я сам того не знаю, о чём ты спрашиваешь». — Башкин отвечал: «Ты, пожалуй,

спрашивай у Сильвестра — он тебе скажет, и ты пользуй мою душу. Я знаю, что тебе самому некогда ведать того за суетою мирскою: ни днём, ни ночью покою не знаешь». Симеон передал обо всем этом Сильвестру. Скоро возвратился в Москву царь, и Сильвестр вместе с Симеоном рассказали ему всё про Башкина; а протопоп Андрей и Алексей Адашев засвидетельствовали, что и они тоже про Башкина слышали. Государь велел Симеону представить книгу Апостол, извощенную Башкиным. Башкин извощил её всю, и Симеон принёс её к церкви, где и видел книгу царь и все слышали в ней и речь, и мудрование Башкина. Но дело пришлось отложить, потому что царь, получив известие о предполагаемом набеге крымцев на Россию, поспешил в Коломну. Впрочем, отъезжая, царь велел схватить Башкина, посадить его у себя в подклет и поручил его двум иосифовским старцам, Герасиму Ленкову да Филофею Полеву. Башкин не сознавался в ереси и исповедовал себя христианином, но скоро был постигнут гневом Божиим и начал, как свидетельствуют современники, бесноваться и, извесив свой язык, долгое время кричал разными голосами и говорил «непотребная и нестройная». Потом он пришёл в разум и слышал будто бы голос: «Ныне ты исповедуешь меня Богородицею, а врагов моих, своих единомышленников, таишь». Устрашённый этим голосом, Башкин начал каяться пред своим отцом духовным. Известили митрополита, и по его приказанию Башкин «своею рукою исписа и своё еретичество, и свои единомысленники о всём подлинно». Он указал как на своих советников — на Григория и Ивана Борисовых и на других и сознался, что принял своё злое учение от аптекаря Матфея, родом Литвина, да от Андрея Хотеева — латынников, и что заволжские старцы не только «не хулили его злобы», но ещё «утверждали его в том». Сущность еретичества Башкина и его единомысленников, по его показанию, состояла в том, что они: а) хулили Господа Иисуса Христа, исповедуя Его неравным Богу Отцу; б) св. тело Его и кровь в таинстве евхаристии считали простым хлебом и вином; в) Церковь называли только собрание верных, а церкви или храмы вещественные признавали за ничто; г) отвергали вообще св. иконы и называли их идолами; д) отвергали таинство покаяния и говорили: «Как перестанет человек грешить, хотя бы и не покался пред священником, ему нет более греха»; е) предания и жития св. отцов называли баснословием; ж) вселенские соборы укоряли в гордости, говоря: «Всё писали они для себя, чтоб им владеть всем — и царским, и святительским». Возвратившись в Москву и узнав, в чём состояла ересь Башкина, государь «содрогулся душою» и велел схватить единомышленников его и созвать на них собор. Оказалось, что этих единомышленников было весьма много, особенно между заволжскими старцами-пустынниками. Тогда митрополит русский, «за повелением царёвым, повелел оных ругателей везде имати, хотягце истязати их о расколах их, ими ж Церковь возмущали, и где елико аще обретено их, везде имако и провожено до места главного московского, паче же от пустынь Завольских: бо и там прозябоша оная ругания». В Москве единомышленников Башкина размещали по монастырям и подворьям и несколько раз допрашивали на очных ставках с ним ещё до открытия собора.

Собор открылся в октябре 1553 года в царских палатах. На нём присутствовал и сам царь с своими братьями и со всеми боярами. На соборе Башкин вновь исповедал свои заблуждения, каялся в них и начал обличать своих единомышленников с очей на очи. Сам государь «начать их испытывати премудре», но они, хотя убоялись царя, так крепко поборавшего по благочестию, однако ж запирались и не сознавались. Только некоторые из них сказали сами на себя, что они не поклонялись св. иконам и положили зарок и впредь им не поклоняться. К изумлению, один из числа самих святителей, Кассиан рязанский, начал поборать за еретиков и особенно за своего старца, Исаака Белобаева, приведённого на собор из дальней пустыни Соловецкого острова, за что и подвергся небесной казни: у него отнялись рука, нога и язык, и он, расслабленный, оставил свою епископию и отошёл в монастырь.

Собор признал Башкина виновным. Дальнейшая участь его неизвестна; соумышленников же его сослали по монастырям на вечное заточение, «да не сеют злобы своего роду человеческому».

К делу Башкина привлечён был Троицкий игумен Артемий. До игуменства своего Артемий жил в

Псковском Печерском монастыре, потом поселился в какой-то Белозерской пустыни и оттуда вызван был в Москву. Здесь царь велел ему остановиться в Чудовской обители, а священнику Сильвестру поручил присмотреться к нему, поиспытать его. И когда Сильвестр нашёл, что Артемий имеет «довольно книжного учения и исполнен доброго нрава и смирения», то он поставлен был в игумена к Троице (в 1551 году). У Артемия был ученик Порфирий, который в качестве старца-странника не раз приходил для духовной беседы к Благовещенскому священнику Симеону. Последний, заметив, что Порфирий «от писания говорит недобро», передал всё слышанное Сильвестру. Сильвестр пригласил странника к себе и во время неоднократной беседы с ним заметил то же самое и свои сомнения пересказал царю. Царь обратил внимание на самого Артемия и начал примечать «вся слабостная учения» Порфирия и в его учителе. Но Артемий скоро оставил игуменство «за свою совесть» и отошёл в пустыню. Когда начались розыскания по поводу ереси Башкина, тогда приведён был в Москву из своей пустыни и Артемий вместе с учеником своим Порфирием и другими старцами. Артемию было сказано, будто он вызывается для того, чтобы «говорить книгами» или состязаться с Башкиным; но, услышав в Москве, что Башкин указывает и на него, как на своего сообщника, тайно бежал из Андроникова монастыря, где был помещён, в свою Белозерскую Порфириеву пустынь. Его, однако, вновь взяли оттуда и представили на собор. Здесь прежде всех выступил против него сам Башкин и как письменно, так и словесно свидетельствовал, что Артемий изрекал хулы на поклонение св. иконам, на таинство евхаристии, на предания св. отцов и многие другие. Но Артемий ни в чём не сознался и на все убеждения митрополита покаяться отвечал: «Я так не мудрствую; я верую во Отца и Сына и Св. Духа, в Троицу единосущную». Кроме Башкина, ещё 6 свидетелей, один за другим, говорили против Артемия. Собственный его келейник и ученик Леонтий рассказал только, как Артемий бежал тайно из Андроникова монастыря в свою пустынь. Артемий сознался, что бежал от наветующих, будто он не истинствует в христианском законе; самих же наветующих, несмотря на неоднократные допросы, не поименовал. И собор поставил Артемию в вину его тайное бегство из Москвы.

По-видимому Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только, что Матвей делает ребячество. «Меня (говорил он) призвали судить еретиков, а еретиков нет?» «Как же, Матвей не еретик, — сказал митрополит, — когда он написал молитву Единому Началу — Богу Отцу, а Сына и Святого Духа оставил?» — «Нечего ему и врать, — сказал Артемий, — такая молитва готова — молитва Манассии к Вседержителю». — «То было до Христова пришествия, — отвечали ему, — а теперь кто напишет молитву к Единому Началу — тот еретик».

Бывший Ферапонтовский игумен Нектарий заявил пред собором: «Артемий говорил мне о Троице: в книге Иосифа Волоцкого написано негораздо, что Бог посылал в Содом двух ангелов, то есть Сына и Св. Духа; да Артемий же новгородских еретиков не проклинает, и латыня хвалит, и поста не хранит, во всю четырёхдесятницу ел рыбу, и в день Воздвижения у царя за столом ел рыбу; да он же, Артемий, ездил из Пскова, из Печерского монастыря, в новый городок к немцам и восхвалял их веру».

Артемий на это отвечал: «Когда случалось мне из пустыни бывать у христоробцев, я ел рыбу и у царя в день Воздвижения ел рыбу; в городок к немцам ездил и спрашивал у немецкого князя, нет ли у них человека, с кем бы мне поговорить книгами; я имел в виду поговорить о том, таков ли христианский закон у римлян, как у нас. Но мне такого книжного человека не указали». Собор вменил Артемию в вину и то, что он нарушал пост к соблазну православных, и то, что ездил к немцам для означенной цели, он сам ведаёт (говорил собор), что наша вера есть истинная православная вера, а латинская вера отречена от православной святыми отцами и предана проклятию».

Тот же Нектарий обличал Артемия во многих богохульных и еретических речах; но Артемий называл всё это клеветой, и три старца-пустынника, на которых сослался Нектарий, как на слышавших те богохульные речи, действительно не подтвердили его слов и сказали, что «про Артемия хулы на божественное писание и христианский закон не слышали ничего».

Третий свидетель, бывший игумен Троицкого Сергиева монастыря, Иона, писал на Артемия, что он говорил хулу о крестном знамении: «Нет-де в том ничего; прежде-де сего на челе своём знамение клали, а ныне, своим произволением, большие кресты на себе кладут; да и на соборе-де о том крестном знамении слово было, да не доспели ничего». Артемий отвечал, что про крестное знамение Ионе не говаривал, а про собор говорил, и именно про собор нынешний. И это поставлено Артемию в вину.

Четвёртый свидетель, келарь Троицкого Сергиева монастыря Адриан Ангелов, показал пред собором: «Говорил Артемий в Корнильеве монастыре, в келье игумена Лаврентия, что нет пользы петь панихиды и обедни по умершим, — тем они муки не избудут». Артемий отвечал: «Я говорил про тех, которые жили растленным житием и грабили людей, что когда начнут петь по ним панихиды и обедни, то нет им пользы, и чрез то им муки не избыть». Собор обвинил Артемия за то, что он отнимает у грешников надежду спасения.

Затем старец Троицкого Сергиева монастыря Игнатий Курачов показал: «Я слышал от Артемия про канон Иисусов: таки Иисусе, таки Иисусе, а про акафист: радуйся да радуйся». На это Артемий дал такое объяснение: «Говорят в каноне: Иисусе сладкий, а как услышат слово Иисусово, что надобно исполнять Его заповеди, то в горечь прелагаются. Говорят в акафисте: радуйся да радуйся Чистая, а сами о чистоте не радят. Значит, только по обычаю говорят, а не по истине». Собор назвал такое объяснение «развратным и хульным».

Наконец обвинителем против Артемия выступил кирилло-белозерский игумен Симеон, который ещё до собора писал царю: «Как пришло повеление быть Артемию в Москве, он находился в нашей обители, и когда я сказал ему, что Матфея Башкина поймали в ереси, он, Артемий, молвил: не ведают того, что ересь. Сожгли Курицына да Рукаваго и нынче сами не знают, за что их сожгли». Артемий сначала утверждал, что не говорил про новгородских еретиков, но потом сказал: «Не упомню, так ли я говорил про новгородских еретиков, — я новгородских еретиков не помню и сам не знаю, за что их сожгли. Может быть, я сказал, что я не знаю, за что их сожгли и кто их судил, но не говорил, что они (то есть судившие) того не знают: я сказал только про себя».

Собор определил: чтобы Артемий не мог своим учением и писаниями вредить другим, живя, где захочет, сослать его в Соловецкую обитель; там поместить его в самой уединённой келье, лишить его всякой возможности переписываться или иначе сноситься с кем бы то ни было, даже с иноками, чтобы он не соблазнил кого-либо из них, и поручить наблюдение за ним только духовнику и игумену. В этом заключении оставаться Артемию до тех пор, пока он совершенно не покается и не обратится от своего нечестия. Если он истинно покается, и игумен донесёт о том, тогда собор рассудит и примет его в единение с церковью; а если не покается, то держать его в заключении до его кончины и только пред смертью удостоить его св. причастия.

Но Артемий недолго пробыл в Соловках, убежал оттуда и очутился в Литве. Там он ратовал за православие и писал опровержения против еретика Симеона Буднаго^[52], отвергавшего Божество Иисуса Христа. Это оправдывает отзыв об нем князя Курбского, называющего Артемия «мудрым и честным мужем», жертвою лукавства злых и любостяжательных монахов, оклеветавших его из зависти за то, что царь любил его и слушал его советы.

В то самое время, как собор занимался делом Башкина и Артемия, неожиданно возникло другое дело, которым собор также должен был заняться, не оставляя и первого. В числе свидетелей, обличавших на соборе еретиков, находился дьяк Иван Михайлович Висковатый. В одно из соборных заседаний, когда царь завёл речь с митрополитом об иконописании, вдруг возвысил свой голос Висковатый и сказал: «Не следует изображать на иконах невидимого Бога и бесплотных сил, как ныне видим на иконе «Верую во единого Бога». Да как же писать? — спросил митрополит. «Писать бы на той иконе, — отвечал Висковатый,

— сначала одни слова: Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя Творца, небу и земли, видимым же всем и невидимым, а затем уже со слов: «И во единого Господа Иисуса Христа — до конца символа писать и изображать иконным письмом, по плотскому смотрению». Тогда митрополит сказал: «Ты мудрствуешь о св. иконах не гораздо: живописцы не описуют невидимого Бога, а изображают Его по видению пророческому и по древним образцам», и присовокупил: «Ты стал на еретиков, — смотри, не попадись и сам в еретики. Знал бы ты свои дела, которые на тебе положены». Это происходило 25 октября 1553 года. В следующем месяце Висковатый явился к митрополиту и подал ему подробное изложение своих мнений и недоумений о св. иконах и просил рассмотреть дело на соборе. Здесь надобно пояснить, что послужило поводом к недоумениям Висковатого. После страшных московских пожаров 1547 года, когда в Кремле погорели все церкви и в них иконы, вызваны были из Новгорода, Пскова и других городов иконописцы написать новые иконы для церквей и расписать царские палаты. На многих из этих икон, по указанию Сильвестра, изображены были события из священной истории: сотворение мира и человека, явление Пресвятой Троицы в виде трёх ангелов Аврааму, видение Ветхого деньми (Господа Саваофа) пророком Даниилом, страсти Христовы и прочее, также представлены были в лицах и образно содержание всего символа веры, содержание некоторых песен церковных, каковы: «Хвалите Господа с небес», «Достойно есть», «Единородный Сыне», «Во гробе плотски» и другие, а царские палаты расписаны были по стенам разными символическими изображениями. Так как некоторые из новых икон, особенно в придворной Благовещенской церкви, не похожи были на те, какие прежде в ней были и к которым все привыкли; так как одного из священников этой церкви — Сильвестра, по распоряжению которого и писаны новые иконы, Висковатый подозревал в единомыслии с Артемием, а другого священника — Симеона — признавал духовником Башкина, то и пришёл к мысли, не приведены ли в новых иконах под видимыми образами еретические мудрования. Увлёкшись такою мыслью, Висковатый начал критиковать новые иконы, порицал их вслух всего народа, к соблазну православных, и наконец изложил свои сомнения на бумаге и представил «список своея руки» митрополиту. По приказанию государя список Висковатого рассмотрен был на соборе. В продолжение двух соборных заседаний Висковатый читал этот список сам, а митрополит давал ему свои ответы.

Особенно соблазнялся Висковатый тем, что на новых иконах, представлявших сотворение мира и Адама, Сын Божий изображён в виде ангела с крылами: не скрывается ли тут, — думал Висковатый, — еретическая мысль единомышленников Башкина, будто Сын неравен Отцу и относится к числу служебных духов? Митрополит отвечал, что тут нет ничего еретического, что живописцы изображают так Сына Божия по пророчеству о Нём Исайи: велика совета Ангел, Бог крепок и изображают по древним образцам.

По обсуждении всего списка дьяка Висковатого, собор сначала отлучил было его от церкви — не столько за его сомнения и своевольные мудрования о св. иконах, сколько за то, что он разглашал свои мудрования посреди многих людей, на соблазн православным, и возмущал народ, а не обратился со своими недоумениями прямо к правителям церкви. Но чрез две недели, когда отлучённый подал собору своё «покаяние», в котором подробно сознавался в своих заблуждениях и просил прощения, собор возложил на него только трёхлетнюю епитимию: один год он должен был стоять за церковными дверьми и исповедывать свои согрешения всем входящим в церковь; другой год — стоять в церкви, но только для слушания слова Божия (до литургии верных); третий — стоять в церкви с верными, но без причастия св. тайн, и уже по истечении трёх лет имел быть удостоен св. причастия. А чтобы на будущее время предостеречь Висковатого от подобных увлечений, собор напомнил ему 64-е правило шестого вселенского собора, которое гласит: «Не подобает мирянину пред народом произносить слово или учить и тако брати на себя учительское достоинство, но повиноватися преданному от Господа чину, отверзати ухо приявшим благодать учительского слова и от них поучатися божественному».

В качестве обвиняемого представлен был на собор и архимандрит суздальского Спасо-Евфимиева

монастыря Феодорит. Он прославился обращением в христианскую веру лопарей, жил некогда в Белозерских пустынях и был давний приятель Артемия, по ходатайству которого получил сан архимандрита в Суздале. Он был человек строгой жизни и обличал монашеские пороки. За это монахи не терпели его; и в особенности злобился на него суздальский владыка, которого он обличал в сребролюбии и нетрезвой жизни. Хотя Феодорит не был ни в чём уличён, но тем не менее как согласник и товарищ Артемия был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, где ему делали всякие поругания клеветы суздальского владыки, бывшего прежде кирилло-белозерским игуменом. Чрез полтора года, по ходатайству бояр, Феодорит был освобождён, с предоставлением ему права жить, где хочет.

Во время производства этого дела или, может быть, тотчас по окончании его, привезён был в Москву с Белоозера монах Феодосий Косой с несколькими товарищами, также обвиняемыми в еретических мнениях. Их посадили под стражу в одном из московских монастырей. Но Косой склонил на свою сторону стражей и бежал вместе со своими товарищами. Он нашёл себе убежище в Литве, женился на еврейке и проводовал ересь с большим успехом, тем более что в литовско-русских владениях распространялись тогда с запада арианские мнения. Об этом еретике и его учении мы знаем из сочинения отенского монаха Зиновия (отен-монастырь в 50 вёрстах от Новгорода), под названием: «Истины Показание». Автор представляет, что к нему приходят три последователя ереси Косого и излагают учение своего наставника, а Зиновий опровергает его. Из этого сочинения мы узнаем, что Косой был раб, убежавший от своего господина на господском коне и захвативший с собою одежду и ещё кое-какие вещи. Он постригся в одном из белозерских монастырей и своим умом приобрёл такое уважение к себе, что даже прежний господин, узнав об нём, относился к нему с приязнью.

Исходною точкою лжеучения Косого была та же самая, что и еретиков жидовствовавших: он утверждал, что истинные, «столповые» книги суть только книги Моисеевы и вообще ветхозаветные: в них только содержится истина. И этими-то «ветхими книгами» Косой старался «отвращать людей от Евангелия Христова». Он отвергал Пресвятую Троицу и божество Иисуса Христа, считая Его только богоугодным человеком, посланником свыше. «Вы толкуете, — говорил Косой, — что Бог создал рукою своею Адама, а обновить и исправить создание Божие пришёл Сын Божий и воплотился. Зачем Ему приходить в плоть? Если всемогущий Бог создал всё своим словом, то словом же мог обновить Свой образ и подобие и без вочеловечения. Никакого обветшания и падения образа и подобия Божьего в человеке не было. Человек создан смертным, как и все другие животные — рыбы, гады, птицы и звери. Как до пришествия Христова, так и после этого пришествия человек всё был одним человеком — также рождался, пользовался здоровьем, подвергался недугам, умирал и истлевал». Косой называл иконы идолами, вооружался против поклонения мощам и указывал по этому поводу на Антония Великого, который порицал египетский обычай сохранять тела мёртвых. Монастыри он называл человеческим изобретением и указывал, что ни в Евангелии, ни в писаниях апостольских нет об них ни слова. «Плотское мудрование, — говорил он, — господствует у великих игуменов, митрополитов, епископов. Они повелевают есть мяса, вопреки словам Христа: не входящее во уста сквернит человека. Они запрещают жениться прямо против слов Апостола, который заранее называл «сожжёнными совестью» тех, которые будут возбранять жениться и удаляться от разной пищи. Из этого мы видим, что Косой пользовался и новозаветными священными книгами. Они знают только пение да каноны, чего в Евангелии не показано творить, а отвергают любовь христианскую. Они не дают нам узнать истину, гонят нас, запирают в тюрьмы. В Евангелии велено мучить даже и неправых. Христос Сам указал это в своей притче о плевелах, — а они нас гонят за истину». В Литве Феодосий Косой с успехом распространял свою ересь.

II

До половины XVI столетия церковные и святоотеческие книги были рукописными. Эти книги переписывались одни с других писцами, большею частью неискусными и малограмотными и оттого были неисправны, полны ошибок. Митрополит Макарий, ревнитель просвещения, желая искоренить порчу книг, много трудился над исправлением их. Мы видели, что стоглавый собор вменил в обязанность поповским старостам исправлять церковные книги по хорошим спискам, а непересмотренных книг не пускать в обращение. Но и это не могло искоренить порчи, вкравшейся в церковные книги. Тогда решились воспользоваться против этого зла средством, которым давно уже пользовались в Европе и даже в юго-западной России. Ещё в 1548 году царь Иоанн Васильевич выписывал из Германии между другими мастерами и типографов; но их не пропустили в Россию. В 1552 году датский король Христиан III прислал в Москву Ганса Массенгейма с предложением царю принять протестантскую веру. Массенгейм привёз с собою библию и две другие книги, в которых содержалась сущность христианской веры по новому учению. Если бы царь согласился на предложение королевское, то Массенгейм, переведя привезённые им книги на русский язык, должен был напечатать их в нескольких тысячах экземпляров. Неизвестно, как был принят Массенгейм Иоанном, но вряд ли царь поручил устройство типографии человеку, присланному явно с целью распространения протестантизма. По русским известиям, царь, нуждаясь в церковных книгах для вновь строящихся многих церквей, велел скупать их на торгах, но оказалось очень мало исправных. Это привело Иоанна к мысли о необходимости книгопечатания. Когда он сообщил о своём намерении митрополиту Макарию, последнему оно пришлось по душе. «Эта мысль, — сказал он, — внушена самим Богом, это — дар, свыше сходящий!» Тогда царь велел строить особый дом для помещения типографии и приискивать мастеров. Постройка «печатного двора» длилась 10 лет. Наконец в апреле 1563 года началось, а 1 марта 1564 года кончено печатание первой в России печатной книги «Апостола» (Деяний Апостольских и соборных посланий с посланиями Апостола Павла). Главным мастером в первой русской типографии был русский человек — дьякон Николо-Гостунского собора Иван Фёдоров, как видно, хорошо изучил своё дело, быть может, в Италии: он не только умел сам набирать и печатать книги, но и отливать очень искусно литеры. Эти же мастера в следующем году напечатали ещё часослов, но затем принуждены были бежать из Москвы за границу, обвинённые в ереси. Невежество и зависть восстали против нового небывалого искусства. А причиною этой зависти и ненависти было, вероятно, опасение русских книгописцев, видевших в книгопечатании подрыв своему ремеслу. Сохранилось даже предание, будто печатный двор был сожжён этими неблагонамеренными людьми. Однако печатное дело было восстановлено в Москве и велось под руководством Никифора Тарасиева и Андроника Невежи. В 1568 году был напечатан в Москве «Псалтирь».

Изгнанники московские, Иван Фёдоров и Пётр Тимофеев, удалившись из Москвы в Литву, напечатали здесь много книг. Оба трудились в Заблудове, у гетмана Хоткевича, ревностного покровителя русской церкви, подарившего Ивану Фёдорову близ Заблудова «весь немалу» (имение), где последний и завёл типографию. Потом Иван Фёдоров печатал во Львове, а Пётр Тимофеев — в Вильне. Наконец Иван Фёдоров перешёл в Острог, к народолюбивому князю Константину Константиновичу Острожскому, и напечатал здесь в 1581 году знаменитую Острожскую Библию.

Первопечатник русский Иван Фёдоров скончался во Львове, в декабре 1582 года в большой нужде, и погребён был при Свято-Онуфриевском монастыре чина с. Василия. Надгробный камень, которого буквы местами стёрлись, почти в 1 сажень длиною, находился при церкви св. Онуфрия, по бокам его следующая надпись славянскою вязью: «Иоанн Фёдорович друкарь москвитин, который своим тцанием друкование занедбалое обновил, преставися в Львове року 1583 декабвр. 5». На середине камня читается вверх:

«Упокоения воскресения из мёртвых чаю», затем его герб, а внизу: «Друкарь книг пред тем не виданных».

III

В начале 1553 года, вскоре после возвращения из казанского похода, Иоанн опасно заболел горячкою, так что даже отчаивались в его жизни. Вероятно, по совету братьев царицы Анастасии он велел дьяку своему, известному уже нам Ивану Михайловичу Висковатому, приготовить духовную. По этой духовной наследником престола назначался младенец Димитрий, только что родившийся. Это значило, что до его совершеннолетия власть должна была попасть надолго в руки Захарьиных (родных царицы). Исполняя волю государя, Висковатый вместе с князем Владимиром Воротынским стали настойчиво требовать, чтобы Владимир Андреевич, двоюродный брат Иоанна, целовал крест на верность царевичу Димитрию. Владимир Андреевич, не хотевший целовать крест племяннику, сильно рассердился и сказал Воротынскому: «Ты б со мною не бранился и не указывал и против меня не говорил». Воротынский отвечал ему: «Я дал душу государю своему царю и великому князю Ивану Васильевичу и сыну царевичу князю Димитрию, что мне служить им во всем вправду; с тобою они ж, государи мои, велели мне говорить. Служу им, государям своим; а тебе служить не хочу; за них с тобою говорю; а если доведётся, по их приказанию, и драться с тобою готов». И была между боярами брань большая, крик, шум. Больной царь начал им говорить: «Если вы сыну моему Димитрию креста не целуете, то, значит, у вас другой государь есть; а ведь вы целовали мне крест не один раз, что мимо нас других государей вам не искать. Я вас привожу к крестному целованию, велю вам служить сыну моему Димитрию, а не Захарьиным. Я с вами говорить не могу много; вы души свои забыли, нам и детям нашим служить не хотите; в чём нам крест целовали, того не помните. А кто не хочет служить государю-младенцу, тот и большому не захочет служить; и если мы вам не надобны, то это на ваших душах». Князь Иван Михайлович Шуйский придумал отговорку и осторожно заметил: «Нам нельзя целовать крест не перед государем: перед кем нам целовать, когда государя тут нет?» Но окольный Фёдор Адашев, отец царского любимца, высказался прямее и откровеннее: «Тебе, государю, и сыну твоему, царевичу князю Димитрию, крест целуем, а Захарьиным, Даниле с братьею, нам не служить. Сын твой ещё в пелёнках, а владеть нами будут Захарьины, Данила с братьею. А мы уж от бояр в твоё малолетство беды видали многие. И был мятеж большой шум и речи многие во всех боярах, не хотевших служить младенцу. Но к вечеру поцеловали крест Димитрию следующие бояре: князь Иван Фёдорович Мстиславский, князь Владимир Иванович Воротынский, Иван Васильевич Шереметев, Михаил Яковлевич Морозов, князь Димитрий Палецкий, дьяк Иван Михайлович Висковатый и Захарьины. Меж тем трое князей — Пётр Щенятев-Патрикеев, Семён Ростовский и Иван Турунтай-Пронский продолжали говорить: «Ведь нами владеть Захарьиным: так чем нами владеть Захарьиным и служить нам государю молодому, мы лучше станем служить старому князю Владимиру Андреевичу». Царь велел написать целовальную запись для приведения к присяге князя Владимира Андреевича; но последний прямо отрёкся целовать крест. Тогда Иоанн сказал ему: «Знаешь сам, что станется на твоей душе, если не хочешь креста целовать: мне до того дела нет». Потом, обратившись к боярам, поцеловавшим крест, царь сказал: «Бояре! Я болен, мне уж не до того, а вы на чём мне и сыну моему Димитрию крест целовали, по тому и делайте». Поцеловавшие крест бояре начали уговаривать к тому же и других; но те отвечали им жестокою бранью. «Вы хотите владеть, а мы вам должны будем служить: не хотим вашего владения!» — кричали они. А между тем князь Владимир Андреевич и его мать собирали своих боярских детей и раздавали им деньги. Присягнувшие бояре стали упрекать Владимира, что он и его мать поступают неприлично: государь болен, а они своим людям деньги раздают. Владимир рассердился за это на бояр, а они стали его опасаться и не пускать к больному государю. Тут подал наконец свой голос и Сильвестр, молчавший до сих пор. Он сказал боярам: «Зачем вы не пускаете князя Владимира к государю? Он государю добра хочет». Бояре отвечали: «Мы дали присягу государю и сыну его; по этой присяге и делаем так, как бы их государству было крепче».

Отселе пошла вражда у присягнувших бояр с Сильвестром и его советниками.

На другой день царь снова созвал всех бояр и велел им целовать крест царевичу Димитрию в передней избе, потому что ему, по причине сильной слабости, очень тяжело было приводить их к присяге при себе. При обряде он велел быть князьям Мстиславскому и Воротынскому с товарищами. Присягнувшим боярам Иоанн сказал: «Вы дали мне и Сыну моему душу на том, что будете нам служить, а другие бояре сына моего на государстве не хотят видеть: так если станется надо мною воля Божия, умру я, то вы, пожалуйста, не забудьте, на чём мне и сыну моему крест целовали, не дайте боярам сына моего извести, но бегите с ним в чужую землю, куда Бог вам укажет. А вы, Захарьины, чего испугались? Или думаете, что бояре вас пощадят? Вы от них будете первые мертвецы. Так вы бы за сына моего и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали». Испугавшись этих жёстких слов, бояре пошли в переднюю избу целовать крест. После всех присягнули князь Курлятев и казначей Фуников, под предлогом болезни; но шли слухи, что они пересылались с князем Владимиром Андреевичем и его матерью и хотели возвести его на престол. Самого Владимира Андреевича, по известию одной летописи, бояре насильно заставили присягнуть, объявив ему, что иначе не выпустят из дворца; а к матери его Евфросинии посылали трижды, чтобы и она привесила свою печать к крестоприводной записи.

Бояре, рассчитывавшие на смерть Иоанна, ошиблись; он выздоровел. Понятно, какие чувства должен был он питать к боярам, которые так долго и упорно противились его воле. Он, конечно, имел полное основание страшиться за участь своей семьи, в том случае, если бы царём стал Владимир Андреевич, со своей стороны, вероятно, живо помнивший насильственную расправу с своим братом и дядею. Но всего более должно было поразить Иоанна, переполнить для него чашу горечи то, что между непокорными боярами, стоявшими за Владимира Андреевича, оказались люди, самые близкие к Сильвестру и Адашеву. Сам Алексей Адашев присягал молча, как бы нехотя, отец его оказывает явное сопротивление воле царя, Сильвестр так же явно заступает за Владимира Андреевича, который добивался престола помимо царевича Димитрия. Впоследствии, в письме к Курбскому, Иоанн так высказывает чувства, волновавшие его в это время: «Называемые тобою доброхоты, как пьяные, восшатались с попом Сильвестром и начальником нашим Алексеем: они хотели воцарить себе князя из другого колена, Владимира, и младенца, данного нам Богом, погубить, подобно Ироду. Таким доброхотством наших подвластных наслаждались мы при жизни. Что же после нас будет! Когда же мы выздоровели и замысел их распался, Сильвестр и Адашев не переставали затевать злые советы, придумывать ещё более горькое нам утешение, гнать под разным предлогом доброхотных нам людей, дружить во всем князю Владимиру и возбуждать злую ненависть против нашей царицы Анастасии, уподобляя её всем нечестивым царицам». Но нелюбовь Сильвестра и Адашева падала не столько на царицу Анастасию, сколько на её братьев Захарьиных, которые, добиваясь, подобно Глинским, полного господства, возбуждали Иоанна против Сильвестра и его советников. Царь не думал, что Сильвестр и Адашев, оставаясь вполне преданными ему, могли иметь в виду и благо всего народа, могли искренно бояться нового боярского правления, от которого только что успела отдохнуть Русская земля.

И пошла с тех пор вражда, — говорит летописец. Недоверие даже к близким людям, подозрительность, опасливость, которые улеглись было в душе Иоанна, снова заговорили в нём. Но он затаил пока все тяжёлые чувства на дне души и не тронул ни Сильвестра, ни Адашева, ни близких к ним людей. Трудно было порвать сразу все установившиеся уже отношения и начать борьбу: к этому нужно было приготовиться, для этого нужно было подыскать людей, на которых можно было бы опереться.

Во время болезни Иоанн дал обет — по выздоровлении поехать на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь и весною отправился в путь вместе с женою и сыном. По дороге он заехал в Троице-Сергиев монастырь, где в это время жил Максим Грек, возвращённый из ссылки. Максим стал отговаривать государя от дальнего и трудного пути, особенно с женою и новорождённым ребёнком: «Если ты и дал

обещание ехать к Кириллов монастырь, чтоб подвигнуть св. Кирилла на молитву к Богу, то обеты такие с разумом несогласны, и вот почему: во время Казанской осады пало много храбрых воинов христианских: вдовы их, сироты, матери обесчадевшие в слезах и скорби пребывают. Так гораздо тебе лучше пожаловать их и устроить, утешить их в беде, собравши в свой царствующий город, чем исполнить неразумное обещание. Бог вездесущ, всё исполняет и всюду зрит недремлющим оком; также и святые не на известных местах молитвам нашим внимают, но по доброй нашей воле и по власти над собою. Если послушаешься меня, то будешь здоров и многолетен с женою и ребёнком». Но Иоанн никак не хотел оставить своего намерения. Тогда Максим чрез четырёх приближённых к Иоанну людей (духовника Андрея, князя Ивана Мстиславского, Алексея Адашева и князя Курбского) велел сказать ему: «Если не послушаешься меня, по Боге тебе советуемого, забудешь кровь мучеников, избитых погаными за христианство, презришь слёзы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, то знай, что сын твой умрёт на дороге». Иоанн не послушался: из Троицкого монастыря поехал в Дмитров, а из Дмитрова в Песношский монастырь, где жил Вассиан Топорков, монах Иосифова Волоколамского монастыря, один из старых любимцев отца его. Василий III возвёл Вассиана на Коломенскую епископию, но в боярское правление он всенародно лишён был сана и удалился в Песношскую обитель. Иоанн не без намерения посетил Вассиана. Зайдя к нему в келью, царь спросил его: «Как я должен царствовать, чтоб вельмож своих держать в послушании?» Вассиан прошептал ему на ухо такой ответ: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе плодного советника, который был бы умнее тебя: если так станешь поступать, то будешь твёрд на царстве, и всё будет в твоих руках. Если не будешь иметь при себе людей умнее тебя, то станешь поневоле слушаться их». «И сам отец мой, если бы жив был, не дал бы мне такого полезного совета!» — сказал царь и поцеловал руку хитрому старцу, умевшему угадать, что придётся особенно по сердцу царю.

Курбский говорит, будто бы от этого злостного совета, от этого «сатанинского силлогизма» Топоркова и произошла вся беда, то есть перемена в характере и поведении Иоанна. Это справедливо только отчасти: Иоанн и раньше уже, как мы видели, стал враждебно смотреть на бояр.

Поездка царя на богомолье кончилась неблагополучно: маленький сын его скончался и погребён в Архангельском соборе. На гробнице великого князя Василия Иоанновича сделана надпись: «В том же гробе положен Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всея России, сын Царевич Димитрий, преставился в лето 7062 (1554 г.) июня в 6 день».

IV

Преподобный Максим, хотя и был грек родом, но по своим великим подвигам вполне принадлежит русской земле и русской церкви, для которой он был светильником при жизни и остался светильником по смерти — в своих сочинениях.

Великий князь Василий Иоаннович отправил в 1515 году посольство на Афон, к которому русские ещё со времён Антония Печерского питали благоговение и где уже в XII веке был русский монастырь. В грамоте к проту, всем игуменам и всему братству 18 обителей Афонских великий князь писал: «Пришлите к нам, вместе с нашими людьми, из Ватопедского монастыря старца Савву, книжного переводчика, и тем послужите нам». Этого искусного книжника Савву приглашали в Москву для переводов и главным образом для перевода «Толковой Псалтири», то есть сборника толкования на псалмы Давида древних отцов Церкви. Кроме этой причины, великий князь нуждался в учёном греке для разбора греческих книг в своей библиотеке. В старину на Руси было довольно людей, знакомых с греческим языком, не только между духовными лицами, но и между князьями. Поэтому греческие книги не были редкостью. В период татарского порабощения оскудело всякого рода знание; рукописи греческие, как и славянские, исчезали в разных местах от разных печальных обстоятельств. В Москве погибла книгохранильница во время нашествия Тохтамыша. Но Москва забирала себе сокровища других русских земель, и потому неудивительно, если великокняжеская книгохранильница опять наполнилась. Быть может, и приехавшие с Софией Фоминичной греки привезли с собою кое-что из образцов своей старой литературы.

Инок Савва, многолетний старец и больной ногами, просил прощения, что не в силах исполнить воли великого князя. Тогда прот и ватопедские старцы избрали на место Саввы для отправления в Москву другого брата своей обители, Максима, как «искусного в божественном писании и способного к толкованию и переводу всяких книг — и церковных, и глаголемых еллинских, ибо он возрос в них с ранней юности и научился им основательно, а не чрез одно продолжительное чтение, — как другой кто-либо». С Максимом были отправлены ещё иеромонах Неофид грек и монах Лаврентий болгарин. Путешествие с товарищами было медленно: они прибыли в Москву 4 марта 1518 года, были приняты великим князем с честью и помещены сначала в Чудовом монастыре, а потом перемещены в Симонов.

Максим родился в албанском городе Арте. Получив первоначальное образование на родине, он отправился для дальнейшего усовершенствования себя в науках в Италию, куда, после падения Константинополя, переселилось множество греков и где процветали тогда науки. Посещая разные города Италии, Максим слушал знаменитых учителей, с усердием изучал древнюю греческую литературу, изучил латинский язык и занимался философией, преимущественно Платона и Аристотеля. Эти последние занятия и особенно господствовавшие тогда в Италии астрология, крайнее вольномыслие и безверие увлекли было и юного Максима, но ненадолго. Возвратившись в Грецию, он решился посвятить себя иноческой жизни и вступил в Афонский Ватопедский монастырь, может быть, потому, что там находилась богатая библиотека. Отсюда-то он и был послан в Россию. Первым делом, какое поручено было здесь Максиму, был перевод «Толковой Псалтири». Так как он не освоился ещё с русским языком, то в помощь ему дали двух толмачей, знавших латинский язык. — Дмитрия Герасимова и Власия, исправлявших прежде того дипломатические поручения; а для переписки назначили двух писцов — Михаила Медоварцева и Силуана, инок Троице-Сергиева монастыря. Максим принялся за труд с неутолимою ревностью, сам переводил с греческого на латинский язык, а толмачи переводили с латинского на славянский. Через год и пять месяцев этот двойной перевод огромной книги был кончен. Приняв от Максима переведённую книгу, великий князь передал её митрополиту для соборного рассмотрения. Наши святители соборно одобрили новопереведённую

Псалтирь, называя её источником благочестия. Государь с радостью почтил трудившегося не только великими похвалами, но и сугубою мздою. Товарищи Максима, прибывшие вместе с ним из Ватопеда, немедленно были отпущены, щедро наделённые и с довольною милостынею для Св. Горы. А самого Максима убедили ещё остаться в России. Не так легко было иностранцу выбраться из Москвы, как въехать в неё, если этого иностранца считали полезным в московской земле или почему-либо опасным для неё по возвращении его домой. С этих пор судьба Максима, против его воли, стала принадлежать русскому миру.

Главный труд, за который принял Максим после перевода «Толковой Псалтири», состоял в пересмотре и исправлении наших церковных книг. В списках этих книг он встретил множество ошибок, нередко грубых, а иногда и еретических, и имел неосторожность оглашать их, да и не мог утаить. Между русскими поднялся ропот; стали говорить: «Ты своим исправлением досаждаешь воссиявшим в нашей земле преподобным чудотворцам: они священными книгами в таком виде (сицевыми) благоугодили Богу и прославились от Него святостью и чудотворением». «Не я, — возражал им Максим, — а блаженный Павел научит вас: каждому даётся явление духа на пользу: тому слово премудрости, тому вера, тому дар исцеления, тому пророчество, действие сил, а тому языки; всё же это дарует один и тот же Дух. Видите, не всякому даются все духовные дарования. Святым чудотворцам русским за их смиренномудрие, кротость и святую жизнь дан дар исцелять, творить чудеса; но дара языков и сказания они не принимали свыше. И кому же, как мне, хотя я и грешен паче всех земнородных, дано разуметь языки и сказание (дар выражения), и потому не удивляйтесь, если я исправляю описки, которые утаились от них». Но если все обвиняли Максима в том, что он не исправляет, а портит наши священные книги, сеет еретичество, но в защиту его возвышал свой голос князь-инок Вассиан (Патрикеев), говоря: «Здесь книги все лживы, а здешние правила — кривила, а не правила. До Максима мы по тем книгам Бога хулили, а не славили; ныне же мы познали Бога Максимом и его учением».

Но если небезопасно было для приезжего грека посягать на букву богослужебных книг, то гораздо опаснее сделалось для него то, что он разразился обилием обличений всякого рода, касавшихся и духовенства, и нравов, и верований, и обычаев, и, наконец, злоупотреблений власти в русской земле. Превратившись поневоле из грека в русского, Максим оставил по себе множество рассуждений и посланий, которые все почти отличаются обличительным и полемическим характером. Некоторые полемические сочинения его обращены против иноверцев — латин, иудеев, магометан, армян, лютеран и язычников. Обличения против латин написаны по поводу «писаний Николая Немчина» о соединении церквей^[53]. Обличения его против лютеран касаются иконопочитания и почитания Божией Матери и могли в своё время иметь прямое отношение к русской жизни, так как и на Руси появлялись, мнения, сходные с протестантскими, особенно относительно иконопочитания. Максим писал также против астрологии, которая стала понемногу заходить в Русь и свращать умы даже грамотеев. Он доказывал, что верить, будто человеческая судьба зависит от звёзд и будто они имеют влияние на образование таких или других свойств человека, противно религии, так как этим, с одной стороны, подрывается вера в промысл и всемогущество Божие, а с другой — отнимается свободная воля у человека. На основании астрологических вычислений в Европе образовалось предсказание, что будет новый всемирный потоп. Это ожидание заходило и в тогдашнюю Русь. Максим опровергал его, как основанное на суеверной астрологии, и подтверждал свои доказательства о невозможности нового потопа обещанием Божиим Ною.

На Руси издавна ходило множество так называемых апокрифических сочинений, приходящих к нам с Востока и заключающих в себе разные вымыслы, касавшиеся событий Ветхого и Нового Завета. Представляя много заманчивого для воображения, они составляли любимое чтение наших грамотных предков. Их называли отречёнными, и Церковь запрещала читать их. К ним во времена Максима присоединились апокрифы, пришедшие с Запада в появившемся тогда на русском языке сочинении под названием «Люцидария». Максим обличал сказание, приписываемое Афродитиану, о волхвах, поклонявшихся Христу,

где благочестивого Максима особенно соблазняло то, что идола в персидском языческом храме разыгрались при рождении Спасителя; опровергал сказание об Иуде, будто бы Адам дал на себя рукописание дьяволу, обязавшись вечно служить и работать ему. Максим также доказывал несправедливость распространённого у нас издавна мнения, будто бы во время воскресения Христова солнце не заходило целые восемь суток. Между нашими грамотеями, на основании апокрифических сказаний, были толки о том, кому прежде всех была послана с небес грамота. Максим, разрешая этот вопрос, говорит, что никогда и никому не было послано такой грамоты, так как об этом нигде не упоминается в св. Писании.

Писал Максим и против разных суеверий, замеченных им в русском обществе: так, например, на Руси было распространено верование, будто от погребения утопленных или убитых происходят неурожаи. Бывали случаи, когда выкапывали из земли тела и бросали их на поле. Максим убеждает скрывать всех в недрах земли общей матери и доказывает, что гнев Божий посылается за людские грехи, а не за погребение утопленных. Он порицал веру в сновидения, а также в существование добрых и злых дней и часов; нападал на разные суеверные примеры, наблюдения птичьего полёта, на веру во встречу на разные гадания — на бобах, на ячмени; в особенности он вооружался против ворожбы, допускаемой по случаю судебного поединка (поля).

Максим пропитан был аскетическим взглядом на жизнь. «Возлюби, душа моя, — говорит он, — худые одежды, худую пищу, благочестивое бдение, обуздай наглость языка своего, возлюби молчание, проводи бессонные ночи над боговдохновенными книгами. Огорчай плоть свою суровым житием, гнушайся всего, что услаждает её... Не забывай, душа, что ты привязана к лютому зверю, который лает на тебя; укрощай его душетлительное устремление постом и крайней нищетою. Убегай вкусных напитков и сладких яств, мягкой постели, долговременного сна. Иноческое житие подобно полю пшеницы, требующему трудолюбия! Трезвься и труждайся, если хочешь принести Господу твоему обильный плод, а не терние и не сорную траву». Максим требовал от иноков действительно сурового подвига, отречения от мира, нападая с жаром на лицемерие многих из тогдашних монахов. Не отделяя себя от всего монашества, он делает своей душе упрёки, в которых обличает пороки монахов: «Убегай губительной праздности, ешь хлеб, приобретённый собственными трудами, а не питайся кровью убогих, среброрезоимством (взиманием процентов). Не пытайся высасывать мозги из сухих костей, подобно псам и воронам. Тебе велено самой питать убогих, служить другим, а не властвовать над другими. Ты сама всегда веселишься и не помышляешь о бедняках, погибающих с голоду и морозу; ты согреваешься богатыми соболями и питаешь себя всякий день сладкими яствами. Тебе служат рабы и слуги. Ты, противясь божественному закону, посылаешь на человекогубительную войну ратные полки, вооружая их молитвами и благословениями на убийство и пленение людей. Ты страшишься вкусить вина и масла в среду и пяток, повинуюсь отеческим уставам, а не боишься грызть человеческое мясо, не боишься языком своим тайно оговаривать и клеветать на людей, показывая им лицемерно образ дружбы. Ты хочешь очистить мылом от грязи руки свои, а не бережёшь их от осквернения лихоимством. За какой-нибудь малый клочок земли тащишь соперников к судилищу и просишь рассудить свою тяжбу оружием, когда тебе заповедано отдать последнюю сорочку обижающему тебя! Ни Бога, ни ангелов ты не стыдишься, давши обещание нестяжательного жития. Молитвы твои и чёрные ризы только тогда благоприятны Богу, когда ты соблюдаешь заповеди Божии. А ты, треокаянная, напиваясь кровию убогих, приобретая в изобилии всё тебе угодное лихвами и всяким неправедным способом, разъезжаешь по городам на породистых конях, с толпою людей, из которых одни следуют за тобою сзади, а другие впереди, и криком разгоняют народ. Неужели ты думаешь, что угодишь Христу своими долгими молитвами и чёрною власяницею, когда в то же время собираешь лихоимством богатство, наполняешь свои амбары съестными запасами и дорогими напитками, накапливаешь в своих сёлах высокие стога жита с намерением продать подороже во времена года?».

Самое сильное обличительное слово написано было Максимом по поводу происшедшего в Твери пожара. Тверской епископ Акакий представляется здесь беседующим с самим Христом. *«Мы всегда, Господи, — говорит епископ, — радели о Твоей боголепной службе, совершали Тебе духовные праздники с прекрасным пением и шумом dobroгласных колоколов, украшали иконы Твои и Пречистой Твоей Матери золотом, серебром и драгоценными камнями, думали благоутодить Тебе, а испытали Твой гнев: в чём же мы согрешили?» «Вы, — отвечает ему Господь, — наипаче прогневали Меня, предлагая Мне dobroгласное пение и шум колоколов, и украшение икон, и благоухание мирра. Вы приносите Мне всё это от неправедной и богомерзкой лихвы, от хищения чужого имущества; ваши дары смешаны со слезами сирот, с кровью убогих. Я истреблю ваши дары огнём или отдам на расхищение скифам, как и сделал с иными. Пусть примером вам послужит внезапная погибель всеславного и всеильного царства Греческого. И там всякий день приносилось Мне боголепное пение, с светлотумящимися колоколами и благовонною миррою, совершались праздничные торжества, строились предивные храмы с цельбоносными мощами апостолов и мучеников, и скрывались в храмах сокровища высокой мудрости и разума, — и ничто это не принесло им пользы, потому что они возненавидели убогих, убивали сирот, не любили правого суда, за золото оправдывали обидящего; их священники получали свой сан через подкуп, а не по достоинству. Что Мне в том, что вы Меня пишете с золотым венцом на голове, когда Я среди вас погибаю от голода и холода, тогда как вы сладко насыщаете себя и украшаете разными нарядами? Удовлетвори Меня в том, в чём Я скуден. — Я не прошу у тебя золотого венца; посещение и довольное пропитание убогих, сирот и вдовиц — вот Мой кованный золотой венец. Не для dobroшумных колоколов, песнопений и драгоценных мирр сходил Я на землю, принял страдание и смерть. Моя вся поднебесная; Я исполняю небо и землю всеми благами и благоуханиями; Я отверзаю руку Свою и насыщаю всякую тварь земную!.. Я оставил вам книгу спасительных заповедей, чтобы вы знали, чем можете угодить Мне; вы же украшаете книгу моих слов золотом и серебром, а силу написанных в ней повелений не принимаете и исполнять не хотите, но поступаете противно им... Я нарёк сынами Божиими рачителей мира, а вы, как дикие звери, бросаетесь друг на друга с яростью и враждою! Священники Мои, наставники нового Израиля! Вместо того, чтобы быть образцами честного жития, вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаетесь, упиваетесь, друг другу досаждаете; во дни божественных праздников Моих вместо того, чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаётесь пьянству и бесчинству... Моя вера и божественная слава делается предметом смеха у язычников, видящих наши нравы и ваше житие, противное Моим заповедям».*

В слове «о нестроении и бесчинии царей и властей» Максим является обличителем вообще всякой верховной власти. Он рисует здесь государство в образе женщины, которая сидит на распутии; она в чёрной одежде, положила голову на руку, опирающуюся на колени; она безуспешно плачет; кругом её дикие звери. На вопрос Максима: кто она? — женщина отвечает: *«Мою горькую судьбу нельзя передать словами, и люди не исцелят её; не спрашивай, — не будет тебе пользы: если услышишь, только навлечёшь на себя беду».* На неотступные просьбы Максима сказать, кто она, женщина отвечала: *«Имя моё не одно: называют меня — начальство, власть, владычество, господство. Самое же настоящее моё имя — «Василия» (государство). Максим пал к ногам её, и Василия проговорила ему длинное обличение на царей и властителей, подкрепляя его примерами и изречениями из Св. Писания. «Меня, — говорила она, — дочь Царя и Создателя, стараются подчинить себе люди, которые все славолюбцы и властолюбцы, и слишком мало таких, которые устраивали бы судьбу живущих на земле людей сообразно с волею Отца моего: большая часть их, одолеваемые сребролюбием и лихоимством, мучить своих подданных всякими истязаниями, денежными поборами, отяготительными постройками пышных домов. Нет более мудрых царей и ревнителей Отца моего небесного: все живут только для себя, думают о расширении пределов держав своих, друг на друга враждебно ополчаются, друг друга обижают и льют кровь верных народов, а о церкви Христа Спасителя, терзаемой и оскорбляемой от*

неверных, нимало не пекутся! Как не уподобить окаянный наш век пустынной дороге, а меня — бедной вдове, окружённой дикими зверьми! Более всего меня ввергает в крайнюю печаль то, что некому заступиться за меня по Божией ревности и вразумить моих бесчинствующих обручников. Нет великого Самуила, ополчившегося против преступного Саула; нет Нафана, исцелившего остроумною притчею царя Давида; нет Амвросия чудного, не убоявшегося царственной высоты Феодосия; нет Василия Великого, мудрым поучением ужаснувшего гонителя Валента; нет Иоанна Златоустого, избличавшего корыстолюбивую Евдоксию за горючие слёзы бедной вдовицы. И вот, подобно вдовствующей жене, сижу я на пустынном распутии, лишённая поборников и ревнителей. О, прохожий! Безгодна и плачевна судьба моя».

Полагают, что великий князь Василий возненавидел Максима за то, что он не Одобрял его решимости развестись с Соломонией и жениться на другой жене. Быть может, и вероятно, это было одною из причин гонения на Максима. Но Максим должен был раздражить против себя как великого князя, так и многих влиятельных, начальных людей — духовных и светских, тою ролью обличителя, которую он взял на себя.

В феврале 1525 года Максим Грек был привлечён к следственному делу политического характера. Его обвиняли в сношениях с опальными людьми — Иваном Беклемишевым-Берсеном и Фёдором Жареным. Первый был прежде любимцем великого князя и навлёк на себя гнев его тем, что советовал ему не воевать, а жить в мире с соседями. Такое миролюбивое направление было совершенно в духе Максима, который и в своём послании к великому князю советовал не внимать речам подстрекателей на войну, а хранить мир со всеми. Берсень и дьяка Жареного казнили, а Максима снова притянули к следствию по другим делам: его обвиняли в сношении с турецким послом Скиндером; он знал похвальбы турецкого посла, знал, что этот посол грозил Москве нападением турок; Максима даже обвиняли в писании грамот в Турцию с целью поднять турок на Русь. Его уличали в том, что он называл великого князя Василия гонителем и мучителем, что он порицал государя за предание земли своей татарскому хану на расхищение и предсказывал, что если на Москву пойдут турки, то московский государь из трусости или обяжется платить дань или убежит. Кроме того, великий князь предал его суду духовного собора, на котором присутствовал сам. До какой степени Василий был озлоблен против него, показывают слова опального дьяка Жареного, который говорил Берсеню, что великий князь через Троицкого игумена приказывал ему наклепать что-нибудь на Максима и за то обещал его пожаловать. Максима обвинили в порче богослужебных книг и выводили из слов, отысканных в его переводе, еретические мнения. Важнейшее обвинение против него было в этом отношении следующее: Максим говорил и писал о Христе, что сидение Его одесную Отца есть мимошедшее, минувшее, подобно тому, как пребывание Адама в раю и сидение его прямо рая — мимошедшее. Где было в наших книгах написано: «Христос взыде на небеса и седе одесную Отца» или: «Седяй одесную Отца». — Максим это зачеркнул или выскреб, а вместо того написал: «Седев одесную Отца» или: «Седевшаго одесную Отца», — а в ином месте: «Сидел одесную Отца». Максим на соборе отвечал: «В том нет никакой разности: как пребывание Адама в раю и сидение прямо рая есть мимошедшее, также и Христово сидение одесную Отца есть мимошедшее». Подтверждая на соборе свою мысль, которая найдена была еретическою, Максим, вероятно, разумел исторический факт Вознесения Христова, а не вечное пребывание со Отцем, но не умел выразить этого ясно^[54]. Как бы то ни было, Максим был сослан в Иосифов Волоколамский монастырь, под надзор старца Тихона Лелкова; в духовные отцы ему дали старца Иону. «Меня морили дымом, морозом и голодом за грехи мои премногие, а не за какую-нибудь ересь», — писал он. Отправляя Максима в монастырь, собор обязал его никого не учить, никому не писать, ни от кого не принимать писем и велел отобрать у него привезённые им с собой греческие книги. Но он продолжал писать послания с прежним обличительным характером. Это вызвало против него новый соборный суд в 1531 году. Несмотря на сознание своей правоты, Максим «падал трижды ниц перед собором» и признал себя виновным только в «неких малых описях». Самоунижение не

помогло ему: его отослали в оковах в новое заточение — в тверской Отрочь-монастырь. Несчастный узник провёл здесь 22 года. Напрасно он присылал исповедание своей веры, доказывал, что он вовсе не еретик, сознавался, что мог ошибиться невольно, делая описки или по забывчивости, или по скорби; уверял, что он не враг русской державы и десять раз в день молится за государя. Сменялись правительства, сменялись митрополиты: Даниил, враждебно относившийся к Максиму на соборе, сам был сослан в Волоколамский монастырь, и Максим, забыв всё прошлое, написал ему примирительное послание. Правили Москвою бояре во время малолетства царя Иоанна — Максим умолял их отпустить его на Афон, но на него не обратили внимания. Возмужал царь Иоанн, митрополитом сделался Макарий; за Максима хлопотал константинопольский патриарх; Максим писал юному царю наставление и просился на Афон; о том же просил он и Макария — всё было напрасно. Макарий послал ему «денежное благословение» и писал ему: «Узы твои целуем, но пособить тебе не можем». Максим добился только того, что ему, через 17 лет, позволили причаститься св. Таин и посещать церковь. Когда вошли в силу Сильвестр и Адашев, Максим обращался к ним и, по-видимому, находился с ними в хороших отношениях, но не добился желаемого, хотя и пользовался уже лучшим положением в Отрочь-монастыре. Наконец в 1553 году его перевели в Троице-Сергиев монастырь, где он оставался до самой смерти, постигшей его 21 января 1556 года. Он погребён при церкви Сошествия Св. Духа. Местная память ему творится в Троицкой лавре 21 января. Курбский называет Максима Грека не иначе, как святым и преподобным. По уважению к великим трудам и страданиям Максима, в честь его составлены тропарь и кондак, в которых он именуется «пресветлым светильником православия» и «свирелью благогласною».

V

Пока московское государство слагалось в борьбе с остальными князьями восточной Руси, пока оно отбивалось от татар и Литвы, ему не нужно было много средств: оно могло довольствоваться тем, что имело. Но когда сложилось большое государство, задачи его расширились, оно почувствовало необходимость больших средств, необходимость и лучшей защиты, и лучшей внешней обстановки. Великий князь Иоанн III начинает вызывать из-за моря мастеров и художников; то же продолжают и его преемники. Овладев Новгородом, Москва приняла в свои руки и западную торговлю, которая дотоле шла через Новгород и вместе с тем наследовала и политические отношения Новгорода с прибалтийскими странами — Швецией и Ливонией.

Успокоив свои восточные границы взятием Казани, Иоанн обратил своё внимание на запад. Здесь ему пришлось прежде всего столкнуться со шведским королём Густавом Вазой. Предлогом войны, начавшейся в 1554 году, были пограничные ссоры и недовольство Густава на то, что переговоры с ним ведутся не непосредственно самим московским правительством, а через новгородских наместников. Война ограничилась взаимными опустошениями порубежных мест. Потеряв надежду на своих союзников — Польшу и Ливонию, Густав стал искать мира. Королевская грамота к Иоанну начиналась так: *«Мы, Густав, Божию милостию свейский, готский и вендский король, челом бью твоему вельможнейшеству, князю государю Ивану Васильевичу о твоей милости»*. Напротив того, из ответной грамоты московского царя видно, что он смотрит на шведского короля свысока: *«Мы для королевского челобитья разлитие крови христианской велим унять. Если король свои гордостные мысли оставит и за своё крестопреступление и за все свои неправды станет нам бить челом покорно своими большими послами, то мы челобитье его примем и велим наместникам своим новгородским подкрепить с ним перемирие по старым грамотам, также и рубежи велим очистить по старым перемирным грамотам; мы не захотим нигде взять его земли через старые рубежи, потому что, по своей государственной справедливости, мы довольны своими землями, которые нам Бог дал исстарины. Если же у короля и теперь та же гордость на мысли, что ему нашими наместниками новгородскими не ссылатся, то он бы к нам и послов не отправлял, потому что старые обычаи порушиться не могут»*. Когда приехавшие в Новгород послы шведские стали опять просить о непосредственных сношениях между государями, то новгородские наместники сделали, между прочим, такой оскорбительный отзыв о Шведском короле: *«Про вашего государя в рассуд вам скажем, а не в укор, какого он рода и как животиною торговал и в шведскую землю пришёл: это делалось недавно, всем ведомо»*. В 1557 году заключён был мирный договор, которым установлена была взаимная беспрепятственная торговля: царь позволил шведским купцам ездить через Россию в Индию и Китай, а русские купцы могли ездить из Швеции в Любек, Антверпен, Испанию, Англию и Францию.

Важнее, чем война со Швецией, была война с Ливонским орденом, исконным врагом России на Балтийском побережье, наиболее старавшемся препятствовать нашим сношениям с Западной Европой. В 1547 году Иоанн отправил в Германию саксонца Шлитте с поручением набрать учёных, художников и мастеров, которые могли бы быть полезны для России. Шлитте выпросил на это позволение у императора Карла V, набрал 123 человека^[55] и привёз их уже в Любек. Но ливонское правительство представило императору опасность, какая может произойти от этого для Ливонии и для других соседних стран, и добилось того, что Карл дал полномочие не пропускать в Москву ни одного учёного и художника. Сам Шлитте был задержан в Любеке и посажен в тюрьму, а набранные им люди рассеялись. Один из них, некто Ганс, попытался было пробраться в Москву, но был схвачен и брошен в тюрьму; освободившись из

тюрьмы, он намеревался всё-таки пробраться в Москву, но опять был схвачен уже недалеко от русской границы и казнён. Занятый тогда важными делами на востоке, Ларь не мог отмстить Ливонии за это недоброжелательство и не забыл его.

Ввиду слабости Ливонского ордена, с одной стороны, а с другой — ввиду настоятельной необходимости войти в прямые торговые сношения с Западом и с тем вместе укрепить и охранить свои границы, московское государство должно было начать ливонскую войну. В поводах к ней недостатка не было: самым лучшим поводом служили очевидная враждебность ордена и нарушение существующих договоров. Так, в договоре 1463 года между Псковом и дерптским епископом встречается упоминание о дани, которую, по старому обычаю, епископ должен был платить великому князю; там же постановлено, что епископ и горожане должны оберегать русский конец и святые церкви. В договоре с гроссмейстером ордена Плеттенбергом (1503 года) условие о дани было подтверждено, но не исполнялось в течение 50 лет. Вопрос об этой дани не поднимался до 1554 года, когда в Москву прибыли ливонские послы ходатайствовать о продолжении перемирия. По перемирной грамоте, подписанной ливонскими послами, дерптский епископ обязался заплатить в три года недоимку Юрьевской (Дерптской) дани за 50 лет, очистить русские церкви, разграбленные протестантами, и не стеснять русской торговли^[56]. Срочные три года прошли, а дань не была выплачена. В феврале 1557 года явились в Москву ливонские послы без денег, с просьбой о сложении дани. От имени царя, не пустившего их к себе и на глаза, им было объявлено, что если дань не будет заплачена, то государь будет, «се положи упование на Бога, сам искать на магистре и на всей ливонской земле». Царь запретил русским ездить в Ливонию и послал князя Шестунова строить город и гавань (корабельное пристанище) при устье реки Нарвы, ниже Ивангорода. Испуганные ливонцы снарядили новое посольство — просить хоть об уменьшении дани. Но переговоры не привели ни к чему: царь требовал, чтобы деньги были выплачены, а послы приехали без денег. На этом и прервались переговоры. Один из немецких летописцев рассказывает, что послов ливонских пред их отъездом пригласили к царскому столу и подали им пустые блюда.

В то время, как велись ещё переговоры, русская сорокатысячная рать стояла уже на границах Ливонии под начальством царя Шиг-Алея и воевод — князя Михаила Васильевича Глинского и царицына брата Даниила Романовича. В январе 1558 года эта рать вторглась в Ливонию и опустошила её на пространстве 200 вёрст. Оставляя Ливонию, начальники русской рати послали к магистру грамоту, в которой писали: «За ваше неисправление и клятвопреступление государь послал на вас войну: кровь пролилась от вас. Если же хотите пред государем исправиться и кровь унять, то присылайте к государю с челобитьем, и мы все станем за вас просить». Положение Ливонии было плачевное. Созван был в Вольмаре сейм, на котором было решено, что следует снова попробовать склонить царя на мир. Собрали кое-как деньги для уплаты дани и отправили послов в Москву. Царь согласился на перемирие и велел прекратить войну. Но жители города Нарвы, несмотря на остановку с русской стороны военных действий, продолжали обстреливать соседнюю русскую крепость Ивангород, только рекою Нарвою отделяемую от города Нарвы. Этим война возобновилась. Жители Нарвы, сознавая, что не могут держаться, послали в Москву с предложением подданства. В Москве послы приняты были благосклонно. Но, получив подкрепление, Нарва снова отказала в покорности, и 11 мая взята была окончательно. Царь велел освятить город и построить в нём церкви. Послам ливонским, приехавшим в Москву во время Нарвского дела, царь велел объявить, что если ливонцы хотят мира, то магистр, архиепископ рижский и епископ дерптский должны сделать то же, что сделали цари Казанский, Астраханский и Шиг-Алей, — должны сами явиться пред государем с данью со всей земли Ливонской, ударить ему челом и впредь во всем исполнять его волю, а завоёванные города останутся за Москвою. Требовалась, стало быть, полная покорность Ливонии. Послы уехали, и война продолжалась. Некоторые города ливонские сдавались без сопротивления. В них оставлялись русские воеводы и строились церкви. Сильное сопротивление оказал Нейгаузен (Сыренск), обороняемый Георгием

Иксулем, который сдался только тогда, когда его собственные солдаты грозили его повесить. Епископ Дерптский был разбит Шейном и Адашевым.

У Ливонии не было сил обороняться от русских. Ливонские чины собрались в Дерпте и вели между собою переговоры о том, у кого просить помощи. Выслушивались разные мнения. Посреди этих прений дерптский бургомистр Тилэ высказал самое разумное мнение: он призывал своих соотечественников к пожертвованию имуществом, говорил о необходимости единения, указывая на то, что откуда бы Ливония ни призвала себе защитника, защитник этот поработит её. Но Тилэ «проповедывал глухим». Результатом дерптских переговоров было начало разложения Ливонии: Эстляндия и остров Эзель обратились с просьбою о принятии их под защиту к королю датскому, архиепископ рижский желал покровительства Польши, а магистр — Швеции. Соседние государства обещали своё посредничество, что в следующем, 1559 году и было исполнено со стороны Польши, Швеции и Дании, хотя это ни к чему не повело.

Магистр Кеттлер послал от себя посла к царю, прося его унять войну. Иоанн отвечал ему: «Похощет магистр государева жалованья, и он бы сам был бити челом, а по его челобитью посматреть государь его пожалует». Между тем русское войско под начальством князя Петра Ивановича Шуйского подходило к Дерпту, где запёрся епископ с гражданами и наёмным войском. Осада Дерпта началась 8-го и продолжалась до 18 июля. Осаждённые сначала защищались мужественно; но когда магистр отказал им в помощи, они принуждены были сдаться. Московский воевода объявил царскую милость, если осаждённые сдадутся; в противном случае грозил, что не оставит в живых и малого ребёнка. Дерптцы, составив очень выгодные для себя условия, предложили их Шуйскому. Шуйский, образ действий которого вообще чрезвычайно хвалит ливонский летописец, принял эти условия и занял город. Льготы, данные царём покорившемуся городу, показывали ясно намерение его завоевать Ливонию и удержать за собою навсегда это завоевание. Скоро началось поселение в юрьевской земле детей боярских; а епископ и некоторые граждане дерптские были перевезены в Москву. Взятие Дерпта, «лучшего и приятнейшего города в стране после Риги и Ревеля», распространило ужас по всей Ливонии. Города начали сдаваться: к осени было завоёвано до 20 значительных городов. Шуйский обратился с требованием покорности к Ревелю, обещая, что в таком случае государь даст ему ещё большие льготы, чем те, которыми он пользовался прежде. Но Ревель не покорился.

Совершив такой блистательный поход, московские воеводы, по тогдашнему обычаю, отправились в Москву в сентябре, оставив гарнизоны в завоёванных городах. Пользуясь уходом главных сил, — магистр Кеттлер собрал более 10 000 войска, осадил Ринген (замок близ Дерпта) и взял его приступом. В январе 1559 года большое московское войско (130 000, по немецким известиям), под предводительством царевича Тохтамыша и князя Микулинского снова вступило в Ливонию, разбило немцев при Тирзене и без сопротивления уже целый месяц пустошило всю землю с одной стороны до моря, с другой — до границ Прусских и Литовских. Посредничество короля датского, но ещё более необходимость пригрозить Крыму заставили Иоанна дать Ливонии шестимесячное перемирие. Ливония возобновила переговоры с соседними державами, в особенности с Польшей и германским императором. Послано было посольство к Густаву Вазе с просьбой о ссуде, причём в обеспечение предлагались области. В Германии всё дело ограничилось заступничеством пред царём и ссудой в 100 000 гульденов. Переговоры с Польшей шли медленно: только 31 августа Кеттлер заключил договор, которым Ливония отдавалась в покровительство короля польского, за что ему отдаётся в виде залога полоса земли от Друи до Ашерадена и ещё несколько округов. 15 сентября архиепископ рижский также отдался под защиту польского короля. 26 сентября епископы эзельский и курляндский отдали свои владения под покровительство Дании.

Ливония начала готовиться к войне. Узнав об этих приготовлениях, царь решил возобновить войну. Магистр, разбив Плещеева, не успел, однако, взять ни Дерпта, ни Лапса. Между тем в Москву прибыли посольства от императора и от Польши, но не могли добиться никакой уступки относительно Ливонии:

«Ливонцы, — говорил царь, — извечные наши даньщики, церкви Божии разорили, образам Божиим поругались и нам в наших данях не исправились: за такие свои дела от нас наказание и приняли. Сумеют к Богу исправиться и своим челобитьем наш гнев утолить, тогда мы их пожалуем».

Новая русская рать, под начальством князей Мстиславского, Серебряного и Шуйского, вошла в Ливонию, взяла Мариенбург и проникла в Курляндию, нигде не встречая препятствий. Весною 1560 года снова большое русское войско, под главным начальством князя Андрея Михайловича Курбского, вступило в Ливонию, опустошило места около Вейсенштейна, ходило под Феллин и имело несколько счастливых стычек. С прибытием главного войска (30 тысяч пехоты и конницы, 10 тысяч стрельцов и казаков и 90 больших и малых орудий), предводимого князем Мстиславским, военные действия стали ещё значительнее: около Феллина был разбит и взят в плен ландмаршал Ливонского ордена Филипп Бель, славный своею храбростью; затем пал самый Феллин, где взят в плен магистр Фюрстенберг. Русские войска пошли по разным сторонам ливонской земли, в которой ко всем другим бедствиям присоединилось восстание крестьян, принимавших сторону русских. Курбский разбил у Кеси (Вендена) в нескольких боях ливонцев и литовцев. Яковлев подходил к Ревелю. После неудачной осады Вейсенштейна Мстиславский ушёл назад.

Между тем епископ эзельский выбрал себе в преемники голштинского герцога Магнуса, брата датского короля, который и прибыл в Арнсбург с 5 кораблями. Ревель поддался окончательно Швеции. Кеттлер уступил Ливонию Польше, а сам взял себе Курляндию и Семигалию с титулом герцога и с вассальными обязанностями к Польше. Так Ливония окончательно разделилась между Польшей, Швецией, Данией, Россией и вассалом Польши — курляндским герцогом.

VI

В то время, как в Ливонии шла весьма важная для московского государства война, в Москве, при дворе московского царя, произошла большая перемена: произошёл разрыв царя с его ближайшими советниками Сильвестром и Адашевым.

Охлаждение царя к Сильвестру и Адашеву началось с 1533 года, когда во время его болезни Сильвестр принимал сторону князя Владимира Андреевича, а Адашев выказал очень мало усердия к царю и его семейству. Хотя после своего выздоровления Иоанн стал смотреть уже другими глазами на своих любимцев, однако несколько лет оказывал им прежнюю доверчивость. Но опека их начала тяготить Иоанна; притом были, конечно, и люди, возбуждавшие его против Сильвестра и Адашева, наговаривавшие на них.

Привыкнув советоваться с Сильвестром в делах религиозных и нравственных, питая к нему неограниченную доверчивость, царь не мог не советоваться с ним и в делах политических. Иоанн принял твёрдое намерение покорить Ливонию. Но против этого намерения восстали бояре и особенно Сильвестр: вместо покорения Ливонии они советовали царю покорить Крым. Однако вопреки этому совету Иоанн продолжал войну ливонскую. Как же поступил в этом случае Сильвестр? Он стал внушать Иоанну, что все неприятности, постигавшие его после того — болезни его самого, жены, детей, — суть наказания Божия за то, что он разорял Ливонию, которую Сильвестр называл сиротой вдовицею. Бесспорно, Сильвестр был вообще человек благонамеренный, муж строгого благочестия, что особенно и давало ему власть над набожным Иоанном. И против ливонской войны он выставлял со своей стороны благовидные причины: вместо того, чтобы воевать с христианами, лучше воевать с неверными, беспрестанно опустошавшими границы русской земли. Но, стараясь подействовать на Иоанна, Сильвестр переступал меру осторожности и тем раздражал его.

Влияние Сильвестра и друзей его тяготило Иоанна. В характере его была следующая черта: «Увлекаясь мыслью, он, не привыкший к труду, охотно отдавал подробности другим, вполне доверялся этим другим и потом замечал, что они забрали слишком много власти. Тогда он вооружался против тех, кому верил: доверие сменялось подозрительностью. К тому же недовольство на советников у него всегда соединялось с недовольством на себя — черта очень понятная у человека нервного и не умеющего энергично вести дело. Вот почему Иоанн от доверия перешёл к подозрительности, старался окружить себя людьми, которые не выходили бы из повиновения ему, и, научившись презирать этих людей, простёр своё презрение на всех, перестал верить в свой народ»^[57].

В это время Иоанном овладели люди, неприязненные Сильвестру и Адашеву. Сильвестр и его сторонники раздражили шурыёв царя и саму царицу Анастасию: последнее было для них всего пагубнее. Мы не знаем, почему именно не ладила она с ними, но царь, в письме своём к Курбскому, напоминает, что Анастасию уподобляли нечестивым царицам и, между прочим, Евдоксии, жене византийского императора Аркадия, преследовавшей Иоанна Златоуста. Это указывает, что царица не любила Сильвестра, которого его сторонники сравнивали с св. Златоустом. С нею и с её шурыями действовали на царя другие, которые, по правдоподобию объяснению Курбского, хотели удалить Сильвестра и его сторонников для того, чтобы им невозбранно было всем владеть, брать посулы, извращать правосудие и умножать злыми способами свои пожитки. Хотя до нас не дошли непосредственно их доводы, какими они вооружали царя против Сильвестра и Адашева, но, вероятно, они были именно те, какие сам царь впоследствии приводил для оправдания своих последующих поступков. Вот эти доводы: священникам совсем не следует властвовать и управлять; царство, управляемое попами, разоряется: так было в Греции; и Бог, изводя Израиля из плена,

не священника над ними поставил и не многих правителей, а единого Моисея, как царя; Аарону же, его брату, повелел священствовать, а не творить людского строения. А как Аарон начал заниматься людским строением, так и отвёл от Бога людей. Царь должен быть самодержавен, всем повелевать и никого не слушаться; а если он будет делать то, что другие постановят, тогда только честию царскою председания будет почтён, а на деле не лучше раба. И пророк сказал: «Горе граду, имже мнози обладают». Русские владетели и прежде никому не повиновались, а вольны были подвластных своих миловать и казнить. Так говорил царь: так, вероятно, и ему говорили враги Сильвестра и его партия. Но в довершение всего они заронили царю мысль, что Сильвестр — чародей и силою волшебства опутал его и держит в неволе.

Зимою 1559 года произошло крупное столкновение Сильвестра и Адашева или советников их с царицею, решившее судьбу бывших царских любимцев. Подробности этого события нам неизвестны. Знаем только, что во время богомольного путешествия царица захворала в Можайске. Иоанн поспешил с нею в Москву; наступила страшная беспутица: ни верхом, ни в санях нельзя было проехать. Тут из-за какого-то обидного для бояр слова Анастасии произошла ссора. «За одно малое слово с её стороны явилась она им неугодна; за одно малое слово её они рассердились».

Весною следующего, года Алексей Адашев послан был воеводой в Ливонию. Такая почётная должность служила для прежнего любимца уже знаком немилости: он должен был лично участвовать в войне, которую не одобрял. В это же время и Сильвестр, видя совершенную холодность к себе государя, добровольно удалился в Кирилло-Белозерский монастырь. Знаменательно в этом случае то, что и здесь мы видим остаток того нравственного влияния, которым Сильвестр пользовался над царём. Иоанн выставляет более виновным Адашева: «сыскав измены собаки Алексея Адашева со всеми его советниками». О Сильвестре же Иоанн говорит, что не сделал ему никакого зла и не хочет судить его, а будет судиться с ним перед судом Христовым. Невоздержанный на бранные выражения, Иоанн в переписке с Курбским позволяет себе только одно бранное выражение насчёт Сильвестра: припоминая свои столкновения с ним в совете о делах политических, позволяет себе называть его невеждою.

Итак, Сильвестр и Адашев сошли со сцены, но у них осталось немало приверженцев и сторонников. Последние нашли бы, может быть, средства примирить с ними царя. Но тут случилось обстоятельство, сделавшее невозможными это примирение и возврат к прежним отношениям.

VII

Тринадцать лет Иоанн наслаждался полным семейным счастьем с Анастасией, которую горячо любил; тринадцать лет Анастасия была ангелом-хранителем своего державного супруга, укрощая и сдерживая его пылкие страсти. Она цвела здоровьем и молодостью. Но в июле 1560 года она занемогла тяжкою болезнью, усилившуюся вследствие испуга. В сухое время, при сильном ветре, загорелся Арбат; тучи дыма с пылающими головнями неслись к Кремлю. Иоанн «с великою нужею» вывез больную царицу в село Коломенское; сам тушил огонь, подвергаясь величайшей опасности. Этот пожар возобновлялся несколько раз; многие люди лишили жизни или остались изувеченными. Царице от страха и беспокойства сделалось хуже: к отчаянию супруга и великой скорби всех русских, она скончалась 7 августа в 5 часу дня. Когда тело первой царицы московского государства несли для погребения в девичий Вознесенский монастырь, народ не давал пути ни духовенству, ни вельможам, теснясь к гробу. Все плакали, и всех неутешнее бедные нищие, называя почившую своею матерью. Когда им хотели раздавать обычную в таких случаях милостыню, они отказывались от неё, чуждаясь всякой отрады в этот день великой всеобщей печали. Иоанн шёл за гробом, ведомый под руки братьями Юрием и Владимиром Андреевичем и молодым царём казанским Александром. Он стenal и рвался от сильной горести. Один первосвященник, сам обливаясь слезами, дерзал напоминать ему о твёрдости христианина.

Со смертью Анастасии Иоанн, по выражению Карамзина, «лишился не только супруги, но и добродетели». По смерти её, говорит летописец, «как будто великая буря поднялась в сердце царя, прежде тихом и благостном, и многомудрый ум его изменился на яростный нрав». Понятно, что с потерей любимой супруги царю стали ненавистны те, которые не любили её при жизни. Этим воспользовались «презлые ласкатели», особенно братья царицы, и стали шептать царю, что Анастасию извели своими чарами лихие люди, Сильвестр и Адашев. Иоанн, уже предубеждённый против своих бывших любимцев, легко поддавался внушениям их врагов. Узнав от своих друзей о взводимом на них обвинении, Сильвестр и Адашев посылали письма к Иоанну, просили и чрез митрополита, чтобы их лично призвали на суд. Но враги не допустили до этого. «Если ты, царь, — говорили ему, — согласишься их к себе на глаза, они очаруют тебя и детей твоих; да, кроме того, народ и войско любят их, взбунтуются против тебя и нас перебьют камнями. Хотя бы этого и не случилось, они опять обойдут тебя и возьмут в неволю. Эти негодные чародеи уже держали тебя как будто в оковах, повелевали тебе в миру есть и пить, не давали тебе ни в чём воли — ни в малых, ни в больших делах. Не мог ты ни людей своих миловать, ни царством своим владеть. Если бы не было их при тебе — таком славном, храбром и мудром государе, если бы они не держали тебя как на узде, то ты бы почти всю вселенную обладал. А то они своим чародейством отводили тебе глаза, не давали тебе ни на что смотреть, сами желали царствовать и всеми нами владеть. Только допусти их к себе, тотчас тебя ослепят! Вот теперь, отогнав их от себя, ты истинно пришёл в свой разум, открылись у тебя глаза; теперь ты — настоящий помазанник Божий; никто иной — ты сам один всем владеешь и правишь».

Собраны были духовные и светские сановники судить Сильвестра и Адашева. Всего более ярились против Сильвестра Вассин, Чудовский архимандрит Левкий и Мисаил Сукин. Епископы, завидовавшие возвышению Сильвестра, примкнули к врагам его, когда увидели, что и царю угодно, чтобы все выказали себя противниками павшего любимца. Один митрополит Макарий с благородною смелостью заявил, что нельзя судить людей заочно и что следует выслушать их оправдание. Но угодники царя завопили против него: «Нельзя допускать ведомых злодеев и чародеев: они царя околдуют и нас погубят». Собор осудил Сильвестра на заточение в Соловки: его взяли из Белозерской пустыни и отвезли туда на тяжёлое заключение. Впрочем, положение его не могло быть очень тяжёлым в Соловецкой обители, игуменом

которой был Филипп (впоследствии митрополит), человек, сходившийся в убеждениях с бывшим главою правительства. С этих пор имя Сильвестра уже не встречается в памятниках того времени.

Вместе с падением Сильвестра постиг конец и Адашева. Сначала ему велено было оставаться в недавно завоёванном городе Феллине, но вскоре царь приказал привести его в Дерпт и посадить под стражу. Через два месяца после своего заключения он заболел горячкою и скончался. Смерть избавила его от дальнейшего мщения царя, но клеветники распустили слух, будто он от страха отравил себя ядом. «Изменник твой отравился», — говорили они царю. Долговременная близость его к царю и управление государственными делами давали ему возможность приобрести большие богатства, но он не оставил после себя никакого состояния: всё, что приобретал, он раздавал нуждающимся.

VIII

С удалением строгих и докучных порицателей Иоанн изменил прежний образ жизни: он как будто вырвался из тесного заключения на свободу. Опека Сильвестра давно уже была ему не по душе, но его сдерживала пугливая совесть. Поначалу он, сколько мог, сдерживал и свою страстную природу, и порывы властолюбия. Чем сильнее было это принуждение, тем неукротимее высказался теперь его страстный характер. Смерть любимой жены также давала случай разыграть подавленным страстям. При её жизни он налагал на себя обет воздержаний, трудный для его характера, испорченного с малолетства. Курбский так описывает разгульную жизнь царя по смерти Анастасии: «Начались частые пиры со многим распутством; наливали великие чаши зело пьяного питья и давали первую выпить царю, а потом и всем с ним пирующим. Пир продолжался, пока не упьются до беспамятства или до неистовства. Про тех же, которые не хотели пить, кричали царю: «Вот какой он! Не хочет веселиться на твоём пиру... вот нашёлся праведник! Наверно, он осуждает нас и над нами смеётся: он твой недоброхот, несогласный с тобою; из него ещё не вышел дух Сильвестров и Алексеев!» Так тешились они над трезвыми людьми и выливали им на головы чаши или подвергали мукам... Вместо поста, целомудренной жизни и кротких молитв, появились тогда лень и долгое спанье, а по сне зевота и головная боль с похмелья».

Когда удалены были Сильвестр и Адашев, около Иоанна образовалась пустота: люди, к которым он привык, которых любил и уважал, исчезли; к новым людям, занявшим их место, не чувствовалось уважения. В это время новый удар — Иоанн овдовел, остался совершенно одинок, остался один с своими страстями, требовавшими немедленного удовлетворения. А Иоанн был человек крайностей: переходы от зла к добру и от добра к злу были в нём очень скоры. И вот он окружил себя любимцами, которые расшевеливали его дикие страсти, напевали ему о самодержавном достоинстве и возбуждали против людей Сильвестровой партии. Главным из этих любимцев были: боярин Алексей Басманов, сын его Фёдор, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Бельский, Грязной и чудовской архимандрит Левкий. Они теперь заняли место прежней «избранной рады» и стали царскими советниками. Под их влиянием царь начал с 1561 года свирепствовать над друзьями и сторонниками Сильвестра и Адашева.

Сначала не было казней: со сторонников Сильвестра взяты были записи. Но скоро, заметив, что низложенная партия хлопочет о возвращении власти, царь ожесточился. Тогда начались казни. На первых порах Иоанн, впрочем, часто довольствовался заключением в монастырь или ссылкой.

Самым близким человеком к Сильвестру и Адашеву из бояр был князь Дмитрий Курлятев: его с женою и дочерьми сослали в монастырь. Князь Михайла Воротынский с семейством сослан был на Белоозеро и получал содержание на себя, семью и холопей. В 1561 году взято письменное обещание не отъезжать с князя Василия Михайловича Глинского. В 1562 году 29 человек поручились по князе Иване Дмитриевиче Бельском, что ему не отъехать ни в какие государства, ни в уделы, и за этих поручников поручилось ещё 120 человек. Но в том же году Бельский уже снова бил челом за свою вину, что преступил крестное целование и хотел бежать от государя своего. Несмотря на это, государь «холопа своего пожаловал, вины ему отдал». В следующем 1563 году Бельский с шестью другими боярами выручал другого отъезжика, князя Александра Ивановича Воротынского. В 1564 году выручен был Иван Васильевич Шереметев двойным ручательством. Курбский пишет, что Иоанн мучил Шереметева, допытываясь, где его богатство. Шереметев отвечал, что «оно руками нищих перенесено в небесное сокровище, ко Христу». Иоанн умилился, велел снять с него тяжёлые оковы и перевести в тюрьму более сносную. Иван Шереметев постригся потом в Кирилло-Белозерском монастыре. Но царь не оставлял его в покое и здесь ставил на вид игумену, что Шереметеву делают противные монастырским правилам послабления. «Сперва, — говорил

Иоанн, — мы никого не казнили, а велели всем отстать от наших изменников (то есть от Сильвестра и Адашева) и не держать их сторону: в этом мы утвердили бояр крестным целованием. Но приверженцы Сильвестра и Адашева ни во что поставили нашу заповедь и свою клятву: они стали строить против нас козни, являя неутомимую злобу и непреклонный разум». Прежде всего, по словам Курбского, казнена была вдова, Мария Магдалина, с пятью сыновьями. Она была родом полька, приняла православную веру и вела строгую жизнь. Её обвинили как чародейку и согласницу Алексея Адашева. Тогда же казнены были родственники Адашева: брат Данила с двенадцатилетним сыном и тестем, Туровым, трое братьев Сатиных, которых сестра была за Алексеем Адашевым, наконец, родственники Адашевых — Иван Шишкин с женою и детьми. Пострадали, по словам Курбского, и такие лица, которые не имели сношений с обвинёнными, понёсши казнь только за своё богатство, которым хотели воспользоваться новые любимцы Иоанна.

Молодой князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, племянник любимца великой княгини Елены, был казнён по одному известию за то, что, поссорившись с молодым Фёдором Басмановым, любимцем Иоанна, сказал ему: «Я и предки мои служили всегда с пользою государю, а ты служил гнусною содомеею». Басманов пожаловался царю. Иоанн пригласил Оболенского к столу и велел подать ему большую чашу вина, с приказом выпить одним духом. Оболенский не мог выпить и половины. «Так-то, — сказал Иоанн, — ты желаешь доброе своему государю! Не захотел пить, так ступай же в погреб: там есть разное питьё, там напьёшься за моё здоровье». Оболенского увели в погреб и задушили; а царь, как будто ничего не зная, послал на другой день в дом Оболенского приглашать его к себе и потешался ответом его жены, которая, не ведая, что случилось с её мужем, отвечала, что он ещё вчера ушёл к государю.

IX

Мы упоминали, что некоторые из московских бояр, видя возрастающую подозрительность Иоанна, имели намерение отъехать в Литву. Некоторым это удалось. Так, отъехали двое черкасских, Владимир Заболоцкий, Шашкович и с ними много детей боярских. Отъехал также и князь Димитрий Вишневецкий, прибывший в московское государство с целью громить Крым. Видя, что цель его не достигается, он ушёл обратно в Литву к Сигизмунду-Августу и примирился с ним^[58]. Иоанн притворился, будто бегство его нимало не тревожило, и в наказе своему гонцу велел говорить в Литве, когда спросят про князя Вишневецкого: «Притёк он к нашему государю как собака и утёк как собака, и нашему государю, и земле не причинил он никакого убытка». Но более всего подействовало на Иоанна бегство князя Курбского.

Вельможам, находившимся в Москве, трудно было отъехать; легче было сделать это воеводам, находившимся на границах, в Ливонии. Этим воспользовался один из самых знаменитых воевод, князь Андрей Михайлович Курбский, и отъехал в Литву, к королю Сигизмунду-Августу, который принял его с честью. Курбский был в числе самых близких советников Сильвестра и Адашева, но до конца 1559 года пользовался особенным расположением Иоанна. Когда в ливонской войне дела русских приняли было худой оборот и русские войска приуныли, царь призвал князя Курбского и сказал ему: «Принуждён я или сам идти против ливонцев или тебя, любимого моего, послать, да охрабрится снова моё войско: иди и послужи мне верно». И Курбский не изменил ни мужеству, ни искусству: в два месяца он одержал восемь побед над рыцарями и разгромил Ливонию.

Доселе Курбский служил Иоанну верно; ни одно пятно не затмевало его славы: бился ли он под Тулой, под Казанью, в степях ли Башкирских или на полях Ливонии — везде победа украшала его чело своими лаврами, везде удары меча его решали битвы к славе и чести России. В 1563 году он изменил своему государю, покинул отечество и стал служить главному врагу Иоаннову, королю польскому. Что же заставило его решиться на это? Он проиграл битву под Невлем, хотя у него было войска гораздо более, чем у неприятеля. Неудача эта рассердила царя, и он обмолвился гневным словом... Друзья Курбского известили его об этом. Знал он и раньше о перемене, происшедшей с царём, о казнях, о ненависти царя к боярам и глубоко скорбел. Один за другим гибли в Москве люди, близкие Курбскому, бояре именитые, оказавшие большие услуги царю, — и вот очередь за ним... Ему ли на 35-м году жизни, полному жизни и надежды, уже знаменитому победами, образованнейшему из русских бояр погибнуть бесславной смертью на плахе? Ему ли, потомку Владимира Мономаха, не знающему за собою никакого проступка, пострадать от гнева царя, окружённого презренными наушниками, готовыми чернить всех честных людей? Припомнилось ему и старинное право не только именитых людей, но даже и простых дружинников переходить по своему желанию на службу от одного русского князя к другому. А польский король, он же и великий князь литовский и русский (по юго-западным русским областям) уже рассылал московским боярам зазывные листы, обещая им свою милость и привольное житьё в своём государстве. Сам Курбский получил два письма ещё раньше невльской битвы — одно от короля, другое от сенаторов — Николая Радзивилла, гетмана литовского, и Евстафия Воловича, подканцлера литовского. В этих письмах король, гетман и подканцлер приглашали Курбского оставить московское государство и приехать в Литву. Потом Курбский получил ещё грамоты от короля и Радзивилла: король обещал ему свои милости; Радзивилл уверял, что ему дано будет приличное содержание. Курбский отправился в Литву после того, как получил от короля опасную грамоту, и сенаторы присягнули, что король исполнит данные ему обещания. Значит, изменить государю и отечеству Курбский задумал гораздо прежде неудачи под Невлем. Гневное слово царя за невльскую битву послужило для него только побуждением к бегству.

Мысль о позорной казни, после стольких заслуг, ожесточила его. «Чего хочешь ты, — спросил он свою жену, — мёртвым ли меня видеть пред собою или с живым расстаться навеки?» «Не только видеть тебя мёртвым, но и слышать о смерти твоей не желаю», — отвечала жена. С горькими слезами облобызав супругу и девятилетнего сына, Курбский тайно перелез через крепостную стену (города Юрьева, ливонского, или Дерпта, где он был воеводою, бросил городские ключи в колодезь, нашёл двух коней, приготовленных его слугою Шибановым, и усакал с ним в город Вольмар, занятый литовцами (от Дерпта до Вольмара 1230 вёрст).

Приведём несколько выдержек из переписки Курбского с Иоанном:

«ЭПИСТОЛИЯ ПЕРВАЯ князя Андрея Курбского, писана к царю и великому князю московскому, прелютюго ради гонения его.

Царю, от Бога препрославленному, пресветлому прежде в православии, а теперь за наши грехи во всем изменившемуся: разумей тот, у кого прокажённая совесть, какой не найти даже и среди безбожных народов! Так начинается послание Курбского.

«За что, о царь, — спрашивает он далее, — сильных во Израиле ты побил и воевод, данных тебе Богом, разным казням предал и победоносную и святую кровь их пролил и мученическую их кровию церковные пороги обагрил? За что на доброхотов твоих, душу свою за тебя полагающих, умыслил ты неслыханные мучения и гонения, ложно обвиняя их в изменах и чародействах? Чем провинились они перед тобою, о царь? Чем прогневили тебя? Не они ли прегордые царства разорили и своим мужеством и храбростью покорили тебе тех, у которых прежде наши предки были в рабстве? Не их ли разумом достались тебе претвёрдые города Ливонские? Это ли нам бедным воздаяние твоё, что ты губишь нас целыми родами? Уж не бессмертным ли себя, царь, считаешь? Уж не прельщён ли ты небывалой ересью, не думаешь ли, что тебе не придётся и предстать пред Неподкупным Судиею, Иисусом Христом? Он, Христос мой, сидящий на престоле херувимском, будет Судиею между тобою и мною! Какого только зла не потерпел я! За благие дела мои ты воздал мне злом, за любовь мою — ненавистью! Кровь моя, как вода, пролитая за тебя, вопиет на тебя к Господу моему! Бог свидетель: прилежно я размышлял, искал в уме своём — и не нашёл своей вины и не знаю, чем согрешил я пред тобою. Ходил я пред войском твоим и не причинил тебе никакого бесчестия; только славные победы, с помощью ангела Господня, одерживал во славу тебе. И так не один год и не два, но много лет трудился я в поте лица, с терпением; трудился вдали от отечества, мало видел и моих родителей, и жену мою. В далёких городах против врагов моих боролся, терпел многие нужды и болезни. Много раз был ранен в битвах, и тело моё уже всё сокрушено язвами. Но для тебя, царь, всё это ничего не значит, и ты нестерпимую ярость и горчайшую, паче разожжённые печи, ненависть являешь к нам».

«Хотел было я рассказать по порядку все мои ратные дела, которые совершил на славу твою, с помощью Христа, но не рассказал потому, что Бог лучше знает, нежели человек. Бог за всё мздовоздатель... Да будет ведомо тебе, царь: уже не увидишь ты в этом мире лица моего. Но не думай, что я буду молчать: до смерти моей буду непрестанно вопиать со слезами на тебя Безначальной Троице... Не думай, царь, что избиенные тобою неповинно, заточенные и изгнанные без правды уже погибли окончательно: не хвались этим, как победой. Избиенные тобою у престола Господня стоят, отмщения просят; заключённые же и изгнанные тобою без правды на земле вопиют на тебя к Богу и день, и ночь...»

«Это письмо, омоченное слезами, я повелю положить во гроб с собою».

Ответом на это письмо Курбского было:

**«ПОСЛАНИЕ царя и великого князя Иоанна Васильевича всея России ко князю Андрею Курбскому,
против его князя Андреева письма, что он писал из града Вольмара.**

«Бог наш Троица, иже прежде век сый, ныне есть, Отец и Сын и Святы́й Дух, ниже начала имать, ниже конца, о Нём же живём и движемся и есмы, Им же царие царствуют и сильные пишут правду... Победоносная хоругвь и крест честный даны первому в благочестии царю Константину Великому и его преемникам, всем православным царям и блюстителям православия. Слова Божии всю вселенную, как орлы, облетели. Искра благочестия дошла и до русского царства: самодержавство Божиим изволением получило начало от великого князя Владимира, просветившего всю русскую землю святым крещением, и великого князя Владимира Мономаха, который от греков высокодостоянейшую честь принял, и храброго великого государя Александра Невского, победившего безбожных немцев, и достохвального великого государя Димитрия, одержавшего за Доном великую победу над безбожными агарянами. Дошло самодержавство до мстителя неправдам, деда нашего, великого государя Ивана, до блаженной памяти отца нашего, великого государя Василия, старых прародительских земель обретателя, дошло и до нас смиренных скипетродержавие русского царствия. Мы же хвалим за премногую милость к нам Бога, не попустившего доселе руке нашей обagrиться единоплеменной кровью, потому что мы ни у кого не отнимали царства, но Божиим изволением и прародителей и родителей своих благословением как родились в царском достоинстве, так и выросли и воцарились, своё взяли, а не чужое отняли.

Наш христианский смиренный ответ бывшему прежде истинного христианского самодержавства и нашего государства боярину и советнику и воеводе, ныне же клятвопреступнику и губителю христианства и врагам его служителю, князю Андрею Михайловичу Курбскому.

Зачем, князь, думая соблюсти благочестие, ты душу свою отверг? Что дашь взамен её в день страшного суда? Если и весь мир приобретёшь, всё же наконец смерть постигнет тебя! Зачем ради тела погубил ты душу свою? Убоялся ты смерти по ложному слову своих друзей; а все они, как бесы, преступивши крестное целование, всюду нам сети расставляли, надзирая за нашими словами и движениями, думая, что мы должны быть безгрешны как бесплотные, и потому сплетали на нас поношения и укоризны. От этих бесовских слухов наполнились вы на меня ярости, как смертоносного змеино́го яда, и душу свою погубили и на разорение церкви стали. Или думаешь, окаянный, что уберёжешься от этого? Никак! Если придётся тебе за одно с ними (литовцами) воевать, то должен будешь ты и церкви (православные) разорять, и иконы попира́ть, и христиан губить. Где руками своими не дерзнёшь творить этого, то мыслью своею смертосно́ю (советом) много злобы сотворишь. Подумай же, как, при вражеском нашествии, конскими копытами будут растерзаны и растоптаны нежные члены младенцев... И вот твоё злобесное умышление уподобиться Иродову неистовству в избииении младенцев.

Ты ради тела душу погубил. Разумей же, бедняк, с какой высоты и в какую пропасть низвергся ты! Это ли твоё благочестие, что погубил ты душу свою ради своего самолюбия? Разумные люди и там (в Литве) поймут, что ты, желая славы мимолётной и богатства, это сделал, а не от смерти бежал. Если ты праведен и благочестив, как говоришь, почему же убоялся не повинной смерти? — ведь это не смерть, а приобретение. Придётся же, во всяком случае, умереть. Презрел ты и слова апостола Павла: «Всякая душа владыкам властвующим да повинуется: нет такого начальства, которое не от Бога учинено. И потому противящийся власти Божией повелению противится». Смотри же и пойми: кто противится власти, тот Богу противится. А кто Богу противится, тот зовётся отступником: а это — горчайшее согрешение. Сказано же апостолом о всякой власти, которая даже добыта кровью и войною. Припомни же сказанное выше, что мы не насилием приобрели царство. Презрел ты также слова апостола Павла, сказанные в другом месте: «Рабы, слушайтесь господ своих, не только пред очами их повинуюсь, как человекоугодники, но как Богу, и не только благим

(господам), но и строптивым, не только за гнев, но и за совесть. Это воля Божия — творя благое, пострадать». Почему же не захотел ты от меня, строптивного владыки, страдать и венец жизни (нетленный мученический венец) наследовать? Ради временной славы, сребролюбия и сладостей мира сего ты всё своё душевное благочестие с христианскою верою и законом пограл.

Как не устыдился ты раба своего Васьки Шибанова? Он благочестие своё соблюл. Пред царём и пред народом, при смертных вратах стоя, он не изменил крестному целованию, но, восхваляя тебя, готов был всякую смерть принять за тебя. А ты из-за одного гневного слова моего не только свою душу, но и души, всех прародителей погубил, потому что Бог деду нашему поручил их в работу; и они, дав свои души (присягу), до смерти своей служили и вам, своим детям, приказали служить деда нашего детям и внукам. И это всё ты забыл, собацким изменным обычаем преступил крестное целование, соединился с врагами христиан, да к тому же ещё скудоумными словами нелепости говоришь против нас, словно камни на небо бросая.

Писание твоё я хорошо уразумел. Оно кажется снаружи наполненным, мёда и сота, но яд аспиды ты скрыл под устами своими. От слепотствующей злобы твоей не можешь видеть истины. Разве это «совесть прокажённая» — своё царство держать в своей руке и власти своим рабам не давать? Разве тот — «супротивник разуму, кто не хочет быть во власти своих рабов? И в том ли «православие пресветлое», чтобы рабы владели и повелевали? «Если и есть на мне малое согрешение, то от вашего же соблазна и измены. Я — человек. Нет человека без греха: безгрешен только один Бог. Я не считаю себя, как ты, выше человека, равным ангелам. А о безбожных государях что и говорить! Они своими царствами не владеют: как велят им их рабы, так они и властвуют. А российские самодержцы изначала сами владеют, а не бояре и вельможи. И ты этого не мог в своей злобе рассудить: по-твоему, благочестие — самодержавству быть под владычеством попа и под вашей властью; а это, по твоему разуму, — нечестие, что мы сами захотели иметь власть, данную нам от Бога, и не пожелали быть под властью попа».

«Потому ли я противником вашим явился, что не дал вам погубить меня? А ты сам поступил и против разума, и против клятвы из-за ложного страха смерти. Чего сам не творишь, то нам советуешь. Как начали вы поношения и укоризны нам, так и ныне не перестаёте, звериной яростью распалясь, совершаете вы свою измену. Это ли ваша доброхотная, прямая служба — поносить и укорять? Что же ты, собака, и пишешь, и соболезуешь, совершив такую злобу?»

Затем в письме приводятся примеры из священной истории и из истории Греции, показывающие, что подданным следует покоряться власти, а властителям следует быть в иных случаях и очень строгими, по словам апостола: «Иных милуйте, иных же страхом спасайте»: Константин Великий убил сына своего для блага царства; князь Фёдор Ростиславич, прародитель твой, много крови пролил в Смоленске на Пасху, а всё же причтён к лику святых; Давид оказался угодным Богу, хотя и приказал избить в Иерусалиме своих врагов и ненавистников».

«И во всякое время царям следует быть осмотрительными — иногда кротчайшими, иногда же ярыми; добрым людям оказывать милость и кротость, злым же ярость и мучение. Не могущий так поступать — не царь. Хочешь не бояться власти — делай добро. Если же злое творишь — бойся: не напрасно царь носит меч, а на месть злодеям и в защиту добродеем».

«Ты же уподобился Иуде-предателю. Как он на Владыку всех возбесился и на смерть предал Его, так и ты, пребывая с нами и хлеб наш вкушая, собирал злобу на нас в своём сердце. Почему ты являешься учителем моим? Кто тебя поставил судьёй или начальником над нами? От кого ты послан проповедовать? Кто рукополагал тебя?»

«Нигде ты не найдёшь того, чтобы не разрушилось царство, обладаемое попами. Они в Греции царство погубили и туркам подчинили. Эту погибель и нам советуешь? Пусть она на твою голову падёт.

Разве это хорошо — попу и пригордым лукавым рабам владеть, а царю только царским почётом пользоваться, а властью быть ничем не лучше раба? Как же он и самодержцем будет называться, если не сам всё устрояет».

«Когда Бог избавил израильтян от рабства египетского, то вспомни, кого поставил властвовать — священника или многих правителей? Одного Моисея поставил властителем, а священствовать велел Аарону, в мирские же дела не вмешиваться. Когда же Аарон стал вмешиваться, тогда люди отпали даже от Бога. Когда Илий-жрец взял на себя и священство, и царство, то и сам, и сыновья его погибли злою смертью, и весь Израиль побеждён был до дней царя Давида».

Далее приводятся примеры из истории Рима, Византии, Италии — в доказательство того, что и могучие царства гибли от разделения власти и подчинения царей вельможам. «Иное дело — душу свою спасать (быть иноком), иное — заботиться о душе и теле многих; иное дело — святительская власть, иное — царское правление. В монашестве можно быть смиренному, подобно агнцу или подобным птице, которая ни сеет, ни жнёт и не собирает в житницы: царское же правление требует страха и запрещения и обуздания. Горе, говорит пророк, дому тому, которым многие обладают. Видишь ли, что владение многих подобно женскому безумию».

«А что ты писал: за что я сильных во Израили побил и воевод, данных нам от Бога, погубил разными смертями? — так это ты писал ложно, лгал, как отец твой, дьявол, научил. Кто сильнейший в Израили, не знаю: земля правится Божиим милосердием, Пречистой Богородицы милостию, всех святых молитвами и родителей наших благословением и, наконец, нами, государями, а не судьями и воеводами. Если я и казнил разными смертями воевод своих, так их у нас множество и кроме вас, изменников. Своих холопов вольны мы жаловать, вольны и казнить. В иных землях сам увидишь, сколько зла творится злым: там не поздешнему! Это вы своим злобесным обычаем утвердили, чтоб изменников любить: в иных землях их казнят, — тем и власть утверждается. А мук, гонения и смертей различных ни на кого я не умышлял; а что упомянул ты об изменах и чародействе, так собак таких всюду казнят».

После этого Иоанн подробно припоминает о тех обидах и оскорблениях, какие он терпел от бояр в детстве, и затем о стеснительной опеке, наложенной на него Сильвестром и Адашевым после большого московского пожара и народного мятежа. Потом он продолжает:

«Ты их (бояр и воевод), тленных людей, называешь предстателями у Бога. Ты еллинам (язычникам) уподобляешься, осмеливаясь тленных людей называть предстателями. Мы же, христиане, знаем Заступницу христианскую, Пречистую Владычицу Богородицу; затем предстатели — все небесные силы, архангелы и ангелы, затем молитвенники наши — пророки, апостолы, святые мученики. Вот предстатели христианские! И нам, царям, носящим порфиру, неприлично называться предстателями. Ты же не стыдишься тленных людей, притом изменников, называть предстателями! А что писал ты, будто те предстатели прегордые царства разорили и прочее, то это разумно сказать только о казанском царстве, а около Астрахани и близко вашей милости не было. В том ли состоит храбрость, чтобы службу считать опалою? Когда вы ходили в поход на Казань без понуждения, охотно? Вы всегда ходили, как на бедное хождение. Когда истощились запасы под Казанью, вы, постояв три дня, уже хотели вернуться, если бы я не удержал вас. Если бы при взятии города я не удержал вас, сколько бы вы погубили православного воинства, начавши бой не вовремя! А потом, когда милостию Божиею город был взят, вместо того, чтобы порядок водворять, вы кинулись грабить. Это значит прегордые царства разорять, как ты безумно и надменно хвалишься!»

Исчислив все недостатки бояр, действительные и мнимые, Иоанн говорит: «А за такие ваши заслуги, как сказано выше, вы достойны были многих опал и казней; но мы ещё милостиво вас наказывали. Если бы я по твоему достоинству поступил, ты к нашему недругу не уехал бы».

«Кровь твоя, говоришь ты, пролитая иноплемениками за нас, вопиет на нас к Богу. Это смеха достойно! Не нами, а другими пролитая, на других и вопиет. Если и пролил ты кровь в борьбе с супостатами, так сделал ты это для отечества. Не сделай ты этого, то не был бы христианин, а варвар. Во сколько раз больше наша кровь вопиет на вас к Богу, нами самими пролитая не ранами, не каплями, но многим потом и многим трудом, каким вы отягощали меня сверх силы! И от вашей-злости вместо крови много слёз наших излилось, ещё больше воздыханий и стенаний сердечных; от того получил я и боль в пояснице...»

Затем царь презрительно отзывается о заслугах Курбского, корит его за неудачу под городом Невлем и прибавляет: «Военные твои дела нам хорошо ведомы. Не считай меня неразумным или младенцем по уму. Не думайте также меня детскими страшилами напугать, как прежде делали с попом Сильвестром и с Алексеем».

«Убиенные, говоришь, предстоят у престола Божия, и это помышление твоё суетно: по словам апостола, «Бога никто же нигде не виде». Вы, изменники, если и вопиете без правды, ничего не получите. Я же ничем не хваюсь в гордости: делаю своё царское дело и выше себя ничего не творю. Подвластным людям благим воздаю благое, злым — злое. Не по желанию казнь их, а по нужде.

«А что своё писание с собою в гробе хочешь положить, этим ты последнее своё христианство отверг от себя. Господь велел не противиться злу, ты же даже обычное, что и невежды понимают, прощение пред кончиною отверг, а потому ты недостоин и отпевания».

Курбский кратко отвечает на послание Иоанна, что он должен был постыдиться писать так нескладно, подобно неистовой бабе, в чужую, просвещённую страну, где есть люди, искусные не только в грамматике и риторике, но и в диалектических и философских учениях. «В нём (послании царя) со мною яростью нахватаю выписок из Священного Писания не стихами и строками, как прилично людям учёным, а целыми посланиями и книгами; рядом с этим говорится о постелях, о телогреях и иные бабьи басни^[59]». «Да и хорошо ли, — продолжает он, — так грозить человеку оскорблённому, изгнанному; вместо утешения так кусательно грызть своего бывшего верного слугу от юности! Чего ты от нас ещё хочешь? Уж не только поморил ты всех князей из роду великого Владимира, так сказать, и последнюю рубашку мы отдали твоему прегордому и царскому величеству». В заключение он говорит: «Мог бы я дельно ответить на каждое твоё слово, да удержал руку с тростью и отдал всё на суд Божий: рыцарским людям неприлично браниться, как рабам».

В 1577 году Иоанну удалось вновь одержать несколько побед в Ливонии и взять город Вольмар (Володимир Ливонский). Тут он вспомнил о Курбском и, вымещая свою старую досаду, написал к нему краткое письмо, в котором намекает на то, что город, где он когда-то спасался, теперь уже не спасёт его. По обычаю, Иоанн начинает торжественно и прописывает весь свой царский титул, причём называет себя и государем Ливонии. «Вспоминаю тебя, князь, со смирением, — говорит он далее, — хоть и больше песка морского мои грехи, но надеюсь на милость Божию: мне, мучителю, дарована победа над врагами». После этого он опять исчисляет свои старые обиды, но, довольный победою, упоминает об них спокойно, без гневного раздражения. Иоанн упрекает советников Сильвестра за то, что они сняли с него всю власть, призвали его на суд с боярами, ободряли его, когда он покупал наряды дочерям Курлятева, и осуждали, когда он наряжал своих. Но самые едкие, кусательные слова, которыми он хочет уязвить Курбского, припасены к концу. «Вы, — говорит он, — думали, что нет людей на Руси, кроме вас: а кто же теперь берёт претвёрдые Ливонские города? Ты себе на зло писал, будто мы посылали тебя в дальние города, как в опале: а вот мы теперь прошли и далее твоих дальних мест, наши кони переехали все ваши дороги из Литвы и в Литву, и пеши мы ходили, и воду во всех этих местах пили, — так уж нельзя сказать, что не везде были ноги коней наших. Где ты думал найти покой от своих трудов — в Вольмаре, и туда принёс нас Бог

для твоего покоя; и где ты надеялся укрыться, мы и тут с помощью Божией тебя нагнали. Так ты и поехал ещё подальше твоих дальних мест».

Курбский не остался в долгу у Иоанна. Года два спустя, царь потерпел большие неудачи в войне с Польшей: Полоцк, перед тем завоёванный им, снова взят был польским войском под начальством Стефана Батория, и из этого самого города, подобно тому, как Иоанн из Вольмара, Курбский посылает к царю, одно за другим, два новых обличительных письма.

В первом из этих писем Курбский говорит: «Не буду выписывать твой величайший и должайший титул, — от такого убогого изгнанника, как я, он тебе не нужен. Как простой человек, я недостойн и исповеди, какую ты мне делаешь; а всё-таки очень обрадовались бы не только я, но и все христианские цари и народы, если бы ты на самом деле покался. Ты в своих письмах то излишне унижаешься, то без меры превозносишься, но, что всего хуже, ты возводишь клеветы на своего исповедника (Сильвестра), который избавил от скверны твою душу. Пусть он обманывал тебя видениями, но то был добрый льстец, который, подобно тому, как врачи обрезают дикое мясо и язвы на теле, хотел исцелить твою душу: он едким словом порицал тебя, крепкою уздою сдерживал твою излишнюю похоть и ярость. Ты мог бы вспомнить, как было во время твоих благочестивых дней и как стало ныне, когда голод и меч варварский опустошили твою землю. Москва сожжена; ты сам бежал от татар и, как был здесь слух, хоронясь по лесам со своими кромешниками, чуть не погиб от голоду. Вместо нынешних твоих даней мы, бывало, платили саблями по головам бусурманов. Ты называешь нас изменниками, потому что мы принуждены были от тебя поневоле крест целовать, как там есть у вас обычаи; а если кто не присягнёт, тот умирает горькою смертию. На это тебе мой ответ: все мудрецы согласны в том, что если кто присягнёт поневоле, то не на том грех, кто крест целует, но преимущественно на том, кто принуждает, если б даже и гонения не было. Если же кто во время прелютного гонения не бежит, тот сам себе убийца, противящийся слову Господню: еще гонят вас во граде, бегите в другой. Образ тому Господь Бог наш показал верным своим, бегая не только от смерти, но и от зависти богоборных людей. Так и Давид, гонимый Саулом, воевал против земли Израилевой. Прежде по твоему приказанию я сжёг Витебск и в нём 24 христианских церкви; после и король Сигизмунд принудил меня воевать Луцкую волость. Мы, сколько могли, заботились, чтобы неверные не разоряли церквей Божиих, но с нами было до 15 тысяч войска и между ними немало еретиков: без нашего ведома они сожгли один монастырь с церковью. Об этом расскажут тебе монахи, выпущенные нами из плена. Потом, когда твой неприятель, крымский хан, просил помощи, чтобы воевать русскую землю, и мне приказали идти, я отказался, и сам король похвалил меня за это».

«Ты пишешь ещё, будто мы очаровали твою царицу. Хотя я много грешен и недостойн, однако рождён от благородных родителей, от племени великого князя Смоленского Феодора Ростиславича; а князья этого племени не привыкли свою плоть есть и кровь братий своих пить, как у некоторых издавна ведётся обычай: первый дерзнул Юрий Московский в орде на святого великого князя Михаила Тверского, а за ним и прочие; ещё у всех на свежей памяти, что сделано с углицкими и с ярославскими и другими единокровными, как они всеродно были истреблены, — слышать тяжко, ужасно! От груди материнской оторвавши, в мрачных темницах затворили и поморили. А внуку твоему, блаженному и присновенчанному (Димитрию) что сделано? А твоя царица мне, убогому, ближняя родственница. Вспоминаешь о Владимире брате, будто мы хотели его на царство: я об этом и не думал, потому что он был недостойн. Но я ещё тогда угадал грядущее твоё мнение на меня, когда ты насильно взял сестру мою за этого своего брата, в этот ваш давно издавна кровопийственный род».

«Ты хвалишься, что поработил ливонцев силою Животворящего Креста. Но это, видно, не Христов крест, а погибшего разбойника. Польские и литовские гетманы ещё не готовились в поход, а вот уже твоих воеводишек, настоящих калик, из-под твоих крестов влачат в кандалах, показывают всему народу, как пленников, на посрамление Святорусской земли и сынов русских. О Курлятеве, Сицком и других зачем

вспоминать? Они все погибли от лютой мучитель, а на место их остались калики, которые боятся и листа, сорванного ветром с дерева. А теперь что ты сделал? Отдал Полоцк со всем народом и сам хоронишься за лесами и бежишь, когда тебя никто не гонит. Время укротиться твоему величеству и войти в чувства: мы оба с тобой уже близки к гробу».

Второе письмо Курбского из Полоцка написано уже без гнева: он говорит с глубокой горестью об осквернении души царя, которая когда-то «как чистая голубица блистала серебристыми крылами», сокрушается о перемене Иоанна и о бедствиях России и сравнивает Сильвестрово время с временем наушников: прежде победы, покорение царств, трепет врагов; теперь — вместо мудрых советников тунеядцы, шуты и скоморохи, вместо доблестных военачальников — гнусные Бельские, вместо храброго воинства — опричники, вместо чтения священных книг — пляски и скверные песни, вместо Сильвестра — колдуны и чародеи, вместо прежней чистоты — растление дев. Курбский от горести кладёт перст на уста и плачет. «Очнись! — восклицает он в заключение. — Встань после долгого и тяжёлого сна! Вспомни твои первые дни, когда ты блаженно царствовал. Не губи себя и твоего дому!»

Этим и закончилась переписка Курбского с Иоанном Грозным.

В 1579 году Курбский развёлся со второй женой и вступил в третий брак. Кроме неприятностей семейных, он испытывал в своём новом, отечестве и другие неприятности, особенно вследствие споров и тяжб с соседями о порубежных владениях и взаимных обидах. Но едва ли не более всего тревожили Курбского опасности, угрожавшие в Литве православной церкви. Уния ещё не возникла, но иезуиты уже приготовили её, овладев воспитанием благородного литовско-русского юношества. Умы колебались; завелись богословские споры; появилось множество полемических сочинений; нашлись и отступники от веры прародительской. Курбский проник в замысел врагов русской церкви и, из ревности к православию, старался укрепить своих единоверцев в законе предков. Для этой цели он усердно заботился о переводе на русский язык творений великих учителей церкви — Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина, Григория Богослова; беседовал, переписывался с вельможами и панами литовскими, предостерегая их от козней иезуитов; выучился даже латинскому языку, чтобы тем легче обличать лжеумствования папистов. Письма его к князю Острожскому, к княгине Черторижской, к братьям Мамонычам и другим лицам свидетельствуют, с каким рвением он старался поддержать в Литве православие и как боялся, чтобы враги русской церкви не развратили её последователей. Опасения его сбылись: чрез 12 лет после его смерти возникла уния, служившая переходом к Римской церкви. Собственный сын его был уже католик.

Князь Андрей Михайлович Курбский скончался в мае 1583 года в Ковне, 55 лет, и погребён в монастыре Св. Троицы.

Х

Познакомившись с перепиской Иоанна с князем Курбским, считаем излишним познакомиться теперь и с знаменитым посланием его в Кирилло-Белозерский монастырь, которое, с одной стороны, ярко выставляет нам самого Иоанна с его неизменною привычкою поучать, сказать кстати, красное слово, выказать свой ум, а с другой — живо рисует нам нравы того времени.

Игумен и братия Кирилло-Белозерского монастыря подали царю челобитную на старца Александра. Из этой челобитной мы видим, что мог позволять себе тогда дерзкий человек даже в монастыре: *«Живёт, государь, тот Александр не по чину монастырскому: в церковь не ходит, а строит пустыню, где и живёт больше, чем в монастыре; монастырь опустошает, из казны, погребов, с сушила всякие запасы, из мельниц муку и солод, из сел всякий хлеб берёт и отсылает к себе в пустыню; приехавши в монастырь игумена и старцев соборных бранит..., а других старцев из собору выметал и к морю разослал; прочую братию, служебников и клирошан, колет остком и бьёт плетью, без игуменского и старческого совета, и на цепь, и в железа сажает. Строителем он был в Москве без малого семь лет, отчёта в монастырской казне не дал. После ефимона на погребке пьёт силою с теми людьми, которых берёт с собою в пустыню; братии грозит, хочет на цепь и в железа сажать на смерть, и тебе же, государю, хочет оговаривать ложью старцев и всю братию; и от тех его побоев и угроз братия бегут розно. Православный царь-государь! Укажи нам, как с Александром прожить; а про пустыню, про его строенье вели сыскать. Общежителство Кирилловское он разоряет, слуг и лошадей держит особенных, саадаки, сабли и ружницы возит с собою, солью торгует на себя, лодки у него ходят отдельно от монастырских».*

Царь Иоанн со своей стороны упрекал монахов, что они обращают слишком много внимания на знатных постриженников, в угоду им нарушают древние строгие уставы монастырские. Вот его послание в Кирилло-Белозерский монастырь:

«Подобает вам усердно последовать великому чудотворцу Кириллу, предание его крепко держать, о истине крепко подвизаться, а не быть бегунами, не бросать щита: возьмите вся оружия Божия и не предавайте чудотворцева предания ради сластолюбия, как Иуда предал Христа ради серебра.

Есть у вас Анна и Каиафа — Шереметев и Хабаров, есть и Пилат — Варлаам Собакин, и есть Христос распинаем — чудотворцево предание презренное. Отцы святые! В малом допустите ослабу — большое зло произойдёт. Так от послабления Шереметеву и Хабарову чудотворцево предание у вас нарушено. Если нам благоволит Бог у вас постричься, то монастыря уже у вас не будет, а вместо него будет царский двор! Но тогда зачем идти в чернецы, зачем говорить: «Отрицаюсь от мира и от всего, что в мире?» Постригаемый даёт обет: повиноваться игумену, слушаться всей братии и любить его. Но Шереметеву как назвать монахов братиею? У него и десятый холоп, что в келье живёт, есть лучшие братии, которые в трапезе едят. Великие светильники — Сергей и Кирилл, Варлаам, Димитрий, Пафнутий и многие преподобные в русской земле установили уставы иноческому житию крепкие, как надо спасаться; а бояре, пришедши к вам, свои любострастные уставы ввели: значит, не они у вас постриглись, а вы у них постриглись; не вы им учителя и законоположители, а они вам. Да, Шереметева устав добр — держите его; а Кириллов устав плох — оставьте его! Сегодня один боярин такую страсть введёт, завтра другой иную слабость; и так мало-помалу весь обиход монастырский испразднится и будут обычаи мирские. И по всем монастырям сперва основатели установили крепкое житие, а после его разорили его любострастные. Кирилл Чудотворец на Симонове был, а после него Сергей; и закон каков был, прочтите в житии чудотворцеве. Но потом один малую слабость ввёл,

другие ввели новые слабости, — и теперь что видим на Симонове? Кроме сокровенных рабов Божиих, остальные только по одежде монахи, а всё по мирскому делается. Вы над Воротынским церковь поставили: хорошо! Над Воротынским церковь, а над Чудотворцем нет; Воротынский в церкви, а Чудотворец за церковью. И на страшном Спасовом судилище Воротынский и Шереметев выше станут потому: Воротынский церковью, а Шереметев законом, потому что его закон крепче Кириллова. Вот в наших глазах у Дионисия Преподобного на Глушицах и у великого чудотворца Александра на Свири бояре не постригаются, и монастыри эти процветают постническими подвигами. Вот у вас сперва Иоасафу Умному дали оловянники в келью, дали Серапиону Сицкому, дали Ионе Ручкину, а Шереметеву уже дали и поставец, и поварню. Ведь дать волю царю — дать её и псарю; оказать послабление вельможе — оказать его и простому человеку. Вассиан Шереметев у Троицы в Сергиеве монастыре постническое житие ниспровергнул: так теперь и сын его Иона старается погубить последнее светило, равно солнцу сияющее, хочет и в Кириллове монастыре, в самой пустыне, постническое житие искоренить. Да и в миру тот же Шереметев с Висковатым первые не стали за крестами ходить, и, смотря на них, и другие все перестали ходить; а прежде все православные христиане с жёнами и младенцами за крестами ходили и не торговали, кроме съестного, ничем, а кто станет торговать, на том брали заповеди. Прежде, как мы в молодости были в Кириллове монастыре и поопоздали ужинать, то заведывающий столом нашим начал спрашивать у подкеларника стерлядей и другой рыбы; подкеларник отвечал: «Об этом мне приказу не было; а о чём был приказ, то я приготовил; теперь ночь, взять негде; государя боюся, а Бога надобно больше бояться». Такая у вас была тогда крепость, по пророческому слову: «Правдою и пред цари не стыдяхся». А теперь у вас Шереметев сидит в келье, что царь, а Хабаров к нему приходит с другими чернецами, да едят и пьют, что в миру; а Шереметев невесть со свадьбы, невесть с родин рассылает по кельям пастилы, коврижки и иные пряные составные овощи, а за монастырём у него двор, на дворе запасы годовые всякие, — а вы молча смотрите на такое бесчиние! А некоторые говорят, что и вино горячее потихоньку в келью к Шереметеву приносили: но по монастырям и фряжские вина держать зазорно, не только что горячее! Так это ли путь спасения, это ли иноческое пребывание? Или вам не было, чем Шереметева кормить, что у него особые годовые запасы? Милые мои, прежде Кириллов монастырь многие страны пропитывал в голодные времена; а теперь и самих вас, в хлебное время, если б не Шереметев прокормил, то все с голоду бы померли? Пригоже ли так в Кириллове быть, как Иоасаф митрополит у Троицы с клирошанами пировал, или как Мисаил Сукин в Никитском монастыре и по иным местам как вельможа какой-нибудь жил, или как Иона Мотякин и другие многие живут? То ли путь спасения, что в чернецах боярин боярства не острижёт, а холоп холопства не избудет? У Троицы, при отце нашем, келарь был Нифонт, Ряполовского холоп, да с Бельским с одного блюда едал: а теперь бояре по всем монастырям испразднили это братство своим любострастием. Скажу ещё страшнее: как рыболов Пётр и поселянин Иоанн Богослов и все двенадцать убогих станут судить всем сильным царям, обладавшим вселенною, то Кирилла вам своего как с Шереметевым поставить — которого выше? Шереметев постригся из боярства, а Кирилл и в приказе у государя не был! Видите ли, куда вас слабость завела? Сергей, Кирилл, Варлаам, Димитрий и другие святые многие не гонялись за боярами, да бояре за ними гонялись, и обители их распространились: потому что благочестием монастыри стоят и неоскудны бывают. У Троицы в Сергиеве монастыре благочестие иссякло и монастырь оскудел: не пострижётся никто и не даст ничего. А на Сторожах до чего дошли? — уже и затворить монастыря некому, по трапезе трава растёт; а прежде и мы видели — братии до 80 бывало, клирошан, по одиннадцати на клиросе ставило. — Если же кто скажет, что Шереметев без хитрости болен и ему нужно дать послабление, то пусть он ест в келье один с келейником. А сходиться к нему на что да пировать, да овощи в келье на что? До сих пор в Кириллове иголки и нитки лишней не держали, не только что каких-нибудь других вещей. А двор за монастырём и запасы на что? — всё это беззаконие, а не нужда; а если нужда, то он ешь в келье как нищий, кроме

хлеба звено рыбы да чаша квасу; а что сверх того, если вы послабляете, то вы и давайте, сколько хотите, только бы ел один, а сходов и пиров не было бы, чтоб было всё, как прежде у вас водилось. А кому к нему прийти для беседы духовной, и он приди не в трапезное время, еды и питья чтоб в это время не было: так это и будет беседа духовная. Пришлют поминки братья, и он бы это отсылал в монастырские службы, а у себя бы в келье никаких вещей не держал; а что к нему пришлют, то бы разделял на всю братию, а не двум или трём, по дружбе и пристрастию, и вы его в келье монастырским всем покойте, только чтоб было бесстрастно. А люди бы его за монастырём не жили: приедут от братьев с грамотами, с запасом, с поминками, — и они, пожив дня два-три и взявши ответную грамоту, поезжай прочь: так и ему будет покойно, и монастырю безмятежно. Теперь вы прислали грамоты, от вас нам отдыху нет о Шереметеве. Я писал вам, чтоб Шереметев и Хабаров ели в трапезе с братиею; я это приказывал для монастырского чина, а Шереметев поставил себе как бы в опалу. Может быть, вам потому очень жаль Шереметева, потому так сильно за него стоите, что братья его и до сих пор не перестают посылать в Крым и наводить басурманство на христианство? А Хабаров велит мне перевести себя в другой монастырь: я не ходатай ему и его скверному житию, — он мне сильно наскучил. Иноческое житие — не игрушка: три дня в чернецах, а седьмой монастырь меняет! Когда был в миру, то только и знал, что образа вкладывать, книги в бархат переплестать с застёжками и жуками серебряными, налож убирать, жить в затворничестве, келью ставил, чётки в руках; а теперь с братиею вместе есть не хочет. Надобны чётки не на скрижалях каменных, а на скрижалях сердец плотяных. Я сам видел, как по чёткам скверными словами бранятся: что в тех чётках? О Хабарове мне нечего писать: как себе хочет, так и дурачится. А что Шереметев говорит, что его болезнь мне ведома, то для всех леженков не разорять стать законы святые! Написал я к вам малое от многого по любви к вам и для иноческого жития. Больше писать нечего; а впредь вы о Шереметеве и других таких же безлепицами нам не докучали: нам ответу не давать. Сами знаете: если благочестие непотребно, а нечестие любо, то вы Шереметеву хотя золотые сосуды скуйте и чин царский устройте — то вы ведаете; установите с Шереметевым свои предания, а чудотворцево отложите, и хорошо будет; как лучше, так и делайте. Сами ведайтесь, как себе с ним хотите, а мне до того ни до чего дела нет. Вперёд о том не докучайте: говорю вам, что ничего отвечать не буду. Бог же мира и Пречистая Богородица милость и Чудотворца Кирилла молитва да будет со всеми вами и нами! Аминь. А мы вым, господа мои и отцы, челом бьём до лица земного».

Чтобы не возвращаться более к речи о литературных опытах царя Иоанна Васильевича, укажем здесь, кстати, на его молитвенное послание, писанное в 1575 году к святым страстотерпцам — князю Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору, по поводу принесения мощей их из Чернигова в Москву. Это послание очень красноречиво. Затем в двух крюковых стихирях начала XVII века (из которых один находится в библиотеке Сергиевой Лавры, № 428, а другой в библиотеке Московской Духовной Академии, № 78) читаем две стихиры Святому Петру митрополиту (21 декабря) на Господи воззвах, с надписью: «творение царя Иоанна деспота Россейского», две стихиры ему же «на исхождении» (то есть на литии), с надписью: «творение царя и великого князя Иоанна Васильевича всея России» и две стихиры на Сретение «Пречистой Владимирской» (26-го августа).

XI

Отъезд Курбского и его резкое послание ещё более и ещё сильнее возбудили подозрительность Иоанна: в лице этого отъездчика всё русское боярство словно кидало царю дерзкий вызов. Иоанн стал готовиться к нанесению решительного удара тем, кого считал своими врагами. Для этого ему нужно было убедиться в том, насколько он может рассчитывать на содействие народа.

Рано утром 3-го декабря 1564 года Москва была сильно встревожена странным, непонятным зрелищем. На Кремлёвской площади появилось множество саней. Из царского дворца выносили и укладывали на них царское имущество: иконы, кресты, драгоценные сосуды, золото, серебро, одежды. Уже раньше носились слухи, что царь куда-то намерен ехать; но эти необычайные сборы ясно показывали, что царь имеет в виду не временную поездку, а перебирается со всем своим имуществом, но куда именно и надолго ли, этого никто не знал. В Успенском соборе шла торжественная служба: обедню служил сам митрополит. В церкви ждали царя духовенство, бояре и другие сановники. Царь пришёл. Он долго и усердно молился, принял затем благословение от первосвященника и милостиво простился с бывшими в церкви. Вышедши из собора, он сел в сани с царицей, второй супругой своей Марией Темрюковною, с детьми и несколькими своими новыми любимцами и уехал из Москвы в село Коломенское, где пробыл две недели, переждал распутицу и поехал дальше; побывав в нескольких монастырях, он остановился наконец в Александровской слободе.

В Москве этот неожиданный, необычный, таинственный отъезд произвёл недоумение, изумление и тревогу. Все чувствовали, что он не предвещал ничего доброго.

Это всеобщее недоумение продолжалось до 3-го января 1565 года, когда митрополитом Афанасием получена была от царя грамота, в которой царь, исчисляя вины бояр начиная с его малолетства, обвиняя их в корыстолюбии, нерадении, измене, обвиняя духовенство в ходатайстве за изменников, объявлял, что, «не хотя их многих изменников дел терпети, оставил своё государство и поехал, где вселиться, идеже его государя Бог наставит». С тем же гонцом получена была грамота к «православному христианству града Москвы» (гостям, купцам и всему народу), в которой государь писал, что на них он гнева не имеет.

Это странное сообщение произвело неописанный ужас в Москве. В это время шла война с Литвой, крымские татары грозили с юга, и в такую-то трудную пору являлось в государстве полное безначалие. Но государству угрожало ещё другое, большее зло: объявляя одним гнев, а другим милость, царь разъединял народ, вооружал большинство против меньшинства, чернил перед толпою народа весь служилый класс и даже духовенство и таким образом заранее предавал огулом и тех, и других народному суду.

«Государь нас покинул: мы погибаем! — кричал народ. — Кто спасёт нас теперь от нашествия врагов? Мы останемся, как овцы без пастыря!»

Духовенство, бояре, приказные люди — все стали умолять митрополита, чтобы он умилился, упросил государя не покидать: «Пусть государь не оставляет государства; пусть казнит своих лиходеев. В животе и смерти волен Бог и государь!» — слышалось со всех сторон.

«Мы все своими головами, — прибавляли бояре и служилые люди, — идём за тобою, святителем, бить челом государю и плакаться».

«Пусть царь только укажет нам своих лиходеев и изменников, — мы сами их истребим!» — кричали купцы и народ.

Митрополит хотел было немедленно ехать к царю, но на общем совете было положено, чтобы он

остался в столице, где уже начинались беспорядки. Вместо него поехали святители, а главным между ними новгородский архиепископ Пимен. В числе духовных лиц был давний наушник царский чудовский архимандрит Левкий. С духовенством отправились бояре — князя Иван Дмитриевич Бельский, Иван Фёдорович Мстиславский и другие. Были с ними дворяне и дети боярские. Как только они появились в Александровской слободе, то были тотчас же, по царскому приказанию, окружены стражею: царь принимал их как будто врагов в военном лагере. Восхваляя и возвеличивая всячески царя, посланные умоляли его ради святых икон и христианской веры, которые могут быть поруганы врагами-еретиками, взять снова власть в свои руки. «А если тебя, государь, смущают измена и пороки в нашей земле, о которых мы не ведаем, то воля твоя будет — и миловать, и строго казнить виновных, всё исправляя мудрыми твоими законами и уставами».

Царь сказал им, что он подумает, и чрез некоторое время призвал их снова и дал такой ответ:

«С давних времён, как вам известно из русских летописцев, даже до настоящих лет, русские люди были мятежны нашим предкам, начиная от славной памяти Владимира Мономаха, пролили много крови нашей, хотели истребить достославный и благословенный род наш. По кончине блаженной памяти родителя нашего, готовили такую участь и мне, вашему законному наследнику, желая поставить себе иного государя, и до сих пор я вижу измену своими глазами: не только с польским королём, но и с турками и крымским ханом входят в соумышление, чтобы нас погубить и истребить; извели нашу кроткую и благочестивую супругу Анастасию Романовну: и если бы Бог нас не охранил, открывая их замыслы, то извели бы они и нас с нашими детьми. Того ради, избегая зла, мы поневоле должны были удалиться из Москвы, выбрав себе иное жилище и опричных советников и людей».

Иоанн подал им надежду на то, что он возвратится и снова примет жезл правления, но не иначе, как окружив себя избранными, опричными людьми, которым он мог доверять и посредством них истреблять своих лиходеев и выводить измену из государства. Удержав некоторых бояр при себе, он отпустил других сановников и должностных лиц в Москву, чтобы там до его приезда дела шли своим чередом.

Наконец 2-го февраля царь прибыл в Москву и появился посреди духовенства, бояр, дворян и приказных людей. Наружность его поразила всех: его трудно было узнать, так он изменился за последнее время. Взгляд его был мрачен и свиреп; беспокойные глаза беспрестанно перебегали из стороны в сторону; на голове и в бороде вылезли почти все волосы. Видно было, что он пережил недавно страшную душевную тревогу. Покидая государство на произвол судьбы, Иоанн затевал игру не совсем безопасную. Что, если бы повторилось то, что произошло после московского пожара? Происшедший в то время мятеж показывал царю, что московский народ подчас способен поддаться внушению противников власти. Но роковая игра выиграна. Царь торжествовал. Духовенство, народ и бояре признали, что без него царство погибнет.

Иоанн объявил, что он, по желанию и челобитью московских людей, а наипаче духовенства, принимает снова власть, с тем, чтобы ему на своих изменников и непослушников вольно было класть опалы, казнить смертью и отбирать на себя их имущество и чтобы духовные впредь не надоедали ему челобитьем о помиловании опальных.

Обезопасив себя таким образом с одной стороны народным признанием правоты и законности своих будущих действий, а с другой отстранением всякого обуздания своего произвола со стороны религии, Иоанн приступил к реформе государства. Управление разделялось на две части: одна называлась опричниною (то есть особенною, состоящею на исключительных условиях), другая — земщиною. Устав опричнины, придуманный самим царём или, быть может, его любимцами, состоял в следующем: государь поставит себе особый двор и учинит в нём особый обиход, выберет себе бояр, окольничих, дворецкого, казначея, дьяков, приказных людей, отберёт себе особых дворян, детей боярских, стольников, стряпчих,

жильцов; поставит в царских службах (во дворцах — сытном, кормовом и хлебном) всякого рода мастеров и приспешников, которым он может доверять, а также особых стрельцов. Затем все владения московского государства раздвоились: государь выбирал себе и своим сыновьям города с волостями^[60], которые должны были покрывать издержки на царский обиход и на жалование служилым людям, отобранным в опричнину. В волостях этих городов поместья раздавались исключительно тем дворянам и детям боярским, которые были записаны в опричнину (числом 1000). Те из них, которых царь выберет в иных городах, переводятся в опричные города; а все вотчинники и помещики, имевшие владения в этих опричных волостях, но не выбранные в опричнину, переводятся в города и волости за пределами опричнины. Царь сделал оговорку, что если доходы с отделённых в опричнину городов и волостей будут недостаточны, то он будет брать ещё другие города и волости в опричнину. В самой Москве взяты были в опричнину некоторые улицы и слободы, из которых жители, не выбранные в опричнину, выводились.

Вместо Кремля царь приказал строить себе другой дворец за Неглинною (между Арбатскою и Никитскою улицами); но главное местопребывание своё назначал он в Александровской слободе, где приказал также ставить дворы для своих выбранных в опричнину бояр, князей и дворян. Вся остальная Русь называлась земщиною и поверялась земским боярам — Бельскому, Мстиславскому и другим. В ней были чины таких же названий, как и в опричнине: конюший, дворецкий, казначей, дьяки, приказные и служилые люди, бояре, окольные, стольники, дворяне, дети боярские, стрельцы. По всем земским делам в земщине относились к боярскому совету, а бояре в важнейших случаях докладывали государю. Земщина имела значение опальной земли, постигнутой царским гневом.

Впоследствии, для большого отчуждения от себя земщины, царь поставил над нею касимовского царя Симеона Бекбулатовича, с титулом «великого князя всея Руси». Грамоты писались от имени великого князя всея Руси Симеона. Сам Иоанн титуловал себя только «московским князем» и наравне с подданными писал Симеону челобитные с общепринятыми унижительными формами, напр.: «Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу Иванец Васильев со своими детишками с Иванцем да с Федорцем челом бьёт. Государь, смилуйся, пожалуй!» Этот, поставленный настоящим царём, воображаемый, призрачный царь земщины не имел ни власти, ни своей воли, должен был делать то, что ему прикажут, и, в сущности, ничего не делал; но Иоанн совершил, однако, именем этого созданного им царя кое-что такое, чего не хотел совершать от своего собственного имени: отобрал у духовенства, особенно у монастырей, крепости на имения. Через два года Иоанн низложил этого великого князя всея Руси и сослал в Тверь.

За подъём свой государь назначил 100 000 руб., которые надлежало взять из земского приказа; а у бояр, воевод и приказных людей, заслуживших за измену царский гнев или опалу, определено было отбирать имения в казну.

Царь основался в Александровской слободе, во дворце, обведённом валом и рвом (ров имел 2 сажени ширины и столько же глубины). Перед главными воротами дворца был устроен мост, поднимавшийся и опускавшийся на цепях. За рвом шёл земляной вал, одетый с обеих сторон бревенчатыми стенами с шестью кирпичными башнями в два яруса. Посредине двора возвышалась и белела большая церковь с пятью вызолоченными куполами, а близ неё тянулись царские хоромы с высокою гонтовою кровлею, расписанные разными красками, с вышками, подзорами, с крыльцами под круглыми навесами и с четверугольными окнами, карнизы которых были расписаны снаружи затейливыми узорами. За хоромами был сад, а за садом длинное и низкое кирпичное строение, вросшее в землю, с железными дверями, куда нужно было входить несколькими ступенями вниз от уровня земли. Кровля над этим зданием была земляная. В здании этом было несколько отделений: оружейное, пыточное — с адскими орудиями мук и тюрьмы. Впрочем, тюрьмы были не только здесь, но и в башнях и в пещерах, сделанных в земляном валу, и даже в подклетьях под самыми царскими хоромами. Обширный царский двор был весь обстроен жилищами царских опричников и множеством служб. За валом, окружавшим

двор, было два пруда, которые называли адскою геенною, так как царь топил там людей и бросал туда тела казнённых для того, чтобы рыбы и раки, поевши человеческого мяса, стали вкуснее и прижнее к царскому столу. Кругом слободы на большом пространстве тянулись дремучие леса.

Никто не смел ни выехать из Александровской слободы, ни въехать в неё без ведома царя: для этого в трёх вёрстах от слободы стояла воинская стража. Иоанн жил тут, окружённый своими любимцами, в числе которых первое место занимали отец и сын Басмановы, Малюта Скуратов и Афанасий Вяземский. Любимцы царские набирали в опричнину дворян и детей боярских и вместо 1000 человек вскоре наверстали их до 6000. Им раздавались поместья и вотчины, отнимаемые у прежних владельцев, которым приходилось переселяться со своего пепелища и терпеть разорение. У последних отнимали не только земли, но даже дома и всё движимое имущество. Случалось, что их в зимнее время высылали пешком на пустые земли. Таких несчастных было более 12 000 семейств. Многие погибали на дороге. Новые землевладельцы, опираясь на особенную милость царя, позволяли себе всякие наглости и произвол над крестьянами, жившими на их землях, и вскоре привели их в такое нищенское состояние, что казалось, как будто неприятель посетил эти земли. Опричники^[61] давали царю особую присягу, которою обязывались не только доносить обо всём, что они услышат дурного про царя, но и не иметь никакого дружеского сообщения, не есть и не пить с земскими людьми. Им даже вменялось предавать смерти земских людей и грабить их. Символом опричников было изображение собачьей головы и метла в знак того, что они кусаются, как собаки, оберегая царское здоровье, и выметают всех изменников и лиходеев.

Самые бессовестные выходки позволяли себе эти временщики против земских. Так, например, подошёл опричник своего холопа к какому-нибудь земскому дворянину или посадскому: подосланный определится к земскому хозяину в слуги и подкинет ему какую-нибудь ценную вещь. Опричник нагрянет в дом с приставом, схватит своего мнимо беглого раба, отыщет подкинутую вещь и заявит, что его холоп вместе с этою вещью украл у него большую сумму. Обманутый хозяин безответен, потому что у него найдено поличное. Холоп опричника, которому прежний господин для виду обещает жизнь, если он искренно сознается, показывает, что он украл у своего господина столько-то и столько-то и передал новому, хозяину. Суд изрекает приговор в пользу опричника: обвиняемого ведут на правёж, на площадь и бьют по ногам палкою до тех пор, пока не заплатит долга, или же в противном случае выдают головою опричнику. Таким или подобным образом многие теряли свои дома, земли и были доведены до разорения; а иные отдавали жён и детей в кабалу и сами шли в холопы. Всякому доносу опричника на земского давали полную веру. Чтобы угодить царю, опричник должен был отличаться свирепостью и бессердечием к земским людям: за всякий признак сострадания к их судьбе опричник был в опасности от царя лишиться своего поместья или подвергнуться пожизненному заключению, а иногда и смерти. Случалось, едет опричник по Москве и завернёт в лавку: там боятся его как чумы. Он подбросит что-нибудь, потом придёт с приставом и подвергнет купца конечному разорению. Случалось, заведёт опричник с земским на улице разговор, вдруг схватит его и начнёт обвинять, что земский сказал ему поносное слово: опричнику верят. Обидеть царского опричника было смертельным преступлением: у бедного, беззащитного земского отнимут всё имущество и отдадут обвинителю, а нередко посадят на всю жизнь в тюрьму, иногда же казнят смертью. Если опричник везде и во всём был высшим существом, которому надо угождать, то земский был существо низшее, лишённое царской милости, которое можно обижать сколько и как угодно. При таком новом состоянии дел на Руси должно было исчезнуть чувство законности. Учреждение опричнины было чудовищным орудием нравственного развращения русского народа. По замечанию иноземцев, имевших случай познакомиться с этим изобретением болезненной подозрительности Иоанна, «если бы сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи людей, то и тот не мог бы выдумать ничего удачнее».

Со введения опричнины свирепые казни и мучительства возрастали. На третий день после появления

царя в Москве казнён был зять Мстиславского, одного из первых бояр, которым поверена была земщина, князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, участник казанского похода, как соумышленник Курбского, вместе с которым умышлял на государя, жену и детей его всякие лихие дела. Царь приказал казнить вместе с ним и сына его Петра, 17-летнего юношу. Твёрдо и спокойно, держась за руки, шли они на казнь. Не желая видеть смерти отца, сын склонил было первый голову на плаху. Но отец отвёл его и сказал: «О единокровный сын мой! Да не узрят очи мои отсечения твоей главы». Казнь совершена была прежде над отцом. Тогда юноша поднял отсечённую голову своего отца и громко молился, благодаря Бога, что Он сподобил его умереть с отцом неповинно. Затем он приложился к голове отца и склонил свою на плаху.

Кроме того, были ещё казнены родственники Горбатов, двое Ховриных, князь Иван Сухой-Кашин, князь Дмитрий Шевырев и князь Пётр Горенский. Последний был пойман на отъезде. У других дворян и детей боярских отобраны имения; иных сослали в Казань. Боярин Иван Петрович Яковлев бил челом за проступки и прощён за поручительство. Князь Василий Семёнович Серебряный выручен с сыном из-под опалы. Лев Матвеевич Салтыков выручен с двумя сыновьями. Князь Иван Петрович Охлябинин обещался никуда не отъехать и в чернецы не постригаться.

После этой расправы царь удалился в свою новую столицу — Александровскую слободу, где ему пришла между тем в голову странная затея: он устроил у себя здесь подобие монастыря, отобрал 300 самых лихих опричников, надел на них чёрные рясы сверх вышитых золотом кафтанов, на головы — тафты, или шапочки; себя назвал игуменом, Вяземского назначил келарем, Малюту Скуратова — пономарём; сам сочинил для братии монашеский устав и сам лично с сыновьями ходил звонить на колокольню. В 12 часов ночи все должны были вставать и идти к продолжительной полунощнице. В 4 часа утра ежедневно по царскому звону вся братия собиралась к заутрене; а кто не являлся, того наказывали восьмидневною епитимиею. Утренняя тянулась от 4 до 7 часов утра. Сам царь так усердно клал за службою земные поклоны, что у него на лбу оставались знаки — синие пятна. В 8 часов шли к обедне. После обедни вся братия обедала в трапезе; Иоанн не садился со всеми за стол, а читал стоя житие прилучившегося в тот день святого или какое-нибудь поучение; потом после всех обедал уже один. Все наедались и напивались досыта; остатки выносились нищим на площадь. В 8 часов вечера отправлялась вечерня; затем братия собиралась на вечернюю трапезу; после повечерия царь ложился спать, и трое слепцов рассказывали ему по очереди на ночь сказки.

Неудовольствием, возбуждённым опричниною, хотели воспользоваться враги Москвы, и неудавшиеся попытки их повели к новым казням и содействовали ещё более утверждению опричнины. Какой-то Козлов, родом из Московских областей, поселился в Литве, женился здесь, отправлен был гонцом от Сигизмунда-Августа к Иоанну и дал знать королю, что успел склонить всех вельмож московских к измене. Отправленный вторично в Москву, Козлов вручил от имени короля и гетмана Хоткевича грамоты князьям: Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и конюшему боярину Ивану Петровичу Челяднину, с приглашением перейти на службу в Литву. Грамоты были перехвачены. Иоанн велел написать или, вернее, сам написал от имени означенных бояр бранчивые ответы королю и гетману. Бельский, Мстиславский и Воротынский сумели выпутаться, только старик Челяднин, которого особенно не терпел царь, не сумел оправдаться. Пощадив троих упомянутых бояр, Иоанн выдумал особенный предлог — погубить конюшего: он обвинил несчастного старика, будто тот хочет свергнуть его с престола и сам сделаться царём. Царь призвал к себе Челяднина, приказал ему одеться в царское одеяние, посадил на престол, сам стал кланяться ему в землю и говорил: «Здрав буди, государь всея Руси! Вот ты получил, чего желал; я сам сделал тебя государем, но я имею власть и свергнуть тебя с престола». С этими словами он вонзил нож в сердце боярина и затем приказал умертвить и его престарелую жену.

Вслед за тем Иоанн приказал казнить многих знатных лиц, обвинённых в соумышлении с конюшим. Тогда погибли князья Куракин-Булгаков, Дмитрий Ряполовский, трое князей Ростовских, Пётр Щенятев,

Турунтай-Пронский, казначей Тютин, думный дьяк Казарин-Дубровский и много других. По приказанию царя, опричники врывались в вотчины, жгли дома, мучили и убивали крестьян.

XII

31-го декабря 1563 года скончался митрополит Макарий, в течение своего 20-летнего первосвятительства возвысивший снова в своём лице достоинство и значение русского митрополита. Он всегда пользовался высоким уважением не только в народе и во всём духовенстве, но и среди бояр и вельмож и в самом семействе государя. Тогда как все другие лица, окружавшие Иоанна, постоянно менялись и подвергались его опале, изгнанию, нередко смерти, когда даже любимейшие из его советников — Сильвестр и Адашев не избежали его гнева, один митрополит Макарий в продолжение своего двадцатилетнего первосвятительского служения остался неприкосновенным и сохранил расположение Грозного царя до самой своей кончины. Бывали и для Макария тяжкие скорби в жизни; многократно и он, как сам свидетельствует в своём духовном завещании, помышлял отказаться от своей кафедры и отойти в уединение. Но каждый раз его упрасивали и удерживали сам государь, все святители, весь освящённый собор: так им дорожили. «О, Боже! Как бы счастлива была русская земля, если бы владыки были таковы, как преосвященный Макарий да ты» — так писал в 1556 году царь Иоанн к казанскому архиепископу Гурию. Подозревать этого архипастыря в честолюбии и слабости пред Иоанном нет никаких оснований. Напротив, известно, что, когда Иоанн велел заочно судить Сильвестра и Адашева и когда некоторые из судей объявили уже, что подсудимые достойны смерти, а другие молчали, один Макарий возвысил свой старческий голос и смело сказал государю, что следует призвать и выслушать самих обвиняемых, с чем согласились и некоторые вельможи, хотя потом царские сторонники превозмогали на совете и достигли того, что Сильвестр и Адашев были осуждены.

От митрополита Макария остался сборник — знаменитые Макарьевские Минеи.

Под руководством митрополита Макария составлена и Степенная Книга — летописный памятник времён Грозного. В ней рассказаны политические и церковные события в русской земле от Рюрика до Иоанна Грозного включительно. Степенная Книга получила своё название от того, что в ней представлено семнадцать степеней, или поколений владетельного княжеского рода. Хотя родословная идёт, собственно, от Рюрика, но счёт степеней начинается с Владимира Святого, как первого христианского государя, которому при Иоанне Грозном придавали царский титул. Таким образом, первую степень составляет Владимир, вторую — Ярослав, третью — Всеволод Ярославин, четвёртую — Владимир Мономах и т. д.

По кончине митрополита Макария, на первосвятительскую кафедру был избран инок Чудова монастыря Афанасий, прежде бывший протопопом Благовещенского собора и духовник государев. Но чрез два года Афанасий по болезни добровольно оставил свой престол и отошёл опять в Чудов монастырь. В преемники ему был назначен Герман, архиепископ казанский. Но беседы его, по словам Курбского, не понравились любимцам Иоанновым: Германа отстранили и вызвали соловецкого игумена Филиппа.

Филипп (в мире Феодор) происходил из знатного боярского рода Колычевых и родился 11-го февраля 1507 года. Отец его Стефан принадлежал к числу близких людей великого князя Василия Иоанновича. Когда Феодор подрос, то взят был ко двору.

В 1537 году, когда Иоанну исполнилось только 8 лет, а Феодору — 30, последний тайно оставил двор и Москву и удалился в Соловецкую обитель. Приняв там пострижение с именем Филиппа, он в продолжение 10 лет проходил разные, иногда весьма тяжёлые послушания. Возведённый в 1548 году в сан игумена, Филипп в 18-летнее управление обителью совершенно обновил её. Он соорудил в ней две каменные церкви — Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня, завёл колокола вместо бил и клепал, воздвиг для братии 2-и 3-этажные келии и больницу. А вне монастыря умножил и улучшил

соляные варницы, устроил водяные мельницы, завёл скотный двор и оленей, соединил озера каналами и осушил болота, сделал просеки в лесах и проложил дороги. В сане игумена Филипп снова сделался известным Иоанну, посетив Москву в 1550—1551 году, и заслужил его расположение. Царь пожаловал соловецкому игумену грамоты на разные волости, сёла и другие владения, подарил ему богатые ризы, шитые жемчугом, и два покрывала на раки угодников соловецких Зосимы и Савватия, а впоследствии прислал 1000 рублей на построение Преображенского храма, два колокола, два золотых креста с драгоценными камнями и жемчугом и новые жалованные грамоты для подтверждения разных льгот обители. Может быть, Иоанн, оказав Филиппу столько знаков своего царского благоволения, рассчитывал, что Филипп охотно согласится быть в полной его воле и, занимая кафедру митрополита, будет держать его сторону и ни в чём не станет ему противоречить.

Когда Филипп из своей отдалённой обители прибыл в Москву, Иоанн принял его с великою честью, удостоил своей царской трапезы и щедро одарил. Но как только царь предложил ему в присутствии всего освящённого собора и бояр первосвятительскую кафедру, то Филипп сначала смиренно отказывался, ссылаясь на слабость своих сил и уподобляя себя малой ладье, неспособной носить великой тяжести, но потом, будучи «понуждаем» царём и собором на митрополию, смело сказал, чтобы государь отменил опричнину, а не отменит, то ему, Филиппу, митрополитом быть невозможно; а если его и поставит в митрополиты, он затем оставит митрополию. Царь разгневался, но по челобитью архиепископов и епископов отложил свой гнев и велел сказать Филиппу, чтоб он в опричнину и в царский домовый обиход не вступался и на митрополию ставился и после поставления не оставлял её из-за того, что царь не отменил опричнины, а советовал бы с царём, как прежние митрополиты советовали с отцом его и дедом. И Филипп дал своё слово архиепископам и епископам, что он, по царскому слову и по их благословию, соглашается стать на митрополию и в опричнину в царский домовый обиход вступаться не будет. Филипп был поставлен в митрополиты царствующего града.

Прошло около года, и ничто не возмущало мира между царём и митрополитом. Филипп занимался делами Церкви, стараясь подражать благому нраву благолюбивого митрополита Макария и последовать честным стопам его. Царь оказывал Филиппу благоволение и любовь. Все радовались этому и благодарили Бога. Но в душе царь уже не любил митрополита, подозревая в нём орудие бояр и полагая, что, по их-то настроению, он осмелился требовать уничтожения опричнины пред своим поставлением на митрополию. В июле 1567 года перехвачены были грамоты польского короля и литовского гетмана к главнейшим московским боярам, доставленные Козловым. Начались казни. Опричники неистовствовали в Москве, убивали всенародно, на улицах и площадях, человек по 10 и по 20 в день. Всех объёдал ужас. Многие со слезами прибегали к митрополиту и умоляли его заступиться за них пред государем. И добрый пастырь, утешая несчастных словами веры, не мог оставаться безответным на вопли и стоны своих духовных чад. Он помнил, что отказался от мысли просить уничтожения опричнины, но сохранил за собою право советоваться государю и, следовательно, ходатайствовать по крайней мере о том, чтобы он обуздывал своих опричников, наблюдал правду и милость по отношению к своим подданным и, карая злодеев, не позволял проливать неповинной крови. Одушевлённый такими мыслями, святитель отправился к Иоанну, чтобы сначала наедине пастырски побеседовать с ним. В чём состояла эта тайная беседа, как обличал или убеждал царя митрополит, неизвестно; но последствия показали, что убеждения не принесли никакой пользы, а только, быть может, ещё более утвердили Иоанна в уверенности, что митрополит держит сторону ненавистных бояр и служит их орудием. К прискорбию, нашлись и между духовными лицами предатели, старавшиеся только об угождении царю. Это были: архиепископ новгородский Пимен, суздальский епископ Пафнутий, рязанский епископ Филофей и протопоп Благовещенского собора Евстафий, царский духовник, которого Филипп подверг запрещению за какие-то проступки. Особенно последний (то есть духовник царя) постоянно доносил ему, тайно и явно, хульные речи на митрополита.

Время шло, неистовства опричников не прекращались. И вот святитель, испытав недостаточность тайных вразумлений царю, решил начать открытые, всенародные обличения ему. Иоанн пришёл в соборную церковь. Здесь митрополит обратился к нему с Такою речью: *«О, державный царь! Ты облечён самым высоким саном от Бога и должен чтить Его более всего. Тебе дан скипетр власти земной, чтобы ты соблюдал правду в людях и царствовал над ними по закону: правда — самое драгоценное сокровище для того, кто стяжал её. По естеству ты подобен всякому человеку, а по власти подобен Богу: как смертный не превозносись, а как образ Божий не увлекайся гневом. По справедливости властелином может назваться только тот, кто сам собою обладает и не работает позорным страстям. От века не слыхано, чтобы благочестивые цари волновали свою державу; и при твоих предках не бывало того, что ты творишь: у самих язычников не случалось ничего такого...»* Услышав эти обличения, царь в ярости сказал: *«Что тебе, чернецу, за дело до наших царских советов? Того ли не знаешь, что меня мои же хотят поглотить?»*

Филипп отвечал: *«Я точно — чернец; но, по благодати Св. Духа, по избранию священного собора и по твоему изволению, я — пастырь Христовой церкви и вместе с тобою обязан иметь попечение о благочестии и мире всего православного христианства».* «Одно тебе говорю, отче свитый: молчи, а нас благослови действовать по нашему изволению», — снова сказал Иоанн. *«Благочестивый царь! Наше молчание умножает грех души твоей и может причинить смерть»*, — говорил митрополит. *«Владыко свитый! Восстали на меня друзи мои и искренние мои ищут мне зла»*, — отвечал Иоанн. *«Государь! Тебе говорит неправду и лукавство; приблизь к себе людей, желающих советовать тебе добро, а не льстить, и прогони говорящих тебе неправду»*, *«Не прекословь, Филипп, державе нашей, да не постигнет тебя мой гнев, или сложи свой сан!»* — кричал царь. *«Не употребил и ни просьб, ни ходатаев, ни мзды, чтобы получить этот сан: зачем лишил ты меня пустыни? Если для тебя ничего не значат церковные каноны, делай, как хочешь»*, — отвечал Филипп.

Царь пошёл в свои палаты в большом раздумье и в гнев на святителя.

Через некоторое время царь снова пришёл в воскресный день в соборную Успенскую церковь к литургии. Сам он и сопровождавшие его опричники были в чёрных одеждах, с высокими шлыками на головах. Он приблизился к митрополичьему месту, на котором стоял Филипп, и три раза просил его благословений. Но свититель ничего не отвечал и не двигался. Тогда бояре сказали: *«Владыко свитый, к тебе пришёл благочестивый царь и требует твоего благословения».* После этого Филипп, взглянув на Иоанна, произнёс: *«Царь благой! Кому поревновал ты, приняв на себя такой вид и изменив своё благолепие? Убойся суда Божия: на других ты налагаешь закон, а сам нарушаешь его. У татар и язычников есть правда; в одной России нет её. Во всём мире можно встречать милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым. Здесь мы приносим Богу бескровную жертву за спасение мира, а за алтарём безвинно проливается кровь христианская. Ты сам просишь прощения во грехах своих пред Богом, прощай же и других, согрешающих пред тобою...»* Иоанн распалился яростию и воскликнул: *«О, Филипп! Нашу ли волю думаешь изменить? Лучше было бы тебе быть единомысленным с нами?»* «Тогда, — отвечал святитель, — суетна была бы вера наша, напрасны и заповеди Божии о добродетелях. Не о тех скорблю, которые невинно предаются смерти, как мученики; я скорблю о тебе, пекусь о твоём спасении». Иоанн, не слушая слов святителя, в великом гневѣ махал руками, грозил ему изгнанием и говорил: *«Ты противишься, Филипп, нашей державе? Посмотрим на твою твёрдость».* «Я пришелец на земле, как и отцы мои, — отвечал святитель, — и за истину благочестия готов потерпеть и лишение сана, и всякие муки». Тут же в соборе враги Филиппа, желая унижить его всенародно, подготовили на св. старца самую гнусную клевету, которую подучили произнести пред всеми одного благообразного отрока, бывшего чтецом домово́й митрополичьей церкви. Выслушав отрока, Пимен новгородский и другие епископы, угодники царские, сказали: *«Царя укоряет, а сам творит такие неистовства».* Митрополит отвечал Пимену: *«Ты*

домогаешься восхитить чужой престол, но скоро лишишься и своего». А отрока, который вслед затем сознался, что говорил всё не по своей воле, но по принуждению и из страха, простил и благословил. Когда эта клевета не удалась, царь приказал схватить всех бояр и сановников митрополичьих: их заключили под стражу и пытали, стараясь выведать что-нибудь недоброе о святителе, но ничего не допытались.

28-го июля, по случаю праздника в Новодевичьем монастыре, митрополит там священнодействовал. Туда же прибыл на праздник, по утвердившемуся обычаю, и царь со всеми боярами и опричниками. В то время как Филипп, совершая крестный ход вокруг обители, достиг св. ворот и хотел читать Евангелие, он увидел, обратившись к народу, что один опричник стоит в тафье, и сказал государю: «Чтение Слова Божия следует слушать христианам с непокровенною главою; а эти откуда взяли агарянский обычай предстоять здесь с покрытыми главами?» «Кто такой?» — спросил Иоанн и, взглянув вокруг, не увидел никого в тафье, потому что виновный успел уже снять её. Царю сказали, что митрополит говорит неправду, издеваясь над его царскою державою. Иоанн вышел из себя, всенародно поносил святителя и называл лжецом, мятежником и злодеем.

После этого царь принял твёрдое намерение низложить Филиппа: помимо личного столкновения с ним, Иоанн не забывал того, что Филипп принадлежал всё-таки к боярскому роду, да ещё заподозренному в смуте времён малолетства Иоанна (Колычевых постигла опала по делу князя Андрея Ивановича Старицкого). Но, чтобы не возмутить народа, относившегося с величайшим уважением к своему архипастырю, Иоанн задумал обвинить его прежде в каких-либо преступлениях. А так как вся жизнь Филиппа в Москве сияла одними только добродетелями, то царь не счёл недостойным отправить особую депутацию в Соловки для расследования тамошней его жизни. Во главе этой депутации находились клеветы царские: суздальский епископ Пафнутий, андрониковский архимандрит Феодосий и князь Василий Темкин. Они употребили всё — и ласки, и угрозы, и дары, и обещания почестей, чтобы найти между иноками лжесвидетелей на митрополита, и действительно некоторых увлекли, в числе их был и сам игумен Паисий, которому обещали епископский сан. А добрых старцев, говоривших о Филиппе только истину и прославлявших его непорочную жизнь в монастыре, били и не хотели слушать. Записав клеветы и взяв с собою клеветников, царские послы возвратились в Москву. Немедленно открыт был собор, в присутствии самого государя и бояр, для суда над митрополитом. Призвали обвиняемого; выслушали обвинения против него; Паисий и его сообщники старались подтверждать свои клеветы. Первосвятитель не думал оправдываться, а сказал только Паисию: «Чадю! Что сеешь, то и пожнёшь». Затем, обратившись к царю и всему собору, объявил, что вовсе не боится смерти, что лучше умереть невинным мучеником, нежели в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония несчастного времени, и тут же начал слагать с себя все знаки своего сана. Но царь велел ему остановиться и ждать судебного приговора.

8-го ноября, в день Архистратига Михаила, когда Филипп священнодействовал в своей кафедральной церкви, вдруг явился туда любимец царский, боярин Басманов, сопровождаемый опричниками. Он приказал прочитать вслух всего народа соборный приговор о низложении митрополита. После того опричники бросились на него, содрали с него святительское облачение, одели его в простую и разодранную монашескую одежду, с позором выгнали из церкви и, посадив на дровни, отвезли в Богоявленский монастырь. Не довольствуясь этим, Иоанн хотел ещё осудить святителя на сожжение, так как его обвиняли, между прочим, в волшебстве, но, по ходатайству духовных властей, согласился оставить ему жизнь. Целую неделю просидел страдалец в смрадной темнице, отягчённый железными оковами и томимый голодом. Потом он был перевезён в монастырь св. чудотворца Николая, так называемый Старый. Царь прислал к нему сюда в кожаном мешке отрубленную голову племянника его, Ивана Борисовича Колычева. «Вот твой сродник, — велел сказать ему царь. — Не помогли ему твои чары». Святитель поклонился пред нею до земли, благословил её, с любовью облобызал и отдал принёсшему. Наконец, по воле царя, Филипп был удалён из Москвы и сослан в заточение в Тверской Отрочь-монастырь. Спустя

около года Иоанн, отправляясь на Новгород, вспомнил о Филиппе и послал к нему одного из своих приближённых, Малюту Скуратова, будто бы попросить его благословения на путь. И этот злодей, вошедши в келью страдальца и беседуя с ним наедине, задушил его подушкой (23-го декабря 1569 года), а потом сказал настоятелю и приставникам, что митрополит умер, по их небрежности, «от неуставного зною келейного». В первый год по смерти Иоанна гроб Филиппа перевезён был в Соловки, а в 1652 году, при царе Алексее Михайловиче, он был причислен к лику святых, и открытые мощи его были поставлены в московском Успенском соборе.

Соловецкий игумен Паисий был заточен в Валаамский монастырь; монах Зосима и ещё 10 иноков, тоже клеветавших на св. Филиппа, были разосланы по разным монастырям.

XIII

Вскоре после осуждения митрополита Филиппа погиб и князь Владимир Андреевич, двоюродный брат Иоанна.

Мужество Филиппа раздражило Иоанна: оно подействовало на него не менее писем Курбского, оно усилило в нём склонность искать везде измены и лить кровь мнимых врагов. В характере Иоанна было медлить с гибелью тех, кого он особенно ненавидел... Уже давно не терпел он своего двоюродного брата Владимира Андреевича. В глазах подозрительного царя он был для изменников готовым лицом, которого они, если бы только была возможность, посадили бы на престол, низвергнув Иоанна. Но Иоанн всё ещё не решался с ним покончить, хотя уже в 1563 году положил свою опалу как на него, так и на мать его; после того мать Владимира постриглась. Царь держал Владимира Андреевича под постоянным надзором, отнял у него всех бояр и слуг и окружил его своими людьми. В 1566 году царь отнял у него удел и дал вместо него другой. Наконец в начале 1569 года решилась участь и Владимира Андреевича. Было подозрение (быть может, и справедливое), что Владимир, постоянно стесняемый недоверием царя, хотел уйти к Сигизмунду-Августу. Царь заманил его с женою в Александровскую слободу и умертвил обоих. Вслед за тем была утоплена в Шексне мать Владимира, монахиня Евдокия. Та же участь вместе с нею постигла инокиню Александру, бывшую княгиню Иулианию, вдову брата Иоаннова, Юрия, какую-то инокиню Марию, также из знатного рода, и с ними 12 человек.

Иоанн давно уже не терпел Новгорода. При учреждении опричнины он обвинял народ в том, что в прошедшие века народ не любил царских предков. Но нигде, конечно, он не видел таких резких, ненавистных для него черт, как в истории Новгорода и Пскова. Понятно, что в нём развилась злоба к этим двум землям, а особенно к Новгороду. Чувя над собою беду, новгородцы просили Филиппа, когда он отправлялся в Москву на митрополию, ходатайствовать за них перед государем. В это время какой-то бродяга Пётр, родом волынец, наказанный за что-то в Новгороде, вздумал разом и отмстить новгородцам, и угодить Иоанну. Он сам сочинил грамоту к Сигизмунду-Августу и необыкновенно искусно подписался под руку архиепископа Пимена и других граждан, спрятал эту грамоту в Софийском соборе за образ Богоматери, а сам убежал в Москву и донёс государю, что архиепископ со множеством духовных и мирских людей отдаётся литовскому королю. Грамота действительно нашлась в указанном месте.

В декабре 1569 года Иоанн предпринял поход на север. С ним были все опричники и множество детей боярских: он шёл как на войну. Разгром начался с границ Тверских владений, с Клина: опричники врывались в города и селения, грабили, били кого попало. Особенно сильно пострадала Тверь, под которою Иоанн стоял пять дней. Здесь сначала ограбили всех духовных, начиная с епископа. Простые жители думали, что тем дело и кончится, но через два дня опричники, по царскому приказанию, бросились в город, бегали по домам, ломали всякую домашнюю утварь, рубили ворота, двери, окна, забирали всякие домашние запасы и товары, свозили в кучи, сжигали, а потом удалились. Жители опять подумали, что этим дело кончится, как вдруг опричники опять ворвались в город и начали бить кого ни попало.

Из Твери царь уехал в Торжок, где повторилось то же, что делалось и в Твери. Но в Торжке Иоанн едва избежал опасности. Здесь содержались в башнях пленные немцы и татары. Царь приказал убить их, но когда пришли к татарам, то мурзы бросились в отчаянии на Малюту, тяжело ранили его, потом убили ещё двух человек; а один татарин кинулся было на самого Иоанна. Все татары были умерщвлены.

2-го января 1570 года в Новгород явился передовой отряд царской дружины, которому велено было устроить крепкие заставы вокруг всего города, чтобы ни один человек не убежал. Бояре и дети боярские из

этого передового полка бросились на подгородные монастыри и запечатали монастырские казны; игуменов и монахов, числом более 500, взяли в Новгород и поставили на правёж до государева приезда. Другие дети боярские собрали ото всех новгородских церквей священников и дьяконов и отдали их на соблюдение приставам, по 10 человек каждому приставу: их держали в железных оковах и каждый день с утра до вечера били на правеже, правя по 20 рублей. Подцерковные и домовые палаты у всех приходских церквей и кладовые именитых людей были перепечатаны. Гостей, приказных и торговых людей перехватывали и отдали приставам; дома и имущества их были опечатаны; жён и детей держали под стражей.

6-го числа приехал сам царь с сыном Иоанном, со всем двором и с 1500 стрельцов и стал на торговой стороне, на Городище. На другой день вышло первое повеление: игуменов и монахов, которые стояли на правеже, бить палками до смерти и трупы развозить по монастырям для погребения. На третий день, в воскресенье, Иоанн отправился в Кремль к обедне в Софийский собор. На Волховском мосту его встретил, по обычаю, владыка Пимен и хотел осенить крестом. Но царь не пошёл приложиться ко кресту и гневно сказал владыке: «Ты, злочестивый, держишь в руке не крест животворящий, а оружие и этим оружием хочешь уязвить наше сердце: с своими единомышленниками, здешними горожанами, хочешь нашу отчину — этот великий богоспасаемый Новгород предать иноплеменникам — литовскому королю Сигизмунду-Августу. С этих пор ты — не пастырь и не учитель, но волк, хищник, губитель, изменник, нашей царской багрянице и венцу досадитель». Проговорив это, Иоанн велел Пимену идти с крестами в Софийский собор служить обедню, у которой был сам со всеми своими. После обедни он пошёл к архиепископу в столовую палату обедать, сел за стол, начал есть — и вдруг завопил страшным голосом. Этот вопль, известный под именем «царского ясака», был сигналом грабежа. Ворвались опричники и начали грабить казну архиепископа и весь его двор; бояр и слуг его перехватывали; самого владыку, ограбив, отдали под стражу и давали ему на корм ежедневно по две деньги. Дворецкий Лев Салтыков и духовник царский, протопоп Евстафий, с боярами пошли в Софийский собор, забрали там ризницу и все церковные вещи. То же самое было сделано по всем церквам и монастырям. Между тем Иоанн с сыном отправился из архиепископского дома к себе на Городище, где начался суд: к нему приводили новгородцев, содержавшихся под стражею, и пытали их. Обвинённых привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда бросали в реку. Жён и детей их бросали туда же с высокого места, связав им руки и ноги, младенцев, привязав к матерям. Чтобы никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ездили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями, баграми; кто всплывёт наверх, того прихватывали баграми, кололи рогатинами и копьями и погружали в глубину. Так делалось каждый день в продолжение пяти недель. Псковский летописец говорит, что Волхов был запружен телами. В народе до сих пор осталось предание, что Иоанн Грозный запрудил убитыми новгородцами Волхов, и с тех пор, как бы в память этого события, от обилия пролитой тогда человеческой крови река никогда не замерзает около моста, как бы ни были велики морозы.

По окончании суда и расправы Иоанн начал ездить около Новгорода по монастырям и там приказывал грабить кельи, служебные дома, жечь в житницах и на скирдах хлеб, бить скот. Осталось предание, что, приехавши в Антониев монастырь, царь отслушал обедню, потом вошёл в трапезную и приказал избить всё живое в монастыре.

Приехав из монастырей, Иоанн велел по всему Новгороду по торговым рядам и улицам грабить товары, рассыпать амбары и лавки; потом начал ездить по посадам, велел грабить все дома — всех жителей без исключения; мужчин и женщин, дворы и хоромы ломать, окна и ворота высекать.

Наконец 13-го февраля утром государь велел выбрать из каждой улицы по лучшему человеку и поставить перед собою. Они стали перед ним с трепетом, но царь взглянул на них милостивым и кротким оком и сказал: «Жители великого Новгорода, оставшиеся в живых! Молите Господа Бога, Пречистую Его Матерь и всех святых о нашем благочестивом царском державстве, о детях моих, благоверных царевичах

Иване и Феодоре, о всём нашем христолюбивом воинстве, чтобы Господь Бог даровал нам победу и одоление на всех видимых и невидимых врагов; а судит Бог общему изменнику моему и вашему, владыке Пимену, его злым советникам и единомышленникам: вся эта кровь взыщется на них, изменниках. Вы об этом теперь не скорбите, живите в Новгороде благодарно; я вам вместо себя оставляю правителем боярина своего и воеводу, князя Петра Даниловича Пронского».

Владыку Пимена, священников и дьяконов, которые не откупились от правежа, и опальных новгородцев, которых дело ещё не было решено, отослали с приставами в Александровскую слободу. Архиепископа Пимена царь предал поруганию: его посадили на белую кобылу, в худой одежде, с волынкою и бубном в руках, как скомороха, и возили из улицы в улицу. «Тебе пляшущих медведей водить, а не сидеть владыкою!» — говорил ему царь. Бывший владыка новгородский был сослан в Венёвский Николаевский монастырь и умер в заключении.

Оставляя Новгород, Иоанн посетил затворника Арсения. Разорив все новгородские монастыри, царь пощадил обитель Арсения, несколько раз посещал его и без гнева выслушивал обличения праведника, который один осмеливался быть заступником несчастного города, отказывал царю в благословении и не принял от него богатых даров. Во всё продолжение разгрома Арсений не выходил из кельи, неусыпно молясь о смягчении царской ярости. Накануне своего отъезда из Новгорода царь вошёл вечером в келью затворника и нашёл его на молитве.

— Оставляю град твой, отче, и иду во Псков, — с кротостью проговорил Грозный. — Благослови меня в путь и сопутствуй мне, если можешь. Люблю твою беседу: она, как елей, умащает душу мою.

— Насытился ли кровию, зверь кровожадный? — отвечал Арсений. — Кто может благословить тебя, кто может молить Бога о мучителе, облитом кровию христианскою? Много душ неповинных послал ты в царство небесное, а сам не увидишь его. И ещё замышляешь новое кровопролитие!

XIV

Дошла до Пскова ужасная весть: царь Иоанн, разгромив Новгород, но не насытившись ещё кровью, идёт и на Псков, считавшийся некогда младшим братом Новгорода, чтобы припомнить и ему его древнюю свободу. Наконец узнали, что царь с опричниками стоит в 5 вёрстах от города, в селе Люботове. Это было в субботу на второй неделе великого поста. Невозможно описать ужас, овладевший псковичами. По улицам раздавались плач и рыдания. Иные хотели бежать в лес; другие, более смелые, решились запереться в городе и сопротивляться. Наместник царский, князь Юрий Токмаков, с трудом мог уговорить обезумевших от страха псковитян положиться на волю Божию и принять царя с покорностью. Никто не ложился спать: все граждане проводили ночь в молитве. В полночь раздался благовест к воскресной заутрене. Царю живо вообразилось, с какими чувствами идут граждане псковские в храм Божий в последний раз — молить Всевышнего о спасении их от гнева царского. Сердце его смягчилось, и он сказал своим воеводам: «Истуйте мечи свои о камни, да престанут убийства».

На следующее утро, это было 20-го февраля, во второе воскресенье великого поста, улицы Пскова представляли необыкновенное зрелище. У ворот Запсковья стояли с непокрытыми головами царский наместник, бояре и все служилые люди в ожидании царского въезда. Царский дьяк Евдоким Мунехин держал на серебряном блюде каравай хлеба и солонку. По всем улицам до самого Кремля, против ворот каждого дома, были расставлены столы с разными постными кушаньями; перед столами стояли жители в праздничных нарядах. Встречая грозного гостя, все они были в страхе, как приговорённые к смерти... Один только человек, в длинной рубашке, подпоясанный верёвкой, смело разгуливал по улицам, перебегая от одного стола к другому и стараясь ободрить своих перепуганных насмерть сограждан. «Не бойтесь, братцы, не сожрёт царь Ирод, сам подавится!» — приговаривал этот смельчак со смехом. Это был юродивый Никола, по прозванью Салос[62]. Когда показался царский поезд, с колокольной Троицкого собора и всех городских церквей раздался торжественный звон. Стоявшие у ворот ударили царю челом в землю. Наместник принял от дьяка хлеб-соль и с низким поклоном передал царю, но Иоанн взглянул на него яростно и оттолкнул блюдо, солонка покатилась, и соль рассыпалась по снегу... Все вздрогнули от ужаса. Царь въехал в город. Граждане, жёны и дети преклоняли колена, встречая его у своих домов с хлебом-солью. Вдруг перед царём явился юродивый Никола, прыгая на палочке, как это делают дети, и приговаривая: «Иванушка, Иванушка! Покушай хлеба-соли, а не человеческой крови». Царь приказал опричникам схватить дерзкого, но блаженный исчез, скрывшись в толпе народа. Встреченный на паперти Троицкого собора печерским игуменом Корнилием и всем городским духовенством, царь вошёл в собор и отстоял обедню. При выходе из собора его снова встретил Никола и неотступно звал к себе в келью под Троицкой колокольной. Царь согласился. В убогой и тесной келье юродивого на лавке была разостлана чистая скатерть, и на ней лежал огромный кусок сырого мяса. «Покушай, Иванушка, покушай!» — приговаривал Никола с поклоном, угощая царя. «Я христианин и не ем мяса в пост», — сурово сказал царь. «Ты делаешь хуже, — заметил ему блаженный, — питаешься плотью и кровью христианскою, забывая не только пост, но и Бога». Когда же царь велел снимать колокола с соборной церкви и грабить ризницу, то блаженный сказал ему строгим голосом: «Не тронь нас, прохожий человек! Ступай скорее прочь. Если ещё помедлишь, то не на чем будет тебе бежать отсюда». В это самое время Малюта Скуратов доложил царю, что его любимый конь пал. Устрашённый царь немедленно выехал из города, а затем уехал в Москву. Во Пскове он никого не казнил, хотя и ограбил церковную казну и частные имения жителей[63].

XV

По возвращении Иоанна в Москву началось следствие о сношениях новгородского архиепископа Пимена и новгородских приказных людей с боярами — князем Афанасием Вяземским, Алексеем Басмановым и сыном его Феодором, казначеем Фуниковым, печатником Висковатым, Семёном Яковлевым, с дьяком Василием Степановым, с Андреем Васильевым. Сношения эти происходили будто бы о том, чтобы сдать Новгород и Псков литовскому королю, царя Иоанна известить, а на государство посадить князя Владимира Андреевича. Начался розыск с самыми жестокими истязаниями и пытками. Многие, не в силах выдержать мук, клепали на себя и на других. Число обвиняемых всё более увеличивалось. Всего удивительнее встретить между осуждёнными имена главных любимцев Иоанновых — Вяземского и Басмановых.

Иоанн до того любил Вяземского и доверял ему, что иногда ночью, встав с постели, приходил к нему побеседовать, а когда бывал болен, то от него только принимал лекарство. Но это не спасло Вяземского при доносе на него. Некто Фёдор Ловчиков, благодетельствованный Вяземским и порученный им царской милости, донёс на своего благодетеля, будто он предупредил архиепископа Пимена об опасности, грозившей Новгороду от царя. Иоанн призвал к себе Вяземского, говорил с ним очень ласково, а в это время, по его приказанию, были перебиты домашние слуги Вяземского. Вяземский ничего не знал; воротившись домой и увидев трупы своих служителей, он не показал и вида, чтобы это произвело на него дурное впечатление, думая покорностию задобрить царя. Однако его схватили, засадили в тюрьму, убили нескольких его родственников, а его самого подвергли пытке, допрашивая, где у него сокровища. Вяземский отдал всё, что наградил и нажил во времена своего благополучия; кроме того, показал на многих богатых людей, что они ему должны. Последние были ограблены царём. Вяземский умер в тюрьме. Подверглись обвинению и двое других любимцев царских, Басмановы, отец с сыном. Говорят, что Иоанн приказал сыну убить своего отца.

Число всех обвинённых по изменному делу доходило до 300. 25-го июля на Красной площади поставлено было 18 виселиц и разложены разные орудия казни: печи, сковороды, острые железные когти (кошки), клещи, иглы, верёвки для перетирания тела пополам, котлы с кипящей водой, кнуты. Увидев все эти приготовления, народ пришёл в ужас и бросился в беспамятстве бежать куда попало. Приехал царь с опричниками; за ними вели осуждённых на казнь — в ужасающем виде от следов пытки, они едва держались на ногах. Площадь была совершенно пуста, как будто всё вымерло. Царю это не понравилось. Он разослал гонцов по всем улицам и велел кричать: «Идите без страха, никому ничего не будет, царь обещает всем милость!» Москвичи начали выползать — кто с чердака, кто из погреба, и сходиться на площадь. «Праведно ли я караю лютыми муками изменников? Отвечайте!» — закричал царь народу. «Будь здоров и благополучен! — закричал народ. — Преступникам и злодеям достойная казнь!» Тогда царь велел отобрать 180 человек и объявил, что дарует им жизнь по своей великой милости. Всех остальных казнили.

Так погибли почти все прежние храбрые воеводы и знатные бояре, советники Сильвестра и Адашева, погибли князья ярославские, родственники Курбского, Морозовы и, наконец, Михаил Воротынский, который ещё перед смертью одержал славную победу над крымцами, незадолго до того обратившими в пепел Москву.

XVI

Обратив всё своё внимание на Ливонию, Иоанн хотел быть спокоен со стороны Крыма. Но Крым не хотел оставить его в покое, тем более что султан турецкий никак не хотел отказаться от намерения отнять у московского царя Казань и Астрахань; а польский король подарками побуждал хана напасть на московские уkraine; да и сами татары понимали, что для них опасно давать усиливаться Иоанну. Вельможи крымские на совете говорили хану: «Помириться тебе с царём московским — значит короля выдать: московский царь короля извоюет, Киев возьмёт, станет по Днепру города ставить, и нам от него не пробыть. Взял он два юрта басурманских, взял немцев. Теперь он тебе подарки даёт, чтобы короля извовать; а когда короля извоюет, то нашему юрту от него не пробыть. Он и казанцам шубы давал; но вы этим шубам не радуйтесь: после того он Казань взял».

Султан Селим решился наконец исполнить давнее намерение турецкого правительства — отнять у московского царя Казань и Астрахань. Летом 1569 года паша Касим выступил в поход с 17 000 турок; с ним соединился крымский хан с 50 000 татар. Положено было идти к Переволоке, то есть к тому месту, где Дон находился в ближайшем расстоянии от Волги, соединить эти две реки каналом и потом взять Астрахань. Достигнув Переволоки, турки начали было рыть канал, но не могли окончить этого дела и пошли к Астрахани, под которой Касим хотел зимовать; но войско его этого не хотело и взволновалось, особенно когда узнали о приходе московских воевод к Астрахани с большим войском. Касим принуждён был бежать назад степью, причём сильно истомил своё войско.

Иоанн избавился таким образом от турок, но не избавился от крымского хана, который не переставал требовать Казани и Астрахани. Очевидно, это было только предлогом к нападению. Всё лето 1570 года прошло в тревогах, в ожидании татарского нашествия. Войско русское стояло на Оке; сам Иоанн два раза выезжал к нему по вестям о приближении хана. Но вести оказались ложными, и царь уже было успокоился, думая, что татары не затевают ничего особенного. Весною 1571 года тревога возобновилась. Воеводы с 50 000 войска отправились к Оке; сам царь с опричниною выступил в Серпухов. На этот раз тревога оказалась не мнимая: хан Девлет-Гирей, собрав 120 000 войска, пошёл к московским украинам. В степи к нему прибежали дети боярские и сказали, что «во всех городах московских два года сряду был большой голод и мор, много людей померло, а много других государь в опале побил, остальные воинские люди и татары все в немецкой земле; государя ждут в Серпухове с опричниною, но людей с ним мало; ты ступай прямо к Москве; мы проведём тебя через Оку». Хан пошёл по указанию изменников и переправился через Оку. Отрезанный от главного войска, Иоанн поспешил отступить из Серпухова в Бронницы, оттуда в Александровскую слободу, а из слободы в Ростов, чтобы спастись от неприятеля, спастись от изменников: ему казалось, что воеводы выдают его татарам!

Узнав, что хан уже за Окою, воеводы предупредили его, пришли в Москву 23-го мая и расположились в её предместьях, чтобы защищать город. 24-го мая, в праздник Вознесения, хан подступил к Москве. Утро было ясное и тихое. Хан приказал зажечь предместья. Русское войско готовилось к смертному бою, как вдруг вспыхнул пожар сразу во многих местах. Запылали сначала деревянные домишки по окраинам предместьев. Быстро с кровли на кровлю перебежал огонь по скученным деревянным постройкам и с треском пожирал сухое дерево. Небо омрачилось дымом; поднялся вихрь, и чрез несколько минут огненное, бурное море разлилось из конца в конец города с ужасным шумом и рёвом. Никакая сила человеческая не могла остановить разрушения: никто не думал тушить. Забыли о татарах. Жители Москвы, толпы людей, бежавших из окрестных мест от татар, воины — все в беспамятстве искали спасения и гибли под развалинами пылающих зданий или давили друг друга в тесноте, стремясь в город, но отовсюду

гонимые пламенем; многие бросались в реку и тонули. Начальствующие люди уже не повелевали — их не слушались, успели только завалить ворота Кремля, не впуская никого в это последнее убежище спасения, ограждённое высокими стенами. Люди горели, падали мёртвые от жара и дыма в каменных церквах. В три часа не стало Москвы — ни посадов, ни Китай-города; уцелел один только Кремль, где в Успенском соборе сидел митрополит Кирилл с святынею и с казною. Любимый Арбатский дворец Иоаннов исчез. Главный воевода, князь Бельский, задохся в погребке на своём дворе. Погиб главный доктор царский Арнольф Ликзей и 25 лондонских купцов. Людей погибло невероятное множество — более 120 000 воинов и граждан, кроме женщин, младенцев и сельских жителей, бежавших в Москву от неприятеля, а всего около 800 000 человек. Москва-река не пронесла мёртвых: нарочно поставлены были люди спускать трупы вниз по реке.

Этот необыкновенный пожар поразил страхом даже и самих татар. Среди почти сплошного огня им было уже не до грабежа. Хан приказал своей орде отступить к селу Коломенскому. Осаждать Кремль он не решился и ушёл со множеством пленных (по некоторым известиям до 150 000); услышав о приближении большого русского войска, Девлет-Гирей оставил Иоанну такую надменную грамоту:

«Жгу и пустошу всё из-за Казани и Астрахани, а всего света богатство применяю к праху, надеясь на величество Божие. Я пришёл на тебя, город твой сжёг, хотел венца твоего и головы; но ты не пришёл и против нас не стал, а ещё хвалишься, что-де я — московский государь! Были бы в тебе стыд и дородство, так ты бы пришёл против нас и стоял. Захочешь с нами душевною мыслью в дружбе быть, так отдай наши юрты — Астрахань и Казань; а захочешь казною и деньгами всесветное богатство нам давать — не надобно: желание наше — Казань и Астрахань, а государства твоего дороги я видел и опознал».

Тяжело было гордому царю смиряться перед заносчивым татаринцом, но пришлось смириться. В ответной грамоте крымскому хану Иоанн соглашался даже уступить ему Астрахань. «Только теперь, — прибавлял он, — этому делу скоро стать нельзя: для него должны быть у нас твои послы, а гонцами такого великого дела сделать невозможно; до тех бы пор ты пожаловал, дал срок и земли нашей не воевал». Но хан понял намерение Иоанна длить время, мало надеялся на успех переговоров и летом 1572 года с 120 000 войска двинулся опять к Оке. Но у Серпухова стояло русское войско под начальством князя Михаила Ивановича Воротынского, который в нескольких схватках разбил хана и заставил его бежать назад с большим уроном. После этого Иоанн уже переменил тон по отношению к крымскому хану и на требование с его стороны Астрахани отвечал решительным отказом. «Теперь писал он, — против нас одна сабля — Крым; а тогда Казань будет вторая сабля, Астрахань — третья, Ногаи — четвёртая».

XVII

Недоверие Иоанна не только к старым боярам, но и к людям, избранным им самим, постоянные разочарования, которых он по своему характеру не мог избежать, требуя от людей, чтобы они во всём удовлетворяли его, должны были тяжело лечь на его душу. Мысль о непрочности своего положения на московском престоле с особенною силою овладела им в последние годы. Состояние его души и образ его мыслей высказываются вполне в единственном дошедшем до нас духовном завещании его, относимом к 1572 году.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Святые и Живоначальные Троицы, и ныне и присно и во веки веков, аминь, и по благословению отца нашего Антония, митрополита всея России. Се аз, многогрешный и худый раб Божий, Иоанн, пишу сие исповедание своим целым разумом.

«...Понеже ум убо острупися, тело изнеможе, болезнует дух, струпы телесны и душевны умножишася, и не сущу врачу испеляющему мя — ждах, иже со мною поскорбит, и не бе; утешающих не обретох. Душею убо осквернён есмь и телом окалях. Житейских ради подвиг прельстихся мира сего мимотекущего красотою, в разбойники впадох мысленный и чувственный, помыслом и делом. Аще и жив, но Богу скарედными своими делы паче мертвеца смраднейший и гнуснейший. Понеже от Адама и до сего дни всех преминух в беззакониях согрешивших, сего ради всеми ненавижим есмь. Аз разумом растлен бых и скотен умом и проразумеванием: понеже убо самую главу оскверних желанием и мыслию неподобных дел, уста рассуждением убийства и всякого злаго делания, язык срамословия и сквернословия, и гнева, и ярости, и невоздержания всякого неподобного дела, выя и перси гордости, руце осязания неподобных и грабления несытно и про дерзания и убийства, внутренняя же помыслы всякими скверными и неподобными оскверних, объядении и пьянствы, нозе течением быстрейшим ко всякому делу злу, и сквернодеяния, и убийства, и граблением несытного богатства, и иных неподобных глумлений. Но что убо сотворю? Понеже Авраам не уведет нас, Исаак не разуме нас и Израиль не позна нас. Но ты, Господи, Отец наш еси, к Тебе прибегаем и милости просим, Христе Боже! Язвы струп моих, глаголюще душевный и телесный, обяжи и к небесному сочетай мя лику, яко милосерд, Господи Боже мой, мир даждь нам, разве Тебе иного не знаем и имя Твоё разумею. Просвети лице Твоё на ны и помилуй ны. Твоя бо есть держава неприкладна и царство безначально и бесконечно, и сила, и слава, и держава, ныне и присно и во веки веков, аминь».

Наставление детям начинается словами Христа: «Се заповедаю вам, да любите друг друга... Сами живите в любви, и военному делу сколько возможно навывайте. Как людей держать и жаловать и от них беречься, и во всём уметь их к себе присвоивать, вы бы и этому навывали же: людей которые вам прямо служат, жалуйте и любите, от всех берегите, чтоб им притеснения ни от кого не было, — тогда они прямее служат. А которые лихи, и вы б на тех опалы клали не скоро, по рассуждению, не яростию. Всякому делу навывайте божественному, священному, иноческому, ратному, судейскому, московскому пребыванию и житейскому всякому обиходу, как которые чины ведутся здесь и в иных государствах, и здешнее государство с иными государствами что имеет, то вы бы сами знали. Также и во всяких обиходах, как кто живёт, и как кому пригоже быть, и в какой мере кто держится — всему этому вы учитесь, так вам люди и не будут указывать, вы станете людям указывать; а если сами чего не знаете, то вы не сами станете своими государствами владеть, а люди. А что, по множеству беззаконий моих, распростёрся Божий гнев, изгнан я от бояр, ради их самовольства, от своего достояния и скитаюсь по странам, и вам моими грехами многия беды нанесены: то Бога ради не изнемогайте в скорбях... Пока вас Бог не помилует, не освободит от бед, до тех пор вы ни в чём не

разделяйтесь: и люди бы у вас за одно служили, и земля была бы за одно и казна у обоих одна, — так вам будет прибыльнее. А ты, Иван сын, береги сына Фёдора, а своего брата, как себя, чтобы ему ни в каком обиходе нужды не было, всем был бы доволен, чтоб ему на тебя не в досаду, что не дашь ему ни удела, ни казны. А ты, Фёдор сын, у Ивана сына, а своего брата старшаго, пока устроишься, удела и казны не проси, живи в своём обиходе, смекаясь, как бы Ивану сыну тебя без убытка можно было прокормить, оба живите за одно и во всём устраивайте, как бы прибыльнее. Ты бы, сын Иван, моего сына Фёдора, а своего брата младшего, держал и берег, и любил, и жаловал, и добра ему хотел во всём, как самому себе, и на его лихо ни с кем бы не ссылался, везде был бы с ним один человек — и в хуе, и в добре; а если в чём перед тобою провинится, то ты бы его понаказал и пожаловал, а до конца бы его не разорял; а ссоркам бы отнюдь не верил, потому что Каин Авеля убил, а сам не последовал же. А даст Бог, будешь ты на государстве, а брат твой Фёдор на уделе, то ты удела его под ним не подыскивай, на его лихо ни с кем не ссылайся; а где по рубежам сошлась твоя земля с его землёю, ты его береги и накрепко смотри правды, а напрасно его не задирай и людским вракам не потакай: потому что, если кто и множество земли и богатства приобретёт, но трилокотного гроба не может избежать, и тогда всё останется. А ты, сын мой Фёдор, держи сына моего Ивана в моё место отца своего и слушай его во всём, как меня, и покорен будь ему во всём, и добра желай ему, как мне, родителю своему, ни в чём ему не прекословь, во всём живи из его слова, как теперь живёшь из моего. Если, даст Бог, будет он на государстве, а ты на уделе, то ты государства его под ним не подыскивай, на лихо его не ссылайся ни с кем, везде будь с ним один человек — и в лихе, и в добре, а пока, по грехам, Иван сын государства не достигнет, а ты удела своего, то ты с сыном Иваном вместе будь за один, с его изменниками и лиходеями никак не ссылайся, если станут прельщать тебя славою, богатством, честью, станут давать тебе города, или право какое будут тебе уступать мимо сына Ивана, или станут на государство звать, то ты отнюдь их не слушай, из Ивановой воли не выходи; как Иван сын тебе велит, так и будь, и ничем не прельщайся; а где Иван сын пошлёт тебя на свою службу или людей твоих велит тебе на свою службу послать, то ты на его службу ходи и людей своих посылай, как сын мой Иван велит; а где порубежная Иванова земля сошлась с твоею землёю, и ты береги накрепко, смотри правды, а напрасно не задирайся и людским вракам не потакай, потому что если кто и множество богатства и земли приобретёт, но трилокотного гроба не может избежать... И ты б, сын Фёдор, сыну моему Ивану, а твоему брату старшему, во всём покорен был и добра ему хотел, как мне и себе; и во всём в воле его будь до крови и до смерти, ни в чём ему не прекословь; если даже Иван сын на тебя и разгневается или обидит как-нибудь, то и тут старшему брату не прекословь, рати не поднимай и сам собою не обороняйся; бей ему челом, чтоб тебя пожаловал, гнев сложить изволил и жаловал тебя во всём по моему приказу; а в чём будет твоя вина, и ты ему добей челом, как ему любо; послушает твоего челобитья — хорошо, а не послушает — и ты сам собою не обороняйся же. Нас, родителей своих и прародителей, не только что в государствующем граде Москве или где будете в другом месте, но если даже в гонении и в изгнании будете, в божественных литургиях, панихидах и литиях, в милостынях к нищим и препитаниях, сколько возможно, не забываюте».

Иоанн благословляет старшего сына «царством Русским (достоинством), шапкою Мономаховою и всем чином царским, что прислал прародителю нашему царю и великому князю Владимиру Мономаху царь Константин Мономах из Царяграда; да сына же своего Ивана благословляю всеми шапками царскими и. чином царским, что я промыслил, посохами и скатертью, а по-немецки центурь. Сына же своего Ивана благословляю своим царством русским (областью), чем меня благословил отец мой, князь великий Василий, и что мне Бог дал». Здесь мы встречаем важную отмену против распоряжения прежних государей: удельный Фёдор не получает никакой части в городе Москве. Ему дано в удел 14 городов, из которых главный — Суздаль; но показывается, что удельный князь не должен думать ни о какой самостоятельности: «Удел сына моего Фёдора ему же (царю Иоанну) к великому государству». Наконец

относительно опричнины Иоанн говорит так сыновьям своим в завещании: «Что я учредил опричнину, что на воле детей моих, Ивана и Фёдора; как им прибыльнее, так пусть и делают, а образец им готов».

XVIII

Ливония под ударами русских, как мы уже говорили, распалась на части. Польша, которой досталась большая часть Ливонских владений, должна была по договору 1561 года защищать их. Таким образом России пришлось столкнуться с Польшей.

После разрыва переговоров о браке московского царя с королевной Екатериной, сестрой Сигизмунда-Августа, и приёме польским королём во владение Ливонии, последний послал в Москву послом Корсака с предложением вывести из Ливонии и русское, и литовское войско и вступить в переговоры о мире. Из Москвы отвечали отказом и указывали на сношения короля с крымским ханом. Литовские паны пробовали завести сношения от имени епископа виленского с московским митрополитом и боярами, но сношения эти кончились неудачей. Бояре, между прочим, указывали на то, что сама Литва есть отчина великого государя, и делали сравнение между русскими государями «прирождёнными» и литовскими — «посажёнными» (ответы эти писаны, очевидно, самим царём). Весь 1562 год прошёл в переговорах и мелких столкновениях.

В начале 1563 года сам Иоанн с большим войском и нарядом двинулся к литовским границам. Целью похода был Полоцк — город важный сам по себе и особенно по отношению к Ливонии, по торговой связи его через Двину с Ригой. 31 января Полоцк был осаждён, 7 февраля взят был острог, а 15 февраля город сдался. Казна королевская, имение панов и богатых купцов, множество золота и серебра отобрано на царя. Наёмные воины королевские, числом больше 500 человек, одарены шубами и отпущены: им дана была воля — вступить ли в царскую службу, ехать ли к королю или в другие земли.

Уведомляя митрополита о взятии Полоцка, Иоанн велел сказать ему: «Исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита, о городе Москве, что взыдут руки его на плечи врагов его: Бог несказанную свою милость изливал на нас недостойных — вотчину нашу, город Полоцк, нам в руки дал». Царь возвратился в Москву так же торжественно, как из-под Казани. В Полоцке оставлено было трое воевод, князя: Пётр Иванович Шуйский, Василий и Пётр Семёновичи Серебряные-Оболенские, с наказом управлять городом, «расспрося по здешние всякие обиходы», и судить по местным обычаям. Польский король завёл переговоры о мире, но царь не согласился на уступку Полоцка и Ливонии, и переговоры не привели ни к чему. Хотя 26-го января 1564 года русское войско, предводимое Шуйским, было разбито Николаем Радзивиллом близ города Чашников на реке Уле (причём сам Шуйский был убит), однако эта победа не могла вознаградить короля за потерю Полоцка. Измена Курбского также не принесла врагам большей пользы. Король просил перемирия, уступая царю все города и земли, занятые московскими войсками. Для решения важного вопроса — мириться ли с королём или нет? — Иоанн созвал летом 1566 года большой, небывалый собор. До сих пор государи советовались о делах с вельможами, в делах важных призывалось на совет, в думу, и знатнейшее духовенство. Но теперь Иоанн велел собрать духовенство, бояр, дворян, помещиков с западных литовских границ, как людей, которым знакомы местные отношения, дьяков, знатнейших купцов московских и смолян, предложил им условия, на которых хочет помириться с королём, и спрашивал их совета. Собор отвечал, что надобно добывать всю Ливонию, подтвердив таким образом заветное намерение самого царя.

Подкреплённый решением собора, Иоанн послал Умнаго Колычева в Литву требовать признания Ливонии за Россией. В ответ на это послан был от короля гонец с объявлением войны. Гетман Хоткевич осадил Улу, но должен был отступить по причине неповиновения войска; затем нападения опять возобновились, и Ула была взята и сожжена. Сношения, однако, возобновились: в Литве в виду болезненности короля, которым прекращалась династия, становились уступчивее. Гонец, приехавший

просить опасной грамоты на больших послов, назвал Иоанна царём^[64], чем было польщено самолюбие Иоанна. И московские послы заговорили в более миролюбивом тоне. Прежде царь требовал, между прочим, выдачи Курбского, но теперь отказался от этого требования, зато посланцу Мясоедову дан был такой наказ: «Станет с ним говорить князь Андрей Курбский или иной, который государев изменник, то отвечать, с изменником что говорить? Вы своею изменою сколько ни лукавствуете бесовским обычаем, а Бог государю свыше подаёт на врагов победу и вашу измену разрушает. Больше того не говорить ничего и пойти прочь. А с простым изменником и того не говорить: выбравив его, плюнуть в глаза да и пойти прочь».

Наконец в 1570 году заключено было перемирие на три года с оставлением всего, как было, с тем, чтобы в эти года переговаривать о мире.

Во время переговоров послы литовские выразили царю мысль, что желают избрать государя «от славянского рода» и останавливаются на нём. Царь, произнёсший обширную речь в доказательство того, что войну начал не он, заметил, что он не ищет выбора в короли; а если они действительно хотят его, то «вам, — сказал им царь, — пригоже нас не раздражать, а делать так, как мы велели боярам своим и всем говорить, чтобы христианство было в покое». Иоанн не гнался за выбором в короли: ему важна была Ливония, за Ливонию он готов был отдать и Полоцк. Но Ливонии не уступят охотно ни Польша, ни Швеция; овладеть ею трудно — и вот явилась мысль дать Ливонии немецкого правителя, который бы вошёл в вассальные отношения к царю московскому, как герцог Курляндский к польскому королю. Иоанн обратился с таким предложением к датскому принцу Магнусу, владельцу Эзеля. В марте 1570 года Магнус приехал в Москву. Иоанн заставил его присягнуть в верности, назвал его королём Ливонии и назначил ему в невесты племянницу свою Евфимию, дочь князя Владимира Андреевича. Брак отложили до благоприятнейшего времени. Из Москвы Магнус отправился в Эстландию и осадил Ревель, стоял под ним 30 недель и не мог взять его.

XIX

Между тем в западной России происходили важные события. Со времён Ягайла поляки хлопотали об окончательном слиянии Литвы и западной России с Польшей, но встречали в Литве постоянное сопротивление своим намерениям. Полякам особенно хотелось прикрепить себе благословенные природою русские области: Подолию, Волынь, Малоруссию, — и за эти-то области у них шли сильные распри с литовцами. При бездетном Сигизмунде-Августе, которым оканчивалась ягеллонская династия, вопрос о соединении Литвы с Польшей поднялся с новою силою и решён был на Люблинском сейме в 1569 году. Литовцы сначала и тут сильно упорствовали, но потом должны были согласиться на соединение (унию), когда увидели, что не поддерживаются русскими; а русским было всё равно, быть ли в соединении с Литвою или Польшею, потому что литовские вельможи вели себя в отношении к русскому народонаселению вовсе не так, чтоб могли заслужить его привязанность. Правление неразрывно соединённых теперь Польши и Литвы объявлено избирательным, и когда Сигизмунд-Август умер (7-го июля 1572 года), то взоры очень многих, особенно в литовско-русских православных областях, обратились к Москве. Дав зная Иоанну о смерти Сигизмунда-Августа, паны польские и литовские тут же объявили ему о желании своём видеть второго его сына, царевича Феодора, королём польским и великим князем литовским. Но Иоанн не хотел дать сына в короли, хотел сам быть королём, — и не столько хотел быть королём польским, сколько великим князем литовским, без Польши. Иоанн медлил, не отправлял своих послов на сейм, не хотел унизиться до ласкательств и задаривания вельмож, а французский посол не щадил ни лести, ни обещаний и успел составить сильную сторону, которая провозгласила королём Генриха Анжуйского, брата французского короля Карла IX. Но Генрих недолго царствовал в Польше: получив известие о смерти брата, он тайком убежал из Польши во Францию, и в Польше опять должны были начаться выборы. На этот раз Иоанн отправил своего посланника с грамотами к знатнейшим панам, с обещаниями наград в случае его избрания. Но одних обещаний частным лицам было мало: когда послы других соискателей распространялись насчёт выгод, какие Польша и Литва получают от избрания их кандидатов, никто не слыхал, какие выгоды получают они от избрания царя московского. Избран был в 1575 году Стефан Баторий, воевода Трансильванский (или князь Семиградский), женившийся на сестре Сигизмунда-Августа, Анне.

Тем временем Иоанн упорно продолжал войну в прибалтийских областях, где к войне с поляками присоединилась и война со шведами, потому что царь хотел добыть также и Ревель с другими эстонскими городами. После неудачной осады Ревеля Магнусом Иоанн в конце 1571 года сам приехал в Новгород, приказав полкам собираться в Орешке и в Дерпте. Но прежде ему захотелось попробовать, не согласятся ли шведы, испуганные его приготовлениями, уступить Эстонию без войны. Он предъявил шведскому королю громадные требования, а именно: чтобы тот признал его верховным своим государем, допустил внесение своего герба в русский, а главное — отказался от Ливонии. Требования, разумеется, не были приняты, и с обеих сторон началась оскорбительная переписка. «Воровство ваше всё наруже, а промётывается как гад разными видами», — писал царь, видя, что король не шлёт послов. «Ты до несносности глуп, до грубости надменен и без всякого воспитания, что надобно думать, яко бы отец твой был монах или крестьянин», — отвечал король.

В конце 1572 года Иоанн вступил в Эстонию с 80 000 войска и осадил город Пайдю (Виттенштейн)^[65]. 1-го января 1573 года город был взят. «Первая крепость, взятая московитами штурмом», — говорит ливонский летописец. Поручив дальнейшее ведение войны своим воеводам, царь возвратился в Новгород. Русские взяли несколько крепостей, но при замке Лоде (Коловерть) были разбиты шведами. В июле 1575

года было заключено перемирие со шведами на два года: Иоанн хотел обеспечить себя со стороны Финляндии, чтобы сильнее действовать в Ливонии. В январе 1577 года русское войско, в числе 50 000 человек, двинулось к Колывани (Ревелю): осада, продолжавшаяся полтора месяца, была неудачна. Зато сам царь совершил удачный поход в Ливонию: город за городом сдавались царю и его воеводам, с одной стороны, королю Магнусу — с другой. Но с отбытием царя дела переменились. Поляки и шведы взяли верх, в 1578 году нанесли русским сильное поражение близ Вендена, причём погибло четверо царских воевод; король Магнус, уже женившийся на царской племяннице, передался полякам. Следующий, 1579 год долженствовал быть решительным для Ливонии: Иоанн готовился к новому походу. Во Псков уже привезён был тяжёлый наряд (артиллерия), назначенный для осады Ревеля. Но этот наряд получил другое назначение: враг явился на русской земле.

Переговоры, начатые Стефаном Баторием с царём московским, не привели ни к чему. Иоанн относился к нему свысока, даже не хотел по обычаю называть его в грамотах «братом», а звал только «соседом», потому что Стефан стал королём не по происхождению своему и не по воле Божией, а по «многомятежному человеческому хотению» (то есть по избранию сейма). Ливонию царь по-прежнему называл «своей вотчиной» и уступок никаких не делал.

Вступая на престол, Стефан Баторий обещал возвратить Литве области, завоёванные у неё московскими государями, и хотел сдержать обещание. Кроме личных достоинств — достоинств искусного полководца, средства к успеху у Батория были: искусная, закалившаяся в боях наёмная пехота, венгерская и немецкая, исправная артиллерия, быстрое наступательное движение, дававшее ему огромное преимущество пред врагом, принуждённым растянуть свои полки по границам.

Иоанн, думая, что война, предпринятая за Ливонию, будет ведена в Ливонии, отправил туда большое войско; но Баторий летом 1579 года осадил Полоцк. Пришедшие на выручку московские войска не могли пробраться к городу и должны были удалиться в Сокол. После неудачного первого приступа Баторий сделал 3 августа второй приступ. Жители Полоцка усердно помогали воинам, бросались тушить пожары, когда они вспыхивали от неприятельских выстрелов; женщины и старики спускались на верёвках и под ядрами доставали воду из Двины. Но, несмотря на всё упорство защиты, Полоцк после трёхнедельной осады был взят Баторием. Вслед за тем после страшной резни был взят Сокол. 1580 год был ещё несчастнее для русских: Баторий брал город за городом (Велиж, Усвят, Великие Луки), а с другой стороны, шведский полководец Делагарди брал верх над русскими в Эстонии.

Переписка между царём и королём продолжалась: чем более уступал царь, тем горделивее становился король и тем более усиливал свои требования. Послы московские предложили Баторию от имени царя Ливонию, за исключением четырёх городов. Но король требовал всей Ливонии, сверх того ещё уступки Себежа и уплаты 400 000 золотых венгерских за военные издержки. Царь был сильно раздосадован требованиями короля и написал ему укорительное письмо: «Мы ищем того, как бы кровь христианскую унять; а ты — говоришь в письме — ищешь того, как бы воевать». Во время похода ко Пскову Баторий отправил из Заволочья к царю обширное послание, в котором смеялся над тем, что он производит себя от Августа, осмеивал его титулы, не оставил в покое и того, что мать его была дочерью литовского перебежчика, упрекал его в тиранстве, оправдывался в своих военных действиях. Называя Иоанна фараоном московским, Баторий спрашивает: «Для чего ты к нам не прибыл с войсками своими? Для чего своих подданных не оборонял? И бедная курица перед ястребом и орлом птенцов своих крыльями покрывает, а ты, орёл двуглавый (ибо такова твоя печать), прячешься! Если не хочешь крови христианской проливать, — (прибавлял Баторий), — так уговоримся о месте и о часе, сядем на коней и сразимся между собой».

В 1581 году Баторий взял крепость Остров и осадил Псков, под стенами которого и кончились его

успехи.

Взяв Остров, 25 августа войско королевское, в числе, как говорят, 100 000 человек, появилось под Псковом. Город Псков был очень сильно укреплён: к детинцу (кремлю), построенному на косе, образуемой впадением Псковы в Великую, и к связанной с ним Довмонтовой стене прилежала ещё (не существующая теперь) средняя стена; сверх того Запсковье тоже было укреплено. В городе, обильно снабжённом военными запасами, начальствовал князь Иван Петрович Шуйский с товарищами, из числа которых выделяется Шуйский-Скопин, отец знаменитого впоследствии князя Михаила Скопина. Во Пскове было 7000 конницы и до 50 000 пехоты, считая и городское ополчение.

О достопамятной обороне Пскова, продолжавшейся с 26 августа по конец декабря, сохранилось подробное сказание в «Повести о Псковской осаде».

Баторий велел укрепиться под стенами города, рыть борозды (траншеи), ставить туры для прикрытия людей и пушек. Защитники Пскова тоже не теряли времени, стали строить внутренние укрепления. 7 сентября на рассвете неприятель открыл сильную пальбу. Из 20 больших орудий громили городскую стену, стараясь сделать в ней проломы для приступа. На другой день стена в нескольких местах была сбита. Путь в город был открыт, и воеводы Батория, сидевшие в это время за обедом, хвалились, что ужинать они будут уже во Пскове. Распустив знамёна при звуках труб, пошли поляки, венгры и немцы на приступ. В городе по звону осадного колокола не только воины спешили к своим местам, но и все жители, могущие держать оружие в руках, бежали на помощь своим и стали с воинами в самом опасном месте — между развалинами каменной стены и новою деревянною стеною, ещё не достроенною. Но, несмотря на ужасный огонь, открытый по неприятелю, он упорно шёл вперёд, по трупам своих, достиг крепости, сломил отчаянное сопротивление и ворвался... Уже на двух башнях (Покровской и Свиной) развевались королевские знамёна; русские изнемогали и всё больше и больше подавались под напором врагов. Облитый кровью, Шуйский сошёл со своего раненого коня и удерживал отступающих... В это самое время духовенство вынесло из храма образ Богоматери и мощи св. князя Всеволода-Гавриила и направлялось в самый пыл битвы. Увидя священное шествие, бойцы ободрились. Вдруг с ужасным громом и треском взлетела на воздух Свиная башня: воеводам удалось взорвать её. Ров наполнился истерзанными телами врагов, овладевших башней. Русские дружно ударили на врагов и смяли их. К месту боя подоспели свежие отряды воинов из более отдалённых частей города: враги не выдержали нового напора и побежали... Дольше всех защищались венгры, засевшие в Покровской башне; наконец и они были сломлены. Жители помогали воинам: приносили воду, верёвками тащили лёгкие пушки, брошенные неприятелем у стен. Уже поздно ночью вернулись победители в город с огромным числом пленных. Осаждённые потеряли 863 человека убитыми и 1626 человек ранеными, осаждающие же более 5000 человек убитыми.

Псковичи собрались в соборной церкви принести благодарение Богу за Его всеильную помощь. Воеводы сказали воинам и гражданам: «Так миновал для нас первый день трудов, мужества, плача и веселия! Совершим, как мы начали! Пали сильные враги наши, а мы, слабые, с их доспехами стоим пред алтарём Всевышнего. Гордый исполин лишился хлеба, а мы в христианском смирении насытились милосердием небесным. Исполним клятвенный обет, данный нами без лукавства и хитрости; не изменим церкви и государю ни робостию, ни малодушным отчаянием!» Воины и граждане отвечали со слезами умиления: «Мы готовы умереть за веру Христову! Как начали, так и совершим с Богом, без всякой хитрости». Послали гонца в Москву с радостною вестью: он счастливо миновал литовский стан.

После этого осаждающие долго не могли ничего предпринять, по недостатку пороха. Когда был привезён порох, Баторий всячески пытался взять Псков: велел делать подкопы, стрелять день и ночь в крепость, пускать калёные ядра, чтобы произвести пожар; написал увещание псковским воеводам, обещая им и городу всякие льготы, если сдадутся, и грозя неминуемою гибелью в случае упорства. Так как

осаждённые не хотели иметь никаких сношений с неприятелем, то письмо короля с этим увещанием было пущено в город со стрелою. Таким же способом псковские воеводы прислали королю свой ответ: «За богатства всего мира не изменим своему крестному целованию. Если Бог за нас, никто не осилит нас! Мы готовы умереть, но не предадим Пскова. Готовые на брань, а чья будет победа — Бог покажет!»

Не удались Баторию и подкопы: осаждённые вели против них свои мины и резались с неприятелем под землёю. Напрасны были и новые приступы: когда враги подходили к стене, прикрываясь большими щитами от пуль и стараясь ломами пробить каменную стену, осаждённые лили на них горячую смолу, шестами с крючьями оттаскивали их от стены. Войско Батория, несмотря на то, что числом вдвое 508 превосходило осаждённых, совсем упало духом и отчаялось осилить город.

Не удалась Баторию даже попытка овладеть Печерским монастырём. Монахи этого монастыря говорили осаждающим: «Какую такую обиду чернецы нанесли королевским людям, что они так теснят и осуждают монастырь! Коли королевские (люди) хотят быть настоящими воинами, то пусть своё мужество покажут под Псковом».

Если действия Баториевых войск были не особенно успешны, то более успешно действовали шведы: они взяли Гапсаль, Нарву, Виттенштейн, Ям, Копоры и Корелу. Все враги Иоанна находились между собою в сношениях: не только польский, но и шведский король переписывался с крымским ханом. Шведы предлагали полякам прийти к ним на помощь под Псков. Но Баторий отклонил это предложение, опасаясь успехов шведов в Ливонии. Отчасти это опасение, а ещё более обещание, данное сейму, — кончить войну походом 1581 года, и неудача под Псковом побудили Батория желать мира.

Тяжела становилась и для Иоанна война с двумя соседями: он решил помириться с Польшей. Угрожаемый опасною войною с Баторием, он отправил к папе Григорию XIII посла с грамотою, в которой он жаловался на Батория, просил его помочь миру и выразил желание сблизиться с ним и с Цезарем (императором немецким) на случай войны с грозными тогда для Европы турками. Папа с радостью согласился быть посредником, надеясь ввести в России католичество. В Москву был отправлен папский легат, иезуит Антоний Поссевин, человек очень умный и ловкий. При посредстве Антония Поссевина в декабре 1581 года в деревне Киверова Гора, в 15 вёрстах от Запольского Яма, начались мирные переговоры. До 6 января 1582 года продолжались бурные прения, и наконец заключено было перемирие на 10 лет: Иоанн уступал Баторию все свои завоевания в Ливонии и Полоцке. Уже после подписания перемирия продолжались споры о титуле, и решено было писать царя Лифляндским и Смоленским только в московской грамоте.

Иоанн решил помириться с Баторием для того, чтобы свободнее можно было воевать со шведами, отнять у них завоёванные ими города и Ревель, следовательно, в Эстонии вознаградить себя за потерю Ливонии. Русские войска имели успех в одном деле со шведами: двукратный приступ к Орешку был отбит. Но когда в начале 1583 года Делагарди приготовился опять вступить в русские владения, то новгородские воеводы предложили ему мир: в августе 1583 года на реке Плюсе (близ Нарвы) заключено было на три года перемирие, на основании которого всё, занятое шведами (в том числе и русские города — Ям, Ивангород и Копорье), осталось за ними. Это поспешное заключение перемирия объясняется непрочностью перемирия с Польшею и особенно опасным восстанием Луговой Черемисы в Казанской области.

Так печально кончились замыслы Иоанна овладеть Балтийским побережьем.

XX

По заключении перемирия в Киверовой горе, папский посол Антоний Поссевин, исполнив одну половину своего поручения, прибыл в Москву для достижения самой главной и существенной цели своего посольства. В наказе, данном ему папою, говорилось: «Приобретя расположение и доверенность государя московского, приступайте к делу, внушайте как можно искуснее мысль о необходимости принять католическую религию, признать главою церкви первосвященника римского, признаваемого таковым от всех государей христианских; наведите царя на мысль, как неприлично такому великому государю признавать митрополита Константинопольского, который не есть законный пастырь, но симониан и раб турок; что гораздо лучше и славнее для него будет, если он, вместе с другими государями христианскими, признает главою церкви первосвященника римского; с этою целью возьмите с собою изложение веры, составленное на Тридентском, в греческом переводе. Так как, быть может, монахи или священники московские, частью по грубости своей и отвращению к латинской церкви, частью из опасения потерять своё значение, будут противиться нашему благочестивому намерению и употреблять все усилия, чтоб не допустить государя оставить греческую веру, то старайтесь всеми силами приобрести их расположение; более всего старайтесь приобрести сведения обо всём, касающемся веры этого народа».

Прибыв в Москву, Антоний Поссевин стал просить позволения говорить с государем наедине о вере, но, потерпев неудачу в главном своём намерении, Поссевин настаивал по крайней мере на том, чтобы католикам позволено было иметь в Москве свою церковь и чтобы царь отпустил несколько молодых русских людей в Рим для изучения латинского языка. Царь отвечал: «Теперь в скорости таких людей собрать нельзя, которые бы к этому делу были годны; а как, даст Бог, наши приказные люди таких людей наберут, то мы их к папе пришлём. А что ты говорил о венецианах, то им вольно приезжать в наше государство и попам их с ними, только бы они учения своего между русскими людьми не плодили и костёлов не ставили: пусть каждый остаётся в своей вере. В нашем государстве много разных вер; мы ни у кого воли не отымаем, живут все по своей воле, как кто хочет, а церковей иноверных до сих пор ещё в нашем государстве не ставили».

Поссевин выехал из Москвы вместе с царским гонцом. В грамоте, отправленной к папе, Иоанн писал: «Мы грамоту твою радостно приняли и любительно выслушали; посла твоего Антония с великою любовью приняли. Мы хотим быть в братстве с тобою, цесарем и с другими христианскими государями, чтоб христианство было освобождено из рук мусульманских и пребывало в покое... А что ты писал к нам и посол твой устно говорил нам о вере, то мы об этом с Антонием говорили».

XXI

По окончании ливонской войны Иоанн завёл переговоры с английскою королевою Елизаветою: он всё ещё не оставлял мысли о возвращении прибалтийских берегов, но был убеждён, что достигнуть этого можно было только в союзе с каким-нибудь европейским государством. Ещё в 1569 году Иоанн тайным образом сделал Елизавете следующие предложения: он желает, чтоб королева была другом его друзей и врагом его врагов и наоборот, а он обязывается этим же самым относительно королевы. Англия и Россия должны быть во всех делах заодно. Затем он просил, чтобы королева позволила приезжать к нему мастеровым, умеющим строить корабли и управлять ими, позволила вывозить из Англии в Россию всякого рода артиллерию и вещи, необходимые для войны. Наконец, он просил убедительно, чтобы между ним и королевою учинено было клятвенное обещание такого рода: если кто-нибудь из них по несчастию принуждён будет оставить свою землю, то имеет право приехать в землю другого для спасения своей жизни. Это обязательство следует хранить в величайшей тайне.

Иоанн готов был уступить англичанам право исключительной торговли в московском государстве, — что, по его собственным словам, было тяжелее дани, — лишь бы только приобрести деятельный союз европейского государства против главных своих недругов, отнявших у него Ливонию. Королеве же Елизавете не было никакой выгоды втягиваться в войны Иоанна с соседями. Поэтому на его предложение она отвечала уклончиво и неопределённо, что не будет позволять, чтобы какое-нибудь лицо или государь вредил Иоанну или его владениям, не будет позволять этого в той мере, как по возможности или справедливости ей можно будет благоразумно этому воспрепятствовать; но против общих врагов обязывается действовать оборонительно и наступательно. Присылала также Елизавета и людей, нужных царю. Наконец было обещано принятие царя и семейства его в Англии и содержание с почётом. В грамоте, посланной царю с Фёдором Писемским, Елизавета писала: «Наша воля и хотение, чтоб все наши царства и области всегда были для тебя отворены; ты приедешь к своему истинному приятелю и любимой сестре».

XXII

В 1579 году Казань пострадала от пожара, который, начавшись близ церкви св. Николая Тульского, истребил часть города, прилегавшую к Кремлю, и окрестные посады, затем перешёл в самый Кремль и половину его обратил в пепел. Православные, благодушно перенёсшие это несчастье, стали снова устроить свои дома и созидать храмы Божии. Но в руках неверных это несчастье, постигшее город, сделалось оружием против православных. Они видели в пожаре гнев Божий на христианство и выводили отсюда превосходство ислама над верою Христовою. «И вера Христова, — говорит летописец, — сделалась притчею и поруганием». Но Господь не оставил верных рабов Своих и показал человеколюбие Своё — по выражению летописца — оттуда же, откуда испустил праведный гнев Свой на них за грехи их. На вержение камня[66] от того места, где начался пожар, стоял дом одного стрельца, сгоревший вместе с другими во время общего пожара. Когда стрелец намеревался начать постройку нового дома на своём пепелище, девятилетней дочери его Матроне стала являться во сне Божия Мать. В первое своё явление Богоматерь сказала отроковице, что в земле находится сокрытою Её икона — на том месте, где был дом их, и повелевала ей сказать об этом архиепископу и воеводам. Но отроковица не посмела открыть тотчас же своего видения: спустя уже несколько времени она сказала о нём матери. Однако мать, женщина простая и занятая житейскими хлопотами, или не поняла рассказа дочери, или не обратила на него внимания, считая бывшее её дочери видение грёзами. Божия Мать явилась отроковице во второй раз, повелевая рассказать о бывших ей явлениях без всякого сомнения и боязни. Матрона снова открыла матери свой чудесный сон и с того времени не переставала повторять о видении, занимавшем всю её душу. Но мать по-прежнему оставила без внимания слова отроковицы. Наконец, Богоматерь явилась ей своею иконою в третий раз. Это было так. Однажды отроковица во время сна у себя дома была перенесена сверхъестественною силою на середину двора и увидела здесь икону Пресвятой Богородицы, от лика которой исходили огненные лучи столь сильные, что Матрона боялась быть сожжённою ими. Вместе с этим от иконы послышался страшный голос, говоривший: «Если ты не поведаетшь глаголов моих, Я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь». От этого страшного видения Матрона пала на землю и долго лежала как мёртвая. Очнувшись, она стала громко звать мать свою, рассказала ей слышанное от иконы Богоматери и просила немедленно идти к воеводам и архиепископу. Мать вняла на этот раз неотступной просьбе дочери и отправилась вместе с нею к градоначальникам: боярину-воеводе князю Андрею Ивановичу Ногтеву и дьякам Михаилу Битяговскому и Василию Шулепину. Мать заставила саму, имевшую видение, рассказать им своё видение. Отроковица рассказала подробно о тоекратном явлении ей иконы Богоматери, пересказала всё, что говорила ей Владычица во время своих явлений, и указала место, где сокрыта икона. Но воевода и дьяки не только не поверили сказанному, а, кажется, ещё посмеялись над простотою рассказчиц, которые вышли от них со слезами и отправились к архиепископу Иеремии. Отроковица Матрона повторила и ему то же самое, что говорила мирским властям. Но и здесь мать с дочерью не имели никакого успеха: архиепископ также не поверил рассказу. Возвратившись домой в 12-м часу дня (это было 8 июля), мать сама взяла заступ и начала копать землю в указанном Матроною месте. Она копала долго, но ничего не находила. Вскоре к ней присоединились и другие, взрыли всё место, но так же безуспешно. Тогда отроковица сама взяла заступ и начала вместе с другими разрывать то место, где была в их доме печь. Вырыв более двух локтей в глубину, труждающиеся нашли наконец искомое сокровище: показалась икона Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем, завёрнутая в рукав ветхой одежды из сукна вишнёвого цвета, но светлая, без малейшей порчи дерева и красок, как будто она только недавно была написана. Нельзя думать, чтобы икона эта была сокрыта в землю после взятия Казани, так как при владычестве, русских в этом не могло представляться уже никакой надобности. Скорее можно полагать,

что ещё во время господства татар над Казанью какой-нибудь русский пленник, томившийся здесь в неволе, а может быть, и мусульманин, обратившийся в христианство, находясь среди неверных, пред смертью или боясь преследований от неверных, скрыл в землю своё сокровище. Обретённая икона была списком с чудотворной иконы Богоматери, известной под именем Одигитрии^[67].

Весть о чудесном обретении иконы немедленно разнеслась по всему городу — все жители Казани стекались на пепелище воина, отца отроковицы Матроны. Послано было известие воеводам и архиепископу, которые прибыли на место обретения и со слезами просили пред иконою Богоматери прощения в своём неверии. По распоряжению архиепископа обретённая икона отнесена была в ближайшую к месту обретения церковь св. Николая Тульского. По совершении молебствия в этом храме св. икона с торжеством была препровождена в Благовещенский собор и здесь на пути явила первое чудо, исцелив слепца Иосифа, который уже три года ничего не видел. Другой слепец, Никита, получил также исцеление от Пресвятой Богородицы по принесении чудотворного Её образа в собор. Так начались чудотворения от иконы Казанской Божией Матери; точно так же начались они и от Пресвятой Богородицы Одигитрии, которая и названа так потому, что Богоматерь, явившись во сне двум слепцам, указала им путь во Влахернскую церковь, где они получили прозрение пред св. Её иконою.

На другой день в соборном храме совершена была литургия. Архиепископ и градоначальники, сняв список с новоявленного образа и описав обретение его и чудеса, от него бывшие, отправили всё это в Москву к царю. Царь повелел на месте обретения в честь новоявленного образа устроить женский монастырь для 40 инокинь и поставить в нём этот образ. Матрона, обретшая святыню, постригшись под именем Мавры, была первою инокинею, а потом и настоятельницею этого монастыря. В 1594 году по повелению царя Феодора Иоанновича заложен был большой каменный храм во имя Успения Богоматери и освящён митрополитом Гермогеном. Тогда же увеличен был штат инокинь до 64, а монастырь украшен богатыми иконами, ризами и прочею утварью. Чудотворный образ Богоматери обложен золотом, драгоценными камнями и жемчугом от царских щедрот. Императрица Екатерина II украсила венец этой иконы бриллиантовою короною.

До 1612 года чудотворная Казанская икона Божией Матери была чтима только местно — в Казани, и празднование ей совершалось 8-го июля, в день её обретения. В 1612 году, 22-го октября, при сражении русских с поляками в Москве, список этой иконы находился у князя Димитрия Михайловича Пожарского. Так как молитвами и заступлением Пресвятой Владычицы Богородицы, по вере главного вождя русского воинства к чудотворной иконе Её Казанской, Московское государство было очищено от поляков, то царь Михаил Феодорович, в память этого события, установил праздновать в Москве Казанской иконе Богоматери два раза в год: в день обретения св. иконы Её — 8 июля и в день очищения Москвы от поляков — 22 октября, с учреждением двух крестных ходов из Успенского собора во Введенскую на Лубянке церковь, где князем Пожарским поставлен был список с чудотворной иконы Казанской. В 1636 году 15 октября была освящена новопостроенная церковь во имя Казанской иконы Богоматери на Красной площади (ныне Казанский собор). С этого времени оба крестные хода стали совершать в этот собор, куда была перенесена и икона князя Пожарского.

Но до 1649 года праздник в честь чудотворной Казанской иконы Божией Матери, кроме Казани, совершаем был только в Москве. В этом же году царь Алексей Михайлович, обрадованный рождением сына Димитрия, дарованного ему 1648 года 21 октября, во время всеобщей на праздник Казанской иконы Богоматери, в благодарение Богу и Пресвятой Богородице, установил день 22-го октября праздновать по всей России.

XXIII

Мрачный горизонт последних печальных лет царствования Иоанна Грозного неожиданно озарился одним светлым событием — завоеванием Сибири, третьего татарского царства, украсившего новым венцом главу московского царя: к прежним титулам царя казанского и астраханского он присовокупил ещё титул царя сибирского.

Между тем как на западе Польша и Швеция успели соединёнными силами отрезать московское государство от Балтийского моря, движение русских на северо-восток всё более усиливалось.

После завоевания Казани многие ногайские князья и мелкие владельцы прикавказские, как мы видели, стали обращаться в Москву с просьбой о помощи друг против друга и с предложением подданства, чтобы иметь в царе московском на всякий случай сильного покровителя и надёжную помощь. Точно так же поступил, под влиянием слухов о славных победах царя московского, и владелец Сибири — татарского юрта (царства). Незначительное само по себе, это царство было, однако, не незначительно в той пустынной стране, где на громадных пространствах были редко разбросаны малочисленные роды разноплеменных и разноязычных обитателей. В январе 1555 года пришли, говорит летопись, послы к царю от сибирского князя Едигера и от всей земли сибирской, поздравили государя с царством казанским и били челом, чтоб государь взял в своё имя князя их и всю землю сибирскую и заступил от всех неприятелей, положил на них дань свою и прислал своего человека для сбора её. Иоанн исполнил их челобитье. Послы обязались за своего князя и за всю землю, что будут давать с каждого чёрного человека по соболю и по белке сибирской; чёрных же людей (плательщиков дани) они сказали у себя 30 700 человек. Отправлены были в Сибирь посол и сборщик дани Дмитрий Куров. Последний возвратился в Москву в конце 1556 года вместе с сибирским послом Бояндою. Едигер прислал дани только 700 соболей, объявив через посла, что воевал их Шибанский царевич и взял в плен много людей, вследствие чего и мехов собрать не с кого. Однако, по свидетельству Курова, сибиряки обманули царя: дань можно было собрать сполна, да не захотели. Царь положил опалу на Едигерова посла Боянду, велел взять у него всё имение, самого посадить под стражу, а в Сибирь отправил служилых татар с грамотою о высылке полной дани. В сентябре 1557 года посланные татары возвратились с новыми послами сибирскими, которые привезли 1000 соболей, привезли и грамоту с княжою печатью: Едигер обязывался быть у царя в холопстве и платить каждый год всю дань сполна.

Но нетрудно понять, что такая зависимость сибирского царства от московского царя не могла быть прочною. Едигер поддался русскому царю для того, чтобы иметь от него помощь против своих недругов; а между тем ему трудно было рассчитывать на действительную помощь по отдалённости его владений от московского царя, его защитника. С другой стороны, эта же отдалённость умалила страх во врагах его, которые надеялись безнаказанно овладеть сибирским царством. При том же, в случае нужды, они могли умиловить московского царя обязательством платить ему такую же дань, какую платил прежний князь, подчинившийся ему. Так смотрел на дело и сам Едигер, говоривший одному из русских людей: «Теперь собираю дань, к государю вашему послов отправлял. Теперь у меня война с казацким царём (Киргиз-Кайсацким). Одолеет меня царь казацкий, сядет на Сибири, но он государю дань не станет давать». Как говорил Едигер, так действительно и случилось. Князёк Кучум, явившийся из киргиз-кайсацких степей, разбил Едигерово войско, самого Едигера и брата его Бекбулата убил и завладел сибирским царством. Царь Иоанн Васильевич стал требовать дани с нового царя сибирского. Кучум обязался было платить дань, но потом, когда приехал к нему царский посол, Кучум убил его.

Этим и закончилась зависимость сибирского царства от Москвы, не имевшая прочных оснований.

Недолго, однако, сибирское царство пользовалось независимостью, покорению его способствовали богатые промышленники Строгановы, главные заселители Пермского края, примыкавшего к Уральскому хребту.

Первые русские поселенцы стали являться в Пермском крае ещё в XI столетии: это были удальцы Новгородской вольницы. К ним присоединялись потом выходцы и беглецы с разных сторон. Власть московского государя начала утверждаться здесь со времён Иоанна III: именно в 1472 году царский воевода князь Фёдор Пермский явился с войском около Соликамска, и край в несколько месяцев был покорен окончательно. С половины XVI века главными деятелями в этом крае являются Строгановы.

Отечеством рода Строгановых была Ростовская земля. Уже около половины XV века Строгановы являются людьми очень богатыми: они выкупили великого князя Василия Васильевича Тёмного, попавшего в плен к казанским татарам[68]. В благодарность за эту услугу Василий Тёмный отдал Строгановым в оброчное содержание большое количество земли на северо-востоке. При великом князе Иоанне III главным представителем этой богатой фамилии был Лука Строганов; а при сыне Иоанна III, Василии Иоанновиче, внуки Луки Строганова получили право населить пустынный участок в Устюжском уезде, в Вондокурской волости. В царствование Иоанна IV Строгановы обратили свою промышленную деятельность далее на восток, в область Камы (главного притока Волги с левой стороны). В 1558 году Григорий Анисиев Строганов бил царю челом и сказывал: в 88 вёрстах ниже Великой Перми, по реке Каме, по обе её стороны, до реки Чусовой, лежат места пустые, леса чёрные, речки и озера дикие, и всего пустого места здесь 146 вёрст. До сих пор на этом месте пашни не паханы, дворы не ставили, и в царскую казну не поступало никакой пошлыны; и теперь эти земли не отданы никому. Григорий Строганов бил челом, что хочет на этом месте поставить городок, рубить лес, пахать пашню, ставить дворы, искать рассолу, ставить варницы и варить соль. Разведав в точности, что эти места действительно искони лежат впусте и дохода с них нет никакого, царь отдал их Григорию Строганову с тем, чтобы он не принимал к себе из других городов людей тяглых (обязанных платить подати, состоящих в *тягле*) и письменных (приписанных к известному месту), также чтобы не принимал воров, людей боярских, беглых с имением, разбойников. Купцы, которые приедут в городок, построенный Строгановым, торгуют в нём беспошлинно. Ставить варницы, варить соль, ловить по рекам и озёрам рыбу Строганов может безобратно, а где найдёт руду серебряную, медную или оловянную, то даст знать об этом царским казначеям, самому же ему тех руд не разрабатывать без царского ведома. Льготы Строганову дано на 20 лет: какие неписьменные и нетяглые люди придут к нему жить в город и на посад и около города на пашни, на деревни и на починки, с тех не брать никакой дани, ни подати, ни оброка в продолжение 20 лет. Которые люди поедут мимо того городка, из московского ли государства или из иных земель, с товарами или без товара, с тех пошлыны не брать никакой, торгуют ли они тут или не торгуют. Но если сам Строганов повезёт или пошлёт соль или рыбу по другим городам, то ему с соли и с рыбы всякую пошлыну давать, как берутся пошлыны с других торговых людей. Поселившихся у Строганова людей пермские наместники и тиуны их не судят ни в чём: ведаёт и судит своих слобожан сам Григорий Строганов во всём. Если же людям из других городов будет дело до Строганова, то они в Москве берут управные грамоты, и по этим грамотам истцы и ответчики без приставов становятся в Москве перед царскими казначеями на Благовещенье день. Когда пройдут урочные 20 лет, Григорий Строганов обязан будет возить все подати в царскую казну в Москву на Благовещенье день.

Прикамская пустынная сторона составляла окраину, или украину, на которую нападали дикие зауральские и приуральские народцы. Правительство могло давать льготные грамоты населителям этих пустынных пространств, но не могло защищать их от нападений враждебных соседей: насельникам приходилось защищаться самим своими средствами, приходилось строить городки или острожки, снабжать их нарядом (артиллерию), содержать ратных людей. Само собою разумеется, что это было доступно только для таких насельников, которые обладали обширными средствами. Отсюда уясняется

важное значение *именитых людей* Строгановых, которые одни, по своим средствам, могли заселить прикамскую страну, приблизить русские поселения к Уралу и через это дать возможность распространить их — в близком или далёком будущем — и за Урал.

Основав городок, Строганов нуждался для наряда пушек и пищалей в селитре. По его челобитной царь дозволил ему на Вычегодском посаде и в Усольском уезде сварить селитры, но не больше 30 пудов, причём наказывал старостам тех мест: «Берегите накрепко, чтоб при этой селитряной варке от Григорья Строганова крестьянам обид не было ни под каким видом, чтоб на дворах из-под изб и хором он у вас сору и земли не копал и хором не портил; да берегите накрепко, чтоб он селитры не продавал никому». Новопостроенный городок Строганов назвал *Канкором*. Но через 5 лет одного города оказалось мало: в 1564 году Строганов бил челом, чтоб царь позволил ему поставить другой городок в 20 вёрстах от Канкора. Тут нашли рассол, ставят варницы и хотят варить соль; но без городка люди жить не смеют. Царь исполнил и эту просьбу, и явился новый городок — *Кердеган* со стенами в 30 сажень, а с приступной стороны закладенный вместо глины камнем. В 1566 году брат Григория, Яков, от имени отца своего, Аникия Фёдорова, бил челом, чтоб государь взял их городки Канкор и Кердеган и все их промыслы в опричнину (под своё покровительство), и эта просьба была уважена. В 1568 году тот же Яков просил, чтобы ему додано было земли ещё на 20 вёрст к прежнему пожалованию, обязываясь также построить на свой счёт крепости с скорострельным нарядом. Земля дана была ему на таких же условиях, как и прежняя; но поселенцы освобождались от податей только на 10 лет.

До 1572 года в прикамских областях всё было тихо и благополучно; но в этом году Пермский воевода донёс царю, что 40 человек возмущившихся черемис вместе с остяками, башкирами и буинцами приходили войною на Каму и побили здесь пермичей 87 человек. Получив эти вести, Иоанн послал Строгановым грамоту, в которой писал: «Вы бы жили с великим бережением, выбрали у себя голову доброго да с ним охочих казаков, сколько приберётся, с всяким оружием; велели бы прибрать также остяков и вогул иней, которые нам прямят, а жёнам и детям их велели бы жить в остроге (крепости). Этих голов с охочими людьми, стрельцами, казаками, остяками и вогуличами посылайте войною ходить и воевать наших изменников, черемису, остяков, вотяков и ногаев, которые нам изменили». Строгановы исполнили царский приказ: выбранный ими голова с охочими людьми ходил на государевых изменников, одних побил, а других привёл к присяге, что вперёд будут верно служить государю.

Утвердившись по сю сторону Урала, предприимчивые Строгановы не могли не обратить внимания и на земли Зауральские, обещавшие им ещё более выгод, чем страны Прикамские. Скоро им представился благоприятный случай к испрошению себе права на отыскание новых земель за Уралом. А случай этот был следующий. Новый сибирский царь Кучум начал действовать враждебно против московского государства, побивал и брал в плен остяков, плативших дань в Москву; в июле 1573 года сибирский царевич Маметкул^[69] приходил с войском на реку Чусовую проводить дороги, как бы ему пройти к Строгановским городкам и в Пермь великую, причём побил много остяков, московских данников, увёл в плен их жён и детей и убил государева посланника, шедшего в Киргиз-Кайсацкую орду. Не доходя пяти вёрст до Строгановских городков, Маметкул возвратился назад, напуганный рассказами пленников, что в этих городках собралось много ратных людей. Уведомив царя о нападениях сибирского салтана и царевича, Строгановы печаловались на то, что они не смеют без царского ведома послать своих наёмных казаков против сибирской рати; а между тем зауральские остяки просят, чтоб государь оборонял их от сибирского салтана, обязываясь, со своей стороны, платить дань в Москву. Поэтому Яков и Григорий Строгановы просили государя дозволить им на реке Тоболе и по рекам, впадающим в Тобол, до верховьев их, на удобном месте делать крепости, нанимать сторожей и держать на свой счёт огненный наряд, вырабатывать железо, пахать пашни и владеть угодьями. Царь дал Строгановым право укрепляться и за Уралом на тех же условиях, на каких они завели селения по Каме и Чусовой, с обязанностью надзирать и за

другими промышленниками, которые вздумают поселиться по Тоболу и другим рекам сибирским. Вместе с этим правом Строгановы получили право вести войну не только оборонительную, но также и наступательную — посылать войско на сибирского салтана, брать сибирцев в плен и делать их данниками московского царя. Эта наступательная война была и необходима, и неизбежна: прежде чем взять в своё владение землю за Уралом, завести на ней промыслы, надобно было очистить её от сибирского салтана, который считал её своей собственностью. Но из кого могли Строгановы составить своё войско для ведения войны с сибирским царём? На охочих инородцев-остяков, вогуличей, югричей, самоедов была плохая надежда: для этого требовались люди более верные.

По южным и восточным степным окраинам московского государства появляются ещё с XV века вольные, гуляющие люди, охочие до войны, — казаки^[70]. Одни из них жили по станицам: это были казаки городовые. Они несли государеву службу, обороняя границы от нападений разбойничьих, татарских шаек. Другие, в полном смысле вольные «степные птицы», уходили из-под всякого надзора, «гуляли» в степном раздолье, нападали на татар, грабили их, охотились в степи, рыбачили по рекам, разбивали купеческие караваны татарские, да и русским купцам порой спуска не давали. Шайки таких казаков гуляли и по Дону (впадающему в Азовское море), и по Волге. Уже при великом князе Василии Иоанновиче рязанские казаки хорошо знали места по Дону; а при сыне Василия они здесь утверждаются, принимают от места название донских и становятся страшны ногаям, крымцам и азовцам. Впрочем, толпы донских казаков состояли не из одних только жителей рязанской области: на Дон шли также и жители Северной украины, издавна славившиеся своею отвагой. Равным образом и городовые казаки, находившиеся под ближайшим надзором государства, провинившись в чём-нибудь, уходили на Дон, где встречали всегда радушный приём и увеличивали собою толпы буйной вольницы. На жалобы ногайского хана, что казаки, несмотря на то, что он в мире с московским царём, грабят татарских купцов по Дону, царь отвечал: «Эти разбойники живут на Дону без нашего ведома, от нас бегают. Мы и прежде посылали не один раз, чтоб их переловить, но люди наши добыть их не могут. Мы и теперь посылаем добывать этих разбойников, и которых добудем, тех казним. А вы бы от себя велели их добывать и, переловивши, к нам присылали. А гости (купцы) ваши дорогою береглись бы сами, потому что сам знаешь хорошо: на поле (в степи) всегда всяких людей много. И этих людей кому можно знать? Кто ограбит, тот имени своего не скажет». Действительно, очень мудро было изловить в широких степях шайки этих воровских казаков.

Надеясь на безнаказанность, донские казаки не ограничивались тем, что не исполняли царских и посольских приказаний или исполняли их вполсилы: они нападали не на одних ногаев, азовцев и крымцев, но, разъезжая по Волге, грабили суда царские, разбивали персидских и бухарских послов и русских торговых людей. Царь принуждён был выслать против них воевод с большим числом ратных людей: казаков ловили и казнили; другие, по выражению летописца, разбежались, как волки, и одна толпа их отправилась вверх по Волге, где получила приглашение от Строгановых вступить к ним в службу, на что и согласилась с радостью.

Предводителем этой шайки донских казаков был Ермак Тимофеевич. Ермак был росту среднего, бороду имел чёрную, волосы кудрявые, глаза светлые и быстрые. Это был удалец богатырской силы, притом очень ловкий, сметливый. Роду он был простого. Дед его был посадским человеком города Суздаля и «жил в великой скудости». Ища себе пропитания, Афанасий Григорьев Аленин (так назывался дед Ермака) переехал в город Владимир, где стал извозничать. Занимаясь извозом, он свёл знакомство с разбойниками, жившими в знаменитых муромских лесах. В скором времени он попал в тюрьму вместе с разбойниками, которых возил и укрывал. Однако ему удалось бежать из тюрьмы: захватив с собою жену и двоих сыновей, Родиона и Тимофея, он переехал жить в уезд Юрьевца Повольского (Волжского), где и умер; а дети его от скудости переехали жить на реку Чусовую, в вотчины Строгановых, и слыли здесь Повольскими. У них родились сыновья: у Родиона Димитрий да Лука, у Тимофея — Гаврила, Фрол и

Василий, главный герой нашего рассказа. Василий^[71] был особенно боек, силен и речист. Нанялся он работать на барках (стругах) и ходил по Волге и Каме. Он был в бурлацкой артели кашеваром, и товарищи прозвали его Ермаком, потому что ермаком назывался дорожный артельный таган^[72]. Так за ним это прозвище и осталось на всю жизнь.. Работа бурлацкая скоро прискучила Ермаку, затосковал он по вольной жизни и ушёл к донским казакам, которые в скором времени выбрали его за удаль старшиной Качалинской станицы, чтобы он охранял рубеж от Астрахани до Дона. Но Ермак не устоял долго и у донских казаков: набрав себе шайку молодцов, он ушёл с ними на Волгу разбойничать. Главными помощниками его были: Иван Кольцо (который, по словам царской грамоты к ногаям, был присуждён к смертной казни), Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк. Всё это были молодцы, прошедшие, как говорится, огонь и воду, не знавшие страха. Походили на них и остальные товарищи Ермака.

Атаман говорил донским казакам,
По имени Ермак Тимофеевич:
«А и вы гой еси, братцы, атаманы казачие!
Некорыстна у нас шутка зашучена.
И как нам на то будет отвечать?
В Астрахани — жить нельзя,
На Волге жить — ворами слыть,
На Яик идти — переход велик,
В Казань идти — грозен царь стоит,
Грозный царь-государь Иван Васильевич;
В Москву идти — перехватанным быть,
По разным городам разосланным
И по тёмным тюрьмам рассаженным.
Пойдёмте мы в усолья к Строгановым,
К тому Григорию Григорьевичу».

Однако в это время не было уже в живых ни Якова, ни Григория Строгановых. Остался третий брат, Семён Аникиев, с двумя племянниками — Максимом, сыном Якова, и Никитою, сыном Григория, причём, как видно, Никита не жил в большом согласии с дядею Семёном и двоюродным братом Максимом.

Казаки явились к Строгановым в чувовские городки, в числе 540 человек, в конце июня 1579 года и оставались здесь до сентября 1581 года. В это время, по словам летописца, они помогали Строгановым защищать их городки. В июле 1581 года 680 человек вогуличей, под начальством мурзы Бегбелия Агтакова, напали неожиданно на Строгановские владения и начали жечь деревни, забирая в плен людей; но ратные люди из городов с успехом напали на них и взяли в плен самого мурзу Бегбелия. Вслед за тем Строгановы решили отпустить казаков Ермака с товарищами за Уральские горы для достижения той цели, с какою отцы их испросили царскую грамоту в 1574 году.

Ещё задолго до царя Кучума (читаем мы предание, записанное в летописи) разные небесные знамения предвозвещали падение сибирского царства: на воздухе являлся город с христианскими церквями; вода в реке Иртыше казалась кровавою; Тобольский мыс выбрасывал золотые и серебряные искры. При Кучуме эти знамения умножились. Рассказывали, что от Иртыша приходит белый волк, а от Тобола — чёрная гончая собака и грызутся между собою. Белый волк — по объяснению сибирских шаманов (волхвов, кудесников) — означал Кучумову рать, а чёрная собака — русских. «Быть войне! Погибнет царство сибирское от русских!» — так проповедовали шаманы.

Два года с небольшим прожил Ермак с товарищами у Строгановых. Наконец 1 сентября 1581 года Семён, Максим и Никита Строгановы отпустили казаков на сибирского салтана, присоединив к ним ратных

людей из своих городков — литовцев, немцев (пленных), татар и русских, всего 300 человек; а всего в отряде Ермака с казаками было 840 человек. Строгановы дали им жалованье, снабдили их съестными запасами, одеждою, оружием, пушечками и пищальями, дали проводников, вожей, знающих сибирский путь, и толмачей, знающих басурманский язык, и, наконец, священника для совершения разных христианских треб. Отстояв напутственный молебен, Ермак двинулся с своим отрядом в поход.

Но в тот самый день, когда Ермак со своею дружиною пошёл на очищение сибирской земли, вогуличи, под предводительством пелымского князя, напали на пермские места, на Чердынь и на Строгановские владения. Строгановы отправили в Москву грамоту с жалобою, что вогуличи пожгли их слободки и деревни, усольские варницы и мельницы, хлеб всякий и сено, крестьян с жёнами и детьми в плен взяли, и просили, чтобы царь велел им дать на помощь ратных людей с ружьями. Между тем чердынский воевода Перепелицын, вероятно, не поладивший со Строгановыми, донёс царю, что в то самое время, как пелымский князь напал на Пермь, Строгановы, вместо того чтобы защищать эту область, отправили своих казаков воевать сибирского салтана. Вследствие этого донесения царь велел отправить к Строгановым грамоту, в которой говорилось, между прочим: «Непременно, по этой нашей грамоте, отошлите в Чердынь всех казаков, как только они к вам с войны возвратятся, у себя их не держите; а если для неприятельского прихода вам в остроге пробыть нельзя, то оставьте у себя немного людей, человек до 100, с каким-нибудь атаманом; остальных же всех вышлите в Чердынь, непременно тотчас. А не вышлите из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеева с товарищами, станете держать их у себя, и пермских мест не будете оберегать, и если такою вашею изменою, что вперёд случится над пермскими местами от вогуличей, пелымцев и от сибирского салтана, то мы за то на вас опалу свою положим большую, атаманов же и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать».

Воин Оничков, отправленный царём с приказом — взять и отвести в Пермь Ермака с товарищами и не заирать сибирского салтана, не мог исполнить царского приказа: Ермака нельзя было воротить — он был уже далеко.

Поход свой Ермак начал по реке Чусовой (левому притоку Камы). Четыре дня казаки плыли на стругах и челнах вверх по этой реке до устья реки Серебряной. Река Чусовая — река быстрая и каменистая: казаки уставали и принуждены были часто останавливаться на отдых. Раз пристали они к большому камню, имевшему около 25 сажень в высоту, 30 сажень в длину; в камне было отверстие в рост человека. Казаки полезли в это отверстие и нашли большую пещеру, а в ней множество самодельных покоев. Отдохнув тут, казаки поплыли далее. В песне поётся, что они тут и зимовали:

И нашли они пещеру каменну
На той на Чусовой реке, на висячем большом камню,
И зашли они сверх того камню,
Опускалися в ту пещеру казаки,
Много — не мало двести человек;
А которые остались люди похужее,
На другой стороне в такую ж пещеру убиралися.
И тут им было хорошо зиму зимовать.

Камень этот до сих пор называется Ермаковым камнем.

Когда казаки добрались до верховьев Чусовой реки, то здесь местами стало так мелко, что вода уже не подымала стругов. Ермак снял со своих судов паруса и запрудил ими реку, растянув их поперёк её и

устроив таким образом плотину, — вода поднялась, и все струги, один за другим, прошли через мель. Из Чусовой въехали в реку Серебряную или Серебрянку, по которой плыли два дня до сибирской дороги. Здесь высадились и поставили земляной городок, назвав его Ермаковым Кокуем-Городом. С этого места перевезлись волоком через проходы в Уральском хребте в реку Жаровлю, впадающую в Тагил, а отсюда спустились в реку Туру, приток Тобола.

Здесь начиналась сибирская страна, сибирское царство. До сих пор казаки никакой помехи не встречали; редко даже и людей по берегам видели: земля здесь была дикая, почти совсем безлюдная; если и встречались изредка люди, то, поглазев только на казаков, уходили прочь. По реке Туре пошло люднее: здесь народ был уже не кочевой, а оседлый, пахотный. Здесь казаки впервые встретили городок (теперь город Туринск), где властвовал князёк Епанча, подручник Кучума. Тут пришлось уже пустить в дело оружие, потому что с берега стали стрелять из луков по казакам. Они дали залп из ружей. Несколько татар упало; остальные в ужасе ударились в бегство: никогда ещё не видели огнестрельного оружия. Городок Епанчи был разорён казаками.

На реке Тавде казаки схватили несколько татар и в том числе одного из живших при Кучуме, именем Таузака, который рассказал Ермаку подробно о своём салтане и о его приближённых:

«Кучум живёт в городе Сибири, а город этот стоит на реке Иртыше. Сам Кучум теперь слеп, однако всё ещё он сильный царь и всех в страхе держит; под его рукою много князьков, и все ему дань платят. Есть у него и храбрые воины, особенно родственник его Маметкул: это такой богатырь, такого другого не сыщешь во всей нашей земле. Кучума-царя многие не любят за то, что он стал насильно вводить магометову веру. Есть у него войско, и всяких снарядов военных много; а только нет у него таких луков, как ваши. А были бы у него такие луки, он все бы земли покорил. Сибирь-город с бухарцами торгует: приезжают они к нам из своей земли с разными товарами и берут у нас меха. А идти к Сибири вам теперь Тавдою-рекою, а Тавда в Тобол вошла; стало быть, пойдёте вы Тоболом, а из Тобола прямо в Иртыш — тут скоро и Сибирь будет».

Ермак отпустил Таузака к Кучуму, чтобы он своими рассказами о казаках настрашал хана. Таузак, по словам летописца, так говорил Кучуму:

«Русские воины сильны: когда стреляют из луков своих, то огонь пышет, дым выходит и гром раздаётся; стрел не видать, а уязвляют ранами и до смерти побивают; уцелеть от них никакими ратными сбруями нельзя, — все навывлет побивают».

На ружьё, конечно, всего более и надеялась горсть храбрецов, задумавшая не более не менее, как завоевать целое царство и покорить десятки тысяч людей!

На реке Тоболе татары попытались остановить Ермака, протянув поперёк реки железные цепи. Изворотливый Ермак прибегнул к следующей хитрости: он велел навязать пучков из хвороста, напаяли на эти пучки залипшее казацкое платье и расставил их в лодках, а сам высадился на берег с своими казаками и напал на татар с тыла. Видя, что и в лодках казаки, и на берегу казаки, татары ударились бежать, а Ермак, сняв цепи, поплыл дальше.

Казаки плыли вниз по Тоболу, и не раз приходилось им разгонять выстрелами толпы туземцев. Кучум, хотя и был напуган и рассказами беглецов о больших силах врага, и разными зловещими предсказаниями и предзнаменованиями, тем не менее не был намерен сдаваться без боя. Собрал он всё своё войско. Расположившись сам станом на берегу Иртыша, близ устья Тобола (неподалёку от нынешнего города Тобольска), под горою Чувашьею, он устроил здесь новую засеку на всякий случай, а царевича Маметкула отрядил с большим войском (в 10 000 человек) вперёд, навстречу казакам. Он встретил их на берегу Тобола, при урочище Бабасан. Завязалась кровопролитная битва, продолжавшаяся целых 5 дней. Увидев

множество неприятелей, казаки сперва было смешались; но Ермак бросился вперёд и ободрил их. Стали казаки стрелять по татарам и многих из них повалили. Сначала татары испугались выстрелов, но потом оправились и начали биться с казаками. Долго они бились. Досталось и казакам; однако Маметкул не мог одолеть их и побежал, сгубив много своего войска. А казаки поплыли дальше. Недалеко от Иртыша один из вельмож или карачей защищал свой городок: казаки разгромили его, взяли мёд и царское богатство, затем отправились дальше. Неприятели настигли их на Иртыше: татар собралось такое множество, что от стрел их не было проезда. Ермак причалил к берегу, кинулся на татар и побил их крепко; но казаки поплатились за свою победу несколькими убитыми и все до единого были переранены. Положение казаков становилось опасным. Татары, верно, разглядели, что врагов не слишком-то много, и всеми силами налегли на них. Но казаки были уже недалеко от столицы Кучумовой. Скоро должна была решиться участь их похода. Надо было выбить Кучума из его засеки и овладеть столицей.

Наступала ночь. Казаки тихо подвигались против воды по быстрому Иртышу. Ермак стал думать, что ночью не годится плыть, что, наверно, где-нибудь засели татары: столица была близко — стало быть, не пропустят же они их без боя. Да и устали казаки, не мешало бы отдохнуть. Заметив невдалеке городок Атик-Мурзы, Ермак взял его уж почти ночью и засел там с своими казаками.

И вот настала ночь — осенняя, тёмная. Под Чувашью горою горели огни; копошились татары, готовясь к завтрашнему бою; шум и гул из стана их нёсся по реке. Казакам не спалось; сердце у них щемило от тревоги. Да и было о чём призадуматься: силы у Кучума было гораздо больше — на каждого русского приходилось, пожалуй, по 20 татар. Собрались казаки в круг и стали толковать, как быть: вперёд ли идти или назад вернуться? Одни кричали, что надо уходить домой, что разного добра уж набрано вдоволь, что идти на Кучума — значит лезть на верную смерть; от трудного похода и частого боя у них и 500 человек в живых не осталось, а у Кучума ратных людей многие тысячи. Другие, которые были посмелее, и во главе их сам Ермак, рассуждали иначе.

«Братцы! — говорили они. — Куда нам бежать? Время уже осеннее, в реках лёд смерзается: не побегим, худой славы не примем, укоризны на себя не положим, но будем надеяться на Бога — Он и беспомощным поможет. Вспомним, братцы, обещание, данное нами честным людям (Строгановым)! Назад со стыдом возвратиться нам нельзя. Если Бог нам поможет, то и по смерти память наша не оскудеет в тех странах, и слава наша вечна будет».

Согласились с этим все и порешили — оставаться и биться до смерти.

23-го октября, на рассвете, казаки, усердно помолившись Богу, двинулись на засеку. Пушки и ружья сослужили теперь им свою службу. Татары из своей ограды пускали тучи стрел, но мало вреда причиняли русским. Наконец татары сами проломали свою засеку в трёх местах и ударили на казаков. Начался страшный рукопашный бой. Тут уж ружья не помогали: приходилось рубиться мечами или схватываться прямо руками. Оказалось, что казаки здесь показали себя богатырями: несмотря на то, что враги были в 20 раз многочисленнее, казаки сломили их. Сибиряки бросились назад в засеку, туда же вломились вслед за ними и казаки, а впереди всех Ермак и атаман Кольцо.

Не ясен то сокол по небу разлетывается, —
Млад Ермак на добром коне разъезживает
По тыя по силы татарский:
Куда махнёт палицей — туда улица,
Перемахнёт — переулочек.

Наконец казаки ранили Маметкула, главного героя татарского и опору Кучума. Татары выволокли

раненого царевича из боя и бросились бежать во все стороны. Старый хан, стоявший до того времени на горе и молившийся с своими муллами о даровании победы над русскими, услышав, что войско его побито и что все покинули его, горько заплакал, оставил засеку, прибежал в свой город Сибирь, забрал здесь, сколько мог, пожитков и бежал дальше.

Утомившиеся от боя казаки не гнались уж за обратившимися в бегство татарами, а пошли в свой городок, поставили сторожей и крепко уснули. Трое суток отдыхали они после своей славной победы, которая и им обошлась недёшево: в одном только последнем сражении пало их 107 человек^[73]; немало было и раненых.

Похоронив с честью своих убитых товарищей, казаки 26-го октября тронулись к городу Сибири и через три дня были у него. Не велика была столица Кучума; с одной стороны защищённая крутым берегом Иртыша, а с других сторон — тройным валом и рвом. Дома в ней были из дерева и из нежжёного кирпича. Подошли казаки осторожно к городу и прислушиваются: ничего не слышать, словно все в городе вымерли. Ермак думает: «Наверное, коварные татары устроили засаду и притаились. Нужно наперёд всё высмотреть, чтобы не попасть, по оплошности, в нечаянную беду». Послал он несколько казаков на разведку. Высмотрев всё в городе и вокруг города, посланные казаки возвратились с известием, что нигде нет ни души. Тогда русские вошли в опустелый город, из которого все жители разбежались неведомо куда. Многое множество золота, серебра, мехов и разных других дорогих вещей нашли тут казаки и всё по-братски поделили между собою.

Приуныли было победители в пустом городе. Идти дальше им стало уже невмочь, а между тем запасы у них кончались и наступала лютая зима. Голод и смерть грозили им. Так прожили они три дня. Наконец на четвёртый день пришёл к Ермаку один остяцкий князь с дружиною, принёс много даров и запасов и сказал: «Я был в бою под Чувашьей горою и увидел, что тебя победить нельзя, сказал об этом своему народу, и вот мы пришли к тебе с подарками. Будь нашим заступником!» Казаки обрадовались. Ермак ласково обошёлся с князем и сказал: «Ступайте, живите на прежних местах: никто вас не тронет». За остяками стали приходить с Иртыша и Тобола татары с жёнами и детьми, Ермак приводил всех приходивших к присяге государю, обнадёживал их его милостью, обходился ласково и отпускал без всякой обиды в их юрты. Казакам строго было запрещено обижать покорившихся басурманов.

С первых же недель своей зимовки казаки уверились, что теперь им нечего беспокоиться, что подвиги их надолго упрочили в этих местах тишину и спокойствие: они доверчиво стали выходить из города Сибири на промыслы и мелкими дружинами удалялись от прочих товарищей на порядочное расстояние. Так, однажды (это было 5-го декабря) 20 казаков отправились на Абалацкое озеро ловить рыбу. Они устроили себе там шалаши и, утомившись одно время работой, легли на покой, но стражи не расставили. А Маметкул был недалеко и сторожил их. Воспользовавшись их беспечностью, он подкрался к ним и умертвил всех до единого. Услышав об этом, Ермак пошёл мстить за товарищей, настиг татар при Абалаке и бился с ними до ночи. Ночью они разбежались, и Ермак возвратился в Сибирь.

Весною, по водополью, пришёл к Ермаку один татарин и сказал, что Маметкул стоит на реке Вагае, вёрст за 100 от города Сибири. Ермак тотчас же отрядил часть казаков, которые ночью напали на стан царевича, побили много татар, а самого Маметкула взяли в плен и привезли к Ермаку в Сибирь. Ермак обрадовался, говорил ласковые речи царевичу, утешал его и стал отпускать ему самый лучший корм, а своим настрого приказал, чтобы никто не смел обижать его. Плен храброго Маметкула был страшным ударом для Кучума, стоявшего тогда на реке Ишиме (приток Иртыша). Но вслед за этою печальною вестью пришла другая дурная весть: скоро дали знать старому хану, что на него идёт князь Сейдяк, сын убитого им прежде князя Бекбулата, чтобы отомстить за смерть отца. Наконец ему изменил его карача (воевода) со своими людьми. Горько заплакал старик Кучум, говоря: «Кого Бог не милует, тому и честь на бесчестье

приходит, того и любимые друзья оставляют».

Лето 1582 года Ермак употребил на покорение городков и улусов татарских по рекам Иртышу и Оби; взял остяцкий город Назым и пленил его князя, но зато потерял в этом походе храброго атамана своего Никиту Пана с его дружиною, которого сильно жалел.

Возвратившись из похода в город Сибирь, Ермак увидел, что ему нужна подмога, потому что людей у него осталось мало: пришёл он в сибирскую землю с 840, а теперь оставалось всего 300 человек. С такою малой силою нельзя было держаться в далёком краю против великого множества врагов. И вот Ермак шлёт о себе весть Строгановым: «Кучума-салтана одолел, стольный город его взял и царевича Маметкула пленил». Строгановы поспешили обрадовать этою вестью царя, который за их службу и раденье, пожаловал — Семёна городами: Солью Большою на Волге и Солью Малою, а Максиму и Никите дал право в городках и острожках их производить беспошлинную торговлю как им самим, так и всяким приезжим людям.

Но скоро в Москву явилось посольство от самого Ермака Тимофеевича.

«Проявился в Сибири славный крепкий казак.
Славный крепкий казак, по прозванью Ермак.
Уж как этот-то Ермак — он сражался, не робел,
Он сражался — не робел, всей Сибирью завладел.
Завладевши всей Сибирью, он царю послал поклон:
«Ой ты гой еси, надёжа — православный царь!
Не вели меня казнить, да вели речь говорить:
Как и я-то, Ермак сын Тимофеевич,
Как и я-то, воровской донской атаманушка,
Как и я-то гулял по синю морю,
Что по синю морю по Хвалынскому,
Как и я-то разбивал ведь бусы корабли,
Как и те-то корабли все неорлёные;
А теперича, надёжа — православный царь,
Приношу тебе буйную головушку
И с буйной головой царство сибирское!»

В большой кремлёвской палате, окружённый всем блеском царского величия, Иоанн Васильевич Грозный сидел на престоле в Мономаховой шапке, в золотой одежде, украшенной образами и дорогими камнями. По правую руку стоял царевич Феодор, по левую — Борис Годунов. Вокруг престола и дверей размещены были рынды — царские телохранители в белых атласных кафтанах, шитых серебром, с узорными топорами на плечах. Вся палата была наполнена князьями и боярами. Раздался звук труб и звон колоколов. В палату вошли, предшествуемые двумя стольниками, посланные Ермака. Позади них несли дорогие меха, разные старинные утвари и множество необыкновенного, ещё невиданного оружия. Во главе посольства шёл человек лет под 50, среднего роста, крепкого сложения, с быстрыми, пронзительными глазами, с чёрной, густою, но короткою бородою, подернутою лёгкою проседью. Это был Иван Кольцо, первый сподвижник Ермака.

«Великий государь, — сказал он, приблизившись к ступеням престола, — казацкий твой атаман, Ермак Тимофеев, вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками, осуждёнными твоею царскою милостью на смерть, старались заслужить свои вины и бьют тебе челом — новым царством. Прибавь, великий государь, к завоёванным тобою царствам: казанскому и астраханскому — ещё и это сибирское,

доколе Всевышний благоволит стоять миру!»

С этими словами посол Ермаков вместе с товарищами своими опустился на колени и преклонил голову свою до земли.

— Встаньте, добрые слуги мои! — сказал Иоанн. — Кто старое помянет, тому глаз вон и быть той прежней опале не в опалу, а в милость!

Встав с земли, Иван Кольцо подал царю Ермакову грамоту о покорении Сибири. Эта грамота обрадовала царя: он простил казакам все прежние вины их, хвалил Ермака и всех его сподвижников, велел по церквам служить молебны и звонить во все московские колокола. Молва, что не оскудела милость Божия к России, что Бог послал ей новое обширное царство, быстро разносилась в народе: народ толпился в церквах, на площадях, на улицах; везде шли толки про Ермака и его казаков, причём наряду с правдою рассказывалось много и таких чудес, каких на самом деле и не бывало. Ивана Кольцо и бывших с ним казаков царь пожаловал великим своим жалованьем — деньгами, сукнами, камками; оставшимся в Сибири казакам он послал своё полное большое жалованье, а Ермаку — богатую шубу с своего царского плеча, серебряный ковш и два дорогих панциря (доспеха). В своей милостивой грамоте, посланной Ермаку, царь величал его князем сибирским. Для принятия у Ермака завоёванных им сибирских городов отправлены были воеводы — князь Семён Волховской и Иван Глухов — с пятью сотнями стрельцов.

Иван Кольцо возвратился с царскими воеводами и ратными людьми в город Сибирь 1 марта 1583 г. Воеводы объявили Ермаку и казакам государеву милость и отдали им государево жалованье. Атаман и казаки много радовались и веселились, что государь не только простил им прежние вины, но и за новую службу не оставил своею царскою милостью.

Стали они дарить царских воевод, чем кто мог — соболями, лисицами и другим дорогим мехом; а Ермак, на радости, задал большой пир всем ратным людям.

Пленный царевич Маметкул был отправлен в Москву: царь принял его ласково, взял его в свою службу и дал ему вотчины. Служа впоследствии в наших ополчениях, этот царевич писался в разрядах обыкновенно Алтауловичем (разрядные книги 1590 и 1598 гг.); следовательно, отцом его был Алтаул, а не Кучум и не Муртаза.

Князь Семён Волховской привёз с собою в Сибирь мало запасов, полагая, что у казаков заготовлено их вдоволь; а казаки между тем вовсе не ждали, что царские войска придут зимою, и запаслись на зиму только для себя. Поэтому заготовленные запасы скоро вышли. Страшные морозы, вьюги, метели, препятствуя казакам выходить на охоту и рыбную ловлю, мешали в то же время доставке хлеба из соседних юртов, где некоторые жители занимались хлебопашеством. От недостатка свежей пищи открылась болезнь (цинга), обыкновенная для новых пришельцев в холодном, сыром климате. Болезнь и голод произвели большую смертность: стали умирать ежедневно и казаки, и московские ратники; в числе прочих умер и сам воевода Волховской. Правда, наступившая весна способствовала прекращению болезни и голода, но бедствия казаков ещё не кончились этим. Один князёк, или карача, имевший многолюдный улус на Таре, имевший лазутчиков в Искере (Сибири), прислал Ермаку подарки с такою льстивою речью: «Хочу быть верным слугою московского царя, а ты пришли в мой улус своих казаков, чтоб они защитили меня и людей моих от неприятелей моих — ногаев. Казаков я приму с честью и награжу их за службу их». Поверил доверчивый Ермак хитрому татарину и, посоветовавшись со своими казаками, отрядил к нему 40 добрых воинов под командою атамана Ивана Кольца. Эта горсть отважных удальцов могла бы двумя или тремя залпами разогнать тысячи дикарей, но они шли к мнимым друзьям без всякого опасения и сделались жертвою своей доверчивости: карача напал на казаков врасплох со множеством своих татар и перерезал всех до одного^[74]. «Слышно же бысть, — говорит летописец, — в граде атаманом и казаком, что Иван Кольцо с дружиною, побиени быша и рыдаху...» Больше всех плакал Ермак о своём верном

сподвижнике и его товарищах, как о своих родных детях, считая себя некоторым образом виновником (хотя и невинным) преждевременной смерти их, потому что поверил вероломному караче.

Обрадовавшись этой неудаче Ермака, окрестные народцы, бывшие данниками московского государя, возмутились против русских, убили в разъезде атамана Якова Михайлова и соединились с карачей, собравшим большую силу. Татары подступили к городу Сибири и обложили его со всех сторон: карача намеревался уморить казаков голодом. Казаков и стрельцов было мало, но они отсиживались долго и крепко. Наступил июнь; у осаждённых стали выходить запасы, и Ермак решился в крайности на отчаянное дело. Жалея людей, он до сих пор не делал вылазок; стрелять же из лёгких пушек не было цели, потому что неприятель стоял не под самым городом и не подходил близко к городскому валу. Наконец Ермак решил сделать вылазку и выбрал для этого тёмную ночь. Казаки вышли тайком из города и прокрались сквозь неприятельские обозы к становищу Карачи, на урочище, называемом Саусканом. Татары спали мирно, не подозревая опасности. Казаки кинулись на них и начали их резать. Заметались татары спросонок: слышат стоны и крики, а ничего впотьмах не видят и не понимают. Много было побито татар, и в числе их были убиты два сына Карачи. Когда занялась заря, татары несколько ободрились и кинулись на казаков, однако и казаки не сробели: забравшись в обоз Карачи, они стали оттуда отстреливаться. Бой продолжался до полудня. Наконец татары не выстояли и ударились в бегство. Сам карача бежал за Ишим. Ермак, хотя уже и слабый числом людей, пошёл вдогонку за ним вверх по Иртышу. Он покориł тут много городков. Один князь, по имени Еличай, привёл к Ермаку свою красавицу дочь, невесту сына Кучумова, предлагая ему взять её себе в жёны. Но целомудренный атаман отказался от этого предложения. Близ устья Ишима в кровопролитной схватке с жителями Ермак лишился пяти мужественных казаков, доныне воспеваемых в сибирских песнях, взял ещё городок Ташаткань и, достигнув реки Шиша, где начинаются голые степи, возвратился домой.

Немного уже осталось у Ермака людей из числа тех, которые пришли вместе с ним в Сибирь три года тому назад: все главные сподвижники его погибли в боях. Наконец и для него самого пробил последний, роковой час.

Утвердившись в Сибири, казаки завязали торговые сношения с бухарцами, и бухарские караваны уже два года к урочному времени являлись в город Сибирь на ярмарку, но теперь что-то запоздали. В начале августа Ермак получил известие, что Кучум собирается перехватить на дороге бухарский караван, шедший в Сибирь [75]. Отобрав сейчас же 50 человек самых отважных и надёжных казаков, Ермак пустился с ними на поиски вверх по Иртышу. Плыли целый день, выходили во многих местах и на берег, но нигде не встретили ни купцов, ни кучумовых людей. Наступала уже ночь, приходилось возвращаться домой. Но за целый день казаки до того истомились, что необходимо было дать им отдых. И вот на возвратном пути казаки причалили к острову при впадении реки Вагая в Иртыш. Привязав лодки, они вышли на остров, разбили шатры и от большой усталости заснули все до одного крепким сном, не поставив даже сторожей. Всегда очень осторожный и бдительный, Ермак на этот раз оплошал, точно злая судьба захотела посмеяться над ним...

Ночь была тёмная, ненастная; лил сильный дождь; крепкий ветер свистел и выл; по реке ходили волны, своим однообразным шумом и плеском ещё более усыпляя казаков. Как убитые спали казаки, забыв и про татар. А татары были близко, с другой стороны реки подстерегая казаков: Кучум целый день не терял следов своего злейшего врага. В самую глухую ночную пору он послал одного татарина искать брод к острову, потому что лодок у татар не было. Этот татарин был за что-то приговорён к смерти, но Кучум обещал помиловать его, если он доберётся до казаков, не переполошив их. Татарин поехал верхом на лошади, нащупал брод, высмотрел казаков и вернулся к Кучуму с вестью, что казаки все крепко спят и сторожей не выставили. Кучум не поверил такому невероятному известию и приказал татарину в другой раз пробраться к казакам и привезти ему какой-нибудь знак, вещественное доказательство

справедливости своих слов. Татарин отправился снова, перебрёл реку и осторожно, как кошка, подполз к одному из шатров. Просунув под шатёр руку, он вытащил три пищали и три пороховницы, затем ползком добрался до берега и привёз их к Кучуму. Заиграло тогда сердце Кучумово, как сказано в летописи. Большой толпой, но тихо и осторожно стали татары переправляться к острову. Казаки продолжали крепко спать, ничего не слыша за воем ветра и шумом волн. И вот татары уже перебрались благополучно на остров, подкрались к беспечно спящим казакам, бросились на них разом. Так плачевно погибли казаки. Только два человека спаслись от татарского ножа: один из спасшихся в эту злополучную ночь добрался до города Сибири и принёс товарищам ужасную весть о гибели своих. Другой был сам Ермак. Услыхав стоны и суматоху, он вскочил на ноги, схватил саблю и бросился на татар, успев уложить нескольких из них. Но татары начали сильнее напирать на него. «Ко мне, братцы! Ко мне, товарищи!» — закричал громко атаман. Никто не откликнулся, никто не являлся на его зов. Увидел Ермак, что дело поправить уже нельзя, кинулся к берегу, порубил на дороге ещё несколько татар и бросился к лодкам, но лодки отнесло бурей на середину реки. Тогда Ермак кинулся в воду и поплыл к лодкам, но тяжёлый доспех, царский подарок, не давал ему плыть, тянул его ко дну, а татары пускали в него стрелы. Ослабел Ермак и утонул. Это было 5-го августа 1584 года[76].

13-го августа тело Ермака приплыло к селению Епанчинские юрты, в 12 вёрстах от Абалака. Татарин Яниш, внук князька Бегиша, ловя рыбу, увидел в реке человеческие ноги, петлёю вытащил утопленника, узнал его по железным латам с медною оправою, с золотым орлом на груди, и созвал всех жителей селения смотреть на тело человека, наводившего страх при жизни. Кучум и самые отдалённые князья Остяцкие, извещённые о драгоценной находке, съехались насладиться местью над ненавистным, хотя уже безвредным врагом: положив тело Ермака на возвышенную площадку, татары пускали в него стрелы; исстреляв же его совершенно, они зарыли его в землю, а доспехи Ермака взяли себе. Верхняя кольчуга Ермакова отдана была жрецам Белогорского идола, нижняя — мурзе Кандаулу, кафтан — князю Сейдяку, а сабля с поясом — мурзе Караче. Стрелецкий сотник, Ульян Моисеев Демезов, узнал в 1650 году все обстоятельства и подробности дела о смерти Ермака от Калмыцкого тайши (начальника племени) Аблая, сильно желавшего иметь броню Ермакову и наконец получившего её от потомков Кандауловых, согласно повелению царя Алексея Михайловича.

Горько заплакали казаки, узнав о смерти своего удалого атамана, и пришли в совершенное отчаяние. «Пропали мы теперь совсем», — говорили они и решились возвратиться в русскую землю. Их оставалось около 150 человек — казаков и московских ратников вместе с остатками иноземной Строгановской дружины под главным начальством атамана Матвея Мещеряка. Со смертью Ермака для них всё кончилось, и 15-го августа они вышли из города Сибири с тяжёлым сердцем, покидая гробы своих товарищей, теряя все плоды своих кровавых трудов. Они поплыли вверх по Тоболу, к великой радости Кучума. Город Искер опустел. В него вошёл сначала сын Кучумов, Алей, и вслед за ним и сам Кучум, чтобы снова царствовать и снова лишиться царства. Радовался старик, изведавший столько превратностей в жизни, что воротил своё царство, но скоро пришёл Сейдяк, отец которого был убит Кучумом, и выгнал его вон из Сибири[77].

После смерти Грозного и гибели Ермака русские отряды один за другим шли по пути, указанному им, за Каменный Пояс; заводились в новом краю русские посёлки, строились города, и мало-помалу весь север Азии с его неисчерпаемыми богатствами достался России.

Не ошибся Ермак, когда говорил своим сподвижникам: «Не оскудеет память наша в этих странах». До сих пор поминают Ермака и его убиенных товарищей в Тобольских церквях. Вот что мы читаем в рукописной Истории о Сибирской земле и о царствии:

«В лето 7129 (1621) поставлен и посвящён бысть в Сибирь, в Тобольск в архиепископы Киприан, бывший Хутынского монастыря архимандрит, и во второе лето архипастырства своего воспомяну

атамана Ермака Тимофеевича сына Повольского, и он, добрый пастырь, повёл спросити Ермаковых казаков, како они приидоша в сибирское царство, и где у них с погаными были бои, и кого из них погавии убили. Казаки не принесоша ему списки, како они приидоша в Сибирь, и о боях. Он-де Добрый пастырь повёл убитых имена написать в соборной церкви в синодик и в православную неделю кликати им вечную память. Синодик, казакам написан сице, глава 33: В лето 7089, при державе государя царя и великого князя Ивана Васильевича, избра Бог и посла не от славных муж, ни от царских воевод, очистити место святыни и победити бисирманского царя Кучума, но от простых людей вооружи Бог славою Своею и ратоборством и вольностию атамана Ермака с дружиною; забыша бо сии воины света сего честь и всю славу, и плотскую сладость, и смерть в живот преложиша, и восприяша щит истинной веры и показаны храбрость свою».

XXIV

В ноябре 1581 года в Александровской слободе случилось ужасное событие. Привычка не сдерживать своего гнева и давать волю рукам не осталась для Иоанна без страшного наказания: она довела его до сыноубийства. В порыве запальчивости он убил железным посохом старшего сына своего Иоанна, которого готовил в наследники себе. В наших летописях говорится, что царевич начал укорять отца за его трусость, за готовность заключить унижительный договор с Стефаном Баторием и требовал выручки Пскова. Царь, разгневавшись, ударил его так сильно, что тот чрез несколько дней умер. Согласно с этим, рассказывает историк ливонской войны Гейденштейн, который прибавляет, что в это время народ волновался и оказывал царевичу особое перед отцом расположение, вследствие чего отец раздражился на сына, которого заподозрил в намерении свергнуть его с престола. Но Антоний Поссевин, бывший в Москве чрез три месяца после убийства царевича, слышал об этом событии иначе. Приличие того времени требовало, чтобы знатные женщины надевали три одежды одна на другую. Царь застал свою невестку, жену царевича, лежащую на скамье в одной только исподней одежде, ударил её по щеке и начал колотить жезлом. Она была беременна и в следующую ночь выкинула. Царевич стал укорять за это отца: «Ты отнял уже (говорил он) у меня двух жён, постриг их в монастырь, — хочешь отнять и третью и уже умертвил в утробе её моего ребёнка». За эти слова Иоанн изо всех сил ударил сына жезлом в голову. Борис Годунов, хотевший защитить царевича, был сильно изранен. А царевич упал без чувств, обливаясь кровью. Царь опомнился, стал рвать на себе волосы, звал лекарей. Но всё было напрасно; царевич умер на пятый день. Из Александровской слободы тело его было торжественно перенесено в Москву и погребено в Архангельском соборе. На гробнице его следующая надпись:

«В лето 7090 (1581) ноября в 19 день преставился благоверный и христолюбивый царевич князь Иван Иванович всея России, на память св. пророка Авдея, в день недельный, в 14 час ночи, а погребён бысть того же месяца в 22 день, на память св. мученика Архипа, ученика Павла, апостола Филимона воина, Апфии».

Поражённый смертью сына, царь в унынии говорил, что не хочет более царствовать, а пойдёт в монастырь. Собрав бояр, он объявил им, что второй сын его Феодор неспособен к правлению, и предоставлял боярам выбрать царя из своей среды. Но бояре боялись, не испытывает ли их царь, чтобы потом обрушиться своим гневом и на избирателей, и на избранного. Поэтому они умоляли Иоанна не уходить в монастырь, по крайней мере до окончания войны. С тех пор царь ужасно мучился много дней, не спал ночей, метался как в горячке и в бреду звал убитого сына... Наконец он стал мало-помалу успокаиваться и начал посылать богатые милостыни на поминовение души царевича: кроме вкладов в русские монастыри, к четырём вселенским патриархам было послано до 20 000 червонцев.

Царевич Иоанн был женат три раза: первая жена его была Евдокия Богдановна Сабурова; вторая — Прасковья Михайловна Соловая; третья — Елена Ивановна Шереметева. Первая жена его была пострижена, под именем Александры, в Суздале, а вторая — на Белоозере. Обе они скончались в 1620 году и погребены в Вознесенском монастыре в Москве.

Царевичем Иоанном написано похвальное житие св. Антония Сийского, также служба и похвальное ему слово. Впереди службы написано: «Списано бысть сие многогрешным Иваном Русином, родом от племени Варяска, колена Августова, кесаря Римского, в лето 7087...»

XXV

Царь Иоанн, угрызаемый совестью, стал припоминать тысячи людей, погибших, подобно царевичу, от его неразумного гнева. Он усиливался припомнить замученных или казнённых им по именам, вписывал их в синодики (поминальники) и посылал по монастырям молиться за упокой их душ. В Кирилло-Белозерском монастыре сохранились два таких синодика, присланные сюда Иоанном за год до его смерти.

В большой вкладной книге Кириллова монастыря, на 16-м листе, сказано: «Царь государь и великий князь Иван Васильевич пожаловал по опальных людях 900 рублей. Имена их в синодике писаны. Панихиды по них поют и литургию служат собором в субботу сыропустную».

В кормовых книгах этого же монастыря отмечено: «В субботу сыропустную по опальных, избиенных, потопленных и сожжённых с жены их и чады и домочадцы. А имена их писаны в синодике. Панихиды поют собором. Даяния по них царя и великого князя Ивана Васильевича 2200 рублёв». Второй синодик прислан в дополнение к первому. Как в первом, так и во втором синодике означены по большей части именно те лица, которые, по другим достоверным свидетельствам, погибли в несчастное время Грозного.

Лета семь тысячъ девяностъ первого. Царь и Государь и Великий Князь, Иван Васильевич всея Руси, прислал в Кириллов монастырь сие поминание и велел поминать на литиях и на литургиях и на панихидах по вся дни в церкви Божии:

Княгиню иноку Евдокею (удельную), иноку Марию, иноку Александру (потоплены в Горах^[78]) в Шексне-реке, повелением царя Иоанна.

Помяни Господи души усопших раб своих и рабынь прежде почивших века сего от Адама и до сего дни^[79].

XXVI

Мы уже знаем, что первой супругой царя Иоанна Васильевича была Анастасия Романовна, скончавшаяся в 1560 году. Вскоре после её кончины Иоанн начал свататься к сестре польского короля Сигизмунда-Августа Екатерине, но сватовство это не имело успеха. Тогда он обратился в сторону противоположную — на Восток и в 1561 году женился на дочери черкесского князя Темрюка, которой при крещении в Москве дали имя Марии. Иоанна могли прельстить, с одной стороны, выгода женитьбы не на русской, особенно при тогдашних обстоятельствах, а с другой — красота черкешенки; но легко понять, что он мог выиграть в нравственном отношении от этого союза. Современники пишут, что эта княжна черкесская, дикая нравом и жестокая душою, ещё более утверждала Иоанна в злых наклонностях: «на злые дела падающая», говорится в одном современном историческом памятнике. Прожив в супружестве восемь лет, царица Мария Темржовна после тяжелой и продолжительной болезни умерла 1-го сентября 1569 года, не оставив детей, и погребена была в Вознесенском монастыре в Кремле.

Скучая вдовством, хотя и не целомудренным, Иоанн давно уже искал себе третьей супруги. Нашествие крымского хана остановило на время это дело. Когда же опасность миновалась, царь снова занялся им. Из всех городов в Москву свезли невест, и знатных, и не знатных, числом более двух тысяч: каждую из них представляли ему отдельно. Сперва он выбрал 24, а потом 12. Их должны были осмотреть доктор и бабки. Долго сравнивал их Иоанн в требуемых для него женских достоинствах и наконец предпочёл всем Марфу Васильевну Собакину, дочь новгородского купца. Но Иоанн первый из царей должен был испытать скорбь разлуки с избранною невестою вследствие дворских интриг.

Государевы невесты очень нередко избирались из бедных и простых дворянских родов, а потому и возвышение их родства выпадало на долю самым незначительным людям. Весьма понятно после того, с какою завистью и ненавистью встречали во дворце родство новой царицы, с каким опасением смотрели на новых людей, её родичей, все лица, находившиеся в близости и в милости у государя, сидевшие прочно в своих пригретых гнёздах по разным частям дворцового и вообще приказного управления. Выбор государевой невесты подымал в дворовой среде столько страстей, столько тлиных козней и всяческих интриг, что это государево дело редко проходило без каких-либо более или менее важных и тревожных событий в его домашней жизни.

Избранная невеста, вступая во дворец царевною, среди радостей и полного счастья, неизобразимого для простой девицы и особенно для её родных, вовсе не предчувствовала, что именно с этой минуты участь её держится на одном волоске, что именно с этой минуты её личность становится игрищем самых коварных, низких и своекорыстных замыслов. Те же самые люди, которые с раболепием служили ей, с раболепием заискивали её особого расположения, земно кланялись ей, как новонаречённой царице; те же самые люди, которые так были близки её царственному жениху, так были любимы им и, казалось, так добродушно и искренно радели о его счастье и, стало быть, о счастье избранной им супруги, — эти-то самые люди и являлись в тайных своих замыслах первыми и, можно сказать, единственными её врагами.

Недоступный, замкнутый царский терем с его просторною и прохладною жизнью, в смысле всякого изобилия и великолепия, всяческого раболепства и ласкательства, являлся на деле самым открытым местом для действий потаённых врагов и самым тесным и опасным местом для жизни. Простое лёгкое нездоровье было достаточно для того, чтобы враги воспользовались этим обстоятельством и облекли его в дело величайшей важности и величайшей опасности даже для здоровья самого государя, всегда обвиняя при этом и родство невесты, будто оно нарочно скрывает какую-либо неизлечимую её болезнь, разумеется, для того, чтобы не лишиться ожидаемого высокого благополучия вступить в близость к

государю. Враги употребляли большие старания чем-либо в действительности испортить здоровье царевны-невесты и таким образом лишить её царской любви, выселить из дворца и тогда новый выбор государевой супруги направить согласно своим потаённым целям.

Со многим и долгим испытанием царь Иоанн Васильевич избрал в супруги девицу Марфу Васильевну Собакину. Она была испорчена ещё в невестах и скончалась с небольшим через две недели после свадьбы, совершенной царём вопреки обычному предубеждению и страху за собственное здоровье. Об этом засвидетельствовал сам царь, когда просил соборного разрешения вступить потом в четвёртый брак^[80].

Подозрение в порче пало на родство прежних цариц, Анастасии Романовны и Марии Темрюковны. По этому случаю были розыск и казни. В числе других погиб в это время князь Михаил Темрюкович Черкасский, брат царицы Марии.

Царица Марфа Васильевна скончалась 13-го ноября 1571 года и погребена в соборном храме Вознесенского монастыря.

Не привыкнув и не любя сдерживаться ни в чём ни какими препятствиями, Иоанн в начале 1572 г. вопреки церковным правилам женился в четвёртый раз на Анне Алексеевне Колтовской. В Москву съехались для избрания нового митрополита (по смерти Кирилла) три архиепископа: Леонид новгородский, Корнилий ростовский и Антоний полоцкий, — семь епископов и множество архимандритов и игуменов. Прежде, нежели собравшиеся приступили к своему главному делу, царь пригласил их к себе, бил пред ними челом и просил у них прощения и разрешения по случаю своего четвёртого брака, на который он дерзнул по следующим причинам: женился он первым браком на Анастасии, дочери Романа Юрьевича, и жил с нею тринадцать лет с половиною; но вражиим наветом и злых людей чародейством и отравками царицу Анастасию извели. Совокупился он вторым браком, взял за себя из Черкасс Пятигорских девицу и жил с нею восемь лет, но и та вражиим коварством отравлена была. Подождав немало времени, он захотел вступить в третий брак, с одной стороны, для нужды телесной, а с другой — для детей, совершенного возраста не достигших; поэтому идти в монахи не мог, а без супружества жить соблазнительно; избрал себе невесту, Марфу, дочь Василия Собакина, но враг воздвиг ближних многих людей враждовать на царицу Марфу, и они отравили её, ещё когда она была в девицах; царь положил упование на всецелое существо Божие и взял за себя царицу Марфу, в надежде, что она исцелее; но была она за ним только две недели и преставилась ещё до разрешения девства. Царь много скорбел и хотел облечься в иноческий образ; но, видя христианство расплываемо и погубляемо, детей несовершеннолетних, дерзнул вступить в четвёртый брак. Царские богомольцы, архиепископы и епископы, видя такое царёво смирение и моление, много слёз испустили и на милосердие преклонились. Собравшись в соборной церкви Успения, они положили: простить и разрешить царя, ради тёплого умиления и покаяния, и положить ему заповедь не входить в церковь до Пасхи; на Пасху в церковь войти, меньшую дору и пасху вкушать, потом стоять год с припадающими; по прошествии года ходить к меньшей и к большой доре; потом год стоять с верными, и как год пройдёт, на Пасху причаститься св. тайн; со следующего же, 1573 г. разрешили царю по праздникам влаычным и богородичным вкушать богородичный хлеб, святую воду и чудотворцевы меды; милостыню государь будет подавать сколько захочет. Если государь пойдёт против своих неверных недругов, за святые Божии церкви и за православную веру, то ему епитимию разрешить: архиереи и весь священный собор возьмут её тогда на себя. Прочие же, от царского синклита до простых людей, да не дерзнут на четвёртый брак; если же кто по гордости и неразумению вступит в него, тот будет проклят. Иоанн хотя и подчинился было соборной епитимии, но только на самое короткое время. Отправившись через месяц в Новгород и заехав 31 мая (соборное определение состоялось 29-го апреля) в Хутын-монастырь, он действительно не входил в церковь, а стоял у церковных дверей, пока царевичи слушали в церкви молебствие. Но 7-го августа, получив в Новгороде известие о победе, одержанной нашими войсками над крымскими татарами,

отправился в Софийский собор на молебен, а 15 августа присутствовал в том же соборе и за литургиею^[81].

Прожив в четвёртом браке не более трёх лет, Иоанн развёлся с Анною Колтовскою, которая, как некогда Соломония, должна была отказаться от света и заключиться в Тихвинском Введенском монастыре, где скончалась в 1626 году с именем Дарии (в монашестве или в схиме).

Затем две наложницы Иоанна, Анна Васильчикова и вдова Василиса Мелентьева, не могут быть названы царицами: в современных памятниках они называются не царицами, а женщинами. Иоанн не венчался с ними, а брал только церковную молитву для сожития с ними. Анна Васильчикова схоронена в Суздальской девичьей обители, там же, где поживает и Соломония.

В пятый и последний раз Иоанн венчался в 1580 году с Мариєю Феодоровною Нагой, дочерью незначительного дворянина Фёдора Фёдоровича Нагого. Замечательно распределение свадебных чинов на этой царской свадьбе: посажёным отцом царя был сын его Феодор, будущий московский царь, а друзьями со стороны жениха — князь Василий Иванович Шуйский, со стороны невесты — Борис Фёдорович Годунов — оба будущие московские цари. Во время пребывания в Москве Антония Поссевина Иоанн исповедовался, но не причащался, вследствие того, что был женат на пятой жене.

Женившись на Марии Нагой, Иоанн вскоре невзлюбил её, хотя она была уже беременна. Он задумал жениться на какой-нибудь иностранной принцессе царской крови. Англичанин медик, по имени Роберт, сообщил ему, что у английской королевы есть родственница Мария Гастингс^[82]. Иоанн отправил в Лондон дворянина Фёдора Писемского узнать о невесте, поговорить о ней с королевой и вместе с тем изъявить желание от имени царя заключить тесный союз с Англией. Условием брака было то, чтобы будущая супруга царя приняла православную веру. Хотя царь у себя дома и заявлял о неспособности царевича Феодора, но Писемскому не велел говорить этого королеве; напротив, приказывал объявить, что детям новой царицы дадутся особые уделы. Достоин замечания, что на случай, если бы королева заметила, что у царя есть уже жена, Писемский должен был сказать, что она не какая-нибудь царевна, а простая подданная и для королевской племянницы её можно и прогнать. Когда Мария Гастингс отказалась от чести сделаться московскою царицею, Иоанна всё-таки не оставляла мысль жениться на иностранке, и он всё разведывал, нет ли у английской королевы какой-нибудь другой родственницы, с которою он мог бы вступить в брак.

От пятой жены у Иоанна остался сын — царь Димитрий, столь несчастный для себя и для России, невинный виновник долговременных бедствий и смут. По смерти Иоанна и воцарении Феодора вдовствующая царица вместе с сыном и ближайшими родственниками была сослана, по проискам Бориса Годунова, на житьё в Углич. Здесь младенец Димитрий был злодейски умерщвлён 15 мая 1591 года, а несчастная мать его была насильно пострижена под именем Марфы и сослана в Никольский монастырь на Выксе (в Череповецком уезде), в дикой и пустынной местности. Там её содержали очень строго, и в услужение ей было приставлено лишь два человека. Между тем, по восшествии на престол Годунова, стали носиться слухи о появлении этого самого Димитрия, избежавшего будто бы от рук убийц в Угличе и идущего теперь отнять свой законный престол у похитителя. Подозревая царицу-инокиню в сношении с этим самозванцем, Борис вызвал её в Москву и вместе с патриархом виделся с нею в Новодевичьем монастыре. Убедившись в её непричастности к делу страшного для него самозванца, Годунов снова отпустил царицу на прежнее место заключения. По смерти Бориса и восшествии на престол Лжедмитрия инокиня Марфа, считаясь матерью последнего, продолжала ещё некоторое время оставаться в заточении. Наконец Лжедмитрий, надеясь склонить её к признанию его своим сыном, послал к ней торжественное посольство, с князем Михаилом Скопиным-Шуйским во главе, бить челом от мнимо нежного сына, чтобы царица-мать благословила его на царство. Лжедмитрий сам выехал навстречу своей мнимой матери. В селе Тайнинском происходило их свидание. При дороге был разбит шатёр, куда вошли лишь царица да самозванный сын её. Сначала ласками, затем угрозами она была вынуждена признать пред всеми

Лжедмитрия истинным своим сыном. После этого инокиня Марфа с великими почестями была посажена в парадную колесницу; самозванец несколько вёрст провожал её с обнажённой головой и, предупредив это торжественное шествие, встретил её в московском дворце, где для неё были отведены покои впредь до изготовления великолепного помещения в Вознесенском девичьем монастыре со всею царственною обстановкою и пышностью. Но чтобы, с другой стороны, лишить царицу возможности открыть истину, самозванец озаботился удалить от неё всех доверенных и близких ей лиц. Тяжёлое время выпало на долю царицы, терзаемой укорами совести за содействие — хотя и вынужденное — столь гнусному обману. В скором времени последовал торжественный въезд в Москву Марины Мнишек, невесты Лжедмитрия. Встреченное у Спасских ворот польской музыкой, шествие остановилось у Вознесенского монастыря, где царица-инокиня приняла невесту своего мнимого сына и предложила ей помещение в стенах святой обители до окончания приготовлений к свадьбе. Но когда обман Лжедмитрия был обнаружен и самозванец, оставленный всеми, лежал полумёртвый от падения у дворцового крыльца, царица, освободившись от страха угроз, открыла истину, со слезами оправдывая себя страхом смерти и женскою немощью. В царствование Шуйского было засвидетельствовано нетление мощей мученически скончавшегося царевича Дмитрия и совершались многочисленные исцеления у гроба его. Поэтому приступлено было к перенесению святых мощей его из Углича в Москву. Царица-мать, царь с духовенством и весь синклит встретили св. мощи за городом и с торжеством перенесли в Архангельский собор, где инокиня Марфа, обливаясь слезами, просила царя, духовенство и весь народ простить ей грех обмана, и святители торжественно разрешили её из уважения к её супругу и к сыну. После этого мирная жизнь царицы была возмущена вестью о появлении второго самозванца Лжедмитрия, и она, радея о благе отечества, писала вразумительные грамоты в украинские города, свидетельствуя истину убиения царевича. В 1608 году инокиня Марфа мирно окончила в стенах Вознесенской обители жизнь свою, исполненную многих превратностей.

XXVII

В 1573 году, будучи ещё только 43 лет, Иоанн говорил, что он уже стар. Действительно, такая жизнь, какую он вёл, такая страшная болезнь, которою он страдал, должны были состарить его преждевременно. Несчастливая война с Баторием, потеря Ливонии, унижение, претерпенное Иоанном, также должны были разрушительно подействовать на его здоровье. Наконец, сюда присоединилось невоздержание всякого рода, против которого не могло устоять и самое крепкое телосложение. В начале 1584 года у Иоанна обнаружилась страшная болезнь: гниение внутри, опухоль снаружи. В марте по монастырям разосланы были грамоты: *«В великую и прелестную обитель, святым и преподобным инокам, священникам, дьяконам, старцам соборным, служебникам, клирошанам, лежням и по кельям всему братству: преподобию ног ваших касаясь, князь великий Иван Васильевич челом бьёт, молясь и препадая предобию вашему, чтоб вы пожаловали, о моём окаянстве соборно и по кельям молили Бога и Пречистую Богородицу, чтоб Господь Бог и Пречистая Богородица, ваших ради святых молитв, моему окаянству отпущение грехов даровали, от настоящей смертной болезни освободили и здоровье дали; и в чём мы перед вами виноваты, в том бы вы нас пожаловали и простили; а вы в чём перед нами виноваты, и вас во всём Бог простит»*.

Но, молясь Богу, раздавая щедрые милостыни, приказывая кормить нищих и пленных, выпуская из темниц заключённых, суеверный Иоанн в то же самое время приглашал к себе знахарей и знахарок, которых собрал до 60. Их привозили к нему с далёкого севера. Какие-то волхвы предрекли ему, как говорят, день смерти. Говорят, что больной распорядился судьбою царства, ласково обращался к боярам, убеждал сына Фёдора царствовать благочестиво, с любовью и милостию, избегать войны с христианскими государствами; в припадках всё звал убитого сына.

Смертный удар настиг Иоанна 18 марта, когда, почувствовав облегчение, он собирался играть в шашки. Над полумёртвым совершили обряд пострижения, назвали его Ионою.

Верховная дума, составленная умирающим Иоанном из пяти вельмож, состояла из князя Мстиславского, Никиты Романовича Юрьева, брата царицы Анастасии, Шуйского, Бельского и Бориса Годунова. Приняв власть государственную, Верховная дума в тот же день (18 марта) выслала из Москвы многих людей из бывшего окружения Иоанна, а некоторых заключила в темницы. К родственникам вдовствующей царицы, Нагим, приставили стражу, обвиняя их в злых умыслах — вероятно, в намерении объявить юного Димитрия наследником Иоанновым. Москва волновалась, но бояре успокоили народ: торжественно присягнули Фёдору и на следующее утро письменно обнародовали его воцарение. Немедленно послав в области с указом молиться о душе Иоанновой и счастливом царствовании Фёдора. Новое правительство созвало Великую земскую думу, знатнейшее духовенство, дворянство и всех людей именитых. Назначили день венчания на царство Фёдора Иоанновича.

Вместо послесловия

Иоанн Васильевич Грозный

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). Это евангельское изречение, пожалуй, точнее всего передаёт суть многовекового спора, который ведётся вокруг событий царствования Иоанна Грозного. С «лёгкой» руки Карамзина стало считаться признаком хорошего тона обильно мазать эту эпоху чёрной краской. Даже самые консервативные историки-монархисты считали своим долгом отдать дань русофобской риторике, говоря о «дикости», «свирепости», «невежестве», «терроре» как о само собой разумеющихся чертах эпохи. И всё же правда рвалась наружу. Свет беспристрастности время от времени вспыхивал на страницах исследований среди тьмы предвзятости, разрушая устоявшиеся антирусские и антиправославные стереотипы.

«Наша литература об Иване Грозном представляет иногда удивительные курьёзы. Солидные историки, отличающиеся в других случаях чрезвычайной осмотрительностью, на этом пункте делают решительные выводы, не только не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, а... даже прямо вопреки им: умные, богатые знанием и опытом люди вступают в открытое противоречие с самыми элементарными показаниями здравого смысла; люди, привыкшие обращаться с историческими документами, видят в памятниках та, чего там днём с огнём найти нельзя, и отрицают то, что явственно прописано чёрными буквами по белому полю».

Этот отзыв принадлежит Николаю Константиновичу Михайловскому — русскому социологу, публицисту и литературному критику второй половины прошлого века. Он был одним из редакторов «Отечественных записок», затем «Русского богатства». По убеждению — народник, близкий в конце 70-х годов к террористической «Народной воле», Михайловский не имел никаких оснований симпатизировать русскому самодержавию, и всё же...

Воистину неисповедимы пути Господни! Некогда, отвечая на упрёки иудеев, возмущённых тем, что народ славит Его, Господь ответил: «Аще сии умолчат, камение возопиет» (Лк. 19 : 40). «Сии» — русские дореволюционные историки, православные лишь «по паспорту», забывшие истины веры, утратившие церковное мироощущение, отрёкшиеся от соучастия в служении русского народа — «умолчали». И тогда, по слову Господа, «возопили камни».

Одним из таких «вопиющих камней» — окаменевших в мифах марксизма историков, невольно свидетельствовавших о несостоятельности богоборческих «научных» концепций, — стал через много лет после Михайловского советский академик Степан Борисович Веселовский, охарактеризовавший итоги изучения эпохи Грозного так: «В послекарамзинской историографии начался разброд, претенциозная погоня за эффектными широкими обобщениями, недооценка или просто неуважение к фактической стороне исторических событий... Эти прихотливые узоры «нетовыми цветами по пустому полю» исторических фантазий дискредитируют историю как науку и низводят её на степень безответственных беллетристических упражнений. В итоге историкам предстоит, прежде чем идти дальше, употребить много времени и сил только на то, чтобы убрать с поля исследования хлам домислов и ошибок и затем уже приняться за постройку нового здания».

Решающее влияние на становление русоненавистнических убеждений «исторической науки» оказали свидетельства иностранцев. Начиная с Карамзина русские историки воспроизводили в своих сочинениях

всю ту мерзость и грязь, которыми обливали Россию заграничные «гости», не делая ни малейших попыток объективно и непредвзято разобраться в том, где добросовестные свидетельства очевидцев превращаются в целенаправленную и сознательную ложь по религиозным, политическим или личным мотивам.

По иронии судьбы, одним из обличителей заграничного вранья стал ещё один «вопиющий камень» — исторический материалист, ортодоксальный марксист-ленинец Даниил Натанович Альшиц. Вот что он пишет: «Число источников объективных — актового и другого документального материала — долгое время было крайне скудным. В результате источники тенденциозные, порождённые ожесточённой политической борьбой второй половины XVI века, записки иностранцев — авторов политических памфлетов, изображавших Московское государство в самых мрачных красках, порой явно клеветнически, оказывали на историографию этой эпохи большое влияние... Историкам прошлых поколений приходилось довольствоваться весьма путаными и скудными сведениями. Это в значительной мере определяло возможность, а порой и создавало необходимость соединять разрозненные факты, сообщаемые источниками, в основном умозрительными связями, выстраивать отдельные факты в причинно-следственные ряды целиком гипотетического характера. В этих условиях и возникал подход к изучаемым проблемам, который можно кратко охарактеризовать как примат концепции над фактом».

Действительно, богоборческие «концепции» научного мировоззрения, исключаящие из объектов своего рассмотрения промыслительное попечение Божие о России, ход осмысления русским народом своего нравственно-религиозного долга, ответственность человека за результаты своего свободного выбора между добром и злом, долгое время, безусловно, преобладали над фактической стороной русской истории, свидетельствующей о её глубоком религиозном смысле. Нелишним будет сказать несколько слов о тех, чьи свидетельства были положены в основу этих «концепций».

Один из наиболее известных иностранцев, писавших о России времён Иоанна IV. — Антоний Поссевин. Он же один из авторов мифа о «сыноубийстве», то есть об убийстве царём своего старшего сына. К происхождению и определению целей этого измышления мы ещё вернёмся, а пока скажем несколько слов о его авторе.

Монах-иезуит Антоний Поссевин приехал в Москву в 1581 году, чтобы послужить посредником в переговорах русского царя со Стефаном Баторием, польским королём, вторгшимся в ходе Ливонской войны в русские границы, взявшим Полоцк, Великие Луки и осадившим Псков. Будучи легатом папы Григория XIII, Поссевин надеялся с помощью иезуитов добиться уступок от Иоанна IV, пользуясь сложным внешнеполитическим положением Руси. Его целью было вовсе не примирение враждующих, а подчинение Русской Церкви папскому престолу. Папа очень надеялся, что Поссевину будет сопутствовать удача, ведь Иоанн Грозный сам просил папу принять участие в деле примирения, обещал Риму дружбу и сулился принять участие в крестовом походе против турок.

«Но надежды папы и старания Поссевина не увенчались успехом, — пишет М. В. Толстой. — Иоанн оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость и благоразумие, которым и сам иезуит должен был отдать справедливость..., отринул домогательства о позволении строить на Руси латинские церкви, отклонил споры о вере и соединении Церквей на основании правил Флорентийского собора и не увлёкся мечтательным обещанием приобретения... всей империи Византийской, утраченной греками будто бы за отступление от Рима».

Известный историк Русской Церкви, Толстой мог бы добавить, что происки Рима в отношении России имеют многовековую историю, что провал миссии сделал Поссевина личным врагом царя, что само слово «иезуит» из-за бессовестности и беспринципности членов ордена давно сделалось именем нарицательным, что сам легат приехал в Москву уже через несколько месяцев после смерти царевича и ни при каких условиях не мог быть свидетелем происшедшего... Много чего можно добавить по этому поводу.

Показательна, например, полная неразбериха в «свидетельствах» о сыноубийстве.

Поссевин говорит, что царь рассердился на свою невестку, жену царевича, и во время вспыхнувшей ссоры убил его. Нелепость версии (уже с момента возникновения) была так очевидна, что потребовалось «облагородить» рассказ, найти более «достоверный» повод и «мотив убийства». Так появилась другая сказка — о том, что царевич возглавил политическую оппозицию курсу отца на переговорах с Баторием о заключении мира и был убит царём по подозрению в причастности к боярскому заговору. Излишне говорить, что обе версии совершенно голословны и бездоказательны. На их достоверность невозможно найти и намёка во всей массе дошедших до нас документов и актов, относящихся к тому времени.

А вот предположения о естественной смерти царевича Ивана имеют под собой документальную основу. Ещё в 1570 году болезненный и благочестивый царевич, благоговейно страшась тягот предстоявшего ему царского служения, пожаловал в Кирилло-Белозерский монастырь огромный по тем временам вклад — тысячу рублей. Предпочитая мирской славе монашеский подвиг, он сопровождал вклад условием, чтобы «ино похочет постричися, царевича князя Ивана постригли за тот вклад, а если, по грехам, царевича не станет, то и поминати» (1).

Косвенно свидетельствует о смерти Ивана от болезни и то, что в «доработанной» версии о сыноубийстве смерть его последовала не мгновенно после «рокового удара», а через четыре дня в Александровской слободе. Эти четыре дня — скорее всего время предсмертной болезни царевича.

В последние годы жизни он всё дальше и дальше отходил от многомятежного бурления мирской суеты. Эта «неотмирность» наследника престола не мешала ему заниматься государственными делами, воспринимавшимися как «Божие тягло». Но душа его стремилась к Небу. Документальные свидетельства подтверждают силу и искренность этого стремления. В сборниках библиотеки Общества истории и древностей помещены: служба преподобному Антонию Сийскому, писанная царевичем в 1578 году, «житие и подвиги аввы Антония чудотворца... переписано бысть многогрешным Иваном» и похвальное слово тому же святому, вышедшее из-под пера царевича за год до его смерти, в 1580 году. Православный человек поймёт, о чём это говорит.

Высота духовной жизни Ивана была столь очевидна, что после церковного собора духовенство обратилось к нему с просьбой написать канон преподобному Антонию, которого царевич знал лично. «После канона, — пишет Иван в послесловии к своему труду, — написал я и житие; архиепископ Александр убедил написать и похвальное слово» (2). В свете этих фактов недобросовестность версии о «сыноубийстве» и о жестокости царевича («весь в отца») кажется несомненной. Что же касается утверждений о жестокости самого Грозного царя, к ним мы вернёмся позже...

Следующий «свидетель» и современник эпохи, о писаниях которого стоит упомянуть, — это Генрих Штаден, вестфальский искатель приключений, занесённый судьбой в Москву времён Иоанна IV. «Неподражаемый цинизм» записок Штадена обратил на себя внимание даже советских историков.

«Общим смыслом событий и мотивами царя Штаден не интересуется, — замечает академик Веселовский, — да и по собственной необразованности он не был способен их понять... По неизменности своей натуры Штаден меряет всё на свой аршин». Короче — глупый и пошлый иностранец. Хорошо, если так. Однако последующие события дают основания полагать, что он очутился в России вовсе не случайно. «Судьба», занёсшая Штадена в Москву, после этого вполне целенаправленно вернула его туда, откуда он приехал.

В 1576 году, вернувшись из России, Штаден засел в эльзасском имении Люцельштейн в Вогезах, принадлежавшем пфальцграфу Георгу Гансу. Там в течение года он составил свои записки о России, состоявшие из четырёх частей: «Описание страны и управления московитов»; «Проект завоевания Руси»;

Автобиография и Обращение к императору Священной Римской империи.

Записки предназначались в помощь императору Рудольфу, которому Штаден предлагал: «Ваше римско-кесарское величество должны назначить одного из братьев Вашего величества в качестве государя, который взял бы эту страну и управлял бы ею». «Монастыри и церкви должны быть закрыты, — советовал далее автор «Проекта». — Города и деревни должны стать добычей воинских людей» (3).

В общем, ничего нового. Призыв «дранг нах Остен» традиционно грел сердца германских венценосцев и католических прелатов. Странно лишь то, что «творческое наследие» таких людей, как Генрих Штаден, может всерьёз восприниматься в качестве свидетельства о нравах и жизни русского народа и его царя.

Русское государство в те годы вело изнурительную войну за возвращение славянских земель в Прибалтике, и время было самое подходящее, чтобы убедить европейских государей вступить в антимосковскую коалицию. Штаден, вероятно, имел задание на месте разобраться с внутривосточной ситуацией в Москве и определить реальные возможности и перспективы антирусского политического союза. Он оказался хвастлив, тщеславен, жаден и глуп. «Бессвязный рассказ едва грамотного авантюриста» — таков вывод Веселовского о «произведениях» Штадена.

Само собой разумеется, его записки кишат «свидетельствами» об «умерщвлениях и убийствах», «грабежах великого князя», «опричных истязательствах» и тому подобными нелепостями, причём Штаден не постеснялся и себя самого объявить опричником и чуть ли не правой рукой царя Иоанна. Вряд ли стоит подробнее останавливаться на его записках. Да и сам он не заслуживал бы даже упоминания, если бы не являлся типичным представителем той среды, нравы и взгляды которой стали источниками формирования устойчивой русофобской легенды об Иване Грозном.

О недобросовестности иностранных «свидетелей» можно говорить долго. Можно упомянуть англичанина Джерома Горсея, утверждавшего, что в 1570 году во время разбирательств в Новгороде, связанных с подозрениями в измене верхов города царю (и с мерами по искоренению вновь появившейся «ереси жидовствующих»), Иоанн IV истребил с опричниками 700 000 человек. Можно... Но справедливость требует отметить, что среди иностранцев находились вполне достойные люди, не опускавшиеся до столь низкопробной лжи.

Гораздо печальнее то, что русские историки восприняли легенды и мифы о царствовании Иоанна Грозного так некритично, да и в фактической стороне вопроса не проявляли должной осторожности. Чего стоит одно заявление Карамзина о том, что во время пожара Москвы, подожжённой воинами Дивлет-Гирея в ходе его набега в 1571 году, «людей погибло невероятное множество... около осьмисот тысяч», да ещё более ста тысяч пленников хан увёл с собой. Эти утверждения не выдерживают никакой критики — во всей Москве не нашлось бы и половины «сгоревших», а число пленных Дивлет-Гирея вызывает ассоциации со Сталинградской операцией Великой Отечественной войны.

Столь же сомнительно выглядят сообщения о «семи жёнах» царя и его необузданном сладострастии, обретающие в зависимости от фантазии обвинителей самыми невероятными подробностями.

Желание показать эпоху в наиболее мрачном свете превозмогло даже доводы здравого смысла, не говоря о полном забвении той церковно-православной точки зрения, с которой лишь и можно понять в русской истории хоть что-нибудь. Стоит встать на неё, как отпадает необходимость в искусственных выводах и надуманных построениях. Не придётся вслед за Карамзиным гадать, что вдруг заставило молодого добродетельного царя стать «тираном». Современные историки обходят этот вопрос стороной, ибо нелепость деления царской биографии на два противоположных по нравственному содержанию периода — добродетельный (до 30 лет) и «кровожадный» — очевидна, но предложить что-либо иное не

могут.

А между тем это так просто. Не было никаких «периодов», как не было и «тирана на троне». Был первый русский царь, строивший, как и его многочисленные предки, Русь — Дом Пресвятой Богородицы и считавший себя в этом доме не хозяином, а первым слугой.

СЕ БО БОГ ПОМОГАЕТ МИ...

История царствования как она есть

Фигура царя Иоанна IV Васильевича Грозного (1530—1584) и эпоха его царствования как бы венчают собой период становления русского религиозного самосознания. Именно к этому времени окончательно сложились и оформились взгляды русского народа на самого себя, на свою роль в истории, на цель и смысл существования, на государственные формы народного бытия.

Царствование Иоанна IV протекало бурно. Со всей возможной выразительностью её течение обнажило особенность русской истории, состоящую в том, что её ход имеет в основе не «баланс интересов» различных сословий, классов, групп, а понимание общего дела, всенародного служения Богу, религиозного долга.

Началось царствование смутой. Будущий «грозный царь» вступил на престол, будучи трёх лет от роду. Реальной властительницей Руси стала его мать Елена, «чужеземка литовского, ненавистного рода», по словам Карамзина. Её недолгое (четыре года) правление было ознаменовано развратом и жестокостью не столько личными, сколько проистекавшими из нравов и интриг ближних бояр — бывших удельных князей и их приближённых.

По старой удельной привычке каждый из них «тянул на себя», ставя личные интересы власти и выгоды выше общенародных и государственных нужд. Численно эта беспринципная прослойка была ничтожна, но после смерти Елены, лишившись последнего сдерживающего начала, её представители учинили между собой в борьбе за власть погром, совершенно расстроивший управление страной. Разделившись на партии князей Шуйских и Бельских, бояре, по словам Ключевского, «повели ожесточённые усобицы друг с другом из личных фамильных счетов, а не за какой-нибудь государственный порядок».

В 1547 году сгорела Москва. Пожар и последовавший за ним всенародный мятеж потрясли юного Иоанна. В бедствиях, обрушившихся на Россию, он увидел мановение десницы Божией, карающей страну и народ за его, царя, грехи и неисправности. Пожар почти совпал по времени с венчанием Иоанна на царство. Церковное Таинство Миропомазания открыло юному монарху глубину мистической связи царя с народом и связанную с этим величину его религиозной ответственности. Иоанн осознал себя «игуменом всея Руси». И это осознание с того момента руководило всеми его личными поступками и государственными начинаниями до самой кончины.

Чтобы понять впечатление, произведённое на царя помазанием его на царство, надо несколько слов сказать о происхождении и смысле чина коронации (4).

Чин коронации православных монархов известен с древнейших времён. Первое литературное упоминание о нём дошло до нас из IV века, со времени императора Феодосия Великого. Божественное происхождение царской власти не вызывало тогда сомнений. Это воззрение на власть подкреплялось у византийских императоров и мнением о Божественном происхождении самих знаков царственного достоинства. Константин VII Порфирогенит (913—959) пишет в наставлениях своему сыну: «Если когда-нибудь хазары, или турки, или россы, или какой-нибудь другой из северных и скифских народов потребует в знак рабства и подчинённости присылки ему царских инсигний: венцов или одежд, — то должно знать, что эти одежды и венцы не людьми изготовлены и не человеческим искусством измышлены и сделаны, но

в тайных книгах древней истории писано, что Бог, поставив Константина Великого первым христианским царём, через ангела Своего послал ему эти одежды и венцы».

Исповедание веры составляло неременное требование чина коронации. Император сначала торжественно возглашал его в церкви и затем, написанное, за собственноручной подписью, передавал патриарху. Оно содержало Православный Никео-Царьградский Символ Веры и обещание хранить апостольское предание и установления церковных соборов.

Богу было угодно устроить так, что преемниками византийских императоров стали русские великие князья, а затем цари. Первые царские инсигнии получил Владимир Святой «мужества ради своего и благочестия», по словам святого митрополита Макария. Произошло это не просто так — «таковым дарованием не от человек, но по Божиим судьбам неизречённым претворяюще и преводяще славу греческого царства на российского царя». Сам Иван Грозный полностью разделял этот взгляд на преемственность Русского царства. Он писал о себе: «Государь наш зоветца царём потому: прародитель его великий князь Владимир Святославович, как крестился сам и землю Русскую крестил, и царь греческий и патриарх венчали его на царство, и он писался царём».

Чин венчания Ионна IV на царство не сильно отличался от того, как венчались его предшественники. И всё же воцарение Грозного стало переломным моментом: русского народа — как народа-богоносца, русской государственности — как религиозно осмысленной вероохранительной структуры, русского самосознания — как осознания богослужебного долга, русского «воцерковлённого» мироощущения — как молитвенного чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись в личности Русского Православного Царя.

Дело в том, что Грозный стал первым Помазанником Божиим на русском престоле. Несколько редакций дошедшего до нас подробного описания чина его венчания не оставляют сомнений: Иоанн IV Васильевич стал первым русским государем, при венчании которого на царство над ним было совершено церковное Таинство Миропомазания.

Помазание царей святым миром (благовонным маслом особого состава) имеет своё основание в прямом повелении Божиим. Об этом часто говорит Священное Писание, сообщая о помазании пророками и первосвященниками ветхозаветных царей в знак дарования им особой благодати Божией для богоугодного управления народом и царством. Православный катехизис свидетельствует, что «миропомазание есть таинство, в котором верующему при помазании священным миром частей тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной».

Над каждым верующим это таинство совершается лишь единожды — сразу после крещения. Начиная с Грозного русский царь был единственным человеком на земле, над кем Святая Церковь совершала это таинство дважды, свидетельствуя о благодатном даровании ему способностей, необходимых для нелёгкого царского служения.

Приняв на себя груз ответственности за народ и державу, юный царь с ревностью приступил к делам государственного, общественного и церковного устройства. Послушаем Карамзина: «Мятежное господство бояр рушилось совершенно, уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Чтобы торжественным действием веры утвердить благословенную перемену в правлении и в своём сердце, государь на несколько дней уединился для поста и молитвы; созвал святителей, умиленно каялся в грехах и, разрешённый, успокоенный ими в совести, причастился Святых Тайн. Юное, пылкое сердце его хотело открыть себя перед лицом России: он велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или состояния, для важного дела государственного. Они собрались — и в день воскресный, после обедни, царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиною воинскую, на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к митрополиту

и сказал: «Святой владыко! Знаю усердие твоё ко благу и любовь к отечеству: будь же мне поборником в моих благих намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери; а вельможи не радели обо мне: хотели быть самовластными; моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ — и никто не претил им. В жалком детстве своём я казался глухим и немым: не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих! Вы, вы делали, что хотели, злые крамольники, судии несправедливые! Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слёз, сколько крови от вас пролилось! Я чист от сея крови! А вы ждите суда небесного!»

Тут государь поклонился на все стороны и продолжал: «Люди Божии и нам Богом дарованные! Молю вашу веру к Нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла: могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет; оставьте ненависть, вражду; соединимся все любовью христианскою. Отныне я судия ваш и защитник».

В сей великий день, когда Россия в лице своих поверенных присутствовала на лобном месте, с благоговением внимая искреннему обету юного венценосца жить для её счастья, Иоанн в восторге великодушия объявил искреннее прощение виновным боярам; хотел, чтобы митрополит и святители также их простили именем Судии небесного; хотел, чтобы все россияне братски обнялись между собою; чтобы все жалобы и тяжбы прекратились миром до назначенного им срока...

Повелением царским был составлен и введён в действие новый судебник. С целью всероссийского прославления многочисленных местночтимых святых и упорядочения жизни Церкви Иоанн созвал подряд несколько церковных соборов, к которым самолично составил список вопросов, требовавших соборного решения. В делах царя ближайшее участие принимали его любимцы — иерей Сильвестр и Алексей Адашев, ставшие во главе «Избранной Рады» — узкого круга царских советников, определявших основы внутренней и внешней политики.

В 1592 году успешно закончился «крестовый» поход против казанских татар. Были освобождены многие тысячи христианских пленников, взята Казань, обеспечена безопасность восточных рубежей. «Радуйся, благочестивый Самодержец, — прислал гонца Иоанну князь Михаил Воротынский, — Казань наша, царь её в твоих руках; народ истреблён, кои в плену; несметные богатства собраны. Что прикажешь?» «Славить Всевышнего», — ответил Иоанн. Тогда же он обрёл прозвище «Грозный», то есть страшный для иноверцев, врагов и ненавистников России. «Не мочно царю без грозы быти, — писал современный автор. — Как конь под царём без узды, тако и царство без грозы».

Счастлирое течение событий прервалось в 1553 году тяжёлой болезнью молодого царя. Но страшнее телесного недуга оказываются душевные раны, нанесённые теми, кому он верил во всё, как себе. У изголовья умирающего Иоанна бояре спорят между собою, деля власть, не стесняясь тем, что законный царь ещё жив. Наперсники царские — Сильвестр и Адашев — из страха ли, или по зависти, отказываются присягать законному наследнику, малолетнему царевичу Дмитрию. В качестве кандидатуры на престол называется двоюродный брат царя — князь Владимир Андреевич.

Россия оказывается на грани нового междоусобного кровопролития. «В каком волнении была душа Иоанна, когда он на пороге смерти видел непослушание, строптивость в безмолвных дотоле подданных, в усердных любимцах, когда он, государь самовластный и венчаный славою, должен был смиренно молить тех, которые ещё оставались ему верными, чтобы они охраняли семейство его, хотя бы в изгнании», — говорит М. В. Толстой. И всё же «Иоанн перенёс ужас этих минут, выздоровел и встал с одра... исполненный милости ко всем боярам». Царь всех прости! Царь не помнил зла. Царь посчитал месть чувством, недостойным христианина и монарха.

Выздоровление Иоанна, казалось, вернуло силы всей России. В 1556 году русское войско взяло Астрахань, окончательно разрушив надежды татар на восстановление их государственной и военной мощи

на Востоке. Взоры царя обратились на Запад. Обеспечив мир на восточной границе, он решил вернуть на Западе древние славянские земли, лишив Ватикан плацдарма для военной и духовной агрессии против Руси. Но здесь его поджидало новое разочарование. Измена приближённых во время болезни, как оказалось, вовсе не была досадной случайностью, грехопадением, искупленным искренним раскаянием и переменой в жизни.

«Избранная Рада» воспротивилась планам царя. Вопреки здравому смыслу она настаивала на продолжении войны против татар — на этот раз в Крыму, не желая понимать, что само географическое положение Крыма делало его в те времена неприступной для русских полков крепостью. Сильвестр и Адашев надеялись настоять на своём, но царь на этот раз проявил характер. Он порвал с «Избранной Радой», отправив Адашева в действующую армию, а Сильвестра — в Кирилло-Белозерский монастырь, и начал войну на Западе, получившую впоследствии название Ливонской. Вот как рисует Карамзин портрет Иоанна того времени:

«И россияне современные, и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, изображают сего юного, тридцатилетнего венценосца как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных ко славе и счастью государства. Так изъясняются первые: «Обычай Иоанна есть соблюдать себя чистым пред Богом. И в храме, и в молитве уединённой, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство: «Да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанникам!» Суд нелицемерный, безопасность каждого и общая, целостность порученных ему государств, торжество веры, свобода христиан есть всегдашняя дума его.

Обременённый делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность; не хочет обыкновенных прохлад царских... Ласковый к вельможам и народу — любя, награждая всех по достоинству — щедростию искореняя бедность, а зло — примером добра, сей Богом урождённый царь желает в день Страшного суда услышать глас милости: «Ты еси царь правды!» И отвечать с умилением: «Се аз и люди яже дал ми еси Ты!»

Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, англичане, приезжавшие в Россию для торговли. «Иоанн, — пишут они, — затмил своих предков и могуществом, и добродетелью; имеет многих врагов и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, ногаи ужасаются русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив; любит разговаривать с ними, часто даёт им обеды во дворце и, несмотря на то, умеет быть повелительным; скажет боярину: «Иди!» — и боярин бежит; изъявит досаду вельможе — и вельможа в отчаянии; скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока царь не объявит ему прощения.

Одним словом, нет народа в Европе, более россиян преданного своему государю, коего они равно и страшатся, и любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, Иоанн во всё входит, всё решит; не скушает делами и не веселится ни звериною ловлей, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями: как служить Богу и как истреблять врагов России!»

Честно говоря, трудно понять, как после подобных описаний тот же Карамзин мог изобразить дальнейшее царствование Иоанна в виде кровавого безумия, а самого царя рисовать настоящим исчадием ада.

С высылкой предводителей боярской партии интриги не прекратились. В 1560 году при странных обстоятельствах умерла супруга Иоанна — кроткая и нищелюбивая Анастасия. Возникли серьёзные опасения, что царицу отравили, боясь её влияния на царя, приписывая этому влиянию неблагоприятное (для бывших царских любимцев) развитие событий. Кроме того, смерть царицы должна была по замыслу отравителей положить конец и высокому положению при дворе её братьев, в которых видели опасных конкурентов в борьбе за власть.

Произведённое дознание показало, что нити заговора тянутся к опальным вельможам — Адашеву и Сильвестру. И снова Иоанн вопреки очевидности пощадил жизнь заговорщиков. Сильвестр был сослан на Соловки, а Алексей Адашев взят под стражу в Дерпте, где и умер вскоре естественною смертью от горячки, лишив будущих историков возможности лишний раз позлословить о «терроре» и «жестокости царя».

Позднее Иоанн так описывал эти события: «Ради спасения души моей приблизил я к себе иерея Сильвестра, надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне поспешником во благе; но сей лукавый лицемер, обольтив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашевым, чтобы управлять царством без царя, им презираемого. Они снова вселили дух своеволия в бояр, раздали единомышленникам города и волости; сажали, кого хотели, в думу; заняли все места своими угодниками... (Царю) запрещают ездить по святым обителям; не дозволяют карать немцев... К сим беззакониям присоединяется измена: когда я страдал в тяжкой болезни, они, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, помимо сына моего, взять себе иного царя, и не тронутые, не исправленные нашим великодушием, в жестокости сердец своих чем платили нам за оное? Новыми оскорблениями: ненавидели, злословили царицу Анастасию и во всём доброхотствовали князю Владимиру Андреевичу. И так удивительно ли, что я решился наконец не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на царство лукавым попом и неблагодарным слугою Алексием?» (5).

Верный привычке решать дело по возможности миром, царь ограничился ссылкой Сильвестра и Адашева, не тронув более никого из их приверженцев. Надеясь разбудить совесть, он лишь потребовал от «всех бояр и знатных людей» клятвы быть верными государю и впредь не измышлять измен. Все присягнули. И что же? Князь Дмитрий Вишневицкий, воевода юга России, бросил ратников и перебежал к Сигизмунду, врагу Иоанна. Не ужившись с литовцами, переметнулся в Молдавию, вмешался там по привычке в интриги вокруг молдавского господаря Стефана, был схвачен и отправлен в Стамбул, где султан казнил его как смутьяна и бунтовщика. Так отплатил князь за доверие своему царю. Да если бы он один!

В 1564 году доверенный друг Иоанна, князь Андрей Курбский, наместник царя в Дерпте, тайно, ночью, оставив жену и девятилетнего сына, ушёл к литовцам. Мало того, что он изменил царю, Курбский предал родину, став во главе литовских отрядов в войне с собственным народом. Подлость всегда ищет оправдания, стараясь изобразить себя стороной пострадавшей, и князь Курбский не постеснялся написать царю письмо, оправдывая свою измену «смятением горести сердечной» и обвиняя Иоанна в «мучительстве».

Насколько правдивы обвинения Курбского, видно хотя бы на примере взаимоотношений царя и святого Германа Казанского. Курбский рассказывает, что Герман был соборно избран митрополитом, но между ним и Иоанном произошёл разрыв по поводу опричнины. В беседе с царём наедине (!) святитель якобы «тихими и кроткими словесы» обличил царя, и тот двумя днями позже велел его то ли удушить, то ли отравить. На самом деле в современных событиям источниках нет никаких следов избрания Германа на митрополию. Наоборот, 25 июня 1566 года Казанский святитель участвовал в поставлении святого Филиппа митрополитом. А умер он 6 ноября 1567 года, благополучно прожив в мире и покое полтора года после своего «удушения» (6).

Клеветой оказывается и утверждение князя о том, что по указанию царя был раздавлен с помощью какого-то ужасного приспособления преподобный Корнилий Псковский со своим учеником Вассианом Муромцевым. На все эти ужасы нет и намёка ни в одном из дошедших до нас письменных свидетельств, а в «Повести о начале и основании Печерского монастыря» о смерти преподобного (случившейся, вероятно, в присутствии царя) сказано: «От тленного сего жития земным царём предпослан к Небесному Царю в вечное жилище». Надо обладать буйной фантазией, чтобы на основании этих слов сделать выводы о «казни» преподобного Иоанном IV.

Мало того, из слов Курбского вытекает, что Корнилий умерщвлён в 1577 году... Надпись же на гробнице о времени смерти преподобного указывает дату 20 февраля 1570 года. Известно, что в этот самый день святой Корнилий встречал царя во Пскове и был принят им ласково — потому-то и говорит «Повесть» о том, что подвижник был «предпослан» царём в «вечное жилище» (7). Но для Курбского действительное положение дел не имело значения. Ему важно было оправдать себя и унижить Иоанна^[83].

Царь ответил изменнику так: «Во Имя Бога Всемогущего, Того, Кем живём и движемся, Кем цари царствуют и сильные глаголют, смиренный христианский ответ бывшему российскому боярину, нашему советнику и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому... Почто, несчастный, губишь душу изменою, спасая брренное тело бегством? Я читал и разумел твоё послание. Яд аспида в устах изменника — слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения, но ты не уехал бы к врагу нашему, если бы не излишно миловали вас, недостойных... Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях! Не губим «сильных во Израиле»; их кровью не обагряем церковью Божиих; сильные, добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников — и где же щадят их?.. Имею нужду в милости Божией, Пречистой Девы Марии и святых угодников: наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему: Россия благоденствует... Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а разве в сём мире нет власти Божией? Вот ересь манихейская! Вы думаете, что Господь царствует только на небесах, диавол — во аде, на земле же властвуют люди: нет, нет! Везде Господня держава, и в сей, и в будущей жизни!.. Положи свою грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и последняя искра христианства в тебе угасла: ибо христианин умирает с любовью, с прощением, а не со злобою» (8).

История рассудила, кто прав в этом споре царя со своим бывшим советником. Труды Иоанна Васильевича завершили сложение России — сложение столь прочное, что и восемь лет злополучной Смуты (1605—1613), новые измены боярские, походы самозванцев, католическая интервенция и раскол церковный не смогли разрушить его.

«Обласканный Сигизмундом» Курбский, по словам Карамзина, «предал ему свою честь и душу; советовал, как губить Россию..., убеждал его действовать смелее, не жалеть казны, чтобы возбудить против нас хана, — и скоро услышали в Москве, что 70 000 литовцев, ляхов, прусских немцев, венгров, волохов с изменником Курбским идут к Полоцку; что Дивлет-Гирей с 60 000 хищников вступил в Рязанскую область...».

Терпеть далее такое положение вещей было нельзя. Оно грозило не царю — под угрозой оказывалось существование России. После долгих и мучительных колебаний Иоанн Грозный принял единственно возможное для христианина решение: вынести дело на всенародный суд. Царь прекрасно понимал, что заставить человека нести «Божие тягло» силой нельзя. Можно добиться внешней покорности, но принять на себя «послушание», осмысленное как религиозный долг, человек должен добровольно. Народ русский должен был решить сам: желает ли он быть народом-богоносцем, хранителем Истины и жизни Православия — или отказывается от этого служения. Согласен ли народ нести все тяготы, искушения и соблазны, грозящие ему на этом пути, по слову Писания: «Чадю, аще приступавши работати Господеви Богу, уготови душу твою во искушение; управи сердце твоё и потерпи» (Сир. 2 : 1—2)? И русский народ ответил царю: «Да!»

В начале зимы 1564 года Иоанн Васильевич покинул Москву в сопровождении верных ему ближних бояр, дворян и приказных людей «выбором изо всех городов» с жёнами и детьми. «Третьего декабря рано явилось на Кремлёвской площади множество саней, — рассказывает Карамзин. — В них сносили из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты... Духовенство, бояре ждали государя в церкви Успения: он пришёл и велел митрополиту служить обедню: молился с усердием, принял благословение... милостиво дал целовать руку свою боярам, чиновникам, купцам: сел в сани с царицею, с двумя сыновьями...» — и

уехал из Москвы.

Поездив по окрестным монастырям, побывав у Троицы, царь к Рождеству остановился в Александровской слободе, в 112 вёрстах от Москвы. Народ ждал, чтобы Иоанн объяснил своё странное поведение. Царь не заставил себя ждать долго.

3 января нового, 1565 года в Москву прискакал гонец Константин Поливанов. Он вёз две царские грамоты. В одной из них, вручённой послом митрополиту Афанасию, Грозный описывал все измены, мятежи и неурядицы боярского правления, сетовал на невозможность в таких условиях нести служение царя и заключал, что «не хотя многих изменных дел терпети, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь». В другой грамоте, адресованной московскому простонародью, купцам, всем тяглым людям и всенародно читанной на площади, Иоанн объявлял, чтобы русские люди сомнения не держали — царской опалы и гнева на них нет.

Царь не отрекался от престола, сознавая ответственность за народ и за страну. Он как бы спрашивал: «Желаете ли над собой меня, Русского Православного Царя, Помазанника Божия, как символ и знак своего избранничества и своего служения? Готовы подклониться под «иго и бремя» Богоустановленной власти, сослужить со мною, отринув личное честолюбие, жажду обогащения, междоусобицы и старые счёты?» Воистину это был один из наиболее драматических моментов русской истории. «Всё замерло, — говорит Ключевский, — столица мгновенно прервала свои обычные занятия: лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли...» Странное на первый взгляд поведение царя на самом деле было глубоко русским, обращалось к издавна сложившимся отношениям народа и власти^[84].

Когда первое оцепенение москвичей прошло, столица буквально взорвалась народными сходками.

«Государь нас оставил, — вопил народ. — Мы гибнем. Кто будет нашим защитником в войнах с иноплемениками? Как могут быть овцы без пастыря?» Духовенство, бояре, сановники, приказные люди, проливая слёзы, требовали от митрополита, чтобы он умилиствовал Иоанна, никого не жалея и ничего не страшась. Все говорили ему одно: «Пусть царь казнит своих лиходеев: в животе и смерти воля его; но царство да не останется без главы! Он наш владыка, Богом данный: иного не ведаем. Мы все с своими головами едем за тобою бить челом и плакаться».

То же говорили купцы и мещане, прибавляя: «Пусть царь укажет нам своих изменников: мы сами истребим их!» Митрополит хотел немедленно ехать к царю, но в общем совете положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, которая была в неопишемом смятении.

Все дела пресеклись: суды, приказы, лавки, караульни опустели. Избрали главными послами святителя Новгородского Пимена и Чудовского архимандрита Левкия, но за ними отправились и все другие епископы: Никандр Ростовский, Елевферий Суздальский, Филофей Рязанский, Матфей Крутицкий, — архимандриты: Троицкий, Симоновский, Спасский, Андрониковский; за духовенством вельможи, князя Иван Дмитриевич Бельский, Иван Фёдорович Мстиславский, все бояре, окольные, дворяне и приказные люди прямо из палат митрополитовых, не заехав к себе в дома; также и многие гости, купцы, мещане, чтобы ударить челом государю и плакаться».

Народ сделал свой выбор. Осознанно и недвусмысленно он выразил свободное согласие «сослужить» с царём в деле Божиим — для созидания России как «Дома Пресвятой Богородицы», как хранилищ и защитниц спасительных истин Церкви. Царь понял это. 2 февраля торжественно вернулся в Москву и приступил к обустройству страны.

Первым его шагом на этом пути стало учреждение опричнины. Само слово «опричина» вошло в употребление задолго до Ивана Грозного. Так назывался остаток поместья, достаточный для пропитания вдовы и сирот павшего в бою или умершего на службе воина. Поместье, жаловавшееся великим князем за

службу, отходило в казну, опричь (кроме) этого небольшого участка.

Иоанн Грозный назвал опричниной города, земли и даже улицы в Москве, которые должны были быть изъяты из привычной схемы административного управления и переходили под личное и безусловное управление царя, обеспечивая материально «опричников» — корпус царских единомышленников, его сослуживцев в деле созидания такой формы государственного устройства, которая наиболее соответствует его религиозному призванию. Есть свидетельства, что состав опричных земель менялся — часть их со временем возвращалась в «земщину» (то есть к обычным формам управления), из которой, в свою очередь, к «опричнине» присоединялись новые территории города. Таким образом, возможно, что через сито опричнины со временем должна была пройти вся Россия.

Опричнина стала в руках царя орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь её порядок и уклад, отделял добрые семена русской православной соборности и державности от плевел еретических мудрствований, чужebesия в нравах и забвения своего религиозного долга.

Даже внешний вид Александровской слободы, ставшей как бы сердцем суровой брани за душу России, свидетельствовал о напряжённости и полноте религиозного чувства её обитателей. В ней всё было устроено по типу иноческой обители — палаты, кельи, великолепная крестовая церковь (каждый её кирпич был запечатлён знаменем Честного и Животворящего Креста Господня). Ревностно и неукоснительно исполнял царь со своими опричниками весь строгий устав церковный.

Как некогда богатырство, опричное служение стало формой церковного послушания — борьбы за воцерковление всей русской жизни, без остатка, до конца. Ни знатности, ни богатства не требовал царь от опричников, требовал лишь верности, говоря: «Ино по грехом моим учинилось, что наши князи и бояре учали изменяти, и мы вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и правды».

Придворный народный ум изобрёл и достойный символ ревностного служения опричников. «Они ездили всегда с собачьими головами и мётлами, привязанными к сёдлам, — пишет Карамзин, — в ознаменование того, что грызут лиходеёв царских и метут Россию».

Учреждение опричнины стало переломным моментом царствования Иоанна IV. Опричные полки сыграли заметную роль в отражении набегов Дивлет-Гирея в 1571 и 1572 годах, двумя годами раньше с помощью опричников были раскрыты и обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие своей целью отложение от России под власть Литвы и питавшиеся, вероятно, ересью «жидовствующих», которая пережила все гонения.

В 1575 году, как бы подчёркивая, что он является царём «верных», а остальным «земским» ещё надлежит стать таковыми, пройдя через опричное служение, Иоанн IV поставил во главе земской части России крещёного татарина — касимовского царя Семёна Бекбулатовича. Каких только предположений не высказывали историки, пытаясь разгадать это «загадочное» поставление! Каких только мотивов не приписывали царю! Перебрали всё: политическое коварство, придворную интригу, наконец, просто «прихоть тирана»... Не додумались лишь до самого простого — до того, что Семён Бекбулатович действительно управлял земщиной (как, скажем, делал это князь-кесарь Ромодановский в отсутствие Петра I), пока царь «доводил до ума» устройство опричных областей.

Был в этом «разделении полномочий» и особый мистический смысл. Даруя Семёну титул «великого князя всея Руси», а себя именуя московским князем Иваном Васильевым, царь обличал ничтожество земных титулов и регалий власти перед небесным избранничеством на царское служение, запечатлённым в Таинстве Миропомазания. Он утверждал ответственность русского царя перед Богом, отрицая значение человеческих названий.

Приучая Русь, что она живёт под управлением Божиим, а не человеческим, Иоанн как бы говорил

всем: «Как кого ни назови — великим ли князем всея Руси или Иванцом Васильевым, а царь, помазанник Божий, отвечающий за всё происходящее здесь, — всё же я, и никто не в силах это изменить».

Так царствование Грозного царя клонилось к завершению. Неудачи Ливонской войны, лишившие Россию отвоёванных было в Прибалтике земель, компенсировались присоединением бескрайних просторов Сибири в 1579—1584 годах. Дело жизни царя было сделано — Россия окончательно и бесповоротно встала на путь служения, очищенная и обновлённая опричниной. В Новгороде и Пскове были искоренены рецидивы жидовствования. Церковь обустроена, народ воцерковлён, долг избранничества осознан. В 1584 году царь мирно почил, пророчески предсказав свою смерть^[85]. В последние часы земной жизни сбылось его давнее желание — митрополит Дионисий постриг государя, и уже не Грозный царь Иоанн, а смиренный инок Иона предстал перед Всевышним Судией, служению Которому посвятил он свою бурную и нелёгкую жизнь.

УПАСЕШИ Я ЖЕЗЛОМ ЖЕЛЕЗНЫМ...

Игумен всея Руси

ВРЯД ЛИ МОЖНО до конца понять течение русской истории, не разгадав личности Грозного царя. Историки давно сошлись на том, что он был самым даровитым и образованным человеком своего времени. «Муж чудного рассуждения, в науке книжного почитания доволен и многоречив», — характеризует Грозного один из современников. «Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна... есть для ума загадка», — сетует Карамзин, готовый «усомниться в истине самых достоверных о нём известий»... Ключевский пишет о царе: «От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский московский ум».

Характеристики можно множить, они будут совпадать или противоречить друг другу, вызывая одно неизменное чувство неудовлетворения, недосказанности, неясности. Высокий дух и «воцерковлённое» мироощущение царя оказались не по зубам осуетившимся историкам, плотной завесой тайны окутав внутреннюю жизнь Иоанна IV от нескромных и предвзятых взглядов.

Духовная проказа рационализма, лишая веры, лишает и способности понимать тех, для кого вера есть жизнь. «Ещё ли окаменено сердце ваше имате? Очи имуще — не видите, и уши имущи — не слышите» (Мрк. 8:17—18), — обличал Господь маловеров. Окаменевшие неверием сердца повлекли за собой слепоту духовную, лишив историков возможности увидеть сквозь туман наветов и клевет настоящего Иоанна, услышать его искренний, полный горячей веры голос.

Как бы предчувствуя это, сетовал Грозный царь, стеноя от тягот и искушений своего служения: «Тело изнемогло, болезнует дух, раны душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня. Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого; утешающих я не нашёл — заплатили мне злом за добро, ненавистью — за любовь».

Мягкий и незлобивый по природе, царь страдал и мучился, вынужденный применять суровые меры. В этом он удивительно напоминает своего венценосного предка — святого благоверного князя Владимира равноапостольного, отказавшегося было карать преступников, боясь погрешить против христианского милосердия. «Боюсь греха!» — эти слова святого Владимира как нельзя лучше применимы и к Грозному царю. Несмотря на многочисленные свидетельства растущей измены, он из года в год откладывал наказание виновных. Прощал измены себе, пока было возможно. Но считал, что не имеет права простить измены делу Божию, строению Святой Руси, ибо мыслил обязанности Помазанника Божия как блюстителя верности народа своему промыслительному предназначению.

Когда в 1565 году в Александровской слободе царь принял решение силой выжечь крамолу в России, это решение далось ему страшным напряжением воли. Вот портрет царя, каким его знали до этого знаменательного дня: Иоанн был «велик ростом, строен, имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие; серые, но светлые, пронизательные, исполненные огня, и лицо приятное» (9).

Когда же царь вернулся в Москву и, созвав духовенство, бояр, знатнейших чиновников, вышел к ним объявить об опричнине, многие не узнали его. Иоанн постарел, осунулся, казался утомлённым, даже больным. Весёлый прежде взор угас, густая когда-то шевелюра и борода поредели. Царь знал, что ему предстоит, какую ответственность он берёт на себя и сколько сил потребуется от него.

Да, Иоанн Грозный карал. По подсчётам «советского» историка Р. Г. Скрынникова, жертвами «царского террора» стали три-четыре тысячи человек (10). С момента учреждения опричнины до смерти царя прошло тридцать лет. 100 казней в год, учитывая уголовных преступников. Судите сами, много это или мало. Притом, что периодическое возникновение «широко разветвлённых заговоров» не отрицает ни один уважающий себя историк. Чего стоит хотя бы политическая интрига, во главе которой стоял боярин Фёдоров! Заговорщики предполагали во время Ливонского похода 1568 года окружить царские опричные полки, перебить их, а Грозного выдать польскому королю. Но царь, сколько мог, щадил...

Вот один из примеров. Московские казни 1570 года описаны современником событий Альбертом Шлихтингом, иностранцем. Не имея никаких причин преуменьшить масштаб (скорее, наоборот), Шлихтинг рассказывает, что из трёхсот выведенных на казнь были казнены лишь сто шестнадцать человек, а остальные — помилованы и отпущены. В летописи того времени названо примерно такое же количество казнённых — сто двадцать человек. А в «Повести об Иване Грозном и купце Харитоне Белоулине», дошедшей до нас в списке конца XVI века, и вовсе говорится, что казнено было всего семеро, после чего «вестник прииде от царя, повеле всех пойманных отпустить».

При этом надо учитывать, что казни были результатом расследования по «новгородскому» и «псковскому» делу о попытках отложиться от московского царя и уйти в подданство иноверному государю. Перечни казнённых за счёт казни рассылались для включения в синодики (поминальные списки) по российским монастырям. Царь не желал казнённым зла, прося у Церкви святых молитв об упокоении мятежных душ изменников и предателей...

Подвижнический характер имела вся личная жизнь царя. Это ярче всего проявлялось в распорядке Александровской слободы. Шумную и суетную Москву царь не любил, наезжая туда «не на великое время». В Александровской слободе он всё устроил так, как хотел, вырвавшись из церемонного и чинного порядка государевой жизни с его обязательным сложным этикетом и неизбежным лицемерием. Слобода, собственно, была монастырём в миру. Несколько сотен ближайших царских опричников составляли его братию, а себя Иоанн называл «игуменом всея Руси». (Царь не раз хотел постричься и последний раз после смерти сына в 1581 году, лишь единодушная мольба приближённых предотвратила осуществление этого намерения).

Опричная «братия» носила монашеские скуфейки и чёрные подрясники. Жизнь в слободе, как в монастыре, регулировалась общежительным уставом, написанным лично царём. Иоанн сам звонил к заутрене, в церкви пел на клиросе, а после обедни, во время братской трапезы, по древней иноческой традиции читал для назидания жития святых и святоотеческие поучения о посте, молитве и воздержании.

По благочестию в личной жизни с Грозным царём может сравниться, пожалуй, лишь царь Тишайший — Алексей Михайлович, проводивший в храме по пять часов в день и клавший ежедневно от тысячи до полуторы тысячи земных поклонов с молитвой Иисусовой.

Известно, сколь трепетно и благоговейно относится Православная Церковь к богослужебным текстам. Сочинители большей их части прославлены ею как святые, свыше приявшие дар к словесному выражению духовных, возвышенных переживаний, сопровождающих человека на пути христианского подвижничества. Так вот — стихирами, писанными царём Иоанном Васильевичем, церковь пользовалась на своих богослужениях даже тогда, когда со смерти его минул не один десяток лет.

В двух крюковых стихирах начала XVII века находятся две стихиры святому митрополиту Петру (на «Господи, воззвах...») с надписью «Творение царя Иоанна», две стихиры ему же («на исхождение», то есть на литии) с надписью «Творение царя и великого князя Иоанна Васильевича вся России» и две стихиры на сретение «Пречистой Владимирской». Символично, что в Смутное время именно словами Грозного царя зывала Русская Церковь к Богородице, молясь о даровании мира и утверждении веры.

Вот одна из этих стихир: «Вострубите песню трубную, в день праздника нашего благонароचितого. Славьте тьмы разрушение и света пришествие, паче солнца воссиявшего на всех; се бо Царица и Владычица, Богородица, Мати Творца всех — Христа Бога нашего, услышавши моление недостойных раб Своих на милосердие преклоняется. Милостивно и видимо руце простирающе к Сыну Своему и Богу нашему о своей Руси молится, от согрешений освобождение даровать просит и праведное Его прощение возвернуть. О, великая милосердием Владычице! О, великая щедротами Царице! О, великая заступлением Богородице! Как молит Сына Своего и Бога нашего, пришествием честного образа Своего грады и веси избавляя! Да воспоим Царице, Царя рождшей: радуйся, промышляя христианам щедроты и милости. Радуйся, к Тебе прибегающим заступление и пристанище и избавление, спасение наше»^[86] (11).

Полно и ясно раскрывался внутренний мир царя и в его постоянном общении со святыми, преподобными, иноками, юродивыми, странниками. Самая жизнь царя Иоанна началась при непосредственном участии святого мужа — митрополита Иоасафа, который, будучи ещё игуменом Свято-Троицкой Сергиевой лавры, крестил будущего государя Российского прямо у раки преподобного Сергия, как бы пророчески знаменуя преемственность дела Иоанна IV по отношению к трудам великого святого. Другой святой митрополит — Макарий — окормлял молодого царя в дни его юности и первой ратной славы. Влияние первосвятителя было велико и благотворно. Митрополит был учёнейшим книжником. Своим блестящим образованием Грозный во многом обязан святому Макарию, десятки лет работавшему над огромным трудом, «Минеями-Четьями», в которых он задумал собрать все «чтомыя книги, яже в русской земле обретаются». Мудрый старец не навязывал царю своих взглядов, окормляя его духовно, не стремился к почёту, власти и потому сумел сохранить близость с государем, несмотря на все политические бури и дворцовые интриги. «О Боже, как бы счастлива была русская земля, если бы владыки были таковы, как преосвященный Макарий да ты», — писал царь в 1556 году Казанскому архиепископу Гурию.

Особенно любил Иоанна и его добродетельную супругу преподобный Антоний Сийский, просиявший святостью жизни в тундре далёкого Севера. Он приходил в Москву, беседовал с царём и пользовал его своими поучениями до кончины своей в 1556 году.

Знаменитый московский юродивый Василий Блаженный хаживал к царю, не стеснялся обличать его в рассеянности при молитве, умерял царский гнев ласковым: «Не кипятись, Иванушка...» Блаженный умер на руках у царя, предсказав ему, что наследует государство Российское не старший сын Иван, а младший — Феодор. При погребении святого царь сам с близкими боярами нёс его гроб (12).

Отдельного упоминания стоит история взаимоотношений царя со святым митрополитом Филиппом, принявшим кафедру московских святителей в 1566-году. Царь сам выбрал Филиппа, бывшего тогда Соловецким игуменом. Иоанн знал подвижника с детства, когда он, малолетний царевич, полюбил играть с сыном боярина Степана Ивановича Колычева Фёдором, будущим митрополитом Московским.

В годы боярских усобиц род Колычевых пострадал за преданность князю Андрею (дяде царя Иоанна). Один из них был повешен, другой пытан и долго содержался в оковах. Горькая судьба родственников подтолкнула Фёдора на иноческий путь. Тайно, в одежде простолюдина он бежал из Москвы в Соловецкий монастырь, где принял постриг с именем Филиппа и прошёл путь от послушника до настоятеля.

Филипп долго отказывался от сана митрополита, отговариваясь немощью и недостойнством. «Не могу принять на себя дело, превышающее силы мои, — говорил он. — Зачем малой ладье поручать тяжесть великую?» Царь всё же настоял на своём, и Филипп стал митрополитом. В первое время после его поставления всё шло хорошо. Единодушие «священной сугубицы» — царя и митрополита — лишало боярские интриги возможности манёвра, достигавшегося в их «лучшие времена» противопоставлением двух центров власти — светского и церковного.

Эту возможность они потеряли во многом благодаря предусмотрительности Грозного и самого

митрополита, при поставлении «давшего слово архиепископам и епископам» и царю (как говорится об этом в нарочно составленной грамоте), «в опричнину и царский домовый обиход не вступаться и, по поставлении, из-за опричнины и царского домового обихода митрополии не оставлять». Такой грамотой сама фигура митрополита как бы выносилась за скобки всех дворцовых интриг и, более того, лишала возможности бояр даже требовать его удаления «на покой» под благовидным предлогом «неотмирности» святителя.

25 июля 1566 года после литургии в Успенском соборе царь лично вручил новопоставленному митрополиту пастырский посох его святого предтечи — святителя Петра, с умилением выслушал глубоко прочувствованное слово Филиппа об обязанностях служения царского и, пригласив всё духовенство и бояр в царские палаты, радушно угощал, празднуя обретение такого помощника^[87]. Но единодушие государя и первосвященника было невыносимо тем, кто в своём высоком положении видел не основание для усиленного служения царю и России, а оправдание тщеславным и сребролюбивым начинаниям.

В июне 1567 года были перехвачены письма польского короля Сигизмунда и литовского гетмана Хоткевича к главнейшим боярам с предложением бежать в Литву. Начался розыск виновных, затем последовали казни. Митрополит ходатайствовал о смягчении участи преступников, но политику царя поддержал. «На то ли собрались вы, отцы и братия, чтобы молчать, страшись вымолвить истину? — обличал он пастырей церкви, молчаливо сочувствовавших казнённым... — Никакой сан мира сего не избавит нас от мук вечных, если преступим заповедь Христову и забудем наш долг пещись о благочестии благоверного царя, о мире и благоденствии православного христианства»^[88].

Не скрывал своего сочувствия к митрополиту святитель Герман, архиепископ Казанский. Но нашлись и такие, которым самоотверженная правдивость митрополита перед царём грозила разоблачением и опалой. Среди них выделялись: Пимен — архиепископ Новгородский, мечтавший сам занять кафедру митрополита; Пафнутий — епископ Суздальский и Филофей Рязанский. Душой заговора, направленного на разобщение преподобного Филиппа с Иоанном IV, стал государев духовник, благовещенский протопоп Евстафий, боявшийся потерять расположение и доверие царя.

Тактика интриги была проста: лгать царю про митрополита, а святителю клеветать на царя. При этом главным было не допустить, чтобы недоразумение разрешилось при личной встрече. Кроме того, надо было найти предлог для удаления святителя Филиппа. Время шло, и злые семена лжи давали первые всходы. Царю удалось было внушить, что Филипп вопреки обещанию стремится вмешиваться в государевы дела.

Для митрополита не были тайной планы его врагов. «Вижу, — говорил он, — готовящуюся мне кончину, но знаете ли, почему меня хотят изгнать отсюда и возбуждают против меня царя? Потому что не льстил я пред ними... Впрочем, что бы то ни было, не перестану говорить истину, да не тщетно ношу сан святительский». Какое-то время казалось, что заговорщики потерпят неудачу. Царь отказался верить в злонамеренность Филиппа, потребовав доказательств, которых у них не было и быть не могло.

Тогда, не надеясь найти «компромат» на митрополита в Москве, злоумышленники отправились на Соловки. Там Пафнутий Суздальский, Андрониковский архимандрит Феодосий и князь Василий Темкин угрозами, ласками и деньгами принудили к лжесвидетельству против святителя Филиппа некоторых монахов и, взяв их с собой, поспешили назад.

В числе лжесвидетелей, к стыду обители, оказался игумен Паисий, ученик святого митрополита, прельстившийся обещанием ему епископской кафедры.

Состоялся «суд». Царь пытался защитить святителя, но вынужден был согласиться с «соборным» мнением о виновности митрополита. Причём, зная по опыту, что убедить царя в политической

неблагонадёжности Филиппа нельзя, заговорщики подготовили обвинения, касавшиеся жизни святителя на Соловках ещё в бытность его тамошним настоятелем, и это, похоже, сбило с толку Иоанна IV.

В день праздника Архистратига Михаила в 1568 году святитель Филипп был сведён с кафедры митрополита и отправлен «на покой» в московский монастырь Николы Старого, где на его содержание царь приказал выделять из казны по четыре алтына в день. Но враги святого на этом не остановились, добившись удаления ненавистного старца в Тверской Отрочь-монастырь, подальше от столицы. До этих пор история взаимоотношений Грозного царя с митрополитом Филиппом очень напоминает отношения царя Алексея Михайловича с его «собинным» другом — патриархом Никоном, также оклеветанным и сосланным.

Однако торжество злоумышленников длилось недолго. В декабре 1569 года царь с опричной дружиной двинулся в Новгород для того, чтобы лично возглавить следствие по делу об измене и покровительстве местных властей еретикам — «жидовствующим». В ходе этого расследования могли вскрыться связи новгородских изменников, среди которых видное место занимал архиепископ Пимен с московской боярской группой, замешанной в деле устранения святителя Филиппа с митрополии. В этих условиях опальный митрополит становился опаснейшим свидетелем.

Его решили убрать и едва успели это сделать, так как царь уже подходил к Твери. Он послал к Филиппу своего доверенного опричника Малюту Скуратова за святительским благословением на поход и, надо думать, за пояснениями, которые могли пролить свет на «новгородское дело». Но Малюта уже не застал святителя в живых. Он смог лишь отдать ему последний долг, присутствуя при погребении, и тут же уехал с докладом к царю^[89].

Опасения заговорщиков оправдались. Грозный всё понял, и лишь его всегдашнее стремление ограничиться минимально возможным наказанием спасло жизнь многим из них. Вот что пишут об этом «Четьи-Минеи» (за январь, в день памяти святого Филиппа):

«Царь... положил свою грозную опалу на всех виновников и пособников его (митрополита) казни. Несчастный архиепископ Новгородский Пимен, по низложению с престола, был отправлен в заключение в Венёвский Никольский монастырь и жил там под вечным страхом смерти, а Филофей Рязанский был лишён архиерейства. Не остался забытым и суровый пристав святого — Стефан Кобылин: его постригли против воли в монахи и заключили в Спасо-Каменный монастырь на острове Кубенском. Но главным образом гнев царский постиг Соловецкий монастырь.

Честолюбивый игумен Паисий вместо обещанного ему епископства был сослан на Валаам, монах Зосима и ещё девять иноков, клеветавших на митрополита, были также разосланы по разным монастырям, и многие из них на пути к местам ссылки умерли от тяжких болезней. Как бы в наказание всей братии разгневанный царь прислал в Соловки чужого постриженника — Варлаама, монаха Кирилло-Белозерского монастыря, для управления монастырём в звании строителя. И только под конец дней своих он вернул своё благоволение обители, жалую её большими денежными вкладами и вещами для поминовения опальных и пострадавших от его гнева соловецких монахов и новгородцев».

Во время новгородского расследования царь оставался верен привычке верить свои поступки советом людей, опытных в духовной жизни, имевших славу святых, праведников. В Новгороде царь не раз посещал преподобного Арсения, затворника иноческой обители на торговой стороне города. Царь пощадил этот монастырь, свободный от еретического духа, и без гнева выслушал обличения затворника, подчас весьма резкие и неллицеприятные.

Характерна для царя и причина, заставившая его отказаться от крутых мер в Пскове. По дороге из Новгорода Иоанн был как-то по-особому грустен и задумчив. На последнем ночлеге в селе Любятове, близ

города, царь не спал, молясь, когда до его слуха донёлся благовест псковских церквей, звонивших к заутрене. Сердце его, как пишут современники, чудесно умилилось. Иоанн представил себе раскаяние злоумышленников, ожидавших сурового возмездия и молящихся о спасении их от государева гнева. Мысль, что Господь есть Бог кающихся и Спас согрешающих, удержала царя от строгих наказаний. Выйдя из избы, царь спокойно сказал: «Теперь во Пскове все трепещут, но напрасно: я не сотворю им зла».

Так и стало, тем более что по въезде в Псков царя встретил юродивый Никола, всему городу известный праведник. Прыгая на палочке перед царским конём, он приговаривал: «Иванушка! Иванушка! Покушай хлеб-соль (жители города встречали Иоанна постной трапезой. — *Прим. авт.*), чай, не наелся мясом человеческим в Новгороде!» Считая обличения юродивого за глас Божий, царь отменил казни и оставил Псков[90].

Можно ещё приводить примеры отношения Грозного царя к святым, праведникам, архиереям и юродивым. Но все они и дальше будут подтверждать, что поведение его всегда и во всём определялось глубоким и искренним благочестием, полнотой христианского мироощущения и твёрдой верой в своё царское «тягло» как Богом данное служение. Даже в гневе Иоанн пребывал христианином. Вот что сказал он Новгородскому архиепископу Пимену, уличённому в измене собственноручной грамотой, писанной королю Сигизмунду. Архиерей пытался отвратить возмездие, встретив царя на Великом мосту с чудотворными иконами, в окружении местного духовенства. «Злочестивец! В руке твоей — не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой... Отселе ты уже не пастырь, а враг Церкви и святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова!»

Приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, царь, как хирург, отсекал от тела России гниющие, бесполезные члены. Иоанн не обольщался в ожидаемой оценке современниками (и потомками) своего труда, говоря: «Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого; утешающих я не нашёл — заплатили мне злом за добро, ненавистью — за любовь». Второй раз приводим мы изречение Иоанна, теперь уже с полным правом говоря: воистину так!

В отличие от историков народ верно понял своего царя и свято чтит его память. Вплоть до самой революции и последовавшего за ней разгрома православных святынь Кремля к могиле Грозного царя приходил простой люд служить панихиды, веруя, что таким образом выраженное почитание Иоанна IV привлекает благодать Божию в дела, требующие справедливого и нелицеприятного суда.

ВОНМИ СЕБЕ, НЕ ЗАБУДИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО...

Боярство. Опричнина. Земские соборы

ИСТОРИКИ НЕОДНОКРАТНО сетовали на «загадочность» и даже на «великую загадочность» опричнины. Между тем ничего загадочного в ней нет, если рассматривать опричнину в свете веками складывавшихся на Руси отношений народа и власти, общества и царя. Эти «неправовые» отношения, основывавшиеся на разделении обязанностей, свойственных скорее семейному, чем государственному быту, наложили отпечаток на весь строй русской жизни.

Так, русское сословное деление, например, имело в своём основании мысль об особенном служении каждого сословия. Сословные обязанности мыслились как религиозные, а сами сословия — как разные формы общего для всех христианского дела: спасения души. И царь Иоанн IV все силы отдал тому, чтобы «настроить» этот сословный организм Руси, как настраивают музыкальный инструмент, по камертону православного вероучения. Орудием, послужившим для этой нелёгкой работы, стала опричнина. Глядя на неё так, всё можно понять и объяснить. Вот что действительно невозможно, так это понимание действий Иоанна IV (в том числе и опричнины) с точки зрения примитивно-утилитарной, во всём видящей лишь «интересы», «выгоду», «соотношение сил», странным образом сочетая это с приверженностью «объективным историческим закономерностям».

Для того, чтобы «настроить» русское общество в унисон с требованиями христианского мировоззрения, прежде всего требовалось покончить с понятиями «взаимных обязательств» как между сословиями, так и внутри них. Взаимные обязательства порождают упреки в их несоблюдении, взаимные претензии, обиды и склоки — и это ярче всего проявилось в таком уродливом явлении, как боярское местничество. Безобидная на первый взгляд мысль о взаимной ответственности порождает ощущение самоценности участников этой взаимосвязи, ведёт к обособлению, разделению, противопоставлению интересов и в конечном итоге — к сословной или классовой вражде, по живому рассекающей народное тело.

Не разъединяющая народ ответственность «друг перед другом», неизбежно рождающая требования «прав» и забвение обязанностей, а общая, соборная ответственность перед Богом должна стать, по мысли Грозного, основой русской жизни. Эта общая ответственность уравнивает всех в едином церковном служении, едином понятии долга, единой вере и взаимной любви, заповеданной Самим Господом в словах: «Возлюби ближнего как самого себя». Вспомним царское упоминание о стремлении «смирить всех в любовь». Перед Богом у человека нет прав, есть лишь обязанности — общие всем, и это объединяет народ в единую соборную личность «едиными усты и единым сердцем», по слову Церкви, взывающую к Богу в горячей сыновней молитве.

. В таком всенародном предстоянии Богу царь находится на особом положении. Помазанник Божий, он свидетельствует собой богоугодность государственной жизни народа, является той точкой, в которой символически соединяются небо и земля, Царствие Божие и человеческое. В своём царском служении он «не от мира сего», и поэтому перед ним, как перед Богом, все равны и никто не имеет ни привилегий, ни особых прав. «Естеством телесным царь подобен всякому человеку. Властью же сана подобен... Богу. Не имеет бо на земли вышша себе. Подобаает убо (царю) яко смертну, не возноситься, и, аки Богу, не гневаться... Егда князь беспорочен будет всем нравом, то может... и мучити, и прощати всех людей со всякою кротостию», — говорится в одном из сборников второй половины XVI века. К такому пониманию

царской власти и старался привести Россию Иоанн Васильевич. Но на его пути встало боярство.

«...Уже к половине XV века московский великий князь был окружён плотной стеной знатных боярских фамилий, — говорит Ключевский. — Положение усугубилось вступлением на московскую службу князей, покидавших упразднённые удельные столы. С тех пор во всех отраслях московского управления — в государственной думе советниками, в приказах судьями, то есть министрами, в областях наместниками, в полках воеводами являются все князья и князья. Вслед за князьями шли в Москву их ростовские, ярославские, рязанские бояре». В этом не было бы ничего дурного, если бы объединение Великороссии и возвышение московского великого князя до уровня общенационального государя не изменило роковым образом воззрения боярства на своё место в русской жизни.

В удельные века боярин в Москве служил, и принадлежность к сословию означала для него прежде всего признание за собой соответствующих обязанностей. Весь XIV век — это век самоотверженного служения московского боярства общенациональным идеалам и целям. Отношения с великим князем московским складывались поэтому самые полюбовные. «Слушали бы во всём отца нашего владыки Алексея да старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам», — писал в духовном завещании к своим наследникам Симеон Гордый, поставляя рядом по своему значению митрополита и боярство. Святой благоверный князь Дмитрий Донской относился к боярам ещё душевнее. Обращаясь к детям, он говорил: «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте по их службе, без воли их ничего не делайте».

Но к концу XV— началу XVI века положение изменилось. В боярстве, пополнявшемся титулованной удельной знатью, принёсшей в Москву понятия о своих наследственных правах, установился взгляд на своё руководящее положение как на «законное» дело — привилегию, не зависимую от воли государя. Это грозило разрушением гармонии народного бытия, основанной на сослужении сословий в общем деле, на их взаимном равенстве перед Богом и царём. «Ещё при Грозном до опричнины встречались землевладельцы из высшей знати, которые в своих обширных вотчинах правили и судили безапелляционно, даже не отдавая отчёта царю», — пишет Ключевский. Более того, царь, как лицо, сосредоточившее в себе полноту ответственности за происходящее в стране, представлялся таким боярам удобной ширмой, лишавшей их самих этой ответственности, но оставлявшей им все их мнимые «права». Число знатнейших боярских фамилий было невелико — не превышало двух-трёх сотен, зато их удельный вес в механизме управления страной был подавляющим.

Положение становилось нестерпимым, но для его исправления царь нуждался в единомышленниках, которые могли бы взять на себя функции административного управления страной, традиционно принадлежавшие боярству. Оно в своей недостойной части должно было быть от этих функций устранено. Эти «служующие близ» государя верные получили названия «опричников», а земли, отведённые для их обеспечения, наименование «опричных». Вопреки общему мнению земель этих было мало. Так, перемещению с земель, взятых в опричину, на другие «вотчины» подвергалось около тысячи землевладельцев — бояр, дворян и детей боярских. При этом опричина вовсе не была исключительно «антибоярским» орудием. Царь в указе об учреждении опричнины ясно дал понять, что не делит «изменников» и «лиходеев» ни на какие группы «ни по роду, ни по племени», ни по чинам, ни по сословной принадлежности.

Сам указ об опричнине появился не вдруг, а стал закономерным завершением длительного процесса поиска Иваном Грозным наилучшего, наихристианнейшего пути решения стоявших перед ним, как помазанником Божиим, задач. Первые его попытки в этом роде связаны с возвышением благовещенского иерея Сильвестра и Алексея Фёдоровича Адашева. Лишь после того, как измена Адашева и Сильвестра показала в 1560 году невозможность окормления русского народа традиционно боярскими органами

управления, встал вопрос об их замене, разрешившийся четыре года спустя указом об опричнине.

Адашев сам к боярству не принадлежал. Сын незначительного служилого человека, он впервые появляется на исторической сцене 3 февраля 1547 года на царской свадьбе в качестве «ложничего» и «мовника», то есть он стал царскую постель и сопровождал новобрачного в баню. В 1550 году Иоанн пожаловал Адашева в окольничие и при этом сказал ему: «Алексей! Взял я тебя из нищих и из самых молодых людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей ради помощи душе моей... Не бойся сильных и славных... Всё рассматривай внимательно и приноси нам истину, боясь суда Божия; избери судей правдивых от бояр и вельмож!»

Адашев правил от имени царя, «государевым словом», вознесённый выше боярской знати — царь надеялся таким образом поставить боярское сословное своеволие под контроль. Опричнина стала в дальнейшем лишь логичным завершением подобных попыток. При этом конечным результатом, по мысли Грозного, должно было стать не упразднение властных структур (таких, как боярская дума, например), а лишь наполнение их новым, религиозно осмысленным содержанием. Царь не любил ломать без нужды.

Адашев «правил землю русскую» вместе с попом Сильвестром. В благовещенском иерее царь, известный своим благочестием (ездивший в дальние монастыри на покаяние замаливать даже незначительные грехи — «непотребного малого слова ради»), хотел видеть олицетворение христианского осмысления государственности. Однако боярская верхушка сумела «втянуть» Адашева и Сильвестра в себя, сделать их представителями своих чаяний. Адашев вмешался в придворные интриги вокруг Захарьиных — родственников Анастасии, жены царя, сдерживал в угоду удельным интересам создание единого централизованного русского войска. Сильвестр оказался не краше — своего сына Анфима он пристроил не в «храбрые» и «лутчие люди», а в торговлю, испросив для него у царя назначение ведать в казне таможенными сборами.

Царю в случае успеха боярских замыслов оставалось лишь «честь председания». Русская история чуть было не свернула в накатанную западноевропейскую колею, в которой монарх выполнял роль балансира между противоречивыми интересами различных социальных групп. Лишь после охлаждения отношений царя с прежними любимцами дело двинулось в ином направлении. В 1556 году были приняты царские указы, в результате которых все землевладельцы, независимо от размера своих владений, делались служилыми людьми государства. «Речь шла об уравниении «сильных» и «богатых» со всеми служилыми людьми в служебной повинности перед государством, именно несмотря на их богатство, на их экономическую самостоятельность», — признает Альшиц. Он же пишет, что в период деятельности Адашева и Сильвестра «решался вопрос, по какому пути пойдёт Россия: по пути усиления феодализма (читай: православного самодержавия. — *Прим. авт.*) или по пути буржуазного развития... То, что реформы Адашева и Сильвестра... имели тенденцию направить развитие страны на иной путь (чем предназначал Грозный. — *Прим. авт.*) в политическом устройстве и... в основе экономики, а именно: на путь укрепления сословно-представительной монархии, — представляется несомненным».

Идея опричнины прямо противоположна. «Аз есмь царь, — говорил Грозный. — Божиим произволением, а не многоятежным человеческим хотением». Русский государь не есть царь боярский. Он не есть даже царь сословный, то есть общенародный. Он — помазанник Божий. Инструментом утверждения такого взгляда на власть и стал опричный царь.

В опричнину брали только «лутчих», «по выбору». Особенно тщательный отбор проходили люди, имевшие непосредственное отношение к жизни государя. До нас дошла опись царского архива, в которой есть следующая запись: «Ящик 200, а в нём сыски родства ключников, подключников, и сытников, и поваров, и помясов, и всяких дворовых людей». На 20 марта 1573 года в составе опричного двора царя Иоанна числилось 1854 человека. И них 654 человека составляли охранный корпус государя, его гвардию.

Данные, взятые из списка служилых двора с указанием окладов, обязанностей и «корма», совпадают с показаниями иностранцев. Шлихтинг, Таубе и Крузе упоминают 500—800 человек «особой опричнины». Эти люди в случае необходимости служили в роли доверенных царских порученцев, осуществлявших охранные, разведывательные, следственные и карательные функции. В их числе, кстати, находился в 1573 году молодой ещё тогда опричник «Борис Фёдоров сын Годунов». Остальные 1200 опричников разделены на четыре приказа, а именно: Постельный, ведающий обслуживанием помещений дворца и предметами обихода царской семьи, Бронный, то есть оружейный, Конюшенный, в ведении которого находилось огромное конское хозяйство дворца и царской гвардии, и Сытный — продовольственный (13).

Опричное войско не превышало пяти-шести тысяч человек. Несмотря на малочисленность, оно сыграло выдающуюся роль в защите России; например, в битве на Молодях в 1572 году, во время которой были разгромлены татарские войска, а их командующий Дивей-мурза взят в плен опричником Аталыкиным. Со временем опричнина стала «кузницей кадров», ковавшей государю единомышленников с ним людей и обеспечивавшей проведение соответствующей политики. Вот лишь один из примеров.

В сентябре 1577 года во время Ливонского похода царь и его штаб направили под город Смильтин князя М. В. Ноздроватого и А. Е. Салтыкова «с сотнями». Немцы и литовцы, засевшие в городе, сдать отказались, а царские военачальники — Ноздроватый и Салтыков — «у города же никоторова промыслу не учинили и к государю о том вести не учинили, что им литва из города говорит. И государь послал их проведывать сына боярского Проню Болакирева... И Проня Болакирев приехал к ним ночью, а сторожи у них в ту пору не было, а ему приехал ось шумно. И князь Михайлы Ноздроватого и Ондreja Салтыкова полчане и стрельцы от шума побежали и торопяся ни от кого и после того остановилися. И Проня Болакирев приехал к государю, всё то подлинно сказал государю, что они стоят небрежно и делают не по государеву наказу. И государь о том почёл кручинитца, да послал... Деменшу Черемисинова да велел про то сыскать, как у них деелось...» (14).

Знаменитый опричник, а теперь думный дворовый дворянин Д. Черемисин расследовал на месте обстоятельства дела и доложил царю, что Ноздроватый и Салтыков не только «делали не гораздо, не по государеву наказу», но ещё и намеревались завладеть имуществом литовцев, если те оставят город. «Пущали их из города душою и телом», то есть без имущества. Черемисин быстро навёл порядок. Он выпустил литовцев из города «со всеми животы — и литва тотчас город очистили...». Сам Черемисин наутро поехал с докладом к царю. Князя Ноздроватого «за службу веле государь на конюшне плетми бить. А Ондreja Салтыкова государь бить не велел». Тот «отнимался тем, что будто князь Михайло Ноздроватый ему государеву наказу не показал, и Ондreja Салтыкову за тое неслужбу государь шубы не велел дать».

В необходимых случаях руководство военными операциями изымается из рук воевод и передаётся в руки дворовых.

В июле 1577 года царские воеводы двинулись на город Кесь и заместничались. Князь М. Тюфякин дважды досаждал царю челобитными. К нему было «писано от царя с опаскою, что он дурует». Но не желали принять росписи и другие воеводы: «А воеводы государевы опять замешкались, а к Кеси не пошли. И государь послал к ним с кручиною с Москвы дьяка посольского Андreja Щелкалова... из Слободы послал государь дворянина Даниила Борисовича Салтыкова, а веле им итить х Кеси и промышлять своим делом мимо воевод, а воеводам с ними».

Как видим, стоило воеводам начать «дуровать», как доверенное лицо царя — дворовый, опричник Даниила Борисович Салтыков был уполномочен вести войска «мимо» воевод, то есть отстранив их от командования. Только что препиравшиеся между собой из-за мест князя все разом были подчинены дворовому Д. Б. Салтыкову, человеку по сравнению с ними вовсе «молодому».

Со временем боярство с помощью опричнины излечилось от сословной спеси, впрягшись в общее тягло^[91]. О том, что опричнина не рассматривалась как самостоятельная ценность и её длительное существование изначально не предполагалось, свидетельствует завещание царя, написанное во время болезни в Новгороде в 1572 году. «А что есьми учинил опричнину, — пишет Грозный, — и то на воле детей моих Ивана и Фёдора, как им прибыльнее, и чинят, а образец им учинён готов». Я, мол, по мере своих сил показал, как надо, а выбор конкретных способов действия за вами — не стесняю ничем.

Земщина и опричнина в конце концов смешались, и последняя тихо отмирала по мере осмысления правящим классом России своего религиозного долга, своего места в общерусском служении. Тем более что мощным фактором становления такого общего мировоззрения стали земские соборы, первый из которых был созван Иоанном IV ещё в начале его царствования, в 1550 году (по другим источникам — в 1547 году). Это был «собор примирения», в ходе которого перед собранными «из городов всякого чину» людьми царь обещал загладить все невзгоды лютого боярского правления.

Собор мыслился как символический акт, возвращающий народу и царю утраченное в смуте междоусобия единство. «По всем этим чертам, — пишет Ключевский, — первый земский собор в Москве представляется каким-то небывалым в европейской истории актом покаяния царя и боярского правительства в их политических грехах». «Вниде страх в душу мою, — расскажет позже Иоанн Грозный о религиозных переживаниях, подсказавших ему идею собора, — и трепет в кости моя, и смирился дух мой, и умилился и познах своя согрешения». Заметим, что покаяние было взаимным — народ тоже каялся в грехах перед властью. Это превратило соборы в инструмент борьбы со всякой смутой путём утверждения всенародного церковного единства.

До конца XVI века земские соборы собирались ещё три раза — в 1566, 1584 и 1598 годах. Исключая собор 1566 года, решавший вопросы войны и мира, которые требовали в тех условиях всенародного одобрения, остальные соборы созывались для предотвращения междоусобия и подтверждения религиозно-мистического единства народа и царя^[92]. Этим же целям служил и знаменитый собор 1613 года, положивший конец развалу русского государства и католическим проискам, призвав на Российский престол новую династию и засвидетельствовав соборной клятвой свою вечную верность роду Романовых как Богом данных России царей.

Митрополит Санкт-Петербургский

и Ладожский

Иоанн.

Примечания

1

То есть по-гречески — юродивый.

2

Новый год тогда считался с сентября.

3

Перила.

4

Половниками назывались свободные земледельцы, нанимавшие поля для посева с договором отдавать половину жатвы владельцам.

5

Самая мелкая медная монета того времени.

6

Бедные дворяне, жившие в домах бояр.

7

Нарва называлась русскими Ругодивом.

8

Так назывался траур.

9

Фегефейер на немецком языке означает Чистилище.

10

Так назывались простые круглые шишаки ратников.

11

Старинные большие пушки.

12

Так назывался кубок, который, взяв в руки, нельзя было иначе поставить на стол, как опрокинув.

13

Так русские называли ливонских рыцарей.

14

Русские называли Феллин Вельяном.

15

Выражение того времени.

16

Так назывались инженеры.

17

Так русские называли Вейсенштейн.

18

Так называли русские Ревель.

19

Канарское вино, привозившееся из ганзейских городов.

20

Так называлось воскресенье.

21

Два с половиною рубля.

22

Готовым на происки, лживым, хищником.

23

Такой выбор невесты сделан был по совету великокняжеского казначея — грека Юрия Траканиота, который, помня очень хорошо византийскую старину, указывал на вполне достойный образец для подражания московскому государю: древний обычай Византийской империи, где для молодых императоров точно также невесты избирались со всей земли. Так, например, императрица Ирина выбрала невесту для сына своего Константина. Подробный рассказ об этом находим в житии св. Филарета Милостивого, внука которого, Мария, и стала супругой молодого императора.

24

Прожив в монастыре 17 лет, Соломония — София погребена была под соборною монастырскою церковью в усыпальнице. На гробнице её высечена такая надпись:

«В 1525 году благоверный великий князь Василий Иоаннович всяя России, супругу свою, благоверную великую княгиню Соломонию Юрьевну, живши с нею в супружестве двадцать лет и два месяца, бесчадства ради и немощи, по совету её, постриже ю в монашество в оном монастыре и нарече имя ей София, которая поживши в том монастыре в иноческом чине благодарно и богоугодно семнадцать лет и полтора месяца, преставися в 1543 году декабря в 15 день и погребена бысть в том Покровском монастыре под церковию Покрова Богородицы. Мощи сея преподобные лежат в раце под спудом, а над мощами её на гробнице, на покрове вышит образ преподобный княгини Софии, и от гроба её многия чудеса и исцеления бывают в разных скорбях, с верою приходящим и доньне. Из них же примечания достойно следующее: в 1609 году приходил во град Суздаль пан Лисовский с товарищами на разорение града Суздаля и обителей. Тогда преподобная княгиня София град Суздаль и обитель сию от нашествия и пленения того пана избави грозным явлением, еже бе сие: егда той пан приеде к Покровской обители, в то время внезапно явися ему преподобная София в образе своём иноческом, с горящею свечою и нача его жещи и палити; в том часе оный пан впаде в недуг велий и рука правая отъяся у него, и от того видения он ужасеся и отыде от Покровской обители, поведая товарищам своим такие дивные чудеса, и клятву положи на себе — града Суздаля и обителей не раззоряти, а отыде восворяси».

Из поручной записи Вязниковских посадских людей по иконописце Пономарёве, состоявшейся в 1674 году, касательно написания местных икон в иконостасе соборной монастырской церкви видно, что с изображениями Суздальских святых написан был образ и преподобной княгини Софии. На одном из образов княгини Софии, находящемся в Покровском монастыре, вычеканена на венце надпись: «Святая Княгиня София новая Суздальская чудотворица».

25

Память преподобного Варлаама Хутынского празднуется 6-го ноября.

26

Парамантия, или параманд, — четвероугольный плат с изображением креста, носимый на персях или на раменах. Шнурами, пришитыми к углам его, параманд объемлет плечи монаха и обвивает, и стягивает одежду. Параманд даётся иноку во всегдашнее воспоминание ему взятия на себя благого ига Христова и в обуздание и связание похотей и плотских желаний.

27

Летописи говорят, будто он «дал великому князю Василию зелия пити в его болезни, и великого князя в той болезни не стало». (Ник. лет. VII, 2-3. II. С. Р. Л. VIII, 287).

28

Он погребён в Архангельском соборе. На гробнице его следующая надпись: «В лето 7044 (1536)

Августа в 3-ий день преставися Благоверный Князь Георгий Иванович Дмитровской».

29

Все дела производились от имени малолетнего Иоанна.

30

Река Волхов разделяла Новгород на две стороны — *Торговую*, где в основном жили граждане новгородские, и *Софийскую*, где находился храм св. Софии, главная святыня Новгорода, с кремлём, или детинцем.

31

Он был сослан великим князем Василием на Белоозеро за тайные сношения с Казанью, будучи недоволен назначением брата Еналея ханом казанским.

32

Деду знаменитого героя времени, Михаила Скопина-Шуйского.

33

Иоанн Грозный знал наизусть все Евангелие и Апостол, как впоследствии царевич Пётр (Великий).

34

В древних наших «чиновниках», книгах, по которым совершалось венчание наших царей, сохранилось известие, что «превысочайшую честь, царские венцы и диадему от греческого царя Константина Мономаха восприем князь Владимир Всеволодович и сего ради Мономах наречется». Византийский император Алексей Комнен прислал Владимиру Всеволодовичу в числе других даров драгоценный венец, златую цепь и бармы (оплечье) Константина Мономаха, деда Владимирова по матери. Ефесский митрополит Неофит возложил их на Владимира и провозгласил его царём. Эти знаки царского достоинства стали возлагаться потом на русских государей при их короновании.

35

Курбский пишет: «Посла царь Феодорита (инока) Соловецкого просветителя Лопарей к патриарху Константинограда просити о царском венчании, и ходи вящше года; и принесе от патриарха благословение, и книгу царского венчания приела патриарх с митрополитом своим и Михаилом пресвитером. Царь же подарова Феодорита тремя сты серебряными и шубою соболей под аксамитом; он же взя точию 25 серебряники».

36

Необходимо заметить, что представитель этого рода после смерти боярина Михаила, другой дядя

Анастасии, Григорий Юрьевич Захарьин, не принадлежал к стороне Шуйских, и не упоминается ни в каких боярских смутах детства Иоаннова. Что касается брата Анастасии, Никиты Романовича, то народные песни, принимающие сторону Иоанна Грозного в его борьбе с боярами, только к одному этому боярину относятся с большим сочувствием». А по историческим известиям. Никита Романович является также единственным лицом, которому Грозный до конца своей жизни оказывал неизменное уважение. Этот Никита Романович был дедом Михаила Феодоровича, первого царя из дома Романовых.

Романовы, вместе с Шереметьевыми, Зубатыми, Беззубновыми, Колычевыми, Кобылиными, Кокоревыми, Лодыгиными, Неплюевыми, происходят от Андрея Кобылы, выехавшего из Пруссии. Сын Андрея — Феодор Кошка был первым боярином при Дмитрии Донском; сын Феодора — Иван — играл важную роль при Василии Дмитриевиче; от сына его Захария и внука Юрия фамилия Захарьины-Юрьины, а от сына Юрьева Романа — Романовы.

37

Судить игроков в кости и карты.

38

По Судебнику наказания за уголовные преступления были: денежная пеня, заключение в тюрьму, торговая (кнут) и смертная казнь, постигавшая разбойников, государевых изменников, зажигателей, церковных татей...

39

Например, даня зимняя и летняя, благословенная куница (подать со священника при вступлении в должность), переходная куница (при переходе из одного прихода в другой), явленная куница (при явке ставленной грамоты), соборная куница, людское, полюдная пшеница, казённые алтыны, вечная пошлина (с невесты), новоженный убрус (с жениха), десятильничьи пошлины и прочее.

40

Не в том ли смысле, что русские были самыми ненадёжными рабами для татар, пользуясь всяким случаем для своего освобождения!

41

«А дожди по всея дни быша, и теплота, и мокрота велика; речки малые попортило, а иные и прошли» (Царственная Книга, 158).

42

Бывший царь казанский Утемиш-Гирей крещён в 1553 году под именем Александра и умер в 1566 году.

43

Вот это поучение: «Милостию Божиею, мудростию нашего царя и вашим мужеством твердыня христианская поставлена в земле враждебной. Господь дал нам и Казань без кровопролития. Мы благоденствуем и славимся. Литва, Германия ищут вашего дружества. Чем же мы можем изъяснить признательность Всевышнему? — исполнением Его заповедей. А вы исполняете ли их? Молва народная тревожит сердце государево и моё. Уверяют, что некоторые из вас, забыв страх Божий, утопают в грехах Содомы и Гоморры; что многие благородные девы и жены, освобождённые пленницы казанские, оскверняются развратом между вами; что вы, угождая им, кладёте бритвы на брады свои и в постыдной неге стыдитесь быть мужами. Верю сему, ибо Господь казнит вас не только болезнью, но и срамом. Где ваша слава? Быв ужасом врагов, ныне служите для них посмешищем. Оружие тупо, когда нет добродетели в сердце, крепкие слабеют от пороков. Злодейство восстало, измена явилась — и вы уклоняете щит пред ними. Бог, Иоанн и Церковь призывают вас к раскаянию. Исправьтесь — или увидите гнев царя, услышите клятву церковную».

44

Во время больших походов русское войско обыкновенно делилось на пять частей: большой полк, правая и левая рука и полки передовой и сторожевой. Кроме того, для разъездов отделялся ярноул или яртоульный полк — лёгкий передний отряд передового полка.

45

Курбский пишет: «Идохом от царя по правой руке аки в 5 дней конём ездю; понеже мы заслонихом его тием войском от заволжски (ногайских) татар, да не придут на него безвестно».

46

«Будь чист и целомудрен душою, — писал к царю митрополит Макарий, — смирайся в славе и бодрствуй в печали. Добродетели царя спасительны для царства». «Благодарим тебя, — отвечал Иоанн первосвятителю, — за пастырское учение, вписанное у меня в сердце. Помогай нам всегда наставлением и молитвою. Идём далее. Да сподобит нас Господь возвратиться с миром для христиан!»

47

Туры — большие и высокие корзины, плетённые из прутьев; наполненные землёю и поставленные рядом, туры представляли хорошую защиту от стрел и пуль.

48

Стены Казани были не каменные, а деревянные: их составляли два ряда огромных дубовых столбов, между которыми была насыпана и плотно убита земля со щебнем.

49

Первым взошёл на стену юный брат князя Андрея Михайловича Курбского, Роман.

50

Вместе с Едигером казанцы выдали Палецкому главного, престарелого вельможу, или карачу, именем Заниеша, и двух мамичей, или совоспитанников царя. По сказанию истории казанского царства, русские хотели убить Едигера, не зная его, но татары закричали им: «Не убивайте — это царь!»

51

Астраханское царство появилось после падения Золотой Орды. Сначала владовали здесь родственники последнего золотоордынского хана Ахмата. Когда в 1502 году Менгли-Гирей завоевал Астрахань, Шейх-Ауляр, отец Шах-Али, бежал в Россию и получил Касимов. В 1533 году сидел в Астрахани Касим, убитый черкесами: сын его Едигер был последним царём казанским. После него недолго царствовал Акубек; место его занял Абдур-Рахман, свергнутый в 1537 году ногаями; посажен Дербыш, прогнанный в 1547 году Саип-Гиреем. Место его занял Ямгурчей.

52

Будный был автором арианского катехизиса на латинском и русском языках и переводчиком Священного Писания на польский язык.

53

Этот Николай Немчин есть не иной кто, как иноземный врач Люев. или Булев, получивший от Василия III «превелик» честь врачевная ради хитрости».

54

Уже впоследствии (в 1531 году), в своём исповедании веры, Максим оправдывал себя в этой погрешности тем, что при исправлении книг он не был достаточно знаком с русским языком, а передавал свои мысли по латыни толмачам; и потому если есть что-либо хульного в употреблённых им речениях, то это следует вменить не ему, а толмачам.

55

В числе их было 4 богослова, 4 медика, 2 юриста.

56

Ливонский летописец приводит по этому случаю письмо московского государя к правительству ордена: «Необузданные ливонцы, противящиеся Богу и законному правительству! Вы переменили веру, свергнули иго императора и папы Римского. Если они могут сносить от вас презрение и спокойно видеть храмы свои разграбленными, то я не могу и не хочу сносить обиду, нанесённую мне и моему Богу, Бог посылает вам во мне мстителя, долженствующего привести вас в послушание». Летописец прибавляет, что царь вместе с этим письмом послал правителям Ливонии бич, как символ исправления.

57

Русская История. К. Бестужева-Рюмина. Том второй, выпуск первый. Спб. 1885.

58

Через два года он с своими казаками пустился на турок, овладел Молдавию, но был затем разбит, взят в плен и умер мученическою смертью в Константинополе.

59

Курбский намекает, очевидно, на то место в послании Иоанна, где тот описывает дела бояр во время его детства, грубое обхождение Шуйского, расхищение казны и прочее.

60

Города: Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин — обе половины, Ярославец и с Суходровью, Медынь и с Товарковою, Суздаль и с Шуею, Галич со всеми пригородки, с Чухломою и с Унжею, и с Коряковым и с Белогородьем, Вологду, Юрьевец Повольской, Балахну и с Узолою, Старую Русу город, Вышегород на Поротве, Устюг со всеми волостями, город Двину, Каргополе, Вагу, а волости: Олешно, Хотунь, Гусь, Муромское сельцо, Аргуново, Гвоздну, Опаков на Угре, Круг Клинской, Числяки, Ординские деревни и стан Пахрянской в Московском уезде, Белгород в Кашине, да волости Вселунь, Ошту, Порог Ладожской, Тотьму, Прибут и иные волости.

61

Опричники назывались также *кромешниками*, то есть особыми отдельными людьми.

62

«Салос» по-гречески значит «юродивый».

63

Блаженный Николай, неустрашимый обличитель Грозного, скончавшийся 28-го февраля 1576 года, был погребён под соборным храмом — почеть, которой удостаивались только князья и святители.

64

До этого времени в Польше не признавали за Иоанном царского титула.

65

Под этим городом был убит печальной памяти Малюта Скуратов.

66

То есть на такое расстояние, на какое пролетел бы брошенный камень.

67

Чудотворный образ Одигитрии — Путеводительницы, по преданию, написан св. евангелистом Лукою и переслан царицею Евдокией из Иерусалима в Константинополь Пульхерии, которая и поставила его во Влахернском Константинопольском храме.

68

Царь Василий Иоаннович Шуйский, уговаривая в 1610 году Строгановых ссудить его значительною суммою денег, пишет в своей грамоте к ним: «Припомните, когда вы в прежние времена выкупили из плена великого князя Василия Васильевича, какой великой чести сподобились?» Хотя выкуп сделан был, быть может, на деньги не одних только Строгановых, во всяком случае, им принадлежала наибольшая доля участия в этом деле.

69

Одни называют Маметкула сыном, а другие — племянником Кучума.

70

Слово казак — татарское и означало сперва вольного, бездомного бродягу, а потом воинов, набранных из таких бродяг. Прежде появления русских казаков существовали казаки татарские, в том же значении вольных бродячих удалцов.

71

В Ремезовской летописи Ермак назван Германом, а в других повествованиях — Ермолаем.

72

По Вольскому наречию ермак значит ещё жерновой ручной камень.

73

В синодике тобольской соборной церкви означено именно 107 убитых в этом деле казаков.

74

В синодике тобольской соборной церкви убиение Ивана Кольца с дружиною означено 17-го апреля.

75

Всего вероятнее, что сам Кучум послал с ложною вестью о бухарском караване своего татарина к Ермаку, чтобы заманить последнего в засаду.

76

В синодике тобольской соборной церкви записано: «Атаману Ермаку с товарищи сороки человеком, вечная память... и которые побиени с ним казаки по Вагаю-реке на переколи; а имена их в синодике написаны».

77

Впоследствии злосчастный Кучум был убит ногаями.

78

Слово в Горах означает Горицкий Воскресенский девичий монастырь, попросту называемый Горами.

79

Число всех лиц, поименованных в первой части синодика, 2668, во второй — 580. Всего 3248 душ.

80

Забелин. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетии.

81

Архиепископ новгородский Леонид, председательствовавший на соборе, разрешившем четвёртый брак Иоанна, был впоследствии подвергнут царём за корыстолюбие позорной казни: царь приказал зашить его в медвежью шкуру и затравить собаками.

82

Любопытно, что расспросить доктора о девке, как тогда выражались, Иоанн поручил Богдану Бельскому и Афанасию Нагому, родному брату своей жены.

83

Не считая «обличительных» писем, Курбский написал «Историю князя великого Московского о делах, яже слышахом у достоверных мужей и яже видехом очима нашими», где продолжал клеветать на царя.

84

Даже такой историк, как Алыиц, вынужден заметить, что «власть московского царя держалась тогда на основаниях скорее духовных, чем материальных: на традиции подчинения подданных великокняжеской власти... на поддержке со стороны Церкви». Русский царь не мог и не хотел править силой. Он желал послушания не «за страх», а «за совесть».

85

Одним из пунктов завещания Иоанна было указание освободить всех военнопленных.

86

Текст приближен к современному русскому языку.

87

Житие святителя Филиппа отмечает, что он во всем старался подражать митрополиту Макарию, своему мудрому предшественнику, стяжавшему особую любовь и уважение царя праведностью и ясностью духовного разума.

88

Как правило, эти слова святителя Филиппа толкуются в том смысле, что он призывал пастырей, покорных царской воле, восстать против опричнины. В самом тексте речи на такое её значение нет и намёка. Если уж говорить о «строгом научном подходе», то нет вообще никаких доказательств, что многочисленные «обличительные» речи митрополита, приводимые в различных его житиях, были им вообще когда-либо произнесены.

89

Иоанн, чрезвычайно щепетильный во всех делах, касавшихся душеспасения, заносил имена всех казнённых в специальные синодики, которые рассылались затем по монастырям для вечного поминовения «за упокой души». Списки эти (являющиеся, кстати, единственным достоверным документом, позволяющим судить о размахе репрессий) поражают своей подробностью и добросовестностью. Имени святителя Филиппа в них нет. Нет по той простой причине, что никогда никакого приказа казнить митрополита царь не давал. Эта широко распространённая версия при ближайшем рассмотрении оказывается заурядной выдумкой, как, впрочем, и многие другие «свидетельства» о «зверствах» Грозного царя.

90

Праведный Николай, Псковский чудотворец, преставился 28 февраля 1576 года. В древнем кондаке ему сказано: «Чудотворец явился Николае, царёву державу... на милость обратив... ты бо еси граду Пскову и всем христолюбивым людям похвала и утверждение».

91

К сожалению, излечилось боярство не полностью. И в царствование Феодора Иоанновича (1584 — 1598), и в царствование Годунова (1598—1605) часть бояр продолжала «тянуть на себя». Эта «самость», нежелание включаться в общенародное дело закономерно привели к предательству 21 сентября 1610 года, когда, боясь народного мятежа, боярская верхушка тайно ночью впустила в Москву оккупантов — 800 немецких ландскнехтов и 3,5- тысячный польский отряд Гонсевского. Вообще роль боярства, сыгранная им в подготовке и разжигании первой русской Смуты (начала XVII века), схожа с той ролью, какую сыграла русская интеллигенция в организации второй русской Смуты (в XX столетии). И зам, и здесь все начиналось с того, что у части общества мutilось национально-религиозное самосознание, терялось ощущение единства с народным телом.

92

Духовная основа соборности, конечно же, ничуть не мешала решению практических вопросов.